

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

№

А. Писемский

**А. Ф.  
ПИСЕМСКИЙ**

**СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ  
В ДЕВЯТИ ТОМАХ**



---

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
МОСКВА • 1959

Издание выходит  
под наблюдением  
А. П. Могилянского.

Подготовка текста и примечания:

М. П. Еремина

(«Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына», «Комик»,  
«Фанфарон», «Старческий грех», «Батька»).

В. А. Малкина

(«Очерки из крестьянского быта», «Старая барыня»).

# СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ХОЗАРОВ И МАРИ СТУПИЦЫНА

БРАК ПО СТРАСТИ

## 1

Мелкие натуры только претендуют на любовь и неудачно драпируются плащом Ромео и Юлии.

В одном из московских переулков, вероятно, еще и теперь стоит большой каменный дом, на воротах коего некогда красовалась вывеска с надписью: «Здесь отдаются квартиры со столом, спросить Госпожу Замшеву». Осеннее солнце, это было часу в десятом утра, заглянуло между прочим и в квартиры со столом и в комнате, занимаемой хозяйкою, осветило обычную утреннюю сцену. Госпожа или, лучше сказать, девица Замшева сидела перед столом и пила чай; перед нею, несколько в почтительном отдалении, стояла баба. Нельзя сказать, чтобы обе эти женщины, хотя и были освещены волшебным светом солнца, представляли живописные фигуры. Почтеннейшая хозяйка, девица с лишком за сорок, одетая в какой-то не совсем опрятный капот-распашонку, имела лицо страшно рябое и очень тоненькую и жидкую косу, которые обыкновенно называются мышинными хвостами. Костлявые руки девицы Замшевой, вообще немного плоской и худой, носили на себе остаток утренней возни с провизией. Про бабу и говорить нечего: это был какой-то грязный комок, комок, впрочем, плотный и здоровый.

— Так ты сделаешь суп из телятины,— начала хозяйка,— сосиски под капустой и зажаришь голубей да еще из вашей говядины выбери получше кусочек и свари щи и завари кашу.

— Всем всяво давать? — спросила баба.

— Опять всем; разве я тебе, глупая, не толковала,— возразила хозяйка,— во второй номер пошли всего и спроси, чего угодно. Сибариту дай только супу и сосисок. Феропнту Григорьичу пошли шей, сосисок и каши. В четвертый номер отошли только супу без телятины и кашу, да смотри, как можно меньше масла.

— Да вчера и то чуть не прибили,— заметила баба.

— Вот прекрасно, рассуждаешь еще! Не твое дело,— возразила хозяйка.

— Да ведь дерутся; этта черноволосый-то в кухню прибежал: лаялся, лаялся, ажно ухват схватил!

— Велика важность: ухват схватил, им же хуже! В пятый номер ничего не посылай, кроме супу: человек больной, ему диета нужна. В шестой номер пошлешь всего и спросишь: чего хотят, да голубей отправь парочку: он охотник.

— Не запомню, Татьяна Ивановна, вся ваша воля, не запомню,— отвечала кухарка.

— Ну, так и есть, перемешай опять.

— Вся ваша воля, памяти на алтын нет.

— Поди, этакий деревенский цеуч! Еще не без чего четвертый год в Москве живешь,— возразила с сердцем Татьяна Ивановна.— Дай мне умыться,— сказала она и начала доставать из комода мыло, полотенце и угольный порошок. Кухарка между тем достала из-под кровати таз с огромным умывальником. Распустив совершенно капот-распашонку, Татьяна Ивановна первоначально натерла зубы угольным порошком, выполоскала их потом и вслед за тем принялась обмывать руки, лицо и даже грудь. Почти целое ведро было издержано на омовение ее сорокалетних прелестей, которые потом, как водится, были старательно обтерты полотенцем, а кухарка отослана к исполнению ее прямых обязанностей. Оставшись одна, Татьяна Ивановна принялась убирать волосы. Приведя голову в порядок, она вынула из комода пузырек с белою жидкостью и начала оною натирать лицо, руки и шею; далее, вынув из того же комода ящичек с красным порошком, слегка покрыла им щеки. Украсив таким образом свое

лицо и возложив на себя известное число юбок, Татьяна Ивановна, наконец, надела свое холстинковое, почти новенькое платье, и — странное дело, что значит женский туалет! Перед вами как будто появилась другая женщина; не говоря уже о том, что рябины разгладились, стали гораздо незаметнее, что цвет лица сделался совершенно другой, что самая худоба стана пополнела, но даже коса, этот мышинный хвост сделался гораздо толще, роскошнее и весьма красиво сложился в нечто вроде корзинки.

Одевшись совершенно, Татьяна Ивановна намеревалась приступить к подвигу хождения по нумерам для собирания денег с своих постояльцев.

Из последующих сцен мы убедимся, что это был действительно подвиг, подвиг трудный и редко сопровождающийся должным успехом. В эпоху предпринятого мною рассказа у девицы Замшевой постояльцами были: какой-то малоросс, человек еще молодой, который первоначально всякий день куда-то уходил, но вот уже другой месяц сидел все или, точнее сказать, лежал дома, хотя и был совершенно здоров, за что Татьяной Ивановной и прозван был сибаритом; другие постояльцы: музыкант, старый помещик, две неопределенные личности, танцевальный учитель, с полгода болевший какою-то хроническою болезнью, и, наконец, молодой помещик Хозаров. Татьяна Ивановна, как могли мы заметить из предыдущего ее разговора в отношении обеда с кухаркою, неодинаким образом третировала своих постояльцев. Она разделяла их на три класса: на *милашек*, на *так себе* и на *гадких*. К числу *милашек* принадлежали: двое помещиков и музыкант, который был, впрочем, тайный милашка, и о нем она даже мало говорила; к *так себе* относились: сибарит и танцевальный учитель; к *гадким*: две неопределенные личности.

Постояльцы, с своей стороны, именовали Татьяну Ивановну: *почтеннейшая*. Выйдя из своей комнаты, Татьяна Ивановна подошла к первому номеру, то есть к сибариту.

— Что, можно? — спросила она, приотворив немного двери.

— Можно, — отвечал голос изнутри.

— Да вы в постели?

— То есть я на кровати.

— Ну, так прикройтесь.

— Войдите, прикрылся.

Для объяснения такого рода переговоров я должен

здесь заметить, что малоросс, несмотря на громкое титло сибарита, имел не совсем полный комплект утренних и ночных принадлежностей человека. Они ограничивались одною ваточною шинелью, которую он обыкновенно подстилал под себя, не прикрывая себя сверху ничем.

Несмотря на уверения постояльца, что он прикрылся, девица Замшева не верила и входила в комнату, стараясь быть к кровати жильца спиною, и в том же самом положении начинала с ним вести дальнейшие переговоры.

— Я к вам.

— А что?

— Нет ли у вас денег?

— Увы! Татьяна Ивановна, совершенно нет.

— Да как же мне-то делать?

— Не знаю, моя почтеннейшая!

— Вы за три месяца не платили.

— Вы себя обсчитываете, почтеннейшая, с процентами больше, чем за три; что делать! Я бы вам сейчас отдал за четыре, но нема пенензы!

— Ах, какой вы смешной! Да что теперь я-то буду делать?

— Одно только: выслушайте меня, почтеннейшая Татьяна Ивановна! Неужели же вы думаете, чтобы я, имея деньги, отказал себе в трубке табаку; но я теперь не курю, следовательно, теперь у меня нет денег.

— А третьего дня на что в трактир ходили, и пьяный еще Матрену, бесстыдник этакий, обругал?

— Ах, Татьяна Ивановна! Не растравляйте раны! Это был сон, и сон прекрасный, но он миновался и сегодня не повторится.

— Да не со сна же вы опьянели? Где денег-то взяли?

— Денег у меня не было, но ко мне явился благодетельный гений и сказал: «Надень мой сюртук, мои калоши, пойдем в трактир, пей и ешь».

— Все вы лжете: откуда вам денег-то пришлют?

— Ну, это другой вопрос. Денег должны мне прислать, во-первых, отец, во-вторых, тетки, в-третьих, братья, в-четвертых, сестры.

— Да, вот так и ждите.

— Непременно пришлют!

— Ну, смотрите, больше нынешнего месяца не стану ждать,— отвечала Татьяна Ивановна и с тою же предосторожностью начала выходить из нумера.

— Татьяна Ивановна, а Татьяна Ивановна! — кричал ей вслед сибарит.— Пришлете мне сегодня обедать?

— Не знаю.

— Пришлите, пожалуйста, да чтобы суп-то был немного повкуснее, а то в простой воде больше жиру; хоть хлеба присылайте побольше.

Татьяна Ивановна на эти слова ничего не ответила и следующий за тем номер прошла мимо; в нем проживал секретный ее *милашка*, музыкант, она к нему никогда не заходила по утрам. В ближайший номер девица Замшева вошла без всяких предосторожностей, с выражением лица более веселым, совершенно добрым и несколько даже почтительным. В этом номере жил *милашка* — старый помещик, значительно толстый и сильно обросший усами и бакенбардами. Комната его по своему убранству совершенно не походила на предыдущий номер: во-первых, на кровати лежала трехпудовая перина и до пяти подушек; по стенам стояли: ящики, ящички, два тульские ружья, несколько черешневых чубуков, висели четверня московских шлей с оголовками и калмыцкий тулуп; по окнам стояли чашки, чайник, кофейник, судок для вин, графин с водкой и фунта два икры, московский калач и десяток редиски. Сам помещик, в толсто настеганном шерстяном халате, сидел перед новеньким огромным самоваром из красной меди и кушал чай. Сзади его лакей в домотканом чепане поправлял на оселке бритву.

— Кто там? — закричал милашка-помещик, услышав скрип дверей.

— Хозяйка,— отвечал лакей.

— А!..— произнес помещик.— Что скажете, голубушка? Не хотите ли чаю?.. Ванька! Подай ей чаю.

— Я пришла наведаться, хорошо ли вам.

— Ничего... идет; только клопов или блох много.

— Блохи, должно быть, беспокоили вас. Клопов здесь совершенно нет. Я вот здесь третий год живу, а никогда ни одного клопа в глаза не видала,— отвечала Татьяна Ивановна.— Не знаю, как бы вам помочь в этом: крапивы разве под простыню положить? Говорят, это помогает.

— Ничего не надо, и так сойдет; а вот что, голубушка, супов-то мне своих не подавай: мерзость страшная.

— Я думала, что вы изволите любить.

— Какого тут черта любить! Вари мне щи, да и голубями не изволь потчевать: я этой мерзости совсем не ем.



— Слышала, батюшка Ферапонт Григорьич, слышала: с сегодняшнего же дня велела готовить стол по вашему вкусу. У нас ведь нельзя-с, стоят больше иностранцы.

— Ну, иностранцев и корми супами; а мне этих помой не надобно.

— Слушаю-с,— отвечала хозяйка.— А вы, я вижу, еще покупочку сделали,— прибавила она, оглядывая комнату,— хомутики изволили купить?

— На целую четверню хватил, матушка. Ванька, покажи хозяйке хомуты. Ну, посмотри, во сколько оценишь?

— Не могу сказать, Ферапонт Григорьич: совершенно неопытна в конских вещах.

— Да ты посмотри, какой ремень-то, совершенный бархат.

— Вижу, батюшка, ремень отличнейший; но, признаться сказать, мне больше всего нравится шляпка, что для супруги изволили купить.

— Ха-ха-ха!.. Ты ведь думала, что я ее на Кузнецком купил?

— Да вы и то беспрременно на Кузнецком купили, по фасону видно.

— Ха-ха-ха!.. На Ильинке за двадцать пять рублей. Даром, матушка, что деревенщина, не надуют.

— А я было к вам пришла, Ферапонт Григорьич...

— А что?

— Да деньжонок...

— Вот тебе на! Я ведь тебе и то за целый месяц дал вперед.

— Нужно, батюшка, видит бог, нужно; ну, хочется, чтобы всем было покойно.

— Нет, мадам, больше не дам.

— Батюшка, Ферапонт Григорьич, не погубите, совершенно погибаю: все перезаложила, с позволения сказать, юбку третьего дня продала на толкучке.

— Да ведь и то я тебе задавал вперед.

— Благодетель мой, вы еще здесь пробудете. Сделайте божескую милость: дайте.

— Экая ведь ты нюня! Ну, на, десять рублей.

— Одолжите, благодетель, двадцать.

— Не дам, пошла вон! — закричал, осердившись, помещик.— Дармоеды этикие московские,— прибавил он вполголоса.

— Батюшка, Ферапонт Григорыч, нужда. Неужели бы я осмелилась вас беспокоить, если бы не крайность моя.

— Ну, ладно, прощай, мне бриться пора.

Татьяна Ивановна пошла.

Для объяснения грубого тона, который имел с Татьяной Ивановной Ферапонт Григорыч — человек вообще порядочный, я должен заметить, что он почтеннейшую хозяйку совершенно не отделял от хозяек на постоянных дворах и единственное находил между ними различие в том, что те русские бабы и ходят в сарафанах, а эта из немок и рядится в платье, но что все они ужасные плутовки и подхалимки.

В ближайшем номере помещались двое *гадких* ее постояльцев. В комнате их, как и в будуаре сибарита, ничего не было, кроме двух диванов, одного стола и стула. Эти два человека жили, кажется, очень дружно между собою и целые дни играли в преферанс, принимаясь за это дело с самого утра и продолжая онсе до поздней ночи. По наружности они были частью схожи: оба были одеты в страшно запачканные халаты, ноги одного покоились в валеных сапогах, а у другого в калошах; лица были у обоих испитые, нечистые, с небритыми бородами и с взъерошенными у одного черными, а у другого белокурыми волосами.

Во время прихода Татьяны Ивановны они были за обычным своим делом, то есть играли в преферанс. Хозяйка вошла к ним в номер с физиономией гордой и строгой.

— А вы уж с раннего утра и за карты! И праздника-то на вас нет, греховодники этакие,— сказала она, подходя к столу.

На эти слова игроки ничего не отвечали

— Ты в чем играл? — спросил один из них товарища.

— В червях — без одной,— отвечал другой.

— Нечего тут в червях; денег давайте лучше,— проговорила хозяйка.

— Купил,— сказал один игрок.

— Бубны,— перебил его партнер.

— Да что это, глухи, что ли, вы стали? Я пришла за деньгами.

— Пас и не приглашаю,— сказал игрок.

— Бесстыдники этакие! Еще благородные, а хотят чужой хлеб даром есть.

— Ну, ну, потише, почтеннейшая! — сказал один из постояльцев. — Куплю.

— Нечего потише... Что вы, племянники, что ли, мне, вас даром держать?

— Пикендрясы, — проговорил его товарищ.

— Да что я вам на смех, господа, что ли, далась? — сказала, начиная не на шутку сердиться, Татьяна Ивановна. — Сегодня же извольте съезжать, когда не хотите платить денег, а не то, право, в полицию пойду, разорители этакие!

Среди игры, среди забавы,  
Среди благополучных дней! —

запел один из игроков.

— Бескозырная, — прибавил он.

— Вист с болваном, — отвечал другой и тоже запел:

Среди богатства, чести, славы!

Татьяна Ивановна совершенно вышла из себя и плюнула.

— Провалиться мне сквозь землю, если я дам вам сегодня обедать; топить не стану; выюшки оберу, разбойники этакие... грабители... туда же в карты играют: милостинками, что ли, друг другу платить станете? — говорила она, выходя из номера.

— Ваня, — сказал один из постояльцев, — гривенник есть у тебя?

— Есть, — отвечал другой.

— Ладно, а то, брат, дура-то не пришлет обедать.

— Ничего... Хлеба купим... Пики!

Между тем Татьяна Ивановна отправилась в другой номер, в котором проживал ее постоялец *так себе* — танцевальный учитель; он, худой, как мертвец, лежал на диване под изорванным тулупом.

— Что, вам лучше ли? — сказала, войдя, Татьяна Ивановна. Больной кивнул отрицательно головой.

— Да вы бы в больницу ехали.

— Завтра.

— Да что завтра? Вот уже третий месяц говорите все: завтра.

— Денег нет!

— Продали бы что-нибудь.

— Все уже продано.

— То-то и есть, все продано; денег нет, а еще рому покупали в семь рублей, да еще и пьяны напились.

— Для испарины.

— Да для испарины не допьяна пьют. Больной человек, а туда же кугите. Марфутка сказывала, что едва вас оттерла.

— Я всю бутылку выпил. Что делать? С горя!

— Ну, а мне-то как же? За целый месяц ни копейки не платили, а ведь, я думаю, я каждый день нарочно для вас суп варю.

— Дайте поправиться.

— Полноте с вашим поправлением. Ноги-то, я знаю, у вас хороши, да губы-то к вину очень лакомы. Нет ли хоть сколько-нибудь?

— Ни копейки нет.

Татьяна Ивановна махнула рукой и вышла из комнаты.

В соседнем номере проживал третий ее *милашка*. Мало этого: он был, как сама она рассказывала, ее друг и поверял ей все свои секреты. Занимаемый им номер был самый чистый, хотя и не совсем теплый. В самом теплом номере проживал скрытный ее *милашка* — музыкант. В то время, как Татьяна Ивановна вошла к другу, он сидел и завивался. Марфутка, толстая и довольно неопрятная девка, исправлявшая, по распоряжению хозяйки, обязанность камердинера *милашки*, держала перед ним накаленные компасы.

— А вы все франтите? — сказала Татьяна Ивановна, входя в комнату.

— С добрым утром, почтеннейшая! Прошу принять место и побеседовать, — отвечал тот, старательно укладывая свои волосы в щипцы.

— Марфа вам нужна?

— Нет, я сам завьюсь... А что?..

— То-то, я хотела вам велеть кофею принести.

— Мерси, тысячу раз мерси, почтеннейшая. С большим удовольствием выпью, — сказал *милашка*, протягивая хозяйке руку.

— Для милого дружка и сережка из ушка, — сказала Татьяна Ивановна. — Поди свари, — прибавила она, обращаясь к Марфе.

Та вышла.

Так как этот друг Татьяны Ивановны должен в моем рассказе играть главную роль, то я обязанным себя счи-

таю поподробнее познакомить читателя с его наружностью, отчасти биографиєю и главными наклонностями. Сергей Петрович Хозаров, поручик в отставке, был лет двадцати семи; лицо его было одно из тех, про которые говорят, что они похожи на парижские журнальные картинки: и нос, например, у него был немного орлиный, и губы тонкие и розовые, и румянец на щеках свежий, и голубые, правильно очерченные и подернутые влагою глаза, а над ними тонкою дугою обведенные брови, и, наконец, усы, не так большие и не очень маленькие. Про прическу и говорить нечего: она была совершенно по моде того времени, то есть на теме приглажена, а на висках и на затылке разбита в букли. В лице его, если хотите, все было хорошо, свежо, даже правильно и гармонировало одно с другим; но в то же время чего-то недоставало, что вы желаете и любите видеть в лице человека. О подобных физиономиях существуют два совершенно противоположные мнения. Одни говорят, что это красавцы, миленькие, даже молодцы, мало этого, Аполлоны Бельведерские; другие же называют их смазливými рожицами, масками, расписными купидонами и даже форейторами, смотря по тому, какой у кого эпитет ближе на языке. О герое моем предоставлю вам, читатель мой, избрать какое будет угодно из вышеупомянутых мнений. Кроме своей приятной наружности, Сергей Петрович владел еще многими другими достоинствами. Служа в полку, он слыл за славного малого, удивительного мастера танцевать и вообще за человека хорошо образованного, потому что имел очень приличные манеры, говорил по-французски, владел пером и сочинял стихи, из коих двое даже были напечатаны в каком-то журнале, но главное — он имел необыкновенно много вкуса. При первой возможности молодой поручик так мило отделявал и меблировал свою квартиру, что приезжавшие к нему, разумеется, с мужьями, дамы ахали от восторга и удивления; экипаж у него был один из первых между всеми господами офицерами; жженку Хозаров умел варить классически и вообще с неподражаемым умением распорядился приятельскими пирушками и всегда почти, по просьбе помещиков, устраивал у них балы, и балы выходили отличные. Две только слабости имел молодой человек: во-первых, он был очень влюбчив, так что не проходило месяца, чтобы он в кого-нибудь не влюбился, и влюблялся обыкновенно искренне, но только ненадолго; во-вторых, имел

сильную склонность и большую в то же время способность — брать займы деньги. Над первую его слабостью товарищи подтрунивали и называли его *Сердечкиным*, вторым же недостатком даже тяготились, особенно в последнее время, так как эта склонность в нем со дня на день более и более развивалась. По выходе в отставку Хозаров года два жил в губернии и здесь успел заслужить то же реноме; но так как в небольших городах вообще любят делать из мухи слона и, по преимуществу, на недостатки человека смотрят сквозь увеличительное стекло, то и о поручике начали рассуждать таким образом: он человек ловкий, светский и даже, если вам угодно, ученый, но только мотыга, любит жить не по средствам, и что все свое состояньишко пропировал да пробарствовал, а теперь вот и ждет, не выпадет ли на его долю какой-нибудь дуры-невесты с тысячью душами, но таких будто нынче совсем и на свете нет. Конечно, читатель из одного того, что герой мой, наделенный по воле судеб таким прекрасным вкусом, проживал в номерах Татьяны Ивановны, — из одного этого может уже заключить, что обстоятельства Хозарова были не совсем хороши; я же, с своей стороны, скажу, что обстоятельства его были никуда не годны. Имение его уже окончательно было продано, в Москву он приехал с двумя тысячами на ассигнации; но что значат эти деньги для человека со вкусом? Капля в море! В настоящее время Хозаров жил старым кредитом во всевозможных местах, где только ему верили. К Татьяне Ивановне он явился после не совсем приятной истории с m-г Шевалдышевым, у которого он первоначально стоял, и явился, как говорится, с форсом, а именно, в отличном пальто и с эффектною палкою, у которой на ручном конце красовалась позолоченная головка одного из греческих мудрецов. Первоначально он потребовал лучший номер, раскритиковал его как следует, а потом, разговорившись с хозяйкою, нанял и в дальнейшем разговоре так очаровал Татьяну Ивановну, что она не только не попросила денег в задаток, но даже после, в продолжение трех месяцев, держала его без всякой уплаты и все-таки считала милашкою и даже передавала ему заимообразно рублей до ста ассигнациями из своих собственных денег. Любить его, несколько корыстно для самой себя, она не смела и подумать, но чувствовала к нему дружбу и гордилась этим. Милашка же, с своей стороны, высказывал сорокалетней девице самые задушев-

ные свои тайны. Что касается до помещения Сергея Петровича, то и оно обнаруживало главные его наклонности, то есть представляло видимую замашку на франтовство, комфорт и опрятность; даже постель молодого человека, несмотря на утреннее время, представляла величайший порядок, который царствовал и во всем остальном убранстве комнаты: несколько гравюр, представляющих охоту, Тальму в костюме Гамлета, арабскую лошадь, четырех дам, очень недурных собой, из коих под одной было написано: «весна», под другой: «лето», под третьей: «осень», под четвертой: «зима». Все они развешаны были совершенно симметрично. В углу стояло что-то вроде горки, в которую было вставлено несколько чубуков с трубками, в числе коих было до пяти черешневых с янтарными мундштуками. На столе, перед которым сидел Сергей Петрович, в старых, но все-таки вольтеровских креслах, были размещены тоже в величайшем порядке различные принадлежности мужского туалета: в середине стояло складное зеркало, с одной стороны коего помещалась щетка, с другой — гребенка; потом опять с одной стороны — помада в фарфоровой банке, с другой — фиксатуар в своей серебряной шкурке; около помады была склянка с оде-колоном; около фиксатуара флакончик с духами, далее на столе лежал небольшой портфель, перед которым красовались две неразлучные подружки: чернильница с песочницей. По одну сторону портфеля лежал пресс-папье, изображающий легавую собаку, который придавливал какие-то бумаги; с другой стороны находился тоже пресс-папье с изображением кабаньей головы; под ним ничего уже не было, и он, видимо, поставлен был для симметрии. Много еще было других предметов, обличающих стремление к модному комфорту; так, например, по стене стоял турецкий диван, под ногами хозяина лежала медвежья шкура, и тому подобное.

— Вы сегодня едете куда-нибудь? — спросила Татьяна Ивановна.

— Не знаю еще, — отвечал Хозаров.

— А вчера были там?

— Был.

— Ну, что?

— Ничего хорошего; я недоволен вчерашним вечером.

— Что такое?

— Она не любит меня!

— Ой, не говорите этого, Сергей Петрович, не говорите, ни за что не поверю: вы просто скрываете. Вы, мужчины, прескрытый народ в этих вещах.

— Нет, вы выслушайте наперед и расголкуйте мне, как это понять? Приезжаю я, как вы знаете, в семь часов. В зале никого. Я прошел к Катерине Архиповне. Она сидит одна; разумеется, сажусь и начинаю рассказывать разные разности, как можно громче смеюсь, хохочу,— не тут-то было! Прошел целый час, наконец, являются две старшие дядды; а ее все-таки нет! Я просто думал, что больна; но сами согласитесь, не ехать же домой. Уселся с барышнями в карты; смеюсь, шучу, а внутри, знаете, так и кипит: ничего не помогает; проходит еще час, два — не является. Наконец, уж я не вытерпел. «Здорова ли, я говорю, Марья Антоновна?» И как бы вы думали, что мне ответили? «Кошку свою, говорят, сегодня целый вечер моег с мылом». Я чуть не лопнул от досады. Во-первых, это глупо, а во-вторых, неприлично. Хорошо, думаю, мадемуазель, я вам отплачу, и тотчас же начал говорить любезности Анете. Та, как водится, принялась закатывать свои оловянные глаза, и пошла писать... Вдруг является, немного, знаете, бледная, грустная, поклонилась и села около матери, почти напротив меня. Я ни слова и продолжаю любезничать с Анетой. Та совсем растаяла, только что не обнимает...

— Послушайте, Сергей Петрович,— перебила Татьяна Ивановна,— вы ужасный человек. За что вы мучите этого ангела?

— Помилуйте, Татьяна Ивановна, что вы говорите? Она меня мучит.

— Нет, вы этого не говорите,— возразила хозяйка,— она, бедненькая, вероятно, это время мечтала о вас, а вы, злой человек, сейчас уж и стали заниматься с другой.

— Но послушайте, Татьяна Ивановна: любя человека, разве вы в состоянии были бы в каких-нибудь трех шагах просидеть два часа и не выйти, и чем же в это время заниматься: дурацким мытьем какой-нибудь мерзкой кошки!

— Конечно, я бы этого не в состоянии была сделать, потому что никогда кокетства не имела.

— Вот видите, вы сами проговорились; стало быть, она только кокетничает со мной.

— Этого не смейте при мне и говорить, Сергей Петрович! Она вас любит.

— Да из чего вы видите?



— Из всего; во-первых, вы говорите — она пришла немного бледная и потом села напротив, чтобы глядеть на вас.

— Ну, нет... Таким образом перетолковывать можно все,— произнес Сергей Петрович, которому, впрочем, последние слова хозяйки, кажется, очень были приятны.

— Послушайте,— начала Татьяна Ивановна, одушевившись.— Я любила одного человека... полюбила его с самого первого раза, как увидела. Он жил в одном со мною доме, и что же вы думаете? Я целую неделю не имела духу войти к нему в комнату.

— Это о соседе вы говорите? — спросил с улыбкою Хозаров.

— Ой, нет! О другом,— возразила, вспыхнув, Татьяна Ивановна.

— Не может быть! Верно, о нем.

— Нет, право, о другом; про этого только так говорят... Конечно, он ко мне равнодушен, да нет, не по моему вкусу!

— Все это прекрасно, Татьяна Ивановна, да мои-то дела плохи.

— Совсе не плохи. Головой моей отвечаю, что она вас любит и очень любит. Это ведь очень заметно: вот иногда придешь к ним; ну, разумеется, Катерина Архиповна сейчас спросит о вас, а она, миленькая этакая, как цветочек какой, тотчас и вспыхнет.

— Вы когда к ним пойдете, Татьяна Ивановна? — спросил Хозаров.

— Право, не знаю, Катерина Архиповна ужасно просит бывать у них почаще; сегодня думаю вечером сходить, показать им одной моей знакомой продажную брошку; недавно еще подарена ей, да не нравится фасон.

— А что, если б я попросил вас сделать для меня большое-пребольшое одолжение?

— Что такое?

— Вот дело в чем: надобно же узнать решительно, любит ли она меня или нет?

— Объяснитесь.

— Объясниться я не могу, потому что мне решительно не удастся говорить с ней. Эти две старшие дуры, Пашет и Анет, просто атакуют меня, и я вот что выдумал: недели две тому назад она спросила меня, чем я занимаюсь дома. Я говорю, что дневник писал. Она, знаете, немного

skonфyзившись, вдруг начала меня просить, чтобы я его показал ей; я обещался; дневника, впрочем, у меня никакого не бывало никогда; однако, придя домой, засел и накатал за целые полгода; теперь только надобно передать. Возьмитесь-ка, передайте.

— А что вы в дневнике написали?

— Ничего особенного. Пишу, как я увидел ее, полюбил, записаны все ее слова.

— Ведь вы этак ее, Сергей Петрович, совсем погубите! — возразила Татьяна Ивановна. — Это ужасно для девушки получить такое письмо, особенно от человека, которого любит!

— Это не письмо, а дневник; тут она нигде прямо не называется.

— Догадается, Сергей Петрович, сейчас догадается.

— Конечно, догадается. Для того и написано, чтоб догадалась. Сделайте одолжение, Татьяна Ивановна, передайте.

— Ох, Сергей Петрович, в грех вы меня вводите.

— Не в грех, почтеннейшая, а в доброе дело, — возразил Хозаров.

— Конечно, про вас я не могу ничего сказать, — отвечала хозяйка, — вы имеете благородные намерения, а другие мужчины, ах! Как они бедных женщин жестоко обманывают.

Сергей Петрович между тем бережно поднял пресс-папье, изображающий легавую собаку, и, вынув из-под него чисто переписанную тетрадку, начал ее перелистывать.

— Почитайте, пожалуйста, Сергей Петрович, что вы тут написали.

— Нельзя, Татьяна Ивановна, тайна

— Вот прекрасно! Да разве у вас может быть от меня тайна? Не пойду же, когда вы так поступаете.

— Ну, слушайте. Вот, например, начало: «Первого января я увидел в собрании одну девушку, в белом платье, с голубым поясом и с незабудками на голове».

— Это она самая; я ее видела в этом платье; еще, кажется, подол воланами отделан.

— Может быть; но слушайте: «Она меня так поразила, что я сбился с такта, танцуя с нею *вальс*, и, совершенно растерявшись, позвал ее на кадрили. Ах, как она прекрасно танцует, с какою легкостью, с какою грациею...

Я заговорил с нею по-французски; она знает этот язык в совершенстве. Я целую ночь не спал и все мечтал о ней. Дня через три я ее видел у С... и опять танцевал с нею. Она сказала, что со мною очень ловко вальсировать. Что значат эти слова? Что хотела она этим сказать?..» Ну, довольно.

— Ах, какой вы плут! Вы просто обольститель! Почитайте, батюшка, почитайте еще.

— Да что вам любопытного?

— Почитайте, пожалуйста! Я очень люблю, как про любовь этак пишут.

— Ну, вот вам еще одно место: «Сегодня ночью я видел сон; я видел, будто она явилась ко мне и подала мне свою лилейную ручку; я схватил эту ручку, покрыл миллионами пламенных поцелуев и вдруг проснулся. О! Если бы,— сказал я сам с собою,— я вместе с Грибоедовым мог произнести: *сон в руку!* Я проснулся с растерзанным сердцем и написал стихи. Вот они:

Прощай, мой ангел светлоокой!  
Мне не любить, не обнимать  
Твой гибкий стан во тьме глубокой,  
С тобой мне счастья не видаць.  
Я знаю, ты любить умеешь,  
Но не полюбишь ты меня,  
Мечту иную ты лелеешь;  
Но буду помнить я тебя.  
Ты мне явилась, как виденье,  
Как светозарный херувим,  
Но то прошло, как сновиденье,  
И снова я теперь один»

— Прекрасно! Бесподобно! — крикнула Татьяна Ивановна.— Батюшка Сергей Петрович, спишите мне эти стишки!

— После, Татьяна Ивановна, после; я наизусть их знаю.

— Ну, что после, напишите теперь.

— Право, после, теперь лучше потолкуем о деле. Я запечатаю вам в пакет; вы поедете, хоть часу в седьмом, сегодня; ну, сначала обыкновенно посидите с Катериной Архиповной, а тут и ступайте наверх — к барышням. Она, может быть, сидит там одна, старшие все больше внизу.

— Это можно; я у них по всем комнатам вхожу; они меня, признаться, с первого раза, как вы меня отрекомендовали, очень хорошо приняли. Будто сначала выйду в девичью, а там и пройду наверх.

— И прекрасно! Только что вы скажете? Как отдадите?

— Да что сказать? Скажу: от Сергея Петровича дневник, который вы просили. Не беспокойтесь, поймет...

— Конечно, поймет. Чудесно, почтеннейшая! Дайте вашу ручку,— сказал Сергей Петрович и крепко сжал руку друга-хозяйки.

— Только какой вы для женщин опасный человек,— сказала Татьяна Ивановна после нескольких минут размышления,— из молодых, да ранний.

— А что? — спросил с довольною улыбкою постоялец.

— Да так. Вы можете просто женщину очаровать, погубить.

— Мясник, Татьяна Ивановна, пришел,— сказала Марфа, входя в комнату.

— Ах, батюшки! Как я с вами заболталась! Прощайте, я было за деньгами к вам приходила.

— Нет, почтеннейшая, ей-богу, нет.

— Ну нет, так и нет; пакет ваш теперь отдадите?

— Через час пришлю.

— Ну, хорошо, прощайте.

Выйдя от Хозарова, Татьяна Ивановна остановилась перед номером скрытного *милашки* и несколько времени пробыла в раздумье; потом, как бы не выдержав, приотворила немного дверь.

— Придете обедать? — сказала она каким-то чересчур нежным голосом.

— Нет,— отвечал голос изнутри.

— Почему же?

— Ноты пишу.

— Ну вот уж с этими нотами! А чай придете пить?

— Нет, пришлите водки.

Татьяна Ивановна затворила дверь, вздохнула и прошла к себе, велев, впрочем, полавшейся навстречу Марфе отнести во второй номер водки.

Сергей Петрович, оставшись один, принялся писать к приятелю письмо, которое отчасти познакомит нас с обстоятельствами настоящего повествования и отчасти послужит доказательством того, что герой мой владел пером, и пером прекрасным. Письмо его было таково:

«Любезный друг, товарищ дня и ночи!

Я уведомлял тебя, что еду в Москву определяться в статскую службу; но теперь я тебе скажу философскую истину: человек предполагает, а бог располагает; каприз-

ная фортуна моя повернула колесо иначе; вместо службы, кажется, выходит, что я женюсь, и женюсь, конечно, как благородный человек, по страсти. Представь себе, *mon cher*<sup>1</sup>, невинное существо в девятнадцать лет, розовое, свежее,— одним словом, чудная майская роза; сношения наши весьма интересны: со мною, можно сказать, случился роман на большой дороге. Прошедшего года, в этой дурацкой провинции, в которой я имел глупость прожить около двух лет, я раз на бале встретил молоденькую девушку. Просто чудо, *mon cher*, как она меня поразила! В ней было что-то непохожее на других, что-то восточное, какая-то грёзовская головка. Я с нею протанцевал несколько кадрилей и тут убедился, что она необыкновенно милое, резвое дитя, которое может нашего брата, ветерана, одушевить, завлечь, одним словом, унести на седьмое небо; однако тем и кончилось. Поехав в Москву из деревни, на станции съезжаю я с одним барином; слово за слово, вижу, что человек необыкновенно добродушный и даже простой; с первого же слова начал мне рассказывать, что семейство свое он проводил в Москву, что у него жена, три дочери, из коих младшая красавица, которой двоюродная бабушка отдала в приданое подмосковную в триста душ, и знаешь что, *mon cher*, как узнал я после по разговорам, эта младшая красавица — именно моя грёзовская головка! Я не мог удержаться и тогда же подумал: «О, судьба, судьба! Видно, от тебя нигде не уйдешь». Он снабдил меня письмом к его семейству, с которым я теперь уже и сошелся по-дружески, познакомясь вместе с тем и со всем их кружком. Дела идут недурно; одно только меня немного смущает, что у них каждый день присутствует какой-то жирный барин, Рожнов; потому что кто его знает, с какими он тут бывает намерениями, а лицо весьма подозрительное и неприятное.

Так-то, *mon cher*, я женюсь, и непременно женюсь! Да, мой друг, я теперь убедился, что наша прошлая жизнь — все пустяки! На что мы, холостяки, похожи? Грязь, грязь — и больше ничего! Нет ни одного отрадного явления, нет человека, с кем бы разделить чувства. Такое ли счастье человека, который сидит в прекрасном кабинете, сладко полудремлет, близ него милое, прелестное существо — вот это жизнь! Кроме сих и оных моих делишек, я здесь в порядочном кругу; особенно один дом Мамилловых.

<sup>1</sup> дорогой мой, (франц.)

Представь себе, аристократический тон во всем: муж — страшный богач, более полугода живет в южных губерниях и занимается торговыми операциями, жена — красавица и, говорят, удивительная фантазерка и философка. Теперь я с ними еще не так короток, но, однако, очень дорожу их знакомством и постараюсь сблизиться.

Прими уверение в совершенном моем почтении и преданности, с коими и остаюсь покорный к услугам

Хозаров».

## II

В зале, о которой упоминал Хозаров, за большим круглым столом, где помещался самовар с его принадлежностями, сидели Катерина Архиповна и ее семейство, то есть: Пашет, Анет и Машет. Впрочем, в среде этого семейства помещалось новое лицо, какой-то необыкновенно высокий мужчина, который, конечно, кинулся бы вам в глаза по своему огромному носу, клыкообразным зубам и большим серым, навывкате и вместе с тем ничего не выражающим глазам. По загорелому его лицу нетрудно было догадаться, что он недавно с дороги. Это подтверждалось и тем, что в комнате было расставлено несколько дорожных вещей. Катерина Архиповна, дама лет около пятидесяти, черноволосая, немного сердитая на вид и с довольно крупными чертами лица, была, кажется, в весьма дурном расположении духа. Две старшие дочери, Пашет и Анет, представляли резкое сходство с высоким мужчиной как по высокому росту, так и по клыкообразным зубам, с тою только разницею, что глаза у Пашет были, как и у маменьки, — сухие и черные; глаза же Анет, серые и навывкате, были самый точный образец глаз папеньки (читатель, вероятно, уж догадался, что высокий господин был супруг Катерины Архиповны); но третья дочь, Машет, была совершенно другой наружности. Это была небольшого роста брюнетка с выразительными чертами лица, с роскошными волосами, убранными для вящего очарования à l'enfant<sup>1</sup>, с черными и живыми глазами и с веселой улыбкой.

При внимательном, впрочем, наблюдении в девушке можно было заметить сходство с матерью, замаскированное, конечно, молодостью, здоровьем, невинностью и ка-

<sup>1</sup> по-детски, (франц.)

ким-то еще чуждым началом, не замечаемым ни в одном из членов семейства. Катерина Архиповна, как я прежде объяснил, была не в духе: как-то порывисто разлила она чай по чашкам и подала их дочерям, а предназначенный для супруга стакан даже пихнула к нему. Антон Федотыч Ступицын, имя родоначальника семейства, принял довольно равнодушно так невежливо препровожденный к нему стакан и принялся пить чай с большим аппетитом. Отпив половину стакана, он потихоньку встал, взял трубку и закурил.

— Фу, батюшки, опять с своим куреньем,— сказала Катерина Архиповна, отмахивая от себя табачный дым.

— Ничего, душа моя, я так... немножко,— отвечал Антон Федотыч, тоже размахивая дым.

— Это у него ничего, как из трубы... Жили бы там себе в деревне и курили, сколько хотелось: так нет, надобно в Москву было приехать.

— Нельзя было, душа моя. Генерал просто меня прогнал; встретил в лавках: «Что вы, говорит, сидите здесь? Я, говорит, давно для вас место приготовил». Я говорю: «Ваше превосходительство, у меня хозяйство». — «Плюньте, говорит, на ваше хозяйство; почтенная супруга ваша с часу на час вас ждет»,— а на другой день даже письмо писал ко мне; жалко только, что дорогою затерял.

В продолжение всей этой речи Катерина Архиповна едва сдержала себя.

— Я хочу вас, Антон Федотыч, спросить только одно: перестанете вы когда-нибудь лгать или нет?

— Что лгать-то,— отвечал немного смешавшийся Ступицын, — спроси Пиронова; при нем вся эта история была.

— Нечего мне Пиронова спрашивать; двадцать пятый год я, милый друг мой, вас знаю; перед кем-нибудь уж другим выдумывайте и лгите. Ну, зачем вы сюда приехали? Для какой надобности?

— Да ведь я тебе говорил, душа моя, что генерал...

— Не говорите вы мне, бога ради, про генерала и не заикайтесь про него, не сердите хоть по крайней мере этим. Вы все налгали, совершенно-таки все налгали. Я сама его, милостивый государь, просила; он мне прямо сказал, что невозможно, потому что места у них дают тем, кто был по крайней мере год на испытании. Рассудили ли вы, ехав сюда, что вы делаете? Деревню оставили без вся-

кого присмотра, а здесь — где мы вас поместим? Всего четыре комнаты: здесь я, а наверху дети.

— Да много ли мне места надобно? Я вот хоть здесь...

— Скажите на милость: он здесь — в зале расположится; одна чистая комната, он и в той дортуар себе хочет сделать. Вы о семействе никогда не думали и не думаете, а только о себе; только бы удовлетворять своим глупым наклонностям: наесться, выспаться, накурить полную комнату табаком и больше ничего; ехать бы потом в гости, налгать бы там что-нибудь — вот в Москву, например, съездить. Сделали ли вы хоть какую-нибудь пользу для детей, выхлопотали, приобрели ли что-нибудь?

— Да я думал... — начал было Антон Федотыч.

— Ничего вы не думали, — перебила Катерина Архиповна, — солгали где-нибудь, что в Москву едете, да после и стыдно было отказаться.

Последние слова очень сконфузили Ступицына.

— Мне нечего стыдиться, — проговорил он.

— Знаю, что вы давно стыд-то потеряли. Двадцать пятый год с вами маюсь. Все сама, везде сама. На какие-нибудь сто душ вырастила и воспитала всех детей; старших, как помоложе была, сама даже учила, а вы, отец семейства, что сделали? За рабочими не хотите хорошенько присмотреть, только конфузите везде. Того и жди, что где-нибудь в порядочном обществе налжете и заставите покраснеть до ушей.

— Бранитесь, бранитесь, как хотите; эту песню я уже двадцать пять лет слушаю, — проговорил, махнув рукой, Антон Федотыч.

— Да вы хоть кого из терпения выведете, — возразила Катерина Архиповна. — Не сиделось вам в деревне, в Москву прискакали; на почтовых, я думаю, ехали. Вот я просмотрю оброчный счет. Привезли ли счет-то по крайней мере?

— Привез; сто рублей всего собрано.

— Знаю я вас, милостивый государь, сто рублей. Я, впрочем, усчитаю. Хоть бы вы то рассудили: что я, для удовольствия, что ли, живу здесь?

— Кто вас знает, зачем вы здесь живете.

— Как же — для любовников! Посмотрите-ка, сколько их в пятьдесят-то лет завела. Скажите на милость: он не знает, зачем я здесь живу! Знаете ли по крайней мере, что у нас в Москве тяжба? Это-то вы хоть знаете ли?



— Конечно, знаю.

— Так что же-с, вам, что ли, мне поручить хлопотать? Фамилию свою хорошенько не умеете подписать.

— Вы уж очень учены; где нам! — возразил Антон Федотыч.

— Конечно, лучше вашего все понимаю; как угорелая ежду по добрым знакомым да кланяюсь и прошу, чтоб растолковали да научили. Вот с завтрашнего дня все вам передам: хлопочите, ходатайствуйте. Слава богу, свой стряпчий приехал, можно успокоиться: обделает дело.

— Я военный человек, статских дел не знаю.

— Скажите, какой воин,— ветеран заслуженный; много ли изволили ран получить? В каких сражениях были?

— Ругайтесь, как хотите ругайтесь, я уж не стану и говорить,— произнес со вздохом Антон Федотыч и опять махнул рукой.

— Ну, думала,— продолжала Катерина Архиповна:— приехала в Москву, наняла почище квартиру, думала, дело делом, а может быть, бог приведет и дочерей устроить. Вот тебе теперь и чистота. Одними окурками насорит все комнаты. Вот в зале здесь с своим прекрасным гардеробом расположится,— принимай посторонних людей. Подумали ли вы хоть о гардеробе-то своем? Ведь здесь столица, а не деревня; в засаленном фраке — на вас все пальцем будут показывать.

— Что мне гардероб-то, ведь я не молоденький,— возразил Антон Федотыч.

— Да вы отец семейства; по вашей наружности будут судить и о прочих.

— Я сошью себе фрак; всего сто рублей.

— Конечно, как вам не сшить? Сто рублей для вас пустяки. Вместо того чтобы жить в деревне да сколачивать копейку, чтобы как-нибудь, да поблагороднее, поддерживать семейство,— не тут-то было: в Москву приискал, франтом хочет быть; место он приехал получать. Вот, не угодно ли? Есть свободное: в нашей будке будочник помер.

— Ну, бог с тобой, расписывай,— проговорил уже потерявший совсем терпение Антон Федотыч, махнул рукой, вздохнул и вышел из комнаты на крыльцо.

Здесь я должен заметить, что всю предыдущую сцену

между папенькой и маменькой две старшие дочери, Пашет и Анет, выслушивали весьма хладнокровно, как бы самый обыкновенный семейный разговор, и не принимали в нем никакого участия; они сидели, поджав руки: Анет поводила из стороны в сторону свои большие серые глаза, взглядывая по временам то на потолок, то на сложенные свои руки; Пашет свои глаза не поводила, а держала их постоянно устремленными на маменьку или на лежавший около нее белый хлеб — доподлинно я не знаю; одна только Машет волновалась родительскою размолвкою, или по крайней мере ей было это скучно.

Все, что ни говорила Катерина Архиповна своему супругу, все была самая горькая истина: он ничего не сделал и не приобрел для своего семейства, дурно присматривал за рабочими, потому что, вместо того чтобы заставлять их работать, он начинал им обыкновенно рассказывать, как он служил в полку, какие у него были тогда славные лошади и тому подобное. Генерала он только видел, но тот ему ни слова не говорил о месте; а приехал в Москву единственно потому, что, быв в одной холостой у казначея компании и выпив несколько рюмок водки, прихвастнул, что он на другой же день едет к своему семейству в Москву, не сообразя, что в числе посетителей был некто Климов, его сосед, имевший какую-то странную привычку ловить Антона Федотыча на словах, а потом уличать его, что он не совсем правду сказал. Услышав, что Ступицын возвестил о поездке в Москву, сосед не упустил случая и возгласил во всеуслышание: «Солгал, брат Антоша, не поедешь ты в Москву». — «Это уж представьте мне лучше знать», — возразил уклончиво Ступицын. — «Опять повторяю при всей честной компании: не поедешь ты в Москву», — проговорил еще громче Климов. — «А вот увидим», — отвечал опять уклончиво Ступицын. — «Нечего тут видеть, а вот что, — продолжал Климов, — ты сказал, что завтра поедешь; завтра, брат, я сам еду в Москву; едем вместе, и вот пари: поедешь — моя дюжина шампанского, не поедешь — твоя!» — «Идет», — отвечал Ступицын, и тут же два соседа ударились по рукам. На другой день Ступицын пораздумал и уже решил было потихоньку уехать в деревню; но Климов приехал к нему со всей честной компанией. Не ехать, значит, надобно было отдать пари. «Что будет, то будет, лучше поеду», — подумал Антон Федотыч. К этому реше-

нию его еще более подстрекали имевшиеся в кармане сто рублей, привезенные было для отправления к супруге.

Климов проиграл: Антон Федотыч, сильно подгуляв, поехал с ним в Москву.

Для большего уяснения характера этого человека, я должен сказать, что Ступицын вовсе не мог быть отнесен к тем неприличным лгунам, которые несут бог знает какую чушь, ни с чем несообразную. Напротив того, он говорил весьма сбыточные и обыкновенные вещи, но только они с ним не случались и не могли даже случаться. Судьба, или, лучше сказать, Катерина Архиповна, держала его, как говорится, в ежовых рукавицах; очень любя рассеяние, он жил постоянно в деревне и то без всяких комфорта, то есть: ему никогда не давали водки выпить, что он очень любил, на том основании, что будто бы водка ему ужасно вредна; не всегда его снабжали табаком, до которого он был тоже страстный охотник; продовольствовали более на молочном столе, тогда как он молока терпеть не мог, и, наконец, заставляли щеголять почти в единственном фраке, сшитом по крайней мере лет шестнадцать тому назад. Всем этим лишениям Антон Федотыч покорялся терпеливо и не предпринимал ничего к выходу из подобного положения. Невинным и единственным его развлечением было то, что он, сидя в своей комнате, создавал различные приятные способы жизни, среди которых он мог бы существовать: например, в одно холодное утро, на ухарской тройке, он едет в город; у него тысяча рублей в кармане; он садится играть в карты, проигрывает целую ночь. На другой день зовет к себе гостей; до приезда еще их выпивает крепкой очищенной водки. Друзья съезжаются, он угощает их превосходным обедом с шампанским и с мороженым; вечером заставлял играть своих музыкантов, которых у него тридцать человек. Пошалив таким образом, на другой день принимается за дело: ходит по постройкам, а вечером пишет письма в Петербург, чтобы ему выслали четыре ящика вина,— словом, живет на широкую ногу, русским барином. Все такого рода мечтания так укоренялись в голове Ступицына, что он сам начинал в них верить, как в действительность, и очень любил их высказывать себе подобным; но, увы! Эти себе подобные, если они хоть немного знали Антона Федотыча, не говоря уже о семейных, эти себе подобные обрезывали его на первом слове: «Полно, брат, врать,

Антон Федотыч», «Замололи вы, Антон Федотыч». Более же деликатные, особенно из дам, отходили от него обыкновенно в самом начале разговора. Были и такие проказники, которые говорили: «Поври что-нибудь, Антон Федотыч». — «Сами извольте врать», — отвечал добросердый Ступицын.

Катерина Архиповна была прекрасная семьянинка, потому что, несмотря на все неуважение к мужу, которого она считала самым пустым и несносным человеком в мире, сохранила свою репутацию в обществе и, по возможности, старалась скрыть между посторонними людьми недостатки супруга; но когда он бывал болен, то даже сама неусыпно ухаживала за ним. Пиля его, как говорится, каждодневно, она всегда относилась к нему во втором лице множественного числа и прибавляла частичку «с». Кроме того, надобно отдать ей честь, она была самая расчетливая и неутомимая хозяйка и добрая мать: при весьма ограниченных средствах, она умела жить чистенько и одевала дочерей хотя не богато, но, право, весьма прилично. Двух старших она любила так себе, посредственно, но младшая была ее идол; для нее она готова была принести в жертву двух старших дочерей, мужа, все свое состояние и самое себя. Над всеми и над всем она была госпожой в доме и только в отношении Мари делалась рабою, и рабою беспрекословною. Постоянные хлопоты по хозяйству, о детях, вечная борьба с нуждою, каждодневные головомойки никуда не годному супругу — все это развило в Катерине Архиповне желчное расположение и значительно испортило ее характер; она брюзжала обыкновенно целые дни то на людей, то на дочерей, а главное — на мужа. Две старшие дочери, Пашет и Анет, очень любили новые платья, молодых мужчин и питали самое страстное желание выйти поскорее замуж; кроме того, они были очень завистливого характера. Анет, как и папенька, любила сказать красное словцо, Пашет же была очень молчалива и наследовала от папеньки только сильный аппетит. Обе эти девицы были влюблены по нескольку раз, хотя и не совсем с успехом; маменьки они боялись, слушались ее и уважали; вследствие того и в отношении папеньки разделяли вполне ее мнение, то есть считали его совершенно за нуль и только иногда относились к нему с жалобами на младшую, Машет, которую обе они терпеть не могли, потому что она была идолом

маменьки, потому что ей шили лучшие платья и у ней было уже до пятка женихов, тогда как им не досталось еще ни одного. Что касается до Мари, то она, по словам Катерины Архиповны, еще не сформировалась, была совершенный ребенок и несколько месяцев только перестала играть в куклы и начала читать романы.

Антон Федотыч, которого мы оставили на крыльце, все еще сидел там и не входил в комнату. Средство это он, особенно в холодное время года, употреблял издавна и всегда почти для себя с успехом. Во-первых, уходя на крыльцо, он удалялся от супруги; во-вторых, освежался на воздухе от головомойки и, наконец, в-третьих, возбуждал к себе в Катерине Архиповне участие. Спустя четверть часа она обыкновенно говорила: «Что, сумасшедший-то там стоит? Простудится еще: эй, девочка, мальчик! Подите скажите барину, что он там стоит?» Барину сказывали, и он возвращался торжествующий и спокойный, потому что Катерина Архиповна после этого обыкновенно его уже не журила и даже иногда говорила, чтобы он выпил водки. В настоящее время Катерина Архиповна, видно, очень рассердилась; прошло уже более четверти часа, как Ступицын сидел на рундучке крыльца, а она не высылала; Антону Федотычу становилось очень холодно; единственный предмет его развлечения — луна — скрылась за облаками. Вдруг в темноте послышались шаги.

— Ах! — вскрикнул вслед за тем женский голос.

— Ух, черт возьми! — произнес с своей стороны Ступицын, схватившись за живот, в который ударилась чья-то нога.

— Кто это? — повторил тот же голос.

— А ты кто? — спросил Ступицын.

— Я пришла к знакомым моим, — сказал женский голос. — Вы здешний?

— Здешний. Кого вам надо?

— Катерину Архиповну.

— Жену мою?

— Вы супруг Катерины Архиповны?

— Точно так.

— Ах, боже мой, извините, я очень хорошая знакомая Катерины Архиповны. Честь имею рекомендоваться: Татьяна Ивановна Замшева.

— Позвольте и мне, с своей стороны, представиться:

Антон Федотыч Ступицын. Что мы здесь стоим? Милости прошу!

Хозяин и гостя вошли в залу, в которой никого уже не было. Татьяна Ивановна и Антон Федотыч смотрели несколько времени друг на друга с некоторым удивлением. Обоих их поразили некоторые странности в наружности друг друга. Антону Федотычу кинулись в глаза необыкновенные рябины Татьяны Ивановны, а Татьяна Ивановна удивлялась клыкообразным зубам и серым, навывкате глазам Ступицына. Оба простояли несколько минут в молчании.

— Могу ли я видеть почтеннейшую Катерину Архиповну? — проговорила Татьяна Ивановна.

— Не знаю-с; она там у себя. Я сейчас спрошу, — отвечал Ступицын и вышел. К супруге, впрочем, он не пошел, но, постояв несколько времени в темном коридоре, вернулся.

— Она чем-то занята, милости прошу садиться, — проговорил он и, указав госте место, сам сел на диван.

— По семейству, вероятно, соскучились и изволили приехать повидаться? — начала Татьяна Ивановна.

— Да, повидаться захотелось, — отвечал Антон Федотыч, — раньше нельзя было; у меня нынче летом были большие постройки: тысяч на шесть построил.

— На шесть тысяч?

— Почти на шесть. Два скотных двора на каменных столбах — тысячи в две каждый, да кухню новую построил в пятьсот рублей. Нельзя, знаете, усадьба требует поддержки.

— Без всякого сомнения; однако у вас и усадьба должна быть отличная.

— Изрядная. Хлебопашество, главное дело, в хорошем виде: рожь родится сам-десять, это, не хвастаясь, можно сказать, что я устроил. Прежде, бывало, как сам-пят придет, так бога благодарили.

— Скажите, что значит хозяйство.

— Хозяйство вещь важная, глубокомысленная в то же время, — сказал Ступицын.

— Нынче без ума нигде нельзя, — заметила Татьяна Ивановна.

Разговор на несколько минут остановился.

— Да это бы ничего, — начал опять Ступицын, — за

хозяйством бы я не остановился, да баллотировка была, так, знаете, нельзя.

— Вы изволили баллотироваться?

— Нет, то есть меня очень просили в предводители, да не мог — отказался.

— Отчего же это не захотели послужить?

— Нельзя-с, семейные обстоятельства; впрочем, на одном обеде мне очень выговаривали... совестно, а делать нечего.

— Конечно, Антон Федотыч, в семействе иногда и не хочешь, а делаешь.

— Не иногда, а всегда. Вы имеете детей?

— Я девица.

— А батюшка жив?

— Помер. Я живу одна — сиротой... Каковы дороги?

— Кажется, хороши: шоссе отличное, а проселков я почти и не заметил. У меня очень покойный экипаж.

— Бричка, верно?

— Нет, коляска; совершенная люлька; прочности необыкновенной, и, вообразите, я ее купил у соседа за полторы тысячи и вот уже третий год езжу, ни один винт не повредился.

— Приятно в таких экипажах ездить, — заметила Татьяна Ивановна. — Вот мне здесь случалось с знакомыми ездить, так просто прелесть. Нынче, я думаю, таких экипажей прочных не делают.

— Есть и нынче, только дóроги. Нынче, впрочем, все вздорожало. Вот хоть бы взять с поваров: я платил в английском клубе за выучку повара по триста рублей в год; за три года ведь это девятьсот рублей.

— Легко сказать: девятьсот рублей! Впрочем, я думаю, и повар вышел отличный?

— Бесподобный. Он у нас теперь в деревне; так вот беда: захочешь иногда такой для знакомых сделать обед, закажешь ему, придет: «Вся ваша воля, говорит, я не могу: запасов нет». Мы думаем его сюда привезти. Вот здесь он покажет себя; милости прошу тогда к нам отобедать.

— Покорнейше вас благодарю, я уж и так много обласкана вниманием Катерины Архиповны. А я заговорила и не спросила: здоровы ли Прасковья Антоновна, Анна Антоновна и Марья Антоновна?

— Слава богу. Я, признаться сказать, очень рад, что они сюда переехали, а то в деревне от женихов отбою нет.

— Ну, этим для родителей тяготиться нечего.

— Даша! — послышался голос Катерины Архиповны. — Где барин?

— В зале, с Татьяной Ивановной разговаривают, — отвечала горничная.

— Теперь, я думаю, можно к Катерине Архиповне? — спросила гостья.

— Можно, я думаю, — отвечал Антон Федотыч, остановленный голосом супруги.

Татьяна Ивановна ушла. Антон Федотыч сидел несколько минут в каком-то приятном довольстве от того, что успел себя показать новому лицу и еще даме. Посидев несколько времени, он вдруг встал, осмотрел всю комнату и вынул из-под жилета висевший на шее ключ, которым со всевозможною осторожностью отпер свой дорожный ларец, и, вынув оттуда графин с водкою, выпил торопливо из него почти половину и с теми же предосторожностями запер ларец и спрятал ключ, а потом, закури́в трубку, как ни в чем не бывало, уселся на прежнем месте.

Подобного рода контрабанду Антон Федотыч употреблял в своей безотрадной жизни при всяком удобном случае, то есть когда у него случалось хоть сколько-нибудь денег. Для этой, собственно, цели имел он особую шкапу́лку, которую тщательно запира́л и никому не показывал, что в ней хранится.

Татьяна Ивановна, войдя к хозяйке, которая со всеми своими дочерьми сидела в спальней, тотчас же рассыпалась в разговорах: поздравила всех с приходом Антона Федотыча, засвидетельствовала почтение от Хозарова и затем начала рассказывать, как ее однажды, когда она шла от одной знакомой вечером, остановили двое мужчин и так напугали, что она после недели две была больна горячкою, а потом принялась в этом же роде за разные анекдоты: описала несчастье одной ее знакомой, на которую тоже вечером кинулись из одного купеческого дома две собаки и укусили ей ногу; рассказала об одном знакомом ей мужчине — молодце и смельчаке, которого ночью мошенники схватили на площади и раздели донага.

— Ах, какие вы ужасы рассказываете, — сказала Катерина Архиповна.



— Как же вы от нас пойдете? — заметила Мари.

— А как бог приведет; признаться сказать, очень потрушиваю, да уж повидаться очень хотелось, — отвечала Замшева.

— Вы извозчика возьмите, — сказала хозяйка.

— Ай, нет, Катерина Архиповна, ни за что в свете, — возразила гостья и здесь рассказала происшествие, случившееся с одною какой-то важною дамою, которая ехала домой на извозчике и которую не только обобрали, но даже завезли в такой дом, о котором она прежде и понятия не имела. После этого рассказа ужас овладел всеми дамами.

— Хорошо, что мы никогда на извозчиках не ездим, — сказала мать. — Когда мы выезжаем, — прибавила она, обращаясь к Татьяне Ивановне, — то знакомые обыкновенно на своих лошадях нас возят.

— Мамаша! Татьяну Ивановну, пожалуй, оберут, — сказала Мари, принимавшая больше всех участия в гостье, — она бы у нас ночевала.

— В самом деле, ночуйте у нас, — проговорила хозяйка, — да только где?

— У меня в комнате, — отвечала Машет.

— Ах; боже мой, что вы беспокоитесь; мне, право, очень совестно, что доставляю столько хлопот, — отвечала жеманно Татьяна Ивановна. — Какой у вас ангельской доброты Марья Антоновна! — прибавила она вполголоса Катерине Архиповне.

— Очень добра, — отвечала мать, с удовольствием глядя на дочь. — Вы ночуете в ее комнате; у ней наверху особый кабинетик.

— Ночую, Катерина Архиповна, — отвечала Татьяна Ивановна, — я очень боюсь идти.

Перед ужином Антон Федотыч вошел, наконец, в комнату жены и уселся на отдаленное кресло. Впрочем, он ничего не говорил и только, облизываясь языком, весело на всех посматривал. Заветный ящик еще раз им был отперт.

— Что это глаза у вас какие странные? — заметила Катерина Архиповна.

— Ветром надуло, — отвечал Антон Федотыч.

За ужином Катерина Архиповна ничего не ела, потому что все еще была расстроена. Машет отучили ужинать в пансионе; Анет никогда не имела аппетита, а Татьяна

Ивановна отказывалась из деликатности. Одна только Пашет с папенькой ратоборствовали: они съели весь почти суп, соус, жареное и покончили даже хлеб и огурцы. После ужина барышни и Татьяна Ивановна, простившись с хозяевами, отправились наверх. Антону Федотычу, впредь до дальнейших распоряжений, повелено было спать в зале на диване, с строжайшим запрещением сорить. Пашет и Анет, не простившись с сестрою, ушли к себе наверх в общую их спальню. Татьяне Ивановне было постлано в кабинете Мари на кушетке. Гостья за причиненные хлопоты еще раз извинилась перед Катериною Архиповною, которая не утерпела и пришла поцеловать и перекрестить своего идола.

— Ах, какие вы, Марья Антоновна, хорошенькие,— сказала Татьяна Ивановна, когда девушка разделась.

Та, улыбнувшись, прыгнула в постель и начала укутываться в теплое одеяло.

— Я к вам с поручением,— начала Татьяна Ивановна, подойдя к кровати.— Я принесла вам от Сергея Петровича дневник, который вы просили,— прибавила она, подавая конверт.

Мари сначала с каким-то испугом взглянула на посредницу, а потом, вся вспыхнув, схватила пакет и спрятала его под подушки.

Татьяна Ивановна хотела было говорить, но Мари показала ей на соседнюю комнату и приложила в знак молчания пальчик к губам. Татьяна Ивановна поняла, что это значит: она кивнула головой, отошла от кровати и улеглась на своем ложе. Прошло более часа в совершенном молчании. Татьяне Ивановне показалось, что Мари заснула, ее самое начал сильно склонять сон. Вдруг видит, что девушка, потихоньку встав с постели, начала прислушиваться; Татьяна Ивановна захрапела. Мари, видно, этого и поджидавшая, потихоньку встала с постели, вынула из-под подушек дневник и на цыпочках подошла к лампаде. Дрожащими руками она распечатала пакет, поцеловала тетрадку и быстро начала читать. С каждою строчкою волнение ее увеличивалось; щеки ее то бледнели, то горели ярким румянцем. Она, кажется, готова была заплакать. Дочитав до конца, она схватила себя за голову и потом снова начала перечитывать. В середине тетрадки, а именно на том самом месте, как могла заметить Татьяна Ивановна, где были написаны знакомые

нам стихи, она еще раз поцеловала листок. Прочитав другой раз, девушка опять на цыпочках подошла к своей кровати и улеглась в постель; но не прошло четверти часа, она снова встала и принялась будить Татьяну Ивановну, которая, будто спросонья, открыла глаза.

— Возьмите, — сказала шепотом Мари, подавая ей тетрадку.

— А что же? — спросила Татьяна Ивановна.

— Здесь сестрицы найдут.

— Да вы сами-то напишите ему что-нибудь.

— Не могу.

— Так что же мне ему сказать?

— Скажите, что merci<sup>1</sup>.

Проговоря это, девушка сунула дневник под подушку Татьяне Ивановне и тотчас же улеглась в постель.

«Какая миленькая и умненькая девушка», — проговорила сама с собою Татьяна Ивановна и совершенно осталась довольна своим успехом: она все видела и все очень хорошо поняла.

Возвратившись домой ранним утром, девица Замшева тотчас же разбудила своего милашку Сергея Петровича и пересказала ему все до малейшей подробности и даже с некоторыми прибавлениями.

### III

Четвертого декабря, то есть в Варварин день, Хозаров вместе с Татьяною Ивановною был в больших хлопотах: ему предстоял утренний визит с поздравлением и танцевальный вечер в доме Мамиловых, знакомством которых он так дорожил. Туалетом своим он занялся с самого утра, в чем приняла по своей дружбе участие и Татьяна Ивановна. Первая забота Хозарова была направлена на завивку волос, коими уже распоряжалась не Марфа, а подмастерье от парикмахера, который действительно и завил мастерски. Девица Замшева, исполненная дружеских чувствований к Хозарову, несмотря на свойственную ей полустыдливость, входила во все подробности мужского туалета.

— Что хотите, Сергей Петрович, — говорила она, — а сорочка нехороша: полотно толсто и сине; декос гораздо был бы виднее.

<sup>1</sup> благодарю. (франц.)

— Какие вы, Татьяна Ивановна, говорите несообразности! — возразил Хозаров. — Кто же носит декос?

— Все носят: я жила в одном графском доме, там везде декос.

— Ошибаетесь, почтеннейшая, верно, батист: это другое дело.

— Слава богу, уж этого-то мне не знать, просто декос, — декос и на графе, — декос и на графине.

— Заблуждаетесь, почтеннейшая, и сильно заблуждаетесь. Голландское полотно лучше всего.

— Лучше бы вы, Сергей Петрович, не говорили мне про полотно, — возразила Татьяна Ивановна, — полотно — полотно и есть: никакого виду не имеет... В каком вы фраке поедете? — спросила она после нескольких минут молчания, в продолжение коих постоялец ее нафабриковал усы.

— Разумеется, в черном, — отвечал тот.

— Наденьте коричневый; вы в том наряднее, да у черного у вас что-то сзади оттопыривает.

— Нет, почтеннейшая, вы в мужском наряде, извините меня, просто ничего не понимаете, — сказал Хозаров. — Нынче люди порядочного тона цветное решительно перестают носить.

— Что и говорить! Вы, мужчины, очень много понимаете, — отвечала Татьяна Ивановна, — а ни один не умеет к лицу одеться. Хотите, дам булавку; у меня есть брильянтовая.

— Нет, не нужно; а лучше дайте мне денег хоть рублей десять; не шлют, да и только из деревни, — что прикажете делать! Нужно еще другие перчатки купить.

— Право, нет ни копейки.

— Ни-ни-ни, почтеннейшая, не извольте этого и говорить.

— Да мне-то где взять, проказник этакий? — говорила Татьяна Ивановна, опуская, впрочем, руку в карман.

— Очень просто: взять да вынуть из кармана, — отвечал постоялец.

— Ах, какой вы уморительный человек, — сказала она, пожав плечами, — какие вам послать? — прибавила она.

— К Лиону, почтеннейшая, к Лиону: в два целковых, — отвечал тот.

— Хорошо. Скоро будете одеваться?

— Сейчас.

— Ну, так прощайте.

— Adieu, почтеннейшая!

— Зайдете показаться одетые?

— Непременно.

— А туда зайдете?

— Нет.

— Прекрасно... очень хорошо! Ах, вы, мужчины, мужчины, ветреники этакие; не стойте, чтобы вас так любили. Сегодня же пойду и насплетничаю на вас.

— Ну нет, почтеннейшая, вы этого не делаете.

— То-то и есть, испугались! А в самом деле, что сказать? Я сегодня думаю сходить... Катерина Архиповна очень просила прийти помочь барышням собираться на вечер. Она сегодня будет в розовом газовом и, должно быть, будет просто чудо! К ней очень идет розовое.

— Вы скажите, почтеннейшая, что я целый день сегодня мечтаю о бале.

— Хорошо... Впрочем, вы, кажется, все лжете, Сергей Петрович.

— Вот чудесно!.. Не дай бог вам, Татьяна Ивановна, так лгать. Я просто без ума от этой девочки.

— Ну, уж меньше, чем она, позвольте сказать; она не говорит, а в сердце обожает. Прощайте.

— Adieu, почтеннейшая; да кстати, пошлите извозчика нанять.

— Какого?

— Пошлите к Ваньке Неронову; он у Тверских ворот стоит; рыжая этакая борода; или постоит: я к нему записочку напишу.

«Иван Семеныч! Сделай, брат, дружбу, пришли мне на день сани с полостью, и хорошо, если бы одолжил серого рысака, в противном же случае — непременно вороную кобылу, чем несказанно меня обяжешь.— Хозаров.

Р. С. О деньгах, дружище, не беспокойся, на следующей неделе разотчусь совершенно».

Взяв эту записочку и еще раз попросив постояльца зайти и показаться одетым, Татьяна Ивановна ушла. Хозаров между тем принялся одеваться. Туалет продолжался около часа. Натянув перчатки и взяв шляпу, Хозаров начал разыгрывать какую-то мимическую сцену. Сначала он отошел к дверям и начал от них подходить к дивану, прижав обеими руками шляпу к груди и немного и постепенно наклоняя голову; потом сел на ближайший стул,

и сел не то чтобы развалясь, и не в струнку, а свободно и прилично, как садятся порядочные люди, и начал затем мимический разговор с кем-то сидящим на диване: кинул несколько слов к боковому соседу, заговорил опять с сидящим на диване, сохраняя в продолжение всего этого времени самую приятную улыбку. Посидев немного, встал, поклонился сидящему на диване, кинул общий поклон прочим, должно быть, гостям, и начал выходить... Прекрасно, бесподобно! Это была репетиция грядущего визита, и она, как видит сам читатель, удалась моему герою как нельзя лучше.

В доме Мамиловых, тоже с раннего утра, происходили хлопоты: натирали воском полы, выбивали мебель, заливали маслом кенкетки, вставляли в люстру свечи, офицант раскладывался в особо отведенной комнате с своею посудю. В одной только спальне хозяйки происходила не совсем праздничная сцена: Варвара Александровна Мамилова, по словам Хозарова, красавица и философка, в утреннем капоте и чепчике, сидела и плакала; перед ней лежало развернутое письмо и браслет. Варвара Александровна, дама лет около тридцати, действительно была хорошенькая; по крайней мере имела очень нежные черты лица, прекрасные и чисто небесного цвета голубые глаза; но главное — она владела удивительно маленькой и как бы совершенно без костей ручкою и таковыми же ножками. Лежавшее перед ней письмо было от мужа, от этого страшного богача, занимающегося в южных губерниях торговыми операциями, и оно-то заставило именинницу плакать. «Поздравляю вас, друг мой Варвара Александровна,— писал супруг,— со днем вашего ангела и посылаю вам какой только мог найти лучший браслет, а вместе с тем вынужденным нахожусь, хотя это будет вам и неприятно, высказать мое неудовольствие. Начну с прошедшего. Во-первых, заискивали во мне вы, а не я в вас; во-вторых, в самый день сватовства я объяснил, что желаю видеть в жене только семьянинку, и вы поклялись быть такой; я, сорокапятилетний простак, поверил, потому что и вам уже было за двадцать пять; в женихах вы не зарылись; кроме того, я знал, что вы не должны быть избалованы, так как жили у вашего отца в положении какой-то гувернантки за его боковыми детьми, а сверх того вы и сами вначале показывали ко мне большую привязанность; но какие же теперь всего этого последствия? Через какой-ни-

будь год вы заболели нервною болезнью, хотя по лицу этого совершенно было незаметно, и начали ко мне приступать, чтобы я переехал с вами в Москву,— я и это сделал. Столичный воздух пришелся вам как нельзя лучше по комплекции: с другой же недели мы стали ездить по собраниям и по театрам. Такого рода жизнь, хотя была и убыточна, но при мне позволительна, теперь же другое дело: вы живете одни и повторяете то же самое и без меня; открыли даже в вашем доме, как я слышал, на целую зиму вечера и в два месяца прожили пять тысяч рублей. Во избежание всего этого, с будущей весны, то есть по окончании квартирного контракта, я намерен переехать с вами на постоянное жительство в К., где сосредоточу все мои дела. Целуя вас, пребываю — такой-то...»

Вот какое было поздравительное письмо страшного богача, и, конечно, всякий согласится, что это дерзкое и оскорбительное послание могло заставить плакать даму и с более крепкими нервами, чем Варвара Александровна. Сначала она бросила было на пол присланный ей в подарок браслет и велела отказать официанту, которому заказан был вечер, но потом, проплакавшись, распорядилась снова о вечере и подняла с полу браслет, а часу в первом, одевшись, и одевшись очень мило и к лицу, надела даже и браслет и вышла в гостиную, чтобы принимать приезжающих гостей с поздравлением. Впрочем, впечатление письма было, видно, довольно сильно, потому что, как Варвара Александровна ни старалась переломить себя, все-таки оставалась несколько грустна и взволнована. Все почти перебивали у ней из ее круга; был и Бобырев, образованный купец, и статский советник Желюзов, и приезжали трое офицеров вместе; наконец, прислала и Катерина Архиповна своего супруга поздравить именинницу.

Антон Федотыч, вымытый, выбритый, напомаженный и весь, так сказать, по воле супруги, обновленный, то есть в новой фракной паре, в жилете с иголочки и даже в новых сапогах, не замедлил показать себя новой знакомой, и на особый вопрос, который Варвара Александровна сделала ему о Мари, потому что та нравилась ей более из всего семейства, он не преминул пояснить, что воспитание Мари стоило им десять тысяч.

После всех приехал мой герой Хозаров. Мило было посмотреть, как вошел молодой человек в своем черном

фраке, бархатном жилете и лакированных сапогах! Какие у него были прекрасные перчатки; как свободно, как даже грациозно он раскланялся, даже гораздо лучше, чем сделал это на репетиции. Кроме того, он был так свеж, такие имел миленькие усы, так кстати заговорил с хозяйкою о погоде, что, конечно, читатель мой, глядя на него, вы никак бы не догадались, что он выехал из номеров Татьяны Ивановны, по ее только великодушию имел перчатки и писал дружескую записку к извозчику о снабжении его экипажем: вы скорее бы подумали, что заговаривать по-французски и делать утренние визиты его нарочно возили учиться в Париж. Родятся же люди с подобными светскими способностями! Ну, какое, например, особое получил воспитание мой герой? Сначала родители держали его в деревне, и то больше в девичьей или в лакейской; потом, на десятом или одиннадцатом году, отдали в корпус, где он почти самоучкой выучился немного говорить по-французски и в совершенстве овладел танцевальным искусством,— но ведь только и всего! Потом поступил он в полк, где, конечно, старался постоянно быть в хорошем обществе, и, стремясь закончить свое воспитание, читал очень много романов, и романов по преимуществу переводных, чтобы уже иметь окончательно ясное понятие о светско-европейской жизни.

Барвара Александровна в этот раз обратила на молодого человека должное внимание. Отличным танцором она знала его и прежде; но разговаривать с ним ей как-то еще не удавалось. Поговоря же с ним в настоящий визит, она увидела, что он необыкновенно милый и даже умный молодой человек, потому что Хозаров так мило ей рассказал повесть Бальзака «Старик Горио», что заинтересовал ее этим романом до невероятности.

— Где вы сегодня обедаете? — спросила она гостя.

— Дома,— отвечал тот.

— Voulez-vous manger notre soupe?

— Avez grand plaisir,— отвечал Хозаров.

— Mais, outre cela, passerez-vous avec nous la soirée?

— Votre très-humble serviteur! <sup>1</sup>.

После приезжали еще кое-кто: являлся, между про-

---

<sup>1</sup> — Не угодно ли с нами пообедать?

— С удовольствием,

— А может, и вечер с нами проведете?

— Ваш покорный слуга! (франц.)



чим, и толстяк Рожнов, внушавший такие опасения Хозарову, но никого хозяйка не удостоила приглашением на обед и звала только на простенький вечер.

Таким образом, Сергей Петрович и Варвара Александровна обедали почти вдвоем, в присутствии только весьма молчаливой экономки из немок.

Время шло очень приятно: хозяйка окончательно развеселилась и была очень любезна с гостем; беседа их, как водится между образованными людьми, началась о театре, о гуляньях, о романах и, наконец, склонилась на любовь.

— Любви нет! — сказал Хозаров.

— Отчего же вы так думаете? — спросила хозяйка.

— Потому что женщины не умеют любить.

— Скажите лучше: мужчины не в состоянии чувствовать любви; они — эгоисты, грубы, необразованны; они в женщине хотят видеть себе рабу, которая только должна повиноваться им, угождать их прихотям и решительно не иметь собственных желаний, или, лучше сказать, совершенно не жить.

— Однакож мы видим, что все мужчины угождают женщинам?

— Да, это бывало во времена рыцарства, когда мужчины были нравственны, благородны, великодушны, храбры.

— Напротив... — возразил было Хозаров.

— А какими вы женитесь, господа? — перебила хозяйка. — Какими-то нравственными стариками, неспособными не только чувствовать, но даже понимать чувств! У вас в голове только дела и деньги! Вам дается молодое и свежее существо, которое стремится вас любить, жить любовью, но вы, — ах, боже мой! — и говорить смешно, что вы видите в жене: комфорт, удобство, ключницу!.. Что же остается бедной женщине? С кем ей разделить свое сердце? Где истратить эту юную жизнь, которая кипит в ней?.. И вот она, разумеется, кидается в свет и начинает утешать себя мишурными пустяками: нарядами, балами, театрами, но разве может занять это ее ум и сердце? Она весела только по наружности, но внутри страдает. Но этого еще мало: вы, мужья, хотите отнять у них и эти воображаемые развлечения; вам жаль денег, которыми вы, по всем правам, должны бы были платить за отсутствие чувств; вы, господа, называете нас мотовками, ветреницами и оканчиваете тем, что увозите куда-нибудь в глушь, в

деревню! И тогда прощай, бедное существо — оно живо погребено.

— Я на это имею другой взгляд,— возразил Хозаров.— Женщины сами скрывают свои чувства; они сами холодны или притворяются такими. Я знаю одну девушку; она любит одного человека; он это знает верно; но до сих пор эта девушка себя маскирует: когда он написал к ней письмо, она прочитала, целовала даже бесчувственную бумагу, но все-таки велела в ответ сказать одно холодное тегсі.

— Я не понимаю этого,— сказала Мамилова,— и думаю, что она не любит.

— Вы думаете?

— Даже уверена, потому что, когда женщина любит, она вся — откровенность; не чувствуя сама, она выскажется во всем: во взгляде, во всех своих поступках, даже в словах!

— Однакож это случилось!

— Не с вами ли?

— А если бы со мной?

— Жалею о вас!

— Почему?

— Потому что вас не любят.

— Может быть! По крайней мере я люблю.

— А если вы любите, так и спешите любить, не теряйте ни минуты; ищите, старайтесь нравиться, сватайтесь, а главное — не откладываете в дальний ящик и женитесь. Пройдет время, вы растеряете все ваши чувства, мысли, всего самого себя; тогда будет худо вам, а еще хуже — вашей будущей жене.

— Я могу еще любить,— возразил Хозаров.

— Может быть, вы молоды... Сколько вам лет?

— Двадцать семь.

— Да!.. Но только уж пора жениться — и очень пора!.. Пройдет год, другой, и вы будете похожи на других. Боже мой! — продолжала хозяйка одушевленным голосом.— Даже на самых первых порах брака какими вы бываете, мужчины! Вам скучны ласки этого юного существа, и вот — вы начинаете обманывать: жалуетесь на желчь, на сплин; но приезжает приятель, с которым какие-нибудь у вас есть дела, и сейчас все проходит; откуда является энергия, деятельность, потому что тут говорит ваша собственная корысть. Вы всеми вашими помышлениями посвящены толь-

ко вашей меркантильной жизни, а жене остается один только труп, остов человека, без чувств, без мысли. Нашу любовь, нашу живость, нашу даже, если хотите, болтливость вы не хотите понять; называете это глупостями, ребячеством и на первых порах тушите огонь страсти, который горел бы для вас, и горел всю жизнь.

— Вы говорите все это весьма справедливо про браки, которые совершаются по расчету; но другое дело — брак по страсти.

— Но где вы возьмете в сорок лет страсти,— возразила хозяйка,— когда уже вы в тридцать лет чувствуете, как говорят иные, разочарование? И что такое ваше разочарование? Это не усталость души поэта, испытавшей все в жизни; напротив, материализм, загрубелость чувств, апатия сердца — и больше ничего!

— В отношении разочарования я совершенно с вами согласен,— сказал Хозаров.— Это такая нелепость, которой я решительно не допускаю.— Последние слова герой мой произнес искренне; он действительно в самом себе не чувствовал ничего подобного разочарованию; ему даже весьма нравились знаменитые романы: «Онегин» и «Печорин». Он всегда называл их баснями. Долго еще разговор продолжался в том же тоне; наконец, хозяйка, кажется, утомилась резонерствовать. Хозаров, как светский человек, тотчас же заметил это и потому раскланялся и уехал. Домой прибыл он несколько взволнованный; на него сильное впечатление произвела философка-именинница. Раздевшись и усевшись в свое вольтеровское кресло, он погрузился в тихую задумчивость. Вошла Татьяна Ивановна.

— А вы не будете обедать? — спросила она.

— Нет,— отвечал тот,— я обедал у именинницы. Вот Татьяна Ивановна, я встретил женщину, так женщину!

— Кого это?

— Варвару Александровну Мамилову... Чудо! Вообразите себе: говорит, как профессор; что за чувства, что за страсти! И вместе с тем эти синие чулки бывают обыкновенно страшные уроды; а эта, представьте себе, красавица, образованна и учена так, что меня просто в тупик поставила.

Татьяна Ивановна покачала головою.

— Лучше вашей Мари никого нет на свете,— сказала она.

— Мари нейдет тут в сравнение,— отвечал Хозаров.— Мари ангелочек-девочка; на ней можно жениться, любить ее, знаете, как жену; но это другое дело: эту надобно слушать и удивляться.

— Лучше бы вы этого не говорили. Досадно слушать! — возразила Татьяна Ивановна.— Просто вы повеся, волокита. Вот бы вам завлечь бедную девушку, потом бросить ее и влюбиться в другую даму.

— Нет, это не то,— проговорил Хозаров и снова задумался.

Посидев немного, Татьяна Ивановна простилась с постояльцем и отправилась к Катерине Архиповне помогать барышням одеваться. Мы оставим моего героя среди его мечтаний и перейдем вместе с почтеннейшею хозяйкою в квартиру Ступицыных, у которых была тоже страшная суетня. Две старшие, Пашет и Анет, начали хлопотать еще с самого обеда о своем туалете; они примеривали башмаки, менялись корсетами и почти до ссоры спорили, какой из них надеть на голову виноград с французской зеленью: им обеим его хотелось.

— Тебе совсем нейдет зелень,— говорила Анет с серыми глазами,— ты брюнетка; ты гораздо лучше будешь в пунцовых шу.

— Извините, я уже и то на трех вечерах была в лентах, а вы всегда в цветах.

Спор двух девушек дошел до маменьки, которая их помирила тем, что разломил виноградную ветку на две и, каждой отдав по половине, приказала им надеть, вместе с зеленью, и пунцовые шу.

Обе сестры, споря между собой, вместе с тем чувствовали страшное ожесточение против младшей сестры и имели на это полное право: Катерина Архиповна еще за два дня приготовила своему идолу весь новый туалет: платье ей было сшито новое, газовое, на атласном чехле; башмаки были куплены в магазине, а не в рядах, а на голову была приготовлена прекрасная коронка от m-me Анет; но это еще не все: сегодня на вечер эта девочка, как именовали ее сестры, явится и в маменькиных брильянтах, которые нарочно были переделаны для нее по новой моде. Весьма естественно, что Мари, имея в виду такого рода исключительные заботы со стороны матери, сидела очень спокойно в зале и читала какой-то роман. Антон Федотыч, так же, как старшие дочери, был искрен-

не озабочен своим туалетом: он сам лично — своею особою — наблюдал, как гладилась его манишка, которая и должна была составлять перемену в его костюме против того, в котором он являлся к имениннице утром.

Между тем как происходили все эти хлопоты, и между тем как волновались ими Пашет, Анет и Антон Федотыч, Катерина Архиповна сидела и разговаривала с Рожновым.

— Что мне делать, Иван Борисыч? — говорила хозяйка.

— Я сам не знаю, что делать и вам и мне, — отвечал тот, — но я вам опять повторю: я богат, не совсем глуп, дочь ваша мне нравится, а потому, может быть, и сумею сделать ее счастливою.

— Все это я знаю, но она еще замуж не хочет, — отвечала Катерина Архиповна.

— Нет-с, это не то: она замуж хочет, только не за меня.

— Я вас очень хорошо понимаю, Иван Борисыч, и очень была бы рада, — отвечала Катерина Архиповна.

— Я знаю, что вы-то бы рады, — отвечал Рожнов, — впрочем, подождем, не сделает ли чего время?

— Подите поговорите с ней, полюбезничайте, — сказала старуха. — Вы к ней очень невнимательны.

— Вот еще что выдумали! Стану я любезничать! Она и без того, кажется, видеть меня равнодушно не может, — проговорил толстяк и задумался.

Явилась Татьяна Ивановна. Мари, увидев свою поверенную, взяла ее за руку и посадила около себя.

— Что вы не собираетесь?

— У меня все готово, — отвечала девушка.

— Как вас ждет один человек, так просто ужас: сегодня целое утро только и говорил, как увидеться с вами, — сказала Татьяна Ивановна.

Девушка покраснела, однако ничего не отвечала и принялась читать роман. Татьяна Ивановна начинала несколько раз опять заговаривать о Хозарове, но ответом ей было только смущение, и потому девица Замшева решилась отправиться к двум старшим. Здесь она нашла обширное поле для своей деятельности. Обе девицы были в совершенном отчаянии от дурно выглаженных кисейных платьев, но Татьяна Ивановна взялась помочь горю: со свойственным только ей искусством спрыснула весьма

обильно платья, начала их гладить через тонкую простынь, и таким образом платья вышли отличные. Часа за два началось одевание трех сестер. Татьяна Ивановна беспрестанно перебегала из комнаты двух старших в кабинет младшей, которую, впрочем, одевала сама мать. Толстяк все это время сидел один в зале. Антон Федотыч тоже одевался. Старуха, одев своего идола, снарядилась сама очень скоро, и к девяти часам все были готовы. Рожнов предложил всему семейству ехать в его возке, а сам с Антоном Федотычем отправился на извознике. Татьяна Ивановна проводила всех до крыльца и на этот раз, не боясь мошенников, отправилась домой.

Когда семейство Ступицыных в сопровождении Рожнова вошло в залу Варвары Александровны, там было уже довольно гостей. Хозаров стоял, прислонясь к косяку дверей в гостиную, и рисовался. Среди всей этой новоприбывшей семьи по преимуществу кинулась всем в глаза Мари; она была очень мила в своем розовом новом платье и в маменькиных переделанных брильянтах. Две старшие, поздоровавшись с хозяйкою, тотчас же адресовались к моему герою и адресовались так провинциально, с такими неприятными и странными ужимками, что Хозаров совершенно сконфузился и, сделав сколько возможно насмешливую улыбку, пробормотал несколько слов и ретировался в залу; но и здесь ему угрожала опасность: Антон Федотыч схватил его за обе руки и начал изъяслять — тоже весьма глупо и неприлично — восторг, что с ним увиделся. Хозаров окончательно растерялся и не нашел ничего более сделать, как выйти вон из залы. По возвращении его кадрили уже началась. Две старшие девицы Ступицыны были ангажированы офицерами; следовательно, от них не могла ему угрожать опасность. Его беспокоил один только Антон Федотыч, который стоял в противоположном углу и с улыбкою посматривал на всю публику. Увидев Хозарова, он, видимо, замыслил подойти к нему, но, к счастью сего последнего, Ступицын был со всех сторон заставлен стульями, а потому не мог тронуться с места и ограничился только тем, что не спускал с Хозарова глаз и улыбался ему.

«Какое милое существо, а в каком дурацком семействе родилось!» — подумал про себя Сергей Петрович, глядя на хорошенькую Мари, танцующую с третьим офицером. Осмотрев внимательно ее роскошный стан, ее пухленькие

ручки и, наконец, заметив довольно таинственные и много говорящие взгляды, он не выдержал, подошел к ней и позвал ее на кадрили.

Между тем хозяйка, осматривавшая в лорнет всех гостей, увидела во второй кадрили Хозарова, танцующего с Мари, и с той поры исключительно занялась наблюдением над ними. Она видела все; но ни Хозаров, ни Мари не заметили ничего. В герое моем вдруг воскресла на время усыпленная впечатлением Варвары Александровны страсть к Мари, тем более, что он, взяв ручку *грёзовской головки*, почувствовал, что эта ручка дрожала.

— Вы меня ненавидите, — сказал поручик, становясь с своей дамой на избранное место.

Мари ничего не отвечала; она только взглянула на него, но взглянула так, что Сергей Петрович понял многое и потому слегка пожал ее ручку. Ему отвечали тоже легким пожатием.

— Вы не сердитесь на меня за мою тайну, которую писал я вам в дневнике? — проговорил он.

— Нет, — отвечала девушка.

— А вы знаете, о ком я писал?

— Не знаю.

— О вас.

Мари вся вспыхнула.

— Могу я вас любить? — спросил он шепотом.

— Да, — отвечала тоже шепотом девушка.

— А вы?

Молчание...

— А вы? — повторил Хозаров.

— Да... — едва проговорила она и стремительно бросилась делать шен.

По окончании кадрили Хозаров, расстроенный, и расстроенный в такой мере, что даже взъерошил свою прическу, стал опять у косяка. К нему подошла хозяйка.

— Я все видела, — сказала она, — вас любят, вы напрасно сомневаетесь, и любят вас так, как только умеет любить молоденькая девушка; но знаете, что мне тут отменно: вы сами любите, вы сами еще не утратили прекрасной способности любить. Поздравляю и радуюсь за вас.

Хозаров на такого рода лестные отзывы ничего не мог даже ответить и только молча и с внутренним самодовольством прижал к груди свою шляпу и поклонился.

Ступицыны скоро уехали с вечера. Катерина Архиповна заметила, что идол ее немного побледнел, и потому тотчас же пристала к Мари с расспросами: что такое с ней? Мари объявила, что у нее голова болит и что ей бы очень хотелось ехать домой. Старуха тотчас же повелела всей остальной семье собраться. Как это ни было горько Пашете и Анете, так как обе они были приглашены теми же офицерами на мазурку; как, наконец, ни неприятно было такое распоряжение супруги Антону Федотычу, который присел уже к статскому советнику Желюзову и начал было ему рассказывать, какие у него в деревне сформированы прекрасные музыканты, однако все они покорились безотменному повелению Катерины Архиповны и отправились домой.

#### IV

Спустя неделю после Варварина дня Ступицын вознамерился всем знакомым Катерины Архиповны сделать визиты. Многие породило в голове Антона Федотыча подобное желание: во-первых, ему хотелось еще раз показать почтеннейшей публике свой новый фрак; во-вторых, поговорить с некоротко знающими его лицами и высказать им некоторые свои душевные убеждения и, наконец, в-третьих, набежать где-нибудь на завтрак или на закуску с двумя сортами водки, с каким-нибудь канальским портвейном и накуриться табаку. Последняя причина едва ли была не главная, потому что заветный погребец его — увы! — давно уже был без содержания; наполнить же его не было никакой возможности: расчетливая Катерина Архиповна, сшив супругу новое платье, так как в старом невозможно уже было показать его добрым людям, поклялась пять лет не давать ему ни копейки и даже не покупала для него табаку. Решившись, на основании вышеупомянутых причин, делать визиты, Антон Федотыч имел в виду одно только не совсем приятное обстоятельство: он должен был ходить пешком, погому что Катерина Архиповна и на извозчика не давала денег. Это заставило Ступицына решиться посетить не вдруг всех, а делать визита по два или по три в день, рассказывая при этом случае, что ему доктор велел каждое утро ходить верст по пяти пешком. В первый день зашел он к статскому советнику Желюзо-



ву, но здесь его не приняли, и он направил стопы к Хозарову. Может быть, его и здесь не приняли бы, но он вошел вдруг и застал хозяина за туалетом.

— Боже мой, извините вы меня! — вскрикнул Хозаров, запахивая халат и стараясь прибрать туалетные принадлежности.

— Сделайте милость, не беспокойтесь, — возразил гость, — иначе я лишу себя приятного удовольствия побеседовать с вами и уйду.

— Как это возможно! — возразил, с своей стороны, хозяин. — Но все-таки мне очень совестно: я теперь живу на биваках; мое отделение переделывают; я сюда перешел на время, в этот сарай.

— Я этого не скажу, — говорил Ступицын, усаживаясь на ближайший к хозяину стул. — Комната мне нравится, очень веселенькая. Обоями нынче все больше оклеивают!

— Да, но это что за помещенье!.. Семейство ваше как, в своем здоровье?

— Благодарю вас, слава богу. Мари что-то все хмурится. Позвольте мне попросить у вас трубки.

— Ах, сделайте милость! — вскрикнул хозяин и сам было бросился набивать гостю трубку; но тот, конечно, не допустил его и сам себе выбрал самую огромную трубку, старательно продул ее, наложил, закурил и сел, с целью вполне насладиться любимым, но не всегда доступным ему удовольствием.

— Бесподобный табак! — сказал он, втягивая дым.

— Очень рад, что вам нравится.

— Как, однако, свежо на дворе! — сказал гость, усладившись курением. — Я хожу ведь пешком: доктор велел; нельзя, знаете, без моциону, — такие уж лета; чего доброго, пожалуй, и удар хватит.

— Так на дворе, вы изволите говорить, холодно?

— Весьма свежо. Я так, знаете, прозяб, что даже и теперь не могу согреться.

— Не прикажете ли чаю, или кофе?

— Нет-с, благодарю покорно: то и другое мне строжайше запрещено доктором. Рюмку водки, если есть, позвольте!

— Ах, пожалуйста! — сказал хозяин и вышел, чтоб попросить у Татьяны Ивановны для гостя водки. Девица Замшева, услышав, что у Хозарова Антон Федотыч и желает выпить водки, тотчас захлопотала.

— Дайте водочки, почтеннейшая, да нет ли графинчика получше, да и закусить чего-нибудь — сыру или сельдей, и, знаете, подайте понаряднее: на поднос велите постлать салфетку и хлеб нарезать и разложить по красивее.

— Знаю, Сергей Петрович, знаю. Уж не беспокойтесь. Велю подать водки, миног, сыру и колбасы; да не худо бы винца какого-нибудь?

— Очень хорошо и винца — рубля в полтора серебром бутылку, — отвечал Хозаров. — Ах вы, милейшая моя хозяйюшка! — говорил он, трепля ее по плечу.

— То-то и есть, — отвечала Татьяна Ивановна, — дай вам бог другую нажить такую. Вот посмотрим, как-то вы отблагодарите меня, как женитесь.

— Тысячу рублей подарю вам, — отвечал Сергей Петрович.

— Хорошо, посмотрим, — отвечала хозяйка и побежала хлопотать о закуске.

Хозаров между тем возвратился к гостю, который закурил уже другую трубку и, развалясь на диване, пускал мастерские кольца.

— Извините меня, — сказал хозяин, — я захлопотался. Вот наша холостая жизнь: вообразите себе, двое у меня людей в горнице, и ни одного налицо нет, так что принужден был просить подать завтрак хозяйскую девушку.

— Это часто случается и у нас; у меня вот здесь немного людей, а в деревне их человек пятнадцать, а случается иногда, что даже по целому дню трубки некому приготовить.

В это время Марфа, одетая по распоряжению Татьяны Ивановны в новое ситцевое платье, принесла закуску, водку и вино.

— Прошу покорнейше, — сказал хозяин.

— А я вас прошу не беспокоиться: распоряджусь, — отвечал гость и залпом выпил рюмку водки, закусив миногою.

— Прекрасная закуска эти миноги! И кислотовато и приятно, — сказал он, прожевав кусок. — Говорят, это маленькие змеи?

— Не знаю. Не прикажете ли винца?

— Нет, позвольте мне еще рюмку водки: все как-то не могу хорошенько согреться! Это штригтеровская?

— Нет, домашняя.

— Скажите, какая прекрасная, — заметил гость, заку-

сывая сыром.— Теперь можно трубки покурить и винца потом выпить,— проговорил он и, закурив трубку, хотел было налить себе в рюмку.

— Не прикажете ли лучше в стакан? Это вино со-вместно пить рюмками,— сказал хозяин, желавший уго-стить гостя и заметив, что сей последний не любит выпить.

— Не много ли будет стаканчиками? — сказал гость, выпив рюмку.— Вы сами не кушаете; надобно начинать ведь с хозяина.

— А вот я и сам выпью,— сказал тот, налив стакан и ставя его перед Ступицыным, а себе рюмку.

Антон Федотыч пришел в совершенно блаженное со-стояние от такого любезного приема.

— Как мне приятно, что я имел честь с вами познако-миться. С первого раза, изволите ли помнить, как мы встретились, я почувствовал к вам какое-то особенное вле-чение.

— Благодарю вас покорно; я, с своей стороны, также дорожу знакомством вашим и всего вашего милого се-мейства.

— Да-с, я могу похвалиться моим семейством,— начал Ступицын, у которого в голове начало уже шуметь,— одно только... ах, как мне тут неприятно! Даже и говорить про это больно!

— Что такое-с?

— Так, знаете-с: свои семейные несообразности.

— Но... в чем же?

— Это, я вам доложу, большая история,— проговорил Ступицын, вздыхая и махнув рукою.— Я, пожалуй, вам расскажу; но прежде, нежели начну, позвольте мне вас по-просить выпить со мной по стаканчику мадеры.

— С большим удовольствием,— отвечал хозяин и на-лил себе и гостю по стакану вина, которыми они чокнулись и выпили.

— Я вас, Сергей Петрович, с первого раза полюбил, как сына, а потому могу открыть вам душу. Катерина Архипов-на моя... я про нее ничего не могу сказать... Семьянинка прекрасная, только неровна к дочерям: двух старших не любит, а младшую боготворит.

— Скажите, пожалуйста!

— Да-с, вот какой случай. А что прикажете делать? Я хоть и отец, а помочь не могу. Короче вам сказать: бы-

ла у нас двоюродная бабка, и, заметьте, бабка с моей стороны; препочтеннейшая, я вам скажу, старушка; меня просто обожала, всего своего имущества, еще при жизни, хотела сделать наследником; но ведь я отец: куда же бы все пошло?.. Все бы, конечно, детям — только бы поровну, никто бы из них обижен-то не был. Так как бы вы думали, что сделала супруга? Перед самую почти смертью подбилась к старухе да уговорила ее, обойдя меня, отдать одной младшей, Машет, а мы и сидим теперь на бобах. Вот что значит неравная-то любовь! Но ведь я отец: мне горько и обидно... и себя, конечно, жалко, да и старшие-то чем же согрешили?

— Скажите, пожалуйста,— произнес Хозаров,— и большое имение?

— Триста душ в кружке, как на ладони, да каменная усадьба.

— И всем уж теперь владеет Мария Антоновна?

— Давно, по всем актам, но это еще мало: имение теперь под опекою у матери; ни копейки, сударь вы мой, из доходов не издерживает,— все в ломбард да в ломбард на имя идола: тысяч тридцать уж засыпано.

— Тридцать тысяч! — воскликнул от восхищения Хозаров.

— Ровнехонько тридцать. Но ведь мне горько: я отец... Я равнодушно видеть старших не могу, хуже, чем сироты. Ну, хоть бы с воспитания взять: обеих их в деревне сама учила, ну что она знает? А за эту платила в пансион по тысяче рублей... Ну и это еще не все...

— Что же еще такое? — спросил Хозаров, более и более начинавший интересоваться рассказом Ступицына.

— И это еще не все: нашла ей жениха, почти насильно влюбила его в нее; он полгода уже как интересовался старшей; переделала, сударь ты мой, это дело в свою пользу — да и только! Теперь тот неотступно сватается к Машеньке.

— Сватается к Марье Антоновне?

— Неотступно! Сюда за ними нарочно приехал: вы, верно, его знаете,— Рожнов!

— Этот толстяк! — воскликнул Хозаров.

— Да что такое толстяк? Тысяча ведь душ-с... человек добрейший... умница такая, что у нас в губернии никто с ним и не схватывается.

— Так, стало быть, Марья Антоновна помолвлена?

— Кажется, еще нет. Я, признаться, и не знаю, потому что я и входить не хочу в их дела: грустно, знаете, очень грустно, право, а нечего делать: мать!.. Кто ее может судить и разбирать. А и теперь Пашет и Анет все я содер- жу — это я могу прямо сказать. Но у меня небольшое со- стояние: всего сто душ; я сам еще люблю пожить, — ну вот, например, в карты играю, и играю по большой; до лоша- дей охотник и знакомых тоже имею; а она из своих ста душ ни синя пороха не дает старшим, а все на своего идо- ла. Обидно, Сергей Петрович, невыносимо обидно! По- звольте мне еще водки выпить.

Ступицын выпил еще водки и начал немного покачи- ваться.

— Что мне делать, как мне быть? — рассуждал он как бы сам с собою.— К несчастью, они и собою-то хуже той, по ведь я отец: у меня сердце равно лежит ко всем. Вы теперь еще не понимаете, Сергей Петрович, этих чувств, а вот возьмем с примера: пять пальцев на руке; который ни тронь — все больно. Жаль мне Пашет и Анет, — а они предобрые, да что делать — родная мать! Вы извините ме- ня: может быть, я вас беспокоил.

— Ах, как вам не совестно! Напротив — мне очень приятно, — отвечал хозяин.

Гость принялся было отыскивать картуз, но остано- вился.

— Не могу идти домой, не могу видеть неравенства, — и в ком же? В родной матери, которая носила всех в утро- бе своей девять месяцев... — Здесь Ступицын немного оста- новился. — Сергей Петрович, милый вы человек! — про- должал он. — Я обожаю вас, то есть, кажется, готов за вас умереть. Позвольте мне вас поцеловать!

— С большим удовольствием...

Новые приятели облобызались:

— Сергей Петрович! Позвольте мне у вас отдохнуть, не могу видеть неравенства.

— Сделайте одолжение, — сказал Хозаров, в душе об- радованный такому намерению Ступицына, потому что тот, придя в таком виде домой, может в оправдание свое рас- сказать, что был у него, и таким образом поселить в семей- стве своем не весьма выгодное о нем мнение. Он предло- жил гостю лечь на постель; тот сейчас же воспользовался предложением и скоро захрапел.

В какой мере были справедливы вышесказанные слова

Ступицына, мы увидим впоследствии; но Хозаров им поверил.

— Триста душ, тридцать тысяч и каменная усадьба... недурно, очень недурно,— повторил он сам с собой, и между тем как гость его начинал уж храпеть на третью нуту, Хозаров отправился к Татьяне Ивановне.

— Ну что, ушел? — спросила хозяйка.

— Нет, пьян напился, и водку и вино — все выпил и лег спать,— отвечал постоялец.— Бог даст, как женюсь, так и в лакейскую к себе не стану пускать: пренесносная скотина! Впрочем, Татьяна Ивановна, нам в отношении Мари угрожает опасность, и большая опасность.

— Что вы это? Какая опасность?

— Да такая опасность, что вряд ли она не помолвлена!

— Не может быть, ой, не может быть. Да за кого, Сергей Петрович? Не за кого быть помолвленной.

— А за Рожнова?

— За этого толстого господина? Постойте, батюшка Сергей Петрович, пожалуй, это и на дело похоже. Когда они собирались на вечер, Марья Антоновна была такая грустная, а этот господин сидел с Катериной Архиповной и все шепотом разговаривали...

— Это скверно,— произнес Хозаров.— Впрочем, у них в этот день ничего не могло быть решительного, потому что я в этот же вечер объяснился ей в любви и получил признание.

— Ну, вот видите, стало быть, пустяки: может быть, мне только так показалось; она не ветреница какая-нибудь: этого про нее, кажется, никто не скажет, но только все-таки, Сергей Петрович, скажу вам: напрасно теряете время, пропустите вы эту красотку.

— Не слыхали ли вы, Татьяна Ивановна, что у нее есть усадьба?

— Как не быть усадьбы! Отличнейшее поместье. Нынче одни дворы конюшенные выстроить стоило пять тысяч; хлеб родится сам-десять.

— И это верно вы знаете?

— Как самое себя.

— Вы действительно, почтеннейшая, говорите справедливо,— сказал Хозаров после нескольких минут размышления.— Я глупо и безрассудно теряю время.

— Глупо, Сергей Петрович, и совершенно безрассудно,— повторила Татьяна Ивановна.

— Помолюсь-ка я богу да пойду объяснюсь с Катериной Архиповной. Этому болвану и говорить нечего: он, кажется, ничего не значит в семействе.

— Именно так,— утвердила Татьяна Ивановна.

Хозаров несколько времени ходил по комнатам в задумчивости.

— Знаете, что мне пришло в голову? Я сделаю предложение письмом: говорить об этих вещах как-то щекотливо.

— Письмом гораздо лучше, и они пунктуальнее ответят,— отвечала Татьяна Ивановна.

— Жалко, что у меня в комнате эта свинья спит. Разве идти в кофейную Печкина и оттуда послать с человеком? Там у меня есть приятель-мальчик, чудный малый! Славно так одет и собой прехорошенький. Велю назваться моим крепостным камердинером. Оно будет очень кстати, даже может произвести выгодный эффект: явится, знаете, франтоватый камердинер; может быть, станут его расспрашивать, а он уж себя не ударит в грязь лицом: мастерски говорит.

— Превосходно вы выдумали,— сказала Татьяна Ивановна.— А то отсюда даже и послать некого: ведь не Марфутку же? В таком деле черную девку посылать и неловко.

— Ну, куда ваша Марфутка годится! Ей впору и в лавочку бегать. Я думал было попросить вас, но как-то нейдет, не принято в свете.

— Мне совершенно невозможно. Я бы, конечно, душой рада, да не принято. После, пожалуй, схожу, хоть сегодня вечером, и поразузнаю, как между ними это принято; может быть, и сами скажут что-нибудь.

— Это действительно, вы сходите и поразведайте. Adieu,<sup>1</sup> почтеннейшая!

Возвратясь в свой номер, Хозаров тотчас же оделся, взял с собой почтовой бумаги, сургуч, печать и отправился в кофейную, где в самой отдаленной комнате сочинил предложение, которое мы прочтем впоследствии. Письмо было отправлено с чудным малым, которому поручено было назваться крепостным камердинером и просить ответа; а если что будут спрашивать, то ни себя, ни барина не ударить лицом в грязь.

Между тем как Антон Федотыч, подгуляв у Хозарова, посвящал его во все семейные тайны и как тот на основа-

<sup>1</sup> До свиданья, (франц.)

нии полученных им сведений решился в тот же день просить руки Марьи Антоновны, Рожнов лежал в кабинете и читал какой-то английский роман. Прислуга толстяка сидела в лакейской и пила чай; у него их было человека три в горнице и человека четыре в кухне, и то потому только, что выехал в Москву налегке, а не со всем еще домом. Про лакеев Рожнова обыкновенно говорили в губернии, что таких оболтусов и никуда не годных лентяев надобно заводить веками, а то вдруг, как будто бы какой кабинет редкостей, не составишь. В настоящее время вся эта братия хохотала во все горло над молодым, с глуповатой физиономией, парнем, который, в свою очередь, хотя тоже смеялся, но, видимо, был чем-то оконфужен.

— Эй, сеньоры, чему вы там смеетесь? — сказал барин. Ответа не было.

— Григорий, а Григорий!

— Чего-с? — отозвался, наконец, голос из лакейской.

— Соблаговолите, сеньор, сюда пожаловать.

Появился самый младший из лакеев.

— Чему вы там смеялись? — спросил Рожнов.

— Над фореитором, — отвечал тот и снова захохотал во все горло.

— Чем же это он вас насмешил?

— Влюблен-с, — едва выговорил от смеха лакей.

— Скажите, пожалуйста, какой злодей, — сказал Рожнов. — В кого же он влюбился?

— В горничную Марьи Антоновны. Все спрашивает нас, скоро ли вы изволите на них жениться.

— А она что же?

— И она неравнодушна-с: большие между собой откровенности имеют, — отвечал лакей. — Она меня тоже все спрашивает, скоро ли будет ваша свадьба, а не то, говорит, у барышни есть другой жених, — как его, проклятого? Хозаров, что ли? В которого она влюблена.

— Влюблена в Хозарова? — спросил толстяк.

— Должно быть, так, — отвечал лакей.

Рожнов тотчас же встал, в несколько минут оделся, сел в сани и очутился у Катерины Архиповны, которая сидела у себя в комнате одна.

— То, что я предугадывал, — начал Рожнов, — случилось: Мари влюблена в эту восковую рожу, Хозарова.

— Мари влюблена в Хозарова? Что это... с чего это пришло вам в голову? Откуда вы почерпнули эти изве-



стия? — сказала Катерина Архиповна несколько даже обиженным голосом.

— Не могу вам сказать, именно из каких источников почерпнул эти сведения, но все-таки повторяю, что это верно; верно по моему собственному наблюдению, верно и по слухам, которые до меня дошли.

— Мари влюблена... Ребенок, который еще ничего не понимает; она влюблена? — говорила мать.

— Вот это-то мне досаднее всего, — возразил Рожнов, — как же вы, женщина, и не понимаете другую женщину, и еще дочь свою? Хоть бы, например, себя-то припомнили; неужели в осьмнадцать лет вы ничего не понимали?

— Она — исключение, Иван Борисыч, — перебила Катерина Архиповна, — это необыкновенный еще ребенок; в ней до сих пор я не замечала кокетства, а если бы вы знали, какие вещи она иногда спрашивает, так мне совестно даже рассказывать.

— Все-таки я вам расскажу, что она влюблена. Но, впрочем, что же я вас предостерегаю? Может быть, вам самим нравится эта склонность?

— Вам грех это думать, Иван Борисыч. Вы очень хорошо знаете, что мое единственное желание, чтобы Мари была вашей женой. Может быть, нет дня, в который бы я не молила об этом бога со слезами. Я знаю, что вы сделаете ее счастливой. Но что мне делать? Она еще так молода, что боится одной мысли быть чьей-либо женой.

В продолжение этой речи у старухи навернулись слезы.

— Ну полноте, не огорчайтесь, — сказал толстяк, — я это сказал так... пускай ее теперь влюбляется в кого угодно; авось, придет очередь и до меня.

— Мамаша! Записочка от Сергея Петровича, — сказала, входя в комнату Анет и подавая матери письмо. — Камердинер их пришел и просит ответа, — прибавила она и вышла.

Старуха и Рожнов вздрогнули; та принялась читать, но на половине письма остановилась, побледнела как полотно и передала его Рожнову, который, прочитав последние моего героя, тоже смутился.

Несколько минут продолжалось молчание. Старуха как будто бы не помнила сама себя. Рожнов тоже; но, впрочем, он скоро опомнился и, взглянув насмешливо на Катерину Архиповну, начал снова перечитывать письмо.

— Вы со вниманием ли прочли это прекрасное послание? — сказал он.

— Я еще опомниться, Иван Борисыч, не могу; такой наглости, такого бесстыдства я и вообразить не могла. Мари в него влюблена! Скажите, пожалуйста! Мари дала ему слово!

— Мари действительно в него влюблена и действительно дала ему слово, — перебил Рожнов, — только мы-то с вами, маменька, немного пошиблись в расчете: Мари, видно, не ребенок, и надобно полагать, что не боится выйти замуж. Я не знаю, чему вы тут удивляетесь; но, по моему, все это очень в порядке вещей.

— Но, Иван Борисыч, я этого не желаю, — возразила Катерина Архиповна.

— Да, если вы не желаете, это другое дело; но, впрочем, действительно ли вы не желаете, когда желает этого Марья Антоновна? Однако погодите! Я намерен вам вслух прочитать это письмо; оно так прекрасно написано, что, может быть, и убедит вас переменить ваше намерение. «Милостивая государыня, Катерина Архиповна! — начал читать толстяк. — Робко и несмелою рукою берусь я за перо, чтобы начертить эти роковые для меня строки. Давно, очень давно, Катерина Архиповна, люблю я вашу младшую дочь; сердце мое меня не обмануло: она меня тоже любит и уже почти дала мне слово».

— Удивительно, как красно написано! — сказал толстяк, остановясь читать. — Неужели эти «роковые строки» не трогают вашего материнского сердца, Катерина Архиповна?

Старуха ничего не отвечала и сидела, как уличенная преступница. Толстяк продолжал читать: «Ваше слово, ваше слово, почтеннейшая Катерина Архиповна! Одного вашего слова недостает только для того, чтобы обоих нас сделать блаженными».

— Перестаньте, Иван Борисыч, пожалуйста, перестаньте, — перебила Катерина Архиповна, — лучше скажите, что мне делать?

— Сделать их блаженными.

— Имейте, Иван Борисыч, сожаление к моим чувствам, — возразила старуха. — Где же тут любовь с вашей стороны? Это, я думаю, и до вас касается, а вы, вместо того чтобы посоветовать мне, только смеетесь.

— Что же мне вам советовать?

— Да ведь я должна что-нибудь решительно ответить; мне должно отказать, а я теперь ничего и не понимаю.

— А вы думаете отказать?

— Конечно, отказать.

— А! Это другое дело! Я берусь даже вам продиктовать письмо.

— Сделайте божескую милость, войдите в мое положение! — сказала Катерина Архиповна и тотчас же принялась под диктовку толстяка писать письмо к моему герою. Оно было следующего содержания:

«Милостивый государь, Сергей Петрович! За ваше предложение я, из вежливости, благодарю вас и вместе с тем имею пояснить вам, что я не могу изъявить на него моего согласия, так как вполне убеждена в несправедливости ваших слов о данном будто бы вам моей дочерью слове и считаю их за клевету с вашей стороны, во избежание которой прошу вас прекратить ваши посещения в мой дом, которые уже, конечно, не могут быть приятны ни вам, ни моему семейству».

Вот какой ответ получил мой герой с чудным малым и сначала пришед в сильное ожесточение, тотчас же вознамерился ехать к Катерине Архиповне и объяснить с ней, но, сев в сани, раздумал и велел везти себя к Мамиловой.

Варвара Александровна была дома и сидела в своем кабинете одна. Она очень обрадовалась приезду гостя.

— Как вы милы, monsieur Хозаров, — сказала хозяйка, — что посетили затворницу.

М-г Хозаров на этот раз не был, по обыкновению, любезен, потому что, поклонившись, и поклонившись, разумеется, довольно грациозно, сел и задумался.

— Что с вами? — спросила внимательная хозяйка.

— Сегодня одна из лучших надежд моих лопнула и взорвана на воздух, — сказал он и прибавил. — О, люди, люди!

— Вы хандрите, ха-ха-ха! И вас посетила желчь. Поздравляю вашу будущую жену, — сказала Мамилова.

— Я не хандрю, но я ожесточен.

— Проигрались, верно, — заметила хозяйка. — Мужчины всегда приходят в отчаяние, когда проигрывают.

— Я проигрывал в жизнь мою полсостояния, но оставался так же спокоен, как издержав целковый, — отвечал

Хозаров с благородным негодованием,— но сегодня я проиграл мою лучшую надежду.

— Не понимаю вас,— сказала хозяйка

— Потому что вы не верите в чувства мужчин,— возразил Сергей Петрович.

— Да, я и забыла: вы влюблены... Скажите, бога ради, что с вами? Мне очень интересно узнать, как мужчины страдают от любви. Я об этом читала только в романах, но, признаюсь, никогда не видала в жизни.

— Если вам угодно будет говорить в этом тоне, то вы, конечно, ничего не узнаете от меня: я буду молчалив, как могила.

— Ну, не сердитесь. Я знаю, что вы лучше других, лучше многих. Вы еще молоды. Скажите, что вас так расстрогало?

— Вы знаете мои отношения к Мари Ступицыной?

— Да, знаю: она влюблена в вас!

— Может быть, но сегодня я узнал, что ее хотят выдать замуж, и знаете, за кого? За Рожнова, которого она терпеть не может, который скорее походит на быка, нежели на человека, и все оттого, что у него до тысячи душ.

— Но что же вы-то делаете?

— Что же мне делать? Я, любя ее и желая спасти от этого ужасного для нее брака, сегодня же сделал ей предложение.

— Bravo! Так и следует поступить благородному человеку! Какой же результат?

— Результат... стыдно и говорить. Прочтите сами,— сказал Хозаров, подавая Варваре Александровне письмо.

— Результат обыкновенный,— сказала она, прочитав письмо.— Вот вам отцы и матери... Как они безумно полагают счастьем дочерей: тысяча душ—и довольно! Что им за дело, что это бедное существо может задохнуться в этом браке? Как не быть счастливой при тысяче душах! Что за дело, что нет тысячи первой души, которая одна только и нужна для счастья женщины? А эту любовь, которая живет в ней, она должна умертвить ее!.. Ничего, это очень легко; все равно что снять башмак... И что такое значит разлучить навеки два существа, которые, может быть, созданы друг для друга?..— На этих словах Варвара Александровна остановилась и задумалась.

Сергей Петрович, созданный для Марьи Антоновны, в

продолжение всего этого монолога сидел, тоже задумавшись.

Долго еще Варвара Александровна говорила в том же тоне. Она на этот раз была очень откровенна. Она рассказала историю одной молодой девушки, с прекрасным, пылким сердцем и с умом образованным, которую родители выдали замуж по расчету, за человека богатого, но отжившего, желчного, в котором только и были две страсти: честолюбие и корысть,—и эта бедная девушка, как южный цветок, пересаженный из-под родного неба на бедный свет оранжереи, сохнет и вянет с каждым днем.

Варвара Александровна так живо рассказала эту историю, что герой мой положительно догадался, что этот южный цветок не кто иной, как она сама.

Прощаясь с гостем, Мамилова обещалась побывать на другой день у Ступицыных и поговорить там о нем.

Молодой человек с чувством благодарности пожал руку нового своего друга.

В номере своем он нашел маленькую записку от Ступицына следующего содержания:

«Душевно благодарю вас за угощение и надеюсь, что все останется между нами в тайне

*А. Ступицын».*

Кроме того, он застал там Татьяну Ивановну.

— Сергей Петрович, что это у вас наделалось? — начала хозяйка, видимо чем-то весьма взволнованная.— Я сегодня такой странный прием получила у Катерины Архиповны, что просто понять не могу; меня совсем не пустили в дом; а этот толстяк Рожнов под носом у меня захлопнул двери и сказал еще, что меня даже не велено принимать.

— Все кончено, Татьяна Ивановна,— сказал герой мой, садясь в кресло.

— Нет, не кончено и не может быть кончено,— возразила Татьяна Ивановна.— Марья Антоновна будет ваша, если захотите.

— Каким образом?

— Очень просто... увезите.

— Увезти?.. Да, конечно, можно; но, впрочем, утро вечера мудренее: мне очень хочется спать.

Герой мой, утомленный ощущениями дня, действительно очень устал и потому, выпроводив Татьяну Ивановну, тотчас же разделся, бросился в постель и скоро заснул.

Существует на свете довольно старинное и вместе с тем весьма справедливое мнение, — мнение, доказанное многими романами, что для любви нет ни заповор, ни препятствий, ни даже враждебных стихий; все она побораает и над всем торжествует. Это старинное мнение подтвердилось еще раз и в настоящем моем рассказе.

После сделанного Хозарову отказа Катерина Архиповна долго еще совещалась с Рожновым, и между ними было положено: предложение молодого человека скрыть от всех, а главное — от Мари; сделать это, как казалось им, было весьма возможно. Хозарову уже отказано от дома, и теперь только надобно было выпроводить Татьяну Ивановну, которая, пожалуй, будет переносить какие-нибудь вести. Почтеннейшая девица не замедлила явиться в этот же день, и Рожнов взялся сам отказать гостью и, видно, исполнил это дело весьма добросовестно, потому что Татьяна Ивановна после довольно громкого разговора, который имела с ним первоначально в зале, потом в лакейской и, наконец, на крыльце, вдруг выскочила оттуда, как сумасшедшая, и целые почти два переулка бежала, как будто бы за ней гналась целая стая бешеных собак.

Мало этого, чтобы прекратить всякую возможность для Мари видаться с Хозаровым и в посторонних домах, Катерина Архиповна решила притвориться на некоторое время больною и никуда не выезжать с семейством. Но что значат человеческие усилия против могущества все преобладающей и над всем торжествующей любви? Между тем как мать и влюбленный толстяк думали, что они предостерегли себя со всех сторон от опасности, опасность эта им угрожала отовсюду.

Проснувшись на другой день, Хозаров внимательно рассмотрел свое положение. Во-первых, он убедился в том, что решительно влюблен в Мари; во-вторых, тридцать тысяч, каменная усадьба и триста душ, — как хотите, это все не такого рода вещи, от которых можно бы было отказаться равнодушно. Но что предпринять? На совещание о том, что предпринять, была приглашена Татьяна Ивановна, очень хорошо еще помнившая ужасный прием в доме Ступицыных, вследствие чего и была против всех их, разумеется, кроме Мари, в каком-то ожесточенном состоянии.

Она советовала Хозарову увезти Мари и подать просьбу на мать за управление имением; а Рожнова сама обещалась засадить в тюрьму за то, что будто бы он обругал ее, благородную девицу, и обругал такими словами, которых она даже и не слыхивала.

Но Хозаров смотрел на это с другой стороны и хотел действовать в более логическом порядке. Первоначально ему хотелось написать к Мари письмо и получить от нее ответ.

Но каким образом передать письмо? Татьяне Ивановне, как видит и сам читатель, не было уже никакой возможности идти к Ступицыным; но она так ненавидела Катерину Архиповну, так была оскорблена на ее крыльце, что, назло ей, готова была решиться на все и взялась доставить письмо. Как ни верил Хозаров в способность Татьяны Ивановны передавать письма, но все-таки он пожелал знать, какое именно она избирает для этого средство. Оказалось, что средство было очень легкое и весьма надежное: у девицы Замшевой есть приятельница — тоже девица — торговка, которая ходит почти во все дома и была уже несколько раз у Ступицыных и будто бы очень дружна с горничною Марьи Антоновны и даже кой-что про эту голубушку не совсем хорошее знает. Об остальном догадаться не трудно: стоит Хозарову написать письмо, вручить его девице-торговке, а та уже свое дело сделает и принесет даже ответ и за весь этот подвиг возьмет какнибудь два целковых.

— Вы напишите ей письмо почувствительнее, а главное дело — напишите ей про мать: какая она ей злодейка и какого счастья лишает ее на всю жизнь.

— Знаю, как написать,— отвечал Хозаров и, расставшись с хозяйкою, тотчас же принялся сочинять послание, на изложение которого героем моим был употреблен добросовестный труд. Три листа почтовой бумаги были перемараны, и, наконец, уже четвертый, розовый и надушенный, удостоился остаться беловым. Письмо было написано с большим чувством и прекрасным языком.

Вот оно:

«Мари! Я осмеливаюсь называть вас этим отрадным для меня именем, потому что вашим наивным да, сказанным на вечере у Мамиловой, вы связали вашу судьбу с

моей. Но люди хотят расторгнуть нас: ваша мать приготовила другого жениха. Вы его, конечно, знаете, и потому я не хочу в этих строках называть его ужасного для меня имени; оно, конечно, ужасно и для вас, потому что в нем заключается ваша и моя гибель.

Вчерашний день, я не знаю, сказано ли вам, я просил вашей руки. Простите, что сделал это, не сказав предварительно вам; но когда любишь, то веришь и надеешься. Мне отказано, Мари,— отказано самым жесточайшим манером!.. О Мари! Мне отказано в надежде владеть вами, мой ангел; отказано и в доме... Не знаю, как остался я вчерашний день в своем уме и имею сегодня силы начертить эти грустные строки. Теперь все зависит от вас. Вас не отдают мне люди, отдайте мне сама себя и напишите мне ответ. Одно слово, моя ненаглядная Мари, одно слово твое воскресит в душе моей умершие надежды. Остаюсь влюбленный X.....в.

P. S. Та же женщина, которая доставит вам это письмо, может принести мне ответ ваш».

Не меньшая опасность для сердца Мари — и сердца, уже несколько, как мы видели из предыдущих сцен, влюбленного,— угрожала с другой стороны, это со стороны Варвары Александровны. В самое то утро, как Хозаров писал письмо к предмету его любви, Мамилова писала таковое же к предмету ее дружбы, какой-то двоюродной сестре, с которою она была в постоянной переписке. Так как письмо это было написано тоже прекрасным пером и отличалось глубиной мыслей, а главное — близко относилось к предмету моего рассказа, то я и его намерен здесь изложить с буквальной точностью.

«Ma chère Claudine!

Давно я не писала к тебе, потому что писать было нечего. Ты знаешь, что я не имею собственной жизни: сердце мое, это некогда страстное и пылкое сердце, оно как будто бы перестало уже биться; я езжу в оперу, даю вечера, наряжаюсь, если хочешь, но это только одни пустые рассеяния, а жизни, самой жизни — нет и нет... тысячу раз нет... Ты, конечно бы, теперь не узнала меня: я сделалась какая-то мизантропка; но я люблю людей, я могу жить счастьем других, этим единственным утешением для людей, лишенных собственного счастья, и вот тебе при-



мер. Есть у меня один знакомый, некто monsieur Хозаров. Представь себе, chère Claudine, юношу в полном значении этого слова, хорошенького собой, с пылкими и благородными чувствами, которые у него выражаются даже в его прекрасных черных глазах: он влюблен, и влюблен страстно, в молоденькую девушку, Мари Ступицыну, которая тоже, кажется, его *обожает*, и знаешь, как обыкновенно *обожают* пансионерки. Чего, подумаешь ты, недостает для того, чтобы, для обоюдного счастья, связать этих людей, созданных один для другого, узами брака? Но их расторгают,— расторгают с тем, чтобы одну продать за золотой мешок сорокалетнему толстяку, в котором столько же чувств, как и в мраморной статуе, а другого... другого заставить, в порыве отчаяния, может быть, броситься в омут порока и утратить там свою молодость, здоровье, сердце и ум, одним словом — все, все, что есть в нем прекрасного. Но я, испытавшая горе на самой себе, я буду действовать на мать и на отца девушки, на нее самое, на молодого человека, чтобы только заставить сберечь их в сердцах своих эту любовь, эту дивную любовь, которая может усыпать цветами их жизненный путь.

Прощай, ma chère, пиши чаще! Остаюсь твоя *Barbe*.

Написав это письмо, Мамилова в тот же вечер решилась отправиться к Ступицыным и начать действовать в пользу двух существ, созданных один для другого. Слуга, пойдя докладывать о ее приезде, долго не возвращался, а возвратившись, объявил, что в доме, должно быть, что-нибудь случилось, потому что он едва добился толку, но приказали, впрочем, просить. Первый человек, встретивший гостью, был сам Антон Федотыч, который подошел к ней на цыпочках, поцеловал ее руку и шепотом просил ее пожаловать в комнату Катерины Архиповны.

— Что такое у вас? — спросила гостя.

— Машет больна, с четырех часов в истерике, — отвечал Антон Федотыч.

— Я этого ожидала, — сказала Варвара Александровна и вошла в следующую комнату, где увидела хозяйку и двух старших дочерей ее, смиренно сидящих по углам. Все они тоже шепотом поздоровались с гостьей.

— Что с вашей Мари? — спросила она у старухи.

— Сама не понимаю, что случилось, — отвечала мать, — с самого утра в ужасной истерике, и ничто не помогает.

Я думаю, с полчаса рыдала без слез, так что начало дыхание захватываться.

— Должно быть, испуг,— заметил Антон Федотыч,— она крыс очень боится, вероятно, крысы испугалась.

Мамилова сомнительно покачала головой.

— Вы, я думаю, Катерина Архиповна, знаете или по крайней мере догадываетесь о причине болезни Мари. Может быть, еще и не то будет,— проговорила она.

Катерина Архиповна посмотрела несколько минут на гостью, как бы желая догадаться, что та хочет сказать и к чему именно склоняет разговор.

— Я не понимаю вас, Варвара Александровна,— сказала она.

— По моему мнению, очень немудрено,— подхватил Ступицын,— она у нас, знаете, этакой нервной комплекции.

— Перестаньте, пожалуйста, вы с вашими мнениями,— перебила Ступицына,— лучше бы посидели в зале: может быть, кто-нибудь подъедет, а там никого нет, потому что Ивана я послала за флёрдоранжем.— Антон Федотыч поднялся со стула.— Пашет и Анет, подите наверх, в вашу комнату,— продолжала старуха,— и послушайте, покойно ли спит Мари.

Получив такое приказание, папенька и две старшие дочери тотчас же отправились к своим постам.

Катерина Архиповна с умыслом распорядилась таким образом, чтобы остаться наедине с гостьей и послушать, что она еще скажет про Мари, и если это про сватовство Хозарова, то отделать эту госпожу, хорошенько, так как страстная мать вообще не любила участия посторонних людей в ее семейных делах, и особенно в отношении идола, за исключением, впрочем, участия Рожнова, в рассуждении которого она, как мы знаем, имела свою особую цель.

— Я все слышала,— начала Мамилова тотчас же, как они остались наедине,— и, признаюсь, от вас, Катерина Архиповна, и тем более в отношении Мари, я никогда этого не ожидала: очень натурально, что она, бедненькая, страдает, узнав, как жестоко вчерашний день решена ее участь.

— А, вы говорите,— сказала Ступицына самым обидно-насмешливым голосом,— про это глупое предложение этого мальчишки Хозарова? Уж не оттого ли, вы полага-

гаете, Мари больна, что я вчерашний день отказала этому вертопраху даже от дома? В таком случае я могу сказать вам, что вы ошибаетесь, Варвара Александровна, Мари даже не знает ничего: я не сочла даже за нужное говорить ей об этом.

— Вы ей не говорили,— возразила с своей стороны тоже довольно насмешливо гостья,— но она знает. Поверьте мне: женщине, которая любит, говорит ее инстинкт, ее предчувствие.

— Мне очень странно, Варвара Александровна,— сказала мать,— слышать от вас такое, даже обидное для девушки, заключение, тем более, что Мари еще ребенок, который даже, может быть, и не понимает этого.

— Не сердитесь на меня, Катерина Архиповна, и поймите, что я хочу вам сказать: дочь ваша любит, и любит до безумия, и вы, страстная мать, припомните мои слова: вы сведете ее в могилу.

— Сделайте милость, бога ради, прошу вас, не говорите подобных ужасных вещей! — перебила мать, начавшая уже выходить из терпения.

Но Мамилова продолжала:

— Я говорю, что чувствую: выслушайте меня и взгляните на предмет, как он есть. Я знаю: вы любите вашу Мари, вы обожаете ее,— не так ли? Но как же вы устраиваете ее счастье, ее будущность? Хорошо, покуда вы живы, я ни слова не говорю — все пойдет прекрасно; но если, чего не дай бог слышать, с вами что-нибудь случится,— что тогда будет с этими бедными сиротами и особенно с бедною Мари, которая еще в таких летах, что даже не может правильно управлять своими поступками?

— Я опять вам скажу, Варвара Александровна, что я не понимаю, к чему вы все это говорите,— возразила Катерина Архиповна.— Мне пророчите смерть, дочь мою, говорите, я сведу в могилу, и бог знает что такое! Я мать, и если отказала какому-нибудь жениху, то имею на это свои причины.

— Мне известны эти причины,— сказала гостья.— У вас в виду другой жених: старый, толстый, богатый. Но что такое значит богатство? Что такое деньги? Это яд, который отравляет жизнь женщины. Не губите, Катерина Архиповна, вашей дочери, не продавайте ее за деньги, если не хотите отравить ее жизнь.

Катерина Архиповна потеряла уже всякое терпение и

готова была выйти из границ приличия, в которых старалась себя держать как хозяйка дома.

— Я не продавала и не продам моей дочери, Варвара Александровна, и не хочу ее губить. Для вас, кажется, наши семейные дела должны бы быть посторонние, и потому, прошу вас, прекратите этот неприятный для меня разговор.

— Извольте, если он вам неприятен, я прекращу, но все-таки скажу, что дочь ваша любит Хозарова.

— А я вам скажу, что она его не любит, потому что получила не такое романтическое и ученое воспитание. Нельзя же, Варвара Александровна, по себе судить о других.

— Тем хуже для вас, Катерина Архиповна, что вы, быв такой страстной матерью, не умели от вашей дочери заслужить доверия.

— Я двадцать пятый год, как мать, и мать троих дочерей. Вы, я полагаю, не можете и судить об этих чувствах, потому что никогда не имели детей.

— Не смею и равняться с вами в этом отношении и сказала только из желания счастья Мари.

— Никто, конечно, как мать, не пожелает более счастья дочери.

— И с этим я вполне согласна, что они желают, но всегда ли умеют устроить это счастье детей? Впрочем, я действительно, может быть, дурно поступаю, что вмешалась в совершенно постороннее для меня дело.

— Оно конечно, Варвара Александровна, вам будет гораздо лучше предоставить мне самой знать мои дела.

— Совершенно согласна и прошу у вас извинения,— сказала опять насмешливым голосом Варвара Александровна.

— И меня тоже извините,— отвечала хозяйка,— и я, как мать, может быть, сказала вам что-нибудь лишнее.

Здесь разговор двух дам прекратился. Варвара Александровна из приличия просидела несколько минут у Ступицыных и потом уехала, дав себе слово не переступать вперед даже порога в этот необразованный дом. Вечером к ней явился Хозаров: он был счастлив и несчастлив: он получил с торговкою от Мари ответ, короткий, но исполненный отчаяния и любви.

«Я вас буду любить всю жизнь,— писала она.— Мамаше как угодно: я не пойду за этого гадкого Рожнова. Вас

ни за что в свете не забуду, стану писать к вам часто, и вы тоже пишете. Я сегодня целый день плачу и завтра тоже буду плакать и ничего не буду есть. Пускай мамаша посмотрит, что она со мной делает».

— Не правда ли,— сказал Хозаров, прочитав это письмо Варваре Александровне,— по-видимому, это письмо небольшое, но как в нем много сказано!

— Тут неподдельный язык природы и наивность сердца,— отвечала та.— Впрочем,— продолжала она,— вам все-таки надобно отказаться от вашей страсти, потому что это такое дикое, такое необразованное семейство! Я даже не воображала никогда, чтобы в наше время могли существовать люди с такими ужасными понятиями.

— Все семейство никуда не годится, но Мари между ними исключение: она непохожа ни на кого из них.

— Это правда. Отец еще ничего — очень глуп и собою урод, сестры тоже ужасные провинциалки и очень глупы и гадки, но мать — эта Архиповна, я не знаю, с чем ее сравнить! И как в то же время дерзка: даже мне наговорила колкостей; конечно, над всем этим я смеюсь в душе, но во всяком случае знакома уже больше не буду с ними.

— Но что же я должен предпринять? — возразил Хозаров.

— Не знаю. *Entre nous soit dit*<sup>1</sup>, вам остается одно — увезти.

— Увезти? Да, это правда!

— Непременно увезти,— подхватила Мамилова.— Вы даже обязаны это молоденькое существо вырвать из душной атмосферы, которая теперь ее окружает и в которой она может задохнуться, и знаете ли, как вам обоим будет отраднo вспомнить впоследствии этот смелый ваш шаг?

— Знаю, Варвара Александровна, очень хорошо знаю; но теперь еще покуда есть препятствие для этого.

— Для любви не может быть препятствия, не может быть препон; ну, скажите мне, в чем вы видите препятствие?

— Препятствие в том отношении, если жена моя после будет чувствовать раскаяние, будет укорять меня.

— Никогда! Парирую моею жизнью, никогда. Женщины раскаиваются только в тех браках, в которые они вступают по расчету, а не по любви. В чем ваша Мари будет чувствовать раскаяние?

<sup>1</sup> Между нами будь сказано, (франц.)

— Конечно...

— Нет, вы скажите, в чем и почему именно она будет раскаиваться?

Герой мой не нашел, что отвечать на этот вопрос. Говоря о препятствии, он имел в виду весьма существенное препятствие, а именно: решительное отсутствие в кармане презренного металла, столь необходимого для всех романтических предприятий; но, не желая покуда открыть этого Варваре Александровне, свернул на какое-то раскаивание, которого, как и сам он был убежден, не могла бы чувствовать ни одна в мире женщина, удостоившаяся счастья сделаться его женою.

Приехав домой, Хозаров имел с Татьяной Ивановной серьезный разговор и именно в отношении этого предмета, то есть, каким бы образом достать под вексель презренного металла. Сообразительная Татьяна Ивановна первоначально стала в тупик.

— Ах, боже мой! — воскликнула она потом голосом, исполненным радости и самой тонкой и далекой прозорливости.— Ах, боже мой! — повторила она.— Совсем из головы вон! Нельзя ли напасть на Ферापонта Григорьяча? Их человек мне сказывал, что они отдают капитал в верные руки.

— Но даст ли он? — заметил недоверчиво Хозаров.

— Да отчего бы, как я по себе сужу, не дать? Вы, вероятно, как женитесь, так не возьмете на свою совесть.

— Конечно, но, знаете, он, как я мог заметить, должен быть ужасный провинциал: пожалуй, потребует залога, а где его вдруг возьмем? У меня есть и чистое имяние, да в неделю его не заложить.

— Это, пожалуй, может случиться,— заметила Татьяна Ивановна,— нынче в этаких случаях ужасно стало дурно: прежде, когда я жила в графском доме, я в один день достала, у одной моей знакомой, десять тысяч, а нынче десять рублей напросишься. Но что за дело — попробуйте!

— Именно попробую, и попробую сейчас же,— сказал Хозаров, вставая.

— Что ж? Можно и сейчас,— подтвердила Татьяна Ивановна,— он дома; только чай еще начал пить.

Герой мой, довольно опытный в деле занимания денег, решил действительно тотчас же приступить к этому делу. С этою целью, одевшись сколько возможно франтова-

тее, он, нимало не медля, отправился к старому милашке Татьяны Ивановны и застал того за самоваром.

— Честь имею представиться,— сказал, входя, Хозаров.

— А! Наше вам почтение,— отвечал Ферапонт Григорьич.

— Я давно желал иметь честь быть у вас и засвидетельствовать вам почтение, но, знаете, столица... удовольствия... дела... По крайней мере теперь, если я буду не в тягость...

— Помилуйте-с... ничего... прошу покорно садиться... не угодно ли чаю?

— Благодарю, я пил. Как вы проводите время?

— Понемногу. Вы, кажется, к...ий помещик?

— Точно так, то есть имение мое там, но сам я живу редко.

— Большое ваше имение?

— Нельзя сказать, что большое: пятьсот душ.

— А... однако пятьсот душ. А здесь вы изволите по каким причинам проживать?

— Как вам сказать? Я живу теперь здесь по причинам, если можно так выразиться, сердечным: я женюсь!

— В брак изволите вступать? А... доброе дело: нашего полка прибудет. Я сам также женатый человек, пятнадцать лет живу семьянином.

В дальнейшем затем разговоре Хозаров, видимо, старался подделаться под тон помещика. Он расспросил его подробно о его семействе и сам о своем тоже рассказал довольно подробно; переговорили и об охоте, и о лошадях, и о каком-то общем знакомом Вондюшине, который, по мнению обоих собеседников, был прекрасный человек для общества, но очень дурной для себя. По позднейшим сведениям, которые имел Хозаров об этом прекрасном для общества человеке, сей последний был в таком жалком положении, что для пропитания своего играл на гитаре и плясал по трактирам.

Герой мой заметно начал нравиться Ферапонту Григорьичу своими интересными разговорами.

— Я к вам имел бы одну маленькую просьбу,— начал довольно смело Хозаров после нескольких минут молчания.

— В чем могу служить? — спросил помещик.

— Вы, кажется, имеете свободные деньги?

— То есть как деньги? — спросил удивленный Ферапонт Григорьич.

— По случаю женитьбы я имею надобность в деньгах; не можете ли вы мне ссудить тысячи три на ассигнации? — проговорил Хозаров опять довольно смело, устремив на соседа испытывающий взор, так что тот потупился.

— С большим бы удовольствием, но я не имею денег, — отвечал, придя несколько в себя, Ферапонт Григорьич.

— Может быть, вы сомневаетесь, — начал снова Хозаров, — так как я еще имею честь так мало времени пользоваться вашим знакомством, но я могу представить вам поруку.

— Нет-с... помилуйте, вовсе не потому; но я вовсе не имею денег, и даже сам бы у вас с большим удовольствием занял.

— Но это, сами согласитесь, Ферапонт Григорьич, пустячная сумма, я могу вам представить благонадежную поруку и дать хорошие проценты.

— Помилуйте-с... я не понимаю, к чему вы так беспокоитесь; честью моей заверяю, что я не имею денег.

— Но как же мне говорили?

— Вероятно, с вами пошутили?

— Как же пошутили: подобными вещами не шутят.

— Нет-с, иногда шутят, мало ли есть проказников. Да не хозяйка ли вам наврала? Она ужасная врунья... Не прикажете ли трубки?

— Благодарю... я курил, позвольте вам пожелать покойной ночи.

— Уже?

— Спать пора.

— Не смею удерживать, благодарю за посещение; завтрашний день постараюсь быть у вас.

— Весьма много обяжете. До приятного свидания.

— И с моей стороны также, — проговорил помещик, раскланиваясь.

«Этакий, подумаешь, московский франт, — сказал он сам себе по уходе Хозарова. — Видишь, на каких колесах подъехал: дай ему, чу, денег — пустячную сумму, три тысячи рублей, а самому, я думаю, перекусить нечего. Ну, Москва!.. Этакий здесь отчаянный народ... приломил к совершенно незнакомому человеку и на горло наступает; дай ему денег взаем; поручителя, говорит, представлю; хорош должен быть поручитель; какой-нибудь франт без штанов! Ай да Москва! Нечего сказать — бьет с носка!.. Удивительно, какой здесь смелый живет народ!»



— Это такой скотина ваш Ферапонт Григорьич,— сказал Хозаров, входя к Татьяне Ивановне,— что уму невообразимо! Какой он дворянин... он черт его знает что такое! Какой-то кулак... выжига. Как вы думаете, что он мне отвечал? В подобных вещах порядочные люди, если и не желают дать, то отговариваются как-нибудь поделкатнее; говорят обыкновенно: «Позвольте, подумать... я скажу вам дня через два», и тому подобное, а этот медведь с первого слова заладил: «Нет денег», да и только.

— Скажите, какой странный человек,— сказала Татьяна Ивановна.— Я и прежде замечала, должен быть скупец, и скупец жадный.

— Он мало, что скупец, он человек, нетерпимый в обществе. Мне очень жаль, что я ходил к нему, а все по милости вашей.

— Да ведь я, Сергей Петрович, этого не думала, что он так поступит. Я наверное думала, что он даст; к нему как пристанешь, так он дает. Хорошо ли вы просили? Нужно с ним говорить поубедительнее.

— Вот прекрасно! Обыкновенно, как берут деньги взаем: не в ноги же ему кланяться, мне еще не до зарезу пришло; я найду денег; завтрашний же день возьму на какие-нибудь месяцы у Мамиловой.

— Чего же вам лучше... и прекрасно! — сказала Татьяна Ивановна.— Давно бы вам это придумать.

— Конечно, так. Женщины в этом отношении гораздо благороднее, они как-то деликатнее, лучше понимают эти вещи, а уж про Варге Мамилову и говорить нечего: это какой-то феномен-женщина, и по сердцу и по уму — совершенный феномен.

Хозаров еще несколько времени беседовал с Татьяной Ивановной, и между ними положено было подождать несколько времени; к Мари написать завтрашний день записку, а между тем во всевозможных местах стараться занять денег.

В продолжение следующих за тем двух дней Марья Антоновна сдержала свое обещание, то есть плакала, лежала в постели и ничего не ела. До сих пор я еще ничего, с своей стороны, не говорил о героине моего романа, и не говорил, должен признаться, потому, что ничего не могу резко и определенного сказать о ней. Что можно сказать о характере женщины, которая не совсем

еще сформировалась? А Мари действительно была ребенок и весьма многого не понимала. Учившись в пансионе, например, она решительно не понимала ни второй части арифметики, ни грамматики и даже не понимала, что это такое за науки и для чего их учат. Бывши раз в театре, она с удивлением смотрела на даму, сидевшую в соседней ложе, которая обливалась горькими слезами, глядя на покойного Мочалова в «Гамлете». Простодушная Мари ничего тут не понимала, и ей было даже скучно до тех пор, пока в последнем акте не начали биться на бумагах, тогда ей сделалось страшно. В музыке Мари тоже не совсем все понимала и любила больше обращать внимание на виньетки и рисунки, которыми обыкновенно украшаются нотные обертки. На основании всех этих данных мы вполне можем согласиться с Катериной Архиповной, что Мари еще развивалась и покуда была совершенный ребенок. Против одного только я протестую, что будто бы молодая девушка не имела никакого кокетства, до сих пор не знает, что такое любовь, и боится одной мысли выйти за кого бы то ни было замуж. Во-первых, она имела кокетство, потому что еще с двенадцати лет очень любила вертеться перед зеркалом и умела весьма ловко потуплять глаза, когда в танцкласс привозили какого-нибудь Васеньку или Ванечку, не по дням, а по часам вырастающих из сшиваемых им курточек. В настоящее время она очень любила читать романы и весьма ясно понимала любовь; еще года два тому назад она была влюблена в учителя истории, которого, впрочем, обожал весь класс, но Мари исключительно. Во всю бытность в пансионе она постоянно рисовала голову Париса, на которую походил обожаемый учитель. К Хозарову она чувствовала страсть и только о том и помышляла, как бы выйти за него замуж. Узнав, что Катерина Архиповна отказала ему, она очень рассердилась на мать и дала себе слово во что бы ни стало заставить старуху переменить свое намерение. Впрочем, Мари была, право, доброго характера; она умеренно пользовалась исключительной любовью матери, не весьма часто капризничала, сестер своих она не ненавидела, как ненавидели те ее, и вместе с тем страстно любила кошек. Но обратимся к моему рассказу. Я уже прежде сказал, что идол другие сутки ничего не ел. Страстная мать была как сумасшедшая: она решительно не знала, что ей делать и что пред-

принять. Старуха очень хорошо догадывалась, что бедное дитя сердится на нее за то, что она отказала Хозарову, но ей — матери-другу — ничего не говорит. Горько и обидно было ее материнскому сердцу; целые ночи она проплакивала и промаливалась, а по дням все свои огорчения принималась вымещать на старших дочерях, а главное — на Антоне Федотыче. Пашет и Анет начинали тоже приходить в отчаяние, и, проплакав после маменькиной нотации целое утро, они принимались потихоньку в своей комнате ругать маменьку, папеньку и по преимуществу чертенка Машет, изъявляя общее желание, чтобы она поскорее или замуж выходила, или умирала. Антону Федотычу просто житья не было: мало того, что ему строжайшим образом было запрещено курить трубку на том основании, что будто бы табачный дым проходит наверх к идолу и беспокоит его; мало того, что Катерина Архиповна всей семье вместо обеда предоставила одну только три дня тому назад жареную говядину, — этого мало: у Антона Федотыча был отобран даже матрац и положен под перину Машет; про выговоры и говорить нечего; его бранили за все: и за то, что он говорит громко, и каблуками стучит, и даже за какое-то бессмысленное выражение лица, совершенно неприличное для отца, у которого так больна дочь. Все это Антон Федотыч переносил первоначально со свойственным ему терпением и даже, стараясь принять участие в семейных хлопотах, сам бегал по нескольку раз в день в аптеку; но, наконец, не выдержал и, махнув рукой, куда-то отправился на целый день. Катерина Архиповна в самом деле была непохожа сама на себя: она даже наговорила дерзостей добряку Рожнову, когда тот начал было ее утешать и успокаивать. Она прямо ему сказала, что он никогда не был матерью и потому не может понимать ее горя и что если он и любит Мари, то любит ее как мужчина... Рожнов замолчал и скоро уехал. Таким образом, страстная мать была оставлена всеми. На третий день поутру она, наконец, решилась объясниться с дочерью и узнать, что такое с нею. В переводе это значило: узнать, чего хочется идолу, и исполнить по ее желанию. Что делать? Такова уж натура всех страстных матерей.

— Что, душа моя, лучше ли тебе? — сказала Катерина Архиповна, тихонько входя в комнату больной и садясь на ближайший стул.

— Не знаю,— отвечал идол, повернув голову в подушку.

— Ты бы покушала чего-нибудь, а то желудок ослабнет,— повторила мать.

— Не хочу-с.

— Но, друг мой! Что такое с тобою,— позволь мне послать за доктором.

— Не хочу-с.

— Но... друг мой!

— Не хочу-с... Пожалуй, посылайте! Я ничего не буду принимать и только еще буду плакать больше.

— Но за что же ты, Машенька, на меня сердишься, что же я тебе, друг мой, сделала? — сказала мать почти сквозь слезы.

— Я не сержусь.

— Нет, ты сердишься — я вижу; если ты что-нибудь чувствуешь, так кому же ты можешь сказать, как не матери: ты вспомни, мой друг, когда я тебе в чем отказывала? Мне горько, Машенька, что ты так переменилась ко мне... Друг мой, что такое с тобою? — проговорила Катерина Архиповна уже совершенно в слезах и, взяв руку дочери, поцеловала ее.

Мари тоже поцеловала руку матери, но не говорила ни слова. На глазах ее опять показались слезы.

— Ну, полно, друг мой, бога ради не плачь; а то, пожалуй, опять начнется истерика,— я сделаю, как хочешь, ты только скажи. Разве он тебе очень нравится?

— Да, мамаша.

— Но от кого ты узнала, что он сватался?

— Он мне сам сказал.

— Где же он тебе сказал?

— Не помню где.

— Ты выслушай меня, друг мой, но только не плачь,— это я говорю не серьезно, а так,— он совершенно неизвестный человек; может быть, он какой-нибудь развратный... мот... может быть, даже тебя обманывает?

— Нет, извините, мамаша, он меня любит.

— Разве он тебе говорил?

— Говорил.

— Где же?

— Не помню где.

Старуха задумалась.

— Вы ему напишите, мамаша, записочку, чтобы он приехал сегодня, а то он очень рассердится... Пожалуй, не будет к нам и ездить.

— Но, друг мой, к чему это поведет: неужели ты хочешь выйти за него замуж?

— Непременно за него, мамаша! Кроме его, ни за кого не пойду.

— А Иван Борисыч, Машенька?.. За что ты этого человека хочешь лишиться? Он очень добрый и благородный человек... тысяча душ, друг мой... ты будешь счастлива с ним,— тебе и теперь уже все завидуют.

— А вы что мне, мамаша, обещали, чтобы никогда не говорить про этого гадкого человека; я опять плакать начну.

— Ну, ну, я замолчу, не стану говорить, только ты встань, друг мой, и покушай...

— Нет, мамаша, не хочу.

— Но если я напишу ему записочку и буду звать к себе,— встанешь?

— Встану.

Старуха вздохнула и глубоко вздохнула: все надежды ее рушились. Долее уже не в состоянии была она продолжать разговора с дочерью и, придя в свою комнату, зарыдала и почти без чувств упала на голые доски кровати Антона Федотыча. Живое и ясное предчувствие говорило ей, что в этом браке ее идолу угрожает гибель и что она сама отрывает дочь свою от счастья, которое суждено бы ей было в браке с Рожновым, и сама отдает ее какому-то пустому шеголю и отдает, может быть, на бедность, на нелюбовь и тому подобное. Велико ли состояние Мари? Всего сто душ после бабки да тысяч десять деньгами; десять тысяч, накопленные ее бережливостью. Из имени идола действительно, как говорил Ступицын, не издерживала Катерина Архиповна ни копейки. Отказывая во всем себе, Антону Федотычу и двум старшим дочерям, страстная мать из своих малых средств воспитывала Машеньку в пансионе, одевала ее гораздо лучше прочих и даже исполняла ее пустые прихоти; но за кого теперь она принуждена выдать свою любимицу — что это за человек? Вот что занимало теперь старуху после разговора ее с дочерью: остаться в прежнем намерении, то есть отказать Хозарову, она уже не имела сил, она уже не в состоянии была видеть, как Машенька пла-

чет, страдает и ничего не ест. Но от кого бы по крайней мере узнать подробнее о женихе? Поручить Антону Федотычу, но он не умеет, да и налжет. Долго старуха думала и, наконец, решила обратиться к Рожнову. Она и в этом случае рассчитывала на великодушные отверженного искателя и полагала, что его можно будет упросить съездить и разузнать о счастливом сопернике. С этой целью она сама поехала к толстяку и застала его по обыкновению лежащим на диване и читающим книгу.

— А! Сердитая маменька,— сказал тот, приподнимаясь,— какими судьбами?

— Я к вам с просьбой.

— Слушаю-с.

— Вы так любите наше семейство, я так обязана много вам, что даже не в состоянии, кажется, и отблагодарить вас, и надеюсь, что вы не откажете в моей просьбе.

— У вас нет денег? — сказал толстяк.

— Ах нет, но у меня Маша очень страдает.

— Ваша Маша не страдает, а сентиментальничает: страдаете тут вы... Ну-с, что же вам угодно?

— Я к вам с просьбою.

— Это я слышал.

— Она любит его.

— То есть она влюблена в него, и это я знаю.

— Что мне делать?

— Выдать ее за того, в кого она влюблена.

— Пожалуйста, не говорите так.

— Как же мне говорить?

— Вы говорите очень насмешливо.

— Прикажете плакать?

— Ах нет... что вы это говорите: мне хотелось бы узнать, что это за человек.

— Зачем же вам это знать?

— Что это вы говорите, Иван Борисыч, зачем мне знать? Я мать!

— Послушайте, Катерина Архиповна, в подобных вещах нужно выбирать два полюса: или решительно не выдавать дочь, если это невыгодно по вашим понятиям, или выдавать без всякого размышления, а так, потому только, что дочке этого желается.

— Но мне хочется узнать, что это за человек. Узнайте, Иван Борисыч, и скажите, я вам верю.

— Премного благодарен за ваше доверие: только я не поеду узнавать.

— Но как же я узнаю?

— Это уж ваше дело.

— Вы сердитесь, Иван Борисыч, но чем же я-то виновата?

— И я не сержусь, и вы не виноваты,— отвечал он,— но только не поеду.

— Иван Борисыч!

— Не поеду-с.

У старухи покатились сначала слезы, потом она начала даже рыдать.

— О чем же вы плачете? — спросил толстяк.

— Все меня оставили; никто не хочет мне помочь,— говорила она,— никто не хочет даже узнать, что это за человек.

— Да зачем же вам?

— Как зачем!..

— Ну, а если я вам скажу, что он мерзавец?

— Как же это мерзавец?

— Да так, как обыкновенно бывают мерзавцы.

— Как вы это так говорите, в таком деле, Иван Борисыч; это, я думаю, на всю жизнь.

— Ну, не верите и прекрасно; вы оставайтесь при своем убеждении, а я при своем.

Катерина Архиповна больше не возражала: она догадалась, что Рожнов не мог быть беспристрастным исполнителем ее поручения, и потому тотчас же отправилась домой.

Толстяк, оставшись один, несколько времени ходил, задумавшись, взад и вперед по комнате.

— Григорий! — закричал он.

Явился лакей.

— Вели собиратья.

— Куда-с? — спросил тот.

— В деревню.

— Вот тебе на... Да зачем-с?

— А тебе зачем знать, дуралей? — вскрикнул сверх обыкновения рассердившийся барин.

— Известное дело что мне: да коляска-то еще у кузнеца.

— Я дам вам у кузнеца, остолопы! Чтоб сегодня же у меня было все готово.

— Да что вы на меня кричите: спрашивайте с кучеров; мне что? Мое дело сесть да поехать.

— Ну, не рассуждать! Пошел... собирайтесь.

Слуга, впрочем, не пошел собираться, а, надев шапку и позвав другого лакея, отправились вместе в трактир.

Впрочем, как прислуга ни лениво собиралась, как ни представляла барину тысячу препятствий, но на другой день в одной из московских застав был записан выехавшим: надворный советник Рожнов в К...

## VI

На другой же день после описанной в предыдущей главе сцены Катерина Архиповна, наконец, решилась послать мужа к Хозарову с тем, чтобы он первоначально осмотрел хорошенько, как молодой человек живет, и, разузнав стороною о его чине и состоянии, передал бы ему от нее письмо. Страстная мать уже окончательно не в состоянии была бороться с желанием дочери, тем более что Мари все еще ничего не ела и лежала в постели. Послание Катерины Архиповны, если не высказывало полного согласия на предложение моего героя, то в то же время было совершенно написано в другом духе, чем прежнее ее письмо,— это была ласковая, пригласительная записка приехать и переговорить об интересном и важном деле. Целый день был употреблен на отыскание Антона Федотыча, скрывавшегося где-то от семейных неприятностей; наконец, он был найден у трех офицеров, живших на одной квартире. Первоначально он, как водится, получил достойный выговор за свое ни с чем несообразное поведение, а потом уже ему было объявлено и самое поручение, которому Антон Федотыч, с своей стороны, очень обрадовался. Пояснив супруге, что он все очень хорошо понял и потому прекрасно обделает это дело, тотчас же отправился к Хозарову и даже отправился, сверх ожидания, по распоряжению Катерины Архиповны на извозчике.

В этот же самый день, часу в четвертом пополудни, Хозаров вбежал так нечаянно и так быстро в номер Татьяны Ивановны, что она, лежа в это время на своей кровати и начав уже немного засыпать послеобеденным сном, даже испугалась и вскрикнула.



— Что это, почтеннейшая, вы изволите так бездействовать, тогда как я обдeldываю великие дела! — вскрикнул он, стаскивая хозяйку за руку с постели.

Он был, видно, в весьма хорошем расположении духа и, как кажется, немного навеселе.

— Пойдите, проказник, дайте поправиться. Ах, какой вы шалун! Ну, что такое там у вас случилось?

— Случился случай случайнейший. Во-первых, *voyez-vous, madame!*<sup>1</sup> — сказал он, вынув из кармана футляр и раскрыв его перед глазами Татьяны Ивановны.

— Ах, какие прекрасные брильянты! Батюшка, ай, батюшка, посмотрите, средний-то с орех... Какие отличнейшие вещи! Где это вы взяли, купили, что ли?

— Это еще не все, мадам, я вам сказал прежде во-первых, но теперь во-вторых: *voyez!* — И он вынул из кармана бумажник, в котором было положено с тысячу рублей ассигнациями.

— Да что вы, проказник этакий, клад, что ли, нашли?

— Погодите, погодите, терпение, мадам, это еще не все: *regardez!*<sup>2</sup> — И он одернул перчатку с руки, на большом пальце которой красовался богатый перстень.

— Ах, какой отличный солитер! Батюшка, Сергей Петрович, да где вы все эти богатства приобрели?

— Уж, конечно, не у вашего скота, Ферапонта Григорыча, позаимствовался. Всем этим богатством, что видите, наградила меня заимообразно моя милая фея, моя бесценная *Barbe* Мамилова.

— Барвара Александровна? Скажите, какая превосходнейшая женщина!

— Да-с, найдите-ка другую в нашем свете! С первого слова, только что заикнулся о нужде в трех тысячах, так даже сконфузилась, что нет у ней столько наличных денег; принесла свою шкатулку и отперла. «Берите, говорит, сколько тут есть!» Вот так женщина! Вот так душа! Истинно будешь благоговеть перед ней, потому что она, кажется, то существо, о котором именно можно сказать словами Пушкина: «В ней все гармония, все диво, все выше мира и страстей».

— Ну, я думаю, и вещи тоже ценные? — сказала Та-

---

<sup>1</sup> взгляните, сударыня! (франц.)

<sup>2</sup> смотрите! (франц.)

тьяна Ивановна.— Ах, какая прелестная работа! — продолжала она, с любопытством рассматривая баул.

— Да-с, я вам скажу, что для этой женщины нет слов на языке, чтобы выразить все ее добродетели: мало того, что отсчитала чистыми деньгами тысячу рублей; я бы, без сомнения, и этим удовлетворился, и это было бы для меня величайшее одолжение, так нет, этого мало: принесла еще вещи, говорит: «Возьмите и достаньте себе денег под них; это, я полагаю, говорит, самое лучшее употребление, какое только может женщина сделать из своего украшения». А?.. Как вам покажется? Сколько в этих словах благородства, великодушия! Я, разумеется, намерен ей отплатить тем же и потому тотчас же поехал к маклеру и написал ей в три тысячи вексель; так даже и этого не хотела взять. Я убедил ее только тем, что я человек, и человек смертный, могу умереть и потому за ее великодушие не хочу на тот свет унести черной неблагодарности. Вот какова эта женщина, Татьяна Ивановна!

— Прекрасная должна быть дама! Вот, как я по всем словам вашим вижу, так, должно быть, предобрейшее она имеет сердце!

— И говорить нечего, она выше всяких слов! Но стойте, я никогда и нигде не позволял себе забывать людей, сделавших мне какое-либо одолжение: сегодняшнее же первое мое дело будет хоть часть заплатить моей Татьяне Ивановне, и потому не угодно ли вам взять покуда полтораста рублей! — сказал Хозаров.— Примите, почтеннейшая, с моею искреннею благодарностью,— продолжал он, подавая хозяйке пачку ассигнаций, и затем первоначально сжал ее руку, а потом поцеловал в щеку.

— Что это, бесстыдник какой, как это вам не известно?.. — сказала, сконфузившись, но с явным удовольствием девица Замшева.— Да стойте еще, повеса этакой, расплачиваться, дайте прежде сосчитаться.

— Без счетов, почтеннейшая! — воскликнул Хозаров.— Сегодня для меня такой веселый и торжественный день, что я решительно не могу вести никакого рода счетов. Будем жить и веселиться, ненадолго жизнь дана! — произнес он и, вскочив, схватил Татьяну Ивановну и начал с нею вальсировать по комнатам.

— Перестаньте, проказник этакой! Ай, батюшки, заverteли... посмотрите, гребенка выпала,— говорила

сорокалетняя девица, делаая быстрые туры с ловким танцором.

— C'est assez, madame, merci, grand merci<sup>1</sup>,— сказал Хозаров, останавливая и сажая даму на стул.

Походя по комнате, он остановился перед хозяйкой.

— Мне пришла в голову прекрасная идея,— сказал он,— я хочу вашим постояльцам дать маленькую вечеринку.

— Ой, Сергей Петрович, не советовала бы я вам,— возразила Татьяна Ивановна,— народ-то, знаете, такой все пустой, не вашего сорта люди; да и зачем вам?

— Нет, очень есть зачем: у меня тут есть особые виды. Вот, например, если я вздумаю увезти Мари, а это очень может случиться, в таком случае эти господа могут оказать мне великую помощь; то есть одни будут свидетелями, другой господин кучером, третий лакеем. Подобные вещи всегда делаются в присутствии благородных людей; а во-вторых, если будет оттуда, для спроса обо мне, какой-нибудь подсыл, то теперь они на меня могут бог знает что наболтать; но, побывав на пирушке, другое дело; тут они увидят, что я живу не по-ихнему, и невольно, знаете, по чувству этакого уважения и даже благодарности отзовутся в пользу мою. Я намерен позвать их всех, кроме этого свиньи, вашего Ферапонта Григорьича.

— Позовите и его: он хороший человек, только знаете, этакий деревенский, груб немного на словах.

— Ну, и то дело,— зла не надобно помнить.

— А музыканта позовете? — спросила Татьяна Ивановна не совсем твердым голосом.

— Непременно; как же могу я его не позвать? Это было бы, кажется, низко и неблагородно с моей стороны.

— Он прекрасный человек и вас чрезвычайно любит. Ревнует даже меня к вам.

— Скажите, какой Отелло,— сказал Хозаров с улыбкой.

— Вы, мужчины, все таковы... Что же у вас будет на вечеринке?.. Когда думаете, так уж время приготавливаться.

— Да, это правда. Впрочем, я большого не думаю: подать сперва чай, потом сварю жженку, а тут можно подать мороженое и какие-нибудь фрукты.

<sup>1</sup> Довольно, сударыня, спасибо, большое спасибо, (франц.)

— Ой, не годится... совсем не годится... вовсе будет не по гостям вечер. Это ведь хорошо для каких-нибудь модных дам, а этим гораздо будет приличнее велеть приготовить чаю с ромом, да после велеть подать закуску с водкой и винца побольше.

— Но это будет как-то гадко, пошло... что-то такое купеческое.

— Вовсе не купеческое, а так, как обыкновенно между мужчинами.

— Нет, почтеннейшая, между мужчинами другого сорта это бывает не так; но, впрочем, хорошо... будь по-вашему; однако все-таки без шампанского нельзя.

— Ну, шампанское, конечно, будет очень прилично.

— Итак, почтеннейшая, первоначально отправляйтесь и возьмите, сколько по вашему соображению нужно будет, вина и извольте готовить чай, а я между тем пойду сзывать братию, и вот еще кстати: свечей возьмите побольше, чтобы освещение было приличное, я терпеть не могу темноты. А *groros*<sup>1</sup>: мне пришла в голову счастливая мысль! По всем номерам таскаться и всякого звать особо — скучно, да и не принято в свете, а потому я всем этим господам напишу пригласительные записки, как обыкновенно это делается.

— Что же, можно и так, — сказала Татьяна Ивановна. — Ах, Сергей Петрович, как я вот посмотрю на вас, живали вы, видно, в богатстве, видали вы людей.

— Да, почтеннейшая моя, живал и видал людей, да и опять так заживу... Однако скажите мне имена и фамилии этих господ: на адресе надобно будет означить имена их и фамилии.

— А как их фамилии-то. В первом номере: *сибарит* — Виктор Прохорыч Казаненко; во втором — Семен Дмитрич Мазеневский; в третьем... этого вы знаете, — Феррапонт Григорьевич Телятин; в четвертом уж и позабыла, да! Черноволосый — Разумник Антиохыч Рушевич, а белокурый — Эспер Аркадьич Нумизмацкий. Но, впрочем, лучше бы вы не приглашали их... неприятный такой народ.

— Нельзя, почтеннейшая, этого между порядочными людьми не принято: если приглашать, так приглашать всех. Дальше?..

---

<sup>1</sup> Кстати: (франц.)

— Да что дальше?.. Этот, я думаю, не придет... больной человек.

— Но все-таки, как его?..

— Клементий, кажется, Иваныч или Кузьмич, должно быть, Иваныч.

— Ну, положим, Иваныч, а фамилия?

— Фамилия — Сидоров.

— Ну, Сидоров так Сидоров. Прощайте, почтеннейшая, хлопочите и готовьте, — проговорил Хозаров и, соображаясь с составленным реестром, придя в свой номер, начал писать пригласительные билеты, утвердившие заключение Татьяны Ивановны касательно знания светской жизни, знания, которым бесспорно владел мой герой. Во-первых, эти билеты, как повелевает приличие света, были все одинакового содержания, а во-вторых, они были написаны самым кратким, но правильным и удобопонятным языком, именно:

«Сергей Петрович Хозаров покорнейше просит вас пожаловать к нему, сего же числа, на холостую пирушку, в семь часов вечера». На обороте были написаны, как водится, имена и фамилии приглашаемых. Такого рода распоряжение Хозарова, исполненное тонкой, светской вежливости, произвело на его сожильцов довольно странное и весьма разнообразное впечатление. Сибарит, прочитав пригласительную записку, сначала очень обрадовался. Ему уже заранее начал представляться холостой вечер с винами, с ужином, но вдруг задумался, потому что всякому хозяину недостаточно было пригласить сибарита, но ему надобно было вместе с тем прислать гостю сюртук, галстук и некоторые другие принадлежности мужского костюма. Позови Хозаров так, просто, не по билетам, сибарит к нему рискнул бы отправиться в своем единственном друге — шинели. Но этот вечер должен быть хотя и холостой, но парадный. Всю свою надежду гость возложил на Татьяну Ивановну и решился покорнейше просить ее доставить ему от Хозарова приличный костюм и таким образом дать ему возможность быть на вечере.

Секретный милашка Татьяны Ивановны — музыкант, по скромности характера, на своем лице, покрытом угрями, не выразил никакого чувства по прочтении пригласительного билета, а только лаконически ответил: «Приду», и принялся писать ноты. Феррапонт Григорыч,

получив приглашение, расхохотался. «А... каков в Москве народец,— начал он рассуждать сам с собой,— вчера денег просил взаймы, а сегодня вечер дает... Ну, мотыга же, видно! Еще не мошенник ли какой-нибудь? Нет, брат, не надуешь, не пойду: пожалуй, и в карман залезут».

— Ванька! Не слыхал ли ты, что такое у этого франта?

— Бал дает, сказывала хозяйка... Меня звали служить; полтинник, говорят, дадут-с,— отвечал возившийся около чемодана Ванька.

— Ну, так что ж? Ступай, дурак, коли ты будешь, так и я схожу,— сказал Ферапонт Григорьич.— Да смотри у меня не зевай; посматривай на меня, и как мигну тебе, так не выдавай!

— Зачем выдавать,— отвечал лакей.

— Схожу... ничего, схожу... и посмотрю, что там такое,— говорил Ферапонт Григорьич.— Этакие, подумаешь, на свете есть ухарские головы! Вчера без копейки был, а сегодня вечер дает, и бог его знает где взял: может быть, кого-нибудь ограбил?..

Две неопределенные личности тоже не обратили должного внимания на приглашение, по крайней мере в первую минуту его получения. Это, может быть, произошло вследствие того, что черноволосый, остававшийся прежде почти в постоянном выигрыше, на этот раз заремизился, а потому очень разгорячился. Белокурый, в надежде выиграть, тоже разгорячился.

По окончании пульки они, хотя довольно односложно, но переговорили о вечере.

— Это зовут,— сказал черноволосый.

— Да,— отвечал белокурый.

— Будут ли картишки-то? — заметил черноволосый.

— Я думаю... только ты смотри, делай пальцами-то этак знаки.

— Известное дело,— не маленький, понимаю немного игру-то. Ты пойдешь в пальто?

— В пальто.

— Ну, ладно, а я во фраке.

Радужнее всех принял приглашение танцевальный учитель: несмотря на сильную ломоту, которую чувствовал во всем теле, он, прочитав записку, тотчас же вскочил с одра болезни и начал напевать известный куплет:

Кума шен, кума крест;  
Кума дальше от комоду;  
Кума чашки разобьешь,—

выделывая в то же время мастерские па из французской кадрили. Но дух его, стремящийся к рассеянию, недолго торжествовал над болеющим телом. Ревматизм от сильного движения разыгрался: учитель повалился на постель и начал первоначально охать, потом стонать и, наконец, заплакал.

Почтеннейшая Татьяна Ивановна, не ограничивая свои заботы хозяйственными приготовлениями, успела обежать все номера и всем объявить, что у Хозарова будет приятельская пирушка, потому что он скоро женится на миллионерке и потому хочет всех своих знакомых угостить. Сибариту достала сюртук; даже в Ферапонте Григорьиче успела поселить совершенно другое мнение о Хозарове; а милашке-музыканту, не знаю почему, сочла за нужное весьма подробно объяснить, сколько и какого именно рода приготовлено винных напитков. На лице, покрытом угрями, появилось самое приятное выражение.

Между тем хозяин, задумавшись, сидел в своем номере.

Ему было грустно, что у него такая дрянная квартира, а потому он не может дать вечера своим знакомым дамам, как делывал это несколько раз в полку.

Настоящую же пирушку он затевал так, без всякого особого удовольствия, потому только, что привык жить хорошо и, почувствовав в кармане деньги, хотел показать себя этой дряни в настоящем свете.

Татьяна Ивановна просто совершала чудеса: зная наклонности своего милашки иметь все в порядочном виде, она достала где-то подсвечники из накладного серебра и серебряную сахарницу; у Ферапонта Григорьича выпросила, на свое собственное имя, совершенно новенький судок для водки и у одной знакомой достала гирную и прекрасную скатерть и дюжины полторы салфеток.

В восемь часов все было готово. Хозаров принимал всех в легоньком пальто, как надобно ожидать от светского человека, был очень вежлив к гостям. Сибариту, одетому в его собственный сюртук, он сжал дружески обе руки, с музыкантом даже поцеловался; Ферапонту Григорьичу, поблагодаря за лакея, как и следует, оказал исключительное почтение и тотчас же просил его сесть на

диван. У каждой из неопределенных личностей пожал по руке с прибавлением: «Очень рад вас видеть, господа!» Что касается до гостей, то Ферапонт Григорьич сохранял какую-то насмешливую мину и был очень важен; музыкант немного дик: поздоровавшись с хозяином, он тотчас же уселся в угол; две неопределенные личности, одна в теплом пальто, а другая во фраке бутылочного цвета, были таинственны; сибарит весел и только немного женировался тем, что хозяйский сюртук был не совсем впору и сильно тянул его руки назад. Ванька в сопровождении Татьяны Ивановны внес чай со стаканами, между которыми уже красовалась бутылка с ромом.

— Прямо пригласите пуншем, — шепнула Хозарову Татьяна Ивановна, знавшая лучше его склонности своих жильцов.

Хозаров сделал гримасу.

— Господа, прошу начинать с пунша, — сказал он. — Я человек холостой; у меня чай дурной, но ром должен быть порядочный. Ферапонт Григорьич, сделайте одолжение.

— Нет-с, благодарю; я не пью пуншу, — отвечал Ферапонт Григорьич. — «Нет, брат, не надуешь, — думал он сам про себя, — ты, пожалуй, напоишь, да и обделаешь. Этакий здесь народец, — продолжал рассуждать сам с собою помещик, осматривая гостей, — какие у всех рожи-то нечеловеческие: образина на образине! Хозяин лучше всех с лица: хват малый; только, должно быть, страшная плутина!» Другие гости не отказались, подобно Ферапонту Григорьичу; они все сделали себе по пуншу и принялись пить.

Хозаров, как человек порядочного тона, начал чувствовать скуку в подобном обществе; с досады на себя, что ни с того ни с сего затеял подобный глупый зов, он и сам решился пить и спросил себе пуншу. Через несколько минут стаканы были пусты, по окончании которых почти у всех явилось желание покурить. Довольно полный комплект хозяйских чубуков мгновенно был разобран, и комната в несколько минут наполнилась непроницаемым дымом. Между тем распорядительная Татьяна Ивановна поднесла гостям новый пунш, который тоже был принят всеми, и даже Ферапонт Григорьич соблазнился и решился выпить с *ромашкой*. Сам хозяин тоже не отставал от гостей. Разговор оживился.



Черноволосая личность подошла к Хозарову и просила составить для него и для беловолосого приятеля партию в преферанс. Хозаров, с своей стороны, был готов, но только не отыскалось третьего партнера. Сибарит начал ходить по комнате и мурлыкать какую-то песню. Ферапонт Григорьич тоже оживился и, подозвав к себе своего Ваньку, велел подать себе еще пуншу. Но неусыпная девица Замшева видела и замечала все: она сама, в собственных руках, поднесла старому милашке стакан с крепчайшим пуншем, оделя таковым же и прочую компанию. Все сделались неимоверно живы и веселы; все закурили и заговорили, даже музыкант начал что-то нашептывать на ухо Татьяне Ивановне. Хозаров тоже заметно подгулял.

— Господа! — сказал он, вставая с своего места. — Я вам очень обязан за сегодняшнее посещение и надеюсь, что с этого дня могу вас считать своими товарищами.

— Идет! — отвечал Ферапонт Григорьич, уже окончательно переменявший свое мнение о Хозарове.

— Конечно, можете, — отвечали все в один голос.

— Господа! Я, может быть, на днях буду иметь нужду в вашей помощи, потому что думаю увезти девушку, и вас, как товарищей, буду просить помочь мне.

— Bravo!.. — закричал сибарит, оканчивая уже третий стакан.

— Я готов, — заметил разговорившийся музыкант, который, по расположению Татьяны Ивановны, справлялся уже с пятым стаканом.

— Пожалуй, — проговорили вместе две неопределенные личности.

— Ну, знаете, я бы и готов, но ведь, мне быть... — сказал Ферапонт Григорьич.

— Я не смею вас и беспокоить. Вы женатый человек, а все женатые для меня священные особы: они неприкосновенны! Но дело в том, что я в одну прекрасную лунную ночь... — На этом слове Хозаров остановился, потому что в комнату вбежала Татьяна Ивановна.

— Антон Федотыч, — сказала она.

— Бога ради, господа, ни слова о том, что я говорил! Это отец моей невесты.

Едва успел проговорить эти слова хозяин, как в дверях номера, сквозь табачный дым, обрисовалась колоссальная фигура Антона Федотыча.

— Фу! Как накурено,— сказал гость,— видно, что кавалерийская компания. Здравия желаем,— проговорил он, подходя к хозяину.— Мое почтение, господа,— продолжал он, раскланиваясь с гостями.— Очень рад, что имел удовольствие застать вас дома и, как вижу, в таком приятном обществе.

— Очень рад, мой драгоценнейший Антон Федотыч,— проговорил хозяин.— Прошу садиться. Не прикажете ли трубки... пуншу?

— Трубки и пуншу, то есть того и другого... можно-с... — произнес Ступицын.— Извините,— прибавил он, немного задев музыканта, который с большим любопытством осматривал нового гостя и вертелся около него.

— Иван! Трубки и пуншу сюда! — сказал хозяин.— Позвольте мне вам представить: Ферापонт Григорыч Телятин!.. Антон Федотыч Ступицын!.. — проговорил хозяин, желая познакомить двух помещиков.

— Очень приятно,— сказал Ступицын.

— Весьма рад вашему знакомству,— отвечал Телятин; и оба они поместились на диване.

Антону Федотычу сейчас были предоставлены и трубка и пунш; но он на этот раз был несколько странен, потому что, вместо того чтобы приняться за пунш и войти в разговоры с Ферапонтом Григорычем, он встал, кивнул как-то таинственно головою хозяину и вышел из комнаты. Хозаров, разумеется, тотчас же последовал за ним.

— Извините меня, — сказал Ступицын, — я имею к вам маленький секрет: я слышал — на днях вы делали честь моей младшей дочери, и жена моя ничего вам не сказала окончательного. Я, конечно, как только узнал, тотчас все это решил. Теперь она сама пишет к вам и просит вас завтрашний день пожаловать к нам... — С этими словами Ступицын подал Хозарову записку Катерины Архиповны, который, прочитав ее, бросился обнимать будущего тестя.

— Вам бы надобно было действовать не так,— говорил Ступицын,— вам бы прямо тогда же сказать мне; я бы сделал это сейчас; но ведь, знаете, они — женщины, очень мнительны, боятся и сомневаются во всяких пустяках.

— Антон Федотыч! — начал с чувством Хозаров. — Я не могу теперь вам выразить, как я счастлив и как одолжен вами; а могу только просить вас выпить у меня

шампанского. Сегодня я этим господам делаю вечерок; хочется их немного потешить: нельзя!.. Люди очень добрые, но бедные... Живут без всякого почти развлечения... наша почти обязанность — людей с состоянием — доставлять удовольствия этим беднякам.

— Я тоже такого характера,— отвечал Ступицын,— и мне очень приятно, что мы сходимся с вами в этом отношении. Бог даст, со временем мы будем затевать такие, знаете, маленькие пирушки; это, по моему мнению, очень приятно.

— Послушайте, Антон Федотыч, я сегодня так счастлив, так счастлив, что даже ничего не понимаю. Пойдемте!.. Я надеюсь, что вы у меня будете пить.

— Выпьем-с, потому что я в жизнь мою еще не отказывал ни в чем моим знакомым; но только наперед ваше честное слово: Катерина Архиповна велела непременно просить вас завтрашний день откусать у нас. Будете?

— Буду, конечно, буду. Неужели же вы думаете, что я не буду? Меня зовут в рай, а я не пойду... Это было бы сумасшествие с моей стороны.

Будущий тесть и зять еще раз поцеловались и вошли в номер.

— Шампанского!..— закричал Хозаров.

— Наперед бы водки,— заметил Ступицын, принимаясь за свой стакан пуншу.

— Ах, да... Татьяна Ивановна!.. Почтеннейшая!.. Пожалуйте нам водки!

Водка и закуска, конечно, были давно уже приготовлены, и приготовлены самым порядочным образом: кроме того, что закуска состояла из колбасы, сельдей, сыру, миног, к ней поданы были еще роскошное блюдо сосисок под капустою и полдюжины жареных голубей. Антон Федотыч первый принялся за водку; пожелав всем гостям всякого счастья в мире, он залпом выпил две рюмки водки, затем рюмку вина, еще рюмку вина и потом, освежившись рюмкою водки, принялся за роскошное блюдо с сосисками. Прочие гости тоже не положили охулки на руку. Два графина водки, четыре бутылки вина, колбаса, сельди и все прочее мгновенно было уничтожено. Очередь, наконец, дошла и до шампанского. Хозаров распорядился первоначально только на три бутылки вдовы Клико, но, разгулявшись, велел принести еще полдюжины. Антон Федотыч разговорился донельзя и, познакомившись на

короткую ногу со всеми и рассказав каждому что-нибудь интересное про себя, объявил, что у него на днях будет особенный случай и что он тогда поставит себе в непременною обязанность просить всех господ пожаловать к нему откушать, надеясь угостить их удивительною бело-рыбцею, купленную чрез одного давнишнего его комиссионера в самом устье Волги. Окончание вечера было очень весело: все пели хором; музыкант единогласно был избран в регенты. Сибарит и Татьяна Ивановна, тянули дисканта; две неопределенные личности пели тенором; хозяин изображал альта; Антон Федотыч и Ферапонт Григорьич, равным образом как и сам регент, держали баса. Пели первоначально: «В старину живали деды», потом «Лучинушку» и, наконец: «Мы живем среди полей и лесов дремучих»; все это не совсем удавалось хору, который, однако, весьма хорошо поладил на старинной, но прекрасной песне: «В темном лесе, в темном лесе» и проч. Антон Федотыч начал отпускать удивительные штуки; не ограничиваясь тем, что пил со всеми очередную, он схватил целую бутылку шампанского и взялся ее выпить, не переводя духа, залпом — и действительно всю почти вытянул мгновенно; но на самом уже конце поперхнулся, фыркнул на всю честную компанию, пошатнулся и почти без памяти упал на диван. К Татьяне Ивановне все были необыкновенно вежливы: даже черноволосая личность начала с нею заигрывать; но ревнивый музыкант остановил его и чуть было не сочинил истории. Гости разошлись часу в пятом. Антон Федотыч прежде всех уснул на диване. Все вообще были очень довольны: даже Ферапонт Григорьич ушел в самом миротворном расположении духа и, при прощании, целовался со всеми.

## VII

Как ни подгулял Антон Федотыч, но, озабоченный поручением Катерины Архиповны, проснулся гораздо ранее своего хозяина и начал ломать свою голову, какую бы выдумать перед женой благовидную причину, вследствие которой он не ночевал дома. Но, увы! Голова Антона Федотыча имела то несчастное свойство человеческих голов, что после всякой приятельской пирушки не только не в состоянии была ничего порядочного изобрести, но даже

с толком отвечать на вопросы. Долго Антон Федотыч делал усилие, чтобы заставить вместилище разума мыслить, но оно не повиновалось и только болело во всевозможных углах.

«Что будет, то будет»,— подумал Ступицын и, приведя, сколько возможно, свою наружность в приличный вид, отправился держать ответ перед супругой.

Катерина Архиповна была в сильном беспокойстве и страшном ожесточении против мужа, который, вместо того чтобы по ее приказанию отдать Хозарову письмо и разведать аккуратнее, как тот живет, есть ли у него состояние, какой у него чин,— не только ничего этого не сделал, но даже и сам куда-то пропал. Ощущаемое ею беспокойство тем было сильнее, что и Мари, знавшая, куда и зачем послан папенька, ожидала его возвращения с большим нетерпением и даже всю ночь, бедненькая, не спала и заснула только к утру.

Часу в девятом Антон Федотыч, наконец, явился и, предчувствуя неминуемую грозу, хотел приласкаться к Катерине Архиповне и подошел было к ее руке, но рука была отдернута.

— Это что такое значит? Откуда вы изволили пожаловать?.. Боже мой! Что это у вас за лицо? Посмотрите, пожалуйста, в зеркало, какова ваша физиономия.

— Что физиономия?..— спросил Ступицын.

— Да то физиономия; совершенно, как у мужика после праздника. Пили, что ли, вы всю ночь?

— Ничего физиономия.

— Вот прекрасно — ничего... весь опух... и ничего!

— Я угорел,— отвечал невпопад Ступицын.

— Он угорел; скажите, ради бога, он угорел!.. Где же это вы изволили угореть? Где вы ночевали-то? Отчего вы домой не пришли?

— Угорел...

— Да что вы такое говорите! Мне кажется, вы ничего не понимаете; я вас спрашиваю, где вы ночевали?

— У Хозарова.

— Да разве я вас ночевать туда посылала?.. Что я вам говорила? Что поручила? Помните ли вы это?.. Отдали ли по крайней мере письмо, которое я с вами посылала?

— Письмо?.. Письмо отдал.

— А узнали ли, что я вам говорила?

— Известно, что узнал.

— Ну, рассказывайте!

Как ни ломал Антон Федотыч свою странную голову для того, чтобы изобрести какой-нибудь приличный ответ, но ничего не мог придумать.

— Что рассказывать-то?..— произнес он.

— Господи боже мой! — воскликнула, всплеснув руками, Катерина Архиповна.— Это превосходит всякое терпение: человек вы или нет, милостивый государь? Похожи ли вы хоть на животное-то? И те о щенках своих попечение имеют, а в вас и этих-то чувств нет... Подите вы от меня куда-нибудь; не терзайте по крайней мере вашей физиономией. Великое дело поручила отцу семейства: подробнее рассмотреть, как живет, где, и что, и как? Так и этого-то не сумел и не хотел сделать.

— Я вам говорю, что я рассмотрел...— возразил Антон Федотыч.

— Что же вы рассмотрели?

— Все рассмотрел, все отлично.

— Велика квартира?

— Велика.

— Сколько комнат?

— Одна.

— Как? Велика — и одна? Да что вы такое говорите? С ума, что ли, вы сошли? Или еще не проспались?

— Ну, ладно-с! — возразил Антон Федотыч, встал и пошел.

— Постойте!.. Куда же вы идете?.. Скажите по крайней мере, будет ли Сергей Петрович сегодня?

— Будет, непременно приедет,— отвечал Антон Федотыч и вышел.

Странная голова его мало того, что ничего не понимала, но начала еще кружиться, так что Ступицын почувствовал необходимую потребность выйти на свежий воздух.

— Этакой отвратительный человек,— говорила Катерина Архиповна,— вероятно, тот обрадовался и послал за шампанским, а этот безобразный урод и напился.

Часов в десять Мари проснулась, и первый ее вопрос, который она сделала матери, был: возвратился ли папенька, и приедет ли сегодня Сергей Петрович?

— Приедет, друг мой, непременно приедет,— отвечала старуха.

Мари тотчас встала, спросила себе чаю с белым хле-

бсm и потом начала одеваться. Она потребовала себе свое любимое шелковое платье и вообще туалетом своим очень много занималась; Пашет и Анет, интересовавшиеся знать, что такое происходит между папенькой, маменькой и Мари, подслушивали то у тех, то у других дверей и, наконец, начали догадываться, что вряд ли дело идет не о сватовстве Хозарова к Мари, и обе почувствовали страшную зависть, особенно Анет, которая все время оставалась в приятном заблуждении, что Хозаров интересуется собственно ею. Катерина Архиповна ушла к себе в комнату, затворилась и начала молиться. Антон Федотыч, чем более странная голова его приходила в нормальное состояние, тем яснее начал сознавать, в какой мере он дурно исполнил возложенное на него поручение, и что ему непременно последует от супруги брань, и брань такого сорта, какой он никогда еще не получал, потому что дело шло об идолу, а в этом случае Катерина Архиповна не любила шутить.

Пораздумавшись, он решился на целый день дать куда-нибудь тягу и явиться домой в то время, как у Катерины Архиповны поуходится сердце.

В одиннадцать часов все дамы, в ожидании торжественного представления жениха, были одеты наряднее обыкновенного и сидели по своим обычным местам. Все они, конечно, испытывали весьма различные ощущения. Старуха в своей комнате была грустна, Мари сидела с нею; она была весела, но взволнованна; в сердцах Пашет и Анет, сидевших в зале, бушевали зависть и досада.

Жених подъехал в щегольской парной карете, из которой проворно выскочил и, взбежав на крыльцо, сбросил свою шубу сопровождавшему его лакею и вошел. Пашет и Анет сухо ему поклонились; он прошел к Катерине Архиповне. При появлении его Мари вся вспыхнула; старуха силилась улыбнуться. Герой мой был тоже несколько взволнован и даже сел на предлагаемый ему стул не с обычною ему ловкостью и свободою. Катерина Архиповна посмотрела на дочь; та поняла и вышла. Несколько минут мать и жених сидели молча. Хозаров, очень хорошо уже поняв, что в семействе решено дать ему слово, решился не начинать первый; а старухе, кажется, было тяжело начать говорить о том, чего она не желала бы даже и во сне видеть.

— Вы сердитесь на меня, Сергей Петрович? — проговорила она.

— Напротив, я считаю за счастье, — отвечал Хозаров.

— Вы так меня тогда удивили, что я даже вдруг хорошенько сообразиться не могла и, как мать, даже испугалась.

— Я очень понимаю, Катерина Архиповна, ваши чувства — и даже сам бы на вашем месте поступил точно таким же образом. В настоящем случае позвольте мне, Катерина Архиповна, попросить у вас извинения в моей дерзости. Что делать. Любовь заставляет нас иногда забывать общественные условия.

— Скажите мне одно, Сергей Петрович, вы любите Мари? — спросила Ступицына.

— Катерина Архиповна! — отвечал Хозаров, прижав руку к сердцу. — Есть чувства, которых человек не в состоянии выразить словами. Мне не выразить моих чувств словами, я могу только сознавать их в сердце.

— Да постоянно ли вы будете любить ее, не переменитесь ли?

— Перемена во мне может произойти тогда только, когда из этой груди вынут мое сердце и вместо него поставят чье-нибудь другое.

— Это все женихи, Сергей Петрович, говорят так, а как женятся, так и выходит другое.

— Зачем же смешивать себя с толпою? Почему же не быть исключением? Я, Катерина Архиповна, не мальчик; я много жил и много размышлял. Я видел уже свет и людей и убедился, что человек может быть счастлив только в семейной жизни... Да и неужели же вы думаете, что кто бы это ни был, женясь на Марье Антоновне, может разлюбить это дивное существо: для этого надо быть не человеком, а каким-то зверем бесчувственным.

— Нет, Сергей Петрович, это и не звери, а люди делают; мало ли мы видим примеров: мужья разлюбляют прекрасных жен и меняют их бог знает на кого.

— Клянусь моей любовью к Марье Антоновне, которая, конечно, для меня дороже всего, клянусь этою любовью, что я всю жизнь буду любить их! — произнес Хозаров.

Разговор на несколько времени прекратился.

— Вот еще что я хотела сказать, Сергей Петрович, —



начала старуха,— мы небогаты: у Мари всего бабушкина усадьба с какими-нибудь...

— Бога ради, Катерина Архиповна, не говорите мне об этих вещах, которых я и знать не хочу,— перебил Хозаров, очень, впрочем, довольный, что услышал о бабушкином состоянии,— я женюсь только на вашей дочери и желаю только владеть ими, а больше мне ничего не надобно.

— Очень верю, Сергей Петрович, вашему благородству, и поверьте, что я награжу Машеньку и награжу больше, чем даже следует по нашему состоянию, но достаточно ли это будет для семейной жизни?.. Имеете ли вы сами состояние?

— Я имею и свое состояние... вы видите, я живу — и живу в столице,— отвечал Хозаров,— но этого мало: имею же я некоторые способности, которые могу употребить на службу?.. И, наконец, у меня, Катерина Архиповна, две здоровые руки, которые готовы носить камень для того только, чтобы сделать Марию Антоновну счастливою.

— Не обманывайте меня, Сергей Петрович, вся моя жизнь, все мое счастье только в ней. Я не знаю, что со мною будет, если увижу, что я ошиблась; она еще молода, она сама не понимает, какой делает теперь важный шаг, но я мать; я должна ее руководить.

В продолжение этой речи у старухи навернулись на глазах слезы. Хозаров тоже был, кажется, растроган и прижал к глазам платок.

— Я ничего не могу говорить и только благоговеею перед вашими материнскими чувствами,— отвечал он.

— Поклянитесь мне еще, что вы сделаете ее счастливою,— сказала Катерина Архиповна, взяв героя моего за руку.

— Еще раз клянусь моею любовью сделать вашу дочь счастливою! — произнес Хозаров.

— Берите ее — она ваша,— сказала старуха и, зарыдав, упала на диван.

Хозаров между тем взял руку будущей маменьки и несколько раз поцеловал ее с чувством. Далее затем призвана была Мари. Катерина Архиповна, не переставая плакать, объявила дочери о предложении Хозарова. Мари сконфузилась и бросилась обнимать мать, а потом подала жениху руку, которую тот, как водится, страстно по-

целовал. В следующей затем беседе Сергей Петрович был нежен с невестою, в то же время старался как можно более изъявлять почтения и глубокого уважения к Катерине Архиповне и начал ее уже именовать *belle-mère*<sup>1</sup>. Он не позабыл также и своих будущих *belles-soeurs*<sup>2</sup> и с ними, по-родственному, очень мило шутил, обещаясь на будущее время подмечать, кто им нравится, и нынешнюю же зимою выдать их замуж. На это обе девицы объявили, что они еще не хотят замуж; но Хозаров, по правам близкого родственника, обещал, как делалось это в старину, выдать их насильно и уморительно описал эту сцену, как повезет он их с связанными руками в церковь венчать. Обе девицы, несмотря на чувствуемую зависть, расхохотались и утвердительно сказали, что не дадут себя связывать; одним словом, в это утро герой мой успел до невероятности всем понравиться. Невеста, как мы и прежде еще знали, его обожала; Пашет и Анет остались весьма довольными его любезностью и вниманием; даже сама Катерина Архиповна начала его понимать в другом смысле; из предыдущей сцены она убедилась, что будущий зять очень любит Мари, потому что он не только сам не спросил о приданом, но и ей не дал договорить об этом предмете. Заискав таким образом во всех членах семейства, Сергей Петрович начал просить позволения — съездить на несколько времени домой и распорядиться по некоторым экстренным домашним делам, обещаясь в шесть часов вечера явиться на приятнейшее для него дежурство у ног невесты.

Откровенно говоря, Хозаров не имел никаких экстренных дел; но ему хотелось побывать у Варвары Александровны, рассказать ей, что с ним случилось, и порисоваться перед нею своими пылкими чувствами.

Мамилова очень обрадовалась приезду друга.

— Где вы и что с вами? — спросила она гостя, подавая ему руку.

— Судьба моя решена — я женюсь, — отвечал тот.

— Право? Каким же образом это случилось?

— И сам не знаю; вчера получил пригласительную записку, а сегодня дано и слово.

— Слава богу, опомнились; это было бы с их стороны

---

<sup>1</sup> теща. (*франц.*) Здесь — мамаша.

<sup>2</sup> своячениц (*франц.*).

просто сумасшествие — отказать вам. Ну, что же вы, счастливы теперь?

— Я не понимаю еще хорошенько, что со мною; у меня как-то замерло сердце, и я ничего ясно не могу ни чувствовать, ни понимать.

— Вот вы мужчина, а говорите, что у вас замерло сердце; что же должна чувствовать женщина в эти страшные для нее минуты! Что ваша невеста — весела?

— Да, она очень весела: она еще очень молода и потому беспечна.

— Нет, это не потому что молода, но она любит вас... Ах, как это первое время тяжело для тех женщин, которые идут не по любви! После как-то свыкнешься с этою мыслью, но вначале — это ужасно.

— Что вы, Варвара Александровна, чувствовали в это время?

— Что я чувствовала?..— отвечала со вздохом и несколько смутившись хозяйка.— Я ничего не чувствовала; я была тогда глупа, слепа, нема; я выходила, или, лучше сказать, это выходила замуж не я, а кто-то другая; я не понимала, что я для жениха моего так, игрушка, временная забава, и уже после, гораздо позже, когда воротить было невозможно, я поняла, что такое мужчина, и особенно мужчина в сорок лет. Но, впрочем, не спрашивайте меня: зачем вам знать историю моего сердца, она скучна и неинтересна; я могу только сказать, что я не живу, а прозябаю.

— Знаете ли, что я думаю? Вам, с вашей поэтической душой, не следовало бы выходить замуж.

— Это почему вы так думаете?

— Потому, что вы так умны; ваше сердце столько возвышенно, что вам из мужчин нет равного: они все ниже вас.

— Ах, как вы ошибаетесь, Сергей Петрович! Как мало нужно для моего великого ума и для моего возвышенного сердца — одна любовь и больше ничего... Любовь, если хотите, среди бедности, но живая, страстная любовь; чтобы человек понимал меня, чувствовал каждое биение моего сердца, чтобы он, из симпатии, скучал, когда мне скучно, чтобы он был весел моим весельем. Вот что бы надобно было, и я сочла бы себя счастливейшей в мире женщиной.

— Неужели же Лев Павлович не отвечает на ваши

прекрасные требования? Неужели он вашим благородным стремлениям не сочувствовал?

— Лев Павлович?.. Лев Павлович, как и все мужчины: он с самых первых пор или скучал, или даже смеялся над моими стремлениями. Он окружал меня богатством, удовлетворял мои прихоти, впрочем, всегда с оговорками; и потому полагал, что уже все сделал, что я даже не должна сметь ничего желать более. Но, бога ради, не спрашивайте меня: видите во мне вашего друга... старуху, которая вам желает счастья... и больше ничего! Расскажите мне лучше что-нибудь про себя: когда вы думаете назначить свадьбу?

— Я, с своей стороны, буду настаивать как можно скорее: знаете, любовь нетерпелива...

— Да, кончайте эту скучную процедуру скорее, будут толки, сплетни, и зачем вам допускать подобные пошлости в вашем браке, который не должен походить на другие свадьбы? Где вы думаете после жить?

— Без сомнения, в Москве,— отвечал Хозаров.— Неужели же ехать в эту ужасную провинцию?

— Не забывайте ваших старых друзей, а в том числе и меня,— сказала Мамилова.

Хозаров встал и поцеловал у ней руку.

— То, что вы сделали для меня,— сказал он с чувством,— так заключено глубоко в моем сердце, так срослось с этим сердцем, что одна только смерть может уничтожить чувство благодарности... одно это одолжение деньгами...

— Не говорите, пожалуйста, об этих пустяках,— перебила хозяйка.— Знаете ли что? Я не люблю денег и считаю их решительно за какие-то пустяки: по-моему, кажется, отдать кому деньги или самому у кого-нибудь взять — это такая обыкновенная вещь, о которой не стоит и думать.

— Я в этом не согласен с вами. Деньги — рычаг всего. При деньгах можно все сделать.

Мамилова сомнительно покачала головой.

— Не спорьте, Варвара Александровна, в этом, а лучше скажите мне: чего нельзя сделать для своего удовольствия на деньги?

— А например, найти, милостивый государь, друга,— перебила резко хозяйка.— Найдите с вашими всемогущими деньгами друга!

— Да, это другое дело; но, впрочем, есть пословица, что с деньгами и друзей много.

— Не друзей, Сергей Петрович, а льстецов, вы хотите, верно, сказать. Но друга, истинного друга не купите вы на деньги.

— Зачем же так углубляться в жизнь. Мы можем и льстецов считать за друзей; есть прекрасные на этот предмет стихи: «У дружбы есть двойчатка лесть: они с лица отчасти схожи».

— Ну, бог с ними — и с деньгами и с лестью, — все это не моего романа. Скажите лучше мне, как вы думаете вести себя с вашей будущей женой?

— То есть как? — спросил Хозаров. — Как обыкновенно, я полагаю, обращаются люди образованные, когда они любят.

— Бога ради, не обращайтесь так, как обращаются образованные и умные мужья. Это значит, с первого же раза, начать переделывать молоденькое и покорное существо на свой лад. Оно, конечно, будет повиноваться и подделываться под ваши понятия; но в то же время оно будет убивать самое себя. Ведите себя просто, как бог вас создал, занимайтесь с этим молоденьким созданием пустяками, которые ее занимают, болтайте с ней, играйте. Что вы смотрите на меня с удивлением? Если вы любите ее, то вам самим будет весело; а если нет, то и говорить нечего. Поверьте мне, что если вы хотите быть счастливым в вашем браке, то и не должны себя вести иначе.

— Я люблю мою невесту, — и из этого слова можете ясно заключить, как я буду вести себя.

Долго еще продолжалась беседа между женихом и Варварой Александровной. Брачные отношения были разобраны ими в самых мельчайших подробностях: много, конечно, Варвара Александровна, обладающая таким умом, высказала глубоких и серьезных истин; много и герой мой, тоже обладавший даром слова, сделал прекрасных замечаний; но я не решаюсь передать во всей подробности разговор их, потому что боюсь утомить читателя, и скажу только, что Хозаров отобедал у Мамиловой и уехал от нее часу в шестом. Домой заехал он на минуту для того только, чтобы, пользуясь свободой жениха, переменить свой фрак на сюртук. Здесь, конечно, явилась к нему другой его друг — Татьяна Ивановна, и, конечно, Сергей Петрович поставил себе в обязанность

и ей объявить весьма подробно о всем том, что касалось до женитьбы.

— Вот ваше дело обделалось, слава богу, хорошо,— сказала Татьяна Ивановна грустным голосом,— а я все-таки осталась обижена; меня, может быть, не будут и в дом к себе пускать.

— Вот пустяки,— кто из них смеет это подумать, я всех их заставлю вас уважать!

— Нет, Сергей Петрович, это невозможно,— возразила Татьяна Ивановна.

— А вот посмотрите,— отвечал Хозаров.

В шесть часов он отправился на приятнейшее для него дежурство, где невеста и Катерина Архиповна ожидали его с величайшим нетерпением. Впрочем, герой мой, как следует влюбленному жениху, заехал первоначально к Люке и взял там фунтов десять различных сортов конфет. Приехав, он был непомерно мил; зная из прежних разговоров, что Катерина Архиповна очень любит грецкие орехи в сахаре, будущий зять не преминул в кондитерской отобрать для тещи штук тридцать конфет именно этого сорта; невесте были привезены целые пять фунтов и сверх того в прекрасном картоне; для Пашет и Анет у Хозарова тоже были приготовлены конфеты, но он их не показал, а объявил, что привез им женихов, которых и держит покуда в кармане. Пашет и Анет сначала помирали со смеху, а потом приступили к нему, чтобы он показал и не держал бы несчастных женихов в кармане.

Хозаров долго мучил любопытных двух девиц и, наконец, вынул и представил им женихов. Оказалось, что они были из красного леденца. Один из них, для Пашет, был, кажется, французский кирасир в шишаке и с руками, сложенными на груди крестообразно; для Анет же — в круглой шляпе и державший руки наподобие ферта. Кроме сего, к обоим женихам было приложено по целому фунту конфет.

Посмеявшись и пошутив таким образом с своими belles-soeurs, Хозаров начал заниматься с невестою и вступил во все права жениха. Первоначально он увел ее в залу и, взяв за талию, начал с нею ходить взад и вперед по комнате. Разговор между ними был следующий:

— Итак, Мари, наши желания увенчиваются успехом,— сказал Сергей Петрович,— теперь я могу вас спросить, давно ли вы меня любите?

— Давно... постойте... это именно с того вечера, как, помните, в Ко... на вечере я танцевала с вами польку.

— Вообразите, Мари, что значит симпатия! В этот же вечер решила и моя участь: увидя вас, я как будто переродилась; во мне вдруг явилось желание жениться, чего мне прежде и не снилось... Вся моя прошлая жизнь показалась мне так пошла, так глупа, что я возненавидел самого себя.

— Что это значит симпатия? — спросила Мари.

— О! Это слово имеет большое в жизни значение, — сказал Хозаров. — Симпатия значит родство душ; так что, если расторгнуть эти две души, между которыми существует симпатия, то жизнь их будет неполна; в каждой из них как будто бы будет чего-то недоставать. Возьмите этот билетик, — продолжал он, разворачивая конфетный билетик, — тут написано: «Я знаю, ты мне послан богом, до гроба ты хранитель мой». Тут есть полная мысль, но разорвите его пополам: на одной половине осталось: «Я знаю, ты мне послан богом», а на другой — «до гроба ты хранитель мой». Хоть в каждой есть смысл, но неполный, — таков смысл и двух разрозненных душ, связанных симпатическим родством. — Здесь герой мой остановился, заметя, что уж чересчур забрался в отвлеченности, которые Мари совсем не понимала, да и сам он не очень ясно уразумевал то, о чем говорил.

— Кто живет на луне? — спросила вдруг Мари. — Неужели и там есть люди? Им, я думаю, холодно.

— Ну, Мари, этот вопрос могут решить только ученые.

— Неужели же они знают, что там делается!.. Это очень далеко.

— У них для этого есть трубы, в которые они наблюдают.

— Кис, кис, кис!.. — вскрикнула Мари и, оставив жениха, бросилась к двери, в которой показался огромный рыжий кот. — Сергей Петрович, посмотрите, какие у него маленькие глазки — и какие он славные песни поет, — прибавила она, взяв кота на руки и поднося его к Хозарову, который сначала погладил кота, а потом взял его за усы и потихоньку потянул. Кот оскорбился и царапнул дерзкую руку. Хозаров отдернул. Маша покатила со смеху. Возня с котом продолжалась около четверти часа: Мари гладила его, заставляла танцевать, поднимая на задние лапки, и, наконец, повязала ему голову носовым

платком, отчего у кота действительно сделалась преумозрительная физиономия, так что даже Сергей Петрович расхохотался.

После истории с котом речь зашла о новой польке-мазурке, которую Сергей Петрович уже щегольски танцевал, но невеста еще не знала. Хозаров начал ее учить, и оказалось, что Мари весьма способна и понятлива для танцевального дела: с двух — трех раз она выделявала па правильно и отчетливо. От танцев щечки ее разгорелись; шелковая мантилья спала и открыла полную, белую шею и грудь; черные глазки разгорелись еще живее, роскошные волосы, распустившиеся кудрями, падали на плечи и на лоб. Герой мой затрепетал, созерцая свою невесту, и потому, на правах жениха, посадил ее с собою на диван, обнял и начал целовать ее ручки, щечки, глазки, шейку и грудь. Мари слабо сопротивлялась. В это время через залу прошла Катерина Архиповна. Жених и невеста сконфузились.

Катерина Архиповна ничего им не сказала, но, пройдя в другую комнату, крикнула Анет и велела той идти сидеть в зале, и если куда нужно будет выйти, то послать туда сестру. Когда Анет пришла в залу, жених и невеста сидели все еще рядом, и Хозаров держал Мари за руку. Зависть, усыпленная на время любезностью Хозарова, снова закралась в сердце девушки: с серьезным лицом уселась она на дальний стул и устала свои глаза на оконный переплет, чтобы только не видеть счастья другой — счастья, о котором она когда-то сама мечтала.

— *Ma belle-soeur!* — сказал Хозаров. — Что поделывает ваш сладкий жених?

— Не знаю, — отвечала сухо девушка, — я его куда-то засунула.

— А Павлы Антоновны?

— Она своему голову скусила, — отвечала с улыбкою Анет.

Сергей Петрович и Мари померли со смеху.

— *O mon dieu, mon dieu!* — воскликнул Хозаров, — какая же жалкая участь ваших женихов! Вы своего потеряли, а Павла Антоновна даже скусила своему голову! Не поступайте вы, Мари, со мною так жестоко, — прибавил он, обращаясь к невесте, которая, с своей стороны, ничего не отвечала и только крепко пожала жениху руку.

<sup>1</sup> Боже мой, боже мой, (франц.).



Пашет в самом деле жестоко распорядилась с подарком Хозарова: наследуя от папеньки прекрасный аппетит ко всему съедобному, она первоначально съела все доставшиеся на ее долю конфеты, а потом принялась и за жениха; сначала откусила ему ноги, а потом, не утерпев, покончила и всего, и последний остаток — женихову голову в шишаке, вероятно, с целью продлить наслаждение, очень долго сосала. Анет не засунула своего жениха; она его, вместе со всеми подаренными конфетами, прибрала далеко, в самый потайной свой ящик, имея в виду со временем показать их какой-нибудь задушевной приятельнице и вместе с тем рассказать, что эти конфеты подарил ей один человек, который любил ее, но теперь уже не любит, потому что умер. Нам известно, что Анет, как и папенька, любила сказать красное словцо, то есть задушевные свои мечтания выдать за действительность.

Далее в этот вечер ничего уже не случилось более достопримечательного, кроме разве того, что Анет была сменена с своего дежурства пришедшим папенькою и потому тотчас же ушла к себе наверх. Антон Федотыч явился домой с головой, окончательно приведенною в нормальное состояние, и потому сильно трусил предстоящего ему объяснения с супругою. Увидев Хозарова, он очень обрадовался, потому что по опыту уже знал, что Катерина Архиповна в присутствии посторонних не входила в крайности и ограничивалась только тем, что разве скажет ему небольшую колкость. Увидев, что Хозаров сидит рядом с Мари и даже держит ее за руку, — он сообразил, что дело уже покончено, вследствие чего и решился перед будущим зятем немного поважничать.

— Здравствуйте, Антон Федотыч, — сказал жених довольно фамильярно.

— А... наше вам почтение!.. Отчего не накрывают на стол: разве не знают, что я в одиннадцать часов ужинаю? — сказал Антон Федотыч, садясь на стул. — Нет ли, Сергей Петрович, с вами сигарок? Я свои захватил все с собою и потерял портсигар дорогой.

Хозаров подал тестю сигару, которую Антон Федотыч тотчас же и закурил.

— Ты не давай папеньке сигар, — сказала шепотом Мари, — маменька терпеть не может, чтобы он курил, потому что он все сорит.

Ужин Ступицыных на этот раз не походил на обычные

их ужины. Катерина Архиповна распорядилась, чтобы к нему были приготовлены котлеты из телятины, и вечно жареная говядина заменена тетеркою. Кроме того, перед ужином была подана водка и потом поставлена на стол бутылка с мадерою. Антон Федотыч, разумеется, воспользовался случаем: он почти залпом выпил две рюмки водки, заставя то же сделать и Сергея Петровича. За ужином Ступицын очень боялся того, чтобы жена не начала выговаривать, но все-таки сохранил присутствие духа и, вместе с Пашетой, уничтожил большую часть каждого блюда и выпил почти полбутылки вина. Прочие ничего не ели; Хозаров пил мадеру и разговаривал с невестой, которая, вероятно от волнения, тоже пила очень много воды. Катерина Архиповна и Анет были скучны.

## VIII

### «Chère Claudine!

Опять я давно не писала к тебе и опять по той же причине, что нечего писать. Каждый день мой есть томительное повторение вчерашнего, а вчерашние дни мои ты знаешь очень хорошо. Последнее время меня развлекала и занимала свадьба Хозарова, о которой я тебе уже писала. Наконец, они женились. Стыдно сказать, Claudine, но я люблюсь и завидую их счастью. О, как должно быть полно это счастье! Они так любят, так стоят друг друга, они восторжествовали над препятствиями, которые ставили им свет и люди. Вот уже более недели, как они обвенчаны и живут в маленьком, но прелестном домике на Гороховом поле. Я у них провожу почти целые дни. Если хочешь, они немного смешны: представь себе, целые дни целуются; но я, опять повторяю тебе, радуюсь за них; холодные светские умы, может быть, назовут это неприличным; но — боже мой! — неужели для этого несносного благоразумия мы должны приносить в жертву самые лучшие минуты нашей жизни!.. А сколько на свете людей, для которых даже и не существовало и не будет существовать этого поэтического времени! Я моим птенцам сочувствую. Для самой меня, как я ни желала, как я ни мечтала об этом, не существовало подобных минут. На самых первых порах я сама была, да и заставили меня быть, благоразумною и приличною.

Прощай, мой друг! Твоя Варве Мамилова».

Вскоре за сим письмом в маленьком, но прелестном домике происходила, по крайней мере вначале, самая утешительная, самая отрадная семейная сцена. Это было вечером: Сергей Петрович Хозаров, в бархатном халате, сидел на краю мягкого дивана, на котором полулежала Марья Антоновна, склонив прекрасную головку свою на колени супруга, и дремала. Хозаров тоже полудремал. Одна только Катерина Архиповна бодрствовала и вязала чулок. Страстная мать уже переселилась к молодым и спровадила Антона Федотыча с двумя старшими дочерьми в деревню.

— Мари, а Мари! Вставай, друг мой,— сказал Хозаров, которому, видно, наскучило сидеть в положении подушки.

Мари открыла ненадолго глаза, улыбнулась и опять задремала. Хозаров наклонился и поцеловал жену.

— Перестаньте, Сергей Петрович, тормошить ее... что это, какой вы странный! Не дадите успокоиться,— сказала Катерина Архиповна.

— Но что ж такое, мамаша? Я полагаю, что по вечерам спать очень вредно,— возразил Хозаров.

— Как это вы смешно говорите: вредно! Разве вы знаете, в каком она теперь положении; может быть, ей это даже нужно; может быть, этого сама природа требует.

— Мне самому бы, мамаша, встать хотелось.

— Да, вот это справедливее, что вам самому скучно. Ну, это, Сергей Петрович, не большое доказательство любви.

— Помилуйте, Катерина Архиповна, любовь доказывается не в подобных вещах.

— К чему же вы все это говорите так громко?.. Вероятно, чтобы разбудить ее. Я этого, признаюсь, не ожидала от вас, Сергей Петрович!

— Я не знаю, почему вам, мамаша, угодно таким образом перетолковывать мои слова.

— Я не перетолковываю ваших слов, и очень странно, если бы я, мать, стала перетолковывать что бы то ни было... А я все очень хорошо вижу и все очень хорошо понимаю.

— То есть вам угодно видеть и понимать все в дурную сторону.

Катерина Архиповна хотела было возразить, но остановилась, потому что Мари проснулась и села.

— Что ты, друг мой, видела во сне? — сказал Хозаров, беря жену за руку.

— Ничего... снились только премиленькие черные котятки — и пресмешные: я их кормила все молоком, а они не ели.

— Разве ты думала, друг мой, о котятках?

— Нет, сегодня не думала.

— Ты ужасное еще, Мари, дитя, — сказал Хозаров.

— Сам ты дитя! Почему же я дитя?

— Да так, мой друг, ты дитя; но только милое дитя, даже во сне видишь котят; это очень мило и наивно!

— Сами вы наивный. Куда же ты встал?

— Мне, друг мой, надобно съездить в клуб.

— Вот прекрасно... не извольте ездить; я сижу дома, а он поедет в клуб — и я с тобой поеду...

— Друг мой, это не принято.

Катерина Архиповна, слушавшая всю эту сцену с лицом сердитым и неприятным, наконец вмешалась в разговор.

— Я не знаю, Сергей Петрович, как вы поедете в клуб, — жена ваша не так здорова, а вы ее хотите оставить одну... тем более, что она этого не желает.

— Но сами согласитесь, мамаша, что это странно.

— Для вас, может быть, действительно это странно; но что же делать, если она вас любит и желает быть с вами.

— Господи боже мой! Я сам ее люблю; но все-таки могу съездить в клуб.

— Поезжайте!.. Кто же вас удерживает? — сказала, наконец, Мари. — Мне все равно; я и с мамашей буду сидеть.

— Друг мой, нельзя же совершенно отказаться от общества! — возразил Хозаров.

— Поезжай, — сказала Машет и надулась.

— Семьянин, мне кажется, не должен и думать об обществе, — заметила резко Катерина Архиповна. — Кроме того, Сергей Петрович, чтобы ездить по клубам, для этого надобно, мне кажется, иметь деньги, а вы еще не совершенно устроили себя, у вас еще нет и экипажа, который вы даже обещались иметь.

Хозаров ничего не отвечал на этот намек и вышел в

залу, по которой начал ходить взад и вперед, задумавшись. Спустя четверть часа к нему вышла Катерина Архиповна.

— Что же вы, Сергей Петрович, оставили вашу жену? Что вы хотите этим показать?

— Помилуйте-с... я дома и, как следует семьянину, не уехал в клуб,— отвечал Хозаров.

— Все равно: вы ушли от нее; вы пойдите посмотрите; она почти в истерике от ваших фарсов. Это бесчеловечно, Сергей Петрович... Зачем же вы женились, когда так любите светскую жизнь?

Хозаров ничего не отвечал теще и пошел в гостиную, где действительно нашел жену в слезах.

— Не плачьте, Мари! Что это за ребячество,— сказал он, садясь около нее на диван и обнимая ее.

— А зачем же вы в клуб сбирались? Мне, я думаю, одной скучно,— отвечала Мари.

— Ну, не извольте же плакать от всяких пустяков; я не поехал — и довольно; лучше давай в ладошки играть.

Затем молодые начали играть в весьма занимательную игру, которую Сергей Петрович называл *в ладошки*; она состояла в том, что оба они первоначально ударяли друг друга правой ладонью в правую и левой в левую; потом правой в левую и левой в правую, и, наконец, снова правой в правую, левой в левую, и так далее.

Такого рода замысловатую игру молодые продолжали сколо полчаса. Марье Антоновне было очень весело. Катерина Архиповна, увидев, что молодые начали заниматься игрою в ладошки, ушла в свою комнату. Хозаров первый покончил играть.

— Ну, довольно! — сказал он.

— Давай, Серж, еще играть.

— Будет, милочка! Мне еще надобно с тобой поговорить о серьезном предмете. Послушай, друг мой! — начал Хозаров с мрачным выражением лица. — Катерина Архиповна очень дурно себя ведет в отношении меня: за всю мою вежливость и почтение, которое я оказываю ей на каждом шагу, она говорит мне беспрестанно колкости; да и к тому же, к чему ей мешаться в наши отношения: мы муж и жена; между нами никто не может быть судьбою.

— Она на тебя сердится, Серж. Она говорит, что ты

обманщик и все неправду сказал, что у тебя есть состояние.

— И это не ее дело, есть ли у меня состояние, или нет; она должна только отдать тебе твое и наградить тебя, как следует,— и больше ничего! Я даже полагаю, что ей гораздо было бы приличнее жить с своим семейством, чем с нами.

— Она говорит, что ни за что этого не сделает; сама будет управлять имением и жить с нами, а нам давать две тысячи в год.

— Вот тебе на!.. Прекрасно... бесподобно... Сама будет твоим имением управлять и нам будет выдавать по копейкам... Надзирательница какая, скажите, пожалуйста! Ты сделай милость, Мари, поговори ей, что это невозможно: я для свадьбы задолжал, и у меня ни копейки уже нет; мне нужны деньги; не без обеда же быть.

— Я уж ей говорила, Серж, по твоей просьбе; она говорит, что все у нас будет; только деньги тебе в руки не хочет давать; она говорит, что ты ветрен еще, в один год все промотаешь.

— О, черт возьми! Опять это не ее дело! Состояние твое — и кончено... Что же, мы так целый век и будем на маменькиных помочах ходить? Ну, у нас будут дети, тебе захочется в театр, в собрание, вздумается сделать вечер: каждый раз ходить и кланяться: «Маменька, сделайте милость, одолжите полтинничек!» Фу, черт возьми! Да из-за чего же? Из-за своего состояния! Ты, Мари, еще молодая; ты, может быть, этого не понимаешь, а это будет не жизнь, а какая-то адская мука.

— Что делать, Серж! Она очень рассердилась, что ты состоянием-то своим обманул, и на прошедшей неделе целый день плакала.

— Что ж такое, что я, может быть, и прибавил, или, лучше сказать, что, любя тебя, скрыл, что имение мое расстроено. Катерина Архиповна сама меня обманула чрез Антона Федотыча; он у меня при посторонних людях говорил, что у тебя триста душ, тридцать тысяч, а где они?

— Ай нет, Серж! У меня нет трехсот душ; всего только сто.

— Ну, а денег сколько?

— Денег, я не знаю; тебе мамаша подарила сколько-то?

— Да что она мне подарила? Полторы тысячи; это до тридцати тысяч еще очень далеко. Стало быть, мы все неправы.

— Да тебе кто это, Серж, говорил?.. Папаша?

— Антон Федотыч.

— Ну, вот видишь, он все говорит неправду. Меня сколько он раз маленькую обманывал: пойдет в город куда-нибудь: «Погоди, Мари, говорит, я принесу тебе конфет»,— и воротится с пустыми руками. Я уж и знаю, но нарочно и пристану: «Дай, папаша, конфет».— «Забыв», говорит, и все каждый раз забывает, такой смешной!

— Все-таки, Мари, мне ужасно нужны деньги. Сделай милость, поди и попроси для себя у Катерины Архиповны хоть рублей семьсот,— проговорил Хозаров.

— А если она спросит, зачем мне деньги?

— Ах, боже мой, зачем!.. Ну, скажи, что хочешь бедным дать.

— Нет, не поверит! Семьсот рублей бедным,— этого много!

— Да, это правда — неловко. Скажи просто, что ты меня очень любишь и что завтрашний день — мое рождение.

— А разве в самом деле завтра твое рождение?

— Кажется, завтра,— ну, так как в рождение обыкновенно дарят, то и ты скажи, что хочешь подарить мне семьсот рублей; только, смотри, непременно настаивай, чтобы деньгами; вещей мне никаких не надо. Неужели она в этих пустяках откажет!

— Не знаю, Серж; семьсот рублей очень много; мамаша беспрестанно мне говорит, чтобы я берегла деньги, а тут скажет, что тебе на какие-нибудь пустяки дать столько денег.

— Ну, так ты вот как, мой ангел, объясни ей: скажи, что завтрашний день мое рождение и что ты непременно хочешь подарить мне семьсот рублей, потому что я тебе признался в одном срочном долге приятелю, и скажи, что я вот третью ночь глаз не смыкаю. А я тебе скажу прямо, что я действительно имею долг, за который меня, может быть, в тюрьму посадят.

— За что же это в тюрьму посадят?

— За то, что я несостоятельный должник.

— Ах, Серж, это страшно!

— Еще бы... Но что же делать? Я тебя так любил, что готов был занять не только семьсот рублей, но даже семь тысяч, чтобы только обладать тобой. Знаешь ли ты, друг мой, что в самую нашу помолвку я был без копейки!.. Кажется, не велика беда! Это может случиться с первым богачом в мире. Я, конечно, занял эту пустячную сумму; потом получил из деревни тысячу рублей. Вот и все деньги. Желал бы я знать, где Катерина Архиповна могла найти более расчетливого зятя, который на какие-нибудь полторы тысячи рублей сыграл бы свадьбу; так нет: подобного самоотвержения не хотят даже и видеть и понимать. Пришла в голову ложная мысль, что я мот, и больше знать ничего не хотят. Чувства жалости даже не имеют и, может быть, за ничтожные семьсот рублей заставят идти в тюрьму.

— Нет, Серж, как это возможно! Я пойду выпрошу у мамыши.

— Сделай милость, Мари, и если ты меня любишь, то попроси Катерину Архиповну быть справедливее и великодушнее ко мне, и скажи прямо ей: «Если вы, мамаша, отдали ему меня, то неужели пожалеете каких-нибудь семисот рублей, чтобы сохранить его честь».

Проговоря это, Хозаров обнял и страстно расцеловал жену, которая тотчас же отправилась к матери. Во время прихода Мари Катерина Архиповна была занята чем-то очень серьезным. Перед ней стояла отпертая шкатулка, и она пересматривала какие-то бумаги, очень похожие на ломбардные билеты. Услышав скрип двери, она хотела было все спрятать, но не успела.

— Что это, мамаша, такое? — спросила Мари.

— Ничего, мой друг, разные документы.

— А деньги тут есть, мамаша?

— Нет, друг мой, это все бумаги.

— А в бумажнике что?

— Ничего, — тоже бумаги.

— Ах, мамаша! Зачем вы неправду говорите? Дайте мне посмотреть.

— Зачем тебе? Тут, право, ничего нет.

— Дайте мне, мамаша, денег; мне очень нужно семьсот рублей.

— Тебе семьсот рублей! Для кого же это тебе?

— Завтра Сергея Петровича рождение, и я хочу ему подарить семьсот рублей.



— Друг мой! С чего это тебе пришло в голову? Кто же дарит деньгами и особенно мужа? Если завтра действительно день его рождения, так мы поедem и купим ему какую-нибудь вещь по твоему вкусу.

— Нет, мамаша, пожалуйста, я не хочу дарить вещами, да и он не возьмет, у него очень много вещей, а вы дайте мне семьсот рублей.

— Послушай, Мари, это, верно, он научил тебя,— сказала Катерина Архиповна, поняв очень хорошо, с какой стороны ее атакуют.— Я вижу, что ты любишь его,— это прекрасно; но ты пойми, друг мой, что он ветреник и тебя в глаза обманывает. Ну, скажи мне, зачем ему семьсот рублей? Квартира у вас есть, столом я распоряжаюсь, нарядов я тебе сделала, кроме того еще прибавлю; сам он одет очень прилично. Ну, зачем ему деньги? Больше незачем, как на мотовство. Ты рассуди только сама: состояние у тебя небольшое; может быть, будут у вас дети, а у него ведь ничего нет. Он нас во всем обманул. Ну, чем и на что вы будете жить? Служба бог знает еще когда будет, а ты, не видя, что называется, с его стороны ничего, станешь дарить ему по семисот на рождение.

— Мамаша, его посадят в тюрьму!

— Кого в тюрьму?

— Сержа.

— За что же в тюрьму?

— Он занял, мамаша, семьсот рублей... все ночи теперь не спит.

— Лжет, мой друг! Бесстыдно лжет; у него, может быть, долгу и не семьсот рублей; но и за то не посадят его в тюрьму, а деньги просто ему нужны на мотовство.

— Да, мамаша, вам хорошо говорить, а если его посадят?

— Не посадят, друг мой; клянусь моей честью, не посадят.

— Нет, мамаша, вы этого сами не знаете и не понимаете. Он говорит: неужели вы пожалеете семисот, когда вы отдали ему меня?..

— Ах, друг мой,— перебила Катерина Архиповна, вздыхая,— не отдавала я тебя, не желала я этого; богу так угодно. Не то бы было, если бы ты вышла за Ивана Борисыча: тот не стал бы тянуть деньги и сам бы еще свои употребил для твоего счастья. Ну, если он в самом деле должен, так пусть скажет: кому?

— Он должен, мамаша, одному приятелю.

— Ну, что же, приятелю? Не долги он, друг мой, хочет выплачивать, а ему самому нужны деньги: в клуб да по кофейням не на что ездить, ну и давай ему денег: может быть, даже и возлюбленную заведет, а жена ему приготовляй денег. Мало того, что обманул решительно во всем, еще хочет и твое состояние проматывать.

В продолжение этого монолога у Мари навернулись на глазах слезы.

— Друг мой Машенька, не огорчайся, не плачь,— проговорила старуха, тоже со слезами на глазах.— Я переделаю его по-своему: я не дам ему сделать тебя несчастной и заставлю его думать о семействе. Я все это почувствовала и согласилась только потому, что видела, как ты этого желаешь. Слушайся только, друг мой, меня и, бога ради, не верь ему ни в чем. Если только мы не будем его держать в руках и будем ему давать денег, он тебя забудет и изменит тебе.

— Он, мамаша, в самом деле какой-то странный! Или целует меня, или собирается куда-нибудь уехать.

— Этим ты, друг мой, не огорчайся; мужчины все таковы. Но главное дело: ему не надобно давать денег и надо заставить служить для того, чтобы он имел какое-нибудь занятие,— и я берусь это устроить; только, пожалуйста, не слушайся его и будь благоразумнее. Ну, вот хоть бы теперь: верно ведь, он тебя научил попросить у меня денег?

— Он, мамаша!

— Вот, видишь,— я это знала наперед; ты ему скажи, или лучше ничего не говори; я с ним за тебя поговорю.

— Мамаша! Да отчего же он переменялся ко мне?

— Он не переменялся, друг мой! Мужчины все таковы. В женихах они обыкновенно умирают от любви, а как женятся, так и начнут обманывать. Это, друг мой, ничего; его надобно заставить, чтобы он любил тебя,— и я его заставлю, потому что ни копейки не стану давать ему денег. Поверь ты мне, он опомнится и начнет слушаться и любить.

— А что же, мамаша, я завтрашний день ему подарю?

— Об этом ты не беспокойся. Я сама куплю приличную для него вещь, а сегодня с ним поговорю. Где он теперь, в гостиной, что ли? Ты посиди здесь, а я с ним поговорю.

Мари осталась в кабинете, а Катерина Архиповна отправилась для объяснения с зятем.

— Ваше завтра рождение, Сергей Петрович? — сказала она, входя в гостиную.

— Да, кажется, что завтра,— отвечал Хозаров.

— Вы даете, верно, вечер или что-нибудь такое для ваших знакомых?

— Я ни о каком вечере и не думал.

— Для чего же вам так нужны семьсот рублей?

— Какие семьсот рублей?

— Да такие, которые вы присылали свою жену требовать от меня.

— Мне ваших семисот рублей никогда не было да, конечно, и не будет нужно.

— Перестаньте, Сергей Петрович, притворяться; это еще возможно было в женихах, но не для мужа; теперь уже все ясно, и я пришла вас спросить, зачем вам так нужны семьсот рублей, за которыми вы присылали жену вашу ко мне?

— Жены моей я к вам, Катерина Архиповна, не посылал, а если она сама знает, что мне нужны семьсот рублей, так это, я полагаю, весьма извинительно,— потому что между мужем и женою не должно быть тайны.

— Вы должны какому-то приятелю?

— Да-с, я должен.

— Кому же это?

Хозаров смутился и молчал.

— Если уж я вам должен отвечать на это,— сказал он после нескольких минут размышления,— то извольте: человек, который обязал меня, не желает, чтобы это знали все.

— Я, кажется, платя за вас деньги, могу же спросить, кому я должна их отдать?

Хозаров совершенно сконфузился.

— Если вы, мамаша, не верите, то как вам угодно; я, впрочем, кажется, и не просил у вас ваших денег.

— Все равно, вы прислали жену вашу просить у меня денег.

— Если жена моя желала снабдить меня деньгами, то, конечно, не вашими, а своими, которыми она, так как вышла уже из малолетства, имеет, я думаю, право располагать, как ей угодно.

— А... так вот вы к чему все ведете, Сергей Петрович!

Теперь я понимаю,— сказала Катерина Архиповна, побледнев от досады,— только этого-то с вашей стороны и не доставало. Теперь я вас узнала и поняла как нельзя лучше,— и поверьте, что себя и дочь предостерегу от ваших козней. Нет, милостивый государь, вы не думайте, что имеете дело с женщинами и потому можете, как вам угодно, обманывать. Я сама живу пятьдесят лет на свете; видала людей и, позвольте вам сказать, имею некоторые связи, которые сумеют вас ограничить.

— Я даже не понимаю, Катерина Архиповна, к чему вы все это говорите.

— Нет, вы очень хорошо понимаете, а также и я понимаю; но вы ошибаетесь, очень ошибаетесь в ваших расчетах, и теперь я от вас настоятельно требую объяснить мне, для какой собственно надобности вы подсылали ко мне вашу жену требовать денег?

— Я опять вам объявляю, что не подсылал к вам жены, но я ей только открылся.

— И вы утверждаете, что не подсылали ее ко мне?

— Я молчу-с и предоставляю вам думать, что угодно.

— Да, Сергей Петрович, конечно, уж лучше молчать, когда говорить нечего; можно обмануть молоденькую женщину, но я старуха.

Последних слов Сергей Петрович уже не слышал; он вышел из гостиной, хлопнув дверьми, прошел в свой кабинет, дверьми которого тоже хлопнул и сверх того еще их запер, и лег на диван.

Марья Антоновна, видевшая из наугольной, что Сергей Петрович прошел к себе, хотела к нему войти, но дверь была заперта; она толкнулась раз, два,— ответа не последовало; она начала звать мужа по имени,— молчание. Несколько минут Мари простояла в раздумье, потом пошла к матери.

— Он, мамаша, заперся,— сказала она.

— Что ж мне, друг мой, делать, не ломать же дверь? Он, может быть, еще и не такие фарсы начнет выделывать; от него надобно всего ожидать.

У Мари навернулись слезы.

— Ты-то за что мучишь себя и огорчаешься, друг мой?

— Как же, татап, если его в тюрьму посадят?

— Ах, друг ты мой, как ты молода! Ну, где слыхано, чтобы за семьсот рублей в тюрьму посадили?

— Мамаша, дайте мне, пожалуйста, денег.

— Нет у меня, Маша, для этого бесстыдного человека денег.

Мари разрыдалась. Старуха не выдержала, пошла в свою комнату и через несколько минут вернулась с пачкою ассигнаций.

— На, Маша, возьми, это твои деньги. Он мне прямо давеча сказал, что я даже не имею права располагать твоим состоянием.

Мари тотчас же перестала плакать, взяла деньги и поцеловала у матери руку, но зато расплакалась Катерина Архиповна.

— Отдавай ему, мой друг, хоть все; он еще и не то будет делать; будет, может быть, тебя учить и из дому меня выгнать.

— Нет, мамаша; он не смеет этого и думать,— возразила Мари.

— Он все смеет думать; он на все может решиться.

— Вы не сердитесь на него, мамаша... он, ей-богу, добрый.

— Видела я, друг мой, и очень хорошо поняла его доброту. У него, я думаю, теперь одна мысль в голове, чтобы как-нибудь разлучить меня с тобою и захватить твое имение.

Старуха очень расстроилась и, подобно своему зятю, ушла в свою комнату и затворилась.

Мари тотчас же подошла к дверям мужнина кабинета и начала снова стучаться; но ответа, как и прежде, не последовало.

— Серж! Я тебе денег принесла, поди сюда,— проговорила она.— Что ты тут сидишь один в темной комнате?

Послышался шорох, замок щелкнул, и дверь растворилась.

— А, это вы, Мари? Я не узнал вашего голоса,— сказал Хозаров, выходя из кабинета.

— На деньги, я выпросила у мамыши.

— Нет, Мари, после всех этих историй я не могу принять от тебя денег.

— На, Серж, возьми. Куда же мне их? Я не то брошу их на пол.

— Ты можешь их бросить, сжечь, возвратить опять своей маменьке, но только я их не могу принять.

Говоря это, молодые входили в гостиную. Сергей Пет-

рович сел на диван и задумался. Мари стала перед ним и обняла его голову.

— Ну, душка, не сердись... Возьми! Мамаша так только погорячилась, она очень скупа,— и ей вот жаль денег.

— Изволь, Мари, я возьму эти деньги, потому что хотя они и лежат у Катерины Архиповны, но все-таки твои, и она их неправильно захватила по правам матери.

Сергей Петрович еще несколько времени беседовал с своею супругою и, по преимуществу, старался растолковать ей, что если она его любит, то не должна слушаться матери, потому что маменьки, как они ни любят своих дочерей, только вредят в семейном отношении,— и вместе с тем решительно объявил, что он с сегодняшнего дня намерен прекратить всякие сношения с Катериной Архиповной и даже не будет с ней говорить. Мари начала было просить его не делать этого, но Хозаров остался тверд в своем решении.

Еще письмо Варвары Александровны:

«Я расскажу тебе, chère Claudine, один смешной и грустный случай: в прошлом письме моем я тебе писала о молодых Хозаровых, и писала, что видаюсь с ними почти каждый день; но теперь мы не видимся, и знаешь ли почему? Наперед тебе предсказываю, что ты будешь смеяться до истерики: старуха-мать меня приревновала к зятю и от имени дочери своей объявила мне, что та боится моего знакомства. Она — эта молоденькая женщина — боится, что я могу нарушить ее счастье, когда я, сближаясь с ними, только и помышляла о счастье ее. Вот тебе, chère Claudine, люди! Они, видно, всегда и везде одинаковы; а знают ли эти люди, что сердце мое давно уже похоронено в могиле, что в памяти моей живет мертвец, которому я принадлежу всеми моими помыслами; но оставим мое прошедшее. Я его таю; я никому и никогда, кроме тебя, не поднимала еще с него завесы; но пусть они взглянут на мое настоящее: у меня есть муж, которого я уважаю, если не за сердце, то по крайней мере за ум; и вот эти люди поняли меня как пустую, ветреную женщину, которая готова повеситься на шею встречному и поперечному... Я искала одной чистой и благородной дружбы, а они сочли, что мне надобна интрига; но бог с ними! Досаднее всего, что из-за меня, как сказывала их

горничная моей девушке, вышла между матерью, Мари и мужем целая история: укоры, слезы, истерика и тому подобное. Что мне оставалось сделать в подобном положении? В душе моей я их не обвиняю: они только поняли меня ложно. Долго я думала, долго размышляла и, наконец, решилась прервать с ними совершенно знакомство. Молодой человек, которого я и до сих пор еще люблю и уважаю, несколько раз приезжал ко мне, но я не велела его принимать; бог с ними, пусть будут они счастливы. O chère Claudine! Я теперь уже начала окончательно бояться людей.

*Barbe Мамилова».*

## IX

Прошло еще два месяца. Сергей Петрович Хозаров, одетый в щегольскую бекешку, вошел в квартиру девицы Замшевой и прямо прошел в занимаемый хозяйкою номер, которую застал в обыкновенных ее утренних разговорах с кухаркою.

— Здравствуйте, почтеннейшая,— сказал, входя, мой герой.

— Ах, Сергей Петрович! — вскрикнула хозяйка, бросившись убирать некоторые не весьма благовидные принадлежности ее туалета.— Ступай и делай так, как я тебе говорила,— прибавила она кухарке.

Стряпуха вышла.

Хозаров, не снимая бекешки, сел.

— Я вами очень недоволен, почтеннейшая; зачем вы каждый день ходите к теще и просите, чтобы она заплатила вам мой долг.

— Сергей Петрович! Нужда, видит бог, нужда! Что мне прикажете делать? Никто не платит; вы не поверите: как уехал Ферапонт Григорьич, ни с кого не получила ни копейки.

— Это вы все не то говорите, Татьяна Ивановна. Кто вам должен? Я. Следовательно, вы и должны адресоваться ко мне.

— Да, батюшка Сергей Петрович, я знаю, что у вас денег нет. Катерина Архиповна, как жила с вами, прямо мне сказала: «Что ты, говорит, к нему ходишь, у него полушки за душой нет».

— Вы все говорите чушь,— возразил Хозаров.— Разве теща моя может знать, есть у меня деньги или нет?

— Сергей Петрович, не обижайтесь на меня, а выслушайте. Я прежде к вам ходила; у самих вас всегда просила; припомните, что вы мне говорили: «Подождите, говорили, у меня теперь нет, а я у маменьки выпрошу». Ну, поэтому я к ним и адресовалась. Заплатите, отец мой, право нужда; ведь не шуточка восемьсот рублей.

— Конечно, по вашим понятиям, восемьсот рублей ужасная сумма, но что это такое значит для мужчины? Плевок, нуль... и потому честью заверяю вас, что заплачу вам, и заплачу даже с процентами; только, бога ради, не извольте являться ни к жене моей, ни к теще за моим долгом.

— Да где же вы, Сергей Петрович, возьмете? Теперь открытое дело, что у вас ничего нет.

— Скажите, как вы прекрасно считаете в чужом кармане... Полноте, почтеннейшая, вздор молоть, не извольте и беспокоиться об этих пустяках.

— Милый мой постоялец, как же мне не беспокоиться? У вас ведь, право, ничего нет. Ну, хоть бы службу какую имели или по крайней мере у меня квартировали, все бы надежда была впереди.

— У вас, Татьяна Ивановна, может быть, нет надежды, а у меня их на миллион.

— Нет, Сергей Петрович, не верю, нынче совсем миллионов на свете нет.

— Есть, Татьяна Ивановна, и даже больше чем миллионы. Припомните только мои обстоятельства перед свадьбою. А?.. В каком я тогда был положении? Уж, кажется, решительно без копейки, а что же вышло потом? В один день хватил три тысячи.

— Это случайность, Сергей Петрович.

— Нет, почтеннейшая, вовсе не случайность. Умная вы женщина, а не совсем жизнь-то понимаете. Вспомните, где я взял денег тогда?

— Да что припомнить? Как теперь помню, что взяли у Варвары Александровны; закладчик-то, у которого ее вещи, каждый день ходит ко мне.

— Я не про то говорю, почтеннейшая, ходит или нет к вам этот болван закладчик; но вы решите мне один



вопрос: неужели же я с этой же стороны не могу достать и теперь денег?

— Не можете, Сергей Петрович, никаким образом не можете; тогда было другое дело, тогда вы были человек холостой.

— А если я вам представлю доказательство? Не угодно ли взглянуть! — проговорил Хозаров и подал Татьяне Ивановне маленькую записку, которую девица Замшева хотя с трудом, но все-таки прочла.

— Ну, уж этого дела я не знаю, это ваше дело, — сказала она.

— Нет, вы скажите: понимаете ли тут главный смысл?

— Как не понять, известное дело: тайное свидание будете иметь. Только какой вы обманчивый человек, Сергей Петрович! Когда женились, так думали: вот станете боготворить жену; вот тебе и боготворить! Году не прошло еще, а рога приставил; недаром я вас звала ветреником; сердце мое говорило, что вы опасный для женщин человек.

— Согласен, почтеннейшая, что опасный человек, но все-таки скажите, понимаете ли вы результат моих отношений к Барб Мамиловой?

— Нет, Сергей Петрович, наше дело темное, и понимать ничего не хочу.

— Ну, так я вам растолкую. Она любит меня; вы это видите.

— И напрасно любит, — перебила Татьяна Ивановна.

— Ну, уж это ее дело; а вы слушайте, — возразил Хозаров. — Она любит и богата; следовательно, любя меня, будет давать и денег.

— Сомневаюсь, Сергей Петрович, очень сомневаюсь, — сказала Татьяна Ивановна. — Если бы вы были холостой человек, другое дело; а теперь уж женатый. Женщины к женатым очень недоверчивы: это я знаю по себе.

— Нет, почтеннейшая, умный человек и женатый умеет поддержать себя. Умный человек не отступится от своих прав. Он скажет: «Если любишь, так и дай денег, а не то мужу скажу», так не беспокойтесь, расплатится; и расплатится богатейшим манером.

— Ой, Сергей Петрович, страшное, да и не дворянское вы затеваете дело!

— Я этого не затеваю; но говорю только один пример, чтобы успокоить вас. Скажите мне только, успокоились ли вы?

— Нет, Сергей Петрович, все еще сомневаюсь. Хоть бы срок назначили, отец мой! Право большая нужда.

— Извольте! В записке, кажется, назначено свидание семнадцатого февраля; в тот же самый день, но только вечером, вы можете пожаловать ко мне, и я с вами разотчусь самым благороднейшим образом. Adieu, почтеннейшая! Но только уговор лучше денег, чтобы к теще и к жене за деньгами ни шагу.

— Не пойду, Сергей Петрович, ей-богу, не пойду. Хоть и трудно немного, но что же делать, перебьюсь! Хозаров ушел.

В прескверное зимнее утро, семнадцатого февраля, на Тверском бульваре сошлись мужчина в бекешке и дама в салопе и шляпке; это были Сергей Петрович Хозаров и Варвара Александровна Мамилова. Оба они, пройдя несколько шагов, остановились.

— Сама природа против меня,—сказал Хозаров, протирая глаза, залепленные снегом.—Мне очень известно, что я в такую погоду беспокоил вас.

— Ничего,—отвечала Мамилова,—делая доброе дело, не надобно раскаиваться. Взойдемте в кондитерскую,—прибавила она и вместе с своим спутником вошла в известную, конечно, каждому читателю беседку на середине бульвара. Уселись они в отдаленной комнате. Мамилова тотчас же спросила себе огня, закурила папиросу и предложила такую же своему спутнику. В последнее время Варвара Александровна сделала еще шаг в прогрессе эмансипации: она стала курить. На первых порах этот подвиг был весьма труден для молодой дамы; у ней обыкновенно с половины выкуренной папиросы начинала кружиться голова до обморока: но чего не делает женщина, стремящаяся стать в уровень с веком! Мамилова приучила свои нервы и в настоящее время могла уже выкуривать по три папиросы вдруг.

— Итак, Сергей Петрович,—начала она, закурив папиросу,—вы писали мне, что у вас на сердце много горя и что это горе вы хотели бы разделить со мною. Я благодарю вас за вашу доверенность и приготовилась слушать. Мое правило — пусть с горем идут ко мне все люди; я готова с ними плакать, готова их утешать; но

в радости человека мне не надо, да и я ему не буду нужна, потому что не найду ничего с ним говорить.

— Неужели же вы не пожелаете разделить даже счастье друзей ваших?

— Да, счастье друзей, это другое дело; но и то — нет; разве я не радовалась вашей радости, не хотела жить вашим счастьем? Но как это поняли? Ваша теща мне в глаза сказала, что посещения мои неприятны ее дочери и неприличны для меня. Я оставила ваш дом, я не хотела влить капли горя и неприятности в чашу ваших радостей и с этой минуты поклялась бегать счастливых людей. Я, конечно бы, даже никогда не увиделась с вами, но вы писали мне, что вы несчастливы, — и этого довольно, чтобы я пренебрегла всем и решилась с вами видаться, — и даже несколько романически: на бульваре и в беседке. Ну-с! Рассказывайте мне ваше горе, я слушаю.

— Горе мое, — начал Хозаров несколько театральным голосом и бросив на пол недокуренную папироску, — горе мое, — продолжал он, — выше, кажется, человеческих слов. Во-первых, теща моя демон скупости и жадности; ее можно сравнить с аспидом, который стережет сундук, наполненный деньгами, и уязвляет всех, кто только осмелится приблизиться к его сокровищу.

— Во-первых, Сергей Петрович, — возразила Мамилова, — это еще не большое горе, потому что теща для зятя, как я полагаю, лицо совершенно постороннее, тем более что она с вами уж не живет.

— Это ваша правда, она с нами не живет, — отвечал Хозаров. — Я настоял, наконец, чтобы она изволила существовать отдельно от нас и даже не бывала в моем доме, но какая от этого польза? Я не вижу только ее прекрасной особы; но ее идеи, ее мысли живут в моем доме, потому что они вбиты в голову дочери, которая, к несчастью, сама собою не может сообразить, что дважды два — четыре.

— Бог с вами, Сергей Петрович! Что вы такое говорите? — возразила Варвара Александровна. — Неужели Мари так...

— Так проста, хотите вы сказать? Даже более чем проста. Она — глупа, Варвара Александровна, — глупа, как вот это дерево! — проговорил грустным голосом Хозаров и постучал по столу рукой.

Мамилова некоторое время ничего не отвечала.

— Из чего вы заключили,— начала она несколько даже строгим голосом,— что жена ваша глупа? Что вас так разочаровало в женщине, которую вы некогда боготворили, которую вы сами избрали в подруги ваших дней и, можно сказать, насильно вырвали ее из семейства, где она была счастлива и беспечна?

— Я этого вопроса с вашей стороны ожидал, Варвара Александровна; имея такой возвышенный взгляд на брак, вы не могли меня не спросить об этом; но когда я вам объясню подробно, то вы согласитесь со мною и оправдаете меня. Знаете ли, в чем мы проводим все время? Мы или в дурацкие ладошки играем, или бегаем по комнате, или, наконец, с котятками возимся,— и больше ничего! Ни одной, знаете, серьезной беседы, никаким искусством не занимается,— даже на фортепиано не умеет сыграть польки. Если бы вы знали, как читает она романы: вместо того, чтобы в романе следить за происшествиями, возьмет да конец и посмотрит. «Я уж все знаю», говорит, да и бросит книгу; но я не говорю про русские романы: они не могут образовать человека; но она так же читает Дюма и Сю и других великих писателей. Вместо того чтобы образовать себя чтением, даже заучивать некоторые хорошие фразы,— ничего не бывало! Посмотрит конец, и кончено дело.

— Из всего, что вы мне, Сергей Петрович, говорили,— начала Варвара Александровна, закурив другую папиросу,— я еще не могу вас оправдать; напротив, я вас обвиняю. Ваша Мари молода, неразвита,— это правда; но образуйте сами ее, сами разверните ее способности. Ах, Сергей Петрович! Женщин, которые бы мыслили и глубоко чувствовали, очень немного на свете, и они, я вам скажу, самые несчастные существа, потому что мужья не понимают их, и потому все, что вы ни говорили мне, одни только слова, слова, слова...

— Прекрасно-с,— перебил Хозаров.— Я отказываюсь от этих слов; но я имею другие несчастья. Вы говорите: образовать? Как я могу ее образовать, когда она смотрит на все глазами матери, понимает все провинциальным умом этой старухи. Скажу вам один пример: у Мари состояние, конечно, небольшое — всего сто душ и тысяч, десять денег; но велико ли, мало ли это состояние, все-таки оно ее, предоставленное ей по всем законным пра-

вам, и потому должно находиться в общем нашем распоряжении, так как муж и жена — это два нераздельные существа. Весьма естественно, что я, желая жить самостоятельным семьянином, требовал, чтобы Мари взяла от матери принадлежащее ей имение, потому что желал бы и в усадьбе сделать некоторые улучшения и прикупить бы к ней что-нибудь, соображаясь с местностью; не тут-то было: с первых моих слов начались слезы, истерика, после которых мы не смеем и заикнуться об этом сказать маменьке, которой, конечно, весьма приятно иметь в своих руках подобный лакомый кусок.

— Знаете ли, Сергей Петрович, что бы я сделала на месте вашей жены? — перебила Варвара Александровна. — Я бы взяла, даже потребовала бы свое состояние от матери и отдала бы его вам; но уважать бы вас не стала; и даже, может быть, разлюбила бы...

— Вы не так поняли мои слова, Варвара Александровна, — возразил Хозаров, — вы, может быть, тут видите...

— Я тут вижу расчет, корыстолюбие, я тут вижу то, чего никогда не предполагала видеть в вас, и, простите меня, я начинаю в вас разочаровываться.

— Послушайте, Варвара Александровна! Глядя на этот предмет поверхностно, вы, конечно, вправе вывести такого рода невыгодное для меня заключение, но нужно знать секретные причины, которых, может быть, человек, скованный светскими приличиями, и не говорит и скрывает их в глубине сердца. Вы, Варвара Александровна, богаты, вы, может быть, с первого дня вашего существования были окружены довольством, комфортом и потому не можете судить о моем положении.

— Разве вы бедны?

— А если бы и так.

— Нет, вы скажите мне прямо, бедны вы или нет?

— Я не беден, я имел большие средства, но...

— Но вы промотались, не так ли?

— Да, может быть, это и так, но я хотел, Варвара Александровна, в семейной жизни успокоить себя, хотел сделаться порядочным человеком, потому что все это мне наскучило! Я женился на существе, которое любил, но в то же время имел в виду существенное; но как же меня поняли, как меня третировали? — Окрестили мотом и с первого же раза начали опасаться. Я очень любил Мари

и, конечно, обожал бы ее всю жизнь, если бы она поняла меня; но что же прикажете делать, она лучше понимает свою мать и также видит во мне мота. Вот корень всех неприятностей между нами, которые зашли уже очень далеко! Вы только вспомните, как эти люди поняли вас и вместе с тем осмелились требовать от меня, чтобы я манкировал вашею дружбою, которая для меня, может быть, дороже всего на свете; конечно, я их не послушал, однако все-таки в умах их было это нелепое намерение. Я все это перенес, но вы спросите меня, каково мне все это было. Вы, конечно, имеете право думать, что я с умыслом избегал встречи с вами, потому что занял у вас три тысячи рублей и до сих пор не в состоянии еще с вами расплатиться.

— Грустно мне от вас, Сергей Петрович, это слышать, очень грустно! — сказала Мамилова.

— Нет, позвольте, это еще не все,— возразил Хозаров.— Теперь жена моя целые дни проводит у матери своей под тем предлогом, что та больна; но знаете ли, что она делает в эти ужасные для семейства минуты? Она целые дни любезничает с одним из этих трех господ офицеров, которые всегда к вам ездят неразлучно втроем, как три грации. Сами согласитесь, что это глупо и неприлично.

— Послушайте,— сказала Варвара Александровна,— если вы в самом деле так несчастливы, то я вас не оставлю: я буду помогать вам словом, делом, средствами моими; но только, бога ради, старайтесь все это исправить,— и вот на первый раз вам мой совет: старайтесь, и старайтесь всеми силами, доказать Мари, как много вы ее любите и как много в вас страсти. Поверьте, ничто так не заставит женщину любить, как сама же любовь, потому что мы великодушны и признательны!

— Женщине трудно доказать любовь,— возразил Хозаров,— она часто самой сильной страсти не понимает.

— Никогда!.. Готова спорить с целым миром, что женщина видит и чувствует истинную любовь мужчины в самом еще ее зародыше. Но чтобы она не поняла сильной страсти,— никогда!

— Я испытываю это, Варвара Александровна, на себе.

— Что ж вы думаете, что ваша Мари не сознает и

не понимает вашей любви, если вы только истинно ее любите?

— Я говорю не про жену,— вы не хотите меня понять.

— Не про жену?.. Вы говорите это не про Мари?.. В таком случае я действительно вас не понимаю.

— В том-то и дело, Варвара Александровна, что женщины не понимают сильной страсти.

Варвара Александровна несколько минут смотрела на Хозарова с удивлением.

— Я вас сегодня совсем не понимаю,— проговорила она.

Хозаров пожал плечами.

— Вы или больны, или очень расстроены, и потому прощайте! — продолжала она, вставая.

— Одно слово! — произнес Хозаров.— Позвольте мне сегодня вечером быть у вас.

— Зачем? — спросила Мамилова, устремив на собеседника вопрошающий взор.

— Именем нашей дружбы заклинаю вас, позвольте мне.

— Хорошо; но только с условием: прийти в себя и не говорить того, что вам стыдно, а для меня обидно слушать.

Проговорив это, она подала Хозарову руку, которую тот с жаром поцеловал, но которую Варвара Александровна вырвала стремительно и проворно вышла из кондитерской.

Оставшись один, Хозаров целый почти час ходил, задумавшись, по комнате; потом прилег на диван, снова встал, выкурил трубку и выпил водки. Видно, ему было очень скучно: он взял было журнал, но недолго начитал. «Как глупо нынче пишут, каких-то уродов выводят на сцену!» — произнес он как бы сам с собою, оттолкнул книгу и потом решил заговорить с половым; но сей последний, видно, был человек неразговорчивый; вместо ответа он что-то пробормотал себе под нос и ушел. Хозаров решительно не знал, как убить время.

— Эй, ты, болван! Дай мне лист почтовой бумаги, перо и чернильницу! — вскричал он молчаливому половому.

Тот подал, и герой мой принялся писать письмо к

тому приятелю, к которому он писал в первой главе моего романа.

«Незаменимый для меня друг мой Миша!

Оба тянем мы, дружище, с тобою одну лямку; то есть оба женаты, и потому оба очень хорошо понимаем, что вся эта аркадская любовь не что иное, как мыльные пузыри, когда нет существенного, то есть денег! Другой бы на моем месте упал духом; но ты знаешь меня: я не люблю хандрить и ходить повеся нос, но умею всегда приискать какое-нибудь развлечение, которым нынче и служит для меня милашка — Мамилова. Она была в меня еще в холостого влюблена до такого сумасшествия, что ни с того ни с сего подарила мне три тысячи рублей; но тогда я был занят моей глупой женитьбой, и потому между нами прошло так, серьезного почти ничего не было, а только, знаешь, сентиментальничали в разговорах; но теперь другое дело: я постарел, поумнел; а главное — мне нужно развлечение и деньги. Сегодня было у нас первое тайное свидание, после которого я тебе и пишу. Дело идет на лад; я сделал намек, после которого, конечно, сконфузились, даже рассердились немного и тому подобное. Однако я должен тебе сказать, топ сег, что женщины какое-то неуловимое существо. Это я ясно вижу на Варге Мамиловой. Вообрази себе: любит меня и любит до безумия; но скрывает и говорит черт знает какие отвлеченности, над которыми, конечно, я скоро восторжествую; но, при всем том, досадно и скучно. Сегодня вечером я опять пойду к ней и сделаю решительный приступ, о последствиях которого тебя извещу весьма подробно.

*Хозаров».*

Для сочинения и написания этого письма героем моим было употреблено полтора часа; потом он спросил себе легонький обед, бутылку портера и бутылку мадеры и все сие употребил в достаточном количестве. Нетерпеливость возросла в нем донельзя, и потому он, не ожидая законного вечернего часа, то есть семи часов, отправился в четыре. Вероятно, герой мой был в сильно возбужденном состоянии: приехав к Варваре Александровне, он даже не велел доложить о себе человеку и прошел прямо в кабинет хозяйки, которая встретила на



этот раз гостя не с обычным радушием, но, при появлении его, сконфузилась и, чтобы скрыть внутреннее состояние духа, тотчас же закурила папиросу.

— Первое мое слово будет просить у вас извинение, что я приехал не в урочный час. Что ж мне делать? Я не могу уже более владеть собою.

— Я вас рада видеть всегда, Сергей Петрович,— отвечала хозяйка.

— Послушайте, Варвара Александровна, вы немилосердны ко мне; но как бы ни было, как бы меня не поняли, я решился открыть вам тайну, которую я до сих пор скрывал даже от самого себя.

Мамилова взглянула на гостя с удивлением.

— Вы все-таки еще не пришли сами в себя,— сказала она, не спуская с него глаз,— и все-таки продолжаете говорить смешные нелепости.

Хозаров был на этот раз очень дерзок и продолжал:

— Всякие чувства можно скрывать некоторое время, но потом они должны обнаружиться. Я не люблю моей жены, вы это слышали, и не люблю ее более потому, что боготворю и увлечен другою; одним словом: я люблю вас, и в ваших руках моя жизнь и смерть.

Последние слова герой мой произнес, уже стоя перед Варварой Александровной на коленях. Мамилова несколько минут ничего не отвечала и не отнимала своей руки, которую Хозаров взял и целовал.

— Больно, досадно и грустно мне все это слышать и видеть, Сергей Петрович!— сказала она.— Не стойте передо мною на коленях. Ей-богу, это очень водевильно и смешно. Я вас спрошу только одно: зачем вы все это говорите и делаете?

— Затем, что я боготворю вас,— возразил Хозаров, начиная приподниматься с коленопреклонного положения.

— А я вас не люблю, Сергей Петрович! Прежде я чувствовала к вам дружбу, искреннюю дружбу, но теперь я вас презираю и презираю потому, что вы похожи на других.

Хозаров встал и, ни слова не говоря, начал ходить по комнате.

— Из всего этого я вижу,— сказал он,— что вы не понимаете и не хотите понять того, что совершается в душе моей.

— Я боялась это и думать, Сергей Петрович, и я боялась потому, что все-таки вас уважала. Но если в самом деле в вас закралась эта несчастная страсть, то зачем вы мне говорите об этом, какую вы думаете иметь для этого цель? Вы думали успеть, вы думали сделать меня вашей любовницей, не так ли? О, боже мой, как мне горько слышать такое обидное для меня ваше мнение! Но, несмотря на это, я решаюсь объяснить вам, что вы ошиблись и жестоко ошиблись во мне. Я люблю не вас, а другого; которого вы не знаете и не можете знать, потому что он давно умер. Кроме того, я вам скажу словами Татьяны: «Я другому отдана и буду век ему верна»; и к вам, Сергей Петрович, могу питать одно только сожаление.

На эти слова герой мой ничего не отвечал, но снова встал перед хозяйкой на колени, первоначально расцеловал ее руку и потом вдруг совершенно неожиданно обхватил ее за талию и обхватил весьма дерзко и совершенно неприлично. Варвара Александровна вся вспыхнула и хотела было вырваться; но Хозаров держал крепко, гнев овладел молодою женщиною: с несвойственной ей силою, она вырвала свою руку и ударила дерзкого безумца по щеке. Хозаров вскочил; Мамилова тоже и выбежала из комнаты. Несколько минут Сергей Петрович простоял, как полоумный, потом, взяв шляпу, вышел из кабинета, прошел залу, лакейскую и очутился на крыльце, а вслед за тем, сев на извозчика, велел себя везти домой, куда он возвратился, как и надо было ожидать, сильно взбешенный: разругал отпиравшую ему двери горничную, опрокинул стоявший немного не на месте стул и, войдя в свой кабинет, первоначально лег вниз лицом на диван, а потом встал и принялся писать записку к Варваре Александровне, которая начиналась следующим образом: «Я не позволю вам смеяться над собою, у меня есть документ— ваша записка, которою вы назначаете мне на бульваре свидание и которую я сейчас же отправлю к вашему мужу, если вы...» Здесь он остановился, потому что в комнате появилась, другой его друг, Татьяна Ивановна.

— Вот я и пришла, Сергей Петрович,— сказала девица Замшева.

Герой мой, и без того уже расстроенный, при виде друга-кредиторши затрясся от досады.

— А вам что еще надобно от меня? — вскрикнул он не совсем ласковым голосом, так что Татьяна Ивановна попятилась несколько назад.

— Да все о деньгах-то. Вы сами говорили мне побывать семнадцатого числа.

— Какие у меня деньги для вас? Что такое за деньги?

— Как какие деньги? Мои деньги, — которые вы зажили у меня.

— Что у вас зажито, давно отдано, — и потому извольте, почтеннейшая, убираться; я занят, мне некогда.

— Как отданы? Когда вы это отдали? Что вы это такое говорите? Не стыдно ли вам выдумывать такие нелепости? Я думаю, вся Москва знает, как я вас содержала. Что вы это говорите?

— Я говорю, что извольте убираться, почтеннейшая, вон! Вот что я говорю.

— Нет, извините, я не пойду; я пришла за своим, а не за вашим; у меня есть расписка.

— Убирайтесь к черту с вашей распиской! Эдаких животных я по шее имею привычку гонять и с вами так же распоряжусь.

— Видали ли? Со мной так распорядиться? — сказала Татьяна Ивановна, тоже вышедшая из себя, показывая Хозарову два кукиша. — Подайте деньги мои, а не то в тюрьму посажу. Провалиться мне сквозь землю, если я теще не расскажу все ваши подлые намерения! Да и Варваре Александровне объясню, бесстыдник эдакой, пусть знают, какие вы для всех козни-то приготовляете.

— Я говорю тебе: убирайся вон, пряничная форма! — закричал Сергей Петрович, вскакивая с своего места.

Почтеннейшая Татьяна Ивановна, видно, очень не любила, чтобы называли ее пряничной формой. Лицо ее побледнело, руки, ноги задрожали, и губы посинели.

— Врешь, обольститель, я не пойду! Не смеешь тронуть, извини: сама плевать умею! — закричала она звонким и резким голосом; но Хозаров, схватив ее за плечи, начал толкать из комнаты.

Девица Замшева, с своей стороны, защищалась храбро; на получаемые толчки она отвечала, насколько достало у ней сил, тоже толчками. Но так как мужчины, действуя физической силою, всегда берут верх над сла-

быми женщинами, то и почтеннейшая хозяйка, несмотря на сильный отпор, была вытолкана неблагодарным постояльцем на крыльцо до самых дверей, которые перед самым ее носом были быстро захлопнуты. Сверх того она еще получила такой толчок, что не в состоянии была устоять на ногах и кувырком скатилась с лестницы.

При этом падении благородная девица, вероятно, сильно зашибла ногу, потому что, когда она встала и, залившись горькими слезами, отправилась домой, то весьма заметно прихрамывала на правую ногу.

## Х

В настоящей главе я должен вернуться несколько назад. После того случая, как Мари просила у Катерины Архиповны для мужа денег, между зятем и тещею окончательно нарушилось всякое родственное расположение. Хозаров донельзя взбесился на свою *velle-mère* и поклялся, во что бы то ни стало, выжить ее из дому, зная наперед, что ничем так не может досадить страстной матери. Для этой цели он первоначально перестал с Катериной Архиповной кланяться, говорить и даже глядеть на нее; но это не помогало: старуха жила по-прежнему и сама, с своей стороны, не обращала на зятя никакого внимания. Хозаров решился делать и говорить все назло ей: проговаривала ли она, что в комнате холодно, он нарочно отпирал форточку; если же она говорила, что слишком тепло,— в ту же минуту отворялись все душники; но Катерина Архиповна оставалась хладнокровна, и все эти проделки Сергея Петровича, направленные на личную особу тещи, не принесли желаемого успеха. Герой мой решился мучить старуху тем, что стал при ней, на правах мужа, бранить Мари, которая была так еще молода, что даже не умела, с своей стороны, хорошенько отбраниваться и только начинала обыкновенно плакать. Этого Катерина Архиповна уже не в состоянии была переносить равнодушно; она обыкновенно заступалась за дочь и пропекала зятя, как говорится, на обе корки, но в этом случае Хозаров уже не обращал внимания и только смеялся, отчего еще более плакала Мари и выходила из себя Катерина Архиповна.

Все такого рода сцены для Мари оканчивались сле-

зами, но для Катерины Архиповны это была пытка. Она доходила до полного ожесточения; она готова была разорвать зятя на куски и принуждена была ограничиться только бранью, над которой он смеялся.

Далее затем, в одно прекрасное утро, герой мой ввез еще новую штуку: он объявил жене, что нанял для себя особую квартиру, на которой намерен жить, и будет приходить к Мари только тогда, когда Катерина Архиповна спит или дома ее нет, на том основании, что будто бы он не может уже более равнодушно видеть тещу и что у него от одного ее вида разливается желчь.

Маша, как водится, расплакалась, а потом пересказала все матери. Старуха сначала смеялась над новой проделкой зятя, но дочь плакала, и материнское сердце снова не вытерпело: она решила объяснить с Сергеем Петровичем, но сей последний на все ее вопросы не удостоил даже и ответить и продолжал собирать свои вещи. Катерина Архиповна, разумеется, не могла не осердиться на подобного рода глупость и, наговорив зятю дерзостей, ушла к себе в комнату, а через полчаса, призвав к себе дочь, объявила ей, что она сама хочет переехать на другую квартиру, потому что не хочет их стеснять. Мари первоначально испугалась этого решения матери и начала ее упрашивать не переезжать от них; но Катерина Архиповна растолковала дочери, что если ее мерзавец-муженек в самом деле переедет на другую квартиру, то это будет весьма неприлично и уже ни на что не будет походить. Маша успокоилась. Сергей Петрович, очень довольный успехом своей проделки, тоже успокоился и снова разложил свои вещи.

На другой день старуха переехала, но, видно, эта разлука с идолом была слишком тяжела для Катерины Архиповны, и, видно, страстная мать справедливо говорила, что с ней бог знает что будет, если ошибется в выборе зятя, потому что, тотчас же по переезде на новую квартиру, она заболела, и заболела бог знает какую-то сложную болезнью: сначала у нее разлилась желчь, потом вся она распухла, и, наконец, у нее отнялись совершенно ноги. Мари целые дни начала проводить у матери, которая, с своей стороны, стараясь предостеречь дочь от влияния мужа, беспрестанно толковала ей, какой тот мот, какой он пустой и бесчувственный человек и как он мало любит ее. Маша с каждым днем начала более и бо-

лее соглашаться с матерью,— тем более, что Сергей Петрович действительно день ото дня становился к ней холоднее: кроме того, что часто уходил на целые дни из дому, но даже когда бывал дома, то или молчал, или спал, и никогда уже с ней не играл — ни в ладочки, ни в рыжего кота, и вместе с тем беспрестанно настаивал, чтобы она требовала от матери имения.

Последнее время Мари уже целые дни проводила у матери; ей было даже очень нескучно, потому что к старухе начал ходить один из числа трех офицеров — подпоручик Пириневский. Он был очень милый и веселый молодой человек и владел двумя прекрасными способностями, а именно: прекрасно рассказывал страшные сказки о различных царевичах и разбойниках и бесподобно пел тенором под гитару многие новые романсы. Мари он очень занимал. День ото дня молодые люди, сами не замечая того, начали сближаться: подпоручик начал уже называть Мари *cousine*, а она его *cousin*. Кроме того, между ними проявилось еще новое занятие: они начали для практики танцевать вновь появившийся тогда танец *редову*. Катерина Архиповна, смотревшая сначала сквозь пальцы на сближение молодых людей, начала супиться и сделалась к офицеру очень суха; но Мари не обращала внимания и продолжала звать офицера ходить к ним каждый день. Однажды, это было именно на другой день после свидания Хозарова с Мамиловой, Мари оставила своего нового *cousin* обедать у мамыши.

Пириневский в этот раз ее очень занимал, и когда она его начала просить рассказать ей какую-нибудь еще страшную сказку, то он объявил, что простые сказки он все пересказал, но что сегодня прочтет ей наизусть прекрасную сказку Лермонтова про Демона.

После обеда молодые люди, один для чтения, а другая для слушания, уселись рядом на диване. Пириневский начал читать и действительно всю поэму знал весьма твердо на память и, кроме того, произносил ее с большим чувством. На том месте, где Демон говорит:

Я тот, которому внимала  
Ты в полуночной тишине,  
Чью мысль ты смутно отгадала,  
Чей образ видела во сне,—

на этом месте Мари его остановила.

— Перестаньте; страшно,— сказала она.

— Ничего-с,— отвечал офицер,— дальше будет еще страшней.

— Ну так не читайте,— страшно, а лучше расскажите мне, что же будет дальше,— она его полюбит?

— Непременно-с полюбит.

— Да ведь как же? Он, я думаю, страшный!

— Отчего же страшный! Может быть, и не страшный,— отвечал Пириневский.

— Ай, нет, он должен быть гадкий. Я бы его ни за что не полюбила.

— А кого же вы бы полюбили? — спросил молодой офицер.

— Конечно, можно полюбить только хорошенького... Спойте что-нибудь!

— Я гитары не взял.

— Ничего, спойте без гитары.

— Но я могу маменьку обеспокоить, они, кажется, почивают.

— Ничего; она не услышит — спойте.

Офицер повиновался и довольно звучным, чистым тенором запел: «Ты, душа ль моя, красна девица». Взоры молодого человека ясно говорили, что он под именем красной девицы понимает Мари, которая, кажется, с своей стороны, все это очень хорошо поняла и потупилась. Затем молодые люди расселись по дальним углам и несколько времени ни слова не говорили между собою.

— О чем вы задумались? — спросила, наконец, Мари.

Офицер не отвечал.

— Вам, может, скучно,— заговорила снова она после нескольких минут молчания.

— Я думаю, Марья Антоновна, о том, что нам скоро должно выступить из Москвы.

— Куда вам выступить?

— В Калугу...— отвечал офицер.

— Да вы не ездите.

— Нельзя-с, служба.

— Вот какие вы! Зачем же вы уедете?

— Вам разве жаль нас, Марья Антоновна?

— Еще бы,— отвечала молодая женщина, вспыхнув, и офицер тоже вспыхнул, и затем воцарилось молчание. Пириневский принялся рассматривать лежавшую на

окошке «Библиотеку для чтения», а Мари сидела, задумавшись.

— Что вы смотрите,— сказала она, подойдя к офицеру,— найдите мне, какое вам слово больше нравится?

Подпоручик начал перелистывать журнал и, наконец, в отделе Словесности, видно, отыскал желаемое слово и показал его Мари, которая, посмотрев, очень сконфузилась, но, впрочем, взяла у офицера книгу и сама показала ему на какое-то слово и, отойдя от него, снова села на прежнее место. Показанные молодыми людьми друг другу слова были весьма значительные. Офицер показал на слова: «*Я вас люблю*», а Мари на слово: «*Любите*». За сим последовала какая-то странная и необъяснимая сцена. Пириневский встал, прошелся по комнате и потом, неизвестно почему, очутился рядом с Мари на диване, протянул как-то странно руку, в которой очень скоро очутилась рука Мари.

Но здесь я остановлюсь и попрошу читателя перейти со мной в квартиру Варвары Александровны. После неприятного объяснения, которое имела она с Хозаровым, ей не спалось всю ночь; и даже на другой день — печальная и грустная — сидела она в своем кабинете. Человек доложил, что пришла какая-то Замшева и желает ее видеть.

— Проси! — сказала Мамилова.

Явилась Татьяна Ивановна, тоже грустная, взволнованная и несколько прихрамывающая на правую ногу. Целую ночь девица Замшева придумывала, чем бы отомстить Хозарову, и, наконец, решила подать его расписку ко взысканию и наказать на него Мамиловой, от которой, она думала, он получает деньги.

— Я, кажется, имею честь говорить с Варварой Александровной,— сказала, входя и приседая, Татьяна Ивановна.

— К вашим услугам,— отвечала Мамилова, закуривая папироску.

— Честь имею рекомендоваться: я девица Замшева, у которой Сергей Петрович, бывший холостым, квартировал.

— А!.. Что же вам угодно? — произнесла Мамилова, взглянув на Татьяну Ивановну довольно подозрительно.

— Он поручал мне, Варвара Александровна, заложить ваши вещи, но теперь уже давно срок истек, ни ка-



питала, ни процентов они не платят, так я пришла вас предупредить.

— Благодарю вас, моя милая! В какой сумме мои вещи заложены?

— Две тысячи семьсот пятьдесят рублей с процентами; взято было только на один месяц; а теперь вот сколько времени прошло без всякой уплаты!

— Благодарю вас... Я знаю: мы поправим как-нибудь это дело.

— Сергей Петрович, вероятно, на вас и надеялись. Сами они, это уж известно, ничего не имеют, но говорят, что они от вас тысяч десять в год могут получить.

— От меня получить десять тысяч... Это почему?

— Да ведь как? Кто их разберет: они говорят, что могут; еще говорят, если захочу, так и не это получу; как липку, говорят, обдеру, так и тут ни слова не скажет, потому что влюблена.

Мамилова побледнела.

— Он говорил вам, что я в него влюблена? Он осмелился это сказать вам?

— Не мне одной, Варвара Александровна, он, я думаю, это целой Москве разблаговестил.

— Довольно... Бога ради, довольно! Или нет, скажите!.. Я должна выпить горькую чашу до дна... Сядьте и расскажите, что он вам еще говорил про меня?

— Варвара Александровна! Я очень хорошо понимаю ваше положение и потому пришла к вам,— сказала Татьяна Ивановна.— Он говорит ужасные вещи. Он говорит, что вы в него влюблены, или, прямее сказать: у вас с ним интрига, и потому он надеется с вас получить деньги. Я сама, Варвара Александровна, им обманута, потому-то мне и горько. Сначала ведь, как бес какой-нибудь обольстил: ну, пришел нарядный, ласковый, вежливый, просто прелесть: ну, думала, человек с совестью, отчего же не оказать доверия. А вот что вышло после: во сне не снилось такой обиды; на целый век хотел уродом сделать; как будто какую-нибудь развратную изувечил. И с вами таким же образом хотел поступить. «Прибыю, говорит, если денег не даст».

В конце этого монолога у Татьяны Ивановны, от полноты горестных чувствований, на глазах появились слезы.

— Нет... Довольно... Заклинаю вас, довольно!.. Я не в состоянии более слушать ваших ужасных слов,— ска-

вала, тоже очень расстроившись, Варвара Александровна.— Нет, это выше моих сил,— сказала она, вставая,— я должна сорвать с него маску, я сама отравлю его семейное счастье, которое устроила; я все расскажу жене и предостерегу по крайней мере на будущее время несчастную жертву общей нашей ошибки.

Варвара Александровна была, видно, сильно взволнована, и, не помня себя, она даже докурила папироску до нельзя и обожгла себе губы.

— Ничего...— говорила она как будто бы сама с собою.— Люди жгутся больше огня. Не огорчайтесь, моя милая,— продолжала она, обращаясь к Татьяне Ивановне,— мы обе обмануты.

— Ваше дело, Варвара Александровна, другое; вы имеете состояние, а у меня только ведь собственные труды и больше ничего,— около тысячи рублей для меня не безделица. Не можете ли, благодетельница моя, мне хоть частичку уплатить. Вас он, может, посовестится и заплатит вам.

— Ни за него, ни для него я не имею денег,— отвечала Варвара Александровна,— но если вы бедны, вот вам пятьдесят рублей, но только это от меня; его же вы можете и должны считать подлецом на всю жизнь.

Татьяна Ивановна весьма обрадовалась пятидесяти рублям; поцеловала в восторге у Варвары Александровны руку и потом, попросив не оставлять ее и на дальнейшее время своим расположением, отправилась домой.

Варвара Александровна тотчас же решила ехать к старухе Ступицыной и, вызвав Мари, обеим им рассказать о низких поступках Хозарова. Нетерпение ее было чрезвычайно сильно: не дожидаясь своего экипажа, она отправилась на извозчике, и даже без человека, а потом вошла без доклада. Странная и совершенно неожиданная для нее сцена представилась ее глазам: Мари сидела рядом с офицером, и в самую минуту входа Варвары Александровны уста молодых людей слились в первый поцелуй преступной любви.

Пириневский и Мари, при появлении постороннего лица, отскочили один от другого. Варвара Александровна едва имела силы совладать с собою. Сконфузившись, растерявшись и не зная, что начать делать и говорить, спросила она тоже совершенно потерявшуюся Мари о матери, потом села, а затем, услышав, что Катерина

Архиповна больна и теперь заснула, гостья встала и, почти не простившись, отправилась домой.

Там написала она следующее письмо к известной своей приятельнице:

«Chère Claudine!

Я дура, я сумасшедшая и безумная женщина; я носила до сих пор на глазах моих повязку, но которую теперь люди сорвали с меня, и я уже все ясно понимаю. Я ошиблась, chère Claudine, в моих Хозаровых, они дали мне новый урок. Они еще раз заставили меня выпить горькую чашу разочарования. Он — этот юноша, в котором я предполагала столько благородных чувствований, — он отвратительный и жадный заемщик чужих денег, — он развратный интриган, incapable даже понять порядочную женщину. Он не сумел даже понять моей дружбы; но хотел, посмейся, Claudine, меня развратить и за порок мой заставить меня платить ему деньги. Про эту бабенку я и говорить не хочу. Она, кажется, только и умеет целоваться: целовалась прежде с женихом и с мужем непрерывно, а теперь начала целоваться и с другими поклонниками. Ах, с каким нетерпением я жду того времени, когда муж мой увезет меня в К., дальше от света, дальше от людей; ни в нем, ни между ними нет ни дружбы, ни любви!..»

# КОМИК

Рассказ

## I

### СОБРАНИЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ

Нижеследующая сцена происходила в небольшом уездном городке Ж. Аполлос Михайлыч Дилетаев, сидя в своей прекрасной и даже богато меблированной гостиной, говорил долго, и говорил с увлечением. Убедительные слова его были по преимуществу направлены на сидевшего против высокого, худого и косоного господина, который ему возражал. Прочие слушатели были: молодая девица, чрезвычайно мило причесанная, — она слушала очень внимательно; помещавшийся невдалеке от нее толстый и плешивый мужчина, который тоже старался слушать, хоть и зевал по временам; наконец, четвертый — это был очень приятный и очень искренний слушатель; с самою одобрительною улыбкою он внимал то Аполлосу Михайлычу, то косому господину, смотря по тому, кто из них говорил. Были, впрочем, еще двое собеседников, но они совершенно не прислушивались к общему разговору, сидели вдали от прочих и, должно быть, пересмеивали тех. Это были: молодая дама, стройная и нарядная, и молодой человек, тоже стройный и одетый с большими претензиями на франтовство.

Толстый мужчина был местный судья — Осип Касьяныч Ковычевский, человек, говорят, необыкновенно практически умный и великий мастер играть в коммерческие игры; приятный слушатель — Юлий Карлыч Вейсбор.

Он был очень любим всем обществом, но, к несчастью, имел огромное семейство и притом больную жену, которая собственно роженица и истощена была: у них живых было семь сыновей и семь дочерей; но что более всего жалко, так это то, что Юлий Карлыч, по доброте своего характера, никогда и ничего не успел приобрести для своего семейства и потому очень нуждался в средствах. Нарядная дама приехала в город лечиться. Это была прелестная женщина,—немного, конечно, важничала и все бредила столицею, в которой была всего один раз, и то семи лет, но, вероятно, это проистекало оттого, что она имела значительное состояние. Сидевший рядом с нею молодой человек приходился хозяину племянником и служил в Петербурге в каком-то департаменте писцом, а теперь приехал на три месяца в отпуск. Он тоже очень восхищался столичною жизнью. Молодая девица была его родная сестра; она воспитывалась и постоянно жила у Аполлоса Михайлыча. Что касается до сего последнего, то все его знакомые о нем говорили, что он был человек большого ума, чрезвычайной начитанности, высшего образования и весьма приятного обращения. Имея значительное состояние, он жил всегда в обществе, но не сходился с ним в главных интересах; то есть решительно не играл в карты, смеялся над танцевальными вечерами, а занимался более искусствами и сочинял комедии. Ко всему этому я должен прибавить, что, несмотря на свой пятидесятилетний возраст, Дилетаев был еще очень любезен с дамами и имел кой-какие виды на одну вдову, Матрену Матвевну Рыжову. Косой господин был тоже любитель театра, но только собственно трагедии и драмы. Он слыл в обществе за чудака, но, впрочем, имел порядочное состояние, держал музыку и был холостяк,— имя его Никон Семеныч Рагузов.

Спор между хозяином и косым господином зашел очень далеко: оба они начали даже кричать.

— Дикая и варварская мысль! — произнес косой гость.

— Я с вами уже более не спорю, вы неизлечимы,— отвечал хозяин,— а спрошу вашего мнения, господа.

— Я совершенно с вами согласен,— отвечал приятный слушатель.

— А вы? — спросил Аполлос Михайлыч, обращаясь к плешивому мужчине.

— Вы говорите насчет комедии? — спросил тот.

— Да, насчет комедии. Я говорю, что это тоже высший сорт искусства.

— Ваша правда, действительно высший сорт.

Косой господин вскочил.

— Драму-то вы, милостивые государи, — воскликнул он, — куда деваете? Как вы драму-то уничтожаете с вашей комедией?

— Опять вы не понимаете того, что вам говорят, — возразил хозяин. — Никто и не думает уничтожать вашей драмы. Мы сами очень любим и уважаем драматические таланты; но в то же время понимаем и комедию, говорим, что и комедия есть тоже высокое искусство.

— Да, искусство, но только балаганное, — заметил насмешливо косой господин.

Хозяин покатился со смеху.

— Ну, Никон Семеныч! — сказал он, махнув рукою. — Вы говорите такие уморительные вещи, что вам даже и возражать нечего, а надобно только смеяться.

Никон Семеныч побледнел.

— Смеяться я сам умею громче вашего, но не смеюсь, хотя ваши мнения и дерут мне уши, — возразил он.

— Мои мнения не могут драть ничьих ушей, — перебил хозяин, — я их высказывал в столицах, и высказывал людям, понимающим театр. И наконец: я мои мнения, Никон Семеныч, печатал и даже советовал бы вам их прочесть — они во многом могут исправить ваши понятия.

— Я уж стар учиться, особенно по вашим печатным мнениям.

— Учиться никогда не поздно... Вот это мне в вас и неприятно: вместо того, чтобы хладнокровно рассуждать о нашем деле, вы припутываете вашу личность и говорите потом дерзости! Я, конечно, вам извиняю, потому что вы человек энергический, с пылкими страстями и воображением, одним словом — бог вам судья — вы трагик, но, во всяком случае, не мешайте дела с бездельем.

— Кто ж вам мешает? Что вы хотите этим сказать? — перебил косой господин. — Вам самим было угодно пригласить меня сегодня на вечер, и я, кажется, сейчас же могу освободить вас от моего присутствия.

— То-то вот и есть, что вы все сердитесь, а хорошенько не хотите выслушать, — возразил Аполлос Михайлыч. — Дело наше очень просто и не головоломно: мы

затеваем благородный спектакль — во-первых, для собственного удовольствия, во-вторых, для удовольствия наших знакомых и, наконец, чтобы благородным образом сблизить общество и дать возможность некоторым талантам показать себя; но мы прежде всего должны вспомнить, что у нас очень бедны материальные средства: у нас нет залы, мало денег, очень неполон оркестр. Приняв все это в расчет, мы и говорим, что должны играть какую-нибудь хорошую, но немногосложную комедию. Справедливо ли я, господа, говорю? — заключил хозяин, обращаясь к слушателям.

Господа, за исключением косого, кивнули в знак согласия головою.

— Играйте бессмысленные водевили, кто вам мешает! — произнес Никон Семеныч.

— Нет-с, мы не водевили будем играть, но, как люди образованные, можем сыграть пиесы из хорошего круга. Я предлагаю мою комедию, которую все вы знаете и которая некоторым образом одобрена вами, а в заключение спектакля мы дадим несколько явлений из «Женитьбы» Гоголя — пресмешной фарс, я видел его в Москве и хотел до упаду.

— Я не могу участвовать, — сказал трагик.

— Отчего же не можете? Для вас именно в этом-то фарсе и есть прекрасная роль, которую вы отлично сыгрываете. Это роль Кочкарева — эдакого живого, смешного чудака. В вас самих много живости и развязности: говорите вы вообще громко и резко.

— Благодарю вас за определение моего амплуа, — перебил обиженно-насмешливым голосом трагик, — но только я не принимаю на себя этой чести. Дураков я никогда не играл и не понимаю их, да и не знаю, стоит ли труда заниматься этими ролями.

— Я одного только не понимаю, — начал хозяин, — о чем вы беспокоитесь. Я прежде вам говорил и теперь еще повторяю, что собственно для вас мы согласны поставить сцену или две из «Гамлета», например, сцену его с матерью: комната простая и небольшая; стоит только к нашей голубой декорации приделать занавес, за которым должен будет кто-нибудь лежать Полонием. Дарья Ивановна сыграет мать; вы — Гамлета, — и прекрасно!

— Что вы такое говорите, Аполлос Михайлыч, я сыгрую? — спросила сидевшая вдали дама.

— Я говорю, что вы сыграете, в сцене с Никоном Семенычем, Гертруду, мать Гамлета.

— Помилуйте, я ничего не умею играть! Клянусь вам честью, я с первого же слова расхожусь до истерики.

— Вы будете смеяться, а этот господин плакать,— это будет удивительно эффектно,— заметил шепотом сидевший около нее молодой человек.

— Нет, вы уж не извольте отказываться! Вы сыграете, и сыграете отлично,— возразил хозяин.— Ваша наружность, ваши манеры — все это как нельзя лучше идет к этой роли.

Трагик, слушавший эти переговоры с нахмуренным лицом, встал и взялся за шляпу.

— Куда же вы? — спросил хозяин.

— Нужно-с домой,— отвечал гость.

— Вы все сердитесь, но за что же? Для вас уж есть пьеса, где вы можете себя показать.

— Я не хочу себя показывать в какой-нибудь выдернутой сцене, в которой я должен буду плакать, а на мои слезы станут отвечать смехом.

— Но согласитесь, любезный Никон Семеныч, по крайней мере с тем, что не можем же мы поставить целую драму.

— Я против этого и не спорю. Нельзя поставить драму, а я не могу играть; потому что мое амплуа чисто драматическое и потому что я с вами никогда не соглашусь, чтобы ваша комедия была высший сорт искусства.

— Об этом я уже с вами говорить не хочу. В этом отношении, как я и прежде сказал, вы неизлечимы; но будемте рассуждать собственно о нашем предмете. Целой драмы мы не можем поставить, потому что очень бедны наши материальные средства,— сцены одной вы не хотите. В таком случае составимте дивертисман, и вы прочтете что-нибудь в дивертисмане драматическое, например, «Братья-разбойники» или что-нибудь подобное.

— Кто же будет играть других разбойников? — спросил трагик, которому, видно, понравилась эта мысль.

— В разбойниках мы не затруднимся. Разбойниками могут быть и Юлий Карлыч,— произнес хозяин, указывая на приятного слушателя,— и Осип Касьяныч,— прибавил он, обращаясь к толстому господину,— наконец, ваш покорный слуга и Мишель,— заключил Аполлос Михайлыч, кивнув головой на племянника.



— Эта роль без слов, *mon opcle*?<sup>1</sup> — спросил тот.

— Конечно, без слов,— отвечал хозяин.

— Всякую бессловесную роль я принимаю на себя с величайшим удовольствием, и даже отлично сыграю,— отнесся молодой человек к молодой даме и захохотал.

— Вот вам и целая коллекция разбойников,— продолжал с удовольствием хозяин.— В задние ряды мы даже можем поставить людей, чтобы толпа была помногочлюднее.

— Дело не в том,— возразил Никон Семеныч.— Мне кажется, что эффекту мало будет; неотчего ожидать этих прекрасных драматических вспышек.

— Что это вы говорите,— воскликнул Аполлос Михайлыч,— как нет драматических вспышек, когда вся пьеса есть превосходная драматическая вспышка! Сумейте только, почтеннейший, как говорит Фамусов, прочесть ее с чувством, с толком, с расстановкой...

— За этим дело не станет. Прочитать мы прочитаем,— отвечал Рагузов,— но я боюсь еще, как публика поймет. Кто у нас будет публика?

— Публика поймет,— отвечал хозяин,— потому что публика в этом деле всегда и везде самый справедливый судья. Эту мысль я высказал даже в моей статье о В.....м театре. Сверх того, у нас будут люди и понимающие нечто, например: Александр Александрыч с семейством, Веснушкин, чудак Котаев. Эти люди, Никон Семеныч, видят далеко! В дивертисмане вашем Дарья Ивановна пропоет своим небесным голоском свой *chef d'oeuvre*<sup>2</sup> — «Оседлаю коня»; Фани протанцует качучу.

— Я ее, *mon opcle*, совсем забыла,— проговорила молодая девушка.

— Ты не могла ее, моя милая, забыть,— возразил Аполлос Михайлыч,— потому что ты только прошлого года изучила ее в Москве. Впрочем, застенчивость в этом отношении, *mon ange*<sup>3</sup>, даже смешна.

— Но, *mon opcle*, я не балетчица, а актриса.

— Все это я очень хорошо знаю, *chère Fany*<sup>4</sup>; но все-таки тебе стоит только вспомнить то соло, которое ты танцевала в Москве в благородном балете, то и этого уже

<sup>1</sup> дядюшка? (франц.)

<sup>2</sup> образцовое произведение (франц.)

<sup>3</sup> мой ангел, (франц.)

<sup>4</sup> дорогая Фани; (франц.)

будет весьма достаточно, а кроме того, ты не должна уже отказываться и потому, что это необходимо для полноты спектакля.

Трагик, все еще остававшийся в дурном расположении духа, встал.

— Доброй ночи,— сказал он.

Хозяин начал было его упрашивать досидеть артистический вечер, но гость уехал.

— Удивительно, какого несносного характера! — сказал Аполлос Михайлыч, пожав плечами, по уходе трагика. — Не глупый бы человек, но с самыми неприятными странностями — всегда и везде хочет, чтобы делалось по его. По способностям своим — комический актер, и даже актер недурной, а воображает себя трагиком, и трагиком вроде Мочалова. Когда ему начнешь что-нибудь говорить или читать, он никогда и ничего не слушает, а требует только, чтоб его чтением восхищались. Недели две тому, кажется, назад явился ко мне с своим Шекспиром — эти-кие маленькие синенькие книжки — и начал читать — просто сделал попытку! Вообразите себе — слушать двенадцать часов прозу, произносимую самым неприятным прононсом и сопровождаемую самыми резкими движениями!

— Я говорила вам, mon oncle, чтобы вы его не приглашали,— заметила племянница.

— Нельзя, мой друг! Во-первых, его музыканты: не пригласи — осердится и не даст оркестра, а без музыки, ты сама знаешь, спектакля не бывает; а во-вторых, он и актер порядочный. Впрочем, господа, лучше потолкуемте о деле; позвольте мне представить вам маленький ярлычок. — Проговоря эти слова, Аполлос Михайлыч вынул из кармана небольшую бумагу и продолжал: — В пиесе моей роль виконта играю я; гризетку — Фани, — она эту роль прекрасно изучила; нечего конфузиться!.. Я в этом деле строг: дурно, так дурно, а хорошо, так хорошо; на роль маркизы я приглашу Матрену Матвевну — немного чересчур полна, но это ничего: она довольно ловка! Потом-с: некоторые сцены «Женитьбы». Вот тут маленькая заковычка: действующих лиц много — нынешние писатели вообще любят толпу, которая только в больших труппах возможна. Между нами сказать, я бы этой пиесе никогда не поставил: какой-то тривиальный фарс... смешна и больше ничего; но мне хочется это сделать для столицы — в Москве она очень всех смешила; придется, может быть,

своим знакомым написать, что у нас был спектакль, давали «Женитьбу», там этого и довольно: все восхитятся! В этой шутке я думаю раздать роли таким образом: невесту будет играть Фани, сваху — Матрена Матвевна, она будет чуднейшая сваха! Экзекутора сыграете вы, Осип Касьяныч.

— Нет уж, Аполлос Михайлыч, меня, сделайте милость, освободите: я, право, никогда не игрывал на театрах и вовсе никакого желания не имею-с,— отвечал тот.

— Полноте пустяки говорить, мой почтеннейший,— возразил хозяин.— Роль маленькая: на каких-нибудь трех страницах. Моряка сыграет Юлий Карлыч.— Эта роль очень добрая: лицо надобно иметь веселое, с приятной этакой улыбкой. Она очень будет вам по характеру. Кочкарева сыграет наш великий трагик, а Мишель — Анучкина.

— А тут, топ опсе, надо будет говорить? — спросил племянник.

— Разумеется.

— В таком случае, слуга покорный, я решительно отказываюсь от всех словесных ролей,— отвечал Мишель.

— Нет, ты не можешь отказаться, если я этого хочу.

— Помилуйте, топ опсе! Вы захотите, чтобы я на канате плясал,— возразил племянник,— так и должен я лезть на канат и сломать себе голову?

— И очень бы хорошо сделал, если бы в самом деле сломал и достал бы где-нибудь поисправнее!.. Как ты можешь не хотеть участвовать в том деле, в котором участвует все общество, в котором, наконец, участвуют твоя сестра и дядя?

— Что ж такое сестра и дядя? — возразил Мишель.

— Как что такое сестра и дядя?.. Ах, ты, бессмысленный повеса! Для него ничего не значат сестра и дядя; да сам ты что за великий человек? Не потому ли разве; что в департаменте бумаги подшивать выучился, невежа глупый?

— Вы можете сердиться, сколько вам угодно, а я не буду играть,— сказал молодой человек и ушел в залу.

— Дело в том, господа,— начал, поуспокоившись, хозяин,— нам недостает актера на главную роль — на Подколесина. Я вот третью ночь не сплю и все думаю об этом; наемкнул было сначала на Харитонову, по наружности бы очень шел: толст, неуклюж, лицо такое дряблое — очень

был бы хорош; нарочно даже в деревню к нему ездил, но неудача: третью неделю в водяной умирает. Хотел было напасть на учителя арифметики — тоже был бы приличен, — смирный, тихий, но отказывается, — говорит, что ничего не может сыграть, особенно в дамском обществе. Хотел было завербовать аптекаря, наружностью тоже подходит к роли и играть бы согласился с удовольствием, но, к несчастью, по-русски ужасно дурно говорит, да и от природы картав.

— Я знаю одного актера, — заговорил Юлий Карлыч, — только угодно ли будет вам его принять?

— Сделайте милость!.. Почему же не принять? — возразил Аполлос Михайлыч.

— Слабость имеет большую: пьяница, говорят, и пьяница-то запойная.

— Что же он по крайней мере за человек? — спросил хозяин.

— Человек он не важный, здесь в питейной конторе служит.

— Каким же образом вы узнали, что он хороший актер?

— Нынче летом у меня Саша из гимназии приезжал, так сказывал, что он где-то на вечере, подгуляв, что ли, читал им какое-то сочинение: так, говорит, уморил всех со смеху. Саша даже мне все его передразнивал.

— Нельзя ли мне как-нибудь показать его? Я бы испытал его на Подколесине.

— В этом-то и трудность, Аполлос Михайлыч, он ведет очень странную жизнь: или сидит дома около жены, которой, говорят, ужасно боится, или безобразно пьян.

— Господи боже мой, какое несчастье! По крайней мере можно ли его каким-нибудь образом вызвать из дому трезвого? Не целый же день он пьян.

— Вы напрасно, Юлий Карлыч, — вмешался в разговор Осип Касьяныч, — даете Аполлосу Михайлычу такой совет. Вы, вероятно, говорите о Рымове? Помилуйте, я его знаю: он человек совершенно потерянный; я полагаю, что это даже будет неприлично и, вероятно, дамам неприятно.

— Как это сказать, Осип Касьяныч, — возразил хозяин, — что будет неприлично и неприятно дамам? В искусстве не должно существовать личностей.

— Как вам угодно, Аполлос Михайлыч, я сказал только мое мнение.

— Очень вам благодарен; но мы теперь рассуждаем не о том, что это за человек, а какой он актер.

— Актер превосходный, мне Сашенька сказывал,— подхватил Юлий Карлыч.

— Много ваш Сашенька понимает,— перебил Осип Касьяныч.

— Да я ничего и не говорю и сказал только свое мнение. Моего Сашеньку тут вам трогать нечего.

— Вас никто с вашим Сашенькой и не трогает, а говорят о Рымове да о дамах, которые не захотят с ним играть.

— Нет, Осип Касьяныч! При всем моем уважении к вам, я должен сказать, что вы говорите не дело. Наши дамы выше этих мелочей,— перебил хозяин.

— Как вам угодно,— отвечал судья,— ваше дело.

В залу, куда ушел молодой человек, вскоре за ним вышла и молодая дама.

— О чем вы мечтаете? — спросила она, подходя к нему.

— Я не мечтаю, но взбешен на этого старого хрыча.

— Не сердитесь на него, он вас любит.

— *Sacré Dieu!*<sup>1</sup> Что мне в его любви?.. Помешался сам на театре и хочет всех сделать актерами. Очень весело учить какую-нибудь дрянь наизусть, пачкать лицо и тому подобные делать глупости.

— Что ж такое? — Ничего, зато все общество будет вместе. На репетициях будет очень приятно: мы с вами будем сидеть, разговаривать, смеяться.

— Да, конечно, в таком случае это будет очень приятно, но я думал, что вы не захотите играть.

— Нет, отчего же не играть? Съезжаемся же на вечера. Роли, конечно, я не стану учить, а выйду да постою.

— Вам можно это делать, Дарья Ивановна; но меня он будет заставлять учить и ломаться.

— А вы не учите, выйдите, постоит, да и уйдите.

— Я с ним сделаю штуку. На репетициях буду, а как надобно будет играть, и притворюсь больным. Ах, только как я посмотрю, какая у вас здесь, против Петербурга, ужасная жизнь: ни воксалов, ни собраний, ни гуляньев, а только затевают какие-то дурацкие театры.

---

<sup>1</sup> Проклятие! (франц.)

— Что делать! Провинция. Что нынче больше танцуют в Петербурге?

— Перед моим отъездом вошла в моду полька tremblante.

После этого разговора дама скоро уехала, а молодой человек ушел к себе в комнату.

Два собеседника Аполлоса Михайлыча, судья и Юлий Карлыч, несмотря на происшедшую между ними маленькую размолвку, вместе простились с хозяином, вместе вышли и даже сели в один экипаж.

— Ну, оттерпелся! — произнес Осип Касьяныч. — Дает же бог этаким скотам состояние, — продолжал он, — вместо того чтобы тешить общество приличным образом, давать бы, при этаких средствах, обеды, вечера картежные, так нет, точно белены объелся: театр играть вздумал; эких актеров нашел; а поди откажись, так еще неприятность какую-нибудь сделает. Вот сегодня надо было у Алмазова партию составить, — вот тебе и партия, просидел на дурацком вечере, да и только... Обоих бы их с Рагузовым на одну осину, проклятых, повесить; тот хоть по крайней мере сам благует, а этот еще других ломаться заставляет на его потеху. Удивительно, какое скотство!

— Уж не говорите лучше, Осип Касьяныч, — произнес Юлий Карлыч, — вон у меня жена больна; письмо надобно было писать, а что делать — просидел вечер.

— Ну, уж и вы-то хороши с вашим смешным характером: актера там ему приискали — какого-то пьяницу. Я молил бога, чтобы и те-то разбежались, а вы еще новых отыскиваете.

— Нельзя, почтеннейший, ей-богу, нельзя! Войдите вы в мое положение! На прошлой неделе занял у него триста рублей: вы сами вот говорите, что нельзя отказаться, потому что неприятности станет делать.

Фани более всех сочувствовала дяде; она, еще при гостях, ушла в наугольную комнату и при лунном свете начала повторять качучу, которую должна была танцевать в дивертисмане.

Никон Семеныч, приехав домой, тотчас же взялся за поэму Пушкина «Братья-разбойники». Сначала он читал се про себя; потом, одушевившись, принялся произносить вслух и затем, вскочив, воскликнул:

О юность, юность удалая!  
Житье в то время было нам,

Когда, опасность презирая,  
Мы все делили пополам.

Единственный зритель его декламации, огромная легавая собака, смотревшая сначала на господина своего какими-то ласковыми глазами, на этом месте, будто бы вместо аплодисмана, начала на него лаять; но трагик не обратил внимания, продолжал и докончил всю поэму вслух.

## II

### КОМИК И АНТРЕПРЕНЕР

Рымов, о комическом таланте которого так выгодно отзывался Юлий Карлыч, был такое незначительное в городе лицо, что о нем никто и нигде почти не говорил, а если кто и знал его, то с весьма невыгодной стороны: его разумели запойным пьяницей. В контору и обратно он ходил почти всегда в сопровождении жены, которая будто бы дома держала его на привязи; но если уж он являлся на улице один, то это прямо значило, что загулял, и в это время был совершенно сумасшедший: он всходил на городской вал, говорил что-то к озеру, обращался к заходящему солнцу и к виднеющимся вдали лугам, потом садился, плакал, заходил в трактир и снова пил невероятное количество всякой хмельной дряни; врывался иногда насильно в дом к Нестору Егорычу, одному именитому и почтенному купцу, торгующему кожами, и начинал говорить ему, что он мошенник, подлец и тому подобное. Его, разумеется, выталкивали, и таким образом он шлялся весь день, жалкий и безобразный, до тех пор покуда не ловила его Анна Сидоровна (его жена) и не уводила с помощью добрых людей домой. Что она потом предпринимала, неизвестно, но только Рымов исправлялся и начинал ходить опять в контору. В трезвом состоянии он был очень молчалив и отчасти суров; с товарищами и подчиненными почти не говорил ни слова и даже главному управляющему и самому откупщику отвечал только на вопросы.

На другой день после собрания любителей в самом отдаленном конце города, в маленьком флигельке, во второй его комнате, на двухспальной кровати лежал вниз лицом мужчина, и тут же сидела очень толстая женщина и гладила мужчину по спине. Это была чета Рымовых.

— Витя, а Витя! Опять с тобою, мамочка, тоска; разве не проходит от глаженья? У тебя прежде от этого проходило,— говорила Анна Сидоровна.

— Прошло... лучше... поди, Анюта,— проговорил Витя.

— А ты пойдешь со мной? — спросила та.

— Нет, я полежу, устал что-то.

— Ну, так и я здесь посижу.

— Нет, ступай! Мне жарко от тебя.

— Завтра я, мамочка, непременно схожу к лекарю и попрошу у него чего-нибудь для тебя. Как тебе не стыдно так запускать болезнь?

— Ну, ладно, ступай!.. Поди, пожалуйста, сделай мне к обеду крошки.

— Да как же ты, мамочка, останешься один? Тебе будет скучно!

— Ничего... я полежу... поди, Анюта!

— Да, Витя, мне самой-то не хочется от тебя отойти.

— После насидишься — ступай, пожалуйста.

Анюта нехотя встала, чмокнула Витю в затылок и вышла. Тотчас же по уходе ее Рымов встал, потянулся и сел. Наружность его в самом деле была комическая: на широком, довольно, впрочем, выразительном и подвижном лице сидел какой-то кривой нос; глаза слабые, улыбка только на одной половине, устройство головы угловатое и развитое на верхней части затылка.

— Еще год такой жизни, и я совсем сблагую: черт знает, что такое эти женщины! Для мужчин хоть время, хоть возраст существует, а для них и того нет! Бабе давно за сорок, а она все нежничает — да еще и ревнует! Не глядел бы ни на что, право. Что я теперь за человек? — Пьяница и больше ничего: трезвый тоскую, а пьяный глупости творю... Опять разве на театр махнуть?.. Нет, черт возьми!.. Нет!.. — воскликнул уже вслух Рымов, махнув рукою, как бы желая отогнать от себя дьявольское наваждение. — Каково было у Григорьева-то в труппе? — продолжал он рассуждать сам с собой. — Да и публика-то хороша, нечего сказать: мерзавке Завьяловой хлопают да цветы кидают, а над тобой только смеются, да еще говорят, что мало играешь! Играй вот им в каждом дурацком водевиле, паясничай — так и хорошо. Что там ни говори, а старуха моя, право, лучше всех для меня: влюблена даже в мою физиономию — вот этого, признаюсь, я никак



не понимаю. Ну, да, вправду, и она не красива лицом, а привык, удивительно привык!

Анюта возвратилась и с самою приятною улыбкою разостлала салфетку и поставила окрошку. Все это она исполняла проворно, потому что, несмотря на полноту, была очень поворотлива и имела известную частоступчатую походку, с небольшим развальцем, как обыкновенно ходят ожиревшие сангвиники.

— Кушай, мамочка, я после пообедаю,— проговорила она.

Витя нехотя начал болтать в тарелке ложкою. Анна Сидоровна встала около него; одною рукою она подперлась в бок, а другою обняла шею мужа,— таким образом импровизированная живая картина была очень интересна. Представьте себе сидящего Рымова, с описанною мною физиономиею, и физиономиею, имеющею самое мрачное выражение, в засаленном и полуизорванном кашемировом халате, и обнимающую его — полную даму, с засученными рукавами. В положении Анюты было даже несколько кокетства: по крайней мере она как-то чрезвычайно странно свернула голову набок и очень нежно смотрела своими маленькими заплывшими глазами на мужа. Рымов съел несколько ложек, потом взглянул в висящее против него зеркало, улыбнулся, махнул рукой и встал.

— Что же ты, Витя, встал?

— Не хочу больше ничего.

— А чему ты, мамочка, смеешься?

— Так, ничему... Славные мы с тобой фигуры,— отвечал тот.

— Что же такое, мамочка! Ты хорош... право, хорош! Вон у тебя, душка, какой носик! Дай я тебе его поцелую...— И Анюта поцеловала носик. Рымов сделал гримасу.

— Странная ты баба,— проговорил он, качая головой и ложась опять на постель.

— Вот уж у тебя сейчас и странная: сам странный!

— Странен я, только не в том.

— А зачем же, когда я ездила в Кузмищево, так ты по мне тосковал?

— Ты почему знаешь?

— Мне один человек сказывал.

— Соврал тебе человек!

Анюта села опять на кровать, схватила Рымова за подбородок и вдруг поцеловала его.

— Перестань, сумасшедшая, выдумала с поцелуями...— проговорил тот с досадою, вставая с постели.

— Куда же ты, мамочка?

— Да так... все лижешься... молоденькая какая! Пусти... я ходить хочу.

Рымов встал и начал ходить по комнате. Анна Сидоровна, сложив руки, следовала за ним глазами.

— Одного у нас, Витя, с тобою нет, право! Как бы это было, ты бы меньше скучал.

— Что такое?

— Детей, мамочка! Хоть бы одного в целую жизнь бог дал на радости!

Рымов усмехнулся.

— Ты бы, мамочка, очень его любил?

Рымов не отвечал.

— Едруг, Витя, у нас родится что-нибудь?

— Перестань, пожалуйста, болтать — мелешь бог знает что. Бабе за сорок, а думает еще родить.

— Где же, Витечка, за сорок?

— Сколько же?

— Тридцать два года всего,— отвечала, потупившись, Анна Сидоровна.

— Ах ты, сумасшедшая! Сто лет замужем, и все ей тридцать два.

— Как же сто? Всего пятнадцать.

— Ну, пятнадцать! Да замуж вышла двадцати пяти.

— Это кто вам сказал, что двадцати пяти! Всего семнадцати лет.

— Ну ладно: отвяжись!

— Ты все, мамочка, меня обижаешь; как над какой-нибудь дурой все смеешься. Изменял несколько раз, так уж, конечно, жена не может нравиться. Не скучайте, Виктор Павлыч! Может быть, нынешнюю зиму бог и приберет меня, будете свободны — женитесь, пожалуй! Возьмете молоденькую, а я буду лежать в сырой земле.

При последних словах Анна Сидоровна заплакала.

— Тьфу ты, дурацкая баба,— проговорил Рымов и плюнул.

— Плюйте, Виктор Павлыч! Бог с вами, плюйте! Я давно уже вами оплеванная живу.

— Да ты хоть кого выведешь из терпенья: или це-

луется, как девчонка какая, или капризится. Ревность съела!.. К кому, матушка? И людей-то никого не вижу,— весь всегда перед тобой.

— А прежде-то что ты делал на этом мерзком театре? Прежде-то как изменял,— это забыл?

— Ну да, как же! Очень всем нужно было меня. Тебе еще мало, что меня душит целые дни тоска,— мало этого, что бывают минуты хоть резаться,— произнес Рымов и бросился на кровать.

Несколько минут продолжалось молчание.

— Mamочка, что это ты говоришь! — начала Анна Сидоровна, вставая и подходя к мужу.— Зачем ты это говоришь? Я думаю, страшно.

— Страшно? Нет, моя милая, не умереть, а жить, как я живу, страшно.

Анна Сидоровна опять села на постель.

— Витечка! Что это такое? Я лучше сама за тебя умру!

Комик отворотился к стене и начал чрезвычайно впечатлительным голосом:

— «Умереть!.. Уснуть!.. Но, может, станешь грезить в том чудном сне, откуда нет возврата, нет пришлецов!..»

Анна Сидоровна сидела, подгорюнившись.

Послышался в сенях сильный стук.

— Кто-то, должно быть, приехал,— воскликнула Анна Сидоровна, вскочив.

— О, черт бы драл! — проговорил Рымов и захлопнул дверь.

В первой комнате кто-то кашлял.

— Поди, мамочка, какой-то мужчина,— сказала Анна Сидоровна, заглянув в щелку.

Рымов с досадою надел пальто и вышел.

Перед ним стоял Аполлос Михайлыч.

Разговор несколько минут не начинался.

Дилетаев был поражен наружным видом комика, который действительно был очень растрепан; стоявшие торчками во все стороны волосы были покрыты пухом; из-под изношенного пальто, застегнутого на две только пуговицы, выбивалась грязная рубашка; галстука совсем не было; брюки вздернулись и тоже все были перепачканы в пуху.

— Честь имею кланяться,— заговорил, наконец, Аполлос Михайлыч,— не беспокоил ли я вас; вероятно, вы отдыхали после обеда?

— Да-с,— отвечал Рымов.

— Не знаю, нужно ли мне рекомендоваться вам, но, впрочем... Аполлос Михайлыч Дилетаев.

Хозяин поклонился, гость сел и, опершись на свою палку, начал следующим образом:

— Первоначально позвольте узнать ваше имя и отчество?

— Виктор Павлыч.

— Вчерашний день, Виктор Павлыч, я имел удовольствие слышать о вас чрезвычайно лестные отзывы; но предварительно считаю нужным сообщить вам нечто о самом себе; я немного поэт, поэт в душе. Поэт, так сказать, по призванию. Не служа уже лет пять и живя в деревенской свободе,— я беседую с музами. Все это вам потому сообщаю, что и вы, как я слышал, тоже поэт, и поэт в душе.

— Я ничего не пишу.

— Да... но это все равно — вы актер!

Рымов покраснел.

— Я это хорошо знаю и поэтому решил обратиться к вам с предложением: не угодно ли вам принять участие в благородном спектакле, который будет у меня в доме?

Рымова подернуло.

— Я давно уж отстал и отвык,— произнес он.

— Не беспокойтесь, - я эти вещи очень хорошо понимаю,— художник до самой смерти остается художником.

— Я не знаю-с, могу ли теперь за себя ручаться.

— Опять повторяю: не беспокойтесь! Мы имеем для вас превосходную роль. Это, знаете, этакое дикое, застенчивого мужчину в пьесе «Женитьба», из которой дано будет несколько явлений. Сколько я могу вас понимать, то эта роль будет вам очень по характеру, и вы отлично ее выполните.

Рымов бледнел и краснел, как будто бы в эту минуту решалась участь его жизни. Он ничего не находил сказать и только перебирал дрожащими руками петли своего пальто.

— Я очень люблю театр,— сказал, наконец, он.

— Это я вижу по вашему лицу,— заметил Аполлос Михайлыч,— вы даже теперь взволнованы.

— Большой будет спектакль? — спросил хозяин, утирая катившийся с лица пот.

— Спектакль будет довольно большой и прекрасно составленный: в первую голову моя комедия: «Виконт и гризетка, или исправленный повеса», необыкновенно живая пьеса, из французских нравов. В ней всего три действующие лица: молодой виконт, которого я сам буду играть и который есть чистый тип шалуна-парижанина, и еще две женщины — одна из них гризетка, а другая маркиза. В первом действии он влюблен в гризетку и ненавидит маркизу, а во втором влюбляется уже в нее. Гризетка это узнает, застаёт его у маркизы, укоряет его; сама маркиза над ним смеется. Он сначала теряется, потом раскаивается и предлагает гризетке руку, а маркизе объявляет, что это ее побочная дочь. Пьеса эта, я, не хвастаясь, могу сказать, неоцененная вещь для благородных спектаклей, потому что актеры не могут иметь тех манер, которые нужны для сен-жерменских баричей. Потом «Женитьба», — об этой комедии, если хотите, я ничего не скажу особенного: написана она в очень тривиальном духе; я видел ее в Москве и, конечно, как знаток и судья строгий в этом деле, нашел в ней много недостатков, но при всем том хохотал до невероятности. Мы ее дадим для райка; у меня хоть и домашний спектакль, но публика будет всех сортов, потому что я это приятное удовольствие хочу разделить со всем городом, для которого оно может служить эрою воспоминаний.

— Я знаю-с эту пьесу.

— Знаете? И прекрасно!

— Это гениальная комедия.

— Ну уж и гениальная, — высоко взяли, Виктор Павлыч! Впрочем, сейчас видно артиста в душе. Мне очень приятно это от вас слышать, хотя я и не согласен с вами; я классик, и гениальными творениями называю только классические пьесы.

— Она классическая.

— Ну что ж в ней классического? Классического-то в ней ничего нет. Во-первых, главного правила классицизма — единства содержания, в ней не существует; а без этого, батюшка, всякая комедия, как тело без души. Сведено несколько смешных, уродливых лиц, которые говорят между собою и, конечно, заставляют смеяться, но и только; эта пьеса решительно не для знатоков. Вы, впрочем, пожалуйста, не принимайте этого никак на свой счет, потому что, хоть и будете играть в этой комедии, но и

в ней можете показать свой талант — золото видно и в грязи.

— Я очень рад играть в этой пьесе.

— А я более вашего.

На этом месте вышла Анна Сидоровна. Она все подслушивала. Лицо ее покрылось багровыми пятнами; кашемировый платок был надет как-то совсем уж наось. Гостью она присела, а на мужа взглянула: тот потупился.

— Итак,— проговорил Дилетаев, вставая,— когда же мы увидимся? Не могу ли я вас просить пожаловать ко мне сегодня вечером. У меня будет маленькое испытательное чтение: мы потолкуем, продекламируем наши пьесы и прочее. Вы не поверите, как хлопотливы эти театры! Его даже по одному этому можно назвать великим делом. Я про себя, например, могу сказать, что с молодых лет был поклонником Мельпомены — знаток и опытен в этом; но признаюсь, иногда голова идет кругом, особенно трудно ладить с участвующими; всем хочется сделать по-своему, а сделать-то никто ничего не умеет. Есть у меня сосед и приятель, Никон Семеныч Рагузов, страстный театрал; но, к несчастью, помешан на трагедиях. Вчера даже сделал мне сцену: требует всё драмы; успокоили только тем, что ставим на сцену «Братья-разбойники». Однако до свиданья,— проговорил гость, раскланиваясь и пожимая у комика руку.— Надеюсь, сударыня,— прибавил он, обращаясь к хозяйке,— что и вы пожалуете посмотреть на наш спектакль и полюбоваться вашим супругом.

Анна Сидоровна ничего не отвечала; полная грудь ее колыхалась, или, лучше сказать, она вся была в сильном волнении.

Дилетаев заехал от Рымовых к Юлию Карлычу. Хозяин выбежал его встречать на крыльцо и, поддерживая гостя под руку, ввел на лестницу и провел в гостиную.

— Я отыскал вашего комика,— начал Дилетаев.

— Изволили отыскать? — воскликнул хозяин.— Простите меня великодушно,— продолжал он умоляющим голосом,— я сейчас было хотел, по вашему приказанию, ехать к нему, да лекаря прождал. Клеопатра Григорьевна у меня очень нехороша.

— Ничего, я уж съездил. Какая, однако, странная семья: в доме грязь... сырость... бедность... жена какой-то совершенный урод, да и сам-то: настоящий уж комик...

этакой уморительной физиономии я и не видывал: обрванный, нечесаный, а неглупый человек и буф должен быть отличнейший.

— Я докладывал ведь вам: необыкновенный, говорят, актер.

— Это видно даже по любви его к искусству. Представьте себе, только что я намекнул о театре, побледнел даже весь как полотно, глаза разгорелись и говорить уж ничего не может.

— Скажите, пожалуйста! Ну, да, впрочем, и честь для него велика — из каких-нибудь писарей быть приглашену в благородное общество — и это не безделица.

— Конечно. Приезжайте обедать.

— Клеопатра Григорьевна очень больна.

— Ну, что же такое? Вы не поможете.

— Конечно, Аполлос Михайлыч, — приеду-с.

От Вейсбора Дилетаев проехал к Матрене Матвевне, о которой я уже упоминал и с которой у него, говорят, что-то начиналось. По его назначению, она должна была играть в его комедии маркизу, а в «Женитьбе» сваху.

При всех своих свиданиях Аполлос Михайлыч с Матреной Матвевной имели всегда очень одушевленную беседу, потому что оба они любили поговорить и даже часто, не слушая друг друга, торопились только высказать свои собственные мысли.

Едва только гость появился в зале, где сидела Матрена Матвевна, сейчас же оба вместе заговорили.

— Вхожу в храм волшебницы, с преклоненными коленами, с мольбою и просьбою, — произнес Аполлос Михайлыч.

— Это я знаю... все знаю... согласна и рада!.. Извиняюсь только, что вчера не могла приехать, потому что была в домашнем маскараде.

— Вы еще похорошели, Матрена Матвевна.

— А вы еще более стали льстец!

— Нет, какой я льстец — старик... хилый... слабый... я могу только в душе восхищаться юными розами и впивать их дыхание.

— Не старик, а волокита, льстец и повеса.

— Не верю, не верю обетам коварным, а буду умолять вас принять на себя роли, которые вы, конечно, превосходно сыграете, потому что отлично играете стариками. Я их сам для вас перепису.

— Давайте, я все выучу и сыграю. Когда вы составитесь?

— Я уж и теперь старик!

Матрена Матвевна покатила со смеху.

— Ха, ха, ха... Он старик! Актер... поэт... он старик! Совсем всё устроили?

— Почти совсем.

— Дарья Ивановна была?

— Да,— вчера была.

— Она играет?

— Должна.

— Она влюблена в вашего Мишеля.

— Она замужем.

— Что ж такое! Ах, каким постником притворяется, а сами что делаете?

— Я вдóвый.

— Ну да, конечно, это оправдание. Отчего Фанечку не выдаете замуж?

— Женихов нет!

— Ну, что это вы говорите,— выдавайте!.. Право, грешно так девушку держать.

— Я, с своей стороны, согласен хоть сейчас; но никого в виду нет.

— А Рагузов! Она вам, право, связывает руки.

— Конечно, но он не сватается, да и чужды они как-то очень друг друга; может быть, теперь сблизятся. Он будет читать «Братья-разбойники»,— пресмешной человек... О чем вы задумались?

— Так, что-то грустно... Что моя жизнь? Хожу, ем, сплю и больше ничего.

— От вас зависит...

Матрена Матвевна усмехнулась.

— Отчего ж от меня?

— Вы не любите стариков.

— Напротив, я только и люблю мужчин пожилых лет.

— Приезжайте-ка к нам обедать.

— Обедать?.. Хорошо.

Дилетаев начал прощаться. Хозяйка подала ему свою белую и полную ручку, которую тот поцеловал и, расшаркавшись, вышел молодцом. Отсюда он завернул к Никону Семенычу, которого застал в довольно странном костюме, а именно: в пунцовых шелковых шальварах, в полурасстегнутой сорочке и в какой-то греческой ша-



почке. На талии был обернут, несколько раз, яхонтового цвета широкий кушак, за которым был заткнут кинжал. При входе Аполлоса Михайлыча он что-то декламировал.

— Разбойник! Совершенный разбойник! — проговорил тот.

— Я всю ночь все обдумывал: надобно большое искусство, чтобы вышло что-нибудь эффектное, — говорил хозяин, протягивая руку.

— А костюм-то разве не эффектен? Да вы, мой милый, поразите всех одною наружностью.

— Мне хочется кое-что к поэме прибавить.

— Прибавляйте, пожалуйста.

— Именно, прибавить в том месте, где говорится:

Бывало, в ночь глухую  
Заложим тройку удалую,  
Поем, и свищем, и стрелой  
Летим над снежной глубиной.

Я переделал так:

Бывало, в ночь глухую,  
Тая в груди отвагу злую,  
Летим на тройке вороных,  
Потешно сердцу удалых!  
Мы, мразный ветер в себя вдыхая,  
О прошлом вовсе забывая,  
Поем, и свищем, и стрелой  
Летим над снежной глубиной.

Это будет сильнее.

— Чудесно! Право, чудесно!.. Какого, батюшка, сейчас актера достал я, — чудо! Приезжайте обедать.

— Не знаю, поутру можно ли. Я думаю много переменить в пьесе.

— Ну, хоть вечером.

— Вечером буду.

Аполлос Михайлыч завернул также и к судье и здесь было получил неприятное известие: Осип Касьяныч решительно отказывался играть, говоря, что он совершенно неспособен и даже в театре во всю свою жизнь только два раза был; но Дилетаев и слышать не хотел.

— Что вы там, почтеннейший Осип Касьяныч, ни говорите, как вы ни отказывайтесь, мы вам не поверим: вы будете играть и прекрасно сыграете, потому что вы человек умный, это знают все, и сегодняшний вечер пожалуйте ко мне.

У судьи вытянулось лицо.

— Хотя на сегодняшний вечер увольте меня, Аполлос Михайлыч,— проговорил он,— право, я даже все мои обязанности нарушаю с этим театром.

— Вы ваших обязанностей никогда не нарушали,— этого никто о вас не смеет и подумать,— решил Дилетаев и, снова попросив хозяина не расстраивать отказом общее дело, уехал.

— Провалился бы ты с своими вечерами! Совсем сблаговал, дурак этакой,— проговорил ему вслед судья.

Дома Аполлос Михайлыч имел еще неприятную сцену с племянником, который тоже отказывался играть и на которого он так рассердился, что назвал его безмозглым дураком и почти выгнал из кабинета.

По отъезде Дилетаева Рымовы несколько времени не говорили между собою ни слова. Комик сел и, схватив себя за голову обеими руками, задумался. Приглашение Аполлоса Михайлыча его очень взволновало; но еще более оно, кажется, встревожило Анну Сидоровну. Она первоначально начала утирать глаза, на которых уже показались слезы, и потом принялась потихоньку всхлипывать.

— Это что еще такое? — сказал Рымов с досадою.

— Так... ничего... — отвечала Анна Сидоровна, — опять!.. — произнесла она и начала всхлипывать громко.

— Что опять?

— Опять!.. — отвечала она и заревела.

— Ах ты, дура... дура! — произнес, качая головой, Рымов, который, видно, догадывался, на что метит жена.

Анна Сидоровна продолжала плакать.

— Разбойник... душегуб! — говорила она рыдая. — Точно бес-соблазнитель приехал подмывать. Чтобы ни дна ни покрышки ему, окаянному, — только бы им, проклятым, человека погубить.

Рымов усмехнулся.

— Чем же он погубит?

— Всем он вас, Виктор Павлыч, погубит, решительно всем; навек не человеком сделает, каким уж вы и были: припомните хорошенько, так, может быть, и самим со-вестно будет! Что смеетесь-то, как над дурой! Вам весело, я это знаю, — целоваться, я думаю, будете по вашим закоулкам с этими погаными актрисами. По три дня без куска хлеба сидела от вашего поведения. Никогда

прежде не думала получить этого.— Бабы деревенские, и те этаких неприятностей не имеют!

— Все промолочила? — спросил Рымов.

— Нечего мне молоть! Давно я такая... давно уж вы в эти дела-то вдались, так уж мне и бог велел разум-то растерять.

— Именно, давно уж ты из ума выжила; прежде — проста была, а теперь уж ничего не понимаешь. Вразумишь ли тебя, что театр—мое призвание... моя душа... моя жизнь! Чувствуешь ли ты, понимаешь ли ты это, безумная женщина?

— У вас все душа! Кто вас ни позови,— вам всякий будет душа, только жена не нравится.

Рымов махнул рукою.

— В пять лет бог дает удовольствие, так и то хочет отнять,— начал он.

Анна Сидоровна горько улыбнулась.

— Великое удовольствие: как над дураком будут смеяться! Видела я вас, Виктор Павлыч, своими глазами видела — и на человека-то не были похожи. Обманывать меня нечего, другого вам хочется.

— Чего же другого-то?

— Известно, чего все мужчины хотят.

— Ну да, конечно: красавец какой,— так и кинутся все!

— Кидались же ведь прежде.

— Ах ты, жалкое создание, в тебе целый дьявол ревности сидит, ты ничего не видишь, ничего не понимаешь. Это благородный спектакль,— вбей хоть ты это-то в свою голову: тут благородные дамы и девицы. Неужели же они и повесятся мне на шею? Они, я думаю, и говорить-то не станут со мной.

— Не хитрите, сделайте милость, не хитрите, Виктор Павлыч! Все я очень хорошо понимаю, и понимаю, почему это вам так хочется.

— Почему мне хочется? Вот этого-то ты, я думаю, уж совсем не понимаешь. Мне хочется потому, что хотелось этого Шекспиру и Шиллеру,— потому, что один убежал из отцовского дома, а другой не умел лечить — вот почему мне хочется!

— Что вы мне приятелей-то приводите в пример. В Москве еще я это от вас слыхала. Такие же пьяницы, как вы.

— Молчи, дура! Не говори по крайней мере об этих людях своим мерзким языком.

— Ругайтесь, ругайтесь! Прибейте еще! Убить, я думаю, рады меня... Пьяница... бездомовщик! Уморил бы с голоду, кабы не мои же родные дали место.

Анна Сидоровна начала опять реветь.

— Ну да,— проговорил Рымов,— я хочу играть, буду играть, хоть бы тебя на семь частей разорвало.

Последние слова он произнес в сильном ожесточении. Анна Сидоровна хотела было что-то возражать.

— Молчи! — вскрикнул Рымов, ударив кулаком по столу.

### III

#### ВЕЧЕР ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

Художественный вечер Аполлоса Михайлыча, назначенный собственно для испытания талантов, начался часов в семь. Все уже были почти налицо. Хозяин приготавливался начать чтение.

— Рымов! — доложил слуга.

— А!..— произнес хозяин.— Проси.

— Я чрезвычайно боюсь, не пьян ли он? — заметил Юлий Карлыч судье.

— Не без того, я думаю; заварите уж вы кашу с вашими актерами,— проговорил тот и взглянул в угол.

К удивлению многих, комик явился во фраке, в белой манишке, с причесанными волосами и совершенно уж не пьяный.

— Милости прошу! — проговорил хозяин, вставая.— Здесь вы видите все поклонников Мельпомены, и потому знакомиться нечего; достаточно сказать этого слова — и, стало быть, все мы братья. Господин Рымов! — прибавил Аполлос Михайлыч прочим гостям, из коих некоторые кивнули гостю головой, а Юлий Карлыч подал ему руку.

— Прошу присесть,— продолжал Дилетаев, указывая на ближайший стул.— Между нами нет только нашего великого трагика, Никона Семеныча. Он, вероятно, переделывает свою поэму; но мы все-таки начнем маленькую релетицию по ролям, в том порядке, как будет у нас спектакль. Сначала моя комедия — «Исправленный повеса», потом вы прочтете нам несколько сцен из «Же-

нитьбы», и, наконец, Никон Семеныч продекламирует своим громовым голосом «Братья-разбойники»; Фани протанцует качучу, а Дарья Ивановна пропоет.

На такое распоряжение хозяина никто не отвечал. Дарья Ивановна пересмеялась с Мишелем, судья сделал гримасу, Юлий Карлыч потупился, комик отошел и сел на дальний стул. Аполлос Михайлыч роздал по экземпляру своей комедии Матрене Матвевне и Фани.

— Пожалуйста, Матрена Матвевна, не сбивайтесь в репликах, то есть: это последние слова каждого лица, к которым надобно очень прислушиваться. Это — главное правило сценического искусства. «Театр представляет богатый павильон на одной из парижских дач». Вам начинать, Матрена Матвевна!

Вдова начала:

— Действие первое. Явление первое.

— Позвольте, почтеннейшая! Зачем уж это читать? — перебил хозяин. — Это все знают. Начинайте с слова: «Ах, да!».

— Сейчас, сейчас, — отвечала Матрена Матвевна и снова начала:

Ах, да! Все говорят о вас, виконт,  
Что вы от света стали отставать  
И бродите день целый под окном  
Какой-то Дульциней...

— Вы читаете недурно; но надобно более обращаться ко мне, — заметил хозяин и начал самым развязным тоном:

Я брожу?  
Налгали вам, маркиза, на меня;  
Я провожу весь день в Пале-Рояле!  
Играю, ем, курю и пью вино,  
Затем, чтоб, нагрешивши вдоволь,  
Исправиться на ваших балах вновь.

— Подхватывайте скорее, Матрена Матвевна!

Вдова торопливо взглянула в книгу и зачитала:

Смешно вам,  
Смейтесь, маркиза, ваша воля!  
Но если б в самом деле...

— Attendez, madame!<sup>1</sup> — воскликнул Аполлос Михайлыч. — Вы читаете мой монолог, — как вы торопливы!

---

<sup>1</sup> Подождите, сударыня! (франц.)

— Виновата! — сказала Матрена Матвевна, немного вспыхнув, и снова начала:

Нет, нет, позвольте вам не вериги!  
Вы страстно влюблены в какую-то  
Кухарочку, гризетку или прачку.  
Смешно, виконт, мне это.—

Смешно вам? —

подхватил хозяин.—

Смейтесь, маркиза, ваша воля!  
Но если б в самом деле я хотел  
Кого-нибудь когда-нибудь любить,  
Так не влюбился бы в вас, светских дам,  
А сердце отдал бы простой крестьянке.

Матрена Матвевна подхватила:

Затем, что обмануть несчастных легче.

— Вы хорошо произносите, но немного скоро и однообразно: нет перелива в голосе...— заметил Аполлос Михайлыч.

— Я теперь еще не знаю наизусть, а я выучу.

— Уверен, уверен, моя почтеннейшая, что выучите и будете превосходны. Как вы, Виктор Павлыч, находите наше чтение и комедию, — а?

— Стихи произносить очень трудно, — отвечал тот.

— Совершенно согласен: тут надобно, особенно в комедии, высшее классическое искусство. Я думаю, вы могли заметить, что я в своем чтении много заимствовал у Катенина, которого несколько раз слышал и прилежно изучал.

Затем снова началось чтение. Матрена Матвевна часто мешалась в репликах, но зато сам хозяин необыкновенно одушевлялся, и в том месте, где виконт высказывает маркизе, что он ее не любит, Аполлос Михайлыч встал и декламировал наизусть.

— Как отлично Аполлос Михайлыч читают! — отнесся Юлий Карлыч к судье.

Тот только почесал затылок; комик сидел насупившись; Мишель что-то шептал на ухо Дарье Ивановне, которая, чтоб удержаться от смеха, зажала рот платком. Фани вся превратилась в слух и зрение и, кажется, с большим нетерпением ожидала, когда очередь дойдет до нее; наконец, пришла эта очередь. По ходу пьесы она сидит одна, в небольшой комнате, шьет себе новое платье и говорит:

Виконт! О милый мой виконт!  
Я для тебя спешу скорей надеть  
Тобою подаренный мне наряд!  
Ты, может, будешь, друг бесценный,  
Любить меня еще сильнее в нем.

Так читала девушка и читала с большим чувством. Затем является виконт, сначала страстный, потом задумчивый; гризетка испугалась: она думает, что он ее разлюбил; но он только вспомнил о маркизе, вспомнил, как она смеялась над его любовью, и еще более возненавидел эту женщину. Он рассказал своей возлюбленной; но она ему не верит и начинает его ревновать.

Вся эта сцена очень удалась, может быть, более потому, что два действующие лица не сбивались в репликах и читали все на память. Дилетаев вставал, ходил, садился около Фани и целовал ее руки; под конец явления Юлий Карлыч и Матрена Матвевна захлопали в ладоши, и последняя поклонилась к завтрашнему же дню так же твердо выучить роль, как Фани, и просила Аполлоса Михайлыча приехать поутру поучить ее. Второе и последнее действие было также прочитано с большим одушевлением со стороны Аполлоса Михайлыча и Фани и с большим старанием Матреною Матвевною, которая была уже не так однообразна, но по торопливости характера все-таки ошибалась иногда в репликах и не совсем верно выражала акцентом голоса мысль монолога, но Дилетаев следил внимательно и очень часто делал вдове дельные замечания.

— Мы со сцены сходим,— произнес он,— теперь, Виктор Павлыч, ваша очередь — потешьте вы нас вашим чтением. Мне бы очень желалось, чтобы каждое действующее лицо читало за себя; но у меня книжка одна, и роли еще не списаны. Прочтите уж вы одни то, что я отметил для нашего представления, да еще вас прошу пропускать те места, которые зачеркнуты карандашом. Они могут произвести на наших дам неприятное впечатление.

Комик, слушавший чтение всей комедии Дилетаева с грустным лицом, встал.

— Посмотрите, как у него руки дрожат, должно быть, он пьян,— заметил Мишель.

— Какой он странный, неприятно даже видеть: что он — лакей, что ли, чей-нибудь? — спросила его Дарья Ивановна.

— Должно быть, побочный сын Мельпомены.

— Перестанете ли вы меня смешить! Я, право, уеду.

— Бога ради, не погубите меня... Я не буду, честное слово, не буду,— отвечал молодой человек и закурил папиросу.

Комик подошел к столу и сел.

— Не любите ли вы пить воду с сахаром при чте-нии? — спросил хозяин.

— Нет-с, ничего; я и так прочту,— отвечал тот.

— Ему бы стакан водки для смелости закатить,— проговорил тихонько судья Юлию Карлычу.

— Ай, сохрани господи! Он нас всех приколотит,— отвечал тот.

— И хорошо бы сделал, чтобы глупостями-то не за-нимались.

Комик наконец начал чтение, по назначению Аполлоса Михайлыча, с того явления, где невеста рассуждает с теткою о женихах и потом является сваха. С первого почти его слова Матрена Матвевна фыркнула, Аполлос Михайлыч усмехнулся, Вейсбор закачал головой, Фани с удивлением уставила на Рымова свои глаза; даже Осип Касьяныч заглянул ему в лицо. Смех и любопытство заметно начали овладевать всеми. Вдова, Юлий Карлыч и Фани хохотали уже совершенно, Дилетаев слушал внима-тельно и по временам улыбался. Судья тоже улыбался. Мишель и Дарья Ивановна перестали говорить между со-бою. Чтение Рымова было действительно чрезвычайно смешно и натурально: с монологом каждого действующего лица не только менялся его голос, но как будто бы перекраивалось и самое лицо, выдвигались: и грубоватая фи-зиономия тетки, и сладкое выражение двадцатипятилетней девицы, и, наконец, звонко ораторствовала сваха. С появ-лением женихов все уже хохотали, и в том месте, где Же-вакин рассказывает, как солдаты говорили по-итальянски, Аполлос Михайлыч остановил Рымова.

— Нет, Виктор Павлыч, пощадите,— воскликнул он, отнимая у комика книгу.— О господи, даже колика сде-лалась... Матрена Матвевна! Не прикажете ли истериче-ских капель?

— Я не знаю, что такое со мною,— отвечала вдова,— я просто сумасшедшая.

— Как вы находите, Дарья Ивановна? — отнесся хо-зяин к молодой даме.

— Très drôle<sup>1</sup>, Аполлос Михайлыч,— отвечала та.

<sup>1</sup> Очень забавен, (франц.)



— Живокини не уступит — ужасный урод! — шепнул ей на ухо Мишель.

— Я, mon oncle, никогда так не смеялась... Отчего это? — сказала Фани.

— Это, душа моя, значит высшее искусство смешить. О чем плачете, Юлий Карлыч?

— От смеха, Аполлос Михайлыч, ей-богу, от смеха.

— Вижу, что от смеха, даже наш великий судья, и тот улыбается. Короче сказать: вы, Виктор Павлыч, великий актер.

Все эти похвалы комик слушал потупившись.

— Но вот ведь, господа, в чем главное дело, — начал рассуждать Дилетаев, — что смеялись мы, — это не удивительно: фарс всякой смешон; но, главное, — разнообразие таланта Виктора Павлыча. Он, например, может сыграть все почти лица: и сваху, и невесту, и тетку — это удивительно!.. Что бы вы теперь могли сделать в классической комедии? — продолжал он, обращаясь к комику. — Это выше слов: конечно, тут бы смеяться не стали; но зато на изящный-то вкус как бы подействовало, особенно в этих живых пассивных сценах, на которые с умыслом автор рассчитывает.

— Что вы изволите, Аполлос Михайлыч, разумею под классической комедией? — спросил скромно комик.

— Как что такое я разумею под именем классической комедии? — возразил хозяин. — Я разумею под этим именем все классические комедии, которые написаны по правилам искусства.

— Всякая комедия, если она выражает что-нибудь смешное ярко и естественно, — классическая комедия, — возразил скромно комик.

— Ах, нет: это совершенно ложная мысль! — перебил хозяин. — Смешного много написано: смешон водевиль, смешон фарс, но это не то... классическая комедия пишется по строгим и особенным правилам.

— Какие же особенные правила, mon oncle? Теперь в Петербурге даются водевили, которые гораздо лучше всех ваших классических комедий, — вмешался в разговор Мишель.

— Ну, mon cher<sup>1</sup>, ты еще не можешь судить об этом; то, что я хочу сказать, ты не совсем и поймешь.

---

<sup>1</sup> мой дорогой, (франц.)

— Да почему же вы одни только можете понимать?— возразил племянник.

— Молчи, пожалуйста! Твое дело галстуки повязывать да воротнички выставлять — и только. Я заговорил об особых правилах классического искусства; известны ли они вам, Виктор Павлыч?

— Когда-то учил-с, но теперь уж совсем забыл.

— Ну, поэтому слегка их припомню вам; я сам тоже давно учил, но как-то врезалось в память. Первое правило — единство содержания; второе, да... второе, я полагаю, то, чтобы пьеса была написана стихами — это необходимо для классицизма; и, наконец, третье, уж совершенно как-то не помню, — кажется, чтобы все кончилось благополучно... например, свадьбою или чем-нибудь другим; но я, с своей стороны, кладу еще четвертое условие для того, чтобы комедия действовала на вкус людей образованных: надобно, чтобы она взята была из образованного класса; а то помилуйте! Что такое нынче пишут? На сцене фигурируют пьяные мужики, хохлы, лакеи, какие-то уроды-помещики. Такая сволочь, что не глядел бы, да и в натуре их совсем нет. Возьмите вы комедии Шаховского — букет изящного, ароматом пахнет... Я очень бы желал, Виктор Павлыч, чтобы вы прочитали мою комедию; конечно, это не ваш род, но все-таки полагаю, что вы бы произнесли ее верно и с артистическим одушевлением.

Комик, прислушивавшийся сначала к рассуждениям Аполлоса Михайлыча с какою-то горькою улыбкою, под конец ничего уж не слышал и все посматривал на закрытую книжку «Женитьбы». Ему, кажется, очень хотелось еще почитать ее.

— Прочитайте-ка, Виктор Павлыч, мою комедию, — повторил хозяин.

— Чего-с? — отозвался комик.

— Мою комедию продекламируйте.

Рымов немного смешался.

— Я не умею читать белых стихов, — проговорил он.

— Жаль, очень жаль, — начал хозяин, — невероятно жаль, что вы не получили строгого сценического воспитания! Вы бы были великий художник: природа ваша бесценна; но в настоящее время для вас существует только известный род пьес, комедии райка; конечно, и в них много смешного, но уж чрезвычайно вульгарно.

Высший класс тоже смеется; но смеяться ведь можно всему: мы смеемся, например, когда пьяный мужик пляшет под балалайку, но все-таки в этом нет истинного комизма. Так ли я, господа, говорю? — отнесся Аполлос Михайлыч к мужчинам. — Что вы, mesdames<sup>1</sup>, скажете? — прибавил он, обращаясь к дамам. — Виктор Павлыч, я замечаю, не совсем соглашается с моими мнениями.

— Мы, дамы, должны соглашаться с вами, вы профессор наш, мы все считаем вас нашим профессором, — подхватила Матрена Матвевна.

Из мужчин судья только поднял брови и молчал; Мишель сделал гримасу и что-то шепнул на ухо Дарье Ивановне, которая ударила его по руке перчаткой и опять зажала рот платком.

— Я согласен с Матреной Матвевной, — произнес Юлий Карлыч. — Вы очень много читали, Аполлос Михайлыч, да и от природы имеете большое соображение.

— И, таким образом, стало быть, один Виктор Павлыч не согласен.

— Я ничего, Аполлос Михайлыч... — начал было Рымов.

— Ну, однако, как там в сердце, в уме-то своем не убеждены, что я прав? — перебил хозяин.

— Я ничего-с, только насчет райка... он иногда очень правильно судит.

— Вы думаете?..

— Да-с, Мольер обыкновенно читал свои комедии кухарке, и если она смеялась, он был доволен.

Аполлос Михайлыч покачал головою.

— Во-первых, это анекдот, а во-вторых, что такое Мольер? «Классик! Классик!» — кричат французы, но и только!.. Немцы и англичане не хотят и смотреть Мольера; я, с своей стороны, тоже не признаю его классиком... А!.. Никон Семеныч, великий трагик! Вас только и недоставало, — опоздали, mon cher! И лишили себя удовольствия прослушать большую часть нашего спектакля.

Но Никону Семенычу было не до кого и не до чего: он приехал в очень тревожном состоянии духа; волосы его были растрепаны, руки и даже лицо перепачканы в чернилах.

---

<sup>1</sup> сударыни, (франц.)

— Я приехал читать,— проговорил он, не кланяясь почти ни с кем.

— Да, теперь очередь за вами,— ответил хозяин, подмигнув судье и Юлию Карлычу, отчего последний потупился.

— Я много переделал и прибавил,— начал Никон Семеныч, садясь.— Могу? — спросил он.

— Сделайте милость,— сказал хозяин.

Рагузов начал:

— «Театр представляет равнину на волжском берегу. Рассыпана толпа разбойников в различных костюмах; близ одного, одетого наряднее других, сидит, опершись на его плечо, молодая женщина».

— Позвольте, топ шер, я вас перебыю: это, стало быть, совершенно новое лицо? — возразил Аполлос Михайлыч.

— Новое, оно необходимо,— отвечал торопливо Рагузов и продолжал уже наизусть:

Нас было двое: брат и я!  
Росли мы вместе, нашу младость  
Вскормила чуждая семья...

На том месте, где говорится:

...Решились меж собой  
Мы жребий испытать иной,—

он остановился и сказал:

— Тут говорит его любовница,— и продолжал:

Е л е н а

Благословляю этот миг,  
Он отдал мне, мой друг, тебя!  
Ты не преступник, ты велик.  
Ты мой навек, а я твоя!

— Позвольте, Никон Семеныч, я вас опять перебыю: кто же будет играть эту роль? Надобно прежде это решить.

— Я не знаю-с, это — ваше дело

— Но как же все мое дело; не могу же я придумать все, что придет вам в голову?! Дарья Ивановна, это ваша роль.

Дарья Ивановна насмешливо покачала головой:

— Почему же вы думаете, что моя? Неужели же вы находите, что я похожа на любовницу разбойника? Мне это досадно!

Матрена Матвевна взглянула на Аполлоса Михайлыча многозначительно.

— Фанечка, эту роль ты должна играть,— отнесся он к племяннице.

Но та, несмотря на любовь к искусству, на этот раз что-то сконфузилась.

— Я не сыграю, *mon oncle*,— произнесла она.

— Неправда, та *bonne amie*<sup>1</sup>, неправда!.. Матрена Матвевна, она ведь должна играть?

— Она, непременно она... она молоденькая, хорошенькая, а мы все старухи,— решила вдова.

— Я, *mon oncle*, не умею играть драматических ролей.

— Никон Семеныч тебя научит, и я тебе слова два — три скажу.

— Я у вас буду учиться, *mon oncle*,— отвечала девушка.

Рагузов начал читать и прервал этот разговор. Наконец он кончил.

— Стало быть, поэма ваша, Никон Семеныч, должна будет идти отдельно от дивертисмана?

— Непременно!

— В таком случае надобно назвать ее драматической фантазией,— произнес Аполлос Михайлыч.

— Пожалуй,— отвечал трагик и встал.

— Ну-с,— отнесся Дилетаев к Дарье Ивановне,— теперь ваша очередь; во-первых — пропеть, а во-вторых — сыграть качучу для Фани на фортепьянах.

— У меня горло болит, Аполлос Михайлыч,— возразила она.

— Все равно-с, болит ли оно у вас, или нет,— мы этого не знаем, но просим, чтобы вы нам пропели.

— Спойте, Дарья Ивановна, дайте отдохнуть душе,— шепнул ей на ухо Мишель.

Дарья Ивановна встала и села за фортепьяно; голос ее был чрезвычайно звучен и довольно мягок: он поразиł всех; один только Рымов, кажется, остался недоволен полученным впечатлением.

— Каково соловей-то наш заливается? — отнесся к нему Юлий Карлыч.

— Она не понимает, что поет,— отвечал тот и отошел.

---

<sup>1</sup> мой друг, (франц.)

Никон Семеныч прослушал весь романс с необыкновенным восторгом.

— Madame, je vous supplie, faites moi l'honneur d'accepter un rôle dans ma pièce. Vous avez tant de sentiments... J'arrangerai un petit air tout exprès pour votre voix...<sup>1</sup> — отнесся он, от полноты чувств, к Дарье Ивановне на французском языке.

— Je n'ai jamais parlé et chanté sur la scène<sup>2</sup>, — отвечала та небрежно и отвернувшись от трагика.

— Прелесть! Чудо! — говорил Аполлос Михайлыч, качая головою.

— Попросите, пожалуйста, чтобы Дарья Ивановна играла в моей пьесе; я напишу для них романс. Это будет очень эффектно, — обратился к хозяину трагик.

— Вряд ли станет она играть! Дай бог, чтобы что-нибудь пропела, — отвечал Дилетаев. — Мишель! Поди сюда! — кликнул он племянника. — Будет ли у нас Дарья Ивановна играть?

— Я почему знаю, спросите ее.

— Попроси ее, мой друг, участвовать.

— Что ж мне ее просить... Я ничего у вас не понимаю, — проговорил Мишель и, отошед от дяди, опять заговорил с Дарьей Ивановной.

— Фанечка! — начал хозяин. — Что же твоя качуча?

— Сейчас начну, mon oncle, — ответила девушка и убежала в свою комнату за кастаньетами.

Дарья Ивановна, по просьбе Аполлоса Михайлыча, заиграла качучу; Фани начала танцевать. Нельзя сказать, чтобы все па ее были вполне отчетливы и грациозны; но зато во всех пассивных скачках, которыми исполнен этот танец, она была чрезвычайно энергична. Аполлос Михайлыч, Никон Семеныч, Матрена Матвевна и Юлий Карлыч хлопали ей беспрестанно; оставались равнодушными зрителями только комик, который сидел в углу и, казалось, ничего не видал, и судья, которому, должно быть, тоже не понравился испанский танец.

«Этакое нахальство: для девицы, кажется, и неприлично бы было; простая мужичка не согласится этак ломаться!» — сказал он про себя.

<sup>1</sup> Сударыня, я вас умоляю оказать мне честь и взять роль в моей пьесе. В вас столько чувства... Я напишу небольшую арию специально для вашего голоса... (франц.)

<sup>2</sup> Я никогда не играла и не пела на сцене, — (франц.)

Качучею заключился вечер испытательного чтения. Общество снова возвратилось в гостиную; Аполлос Михайлыч еще долго рассуждал о театральном искусстве, и у него опять начался жаркий спор с Рагузовым, который до того забылся, что даже собственную комедию Дилетаева назвал пустяками. Аполлос Михайлыч после этого перестал с ним говорить. Комик раньше всех простился с хозяином, который обещался на другой же день прислать ему роль. Трагик уехал вскоре за ним. Дарью Ивановну поехал провожать Мишель. Фани принялась читать «Женитьбу». Матрена Матвевна очень долго сидела с хозяином в гостиной и о чем-то потихоньку разговаривала с ним. Все гости отправились, конечно, в экипажах; один только Рымов пошел пешком, повеся голову.

«Что это такое: где я был? Точно сумасшедший дом,— рассуждал он сам с собою,— что такое говорил этот господин: классическая комедия, Мольер не классик... единство содержания... «Женитьба» — фарс, черт знает что такое! Столпотворение какое-то вавилонское!.. Хорош же у них будет спектакль... и комедия хороша, нечего сказать. Вместо стихов — рубленая солома, но главное: каков виконт-то волокита,— тьфу ты, проклятые! Ничего подобного и не слыхивал! Видно, в самом деле старуха моя права; все это глупости, и глупости-то страшные! Или уж я очень одичал, так не понимаю ничего,— черт знает что такое?»

Пришед домой, он застал жену в постели, с повязанной головой. Рымов посмотрел на нее. Анна Сидоровна отвернулась.

— Аннушка! Что с тобой? — спросил он, раздеваясь; но она не отвечала.

— За что ты сердишься? Что такое я сделал? Больна, что ли, ты?

— Да,— отвечала она.

— Что такое у тебя болит?

— Да вам зачем? Играйте там, дайте хоть умереть спокойно.

— Опять старые песни!

— Лучше бы к какой-нибудь поганой актрисе вашей отправились ночевать. Зачем меня пришли мучить?

— Тьфу ты, дура этакая! Лежи же, валяйся... терпения нет никакого!

— Что ж вы, подлец этакой, ругаетесь? Ступайте вон! Квартира моя — разбойник! Еще убьете ночью, пожалуй.

Рымов плюнул и ушел в другую комнату, погасил свечу и лег на голом диване. Прошло часа два, но ни муж, ни жена не спали; по крайней мере так можно было заключить из того, что один кашлял, а другая потихоньку всхлипывала. Наконец, Анна Сидоровна встала и подошла к дверям комнаты, где лежал муж.

— Витя, ты спишь? — начала она ласковым голосом.

— Нет, а что?

— Поди ко мне, мамочка, тебе там жестко.

— Ругаться станешь.

— Нет, мамочка, я виновата.

Рымов встал и перешел к жене на кровать.

— Не играй, Витя! Пожалуйста, не играй: погубишь ты себя и меня!

— Чем же я погублю тебя?

— Избалуетесь, мамочка, опять избалуетесь, еще, пожалуй, влюбитесь... вы ведь при всех, без стыда, целуетесь, это уж какое дело семейному человеку.

— Отвяжись, пожалуйста: я спать хочу!

— Спи, ангел мой, авось, тебя бог образумит.

Анна Сидоровна поцеловала и перекрестила мужа.

#### IV

#### ПЕРВАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Дня через два Дилетаев разослал ко всем роли; но, кроме того, он заехал к каждому из действующих лиц и сделал им, сообразуясь с характером, наставления и убеждения.

Осип Касьяныч, получив роль, пришел в совершенный азарт; он бросил ее на пол и начал топтать ногами, произведя при этом случае такой шум, что проживавшая с ним сестра подумала, бог знает что случилось, и в большом испуге прибежала к нему.

— Батюшка, Осип Касьяныч! Что это такое с вами? — спросила она.

— Черт, дьявол, бес плешивый! — кричал судья, толкая пинками роль. — Ишь как вздумал дурачить людей!

— Голубчик, братец, расскажите, что такое случилось?

— Вам еще что надобно от меня? Ступайте к себе.



Ну что вам надобно? Лучше бы рожу умыли,— проговорил он, обращаясь к сестре, и, совершенно расстроенный, уехал к откупщику, где играл целый день в карты и сверх обыкновения проиграл пятьсот рублей, бледнея и теряясь каждый раз, когда его спрашивали, какую он будет играть роль. После такого рода неприятностей почтенный судья о театре, конечно, забыл и думать, а пустился в завакказский преферанс и выиграл тьму денег, ограничась в отношении своей роли только тем, что, когда при его глазах лакей, метя комнату, задел щеткой тетрадку и хотел было ее вынести вместе с прочею дрянью, он сказал: «Не тронь этого, пусть тут валяется»,— но тем и кончилось.

Гораздо добросовестнее исполнял поручение Дилетаева Юлий Карлыч. Несмотря на то, что жене его сделалось в тот день еще хуже, что около него шумел и кричал целый пяток различного возраста детей, он тотчас же начал учить роль; но, к несчастью, память совсем отказывалась. Пробившись без всякого успеха часа три, Вейсбор решился ехать за советом к учителю истории в уездном училище, который, по общей молве, отличался необыкновенною памятью и который действительно дал ему несколько спасительных советов: он предложил заучивать вечером, но не поутру, потому что по утрам разум скоро воспринимает, но скоро и утрачивает; в местах, которые не запоминаются, советовал замечать некоторые, соседственные им, видимые признаки, так, например: пятнышко чернильное, черточку, а если ничего этакого не было, так можно и нарочно делать, то есть мазнуть по бумаге пальцем, капнуть салом и тому подобное, доказывая достоинство этого способа тем, что посредством его он выучил со всею хронологию историю Карамзина. По его словам, метода самого Ланкастера противу изобретенной им методы никуда не годится. Способ действительно, надо полагать, был хорош. Дня через два, после тщательного упражнения, Юлий Карлыч знал уже четыре явления очень порядочно.

Немалого Аполлосу Михайлычу стоило труда уговорить и Дарью Ивановну принять на себя роль тетки в «Женитьбе». Несмотря на то, что эта роль была очень маленькая, молодая дама решительно отказывалась, говоря по-прежнему, что она расхохочется на первом слове; но Аполлос Михайлыч уверял, что если она только выйдет на сцену и постоит, так и то будет прелестно.

Трагика тоже было трудно уломать взять роль Кочка-

рева. Аполлос Михайлыч употребил для этого лесть, говоря, что Никону Семенычу всякая роль по плечу и что он из грязи сделает брильянт. Тот, наконец, согласился и, пробегая роль, восклицал: «Этакая гадость, сальность! Что-то такое мужицкое, бурлацкое» — и снова начал отказываться, но Дилетаев снова польстил, и трагик окончательно согласился и очень скоро выучил роль, хотя и была она ему не по сердцу. Про «Братьев-разбойников» и говорить нечего, — он эту поэму почти всю сам пересоздал и все это время походил совершенно на сумасшедшего человека: никого не принимал, никуда не ездил, а все занимался по этому предмету и в конце недели уже прислал Фани роль Елены — любовницы, совсем отделанную и переписанную. Фанечка тоже действовала от души. Роль гризетки она уже знала превосходно наизусть. Роль невесты выучила в два дня и, наконец, хотя и не с большим желанием, принялась за роль Елены. Качучу она уже танцевала очень мило.

В племяннике своем Дилетаев встретил опять большое затруднение: Мишель никак не хотел играть и даже нагрубил ему в такой мере, что он принужден был выгнать его из дому и решил было написать записку к аптекарю и просить того, несмотря на картавый выговор и совершенное незнание русского языка, сыграть Анучкина; но, впрочем, молодой человек, сходяв к Дарье Ивановне, опомнился: взял роль и начал ее изучать вместе с нею. Не знаю, действительно ли они учили свои роли, но только говорили беспрестанно и даже устроили какую-то странную между собой игру: «Перестаньте, Мишель, я уйду», — говорила вдруг Дарья Ивановна и уходила в темный коридор, но Мишель следовал за ней и в коридор. «Ну, так я в мезонин», — говорила она. Мишель шел за ней и в мезонин. «Ну, будет... довольно... я хочу сидеть в гостиной», — говорила Дарья Ивановна и шла в гостиную. Мишель тоже следовал за нею.

Что касается до комика, то предчувствие Анны Сидоровны, что театр опять собьет его с панталыку, отчасти начало оправдываться. В тот же день он не пошел в контору, а ушел во вторую комнату, затворил дверь, заставил ее комодом и принялся что-то бормотать. Не осушая глаз, бедная женщина готовила в этот день кушанье; но есть ничего не могла. Браниться и говорить мужу тоже не хотела: она по опыту знала, что от этого не будет никакой пользы.

Вечером она отправилась ко всенощной и со слезами молилась, чтобы отворотился ее Витя от этой, словно с ветра напущенной на него, блажи.

Когда она пришла домой, Рымов вышел уже из своей засады. Ему, видно, стало жаль жены, и он хотел было вразумить ее, но тщетно: она заткнула себе уши и не хотела ничего слушать. Комик рассердился и по-прежнему лег на диван. На этот раз Анна Сидоровна не звала уже его к себе, и, таким образом, должен с грустию я сказать, что после пятилетней спокойной жизни супруги снова провели всю ночь на одиноких ложах, как это и часто случалось, когда Виктор Павлыч был в труппе. На другой день Рымов, впрочем, пошел в контору. Анна Сидоровна решила без него употребить последнее средство: она подсмотрела, куда муж спрятал свою тетрадку, нашла ее, изорвала на мелкие кусочки и сожгла. Пришед домой, комик сейчас же хватился своей роли, но не нашел и, вероятно, догадался о постигшей ее участи; но это для него ничего не значило: он тотчас же написал всю роль на память и, как бы в досаду, показал ее Анне Сидоровне; но та уже и отвечать ничего не могла, а только вздохнула и, чтобы отплатить неверному, ушла на целый вечер к одной соседке и там, насколько доставало у ней силы, играла равнодушно в свои козыри; но, возвратясь домой, опять впала в тоску и легла. Несмотря на все эти отчаянные поступки жены, Рымов, кажется, решился поставить на своем и не обращал никакого внимания на нее, что, конечно, еще более убивало Анну Сидоровну.

Семнадцатого февраля была назначена, по распоряжению Аполлоса Михайлыча, первая репетиция. Дилеттаев, как человек строгий и опытный в театральном деле, настаивал, чтобы репетировали в костюмах, и весьма сожалел, что сцена, по многим местным неудобствам, не была еще окончательно готова. Перед началом репетиции Аполлос Михайлыч сидел в своем кабинете, погруженный в тихое раздумье: «Я и Фани будем отличны,— рассуждал он про себя,— Рагузов будет эффектен; Рымов одной своей физиономией насмешит всех; Матрена Матвевна будет твердо в своей роли; ну, а если прочие сыграют и посредственно, то все-таки спектакль сойдет хорошо. Главное, надобно, чтобы все позаботились о костюмах и твердо бы знали свои роли, а там уж музыкой и освещением можно будет пыль в глаза бросить».

Стулья в зале, в котором должна была происходить репетиция, еще с утра были расставлены в том порядке, как следует, то есть: часть их отделена для зрителей, а два кресла были поставлены на место, назначенное для сцены; выходить должны были из кабинета и из коридора. Действующие лица собрались в шесть часов. Аполлос Михайлыч, Матрена Матвевна и Фанечка пошли одеваться. Зрителями первой пьесы были: Рымов, Рагузов, Дарья Ивановна с Мишелем и Юлий Карлыч с судьей; последний был, заметно, в состоянии полного ожесточения и глядел совершенным медведем на всех и на все. Кроме этих зрителей, не было никого: несмотря на убедительные просьбы некоторых чиновников и помещиков посмотреть репетицию, Аполлос Михайлыч отказывал всем и каждому наотрез, имея в виду, что от этого потеряет много эффекту самый спектакль. Через час из коридора вышла Матрена Матвевна в напудренной прическе маркизы времен Людовика XIV и в бальном платье; вскоре за ней явился и виконт в бархатном кафтане, золотом камзоле, весь в кружевах, в парике, с маленькой шляпой, в белых коротеньких и узеньких брюках, в шелковых чулках и башмаках. В этом костюме Аполлосу Михайлычу никто бы не дал пятидесяти лет; но сверх того самые манеры его как будто бы изменились: он был жив, резв, вертляв и ловок — так, что своею особою невольно бросал весьма невыгодный оттенок на маркизу, которая, сравнительно с ним, далеко не выражала ловкой парижанки. Никон Семеныч, как знаток театра, заметил это с первого раза. Репетиция началась и продолжалась в полном порядке, и только Матрена Матвевна, несмотря на твердое и прилежное изучение роли, все еще сбивалась; в этом виноват был отчасти суфлер, в которые Аполлос Михайлыч выбрал своего управляющего, человека, хорошо читающего и очень аккуратного; но аккуратность-то эта именно и вредила тут. Матрена Матвевна, как мы уже знаем, говорила очень скоро и кой-что пропускала, а суфлер, никак не успевавший за нею следить, когда она останавливалась на конце фразы, не желая, по своей аккуратности, ничего пропускать, подсказывал ей проговоренный монолог, отчего и выходила путаница, которая до того рассердила Аполлоса Михайлыча, что он назвал суфлера дураком. Впрочем, явление с гризеткою выкупило все. Юлий Карлыч пришел в восторг, даже Рагузов похвалил; хлопали

и Мишель с Дарьей Ивановной; но они, я полагаю, делали это с насмешкою. «Исправленный повеса», наконец, был прорепетирован. Матрена Матвевна просила Аполлоса Михайлыча еще поучить ее; он, конечно, обещался и тут же сделал замечание насчет туалета, говоря, что, хотя бальное платье ее прелестно, но несогласно с модою того времени, и обещался привезти ей рисунок, по которому она и должна будет сшить себе платье, вполне приличное маркизе.

За этой пиесой следовала «Женитьба»; но она вовсе не так была удачна, как первая. Сцены тетки с невестой и, наконец, со свахгой были очень слабы. Дарья Ивановна, никак не хотевшая надеть настоящего костюма, только стояла на сцене, и когда суфлер обращался к ней, говоря: «Вам», она отвечала: «Скажи за меня, — я еще не выучила». Фани была лучше всех, хотя, конечно, походила более на барышню, нежели на купчиху; но по крайней мере она знала свою роль. Матрена Матвевна, успевшая уже переодеться, тоже знала свою роль, но и здесь у ней проявлялся прежний ее недостаток: она то говорила очень твердо, то останавливалась и, по неискусству суфлера, не могла уже скоро поправиться. Сцена женихов решительно никуда не годилась; судья и Мишель были без костюмов. Первый, вставая, объявил, что он еще и не учил своей роли, и потом стал, с трудом разбирая, читать ее по тетрадке таким тоном, каким обыкновенно читаются деловые бумаги. Мишель был несносен: он, подобно Дарье Ивановне, вздумал было заставлять суфлера читать за себя, но Аполлос Михайлыч вышел из терпения, крикнул на него и требовал, чтобы он непременно играл настоящим манером. Мишель, надувшись, начал читать, но без всякого одушевления. Юлий Карлыч, несмотря на все свое усердие, был тоже не совсем удовлетворителен, потому что он более старался, нежели играл. Аполлос Михайлыч качал головой, Рагузов тоже качал головой, но только с насмешкою. Рымов бледнел и краснел. Перед тем явлением, в котором Подколесин должен был выйти с Кочкаревым, комик подошел к Дилетаеву.

— Пиеса эта не может идти, Аполлос Михайлыч, — сказал он печальным голосом.

— Это отчего?

— Она очень сложна, вы лучше замените ее другою: мы только будем путать.

— Ах, мой почтенный, как вы мало это дело знаете! Отчего теперь путают? Оттого, что не знают своих ролей, а когда выучат, то пойдет прекрасно.

— Нет, вообще ее играют неверно.

— Согласен: но что же такое? Да и кроме того: чего же вы хотите от фарса; его только надобно твердо выучить, а там и будет смешно. Выходите, мой милый, играйте, смешите нас, а о прочем не беспокойтесь, это мое дело привести все в порядок. Конечно, она не может идти так, как идет моя комедия, но никто этого и не требует: достаточно, если мы будем смеяться. Выходите, почтеннейший Никон Семеныч, вам следует!

Никон Семеныч нехотя встал и пошел вместе с комиком на сцену; но, несмотря на то, что трагик был тверд в своей роли, что Рымов скроил пресмешную физиономию, первое действие кончилось очень слабо.

Комик не выдержал, махнул рукою, отошел и встал к окну. Рагузов смеялся. Мишель с Дарьей Ивановной тоже смеялись. Аполлос Михайлыч был в беспокойстве.

— Не конфузьтесь, господа, сделайте милость, не конфузьтесь: в таком деле по началу судить нельзя. Извольте начинать второе действие. Фанечка! Тебе, мой друг,— говорил он.

— Моп опсе, да что, я не знаю; у нас что-то нехорошо идет,— отвечала Фани.

— Ничего, моя милая, начинай.

— Что вам за охота, Аполлос Михайлыч, заставляя нас ломаться? — заметил трагик.

— Не ломаться, Никон Семеныч! Поверьте, что не ломаться: выйдет недурно; для полноты спектакля эта пьеса необходима: что не удастся в ней, то наши с вами вывезут. Начинай же, Фани!

Фанечка начала. Явился потом Кочкарев, и сверх ожидания это явление сошло очень недурно; но при появлении прочих женихов опять пошла путаница, и они кое-как были прогнаны невестой. С уходом их пьеса пошла даже отлично. Рымов в сцене с невестой превзошел все ожидания. Все разразились смехом; даже Фанечка не удержалась и захохотала. Последующие явления его с Кочкаревым были хороши, а последний монолог, после которого он выскакивает в окно, неподражаем. Аполлос

Михайлыч хлопал, как сумасшедший, и говорил, что все и всё отлично. Но я должен сказать, что не все было отлично: трагик редко попадал в настоящий тон; Фанечка тоже; Аполлос Михайлыч, впрочем, уверял, что это происходило оттого, что она была слишком молода для этой роли. Комик с нахмуренным и сердитым лицом сел на дальний стул и задумался.

— Вы извините меня, Аполлос Михайлыч,— сказал Юлий Карлыч, подходя к хозяину,— что я не так твердо знаю. Право, я совершенно не имею памяти.

— Ничего, Юлий Карлыч! Терпение все преодолевает; вы еще удовлетворительнее прочих.

Судья, подобно комику, уселся в углу и ни с кем не говорил ни слова. Трагик и Фанечка скрылись. По окончании «Женитьбы» следовала, как переименовал Рагузов, драматическая фантазия «Братья-разбойники». Через полчаса из кабинета хозяина вышел Никон Семеныч в известном уже нам костюме, то есть в красных широких шальварах, перетянутый шелковым, изумрудного цвета, кушаком, в каком-то легоньком казакине, в ухарской шапочке, с усами, набеленный и нарумяненный.

— Где же другие разбойники? — спросил он.

— Будут, будут, не беспокойтесь,— отвечал хозяин,— сегодня, конечно, не в костюмах, но это ничего.

— Отчего же в вашей пьесе все были костюмированы? — проговорил с досадою Рагузов.

— Как же вы, Никон Семеныч, сравниваете мою пьесу: там только три лица, а у вас их десять; кроме того, моя комедия уже три года, как готова; а ваша только еще вчера сочинилась.

— Извините: она постарше вашей; о себе-то вы все придумали, а о других только нет.

— Я думаю обо всех и обдумывал уже все; костюмы ваши несложны, они в два дня поспеют.

Явилась Фани в костюме любовницы разбойника, и можно сказать, что наряд ее был очень хорош. На голове ее была тоже какая-то шапочка, стан обхватывался коротеньким с корсажем платьицем, сшитым наподобие швейцарских.

— Этот костюм не верен, mademoiselle,— сказал трагик, осматривая ее.

— Мне дяденька его сочинил,— отвечала Фани.

— Как вы, Никон Семеныч, говорите — не верен, — воскликнул Дилетаев, — сами назвали поэму драматической фантазией, а недовольны фантастическим костюмом. На вас самих костюм очень необыкновенный.

— У меня-то уж вовсе обыкновенный и самый национальный.

— Ну и прекрасно, будь по-вашему; я уже себе дал слово с вами не спорить: Фани будет играть в этом костюме. Это решено.

Трагик насмешливо улыбнулся.

— А где же разбойники? — повторил он.

— Сейчас... Юлий Карлыч, Мишель, Осип Касьяныч, пойдите в разбойники, — произнес хозяин, приподняв маясь. — Виктор Павлыч! Потрудитесь и вы; мы вас оденем старым подьячим, которые всегда присутствовали в разбойничьих шайках.

На этот призыв хозяина поднялся только один Юлий Карлыч.

— Сделайте милость, господа, — повторил настоятельно хозяин, — Мишель, ступай, кинь папиросу, точно не накуришься! Осип Касьяныч, пожалуйста! Полно вам там сидеть в углу. Виктор Павлыч, пойдите, — прибавил хозяин, беря комика за руку.

Гости нехотя вышли на сцену.

— Только-то? — спросил Никон Семеныч.

— Покуда только, а на представление я приготовлю лакеев. Размещайте картину сообразно вашему плану.

Трагик начал: на авансцену он посадил самого хозяина в позе кровожадного эсаула. Судью, как он ни отнекивался, Никон Семеныч положил на землю плашмя и велел ему дремать; Мишель был тоже положен, но с лицом, обращенным к самому трагику. Комик посажен был на корточки; актерская натура его и тут не выдержала: он скорчил такую уморительную физиономию, что все разбойники и дамы захотали. Фани посажена была около самого Никона Семеныча и должна была опираться на его плечо; она исполнила это с большим надобно усилием.

Твердо, с одушевлением и с большою драматическою аффектацией начал Никон Семеныч свою роль, обращая попеременно то к тому, то к другому разбойнику, которые слушали его; но он по преимуществу остался доволен самим хозяином и комиком. Первый, действи-



тельно, делал чрезвычайно зверскую физиономию, когда трагик рассказывал об убогом и о богатом жиде, которых он резал на дороге; второй же выражал другого рода чувства: робость, подлость и вместе с тем тоже кровожадность и был так смешон, что бывшие зрительницами Матрена Матвевна и Дарья Ивановна, несмотря на серьезное содержание пьесы, хохотали. Фани, в роли любовницы, была хороша, только очень мало обращалась к своему любовнику, впрочем, произносила стихи с чувством. Драматическая фантазия сошла очень удовлетворительно, так что Аполлос Михайлыч сказал:

— Я не ожидал, чтобы все это сошло так недурно. Вы очень хороши, Никон Семеныч, в драматической поэзии.

Затем следовала песня «Оседлаю коня» Дарьи Ивановны и качуча — Фани. Хозяин настоял, чтоб и они пропетировали, и привел по этому случаю известную поговорку: *Repetitio est mater studiorum*<sup>1</sup>. Дарья Ивановна, аккомпанируя себе, пропела свой *chef d'oeuvre* и привела снова в восторг Никона Семеныча, который приблизился было к ней с похвалою, но в то же время подошел к молодой даме Мишель, и она, отвернувшись от трагика, заговорила с тем. Фанечка подсела к комику.

— Как вы хорошо играете, — сказала она, — лучше всех нас; вы поучите меня играть?

— Наша пьеса не пойдет, — отвечал тот.

— Отчего же?

— Она очень дурно выполняется.

— Но вы хорошо играете.

— Я один ничего не значу.

— Фанечка, тебе танцевать качучу; переоденься, моя милая, в другой костюм, — произнес Аполлос Михайлыч.

Фани убежала в свою комнату и когда явилась, то была уже одета совершенно по-балетному, даже в трико, которое нарочно купил для нее Аполлос Михайлыч в Москве. Дарья Ивановна села играть за фортепьяно. Впечатление, произведенное танцами Фани, было таково же, как и прежде. Трагик качал от удовольствия головою; Матрена Матвевна делала ей ручкой; комик смотрел на девушку гораздо внимательнее, чем в первый раз.

---

<sup>1</sup> Повторение — мать учения. (лат.)

Актеры разошлись очень поздно, оставив хозяина в совершенном утомлении. Пришел в свой кабинет, Аполлос Михайлыч бросился в свои покойные кресла.

«Ох, творец небесный, как я устал! Вот пословица говорится: охота пуще неволи; ах, как все они мало искусство-то понимают: просто никто ничего не смыслит!» — произнес он сам с собою и, будучи уже более не в состоянии ничего ни думать, ни делать, разделся и бросился в постель.

## V

### ХЛОПОТЫ АНТРЕПРЕНЕРА

На другой день Дилетаев лежал еще в постели, когда подали ему письмо от Рымова, в котором тот отказывался играть и писал, что у него больна жена и что комедия, в которой он участвует, так дурно идет, что ее непременно следует исключить.

— Вот тебе на! — проговорил Аполлос Михайлыч, совершенно пораженный. — На кого была надежда, тот и лопнул. Завидно вот, почему моя пьеса идет лучше всего. Какое это дьявольское артистическое самолюбие! С простыми людьми, право, легче составлять спектакли; те по крайней мере не умничают, а исполняют, что велют. Велика фигура — мещанин какой-то, и тот важничает!

Но и простые люди вышли не лучше комика: судья тоже прислал записку, в которой напрямик отказывался и уведомлял, что он завтра же отбудет в отпуск в губернию.

Дилетаев не выдержал и, разорвав обе записки на мелкие куски, бросил их на пол.

— Вот вам люди! — продолжал он, обращаясь к окну, из которого виднелась городская площадь, усыпанная, по случаю базара, народом. — Позови обедать, — так пешком прибегут! Покровительство нужно, — на колени, подлец, встанет, в грязи в ноги поклонится! А затей что-нибудь поблагороднее, так и жена больна и в отпуск надобно ехать... Погодите, мои милые, дайте мне только дело это кончить: в калитку мою вы не заглянете...

Размыслив хорошенько, Аполлос Михайлыч о судьбе

уже не жалел, потому что тот и по характеру был большой невежа, да и играть совершенно не умел; но комика Дилетаев поклялся не выпускать из рук, вследствие чего тотчас ж спросил себе одеваться, велел закладывать лошадь и проехал прямо к Рымову. Здесь он увидел довольно странную сцену: на стуле у окна сидел совсем растрепанный комик, с лицом мрачным и невымытым; тут же на маленькой скамейке, прикинув головой к коленям мужа, сидела Анна Сидоровна, уставив на него свои маленькие глаза, исполненные нежности. Кроме того, она целовала его руку. Читатель, вероятно, догадывается, что подобное семейное счастье возникло вследствие отказа Рымова участвовать в спектакле.

— Виноват...— проговорил Аполлос Михайлыч, появившись назад.

Комик вскочил и толкнул жену ногою. Та вскрикнула и убежала.

— Сделайте милость, не беспокойтесь. Я приехал на два слова: побраню вас и уеду,— проговорил гость, между тем как сконфуженный хозяин решительно не находился, как бы поправить свой туалет.

— Позвольте,— произнес он, хватаясь за пальто и натягивая на себя.

— Опять повторяю, не беспокойтесь,— проговорил гость,— артистам друг с другом нечего церемониться. Во-первых, супруга ваша не больна; во-вторых, комедия идет бесподобно; стало быть, все препятствия разбиты мною в прах, и, следовательно, вы не скроете и не закопаете вашего таланта, а блеснете им во всей красе.

— Нет-с, я не могу играть, Аполлос Михайлыч,— возразил комик.

— Вы можете, и вы будете играть.

— Помилуйте, сделайте милость, не беспокойтесь: мой муж не так здоров... зачем же ему себя изнурать,— произнесла, выходя, Анна Сидоровна в сильном волнении.

— Муж ваш, сударыня, здоров, вы тоже; все обстоит благополучно, поэтому они будут играть, а вы будете любоваться. Мне очень совестно, что вы не пожаловали на нашу первую репетицию. Я, в моих хлопотах, совершенно забыл послать за вами экипаж; но вперед этого уж не будет.

— Благодарю вас; я не охотница,— произнесла она

отрывисто.— Вы, кажется, Виктор Павлыч, сами говорили, что больны, и, кажется, не молоденький ломаться. Что же это такое? Кто вас ни позовет, вы сейчас соглашаетесь,— прибавила она, обращаясь к мужу.

Комик стоял нахмурившись; Дилетаев вышел из терпенья и пожал плечами.

— Я имею, сударыня, дело не с вами, а с вашим мужем,— заметил он.— Не угодно ли вам, Виктор Павлыч, по крайней мере объяснить мне, почему вы не желаете участвовать в нашем спектакле. Общество у меня собрано приличное и вас никоим образом не может компрометировать. Если вы недовольны пьесой, то и это опять несправедливо. Вы сами ее очень хвалили. Я, с своей стороны, готов бы даже был уступить вам свою роль из моей комедии, которая действительно идет очень хорошо. Но сами согласитесь: я автор и писал ее нарочно для себя. Кроме того, Виктор Павлыч, я позволяю себе вам заметить, что у меня играют люди благородные, которые и не сродны к этому делу и заняты другими обязанностями; но они, желая доставить мне удовольствие, играют. Я должен прямо вам сказать, что в последствии времени мог бы быть полезен для вас.

— Нам, бедным людям, не след мешаться между благородными,— возразила Анна Сидоровна.

Но Аполлос Михайлыч не обратил никакого внимания на ее слова.

— Сделайте милость, господин Рымов, решите мое сомнение,— отнесся он к комику.

— Я отказываюсь потому, что эта пьеса не может идти,— отвечал тот.

— Отчего же не может?

— Оттого, что никто не играет.

— Вовсе нет-с, напротив: все играют, а ролей только еще не знают. Разве Фани не играет? Разве Никон Семеныч не отчетливо хорош в Кочкареве?

— Они знают роли.

— И с этим я не согласен. Они выполняют роли, а прочие тоже выучат,— это уж мое дело!

— Прочие даже и стоять на сцене не умеют.

— Вы очень строго судите, милый мой,— возразил Аполлос Михайлыч.— Не знаю, участвовали ли вы когда-нибудь в благородных спектаклях, но только я скажу, что это совсем другое дело, чем публичный театр.

На нас будут смотреть, как на любителей, которые, для собственного удовольствия, разучили несколько сцен — и только. Вы сказали, что Осип Касьяныч, Юлий Карлыч и Мишель не умеют стоять на сцене. Это совершенно справедливо, и поверьте: я, имея это в виду, сегодня ночью придумал превосходный оборот. Мы выкинем из пьесы все сцены, где участвуют экзекутор, моряк, офицер этот и, наконец, сваха и тетка.

— Как же вы это выкинете? — спросил комик с некоторым удивлением.

— Так просто, как обыкновенно выкидывают.

— Тогда выйдет чушь, которой нельзя будет и понять, — возразил комик.

— Из фарса, господин Рымов, что ни делай, никогда чушь не выйдет, потому что он сам по себе чушь. Но эта пьеска переработается даже прекрасно, так что перещеголяет, я думаю, подлинник, потому что будет иметь единство.

— Нет-с, этого нельзя.

— Нет-с, можно! Извольте слушать; первое явление: вы со слугой. Слугу буду играть я сам. Угодно вам? Хотя это и не моя роль и не моего вкуса, но для театра я готов пожертвовать всем. Свахи нет. Является Кочкарев и с ним вся сцена. Потом зачеркивается все и начинается с того места, где невеста рассуждает о женихах. Приходит Кочкарев, советует ей братъ Подколесина и приводит его, а тут опять может идти все сплошь. Таким образом пьеса прекрасно начнется и отлично кончится.

Комик все еще недоумевал, но было заметно, что остроумная выходка Аполлоса Михайлыча сильно его колебала.

— Полноте, мой любезнейший Виктор Павлыч, нечего думать и рассуждать. Поедемте сейчас же ко мне и примемся за переделку комедии. Не хуже же, черт возьми, Рагузова мы справимся с этим делом: он прибавляет, а мы будем убавлять! Я мастер на эти дела. Если бы охота пришла, так бы этаких фарсов по десятку в ночь писал. Ну-с --- по рукам!.. — прибавил Дилетаев.

— Я таким образом согласен-с, — проговорил комик.

Анна Сидоровна побледнела и задрожала. Она взглянула на мужа, но тот отвернулся.

— Итак!.. — произнес с восторгом Аполлос Михайлыч.

— Сейчас буду готов, — отвечал Рымов и ушел в соседнюю комнату.

Анна Сидоровна кинулась было за ним, но дверь была заперта.

— Как я рад, что уговорил вашего супруга! — отнеся к ней гость, но она ничего ему не ответила и тотчас же вышла из комнаты, прошла в кухню, села на лавку и горько заплакала.

Рымов уехал с Дилетаевым.

«Женитьба» в один день была переделана как нельзя удобнее для сцены. В дальнейшем затем время Аполлос Михайлыч работал неутомимо. Он пригласил городских жителей всех классов и разослал несколько приглашенных билетов к помещикам в усадьбы. Репетиции шли довольно уж твердо. Костюмы для разбойников были приготовлены. Матрена Матвевна менее и менее ошибалась в репликах. Рымов смешил всех до истерики; одним словом, все это было хорошо, и Дилетаева беспокоила одна только механическая часть. Представление должно было произойти на фабрике у купца Яблочкина, производящего полотно, который, по просьбе Дилетаева и по старинному с ним знакомству, дал для театра огромную залу в своем заведении; но все-таки он был купец и поэтому имел большие предрассудки, так, например: залу дал, — даже фабричное производство на всю масленицу остановил, но требовал, чтобы ни одного гвоздя ни в пол, ни в стены не было вколочено. Прошу при таких условиях поместить всю театральную обстановку! Одна только гениальная изобретательность и необыкновенное знание дела Аполлоса Михайлыча могли все это обделать. В зале, предназначенной для публики, было поставлено несколько рядов кресел и сверх того взади возвышался амфитеатром раек для купцов и мещан. Сцена была возвышенная; подзоры, очень затейливо нарисованные под пунцовые бархатные драпри, повесились. Декорации, то есть голубая комната, а на другой стороне желтая, и лес, были привезены из усадьбы Дилетаева и поставлены. Наконец, опустился и передний занавес, — он был вновь изготовлен. Антрепренер показал и здесь неподражаемую свою изобретательность: у него были очень старинные, но прелестные французские обои, которые представляли маленьких летящих амурчиков, и еще, тоже старинной, но прекрасной работы, эстамп, изобра-

жающий Талию. Эта-то Талия и сотни три амурчиков были вырезаны из своих мест и наклеены на голубой колленкор. Талия, конечно, поместилась в середине, и к ней со всех сторон слетались амурчики; вид был прелестный, особенно при вечернем освещении. Аполлос Михайлыч водил всех своих актеров полюбоваться своим изобретением. Уборные для мужчин и дам были тоже приготовлены: кавалерам в холодном чулане, для согревания которого Дилетаев предполагал в день представления поставить три самовара; а для дам — в соседней сторожке, которую по этому случаю оклеили обоями, а находящуюся в ней русскую печь заставили ширмами.

Более всего Аполлос Михайлыч хлопотал с оркестром. При первом испытании оказалось, что Никон Семеныч вовсе не занимался музыкой и неизвестно для чего содержал всю эту сволочь. Капельмейстер, державший первую скрипку, был ленивейшее в мире животное: вместо того, чтобы упражнять оркестр и совершенствоваться самому в музыке, он или спал, или удил рыбу, или, наконец, играл с барской собакой на дворе; про прочую братию и говорить нечего: мальчишка-валторнист был такой шалун, что его следовало бы непременно раз по семи в день сечь: в валторну свою он насыпал песку, наливал щей и даже засовывал в широкое отверстие ее маленьких котят. Вторая скрипка только еще другой месяц начала учиться. На флейте играл старичишка — глухой, вялый; он обыкновенно отставал от прочих по крайней мере на две или на три связки, которые и доигрывал после; другие и того были хуже: на виолончели бы играл порядочный музыкант, но был страшный пьяница, и у него чрезвычайно дрожали руки, в барабан колотил кто придется, вследствие чего Аполлос Михайлыч и принужден был барабан совсем выкинуть. Кадрили они играли еще сносно, конечно, флейта делала грубые ошибки, а валторнист отпускал какую-нибудь шалость; но по крайней мере сам капельмейстер и крепко запивающая виолончель делали свое дело, однако при всем том — не кадрили же играть на спектакле?

Дилетаев пришел в ужас, когда рассмотрел их репертуар: музыканты играли всего только две французские кадрили, мазурку Хлопицкого, симфонию из «Калифа Багдадского» и какую-то старую увертюру из «Русалки» да несколько русских песен. — Что прикажете при

такой бедности избрать на четыре антракта? А главное: под какую музыку будет танцевать Фани? Он дал было им для разучения фортепьянные ноты качучи, но капельмейстер решительно отказался, говоря, что он не умеет переложить, потому что не знает генерал-баса. Дилетаев сказал в глаза Никону Семенычу, что ему приличнее держать лошадиный завод, чем музыкантов: но тот этим не обиделся, потому что в это время был занят своим делом: он сочинял еще новый монолог в своей драматической фантазии.

Покорившись необходимости, Дилетаев с музыкой распорядился таким образом: перед представлением, для съезда, он назначил французскую кадрили, между первым и вторым актом — мазурку, которую они лучше всего исполняли; перед «Женитьбой» — «Лучинушку» и «Не белы-то ли снежки»; перед драматической фантазией — симфонию из «Калифа Багдадского» и, наконец, перед дивертисманом — увертюру из «Русалки». Фани свою качучу должна была танцевать под игру Дарьи Ивановны на фортепьяно.

Афишки написал сам Аполлос Михайлыч.

Они были таковы:

184... года.

Ж . . . . .

Спектакль любителей, составленный Аполлосом Михайлычем Дилетаевым.

1

ВИКОНТ И ГРИЗЕТКА,

ИЛИ

ИСПРАВЛЕННЫЙ ПОВЕСА.

ОРИГИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ.

СОЧИНЕНИЯ АПОЛЛОСА ДИЛЕТАЕВА.

Действующие лица:

Маркиза Мон-Блан . . . . . М. М. Рыжова.  
Виконт Де-Сусье . . . . . А. М. Дилетаев.  
Роза-гризетка . . . . . Ф. П. Дилетаева.

Действие происходит в Париже, в царствование Людовика XIV, на даче близ оного.

2

СЦЕНЫ ИЗ «ЖЕНИТЬБЫ»,

комедии, соч. Гоголя, переделанные и поставленные на сцену В. П. Рымовым.



Действующие лица:

Подколесин . . . . . В. П. Рымов.  
Кочкарев, его друг . . . . . Н. С. Рагузов.  
Невеста . . . . . Ф. П. Дилетаева.  
Степан, слуга Подколесина . . . . А. М. Дилетаев.

3

БРАТЯ-РАЗБОЙНИКИ.

Драматическая фантазия, переделанная из поэмы Пушкина, того же наименования, Н. С. Рагузовым, со вновь изобретенными костюмами и декорациями

Действующие лица:

Атаман-разбойник . . . . . Н. С. Рагузов.  
Елена, его любовница . . . . . Ф. П. Дилетаева.  
Разбойники: { . . . . . А. М. Дилетаев.  
                  { . . . . . М. П. Дилетаев.  
                  { . . . . . В. К. Вейсбор.  
                  { . . . . . } и другие.

Старинный подьячий . . . . . В. П. Рымов.

В заключение дан будет:

ДИВЕРТИСМАН,

в коем Ф. П. Дилетаева будет плясать качучу, в национальном костюме; а Д. И. Здруева будет петь романс: «Оседлаю коня!» Начало в семь часов. Представление произойдет на фабричном заведении г. Яблочкина. Билеты без платы, могут получаться от самого г. Дилетаева. Дети никаким образом не могут быть приво-  
димы. Вход на сцену публике запрещается.

Захлопотавшись по театру, Аполлос Михайлыч чрезвычайно много наделал ошибок в приглашении гостей и сбился в раздаче билетов: людям почтенным и уважаемым досталось в задних рядах, а на передние насажал дрянь; другим, тоже очень значительным семействам, вовсе не достало места, и, наконец, хуже всего, по общему говору, было то, что он взади устроил раек для черни, которая, по всем соображениям, должна была произвести неприятный для другого общества воздух.

Рымов очень много помогал Аполлосу Михайлычу и учил потихоньку Фани, которая, надобно сказать, оказала большие успехи. Он сделал из нее совсем купеческую невесту, так что на одной репетиции Аполлос Михайлыч удивился.

— Вот что значит,— говорил он,— классическое сце-

ническое воспитание, которое я дал Фани: она сыграет всякую роль!

Таким образом одушевился комик от двух причин: во-первых, «Женитьба» пошла очень твердо, а во-вторых, Анна Сидоровна отбыла из города. Каким образом это случилось, мы увидим дальше.

## VI

### РЫМОВЫ И ИХ ПРОШЕДШЕЕ

Анна Сидоровна, которую мы оставили в слезах, несмотря на страстную любовь к мужу, пришла против него в сильное ожесточение: она первоначально заперла ворота, вероятно, с целью не пускать его домой, потом открыла комод и выбросила весь гардероб супруга на двор. Вспомнив, что у нее есть подаренная Витею чашка, она тотчас же разбила ее вдребезги и наконец, утомленная и истерзанная, села. В воротах послышался стук. Анна Сидоровна все забыла. Ей представилось, что это стучится воротившийся муж, который, может быть, рассорился с злодеем Дилетаевым, отказался от проклятого театра и возвращается к ней. При всей своей полноте она скачками пробежала сени, двор и отворила калитку. Перед ней стоял лакей в ливрее. Анна Сидоровна попятилась.

— Чей ты, батюшка? — проговорила она.

— Дилетаевский. Здесь Виктор Павлыч живет? — спросил тот.

— Никакого нет здесь для вас Виктора Павлыча. Убирайтесь, откуда пришли.

— Им письмо барышня прислала, — говорил лакей.

— Какая барышня?

— Наша барышня.

— Дай сюда, — вскрикнула Анна Сидоровна и, вырвав проворно из рук лакея записку, захлопнула калитку; ничего не понимая, ничего не размышляя, она тут же, на улице, начала читать письмо; это была записка от Фани, которая писала:

«Приходите, Виктор Павлыч, сегодня вечером к нам; но только потихоньку, чтоб дяденька не видал; он не любит, чтобы меня другие учили: вы все роли прочитаете.

Вы мне очень понравились; как вы славно играете. Пройдите задним крыльцом и спросите меня».

Бедная женщина, прочитав эти роковые строки, сделалась совершенно сумасшедшей. Бросилась было к городничему с намерением пожаловаться на мужа, но там ее дежурный солдат не пустил, потому что градоначальник в то время спал, и сказал ей, чтоб она пришла вечером в полицию. Возвратившись в свою квартиру, она схватила мужнин фрак, изрезала его вдоль и поперек, кинула сапоги его в колодезь и, написав какую-то записку, положила ее на стол, собрала потом несколько своих платьев, перебила затем все горшки в кухне и пошла сначала по улице, а потом и за город. Пройдя около двух верст, она начала нанимать ехавшего с базара мужика отвезти ее в Кузьмищево, сторговалась с ним и поехала. В Кузьмищеве проживали две благородные старые девушки-помещицы, которые принимали в Анне Сидоровне большое участие и просили ее приезжать к ним погостить всякий раз, как закутит ее пьянчужка.

Рымов возвратился домой от Аполлоса Михайлыча часу в пятом. Увидев разбросанное на дворе свое платье, он, кажется, не удивился и вошел в квартиру. Здесь открылось еще более: на полу валялась разбитая чашка, самовар был опрокинут, и, наконец, на стуле лежал изрезанный фрак. Рымов побледнел.

— Этакая дура! — воскликнул он. — Этакой урод безобразный! — продолжал комик и, сжав кулаки, пошел искать Анны Сидоровны; но, конечно, не нашел.

— Ну, скажите, пожалуйста, — продолжал он, с горькою улыбкою рассматривая свой фрак, — не совсем ли это сумасшедшая женщина! Ну, голубушка, погоди! Ты у меня месяца два просидишь на одном хлебе. Я фрак себе сошью, а ты у меня поголодаешь...

Проговоря эти слова, комик вздохнул и начал подбирать разбросанные вещи. Тут ему попала на глаза записка Анны Сидоровны. Он ее прочитал и усмехнулся.

Анна Сидоровна писала так:

«Беспрременно, вы не увидите меня, я уехала к моим благодетельницам. Оставайтесь с вашими записочками. Дай бог вам нажать другую такую; но я скажу, ни одна

не будет переносить столько от вашего пьянства и безобразия, подлый этакой человек

*Анна Рымова».*

По самому почерку и подписи фамилии заметно было, что последние слова были написаны в сильном ожесточении.

Для разъяснения и отчасти оправдания странного предубеждения, которое имела Анна Сидоровна против театра, я намерен здесь сказать несколько слов о прошедшем Рымовых: происхождение Виктора Павлыча было очень темное, и я знаю только то, что на семнадцатом году у него не было ни отца, ни матери, ни родных, и он с третьего класса гимназии содержал себя сам, учив, за стол, квартиру и вицмундир, маленького, но богатого гимназистика из первого класса, у которого и оставался ментором до самого выпуска. Большим рвением к наукам Рымов не отличался, но замечателен был способностью передразнивать: он неподражаемо копировал учителей, трактирных половых, купцов, помещиков на станциях; но, кроме того, представлял даже, как собаки лают, жеребца на выводке, гром с молнией, и все это весьма искусно, чему, может быть, много способствовало его необыкновенно подвижное лицо. В местный театр он ходил всякий раз, как заводился в кармане трехгривенный, и все почти комедии знал наизусть. Звание домашнего учителя, по беспечности характера, ему очень нравилось, и потому, кончив курс гимназии, он продолжал заниматься частными уроками, перебивал по крайней мере в пятнадцати губерниях, попал, наконец, в Москву и поступил к одной старухе, для образования ее внука. У старухи, кроме того, была еще воспитанница, девица лет около двадцати пяти, румяная, полная и очень живая и веселая. С первого же раза она начала с молодым учителем заигрывать: то обольет его водой из окна, то пришьет к простыне, когда он спит после обеда, раскидает по полу все его книги, запрет его в комнате и унесет с собою ключ. Рымову было тогда двадцать два года; он начал шалунье отвечать тем же: напугает ночью в коридоре, кинет ей нечаянно из сада в окно мячом или забьется к ней под кровать, когда она идет спать. Наконец, игрушки их зашли очень далеко. Старуха узнала и обоих прогнала. Бедные любовники поселились вместе. Рымов первый опомнился в своей необдуманности. Бедность была

страшная; надежды впереди — никакой, но этого еще мало: приглядевшись к Аннушке, он сильно в ней разочаровался; она была заметно простовата, совершенно необразованна и, наконец, связывала его, что называется, по рукам и по ногам. Но не то было с Анной Сидоровной: страсть ее день ото дня разгоралась: прямо и вкось, слезами, просьбою и бранью она требовала, чтобы он женился на ней. Рымов долго не сдавался и, между прочим, начал попивать, ничего не делал, а только кутил и буянил. Все сносила Анна Сидоровна и настояла, наконец, на своем, то есть сделалась его женою. С этих пор судьба Рымова и даже сам он изменились к лучшему: он нашел, по рекомендации своего старого товарища, несколько уроков, перестал пить, тосковать, и все пошло как нельзя лучше. Маленькие семейные сцены выходили только из того, что Рымов, как сам он выражался, ненавидел лизанья, а Анна Сидоровна была очень нежна и страстна. В это блаженное время она с каждым днем полнела и развилась до того значительного размера, в котором мы ее встретили. Однажды затеялся в одном доме, где Виктор Павлыч давал уроки, театр; его пригласили; сначала Анна Сидоровна — ничего: была даже рада и очень смеялась, когда ее Витя играл какого-то старика; одно только ей не понравилось, что он, по ходу пьесы, поцеловался с одной дамой, игравшей его племянницу. Но горько бедная женщина после оплакала эту дьявольскую затею. С другого же почти дня Рымов закутил; начали ходить к нему какие-то приятели, пили, читали, один из них даже беспрестанно падал на пол и представлял, как будто бы умирает; не меньше других ломался и сам хозяин: мало того, что читал что-то наизусть, размахивал, как сумасшедший, руками; но мяукал даже по-кошачьи и визжал, как свинья, когда ту режут; на жену уже никакого не обращал внимания и только бранился, когда она начинала ему выговаривать; уроки все утратил; явилась опять бедность. Все это Анна Сидоровна имела еще силы перенести, бранилась, конечно, иногда, и бранилась очень, но ей готовилось новое несчастье: Рымов подрядился в театральную труппу. Анна Сидоровна сначала и понять не могла хорошенько, что это такое, но потом поняла, когда они переехали в один губернский город, и поняла очень хорошо. Дня по два она сидела без обеда, даже не зная, где муж обретається;

наконец, до нее дошли слухи, что он завел любовь с одной актрисой, и этого уж Анна Сидоровна не в состоянии была перенести и занемогла горячкой. Безрассудные деяния Рымова и его служба на провинциальном театре продолжались только одну зиму. В великий пост он опомнился и начал сидеть дома, хотя дома едва только был насущный хлеб. Оправившаяся Анюта взяла с него клятву, чтобы он никогда и не думал играть на театре.

Рымов поклялся. Один из родственников ее прискал ему место в питейной конторе. Не соображая того, что Виктору Павлычу уже сорок пятый год, Анна Сидоровна ревновала его к встречной и поперечной и даже, для этой цели, не держала ни одной женщины в доме и сама готовила кушанье.

## VII

### СПЕКТАКЛЬ

Вожделенный день представления наступил. Аполлос Михайлыч, Рымов и Юлий Карлыч отправились в театр, часа в два пополудни, для должных приготовлений. Декорациями и мебелью Дилетаев поручил распоряжаться Вейсбору, дав ему, конечно, подробную записку, что и когда нужно. Еще прежде того он настоял, чтобы Никон Семеныч сделал своим музыкантам новые синие куртки и хорошенько бы намылил голову капельмейстеру за леньность. Прочие актеры съехались часу в пятом, и приведены были лакеи, за костюмированные в разбойников. В чулане-уборной, нагреваемой тремя самоварами, сделалось чрезвычайно тесно, и потому Аполлос Михайлыч распорядился, чтобы Юлий Карлыч и Мишель в разбойничьи костюмы оделись заранее; первый, конечно, беспрекословно повиновался, а второй по обыкновению поспорил; но, впрочем, за костюмировался и даже сделал себе обожженную пробкою усы, которые к нему, по словам Дарьи Ивановны, очень шли. Наконец все более или менее было приведено в окончательный порядок. Аполлос Михайлыч причесался и напудрился. Матрена Матвевна тоже причесалась, напудрилась и оделась в богатый, составленный по особому рисунку, костюм маркизы. Фани давно уже была готова.

Роковые семь часов приближались. Актеры начали испытывать волнение, даже сам Аполлос Михайлыч был

как-то встревожен. Матрена Матвевна очень боялась. С Фани была лихорадка. Комик сидел задумавшись. Трагик ходил по сцене мрачный. Один только Мишель любезничал с Дарьей Ивановной. Засветили свечи и конкеты. Публика начала съезжаться, но, боже мой! Эта публика — неблагодарная публика, особенно в провинциях: затевает ли кто для публики бал даже из последних средств своих, и все у него, кажется, напильсь, наелись, натанцевались, — и вы думаете, что все довольны? Ничуть не бывало... непременно что-нибудь найдут: одни скажут — очень было жарко, а другие — холодно; одним показалась сыра рыба, другие недовольны, что вина мало, третьи скучали, что их хозяин заставлял танцевать, четвертые жаловались на монотонность, — и очень немного осталось нынче на свете таких простодушных людей, которые были бы довольны предлагаемым им от своего брата удовольствием; но театр уже по преимуществу подпадает, как говорят, критике. Я не знаю, что в этом случае руководствует людей: зависть ли, желание ли выказать себя или просто склонность к юмору, но только смертные очень склонны пересмеять самые прекрасные, самые бескорыстные затеи другого смертного, который и сам, в свою очередь, оплачивает тем же другим смертным, и все эти смертные поступают, надобно сказать, в этом деле чрезвычайно нелогически: сухо поклонится, например, на бале какому-нибудь Алексею Иванычу некий Дмитрий Николаич, которого он безмерно уважает, а он — Алексей Иваныч — нападает на хозяина и говорит, что у него был черт знает кто и черт знает как все были приняты.

В описываемом мною спектакле только первые два или три ряда кресел приехали в миротворном расположении духа, и то потому только, что они некоторым образом были почтены хозяином; но зато задние ряды, с первого шагу, начали делать насмешливые замечания. Одни говорили, что, вероятно, на сцене будут ткать; другие, что Матрена Матвевна станет целоваться с Аполлосом Михайлычем, и, наконец, третьи, будто бы Фани протанцует качучу для легости босиком.

Раек для купечества и мещанства был гораздо простодушнее: все почти его народонаселение с величайшим любопытством смотрело на колыхающийся занавес, испещренный амурчиками.

— Что это, Дмитрий Андреич, на ситце-то за зверьки? — спросила одна купчиха у мужа.

— Это модный-с рисунок. Особь-статьей, должно быть, такая материя вышла, — отвечал тот.

— Привел, сударь ты мой, меня бог нынешней зимой в Москве видеть настоящий театр. Махина, я вам объясню, необразимая: вся наша, може сказать, площадь уставится в него. Одного лампового масла выходит на триста рублей в день. А дров то есть отпускается на несколько тысяч, — говорил толстый купец сидевшему с ним рядом, тоже купцу.

В отрицательном состоянии духа были, впрочем, и в райке.

Это пьяный столоначальник.

— Ничего... ладно-с... видали-с... скверно... нехорошо, оставь... молчать... — говорил он тихонько про себя.

Были также миротворные лица и в задних рядах дворянского круга, а именно Прасковья Федуловна, ближайшая по деревне соседка Аполлоса Михайлыча. Она получила от него, по короткому знакомству, тоже билет на одну свою особу; но, не поняв хорошенько или надеясь на расположение хозяина, приехала с двумя дочерьми и тремя маленькими внучатами и всех их преспокойно рассадила около себя. Дочери, конечно, модничали, однако сидели смирно; но внучата тотчас же начали что-то болтать, указывать на все пальцами, и, наконец, один из них, самый младший, заревел. Все это, может быть, не было бы и замечено, но дело в том, что на занятые этою семьею кресла приехали лица, имеющие на них законные билеты. Произошел шум: Прасковье Федуловне никак не могли втолковать незаконность ее поступка. Обстоятельство это было доведено до Аполлоса Михайлыча, который совсем уже оделся в костюм виконта. Как ни неприятно было Дилетаеву выйти одетому на глаза публики, но делать было нечего. Прикрыв себя совершенно наглухо плащом, он вышел и урезонил, наконец, свою соседку, которая, впрочем, обиделась и, оставив одну из своих дочерей, сама уехала домой с прочими домочадцами.

Музыка заиграла французскую кадрили и проиграла ее хотя с известными недостатками, но недурно. Раек захопал, вероятно потому, что всякого рода музыкальные звуки, худы ли они или хороши, но на людей неизбалованных, то есть почти никогда не слышавших музыки,



производят некоторое раздражение в нервах, а этого и довольно...

«Уши хоть дерут, но хмельного в рот не берут!» — пропел басом, довольно громко, столоничальник и покачнулся. Занавес взвился. Первое впечатление было превосходно. Представьте себе голубую комнату, устланную коврами, украшенную драпировкою, прекрасною мебелью, с двумя серебряными канделябрами и с попугаем в клетке. На одном из кресел сидела маркиза в своем пышном костюме. Невдалеке от нее, полуразвалясь, помещался виконт, в бархате, в золоте и кружевах.

— Прелесть, бесподобно,— проговорили в первых рядах.

— Важно наряжены! — послышалось в амфитеатре.

Матрена Матвевна, впрочем, очень сконфузилась, хотя перед представлением, по совету Аполлоса Михайлыча, и выпила целую рюмку мадеры.

— Ах, да, все говорят о вас, виконт...— начала и смешалась.

Аполлос Михайлыч побледнел; но вдова поправилась и, потупив совершенно глаза, очень тихо докончила монолог.

Отчетливо и бойко проговорил свои слова виконт. Маркиза опять немного смешалась, но проговорила. Таким образом, все явление прошло не совсем живо, и надобно сказать, что виной всему была одна Матрена Матвевна. Аполлос Михайлыч употребил, с своей стороны, все и в некоторых местах был необыкновенно эффектен. Для перемены декорации занавес был на несколько времени опущен, и по поднятии его на сцене сидела уже Фани, в своей бедной комнатке. Она тоже немного сконфузилась, но явился виконт, и все пошло бесподобно. По окончании первого действия передние ряды захлопали. К ним подстал по-своему раек, то есть захлопал, закричал и застучал ногами; музыканты проиграли мазурку Хлопицкого, и проиграли бы ее довольно хорошо, если бы повеса-валторнист не раскашлялся, и, вместо того чтобы отвернуться, он кашлянул в волторну, отчего та, конечно, и издала какие-то странные звуки. В продолжение антракта Аполлос Михайлыч сделал несколько замечаний Матрене Матвевне, и та поклялась не конфузиться больше и не сбиваться. Второе действие сошло тоже хорошо. Правда, что хлопали мало: в райке слышалось

сморканье и кашлянье, и в неприязненных задних рядах некто сказал, что Аполлос Михайлыч похож на ощипанного павлина, а Матрена Матвевна на толстую индюшку и что вся комедия, как сонные порошки, усыпляет. Под конец пьесы, когда виконт упал на колени перед гризеткою и начал умолять ее о прощении, передние ряды кресел захлопали, и к ним опять подстал раек. Но удивительнее всех штуку выкинул столоначальник, которого хмель в жару еще более разобрал. Он вскочил на лавку и закричал: «Браво, господин виконт, браво! Поди сюда, я тебе манжеты-то оборву». Сидевший в креслах городничий тотчас же велел его вывести. Занавес опустился. В передних рядах произошло маленькое волнение, и один из посетителей отправился на сцену. Это был депутат, командированный просить у актеров позволения их вызвать. Аполлос Михайлыч изъявил полное согласие. По возвращении посланного тотчас же раздался крик: «Дилетаев!», а потом: «Всех!» — «Половину!» — прокричал кто-то басом. Аполлос Михайлыч вывел за руки Матрену Матвевну и Фанечку и раскланялся. Это приветствие публики значительно ободрило Дилетаева, который оставался не совсем доволен ходом своей комедии. Затем следовали, как мы знаем, сцены из «Женитьбы». Музыка заиграла «Не белы-то ли снежки». Явно, что эта песня была по душе музыкантам, потому что они ее играли гораздо громче прочих пьес. Райку, должно быть, тоже она понравилась, и он единодушно захолопал, но в задних рядах зашикали, и сидевший на самом последнем месте мужчина, обернувшись, сказал: «Музыке не хлопают-с».

Между тем Дилетаев успел уже переодеться из вконта в лакея. Он зачесал себе все волосы наперед, перемарал все лицо в сажу, заправил брюки в сапоги и ко всем обращался, говоря: «чово, тово, Ванюха», желая, конечно, подделаться к тону простолюдинов. Дарья Ивановна сидела с Мишелем за самой задней декорацией, в темном углу. Трагик для Кочкарева давно уже был готов. Он приделал себе усы и завил в мелкие кольца волосы, утверждая, что Кочкарев непременно должен быть кудрявый. Наконец все было готово, занавес поднялся. Подколесин, как, может быть, неизвестно читателю, лежит один на диване. Удивительное дело, что за смешной актер был Рымов. Едва только проговорил он начальные

слова: «Вот как подумаешь этак сам-то с собою, так и увидишь, что действительно надобно жениться... а то живешь, живешь, да такая, наконец, скверность становится...» — едва только произнес он эти слова, как все разразилось хохотом. Не то, чтобы эти самые слова его были очень смешны, но он сам-то весь, физиономия-то его была очень уморительна. Появился лакей. Аполлос Михайлыч, видимо, старался смешить. Вошел он каким-то совсем дураком, начал почесываться, покачиваться; конечно, тоже засмеялись, но и перестали, и все больше глядели на Рымова. Многие, в переднем ряду, решительно не в состоянии были видеть его лица, хотя в этом лице не было ни одной гримасы; даже он не переменял выражения, а так лежал, как обыкновенно лежат ленивые люди, и от безделья переговаривал с лакеем, не посоветует ли тот чего-нибудь ему насчет женитьбы. Вбежал Кочкарев; и он тоже, подобно лакею, старался играть: горячился, бегал, тормозил Подколесина, но не был смешон. Смех, конечно, не прерывался, но я должен прямо сказать, что производил его один только Рымов. Задние ряды кресел хлопали ему на каждом слове. Сидевший в числе их один офицер отнесся к своему соседу-помещику:

— Лучше бы этих старых дураков совсем не пускали на сцену, а заставить бы играть одного этого хват из питейной конторы. Кто он? Целовальник, что ли?

— Да, должно быть, опытный малый — настоящий актер, — отвечал тот. — Посмотрите, топ шер, какое у него лицо смешное, а ведь нельзя сказать, чтобы фарсил.

— Совершенно не фарсит, — произнес офицер.

После перемены декорации явилась невеста. Она была тоже очень хороша и премило выбирала женихов. Вбежал Кочкарев, и тут уж все заметили, что Никон Семеныч чересчур утрирует, и над ним уж никто не смеялся; но появился Подколесин, и опять все захохотали. В сцене с невестой он, если можно так выразиться, положил всех в лоск; даже музыканты хохотали, и даже Дарья Ивановна и Мишель, выставившись из своего потаенного уголка, смеялись. Аполлос Михайлыч, стоявший за декорацией, беспрестанно хлопал комику. Затаив в себе всякое чувство самолюбия, он говорил, что эти сцены у них идут лучше, чем на Московском театре, и тотчас же проектировал

в изобретательной голове своей — почтить талант Рымова; но каким образом — мы увидим впоследствии. Раздались крики: «Рымов!» Занавес, по приказанию Аполлоса Михайлыча, был поднят. Публика хлопала, но других никого не вызывала. Трагик был взбешен.

— Я вам говорил, что я не умею играть ваших дурацких фарсов. Очень весело дурачиться, — сказал он Аполлосу Михайлычу, проходя в уборную.

Фанечка с каким-то благоговением начала смотреть на Рымова, Дилетаев с чувством сжал ему обе руки.

— У сердца моего вы, батюшка, вот тут, у сердца! — говорил он, колотя рукою по груди. — Мы оценим ваш талант. Может быть, сегодня же чем-нибудь его почтим.

Комик по обыкновению конфузился и сел в самый дальний угол. Аполлос Михайлыч вышел к публике. Его, конечно, сейчас окружили и начали приветствовать и хвалить.

— Каков комик? Вот что я хочу спросить вас, господа! — сказал он.

— Отличнейший, — произнес белокурый господин. — Он, надо полагать, из настоящих актеров.

— Что актеры!.. Все актеры ему в подметки не годятся, — возразил Аполлос Михайлыч. — Я к вам, господа, с небольшим проектом. Вы — наши ценители и судьи, и вы должны почтить талант. Не угодно ли будет вам, как делается это в Москве, презентовать нашему Рымову какой-нибудь подарок. Я сам, с своей стороны, сделал бы это сейчас же; но я один — не публика.

— То есть как подарок? — спросил один помещик.

— А вот как-с! Есть у меня целковых в сорок накладного серебра ваза. Не угодно ли вам будет сделать подписку по безделице — по рублю или по полтиннику. Чего не достанет, я беру на себя, и потом сегодня за ужином, к которому я имею честь вас пригласить, поднесем ее нашему таланту — Рымову. Ему это будет очень лестно. Он человек весьма небогатый.

— Это очень возможно, — проговорили многие.

— Так не угодно ли вам взять вот эту бумажку и этот карандашик и написать каждому, кто сколько жертвует. В раек пускать нечего, а пусть подпишутся одни кресла. Если будет больше сорока рублей, это положим в вазу, да и я еще прибавлю, и завтрашний же день, даю вам чест-

ное слово, написать об этом в Москву. Пусть тамошние меценаты смакуют да думают, увидав, что и среди нас есть таланты, которые мы тоже уважаем.

Проговоря эти слова, Аполлос Михайлыч передал бумажку с карандашиком и скрылся. Он торопился одеваться в костюм разбойничьего есаула. Подписка тотчас же началась. С удовольствием, кажется, подписались многие. Иные смеялись, другие не понимали, в чем тут дело, и спрашивали, что это такое значит, и, наконец, третьи подписались так, не зная, что это такое и для чего; впрочем, к концу задних рядов подписка простиралась уже до ста целковых: один откупщик подмахнул пятнадцать рублей серебром.

Между тем музыка начала играть симфонию из «Калифа Багдадского». Печально завывал капельмейстер; вторила ему, хотя немного отставая, флейта, играла с душою виолончель; но и только, вторая скрипка, валторна и там еще два какие-то инструмента были ниже всякой посредственности, но, впрочем, проиграли. Никон Семеныч был весьма недоволен: во-первых, он полагал, что разбойников в задних рядах будет гораздо больше; во-вторых, они были одеты вовсе не по-разбойничьи, а в какие-то охотничьи казакины. Мишель, тоже очень небрежно замаскированный, никак не хотел, по назначению трагика, лежать, а говорил, что он будет стоять. Комик тоже долго отговаривался одеваться старинным подьячим, но Аполлос Михайлыч его уговорил. Более же всего взбесило трагика то, что у лесной декорации не было голубых подзоров, а висели те же белые. Какова же будет картина волжского берега; вместо неба — потолок, тогда как именно на эффектность картины он и рассчитывал. По случаю этих упущений Никон Семеныч много наговорил колкостей Аполлосу Михайлычу, который ему ничего не ответил, а только махнул рукой. Как бы то ни было, только картина составила в прежнем порядке, с тою только разницею, что вместо судьи в позе спящего разбойника положен был всеисполняющий Юлий Карлыч. Актеры, набранные из людей Дилетаева, были поставлены группю взади сцены. Для большего эффекта Рагузов потребовал, чтобы при поднятии занавеса слышалась симфония, и потому музыкантам снова повелено было играть. В половине симфонии занавес поднялся. Картина была, кажется, довольно хороша: в райке послышалось несколь-

ко аплодисментов. Музыка проиграла. Никон Семеныч начал; все шло очень твердо, таким образом и кончилось, по временам только смеялись, но над Рымовым ли, который сидел молча и не шевелясь, или даже над самим трагиком, я не могу решить. По закрытии занавеса несколько человек негромко захлопали — кто-то прокричал: «Всех», — но скоро все смолкло. Аполлос Михайлыч начал спешить; он велел музыкантам скорее играть увертюру из «Русалки»; торопил, чтобы вносили на сцену фортепьяно, и, наконец, упросив Дарью Ивановну сестра за инструмент, сам поднял занавес. Выскочила Фани в трико и воздушном костюме. Все захлопали.

— Важно барышня откалывает, — произнес купец в райке.

Фани протанцевала, поклонившись всем с улыбкою, как обыкновенно кланяются балетчицы, и убежала. С Дарьей Ивановной Аполлосу Михайлычу опять были хлопоты. Проиграв, она встала и ушла со сцены. Он едва умолил ее опять выйти и пропеть свой романс. Модная дама нехотя вышла, сделала гримасу и запела: раек буквально разинул рот, кресла слушали внимательно. Дарья Ивановна, с прежнею миною, встала и, не поклонясь публике, ушла. Таким образом кончился спектакль, так давно задуманный и с таким трудом составленный.

## VIII

### УЖИН АРТИСТОВ

Все кресла, приглашенные Аполлосом Михайлычем на ужин, отправились к нему, — актеры должны были выйти к прочему обществу из задних комнат. Таким образом, действующие лица и зрители соединились: публика приветствовала и хвалила то того, то другого из игравших. Матрене Матвевне одна пожилая дама сказала, что она вовсе не узнала ее в старинной прическе, и очень лестно отозвалась о ее прекрасном платье на фижмах. Офицер благодарил Дарью Ивановну за доставленное ему наслаждение своим небесным голосом, которым она с таким чувством пропела свою превосходную арию, и сравнил ее с Асандри. Трагика расхвалил за его декламацию чудака Котаев. Даже Юлию Карлычу кто-то сказал, что он

очень натурально представлял спящего разбойника. С комиком немногие говорили, потому что его никто почти лично не знал; откупщик, впрочем, потрепал его по плечу, проговоря: «Вы недурно комедии разыгрываете,— право: я никак этого не предполагал!» Перед Фани все рассыпались в комплиментах. Аполлос Михайлыч вызвал некоторых поважнее мужчин в кабинет и что-то долго с ними совещался. Наконец, они вышли; впереди их шел лакей с подносом, на котором поставлена была накладного серебра ваза. Вся эта процессия прошла в гостиную, в которой вместе с прочими сидел комик. Поднос с вазой поставлен был на стол.

— Согласно вашему желанию, господа,— начал хозяин торжественным голосом,— я вызываю нашего великого комика... Виктор Павлыч! Не угодно ли вам подойти сюда,— отнесся он к Рымову.

Тот встал.

— Наша публика,— продолжал Аполлос Михайлыч,— питая уважение к вашему таланту, который всем нам доставил столько удовольствия, желает презентовать вам этот маленький подарочек. Ваши товарищи тоже желали иметь участие в этом деле. Примите, мой милейший! Тут есть мое, Фани, Никона Семеныча, Юлия Карлыча и, наконец, от всей почтенной публики.

Проговоря эти слова, Аполлос Михайлыч опрокинул вазу, из которой посыпалось около сотни целковых; потом, опять поставив ее на поднос, поднял все это и своими руками подал Рымову.

— Примите, мой бесценный, в память нашего приятного удовольствия, которое в сердцах любителей останется навсегда запечатленным,— произнес Дилетаев и поцеловал комика, который стоял как ошеломленный. Сначала он покраснел, потом побледнел; руки, ноги и даже губы его дрожали, по щекам текли слезы.

— Господа! Помилуйте... я не стою-с... может быть, вы желаете мне, как бедному человеку... я и так благодарен... к чему это...— бормотал он себе под нос.

— Сделайте милость, примите,— проговорили многие из мужчин.

— Пожалуйста... мы все желаем,— сказали некоторые дамы.

— Вы всех нас богаче,— заговорил опять хозяин,—

у вас на миллион таланту. Все наше — это лепта, которую мы хотим принести на алтарь искусства.

Рымов, наконец, взял, но решительно не находился, что ему делать с подарком.

— Позвольте, я вам помогу,— подхватил хозяин и, проворно уложив в вазу все деньги, велел Юлию Карлычу отнести ее в залу и поставить на накрытый для ужина стол.

— Пусть она,— произнес он,— за нашим артистическим ужином будет напоминать Виктору Павлычу наше уважение к его таланту.

Руководствуясь правдивостию автора, я должен здесь сказать, что, при всем видимом единодушии, с которым была поднесена комику эта ваза, при всем том, что каждый из гостей пожертвовал по крайней мере рубль серебром, а некоторые даже до десяти и более целковых, но при всем этом произнесено было много насмешливых и колких по этому случаю замечаний. «Он бы лучше его самого послал с тарелочкой собирать»,— говорил один. «Даст же он завтра себя знать в трактире на эти денежки»,— заметил другой. «Желательно знать, что будет он делать с этой вазой? — спрашивал третий.— Должно быть, ерофенч настаивать или пунш варить»,— отвечал он сам себе. «Что это за глупые выдумки — дарить вазу какому-то чудаку. Аполлос Михайлыч совсем из ума выжил; я, как подписывался, так и не понял ничего»,— говорил один помещик, разводя в недоумении руками. Но нет, мне грустно передавать то, что было еще произнесено, и скажу только, что более всех восстал Никон Семеныч. Он увел даже хозяина в кабинет и имел там с ним очень крупный разговор. Многие гости слышали, как Рагузов восклицал: «Как вы позволили назвать меня? Я ваш не мальчик и не лакей — вы прежде должны были об этом мне сказать». Слышавшие все это гости догадались, что Никон Семеныч не желал, по своему самолюбию, подносить вазы Рымову и что Аполлос Михайлыч наименовал его от себя, без спросу. Трагик и хозяин вышли из кабинета очень красны: первый был в совершенном волнении и во всеуслышание сказал, что вазы он не подносил и никогда бы не поднес, потому что Аполлос Михайлыч скоро заставит кучерам своим дарить вазы. Эти слова трагик говорил так громко, что комик, хотя и сидел в гостиной, но, вероятно, их слышал, потому что, разговаривая в это время с Фани,



которая уселась уже около него, он вдруг, при восклицании Рагузова, побледнел и остановился. Никон Семеныч, расстроенный и взбешенный, сел к столу и начал играть ножом.

— Вероятно, ему самому хотелось вазы,— заметил один господин.

— Должно быть! — отвечал разговаривающий с ним.— Горяч — косою заяц,— прибавил он.

Перед ужином, как водится, была подана водка. Лакей поднес ее, между прочим, и к Рымову. Комик смотрел несколько времени на судок с нерешительностью; наконец, проворно налил себе самую большую рюмку и залпом выпил ее. Сели за стол. Рымов очутился против Никона Семеныча. Ужин до половины шел как следует и был довольно молчалив. Хозяин первый заговорил во всеуслышание:

— Я думаю написать и напечатать о нашем спектакле подробный критический разбор. Это необходимо: мне по преимуществу хочется это сделать для вас, Виктор Павлыч! Я полагаю, что после моей статьи вас непременно вызовут на столичную сцену, потому что я прямо напишу, что у нас есть европейский талант, которому необходимо дать ход.

Но Виктор Павлыч на эти лестные слова хозяина не обратил должного внимания, а занят был в это время довольно странным делом: он беспрестанно пил мадеру и выпил уже целую бутылку. Хозяин заметил, переглянулся с Юлием Карлычем, который очень сконфузился.

— Вдруг мы слышим,— продолжал Аполлос Михайлыч, снова обращаясь к комику,— что наш господин Рымов дебютировал и что аплодисментам не было конца. Недурно бы было, а?

— На шутовские роли и без того там много,— проговорил вполголоса трагик.

— На какие шутовские роли? — заговорил вдруг Рымов, обращаясь к нему.

Лицо комика уже совершенно изменилось: он был красен, и глаза его налились кровью.

— На ваши роли,— отвечал Никон Семеныч, не поднимая головы.

Комик посмотрел на него свирепо.

— Вы, что ли, играете нешутовские? — произнес он, доставая себе новую бутылку мадеры.

— Пейте лучше мадеру,— сказал насмешливо трагик.

— Конечно, выпью-с,— ответил комик и, налив себе стакан, вдруг встал.— За здоровье нашего бездарного трагика,— произнес он и залпом выпил.

Аполлос Михайлыч побледнел, некоторые фыркнули. Трагик вскочил.

— Милостивый государь! — проговорил он, сжимая столовый нож в руке.

Комик откинулся на задок стула.

— Испугать меня хотите своим тупым ножом. Махай, махай, великий Тальма, мечом кардонным! — продекламировал Рымов и захохотал.

— Виктор Павлыч, сделайте милость, что вы такое позволяете себе говорить,— заговорил наконец хозяин.— Никон Семеныч, будьте хоть вы благоразумны,— отнесся он к трагику.

Никон Семеныч пришел несколько в себя и сел. Но Виктор Павлыч не унимался. Он еще выпил стакан и продолжал как бы сам с собою рассуждать:

— Актеры!.. Театр... Комедии пишут, драмы сочиняют, а ни уха ни рыла никто не разумеют. Тут вон есть одна — богом меченная, вон она! — произнес он, указывая пальцем на Фани.

Хозяин только пожимал плечами. Он решительно растерялся. Трагик старался улыбнуться. Некоторые из гостей, подобно хозяину, пожимали плечами, а другие потихоньку смеялись. Мишель, в досаду дяде, хохотал во все горло. Юлий Карлыч чуть не плакал.

— Господин Рымов, замолчите! — вмешался, наконец, откупщик.— Вы забываете, в каком обществе сидите; здесь не трактир.

— А вам что угодно? — произнес Рымов совершенно уже пьяным голосом.— И вам, может быть, угодно сочинять комедии, драмы... пасторали... Ничего, мой повелитель, я вас ободряю, ничего! Классицизм, черт возьми, единство содержания, любовница в драме!.. Валяйте! Грамоте только надобно знать потверже. Грамоте-то, канальство, только подписывать фамилию умеем; трух, трух, и подписал! — проговорил он и провел зигзагами рукою по тарелке, вероятно, представляя, как откупщик подписывается.

Тот, конечно, вышел из себя.

— Извольте идти сейчас же вон! — сказал он.—

Аполлос Михайлыч, извините меня: он мой подчиненный, я его сейчас велю вывести.

— Господа, помилуйте, сделайте милость,— начал Аполлос Михайлыч плачевным голосом.— Господин Рымов, образумьтесь, почувствуйте хоть по крайней мере благодарность к обществу, которое вас так почтило. Это ни на что не похоже. Юлий Карлыч, уговорите его: вы его нам рекомендовали.

Но Юлий Карлыч, обращаясь то к тому, то к другому, ничего уже не в состоянии был и говорить.

— Что? Благодарность? За вазу, что ли? — заболтал опять комик.— Ох вы, богачи! Что вы мне милостинку, что ли, подали? Хвалят туда же. Меня Михайло Семеныч хвалил, меня сам гений хвалил, понимаете ли вы это? Али только умеете дурацкие комедии да драмы сочинять?

На этом месте Дилетаев не выдержал. Он встал из-за стола, подошел к откупщику и, переговорив с ним несколько слов, ушел в кабинет. Через несколько минут двое лакеев подошли к Рымову и начали его брать под руки.

— Вам что надобно, скоты! — проговорил он, совершенно уж пьяный; но лакеи проворно подняли его со стула.— Прочь! — кричал он, толкаясь.— Актеры! Писатели! Всех я вас, свинопасов, презираю... Прочь!..— Но лакеи тащили, и далее затем слов его уже не было более слышно, потому что он был выведен на улицу. Такое неприятное и непредвидимое обстоятельство до того расстроило хозяина, что он более получаса не в состоянии был выйти из своего кабинета. На гостей оно подействовало различно: одни смеялись, другие жалели Аполлоса Михайлыча и, наконец, третьи обвиняли его самого и даже оскорблялись, как он позволил себе пригласить подобного человека в их общество. Последние выговаривали даже Юлию Карлычу, который первый рекомендовал комика. Трагик смеялся над хозяином злобным смехом. Ужин кончился кое-как. Аполлос Михайлыч, наконец, вышел к гостям и начал просить извинения в случившейся неприятности, которой, конечно, он никак не мог ожидать, и вместе с тем предложил на обсуждение общества вопрос: что делать с вазой? По последнему своему поступку Рымов, как человек, не только не стоил подобного внимания, но даже должен быть презрен, а с другой стороны,

как актер, он заслужил ее, и она ему была уже подарена. Некоторые говорили, чтобы пренебречь и отдать ему вазу, которая была уж его собственность, другие же отрицали, говоря, что этим унижится общество. Аполлос Михайлыч обратился к откупщику. Тот объявил, что ему все равно, но что он сам накажет Рымова тем, что выгонит его из службы.

— Итак, господа, как человек, он будет наказан, а как актеру, пошлем ему вазу,— решил хозяин и тотчас же велел нести вазу с деньгами к Рымову.

Трагик во всем этом не принимал никакого участия, потому что все это было, как он выражался, гадко и глупо. Одна только Фани жалела Рымова: она даже потихоньку вышла спросить к лакеям, как они его довели. Те объявили, что они довели его хорошо и сдали жене, которая его заперла в чулан. Анна Сидоровна действительно была уже в городе и, мучимая ревностью, весь вечер стояла у театра и потом у дома Аполлоса Михайлыча. Увидев, что из ворот вывели человека, который барахтался и ругался, она тотчас догадалась, кто это, и побежала вслед за ним. Дома она действительно его заперла в чулан. Это был единственный способ вытрезвлять Рымова.

## IX

Не знаю, заинтересовал ли я читателя выведенными мною лицами настолько, чтобы он пожелал знать дальнейшую судьбу их, но все-таки решаюсь объяснить, что чрез несколько месяцев после описанного спектакля Аполлос Михайлыч женился на Матрене Матвевне и после этого, как рассказывают, совершенно утратил любовь к театру, потому что супруга его неожиданно обнаружила, подобно Анне Сидоровне, отвращение от этого благородного занятия, и даже будто бы в настоящем театре она участвовала из одного только кокетства, с целью завлечь старика, который, в свою очередь, женившись, сделался как-то задумчивей и угрюмей; переехал совсем в деревню, начал заниматься агрономиею и писать в этом роде статьи. Матрена Матвевна видимым образом осталась тою же, то есть бойкою, веселою дамою и большою говоруньею. По замечанию всех, она была очень нежна к мужу и даже ревнива, потому что прогнала всех

молоденьких горничных, а набрала вместо них старых, безобразных и совершенно непривычных. На Фанечке женился Никон Семеныч, и это дело устроила Матрена Матвевна, которая очень ловко умела влюбить Рагузова в племянницу и заставила ту согласиться. Фанечка, вышед замуж, тоже разлюбила театральное искусство: она даже всякий раз бледнела и краснела, когда муж ее начинал читать что-нибудь драматическое. Дарья Ивановна, после спектакля, очень уж подружилась с Мишелем, так что за нею приезжал муж и увез ее с собою в деревню. У Юлия Карлыча, несмотря на слабое здоровье жены, родился еще сын, и он еще более начал нуждаться в средствах. А комик мой... Бог его знает, что и сказать о нем... выгнанный за последний свой поступок откупщиком из службы, он, говорят, был опять некоторое время на провинциальном театре, потом служил у станового пристава писарем и, наконец, теперь уже несколько лет содержится в сумасшедшем доме.

# ОЧЕРКИ ИЗ КРЕСТЬЯНСКОГО БЫТА

## ПИТЕРЩИК

*Рассказ*

### I

Чухломский уезд резко отличается, например, от Нерехтского, Кинешемского, Юрьевецкого и других<sup>1</sup>,— это вы заметите, въехавши в первую его деревню. Положительно можно сказать, что в каждой из них вам кинется в глаза большой дом, изукрашенный разными разностями: узорными размалеванными карнизамы, узорными подоконниками, какими-то маленькими балкончиками, бог весть для чего устроенными, потому что на них ниоткуда нет выхода, разрисованными ставнями и воротами, на которых иногда попадаются довольно странные предметы, именно: летящая слава с трубой; счастье, вертящееся на колесе, с завязанными глазами; амур какого-то особенного темного цвета, и проч. Если таких домов два или три, то прихоти в украшениях еще более усиливаются, как будто домохозяева стараются перещеголять в этом случае один другого; и когда вы, проезжая летом деревню, спросите попавшуюся вам навстречу бабу: «Чей это, голубушка, дом?»,— она вам сначала учтиво поклонится и наверно скажет: «Богачей, сударь».— «А этот другой чей?»— «А это других богачей». Произношение женщины, без сомнения, обратит на себя ваше внимание: представьте себе московское наречие несколько на *a* и усилие его до невероятной степени, так что, говоря на

---

<sup>1</sup> Костромской губернии. (Прим. автора.)

нем, надобно, как и для английского языка, делать гримасу. Я сказал, что вы встретите женщину, на том основании, что летом вы уж, конечно, не увидите ни одного мужика, а если и протащится по перегородке какой-нибудь, в нитяной поневе, нечесаный и в разбитых лаптях, то вы, вероятно, догадаетесь, что это работник,— и это действительно работник и непременно *леменец*<sup>1</sup>.

Зима — другое дело; зимой мужиков много появляется. У Богоявления, что на горе, с которой видно на тридцать верст кругом, в крещение храмовой праздник: с раннего еще утра стоят кругом всей ограды лошади в пошевнях. Такой нарядной сбруи я в других местах нигде и не видывал. На узде, например, навязано по крайней мере с десяток бубенцов, на шлее медный набор сплошь — весом в полпуда, а дуга, по золотому фону расписана розанами. Войдите в церковь: народ стоит удивительно чистый, лица умные, благообразные, на всех почти синие кафтаны; а вон наперед стоят одна лисья и две енотовые шубы — это-то и есть самые богачи: они из Терентьева, да их и много; вон в синем кафтане, рублей по восемнадцати сукно,— это из Овсянова; заезжайте к нему в гости: уверяю, что без цимлянского не уедете! В серой поддевке, рыжая борода, тоже богач из Маслова, одним словом, очень много, всех не перечтешь!

Дело в том, что весь тамошний народ ходит на чужую сторону, то есть в Москву или в Петербург; а есть и такие, которые забираются и в Гельсингфорс и даже в Одессу и промышляют там: по столярному, стекольному, слесарному мастерству. Очень трудной работы — каменной, плотничной, кузнечной — чухломец не любит.

Жизнь почти каждого из них проходит одним обычным порядком: приходит к барину крестьянка — полустаруха.

— Что скажешь, Михайловна? — спрашивает тот.

— К вам, сударь,— парнишку с анофревским Веднеем Иванычем сговорила.

— А по какой это части?

— По стекольной, батюшка, части.

— Что это у вас всё стекольщики?.. Хоть бы кто-нибудь из вас в колесники в Макарово отдал? А то по деревне колеса некому сделать.

— Где уж, батюшка, мне это затевать, дело вдове, непривычное, а тут всё на знакомстве-с.

<sup>1</sup> Вологодской губернии волость. (Прим. автора.)

— На сколько же лет?

— На пять-с лет, а по выходе от хозяина сто рублей да синий кафтан-с с обувкой.

— Ну что же? Хорошо, с богом!

И отправляют парнишку с Веденеем Иванычем, и бе-  
гает он по Петербургу или по Москве, с ног до головы  
перепачканный: щелчками да тасканьем не обходят — не-  
чего сказать — уму-разуму учат. Но вот прошло пять  
лет: парень из ученья вышел, подрост совсем, получил от  
хозяина синий кафтан с обувкой и сто рублей денег и  
сходит в деревню. Матка первое время, как посмотрит  
на него, так и заревет от радости на всю избу, а потом  
идут к барину.

— Кто там? — кричит тот из кабинета.

— Афимья с своим питерцем пришла, — отвечают ему  
из девичьей, с любопытством оглядывая новичка.

— А, хорошо! Войдите.

Входит питерец; волосы приглажены, кафтан подпоя-  
сан с форсом, сапоги светятся и скрипят, кланяется ба-  
рину и кладет ему на стол рыбу, или яблоков, или про-  
сто полтинник.

— Полно, братец, не надобно, — замечает барин.

— Пожалуйте<sup>1</sup>, — отвечает питерец, встряхнув го-  
ловой.

— Молодец вырос, а мастерству выучился ли?

— Про себя, сударь, говорить нельзя, а все могим  
сделать, что от хозяина было показано.

— Это хорошо: жениться теперь пора, да и в тягло.

Парень, слегка покраснев, улыбается.

— Не оставьте уж, батюшка, — отвечает за него мать  
и при этом случае опять прослезится.

— А у кого же думаете взять? — спрашивает поме-  
щик.

— У кого ваше приказанье будет, а мы, по нашему  
сирочеству, никого не обегаем, — отвечает мать.

— Какое же мое приказанье: вы знаете, я в этом слу-  
чае не приказываю... сходитесь по себе, полюбовно.

— На том благодарим, батюшка, покорно, — отвечает  
все мать, — коли милость ваша будет, так у Ефья Петро-  
вича девушку желаем взять.

---

<sup>1</sup> Это значит — примите. (Прим. автора.)



— У Ефья, так у Ефья, ваше дело,— только чтобы с той стороны не было сопротивленья.

— Сопротивленья не полагаем, разговор уж об этом был.

— А тебе она нравится ли? — относится барин к парню.

— Нравится, сударь,— девушку похулить нечем, как быть следует.

И женят таким образом парня в мясоед, между рождеством и масленицей. Но как пришел великий пост, так и начали молодого в Питер собирать: прибрали попутчиков, привязал он к спине котомку и пошел, а там, месяца через два, и поотпишет что-нибудь, вроде того:

«Милостивеющая государыня матушка Афимья Михайловна и дражайшая сожительница Катерина Ефьевна, просим вашего родительского благословения и навеки нерушимо; о себе уведомляю, что проживаю по тепериче у Веденя Иваныча за триста рублей в лето, и при сем прилагаю десять целковых на подушную, чего и вам желаю.

Крестьянин ваш сын такой-то».

На Петров день и барину оброк выслал, а к Новому году и остальную половину, и сам сошел в деревню. Так он ходит каждый год, а там, как бог посчастливит, так и хозяйство заведет: смотришь — и дом с белендрясами вытянул... Все это хорошо, когда хорошо идет, а бывает и другое.

Летом, в 184..., приехал я в чухломскую деревню Наволоки и, зная хорошо местность, вовсе не удивился, когда на крик моего ямщика: «Эй, десятской, подь сюда!»— вышла молоденькая и прехорошенькая собой баба.

— Ты, голубушка, десятской? — спросил я ее.

Она улыбнулась.

— Я, сударь.

— А как тебя зовут?

— Марьей.

— А строга ли ты?

— Да с чего мне строгой-то быть? Что за строгость такая, я и не знаю.

— Можно ли мне остановиться в этом большом доме?

— Для чего не остановиться... Погодите, я поспрошаю,— отвечала десятский Марья и начала стучать в окошко большого дома.

— Клементий Матвейч, а Клементий Матвейч! Вона барин приехал, на фатеру к тебе позывается!

В окно выставилось мужское лицо.

— Позволь мне, мужичок, остановиться в твоём доме, я приехал по службе,— сказал я.

— Сделайте милость, батюшка,— отвечал тот проворно.— Не больно приглядно у нас...

— Дарья Михайловна, уберите там в горнице, что не надо,— услышал я его голос в избе, а через несколько минут он и сам показался на улице.

Это был лет тридцати пяти видный собой мужик, волосы русые, борода клином; на лбу несколько морщин, взгляд умный, лицо истощенное.

— Пожалуйте сюда на лесенку,— отнесся он ко мне,— уж извините на этот случай, что в таком наряде вас принимаем, дело деревенское...— На нем была наскоро накинутая, значительно поношенная купеческая сибирка.— Ты, любезный, возьми кругом, там под навесом и поставишь,— прибавил он извозчику,— а то тут в ворота не пройдешь; наш экипаж — телега, не громоздка, в калитку продернуть можно.

В сенях, у окошка, сидела худая сгорбленная старуха и что-то ворчала, замахиваясь клюкой на пятилетнего мальчишку, который к ней то подскакивал, то отскакивал.

— Федька! Перестань баушку дразнить! Что ты? — крикнул на него Клементий.

— Она сама начинает.

— Я тебе дам: сама начинает!.. Вот уж пословица справедлива: старый, что малый, целый день у них эти-кие баталии идут... В горенку пожалуйста, сюда налево,— говорил хозяин, провожая меня.

Я вошел и, осмотревшись, тотчас же догадался, что я у питерщика. Комната вся была оклеена сборными обоями: несколько полосок французских атласных, несколько хороших русских и, наконец, несколько дешёвеньких; штукатурный потолок был весь расписан букетами, так что глазам было больно смотреть на него; в переднем углу стояла красного дерева киота с образами и стол, на котором были нарисованы тарелки, а на них — разрезанные фрукты, а около — серебряные ножи и вилки; лавок не было, их заменяли деревянные стулья, выкрашенные как будто бы под орех. В заднем углу

стояла кровать с ситцевыми занавесками, к которой Клементий бросился тотчас, как мы вошли, и начал выкидывать оттуда различную дрянь, говоря: «Эк у них тут навалено! Что это за баба необрядная, все ей не в заметку!..»

— Извините уж, батюшка,— прибавил он, обращаясь ко мне,— в чем застали, в том и судите, не чаяли вашей милости.

Я просил его не хлопотать, а велеть, если у него есть, согреть мне самсвар.

— Как, сударь, не быть этого заведения: не те нынче времена и не такие здесь места, чтобы не быть... Дарья Михайловна! — крикнул он в дверь,— поживее самовар, да приготовьте там чайник и чашки — все, как следует,— главная причина, перемойте почище.

— Славный у тебя дом,— сказал я.

— Живет, батюшка, по деревне.

— Сам строил или еще старик?

— Нет, уж сам выводил; лес как-то нынче не против старины: крепости и ядерности никакой не имеет.

— А эти цветы на потолке не сам ли рисовал?

— Никак нет-с: чужие по найму мазали.

— Да ты питерщик?

— Питерщик был-с.

— А по какому мастерству?

— Да тоже вот по этой, по малярной части.

— В домах, что ли, расписывал?

— Всяко-с: и по наружности занимались и внутри отделку брали.

— То есть как же?

— Да, то есть стены и потолки по трафарету расписывали, и асторическую живопись тоже немного маракуют.

— Все тоже по трафарету?

— Все по трафарету, нечего хвастать: от руки все как-то не доходим. Хватались было некоторые из наших, да не выходит, по тому случаю, что мужику против ахадемика не быть, ученья такого мы не имеем. Наше, сударь, доложу вам, мастерство такое, что и конца ему нет: крыши, да заборы, да стены красить — особ статья; а, например, полы под паркет выводить или там дверь и косяки под слоновую кость отделать, — это выходит вторая статья; экипажная часть тоже по себе, мебельное дело

другого требует, а комнатная живопись настоящая опять другое, а название у всех одно: маляр, да и баста, а кто дело разберет, так маляр маляру рознь — кто до чего дошел.

Понятно, что Клементий был мужик оборотливый и немного резонер, потому что, как видно, любил обо всем порассудить и потолковать.

— Какое ремесло самое выгодное? — спросил я, желая снова вызвать его на разговор.

— Как вам, сударь, сказать, это все в зависимости от самого человека. Конечно, по хозяйской части, как и в купеческом деле, много и глупого счастья бывает, а если насчет работников взять, так все едино-единственно зависит от того, кто как ремесло в толк взял, а другая главная пружина состоит и в том: каков ты и в поведении, особенно нонече, потому что народ год от года стал баловатее: иной парень бывает по мастерству и не так расторопен, да поведения смиренного, так он для хозяина нужней первейшего работника. Материалу, например, временем нужно закупить, за рабочими присмотреть, артель там где-нибудь за глаза разделать, — он его сейчас в это дело и употребит — и у нас эдакие люди рублей по семисот в лето получают.

— Не по всем же мастерствам дается жалованье равное?

— Жалованье идет разное, про это кто говорит, только в кармане выходит одно и то же. На что уж, кажись, по жалованью лучше кузнечного дела! Последний работник получает четыреста, а который поискуснее и холодную там подковку знает, так и четыреста на серебро хватит, а много ли богачей? Ни одного! От малого до большого, что в неделю заработал, то на праздник в харчевне и спустил; а тепериче, если взять и другую линию: портной, сапожник и гравировщик, — у нас считается на что есть хуже из всех: у них, с позволения сказать, зимой, в субботу, в баню надобно сходить, так старший подмастерье выпросит у дворника рукавицы, наденет их, вместо сапог, на ноги да так и отвалает, а и по этому делу выходят в люди... Недалеко взять: у нашего барина дворовой человек сначала тоже в Москве поучился портняжничать, тут вернулся в губернию и теперь первый стал во всем городе портной, — и значит, что все человеком выходит.

— Неужели же портные менее прочих получают жалованья?

— Жалованье жалованьем... им точно и жалованья меньше идет против прочих, но главная вещь: присмотру за ним никакого нет. Проживают они больше по немцам, а немцу что?.. Платит он ему поштучно, спрашивает в работе чистоты — и только: рассчитают, что следует, а там и распорядишься жалованьем своим, как знаешь: хочешь, оброк высылай, а нет, так и пропей, пожалуй; у них хозяину еще барыш, как работник загуляет: он ему в глухую пору каждый день в рубль серебра поставит, а нам, хозяевам, этого делать нельзя: у нас, если парень загулял, так его надобно остановить, чтобы было чем барина в obroке удовлетворить да и в дом тоже выслать, потому что здесь все дело соседское, все на знати; а немец ничего этого во внимание не берет...

Вошла хозяйка с самоваром — женщина еще молодая, но очень неприятной наружности, рыжеватая, в веснушках, с приплюснутым носом, узенькими глазами и вообще с выражением лица, ничего не выражающим. Сарафан на ней был хоть и ситцевый, но полинялый, рубашка грязная. Недаром Клементий говорит: «Эка баба необрядная...» — «Это, должно быть, не чухломка, — подумал я. — Чухломка к постороннему человеку, а тем более к барину, никогда бы в таком наряде не пришла...» Хозяйка между тем, поставив самовар, сходила за чашками. Клементий смотрел на нее, как мне показалось, с каким-то затаенным чувством досады...

— Хоть бы ты, Дарья Михайловна, для гостей-то умылась, — произнес он и покачал головой.

— Ну, батюшка, — проговорила баба, поклонилась и ушла.

Я пригласил Клементия напиться с собою чаю и сесть; то и другое он принял с большим удовольствием. Разговор между нами опять завязался, именно: о табаке, потому что я закурил в это время трубку.

— Вы трубку изволите курить? — спросил меня Клементий.

— Да, трубку, а что же?

— Так, сударь: нынче господа к сигарам больше пристрастия имеют, и как еще эти — проклятые — вот и названье-то забыл — тоненькие такие...

— Папиросы?

— Именно папиросы: на удивление ведь по первоначалу было: бумагу вздумали курить, бедность такая пришла, точно вот как иные мужики у нас по деревне: курить-то охотник, а табаку нет, денег тоже не бывало, так он моху этого лесного засушит, наладет в трубку и запалит, точно настоящий табак, и поодурманит себя немножко, будто как и курил.

— А сам ты куришь или нет?

— Нет-с, сударь, по здешним местам отстал, а в Питере всего было: пуда с три пережог этого добра... и здесь было, правду сказать, начинал, да старуха бранится, так и бросил... Не стакан ли для чаю-то прикажете подать?

— Нет; а что же?

— Да мы, вот тоже, по чужой стороне видали, что господа нынче больше в стаканах употребляют.

— Мне все равно... У вас здесь по чужой стороне промышляют?

— Все-с. По нашим местам, мужику проживать в деревне все равно, что черту ладан.

— Отчего же это?

— Выгод, сударь, нет никаких: мужику копейки здесь не на чем заработать: земля вся иляк, следовательно хлебопашество самое скудное; сплавов лесных, как примерно по Макарьеву, Ветлуге и другим прочим местам, не бывало, фабрик по близости тоже нет,— чем мужику промышлять?.. За неволю пойдет на чужую сторону.

— И давно это промеж вас завелось?

— Давно или нет, я уж не знаю-с, а только был, сударь, у меня дед, помер он на сто седьмом году, я еще тогда был почти малый ребенок; однакоже помню, как он рассказывал, что еще при Петре-государе первые ходки отседова пошли: вот когда еще это началось! А теперь уж нас, прямо сказать, от этого промысла не отучишь. С малого будем говорить: там мы все, не то что хозяева или приказчики, а даже артельные,— все содержание имеем отличное, по тому самому, что хоть бы взять в нашем ремесле: отпусти-ка в артельную кашу мало масла, так он тебе, красимши, на одну половицу масла за целый год выльет, и мы в этом, хозяева, никогда не стоим, кормим на убой, только чтобы в работе не зевали да проворили; а здесь не очень раскуражишься: швыряй, пожалуй, молоко, а мы, признаться сказать,

не очень к нему привычны. Мне так вот даром его не надобно!.. Когда даже бабы едят, так просто моторит<sup>1</sup>, а насчет того же чаю, мы — питерцы — к нему большое пристрастие имеем... Там какой-нибудь лядащий мальчишка, завелся у него гривенник, и бежит в трактир, и сидит барином, и туда же еще командует, а в деревне самоваров не наставишься, прокладки уж этой и нет.

— А главное, я думаю, вам не нравится полевая работа.

— Есть и это... отвыкаем очень... невелика, кажется, хитрость орать, а меня хоть зарежь, так косули по-настоящему не уставишь... косить тоже неловок: машу, машу, а дело не прибывает... руки выломаешь, голову тебе распечет на солнце, словно дурак какой-нибудь... и все бы это ничего, и к этому мы бы делу попривыкли, потому что здесь народ все расторопный, старательный, да тут есть, пожалуй, другая штука...

— Какая же это?

— А вот какая-с: здесь, я вам доложу, мы все бахвалы, именно, так сказать, бахвалы наголо — сойдет мужик из Питера или из Москвы и начнет гнуть штуки: я-да-я, мы-да-мы, и бабы да девки сидят да слушают разиня рот, а нам это и повадно, и куражимся... А как по деревне-то живешь, так нечего прибавить: всё на виду... Не дальше, как в этой комнате, было у меня эдакое дело, на никольщине: есть здесь мужичок, верстах в трех отсюда живет, старик простой, смиренный, а денежный; на чужую сторону он не ходит, а занимается около дома торговлей: салом, солью, мясом и прочим эдаким товаром перебивает; сидит он у меня в гостях, и другие тоже кое-кто был, народ всё хороший, — вдруг приходит нашей деревни мужичонка — Гришка, питерец коренной, но человек то есть никуда не годный. Невзираючи ни на кого и ни на что, *шась* прямо в передний угол, сел и почал хвастать: и денег, говорит, у него много, и анаралов там всех знает, и во дворце бывал, то есть, я вам скажу, такую понес околесную, хоть святых выноси вон. Деревенский этот мужичок слушал, слушал, да и говорит: «Гришка, не высоко ли берешь?..» Что же, сударь, как вы думаете?.. Этот шельма — Гришка — оборвал старика на чем свет стоит! «И толоконное, говорит, ты брю-

<sup>1</sup> Тошнит. (Прим. автора.)

хо! И лесная кочерга!..» Просто сказать, раскостил, а тот только смолчал, делать нечего, на чужой стороне не бывал, рассуждать об этом много не может... Вон ведь у нас какая здесь практика заведена, так и не больно манит проживать около дома! А все лестно, нельзя ли как-нибудь в Питер или Москву... Это, батюшка, полагаю, и в вашем звании бывает: вон молодые господа из Питера съезжают, так большой тоже форс держат. К нашему барину приезжал оттедова двоюродный брат: мы, как его по Питеру знаем, так господин очень непыратый: на службе нигде не состоит, капиталов за собой никаких не имеет, а только что, примерно, по-питерски сказать, тортуары там гранит; а подите-ка: как приехал сюда, какой тон повел! У нашего помещика в усадьбе все расхаял: и дом без скусу, и скотные дворы выстроены не по плану... Я тут невдалеке слушал, как они об этом разговаривали, и только сам с собой подумал: «У тебя-то, думаю, выжига питерская, какие там палаты расстроены!»

Клементий остановился.

— Отчего же ты сам нынче не в Питере? — спросил я его вдруг.

Клементий весь вспыхнул.

— Как вам сказать, сударь,— начал он после минутного молчания, почесав в голове и вздохнув слегка,— линия уж такая вышла, что пенья копать дома пришлось.

— Покутил, видно?

— То-то и есть, прогорел маленько: пожару не было, а дымом вышло... мужик глуп: как бы нам не деревня, так бы мы и бога забыли.

— Барин, что ли, тебя не пускает?

— Да оно и барин, видно, повидержать немного хочет... А другой случай, что на чужой стороне мне почесть, так сказать, и быть не у чего... в работники идти как-то зазорно, а хозяйством обзавестись могуты не хватает.

— А ты сам хозяйствовал?

— Тридцать человек одной артели держал-с, дела большие имел; кабы не своя глупость, так деньги бы теперь лопатой загребал...

— Отчего же? Попивать, видно, начал?

— Не без того... у нас без этого не бывает; хотя и то сказать: выпивка рабочему человеку ничего, она ему по



времени еще в пользу идет... а то худо, когда мужик с горя начинает опрокидывать, когда на сердце болит.

— А у тебя болело тоже сердце?

— А так, сударь, болело, что вот я теперича не жи-рен, а напредь сего был кожа да кости!.. История моя длинная, опечатать ее стоит... вот такая моя история!

В это время дверь приотворилась.

— Клементий Матвейч?..— произнес женский голос. Это была хозяйка.

— Что тебе? — отвечал с досадою питерщик.

— Подь сюда: работник вопит, запахивать неча... Подь, батько, засеи загончиков хоть пяток!

— Ну, ладно; изготовь там жито-то... Извините, су-дарь, в поле требуют... На угощенье благодарим покорно.

— Ты зайди ко мне после.

— С большим нашим удовольствием, если вам будет не в тягость... Затем наше почтение-с,— проговорил Кле-ментий и ушел.

## II

Оставшись один, от нечего делать я пошел в избу. Хозяйка парила крынки, Федька сидел на лавке и что есть силы колотил по столу косарем; бабушка-старуха переправилась из сеней на голбец... На меня из них ни-кто не обратил внимания.

— Вона, худы валенки-то,— во что обуешься те-перь,— ворчала старуха, простанывая по временам.— Немало толстолобому говорила: купи да купи, так на ба-заре нет... эка, брат, и валенок про нас на базаре не стало... а сивку... да... продали... не сам еще заводил... ловок больно... да... а не говори—и не говорю... Успенье на дворе, а еще и пар не запарили... жди, паря, хлеба... то-то... порядки какие... ой, батюшки, тошне-хонько! Ой-ой, тошнехонько!..

— Чем мать больна? — спросил я невестку.

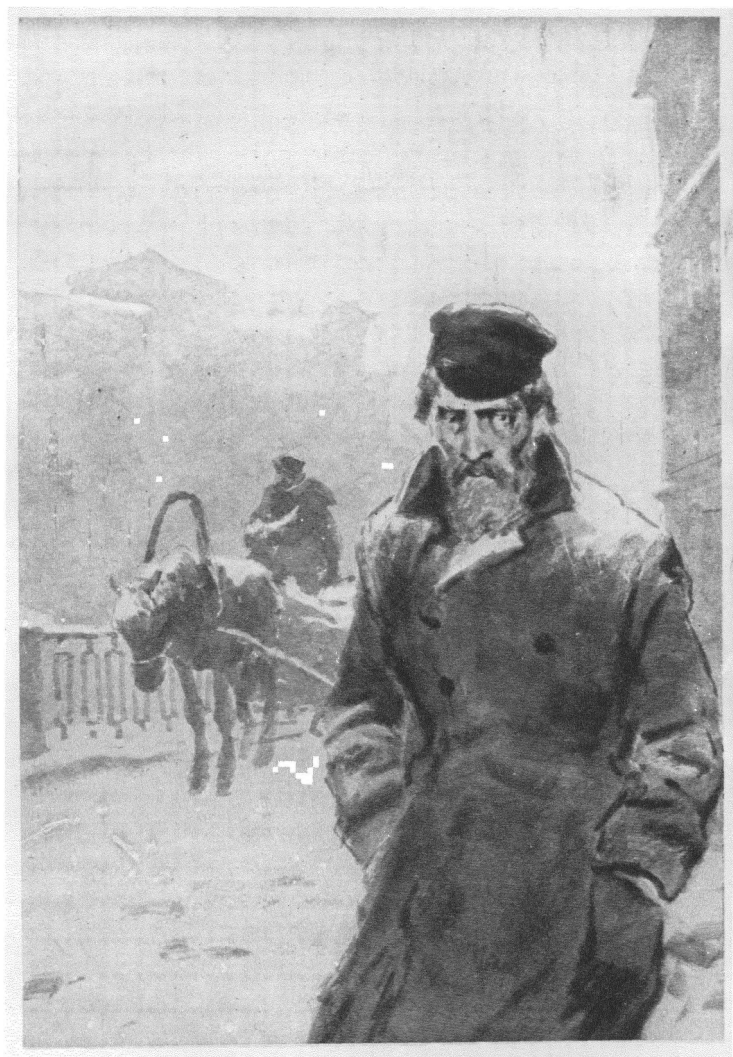
— Не знаю: давно уж она мозгнет,— отвечала та нехотя.

— Что у тебя, старушка, болит? — отнесся я к больной.

— Что болит?.. Все болит; во всей болезь ходит... ру-ченьки, ноженьки ломит, у сердца тошно; с печи падала не один раз, пора бока отбить... Не так было прежде,



«КОМИК».



«ПИТЕРЩИК».

жили... да... что станешь делать... не больно нынче маток слушают: хоть говори, хоть нет... третий год в Питере не бывал, какое уж это дело!.. О-о-ой, тошнехонько!..

И мне сделалось тошно от болезненных стонов старухи, а сверх того Дарья ввалила в крынку огромный раскаленный камень и всю избу наполнила паром.

«Плохо же житье питерцу,— подумал я,— понятно, что в семье у него было не очень ладно: жена какая-то рабочая полуидиотка, мать больная и, должно быть, старуха блажная. Отчего это он, по его выражению, прогорел и почему не в Питере?..»

С такого рода размышлениями пошел я по деревне. Картины увидел обыкновенные: на самой середине улицы стояло целое стадо овец, из которых одна, при моем приближении, фыркнула и понеслась марш-маршем в поле, а за ней и все прочие; с одного двора съехала верхом на лошади лет четырнадцати девочка, на ободворке пахала баба, по крепкому сложению которой и по тому, с какой ловкостью управлялась она с сохой и заворачивала лошадь, можно было заключить об ее не совсем женской силе; несколько подальше, у ворот, стояла другая женщина и во все горло кричала: «Тёл, тёл, тёл! Тёлонька, тёлонька, тёл!..» По дороге, навстречу мне, шла десятский Марья с ималом<sup>1</sup> и уздой в руках.

— Что это баба кричит? — спросил я ее.

— Корову, сударь, выкликает: коровка, должно быть, отстала,— отвечала она.

— Разве у вас не за пастухами?..

— Нет, не за пастухами: у нас пастуху нечего делать. Скотина гуляет не па чистаполью, а па лесам, что тут пастух сделает? Разбредется па кустам, так и он ничего не увидит...

— А если украдут?

— Николи у нас не крадут, зверь так обижает, а воровства здесь не чуть.

— Волк, что ли?

— Нет, не волк, медведь: нынешнее лето из нашей деревни, проклятой, двух коровок изломал.

— Вы бы стреляли его?

— Кому у нас стрелять? Был в Терентьеве один

---

<sup>1</sup> И малю — овес в какой-нибудь чашке или плетушке, которым, поднося к морде лошади, приманивают ее и таким образом ловят. (Прим. автора.)

стрелок, да и тот перед заговеньем помер... Тоже вот эдак по весне сел на лабаз; медведь-то пришел, падалину только обнюхал, а его стряс с елки и почал ломать, всю шабалку своротил; тем и помер, никак залечить не могли.

— Ты сама куда ходила?

— Лошадь ловить ходила, да не дается, пес ее драл.

— А разве в доме у вас нет мужика?

— Нет, сударь, ни одного нет-с: батюшка-тесть и мой-то муж — оба в Питере.

— Отчего же мой хозяин дома проживает?

— Клементий Матвееч?

— Ну да.

— Видно, не больно умно жил на чужой стороне, так теперь заделье и правит.

— Загулял, что ли, он?

— Не без того, чай.

— Мне жена его очень не понравилась.

— Она нездешняя, от Макарья взята.

— Я это догадался: она ему не пара.

— Известно, что против него не будет; эдакому мужику надобно бабу покрасивее.

— Вот бы тебя, например.

— Да что ему меня, у меня свой не хуже его.

— Будто и не хуже?

— А чем хуже? Только еще человек молодой, а не хуже.

— Не волочится ли за тобой Клементий? — спросил я ее вдруг.

Она вся вспыхнула, потом посмотрела на меня пристально и улыбнулась.

— Что за волоченье? Он здесь смирно живет, — произнесла она и потупилась.

— А прежде?

— Прежде я не знаю: мало ли чего у них в Питере бывает? Человек был богатый, так уж, вестимо, без того жить не станет.

Разговаривая таким образом, мы подходили к моей квартире. Нас нагнал Клементий, который уже возвращался с поля.

— Хоть бы вы, сударь, нашего хожалого постращали, а то он ничего своей должности не сполняет, — сказал Клементий, указав головою на Марию.

— Что меня страшать: не мне бы, а тебе, длинноно-

сому, надобно эту должность исправлять,— отвечала та с улыбкой.

— Нет, уж я, тетка, в сотские буду проситься, чтобы ты у меня под началом была.

— Что же тебе такое в подначальстве моем?

— Известно что... Ах ты, голубка: ноги тонкие, бока звонкие! — проговорил Клементий, ударив ее слегка по плечу.

— Перестань болтать-то: мало тебе в Питере бока назвонили.

Этот быстрый разговор и несколько взглядов, которыми перебросились Клементий с Марьей, показались мне подозрительными.

Я вошел в свою комнату: питерщик не замедлил явиться. Мы уселись на прежних местах, и разговор между нами тотчас же начался.

— Ты говорил, что с тобой была история; расскажи мне ее, пожалуйста! — сказал я.

Клементий сначала призадумался немного, потом усмехнулся.

— Рассказать, судырь, пожалуй, наше дело: слабы на язык-то; только то, чтобы не наскучить вам: похождения мои длинные.

— Вовсе нет, я тебя прошу об этом.

Клементий поправил бороду.

— Походженья мои,— начал он,— хоть бы взять с того, что я вдовец и теперича женат на другой: первая моя хозяйка, всякий вам скажет, была эдакая красавица, что другой, ей подобной, может быть, по всей империи из простого званья не найти. Восемь лет мы с ней прожили, наперекор слова не бывало, а не токмо что брани или, там, драки эдакие, как промеж другими бывает. И я, сударь, не хвастаясь сказать, в полтора года из простых мальчиков в приказчики попал, а через два года и сам хозяйством обзавелся, и такое у меня об доме старание было: спать лежучи, об доме думаешь, поутру встанешь, лба еще не перекрестишь, а все на уме, как бы денег спворить да в дом послать? А в пятый год так раздышался, что и бабу в Питер выписал, еще у меня спорей пошло: она была, надо сказать, окромя красоты из лица, женщина умная, расторопная, чистоту любила на всяком месте. Пойдешь, бывало, ранним утром по делам, воротиться домой: в фатере любо поглядеть: прибрано,

примыто, сама сидит лучше другой барыни, и так мне все это было по нраву, что иной раз всплачешь потихоньку.. Господи боже мой, думаешь, за чьи ты молитвы меня эдаким счастьем искал?..

Проговоря это, Клементий приостановился.

— Далее! — сказал я.

— А дальше, судырь, только два годочка я покрасовался с ней в Питере, и сам не понимаю, что такое произошло: вряд ли уж тут не было чьего-нибудь дурного глаза. Больно мне многие из своей братьи в зависть брать начали, а может быть, и понапрасну клеплю, может быть, и от простуды!.. Пришла она у меня, — дело это было по осени, — от всеобщей и прямо на постель. «Что это, — говорю я, — Машенька, ты спозаранку спать забираешься?» — «Так, говорит, мне все что-то не по себе». — «Так полно, говорю, дурочка, валяться-то, напейся чайку с мадеркой, лучше испарина прошибет». — «Хорошо», говорит, и встала, и надо полагать, что, через принужденье, выпила одну чашку, а больше уж не могла, и опять легла. Поутру еще хуже: я к доктору, тот приехал, осмотрел ее: «Горячка, говорит, у нее начинается». А за тем самым горячка да горячка... Лечили, кажись, всяким, — легче нет. Неделю помаялась, а в восьмой день богу душу отдала.

Клементий опять остановился; на глазах его навернулись слезы.

— Позвольте, судырь, трубочки покурить! — сказал он, смигивая слезы.

Я подал ему свою трубку.

— Вот эдак-то лучше, пораскуражит маленько, — сказал он, вытянув сразу всю трубку, и продолжал: — Как случилось со мной эдакое несчастье, я впал попервоначалу в какое-то бесчувствие: как там эти похороны и все эдакое срядили да обрядили, ничего не помню... Всё, говорят, смеялся эдаким смехом нехорошим... Так полагали, что совсем с ума спятил, — однакоже попомнился. Сам чувствую, что в разум вхожу, а на сердце час от часу становится тяжелее, — только и говорю работникам: не оставляйте, говорю, братцы, меня одного, я грех сделаю, руки на себя наложу!.. Недели в две меня сломило совсем: ни аппетита, ни силы, ничего не стало!.. Провалился я так до Нового года почесть... Надобно было расчеты сделать, долги тоже кой-какие получить, — ничто не мило;

все бросил и в деревню съехал,— думал хоть этим облегченье получить,— не тут-то было... Видючи, как я убиваюсь, стали мне хорошие люди советовать в Тотьму к чудотворцу сходить. Мне это очень пришлось по душе, и как только я это, батюшка, задумал,— сразу легче стало. Никогда, прежде живучи, больше пятнадцати верст не хаживал, а тут прибегло такое желание, чтобы пешком идти. Согласился я с одним старичком,— тронулись. На первых порах отошел я двадцать пять верст и такую усталость почувствовал, что хоть подводчиков нанимать. Однакоже пересилил себя, дошел на другой день до Солигалича,— верст тридцать, примерно, сделал, не отдыхая,— усталости уж такой не было. В самом Солигаличе зашел я с моим товарищем к одному юродивому — Андрюшке: как я к нему пришел,— подал калачик,— он вдруг зашел: «Со святыми упокой». Пропемши несколько раз, водочки попросил. Я по глупости подумал, что он и в самом деле водки желает: сходил сейчас в питейный и принес ему. Взял он у меня полштоф, да как швырнет в угол, и зашел: «Исаия ликуй». Как его потом ни спрашивал, ничего больше не сказал... И таким манером я в Тотьму сходил благополучно. Воротился домой. Барин у нас тогда дом отстраивал. «Возьми, говорит, Клементий, внутреннюю отделку на себя». Я не поперечил, взял: так все лето и почти что всю осень и проработал у него; и это меня заняло очень много. Отделать тоже хотелось для барина лучше. В первую пору, думал, и не перенести горя; а тут пришло, что и о другой свадьбе задумал.

— О другой?

— Да-с, и сам уж не знаю, как это и вышло! Вам, сударь, может быть, не безызвестно наше обнокovenье, что молодому мужику вдовым жить не приходится. У меня есть тоже старуха мать — кажись, видели ее: начала она мне говорить разные там, то есть этикие наши крестьянские резоны представлять, а тут и браниться, пожалуй. За глаза меня, сударь, сговорили да помолвили на девушке из макарьевского именья; я и не рассмотрел хорошенько, накануне только свадьбы и в рожу-то увидел невесту. По чужим речам все дело-то произошло: наговорили да натолковали: девушка-де смиренная, из дому идет хорошего. Ну, думаю, что будет, то будет, не проживешь целый век без бабы.



— А с той стороны, видно, было большое желание?

— Еще бы им не желать: дело их было небогатое, а я, не хвастаясь, по тогдашнему времени был первый крестьянин из всего имения. Во всю свадьбу поили меня на убой, чтоб многого не рассмотрел. Опомнился от ихнего угощения, как домой приехал, и только всплеснул руками! Женщина действительно вышла тихая, да для нас — питерцев — не годится! Теперь-то плоха, а первое время и говорить по-нашему не умела: ты ей толкуешь одно, а она понимает другое. Затаил я, сударь, все на сердце и через неделю же после свадьбы в Питер махнул. Прежде, бывало, из дома едешь, станции две слезами обливаешься, а в тот раз словно вольным воздухом вздохнул, как из деревни вывалился. Приехавши, прямо на дела кинулся. В год с небольшим нажил деньги большие, а о деревне и думушку думать забыл. Выплатишь оброк, вышлешь малую толику на подушную, рассчитаешь работника — и только. А чтобы, там этак, в дом к украшению что-нибудь, или подарки какие-нибудь — и на разум не приходило. Матушке так еще угождал кое-чем по времени, а благоверной двадцатикопеечного платка не присылывал: словно как ее на свете не бывало. Этого мало, сударь: отписывают, что парнишко родился: никакого чувства не было, словно как у чужих сделалось. А кабы, кажись, первая, Машенька, родила, так благовал бы от радости!..

Воспоминания эти привели Клементия в какое-то возбужденное состояние. Глаза у него разгорелись, на лбу выступил градом пот, по бледному лицу появились красные пятна.

— Прожил я, судырь, таким делом, — начал он снова, — не сходя, в Питере три года и, всю правду вам скажу, прожил смирно и начал было уже в деревню собираться. Вдруг вышел мне такой случай: был у меня один знакомец, и дядей еще как-то мне приходится, с бабкиной стороны, тоже, эдак, подрядчик из здешних мест; в Питере проживает безвыездно, вдовый, человек умный, в капитале хорошем, по делам ловкий, только, временем, любил закачивать. Если уж раскутится, так ему все ни по чем: рублев сто, двести серебром в два часа просадит. Встретимши меня, раз поутру, — «пойдем, говорит, Клементий, в трактир, чайку напиться». Пошли — и сначала ничего, все шло как следует: напились чаю, прошлись

потом по водочке, по мадерке, в голову-то и попало маненько. Он спросил бутылочку судацкого; я тоже, с своей стороны, откупорил, стало быть, две, а тут получилась третья, четвертая... Раскутился мой дядя!..

— Клементий,— говорит,— поедем со мной к Аннушке.

— Какая,— говорю,— дядя, Аннушка?

— Есть уж,— говорит,— такая!.. Только молчи, и тебе будет хорошо...

Ладно... поехали... подвез он меня к большущему дому... извозчика разделали... «Иди, говорит, за мной», и ввел на самый верхний этаж, отворил двери, вошли: вижу, комната хорошая, хоть бы у господ такая. Вдруг из-за перегородки выскакивает мамзелька в платье, ловкая такая, собой красивая, и прямо чмок дядю в лоб. «Ах ты, суконное рыло! — подумал я.— Какое ему счастье выходит!» Поцеловавшись с моим благоприятелем, и мне ножкой шаркнула...

— Чем прикажете,— говорит,— дорогих гостей угощать?

— Судацкого,— требует дядя, и сейчас же выкинул на стол двадцатипятирублевую серебряном.

Хозяюшка подхватила ее ловко на лету и сейчас же распоряженье сделала, и потом закурила нам трубочки. Сидим, покуриваем. Посидемши так немного, дядя отозвал ее в сторону и шепнул ей что-то...

— Сейчас,— говорит.— И убежала.

— Погоди, Клема,— говорит мне дядя,— сейчас другая штучка будет, на гитарке нам сыграет и споет.— И только покончил он эти слова, как точно входит уже не одна, а две, прежняя и другая с гитаркой; и так мне сударь, эта вторая с первого же раза из лица понравилась, что, кажись, не хуже моей покойной Машеньки показалась. Принесли судацкое, и началось у нас угощение. Хозяйка тянет с нами очередную, а гостья все в отказку,— почесть что поневоле принудили бакальчик один принять. Однакоже ничего: пооглядевшись немного, и на гитарке заиграла, и песенку запела, и такой голос показала, что я отродясь не слыхивал, даже в жар меня кинуло, в голове-то блажи уж много было. Видемши, что дядя препровождает время с хозяйкой, я к гитарщице подсел.

— Как,— говорю,— вас, сударыня, по имени и отчеству звать?

— Палагея,— говорит,— Ивановна.

«Ладно-с, думаю, имя хорошее».

— Что это, господа купцы, хоть бы вы раз в театр свозили,— говорит Аннушка.

— Что ж такое? В театр, так в театр,— говорю я.

— Идет,— порешил дядя.

Хозяйка принимает это в большое удовольствие, а Палагея Ивановна отказ делает,— и тетенька какая-то гневаться будет и сама не так здорова. Мы эти слова ее во внимание не берем, упрощаем,— я пуще всех. Уламывали ее с полчаса, насилу согласилась. Поехали: мы с дядей по себе, а для них особый извозчик. Старик мой совсем раскутился: не хочу, говорит, наверху, в тесноте и жаре, сидеть. Взял в пять целковых ложу. Я до театру, еще в мальчишках, был непомерный охотник. Эту, например, «Аскольдову могилу», танцы там разные, или этакие, где иностранные принцы в светлой одежде выходят, каждую штуку раз по семнадцати видал; а в тот раз какое представленье шло, и не знаю: всем своим взором пристрастился к Палагее Ивановне. Она тоже, надо полагать, никакого удовольствия не имела: сидит этакая печальная, голову опустимши, глаза потупимши...

Сделав им уваженье насчет театру, дядя ладил, чтобы опять к ним в гости ехать. Однакоже эта самая Аннушка сказала наотрез, что нельзя: время, говорит, теперь позднее, а милости просим в другую пору. Делать нечего, отпустили их, а сами поехали к своим местам. Но мне целую ночь и сна нет: все на уме Палагея Ивановна. На другой день — тоже, а на третий так пришло, что к дому ее раз семь подходил, а войти не смею. Маялся я так с неделю. Вдруг мне приходит в голову такая мысль, словно дьявол ее подшепнул: жила на одном со мной дворе старушонка, обзывала себя торговкой, а почти что нищая была. Купит каких-нибудь копеек на двадцать печенки, изжарит, с моего позволения, в артельной да целый день с этим товаром и шляется по Питеру. Призываю я ее к себе, угощаю чаем, водкой и делаю ей всю откровенность. Видел, говорю, в таком-то месте девушку, очень она мне понравилась, так нельзя ли, говорю, узнать, как и что с ее стороны. Старушонка разом смекнула, в чем дело: тем же часом свилась — собралась

и полетела. Прождал я ее до вечера: нетерпение такое было, что все стоял у ворот да выглядывал: наконец, катит... «Что?» — спрашиваю.— «Да то, говорит, была и видела, девушка отличная и не такая, как вы, может быть, полагаете». От этих слов старухи у меня еще больше сердце разгорелось... Выставил я ей бутылку мадеры, стал ее улаживать всякими словами,— этого мало: дарю ей пятнадцать рублей. «Вот, говорю, старушка, возьмите на первой раз, а на предбудущий случай и ничего не пожалею, только научите, как лучше сделать». Принявши от меня деньги и выпимши всю мадеру, старушонка поразговорила и делает мне такое признание: «Я, Клементий Матвееч, желая вам услужить и понимаючи, как надобно вести себя, пригала им, на всяк случай, и объяснила так, что вы купец, человек вдовый, и желаете пожениться, а иначе тут об вас и говорить нельзя. Ихнее дело скромное, живет она при тетке, по имени Наталье Абросимовне; занимаются они обе золотошвейным мастерством и звание имеют обер-офицерское,— как хотите, так и поступайте, а я вас на путь направила,— прозеваете, себя вините». Взяло меня, сударь мой, раздумье: солгать, вижу, надобно много, и, может быть, тем бы самым все и кончилось; но начала эта самая старушонка шляться ко мне каждый день и все про одно толкует. То ей в удивление, что я, бывши молодым еще человеком, проживаю в такой скуке, то будто бы с той стороны принесет поклон. Больше недели не давал ей никакого ответа. Не вытерпел, однакоже, и покончил тем, что, призвавши ее раз вечером: «Делай, говорю, как знаешь, а мне не жить, не быть — видеть Палагею Ивановну желается». На такое мое распоряжение ответ получаю в тот же день,— просят-де вечером чаю напиться. Пошли у меня сборы: франтился я часа четыре: одежда у меня всегда была отличная, а тут стала не нравиться. Бороду подстриг, волосы распомадил, взял первого с биржи лихача. Прикатил: вхожу, куда было сказано, и только что не ахнул, словно в мурью какую попал: помещение такое — хуже курной деревенской избы. Стоит на трех ногах столишка, огарок шестериковой свечи, самоваришко какой-то; по одну сторону столика сидит, как я догадался, эта тенька, женщина из лица красная и собой этакая обрюзглая, а на другую сторону — и сама Палагея Ивановна. Сделаемши им, как умел, рекомендацию о себе, сажусь:

Тетенька, сейчас, в разговор вступила и с первого же слова начала меня выведывать: кто я такой, какую торговлю веду, давно ли вдов. Вру я ей, что в голову придет, и, по научению старухи, такой тон держу, что будто бы жениться желаю. Просидел я у них часа три. Поленька хоть бы слово сказала, так что мне стало и досадно. Однакоже виду не даю и начинаю прощаться,— и тут, как-то к слову, и не помню хорошенько, фатеру ихнюю похаял. «Фатера, говорю, очень черна». — «Черна,— говорит мне на это тетенька,— большое бы желание имели куда-нибудь переехать. Здоровье Поленьки слабое, а в этой сырости еще больше пропадает». — «Что ж такое? — говорю я.— Можно и переменить: в Питере фатеры есть всякие». Эти мои слова, надо полагать, они на ус и намотали. На другой день старушонка моя чуть свет ко мне стучится. Объяснимши, что я там слишком понравился, вдруг мне открывает, что приказали-де просить, что не могу ли я на свой счет фатеру для них приискать, так как я человек богатый и для меня это большого расчета не сделает. «Ладно, говорю, мы в этом не постоем»,— и в тот же день приискал две комнаты с кухней, по-моему, слишком порядочные, и сейчас же им весть даю. Приезжает ко мне сама тетка на извозчике, благодарность говорит мне большую и просит, чтобы я позволил ей посмотреть. Свез я ее, оглядела, не нравится, и то нехорошо, и то ненарядно, и окна на двор. «Ах ты, боже мой! — думаю я про себя.— Сами жили в мурье — ничего, а тут этакое помещенье хулят». Поехали мы с ней назад. Она уж прямо говорит, что у меня или капиталу нет, или мне жалко. И так, сударь, расконфузила она меня этими последними словами — на чем свет стоит. Мы — питерцы — народ форсистый: лучше чем-нибудь другим-прочим обидь, а насчет денег не затрогивай. У нас в кармане сотня, а манеру мы держим на тысячи. Ну, думаю, душа моя, я себя в грязь лицом не ударю, предоставлю вам такую фатеру, что тебе в нос кинется, ты, может быть, в этаких сроду и не бывала, а уж наверняк никогда не живала, даром что обер-офицерского званья. Как задумал, так и сделал. Было в нашем доме совсем черное отделение, комнат в пять,— прежде была отличнейшая фатера на улицу, да запустили. Сговорился я об нем с хозяином, послал своих молодцов и в две недели отделал на самую лучшую ногу: паркет под-

клеил, отчистил, дубовые двери отшлифовал, лучше новых стали; на окна занавески шелковые повесил, мебель купил настоящую ореховую, обивки первостатейной; денег просадил много, однако не жалею. Спроворимши все это, приглашение им делаю, чтобы пожаловали на новую фатеру чаю откусать. Приезжают, смотрят и только поспеиваются от радости. Проводим мы вечер в большом удовольствии, угощение я им даю отличное: чай, сладкие закуски разные, ужин идет из лучшей ресторации. Мадера, портвейн, красненькое, чего угодно, все есть. Тетенька выпила сильно, так что едва на стуле сидит; Палагея Ивановна отпила стаканчика два легонького винца и начала со мной поговаривать,— и даже по моей просьбе послала к себе извозчика за гитарой, сыграла и спела мне по крайней мере песен двадцать. Слушаю я ее разиня рот, точно соловья какого, и то очень еще мне нравится в ней, что держит себя она благородно. Шутки мои, например, принимает от меня, а сама ничего не говорит и только тупится. После этого нашего вечера они на другой день переезжают: имущество свое свезли в один раз на ломовом извозчике, да сами приехали на подрессорках, и все тут. Начинаем потом жить, я их посещаю, как следует. Содержанье — чай, сахар, запас к столу — все идет от меня. Старушонка торговка все продолжает мной руководствовать и такое мне понятие дает, что они желают мной одолжиться временно, и что вскорости сами получают большие деньги, и что, если я ее — старуху — отведу от нашего дела, так все сразу кончится. Даже по сей день, сударь, я самому себе удивляюсь: кажись, этакими пустыми словами, как рассуждать со стороны, так малого ребенка провести нельзя, а тут всему веру давал. Денег у меня в ту пору было много: тысячи три серебром в кармане, да в получке с лишком тысяча,— кути — валяй,— словно им и конца не будет. Хожу я к ним, моим соседкам, два раза в день и без подарков не являюсь: то материи принесешь на платье, то платочек, то мантильку целковых в двадцать, а вечерком мадеркой да ромком забавляешься. Палагея Ивановна тоже привыкает потягивать: первую начнет, как будто бы поневоле, вторую тоже робко, и сейчас же возьмет гитару и запоет. Чудное дело, сударь: по сю пору все ее песни у меня в памяти. Ничем, кажись, другим она столько не понравилась, как своим пеньем!

Словно за сердце хватала, как она пела,— и сама в такое чувство приходила, что я и не привидывал. Ни на кого из нас не смотрит, а слезы так градом и сыплют. Как напоеется досыта,— вдруг сама без всякого приглашенья полный стакан выпьет; но особеннее всего мне то было удивительно, как она этак выпьет, сейчас же у ней на тетку злость нападает. Та, сам вижу, угрождает ей сильно, а она все фыркает. Проводя таким манером все мое время, о делах не думаю, к хмельному получил пристрастие большое. Встанешь поутру, и вместо того чтобы, как прежде бывало, чаю напиток, — не могу, моторит: с самим собой тоска, раздумье о том, о другом — но все еще ничего, живем, и вдруг мне, сударь, через ту же прежнюю старушонку передают, что Палагее Ивановне экипаж свой завести желается. Надобно сказать, что желанье это у меня у самого было и прежде того; но когда мне это еще подсказали, — охота припала сильнее прежнего. Мы хоть и не купцы, а насчет выезду не только в Питере, а даже по здешним местам, большие шеголи. Приобрел я серого рысака, заплатил за него триста на серебро, и то по случаю; санки — тоже полтора, сбруя накладного серебра. Сядем мы с Палагеей Ивановной, медвежьей полостью перекинемся. Салоп на ней бесподобный, шляпка от французинки; я тоже в дорогой лисице, и делаем мы, сударь, таким манером прогулку, что твой куницы первой гильдии, а между тем в кармане — становится больно тонко. Выпал было для меня сподручный в казне подряд, надобно было взять беспременно, а в залог представить нечего. Толкнулся было к другим, третьим подрядчикам насчет обеспечения, — но те, видючи, как я шибко начал жить, поприостереглись — не дали. Стало меня за виски забирать: сам понимаю, что делаю глупо, и пересилил бы, кажись, себя на тех же порах, кабы на свете этого окаянного вина не было. Вот в эдаких-то случаях, как мой, оно подлейшая штука для нашего брата мужика, по тем причинам, что больно делает человека беззаботным; пьешь больше для куражу, а как проспишься, так хуже прежнего. Рожу у меня раздуло, руки начали трястись, хороших людей стало мне совестно, о деревне подумать страшно, — а прежнего все не оставляю. С Палагеей Ивановной тоже нехорошее творится: худеет и кашляет день ото дня больше, пищи никакой не имеет, а без мадеры уже и

жить не может. Кутим мы таким манером ровно год. Артель свою я нарушил, из капитала осталась самая малость. Подарков делать не на что; прием, замечаю, начинают мне делать другой,— ко всему этому начал к ним ходить какой-то будто бы двоюродный братец, чиновник. Мне это не понравилось; стал я спрашивать, как и что такое за гость? Сначала отшучивались, а тут в серьезное говорят: «Не попрекайте, говорят, нас этим человеком, он у нас из всей нашей родни остался один и теперь хлопчет по нашим делам». Этими словами, однако, они меня не успокоили, стала меня ревность мучить; молчу куда, а на сердце досада непомерная, и выжидаю только случая; наконец, выходит между нами такое дело. Встаю я раз утром, вдруг подают мне записку оттедова. Пишет тетка, что так и так, им, по ихним делам, нужно триста целковых, и просит, чтобы не отказал в ихней нужде, а что после они заплатят. И какая, батюшка, бывает с человеком глупость! Сколько я ни был досаден на них, все понимаючи очень хорошо и бывши сам в самых расстроенных обстоятельствах, вдруг мне стыдно сделалось, что денег не имею. Думаю, хоть умру, да добуду, по крайней мере после покуражусь, сколько душе угодно. Сказавши посланной, что к вечеру доставлю, пошел по всем своим прежним приятелям занимать; заверяю их, что будто бы на дело хорошее беру и что завтра же по долгам должен получить две тысячи, но всеми этими словами тешил только сам себя: все мы, подрядчики, друг друга знаем по пальцам. Прошлялся я целое утро, думал, доверия никто не сделал. Задумал я тогда другу увертку: пришло мне в голову в картах счастья попробовать. Есть там, в железном ряду, купец — картежник записной, мне немного человек знакомый. Захожу я будто бы случайно к нему в лавку, слово за слово, и, наконец, прямо говорю: «Нельзя ли, говорю, у вас вечерком в карты поиграть?» Делов моих, надо полагать, он не знал хорошо, потому что тотчас же делает приглашение. Разменял свои пятьдесят целковеньких, что было в кармане, на мелкие, и отправился. Между нами, мужиками и купечеством попростее, идет игра под названием: *в горку*; игра, так сказать, нехитрая, но презадорливая, главная в ней пружина выжидать хорошей карты — она тебе одним коном воротит все убытки. Прежде, когда я был при деньгах, всегда так и делал и всегда почти был в барышах, но по тепе-



решним обстоятельствам вышло не то. Сдали карты, взял я их в руки, руки дрожат. Пришла ко мне какая-то шушера. Подрушный товарищ пошел целковым, я помирил этот целковый, да два под другого товарища, тот тоже, и выставил уж пять, так у нас и пошла круговая. Накидали мы в кон целковых до пятидесяти, я не отступаюсь, все хочется на пустую сбить,— не тут-то было! Проставил я целковых двадцать, а взял подрушный, потому что имел на руках сильный хлюст. Идет у нас игра потом дальше. Мне счастья нет: выпиваю я с досады графина два водки,— и хмель не берет... Просадивши все свои пятьдесят целковеньких, стал я хозяина упрашивать еще играть на рысака с упряжкой. «Поставьте, говорю, во что хотите, только игры не останавливайте». Убедил я их, начали: опять же мне досталось по бокам. Покончивши лошадку со всеми экипажами, за одежду принялся и к утру остался в одной только поддевке, так что хозяина жалость взяла. Платья не хотел и брать: после, говорит, как-нибудь сосчитаемся, но я не согласился, предоставил им все дочиста. Прихожу домой, почти что так, полуумный: первый человек встречает меня прежняя старушонка с новой запиской. Пишет мне эта тетка разные выговоры, или просто, так сказать, называет прямо подлецом, и что, если-де я так желаю себя вести, так она и принимать меня не станет, и что Палагея Ивановна от горести даже больна очень сделалась. Злости и тоски было у меня и без того много на сердце. Выгнал я эту старушонку в шею от себя и сам пошел к ним. Встречает меня тетка, и говорю я ей, как понимать вашу записку?

— А так и понимайте... Вы теперь, как мы это видим и слышим, идете в разоренье, на всех словах ваших нас обманули: сказали вы нам, что вы купец, человек вдовый, а в самом деле вы не что иное, как серый мужик и человек женатый,— и потому, извините, знакомство ваше нам зазорно.

Так мне сделалось от этих ее слов горько и стыдно, что я чуть не всплакал.

— Ну,— говорю,— Наталья Абросимовна, не вам бы мне это поученье делать!.. Конечно, много я виноват перед богом, перед моим господином и перед семейством, но не перед Палагеей Ивановной. Про вас я молчу, вы тут дело стороннее,— бог знает, как и вмешались тут; а если вы попускаете, что я вас некоторыми моими сло-

вами обманул, так уж это — извините — вы говорите пустые слова. Вы живете на одном со мной дворе: здесь вам малый мальчишка скажет, кто я и что я такое; но вы до сего дня слова со мной об этом не говорили, а если я теперь в такое расстройство пришел, так только единственно для вашего удовольствия. Капитал у меня был прежде настоящий, как следует подрядчику. В эти полтора года я рюмки вина не выпил, куска хлеба без вас не съел, на себя сапогов новых не сделал, — так где же мои деньги, как не в ваших сундуках?.. Поступать вам со мной так стыдно!.. По несчастному моему положению, поддержать бы меня следовало, а не то что, как паршивую собаку, отгонять от себя!..

— Сделайте милость, у нас ничего вашего нет, — отвечает она мне.

— Как, — говорю, — сударыня, нет?.. Да эта самая фатера — и та моя.

— Про фатеру, — говорит, — не беспокойтесь, мы завтра же очистим ее.

— Нет-с, — говорю, — позвольте, я вас не спущу. Надобно еще прежде маленькой расчетец сделать, — и не с вами: вас я и знать не хочу, хоть вы и ставите себя очень высоко, а собственно — с Палагеей Ивановной.

— Палагея Ивановна, — говорит, — никакого с вами расчета делать не будет, а страшать вы нас не можете, мы вас не боимся. Наш чиновник-родственник хорошо знаком с частным приставом. Если вы станете много грубиянить, так вас за нас в острог посадят.

— В острог меня посадить не за что. Ваш чиновник и частный пристав, может быть, люди и хорошие и сильные, но и я тоже в обиду не дамся: найду начальство и выше, представлю дело, как оно есть, — они нас рассудят лучше.

После этих моих слов начала тетка, без всякого зазренья, браниться, я тоже не уступаю... Чем бы между нами кончилось — не ведаю... Только вдруг выходит сама Палагея Ивановна, худая этакая, слабая.

— Какой, — говорит она мне, — угодно вам со мной счет иметь?

— А такой, — говорю, — что тетенька обнесла меня на письме и словами, но для меня все это самое ничего не значит, и я хочу только знать, как вы меня понимаете.

— Я,— говорит,— тоже вам скажу, чтобы вы оставили меня в покое. Я, говорит, и напередь сего все делала через силу, а теперь имею другого жениха и пойду за него замуж.

— Это,— говорю,— сударыня, дело доброе, но чем же я-то виноват? За что мне-то пришлось для вас приданое давать?

— Не корите меня вашим добром,— сказала она мне на это,— я ничего вашего за собой не оставлю,— и тотчас же подскочила к шкафу, отмахнула его и начала выкидывать все платья.

Как тетка ни отговаривала,— не слушает, из лица побледнела, губы дрожат, на глазах слезы, начал кашель ее бить, и вдруг, сударь,— я этакого страха и не ожидал,— вдруг кровь горлом пошла. Стало мне ее жаль непомерно, забыл я всю свою досаду!..

— Не горячитесь,— говорю,— Палагея Ивановна, ничего я из этого не возьму, по пословице: дарят, так не корят... Сказал я вам не по злобе, а от своего собственного горя. Прощайте, говорю, не поминайте меня лихом, а добром, может быть, и не за что.

— Ну, Клементий Матвейч,— отвечает она мне,— бог нас рассудит, кто из нас против кого виноватее: вы много на меня денег потратили, а я из-за вас здоровье потеряла.

— Тем наше свиданье и кончилось. Как пришел я в свою фатеру, ничего не помню, и тут же слег,— сразу весь пожелтел, точно шафраном всего выкрасили. Стащили меня в больницу, провалялся я там два месяца, и когда на третий выписался: ни крова, ни пищи, ни денег, ничего нет. Иду я к дяде, с которого вся и история началась. Принял он меня, дай ему бог здоровья, невзираячи на все мое убожество, ласково. Рассказал я ему все мои похождения. «Ничего, говорит, Клементий: со мной в молодых годах было то же самое, два раза из Питера в одной рубахе ходил. Совет мой тебе такой: иди ты теперь в деревню, там ты поочувствуешься». — «Нет, говорю, дядя, ни за какие тысячи не пойду в деревню в этаким безобразии; помоги ты мне здесь, дай ты мне здесь пооправиться». Как меня старик ни отклонял, я стою в одном; он видит, делать нечего: принял меня к себе, жалованья положил пятнадцать целковых в месяц, только никуда не отпускал и с артелью работать заставил.

Проку выходит мало: руки на дело не поднимаются, почесть половина работников к нему от меня отошло, прежде под началом были, а тут стали подтрунивать; я же был всегда большой гордец. Для меня это показалось пуше вострого ножа. Сказамши, что будто бы думаю в деревню сойти, отошел; жалованье, какое пришлось, пропил и поступил к мяснику, говядину таскать на лотке. Дело непривычное: первый день проторговал целый рубль, на другой день поостерегся, так ничего не продал,— и затем, сударь, начались мои разные похождения: был я дворником, был водовозом. Отрада была только в том, что, как появится в кармане хоть гривенник, сейчас его в кабак. Дня по два совсем не емши был, одежда — словно рубище, сапоги — только одно звание... стыдно признаться, а грех потаить: бывали такие случаи, что Христа ради просил.

— А Палагеи Ивановны ты больше уж не видал?

— Встретил раз: едет с каким-то хватом, еще хуже стала, точно мертвая сидит; не на счастье мы, видно, друг с другом сходились.

— Ну, а здесь как? Будто уж здесь и смирно живешь? Мне кажется, что у вас с Марьей — десятским-то — кое-что идет,— заметил я.

Клементий улыбнулся и слегка покраснел.

— Вы уж много видите, чего бы и не надобно,— только нет, сударь, напраслину взводите; будет, что и на словах пошучу. Прежняя дурь из головы выскочила: сердце болит каждую минуту, видючи себя в таком положении, после того, чем был я прежде.

— Как же в деревню попал?

— Почти что насильно. Пачпорт у меня вышел, из деревни не шлют; я было к одному господину, которому от нашего помещика приказанье было,— так и так, говорю, нельзя ли мне выдать билет.— «А вот, говорит, погоди я тебе выдам,— я уж давно до тебя, голубчика, добираюсь». Задержал он меня у себя на фатере, приискал попутчика из здешних мест, человека этакого аккуратного, крутого, сдал ему меня под расписку,— тот и свез, только что не на привязи. До сих пор, батюшка, я этого господина поминаю добром. Не распорядись он со мной таким делом, может быть, погиб бы совсем. Предоставил меня мой извозчик прямо в нашу усадьбу... И стыдно-то и страшно. Чуть не умер в это утро, ожидаючи, когда

в горницу позовут,—наконец, требуют: посмотрел на меня барин. Я весь дрожу, слезы у меня в три ручья так и текут по щекам. «Ну, братец,—говорит он мне,—много мне об тебе дурного говорили, но я не верил, а теперь вижу, что правда. Наказывать мне тебя стыдно, хоть ты и стоишь того, а скажу тебе только одно, что чужой стороны тебе в глаза не видать. Коли не умел там обстоятельно жить, так ходи за косулей и справляй заделье». Так-то теперь я здесь и живу. В Питер хочется, а попроситься не смею; а если бы, кажись, попал туда, и хоть бы какая маленькая линия вышла, так бы в полгода раздышался лучше прежнего.

Клементий утомился и замолчал. Я несколько времени смотрел внимательно на его выразительное лицо. Это был не кулак-мужик, который все свои стремления ограничивает тем, чтобы всевозможными чистыми и нечистыми средствами набивать себе копейку. Его душе, как мы видели, были доступны нежные и почти тонкие ощущения. Даже в самом разуме его было что-то широкое, размашистое, а в этом мудром опознании своих проступков сколько высказалось у него здравого смысла, который не дал ему пасть окончательно и который, вероятно, поддерживает его и на дальнейшее время.

### III

Как Клементий говорил, так и случилось. Не более как через три года я встретил его в одном трактире. Он сидел в волчьей шубе, с золотым перстнем на пальце, в ботфортоподобных сапогах, с двумя другими, тоже, надо полагать, подрядчиками, и что-то им толковал; они его слушали с большим вниманием, хотя и были гораздо старше его. Я подошел к ним. Клементий меня узнал и просил выпить с ним чаю. Я сел. Он держал себя далеко гордее прежнего, говорил меньше, как-то истово и совершенно уж купеческим тоном. Потом он звал меня убедительно зайти к нему на квартиру,—и я был. Жил он со всеми признаками довольства, хотя и не совсем опрятно. Для меня он приготовил ту, неведомо по чьему вкусу составленную закуску, на которую, вероятно, попадал и читатель в купеческих домах, то есть в одно время было поставлено на стол: водка, вино, икра, пряники, какие-то маленькие конфетки, огурцы,

жаренный в постном масле лещ, колбаса, орехи,— и всего этого я, по неотступной просьбе хозяина, должен был отведать. О себе Клементий мне рассказал, что года два тому назад барин отпустил его в Питер опять и что, мало того, взял под свой залог его подряд и сдал ему, и что он с этого времени, по милости божией, и пошел опять в гору, и теперь имеет тысяч до десяти чистого капитала, что блажи теперь у него никакой нет, в деревню съездит каждую зиму, хмельного ничего в рот не берет, потому что от хмельного мужику все нехорошее и в голову приходит. Парнишку отдал в ученье к одному приятелю, по тому же малярному мастерству, по тем причинам, что если учить его при своей артели и на своих глазах, так либо перебалуешь, либо заколотишь... и тому подобное.

Порадовавшись успеху питерщика, я вместе с тем в лице его порадовался и вообще за русского человека.

## ЛЕШИИ

*Рассказ исправника*

### I

Я был командирован для производства одного уголовного следствия в Кокинский<sup>1</sup> уезд вместе с тамошним исправником, которого лично не знал, но слышал о нем много хорошего: все почти говорили, что он очень добрый человек и ловкий, распорядительный исправник, сверх того, большой говорун и великий мастер представлять, как мужики и бабы говорят. Получив общее с ним поручение, я хотел сам за ним ехать в Кокин, но он меня предупредил и дождался уже в усадьбе Маркове, которая стоит на самом повороте с кокинского торгового тракта на проселок, ведущий к месту нашего назначения.

Только что я вышел из повозки, он подошел ко мне и проговорил официальным голосом:

— Честь имею представиться: кокинский земский исправник.

Он был уже человек пожилой, но еще бодрый, свежий и вообще имел наружность приятную и умную. За его служебную вежливость, на которую, впрочем, давали мне некоторое право наши служебные отношения, я поспешил ответить ему тем же и взаимно представился, чем он остался с своей стороны, кажется, весьма доволен. Я спросил его, когда мы выезжаем.

---

<sup>1</sup> Название вымышленное. (Прим. автора.)

— Я думаю, сейчас же: зачем золотое время терять! — отвечал он и тут же распорядился мне об обывательских, а себе велел закладывать свой тарантас.

В ожидании лошадей мы сели с ним на привалок около избы.

— Давно вы служите? — начал я.

— Давненько-с: по вниманию дворянства, выбираюсь три трехлетия и второе шестилетие.

—хлопотлива ваша служба?

— Не без того-с... привычка: сначала, когда поступил, так очень было дико; только что вышел из военной службы, никого, ничего не знаю; первое время над бумагами покорпел, а тут, как поогляделся, так понял, что, сидя в суде, многого не сделаешь, и марш в уезд, да с тех пор все и ежду.

— А суд как же?

— В суде что-с? Все эти суды, я вам доложу, пустое дело; ежели по правде теперь сказать, так ведь только мы, маленькие чиновники, которые по улицам-то вот бегаем да по проселкам ездим,— дело-то и делаем-с, а прочие только ведь и есть, что предписывают,— поверьте, что так!

Пока мы разговаривали таким образом, около нас собралась толпа мальчишек. Маленький, худощавый, со всклокоченными волосами горбун притащил с ведро величины дегтярницу и силился на жерди поднять задок моей брички.

— Перестань, косолапый, достатки хребет сломаешь! — крикнул исправник.

— Ничаво, кормилец: може, и смогу,— отвечал тот.

— Перестань, надорвешься! — крикнул опять исправник.— Матвей! Смажь бричку. Где этому хрычу возить-ся тут! — сказал он хлопотавшему около тарантаса своему кучеру, парню лет двадцати пяти, с намасленною головою, в красной рубашке, в плисовых штанах и с медною сережкой в ухе.

Матвей подошел.

— Что, дядя, видно, это не кузовья таскать? А на спине, кажись, и подкладка есть... Не замай, пусть,— сказал он и молодецкато поднял задок брички, поставил дугу под жердь, одним взмахом руки сдернул колесо и начал мазать.



— Здоров, паря,— проговорил гербун, глядя с удовольствием на кучера.

— Эй ты, горбатка! Тройка, что ли, у тебя завелась? Извозничать, что ли, начал? — спросил его исправник.

— Нету-тка, сударь. Какая тройка! Всего две: одна-то кобылка, а другой меринок — почесть что жеребенок: всего весною три годка минуло.

— А третья чья же?

— Третья от дяди Захара пойдет.

— По охоте, что ли, везете?

— Какое, родимый, по охоте: время рабочее, сам знаешь... какое по охоте!.. От Егора Парменыча приказ был, меня и Захара нарядил... Какое уж по охоте!

— А Егор Парменов дома?

— Дома-тка, надо быть: дома утрось был.

— Для чего же барскими лошадьми не справляют подвод: барин это разрешил, я вам толковал.

— Ты-то, кормилец, толковал, да где! Всё мы справляем.

Исправник нахмурился.

— Вы не поверите, сколько у меня битвы с этими управителями. Только и ладят себе в карман; а чтобы барину угодить, так едет на мужике,— отнесся он ко мне и потом крикнул: — Федька!

Один из мальчиков, повыше и поумнее лицом, подошел.

— Поди, позови ко мне управителя. Знаешь, где он?

— Знаю,— отвечал мальчик.

— А где?

— Во хлигеле,— чай, поди, во хлигеле пьет.

— Ну, так ступай и позови его сюда... Валяй!

Мальчишка побежал вприскок; за ним побежали двое и еще двое; осталась только лет трех девчонка, которая заревела во все горло, приговаривая: «Нянька ушел, нянька ушел».

— А кто здесь управитель? — спросил я.

— Здесь управитель персона важная-с,— отвечал исправник,— бывший камердинер господина и вступивший в законный брак с мамзелью, исправлявшей некоторое время при барине должность мадамы, а потом прибыл сюда отращивать себе брюхо и набивать карман; не знаю, чем кончится, а я его поймал на одну штуку — кажется, что сломлю ему голову. Не могу, су-

дарь, видеть этого лакейства, особенно когда они в управители попадут.

— Стало быть, вы думаете, что бурмистры из мужиков лучше? — заметил я.

— Не в пример лучше-с, — отвечал исправник, — я, скажу вам, наблюдал над этим много. Конечно, и из них есть плуты, особенно который уж много силы заберет, но вместе с тем вы возьмите, сколько у него против лакея преимуществ: хозяйственную часть он знает во сто раз основательнее, и как сам мужик, так все-таки мужицкую нужду испытал, следовательно, больше посовестьится обидеть какого-нибудь бедняка; потом-с, уваженья в нем больше, потому что никогда не был к барину так приближен, как какой-нибудь лакей, который господина, может быть, до последней косточки вызнал, — и, наконец, главное: нравственность! Я вам прямо скажу, все эти господа камердинеры, дворецкие, они с малых лет живут на свободе, в городе, а город — баловник для людей; в деревне чего бы и в голову не пришло, а тут как раз научат. Он и трубку курит, и в карты играть охотник, и шампанское пить умеет, и выходит поэтому, что толку-то на деле нет, а только форс держат, да еще какой, посмотрели бы вы! Ни один господин не решится над мужиком так важничать, как ломаются эти молодцы. Я многим из них посшибал головы.

— Каким же образом вы принимаете участие в их управлении?

— Да и сам уж не знаю, как это вышло: по службе-то ведь беспрестанно сталкиваешься с этими молодцами, и я, как, бывало, прежние исправники, не сближаюсь с ними, а вхожу прямо в переписку с барями и такой своей манерой добился теперь до того, что на все почти имения имею доверенные письма; и если я теперь какие-нибудь распоряжения делаю, мне никто из них не ткнет в зубы: «Барину напишу», — врешь! — Я первый напишу.

— Вам, я думаю, и все помещики благодарны?

— Ну, не все-с. Впрочем, — продолжал он с некоторым самодовольством, — многие важные особы, когда сюда приезжают, со мной знакомятся, ласкают меня, благодарят... Я даже, милостивый государь, имею несколько собственноручных писем от князя Дмитрия Владимировича, бывшего московского генерал-губернатора,

удостоился потом чести быть лично с ними знакомым и пользовался их покровительством. Чего ж мне больше? Я бьюсь не так, чтобы уж особенно из-за денег. Дети у меня, благодаря бога и по милости этого моего хорошего знакомства, все уж пристроены, на своих местах, и не только что от меня ничего не требуют, но еще мне же помогают. Если вам откровенно сказать, так я и служу больше по привычке; силы еще есть, начальству, вижу, приятна моя служба, потому что, кто ни будет на моем месте, другой, неопытный, так не вдруг еще привыкнет; на первых порах, как ни бейся, а того не делает, что я... Привычка-с!.. Вот катит, полюбуйтесь: какой гог-магог,— заключил исправник, указывая глазами на идущего управителя, который с первого же взгляда давал в себе узнать растолстевшего лакея: лицо сальное, охваченное бакенбардами, глаза маленькие, черные и беспрестанно бегающие, над которыми шли густые брови, сросшиеся на переносье. Одет он был очень презентабельно и, как требовало время года, совершенно полетнему: в сером казинетовом пальто, в пике-жилете, при часах на золотой цепочке, с золотым перстнем на грязной руке и в соломенной шляпе, которую он, подойдя к нам, приподнял и расшаркался.

— Приказание получил явиться к вам! — отнесся он к исправнику.

— Здравствуйте, батюшка Егор Парменыч! Повидаться с вами захотелось; сами вы уж заспесивились и глаз не кажете,— отвечал исправник.

Управитель переступил с ноги на ногу.

— Сбирался еще до присыла вашего, да так полагал, зная усердие ваше, что делами изволите заниматься, а очень было бы приятно, если бы осчастливили меня и пожаловали ко мне чаю или кофейку откусать или закусить бы чего-нибудь: дело дорожное.

Исправник взглянул на меня.

— С удовольствием бы, да не охотник я до закусок-то,— сказал он.

— Уж это точно справедливо изволили сказать про себя. Чем только вы живы, мы тому удивляемся! Эдакого постника, как вы, я и в Петербурге не видывал, хотя и там господа тоже очень воздержны на пищу,— проговорил управитель и потом, видя, что исправник ничего ему не возражает, продолжал, вздохнув: — Все это, я

полагаю, от вашей заботливости происходит. Вот хоть бы и наш господин — проходит он, как неизвестно вам, должности большие, и часто, бывало, когда я еще при особе их состоял, если получают они какое-нибудь повышение или награждение, поздравить их; одевая поутру, они только головкой помотают: «Эх, говорит, Егор Парменов, повышению я рад, да и забот прибавится». И точно-с: и сна, посмотришь, лишатся и пищи уж меньше употребляют... Очень тоже старательный к службе.

— Что и говорить! — возразил исправник с усмешкою. — Ты не только что на господине, и по себе можешь судить это.

— Именно могу, Иван Семеныч. Если сравнить свое положение с простым мужиком, так увидишь большую разницу: какая ему забота! Отпашет он свою полосу, натреплется тюри да и спать; а ты, например, пять запашек одних: всё надобно присмотреть; конский завод, сплавные леса, четыре тяжёбных дела на руках, межеванье теперь идет; а неприятностей-то сколько получишь! Иногда какая-нибудь посконная бабенка, за которую двух грошей дать нельзя, и та тебя так расстроит, что ничему не рад. Все это в воображении имеешь: какой тут сон или пища! Ничего на ум не пойдёт.

При последних словах исправник взглянул на управителя пристально; тот остановился и начал глядеть по сторонам.

— Приказанья больше никакого не будет? — спросил он, помолчав.

— Да приказанье такое: ты все прежней своей методы не оставил — подводы мужиками справляешь! Я уж об этом барину писал и ответ получил.

— Я, признаться, и сам об этом господину описывал. Неужели же, Иван Семеныч, я смел бы иметь против вас какое-нибудь сопротивление, если бы сил моих только хватало; сами изволите знать, половина запашки идет на барских лошадях — сморены так, что кожа да кости. Вдруг барин наедет, куда я тогда поспел?

— А у мужика разве лошадь не в работе? Она больше твоих барских работает.

— У них лошади особенные: сносливые, — ихним лошалам ничего; а наши кони нежные, их должно беречь пуще зеницы ока.

— Зачем же сам-то по праздникам на тройках гоняешь?

— Мне, сударь, нельзя не выехать: должность моя такая, что я должен ездить.

— Экая у тебя должность славная — все по праздникам! Вот этга ездил в Введенское на храмовой праздник, к скарловановскому Федору Диеву на новоселье, к воньшевским мужикам на Никольщину... Отличная у тебя должность! Хоть бы и нам такую.

— На соседстве без знакомства не проживешь; без этого уж нельзя: сам принимаешь к себе, так и меня тоже просят.

Горбун привел своих двух лошадей, которых он весьма справедливо называл уменьшенными именами, потому что в каждой из них было немного более двух аршин росту; вслед за ним вел и дядя Захар свою; она была в том же роде, только гораздо худее и вся обтерта. Горбун начал было закладывать.

— Не можете ли вы доехать со мною в тарантасе? Бричку вашу здесь оставим: сюда же вернемся,— сказал мне исправник.

Я согласился.

— Эй, вы, не надо! Ведите лошадей домой,— проговорил он мужикам.

— На том те спасибо, кормилец,— проговорил горбун и, сняв шапку, поклонился в пояс.

Захар тоже, хотя не так скоро и не сказав ничего, но приподнял шапку и поклонился. Оба мужика повели лошадей назад. Меринок горбуна, кажется, был рад не менее своего хозяина, избежав необходимости везти; он вдруг заржал и лягнул задом.

— Эка, паря, веселый какой! — проговорил ласковым голосом горбун и повел коней в поле.

Дядя Захар иначе распорядился: он вывел свою худощавую лошаденку на половину улицы, снял с нее узду и, проговоря: «Ну, ступай, одер экой!», что есть силы стегнул ее поводом по спине. Та, разумеется, побежала; но он и этим еще не удовольствовался, а нагнал ее и еще раз хлестнул.

— Эй, ты, длинновязый, зачем ты лошадь бьешь? — вскрикнул исправник.

— Что, бачка?

— За что ты бьешь лошадь?

— Я, бачка, не бью ее, а так только шугнул.

— Я тебе дам, шугнул! Эдакой лошадиный живодер! Каждый год, сударь мой, лошади две заколотит... Только ты у меня загони эту лошадь, я с тобой справлюсь.

— Ништо бы ему! Кормилец, справедливо баешь,— отозвался подошедший и ставший около нас, с сложенными руками, рыжий мужик,— эдакой озорник на эту животинку, что и боже упаси!

Управитель на всю эту сцену глядел с насмешливою улыбкою.

— Зверь бесчувственный, и тот больше понимает, чем этот народ,— заговорил он,— сколько им от меня внушений было,— на голове зарубил, что блажен человек, иже и скоты милует... ничего в толк не берут!

— Не все такие,— хоть бы и из нашего брата, Егор Парменыч,— возразил рыжий мужик,— може, во всей вотчине один такой и выискался. Вот горбун такой же мужик, а по-другому живет: сам куска не съест, а лошадь накормит; и мы тоже понимаем, у скота языка нет: не пожалуется — что хошь с ней, то и делай.

— Понимаете вы! Ничего вы не понимаете, — кто вас знает хорошо!

— Твое дело как знаешь, так и бай, а нам Захарка не указ: худой человек, худой и есть — не похвалим.

Подали тарантас. Мы начали с исправником усаживаться. Егор Парменов немного струсил.

— Батюшка Иван Семеныч, что вы изволите тесниться,— отнесся он к нам,— если вам угодно, я сейчас же велю господских лошадей изготовить, самую лучшую тройку велю заложить.

— Спасибо! Доедем как-нибудь... пошел! — отвечал исправник.

Мы тронулись.

— Я того очень опасаясь... не подумайте вы чего-нибудь,— говорил управитель, хватаясь за край тарантаса и идя за нами,— к капризу моему не отнесите. Мы никогда этим не потяготимся. Толком мне давеча не сказали, потому такое распоряжение и вышло. Смею ли я что-нибудь! Как это возможно! У нас и от помещика есть приказ, чтобы чиновников не останавливать. Сделайте милость,— продолжал он,— приостаньтесь на минуту, а тем временем, как лошадей закладывают, пожаловали бы ко мне... Если вас, Иван Семеныч, не смею по-

просить чего-нибудь откусать, так, может, господин губернаторский чиновник не откажет мне в этой чести. Мы высоко должны ценить ваше внимание: если вы к нам милостивы не будете, что ж мы после этого значим? Ничего.

— Нет, брат, теперь некогда... Трогай живее! — крикнул исправник.

Кучер взмахнул кнутом и как-то особенно присвиснул; лошади разом схватили, так что Егор Парменов отлетел в сторону и едва устоял на ногах.

## II

Проехать надобно было верст тридцать проселком. Мы трусили, где только можно, и все-таки ехали очень медленно. У меня из головы не выходил управитель.

— Вы говорили, Иван Семеныч, что управителя этого поймали на какую-то штуку, — сказал я, желая вызвать исправника на прежний его разговор.

— Поймал, милостивый государь, есть такой грех, — отвечал он с самодовольством. — Казус этот замечательный. Если хотите, я вам расскажу. Только уж вы извините, я начну издалека: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

— Сделайте одолжение, — сказал я.

Исправник откашлялся, понюхал табаку и начал:

— Есть у меня, сударь, в уезде на самой границе, волость, под названием Погорелки — дичь страшная, лесовик раменной: на верхушку дерева посмотришь, так шапка с головы валится. На всем этом протяжении всего и стоят только три деревнюшки да небольшой приходец в одно действительство, и все это, извольте заметить, и деревнюшки, и лесные дачи принадлежат одному господину с Марковым. Ну, и здесь, как вы видите, народ не бойкий, а там еще простее: смиренница такая, что не только дел каких-нибудь, а рассыпь, кажется, в любой деревнюшке кучу золота на улице, поставь палочку да скажи, чтоб не трогали, так версты за две обходить станут. В начальные десять лет моей службы я почти что и не бывал там: незачем! Вдруг в управители приезжает этот хват, является ко мне с письмом от барина. Поговорил я с ним: вижу, парень неглупый, должно:

быть, грамотный,— говорит бойко. Одно только мне не понравилось в нем, как и вы, может быть, заметили,— глаза его: никак сударь, он ни на кого не может смотреть прямо: все у него эти буркалы бегают,— и не то чтобы он кос был, а так как-то, просто плутоватый взгляд; сейчас видно, душонка нечиста. Впрочем, я обласкал его для первого раза, но взял себе за правило — наблюдать за ним строго. Он не промедлил-с выкинуть штуку такого рода, что написал барину, будто бы по имению все в страшном беспорядке, все запущено, разорено, и таким, сударь, манером представил прежнего старого бурмистра, мужика хорошего, что совсем было погубил того; я это узнаю стороною и, конечно, понял его канальскую выдумку: до меня-де было все мерзко да скверно, а как стал я управлять, так все пошло прекрасно. Ну, думаю, голубчик, не знаю, как при тебе пойдет, а вот тебе на первых порах следует дать сдачи, чтобы ты не завирался, и тотчас же пишу к барину письмо совсем в другом духе и объясняю прямо, что донесения нового управителя вовсе несправедливы, что по имению, как досконально известно мне по моей службе, никаких не было особых злоупотреблений, и что оно управлялось так, как дай бог, чтобы управлялось каждое заглазное имение, и вместе к тому присоединяю, не то чтобы прямо, а так стороною, давешнюю мою сентенцию, которую и вам высказал, что я, с своей стороны, считаю совершенно невыгодным заменять бурмистров из мужиков управителями, ибо они в хозяйственных распоряжениях очень неопытны, да и по нравственности своей не могут быть вполне благонадежны. После моего письма, слышу, прислали Егору Парменову сверху зуботычку, и зуботычку порядочную; мне тоже письмо собственноручное от помещика: благодарит меня за участие, просит на будущее время, если что замечу, то и сам могу отменить или по крайней мере уведомил бы его. Стал меня Егорка побаиваться; но, невзирая на это, плутни его вижу на каждом шагу: то нападет он на мужика, который побогаче,— я заступлюсь; то сделает с купцами сделку и запродаст хлеб не в пору за полцены — я опять поймаю и найду других покупателей. Вдруг раз доносит господину, что конские дворы пристоялись и что он уже подрядил новые за три тысячи серебром, а я пишу барину, что дворы требуют только небольшой поправки и что три тыся-



чи серебром за такие дворы в здешнем месте цена неслыханная — ему опять плюха. Играл я с ним в эту игру года четыре, точно кошка с мышью: поотпущу его немного, дам обнюхать какую-нибудь плутню, и только бы ему сплутовать, а я его и цап. Сбирался было, признаюсь, несколько раз написать барину письмо решительное, но все как-то останавливался: как, думаю, еще примется, по услуге его ему, может быть, многое прощается, ихние дела, кто их знает; жду, что будет дальше, — и можете себе вообразить, каков шельма этот человек: пять лет я, милостивый государь, не знал его главной проделки и открыл как-то уж случайно. Как прежде я вам докладывал об этой Погореловской волости... вдруг доходят до меня слухи, что Егор Парменов начинает туда ездить каждую неделю, и что-де там барскую запашку завел, флигель выстроил и назвал Новоселком. Что такое, думаю, это значит? Если ради выгод барских, так там выгод больших не у чего соблюсти, и первое, что, признаться, пришло мне в голову: мужиков, думаю, каналья, хочет стеснить. По Маркову и по другим селениям я часто наезжаю и воли ему не даю, а там, в захоlustье, делает что хочет. Начал и я ездить в Погорелки, в новую эту усадьбу, как эдак, знаете, невдалеке, верстах в пяти, в шести, еду, так уж непременно заверну. Он меня ловит, как молодой месяц, и покуда я там, точно адъютант мой: так по стопам моим и следует. Однакоже я урывками, ущипками расспрашиваю мужиков: что-де и как и нет ли каких от управителя притеснений? — «Нетутка, любезненький, греха на душу не возьмем, никаких нам от Егора Парменыча притеснений нетути, а еще против прежнего лучше стало». Задал он мне, милостивый государь, этим задачу; вижу, что тут что-нибудь кроется, а поймать не знаю на чем. Заезжаю я раз в этот флигель ночевать; дело было в субботу, а на другой день, по воскресному дню, поехал к приходу помолиться. Егор Парменов тут же и не отстает от меня; я в своем тарантасе, а он верхом. Приезжаем: ну, я, по званию своему, знаете, стал впереди; Егор Парменов немного сбоку или так, что почти рядом со мной, и две вещи делает: либо богу усердно молится, либо обернется ко мне и начнет на ухо шептать разные эдакие пустяки, и я очень хорошо понимаю, с какими мыслями он это делает: молится, извольте видеть, чтобы мне угодить, потому что

я люблю богомольных, а со мною шепчется, чтобы мужикам дать тон: вот-де я с исправником на какой ноге. В половине обедни только что запели херувимскую, вдруг около меня что-то стукнуло, застонало, потом зарыдало. Я обернулся, смотрю, народ столпился; спрашиваю, что такое.

— Кликуша,— говорят,— батюшка, кликуша!

— Откудова?

— Из Дмитрева,— говорят,— из самой этой, знаете, дальней деревни по волости.

— Ну так что ж,— говорю я,— помочь надобно!

— Ничего, родименький: прикрыли уж; только бы не измешать.

— Поверье у них, знаете, этакое: коли уж случился с кем припадок, так не надо трогать, а только прикрыть. Однако я на это не посмотрел: велел вынести ее на паперть и сам вышел. Смотрю — девушка молодая, лежит вверх лицом, слезы градом, сама всхлипывает. Были со мной в дороге гофманские капли, дал я ей, почти что насильно разинул рот и влил — почувствовалась. Начала было опять проситься в церковь — я не пустил, а позвал сейчас из их деревни мужика и велел отвести ее в дом к священнику. Егор Парменов тоже вышел за мною и что-то очень семерит; я с ним не говорю. Надобно вам сказать, что кликуш этих в простонародии бывает много-с, и они, по-своему, толкуют, что это от порчи делается, а господа другие понимают, что это одно только притворство, шалость, а в самом деле ни то, ни другое,— просто истерика, как и с нашими барынями бывает! Душа ведь тоже и у них есть!.. Другая, которая понежнее, почувствительнее, житьишко, может быть, плохое: то свекор в дугу гнет, то свекровь поедом ест, а может, и муж поколачивает: вот она неделю-то недельски тоскует, тоскует, придет в церковь, начнет молиться, расчувствуется, а тут еще ладаном накурено, духота, ну и шлепнется. Много я эдаких примеров видел. Впрочем, эта новая кликуша как-то, и сам не знаю отчего, больше других меня заинтересовала. Как только обедня кончилась, выхожу я из церкви; вижу, впереди идет сельский мужик, по прозванию «братик»; поговорку он, знаете, эдакую имел, с кем бы ни говорил: с барином ли, с мужиком ли, с бабой ли, с мальчишкой ли, всем приговаривает: «братик»; а мужик эдакой правдивый: если уж

что знает, так не потаит, да и лишнего не прибавит. Нагоняю я его, поздоровался с ним.

— Пойдем,— говорю,— Савельич, в сторону: переговорить мне с тобой надо.

Отошли мы с ним.

— А что,— я говорю,— кликуша эта при мачехе, что ли, живет?

— Какое, братик, при мачехе... при родной матери! Устинью кривую, чай, знаешь? — отвечал он мне.

— Ну, не совсем: слыхать-то слыхал, что баба хорошая, а не видал.

— Ну да, братик, старуха умная, домовитая, разумом-то будет, пожалуй, против хорошего мужика, особенно по здешнему месту.

— Отчего ж с девкою сделалось?

— Много, братик, болтают, — обереги бог всякого человека,— доподлинно я не знаю: за что купил, за то те и продаю.

— Известно,— говорю,— что ты сторона: испортили, что ли ее?

— То-то, братик, не испортили! Кабы от человека шло, может, и помогли бы; а тут хуже того.

— Что же такое хуже того? — спрашиваю я

Братик мой, знаете, этак приостановился немного, подумал, потом вдруг мне на ухо говорит:

— Леший,— говорит,— ее, братик, полюбил.

— Как,— говорю,— леший полюбил?

— Полюбил,— говорит,— там как знаешь, так и суди; а бают, что полюбил; нынешним летом таскал ее, месяца четыре пропадала,— это уж я за верное знаю.

— Да как же, братец, таскал? Я что-то этого не понимаю.

— Я сам тоже, братик: кто их знает! Мало ли что врут в народе. Я опять те скажу: за что купил, за то и продаю; а болтают много: всего и не переслушаешь.

«История, думаю, начинает становиться заманчива».

— Как же,— говорю,— она опять дома очутилась?

— Бог их, братик, знает! Нам всего сказывать не станут, а мать проговорила, будто в сени ее подкинули в бесчувстве; а как там взаправду было, не знаю: сам при этом деле не был.

Толкую-с я, таким манером, с мужиком, вдруг Егор Парменов как из-под земли вырос.



«ЛЕШИЙ».



«ПЛОТНИЧЬЯ АРТЕЛЬ».

— Вы, ваше высокоблагородие,— говорит,— эту нашу из Дмитрева больную девку изволили к священнику послать?

— Точно так,— говорю,— любезный.

— А я, сударь,— говорит,— осмелился переменить ваше приказание и отправил ее домой.

— Напрасно! Для чего ты это сделал?

— Потому что-с время теперь,— говорит,— праздничное: к матушке-попадье и без того много народа идет, и родственники тоже наехали: побоялся, чтобы не было им какого беспокойства от больной,— да и той на народе вазорно.

— Ну, ладно: коли уж так распорядился, так делать нечего, будь по-твоему,— говорю я ему, а сам с собою думаю: «Шалишь, любезный, у тебя тут что-то недаром, какая-нибудь плутня да кроется».

В это время подали мой тарантас; я сажусь, он тоже усаживается на своего коня. Дай, думаю, по горячим следам порасспрошу его: не проболтает ли чего-нибудь.

— Эй,— кричу,— Егор Парменыч! Полно тебе трястись на седле: садись со мною в тарантас.

Он принимает это с большим удовольствием. Поехали мы с ним. Народу идет тьма и в селе и по дороге, кланяются нам, другой еще гоны за три шапку ломит; я тоже кланяюсь, а Егор Парменыч мой, как мышь на крупу, надулся и только слегка шапочкою поводит. И досадно-то и смешно было мне смотреть на него, каналью.

— А что это,— говорю,— Егор Парменыч,— как объехали мы весь народ,— что это такое за кликуша? И отчего это с ними бывает?

— Это-с,— говорит,— бывает неспроста: это по колдовству.

— Да как же,— говорю,— братец, как оно и в чем состоит?

— А так-с,— говорит,— здесь этой мерзости очень много. Здесь народ прехитрый: даром, что он свиньей смотрит, а такой докуменщик, и то выдумает, чего нам и во сне не снилось.

— Да кто же это именно колдует, на кого поклеп-то идет? — спрашиваю я.

— Клепят больше старых бобылок; и точно-с: превредные! Иную и не узнаешь, а она делает что хочешь: и тоску на человека наведет или так, примерно, чтобы муж-

чина к женщине или женщина к мужчине пристрастие имели,— всё в ее власти; и не то, чтобы в пище или питье что-нибудь дала, а только по ветру пустит — на пять тысяч верст может действовать.

Выслушал я всю эту его болтовню, и еще меня больше сомнение взяло. Знаю, что этакой плут и не в колдуний, а во что-нибудь и поважнее не сразу поверит, а тут так настоятельно утверждает. Начал я ему пристально в рожу смотреть и потом вдруг спрашиваю:

— А что,— говорю я,— эта сегодняшняя девушка, отчего она выкликала?

Вижу, его немного подернуло; но плут, будто бы ненарочно, сейчас вынул платок, обтер лицо и отвечает:

— Признаться,— говорит,— я и не знаю хорошенько; своих много хлопот, так и не расспрашивал,— а думаю, тоже с порчи: дом у них получше других, она из себя этак красивая, так, может быть, кто-нибудь от зависти взял да и сделал с нею это.

— Да как же,— возразил я,— ты что-то мне неладно говоришь, с девкою этою приключилось не от того. Я знаю, что ее леший воровал, она, слышно, пропадала долгое время. Зачем же ты меня обманываешь? — А сам все ему в рожу гляжу и вижу, что он от последних моих слов позеленел, даже и в языке позамялся.

— Как,— говорит,— пропадала?

— Да так же и пропадала, как пропадают.

— Ничего, сударь,— говорит,— я не знаю,— а у самого голос так и дрожит.— От вас только в первый раз,— говорит,— и слышу, и очень вам благодарен, что вы мне сказали.

— Не стоит,— говорю,— благодарности. Только зачем же ты меня-то морочишь? Кто тебе поверит, чтобы ты, такой печный управитель, и будто бы не знал, что девка из ближайшей вотчины сбегла? Клепнешь, брат, на себя.

Закрестился, забожился.

— Провалиться,— говорит,— мне на этом месте, если мне кто-нибудь об этом доводил. Сами изволите видеть,— говорит,— какой народец здесь: того и жду, что, пожалуй, что-нибудь хуже того сделают и от меня скроют. Я все здоровье свое с ними потратил. Делать, видно, нечего: буду писать к барину и стану просить себе смены. Коли в мужиках настолько страху нет, что по сторонам

езде болтают, а от меня утаивают, какой уж я после этого управитель!..— И понес, знаете, в этом роде околесную и все наговаривает мне на мужиков и то и се: что будто бы они и меня бранят и собираются на меня подать прошение губернатору; я все слушаю и ничего ему не возражаю. Въезжаем, наконец, в новоселковское поле.

— Ну,— говорю,— Егор Парменыч, прощай!

— Куда это вы, сударь?

— Так,— говорю,— надобно заехать тут недалеко,— а между тем сам решил ехать прямо в Дмитревское.

Он, шельма, должно быть, проник мое намерение.

— Я было, батюшка, к вам с просьбицей.

— Что такое?

— Да нельзя ли,— говорит,— вам со мною в нашу подгородную усадьбу съездить. Там,— говорит,— теперь идет у меня запродажа пшеницы, так чтобы после каких-нибудь озадков не было и чтобы мне от помещика моего не получить неудовольствия: лучше,— говорит,— как на ваших глазах дела сделаются,— и вам будет без сомнения, да и мне спокойнее.

Это, изволите видеть, он ладил отвезти меня верст на семьдесят от Погорелок, а там, покуда в другой раз наеду, так можно успеть обделать все, что надо.

— Нет,— говорю,— Егор Парменыч, извини меня на этот раз, сомнения от меня не опасайся, продавай с богом, а мне теперь некогда,— прощай!

Он видит, делать нечего-с, вышел у меня из тарантаса, сел на своего коня и поскакал во все лопатки к Новоселкам. Я тоже велел ехать как можно скорее; но, знаете, проселок: все лесом, рытвины, колеи, коренья — того и гляжу, что либо ось пополам, либо дрога лопнет. Ну, думаю, черт его дери: «Пошел, говорю, тише!» Едем мы маленькою рысцою; вдруг слышу, кто-то скачет за нами; обернулся я, гляжу: верховой, и только что нас за-видел, сейчас в лес своротил и хотел, видно, объехать кустами. «Стой,— кричу я,— кто едет?» Не отвечают. «Стой, говорю, и подъезжай ко мне, я — исправник; а не то, говорю, велю пристяжную отстегнуть, нагоним — хуже будет». Выезжает из лесу молодец, лошадь вся в мыле; оказывается, что Николашка, кучер Егора Парменова и любимец его, малой-плутина, учился в часовые мастера — ничему не выучился, прислан был по пересылке, и прочее.



— А,— говорю,— Николаша, здравствуй! Куда это путь держишь?

Парень замялся.

— Я так-с... ничего-с... по своим делам.

— Да по каким по своим делам?

— Да,— говорит,— послан-с в деревни.

— Какие тут деревни! Дорога только в Дмитревское.

— В Дмитревское, да-с: я в Дмитревское и послан,— говорит.

— Зачем в Дмитревское?

Опять переминается.

— Послан-с,— говорит.

— Да зачем?

— Нарядить-с,— говорит,— мужиков.

— Ну так,— говорю,— не надобно, не езд: я сам сейчас в Дмитревское еду и наряжу; а ты поезжай домой.

— Нет,— говорит,— сударь, я не смею этого сделать.

— Мне,— говорю,— любезный, все равно, смеешь ли ты, не смеешь ли это сделать, а я тебе приказываю, и делай по-моему: поезжай домой, скажи Егору Парменову от меня, что я тебя не пустил, и прибавь еще, что, покуда я в Дмитревском, он ни тебя и никого другого не посылал бы туда, да и сам бы не ездил.

— Да как же, сударь,— говорит он мне, знаете, с такою дерзостью,— по какому же это случаю такое ваше приказание? Я,— говорю,— человек подчиненный: с меня спросят.

— А по такому,— говорю,— случаю, что каприз на меня нашел; а если вы не послушаетесь, так... «Эй, говорю, Пушкарев! — своему, знаете, рассыльному, оставшему унтер-офицеру, который все приказания двумя нотами выше исполняет: — Мы теперь, говорю, едем в Дмитревское, и если туда кто-нибудь из новоселковских явится, хоть бы даже сам управитель, так распорядись». Пушкарев мой, знаете, только кекнул и поправил усы.

— Слушаю-с,— говорит,— ваше благородие.— И тут же сейчас, оборотившись к парню, прибавляет: — Не разговаривай,— говорит,— любезный, марш! — Я тоже говорю: «Марш!». Парень мой постоял недолго, почесал голову и поехал в обратную; а мы своей дорогою. В Дмитревское я попал тогда еще в первый раз. Надобно сказать-с, что захоlustьев и дичи, по своей службе, много

видывал, но этаких печальных мест, как эта деревня, не встречал: стоит в долине, кругом лес, и не то что этаким хорошим лесом, а какой-то паршивый: елоха и осина нагло, разве кое-где изредка попадется сосенка; а сама деревня ничего: обстроена чистенько, и поля распаханы как следует, в порядке. У захоластного, знаете, мужика хоть выгоды и меньше, да как-то все скорее. Пословица справедлива-с: выгодно жить на бору да близко к кабаку. Спрашиваю дом Аксиньи кривой. Показывают. Вхожу в избу: сидит старуха с одним глазом и ткет.

— Ты Аксинья?

— Я, батюшка.

— Ну, здравствуй,— говорю; я,— говорю,— приехал к тебе потолковать. Знаешь, кто я?

— Как, кормилец, не знать: кажись, асправник.

— Ну, исправник так исправник, и ладно, коли знаешь. Сегодня я был у вашего прихода и видел твою дочку: что это она у тебя хворает?

— Хворает,— говорит,— родименький, не то чтобы лежнем лежала, а временем шибко ухватывает.

— Да что это, отчего с нею?

— Не ведаю, кормилец, так тебе сказать, ничего не ведаю.

— Полно,— говорю,— старуха: как ты не ведаешь! Ведь она у тебя сбегала?

— Ну, кормилец, коли известен, так баять нечего: сбегать сбегала. Помилуй, не засади ты ее куда-нибудь у меня, не забудь ты достать моей головушки,— отвечает она, а сама мне в ноги.

— Ничего я,— говорю,— ей не сделаю, а ты вот что лучше мне скажи: ради чего она у тебя сбегала? Не было ли у ней любовника, не сманивал ли ее кто?

— Ой, родимый, какой у девушки любовник! Никогда, кажись, я ее в этом не замечала. По нашей стороне девушки честные, ты хоть кого спроси, а моя уж подавно: до двадцати годков дожила, не игрывала хорошенько с парнями-то! Вот тоже на праздниках, когда который этак пошутит с ней, так чем ни попало и свистнет. «Не балуй, говорит, я тебя не замаю». Вот она какая у меня была; на это, по-моему, приходится нечего.

— Постой,— говорю,— старуха, если ты так говоришь, так слушай: я приехал к тебе на пользу; дочку твою я вылечу, только ты говори мне правду, не скрывай ничего,

рассказывай сначала: как она у тебя жила, не думала ли ты против воли замуж ее выдать, что она делала и как себя перед побегом вела, как сбежала и как потом опять к тебе появилась? — Все подробно с самого начала.

Старуха этак поохала, повздыхала и начала рассказывать.

— Ой, батюшко,— говорит,— поначалу так было дело: после покойника остались мы в хорошем доме: одних ульнков было сорок — сколько денег выручали, сам сосчитай; да и теперь тоже; вестимо, что не против прежнего, а все бога гневить нечего... всего по крестьянству довольно; во вдовстве правлю полное тягло, без отягощения. Жила она у меня, моя доченька, не хвастаясь тебе сказать, в холе и довольстве, а баловать ее не баловала, держала все на глазах. Ну, сам посуди, коим веком одно дитяtko нажито, только и свету и радости, что в ней; к работе нашей крестьянской она с малых лет была ловкая, легкая: на полосе ли, на жнитве ли, все первая, против всех впереди идет. Бывало, мне и суседи всё смеялись. «Ну, говорят, Аксинья, в себя ты дочку принесла: больно уж вы к работе шустры, недаром у вас денег много». Всё ее, кормилец, ко мне применяли тем, что я и по сей день работаю — всякое дело у меня в руках проворится. О царица небесная! С наdsaды-то и говорить разучилась. Стала моя девушка на возраст приходить; ну и женишки тоже были, и много было, но все как-то опасалась. Все имела большое желание выдать ее в дом к одному экономическому мужичку, не тем, чтобы нашу вотчину обегала или порочила, а только то, что сам старик с покойником моим был большой благодприятель и ко мне тоже наезжал. Дружелюбие между нами было старинное. Егор Парменыч, дай бог ему здоровья, не принуждал очень: кто этак намекнет на мою Марфушку, он только скажет: «Устинья, говорит, дочку просят, припасайся». Ну, опосля, известно, сходишь к нему, поклонись чем-нибудь,— ну, и отменит. Так мы, кормилец, и жили до самых тех пор, как завели здесь барскую запашку. Всю нашу деревню Егор Парменыч повестил на заделье. Мое дело одинокое, пошла я к нему. «Кормилец, говорю, Егор Парменыч, как мне прикажешь, не оставишь ли ты меня в оброке? Мужичка у меня в доме нет: кем мне тебе заделье править?» — «Ничего, говорит, старуха, я тебя не обижу; мужика мне с тебя не надо, а пусть заделье

правит дочка». — «Кормилец, — говорю я, — где девчонке это справить! Дело ее непривычное, молодое; ты станешь спрашивать многого; ну, как она тебе не угодит, для меня будет нехорошо; а если ты уж так порешился, так лучше я тебе работника выставлю». — «Дура, говорит, ты, баба: работник будет тебе отяготителен, да и мне не к рукам: запашку, говорит, я здесь делаю больше лённую, а со льном, сама ты знаешь, мужику не возиться; с дочки твоей я лишнего не спрошу: что поработает, то и ладно». Ублажил он меня, кормилец, этими словами; поперечить ему тоже не посмела. Прихожу домой и говорю Марфушке: «На заделье, говорю, тебя, Марфушка, требует: как ты насчет этого полагаешь?» Она поохотилась. «Ничего, говорит, мамонька, стану бегать; ничего: от нас много девок пойдет». Тем мы с ней и порешили. Начала она у меня ходить. Ну, и сперва заботно было: все я ее спрашивала: «Не тяжело ли, говорю, голубонька, тебе там?» — «Нет, мамонька, какое тяжело! На эком народе тяжело! Дома в одиночку больше умаешься». А у меня, кормилец, все как-то сердце болело; с половины, кажись, лета, али с Успенков, стала я примечать, что с моей девкой что-то не то: все словно в задумке, из себя тоже худеет. Начала я опять ей говорить: «Полно, говорю, дурочка, не замай, говорю, работницу найму; где тебе заделье вести! Ишь ты какая стала! Такая ли ты была у меня прежде?» Так осерчается, кормилец. «Что я, говорит, дворянка, что ли? Денег-то у тебя, что ли, много: с работницами проклажаться!» Выждала я еще недели с две; вижу, что ничего к лучшему нет. Придет с барщины и прямо в темный чулан ляжет: на своей работе синя пороха не переложит, — все лежит. Ну, я тоже спрашиваю: «Что ты, девонька?» — «Так, мамонька, что-то не по себе», — только один ответ и был, а как придут барские дни, слова мне не скажет, соберется и уйдет прежде всех. Стало у меня сердце еще пуще болеть, чего ни передумала; тоже, как и твое дело, кормилец, сперва намекала, нет ли у ней чего на сердце, не мужчинка ли ее какой приманивает: девушка, думаю, на возрасте, там же всяк час наезжают дворовые ребята, народ озорник, прямо те сказать, деушники; сама своими глазами, думаю, ничего не вижу, а других, хоть бы и суседей, спросить об эаком деле стыдно. Взяла я, кормилец, не сказав ей ничего, прямо пошла к Егору Парменычу. «Так и так, говорю,

Егор Парменыч, я не молодая молодка: одной мне при доме справляться спина трещит, заделье я те справлю наймом, а дочку ты освободи мне». Он вдруг, сударь мой, осерчал. «Вы-ста, говорит, шельмы этакие, только знаете, что от барского дела отваливаются».— «Я, говорю, сударь, от барского дела не отваливаюсь и, как прежде сказала, хошь работника за девку выставлю, а ей, вся твоя воля, заделничать не приходится».— «Ну, да как же, говорит, много-ста будет, как стану я каждую дуру тешить! Пошла-ста вон и не надоедай мне, коли своей пользы не понимаешь!» Я нейду: стою в своем. Он, кормилец, затопал, затопал надо мной, пена у рту; у меня так сердечушко и замерло: того и гляжу, что прибьет; раза три замахивался, а уж брани да руганья и числа нет, сколько было, едва из хлигера жива вышла... Иду по усадьбе да горючьми слезами обливаюсь; вдруг мне навстречу его супружница с маленьким сыном, разряженная этакая, расфранченная.

— Здравствуй,— говорит,— голубушка! О чем ты это плачешь?

— Так и так,— говорю,— сударыня,— и рассказала ей все мое горе.

— Ах, боже мой,— говорит,— для чего же Егорушка,— говорит,— не хочет тебе сделать в этом удовольствия! Он что-нибудь тебя не понял. Я,— говорит,— ему поговорю об этом.

Я ей поклонилась.

— Противности,— говорю,— сударыня, от меня никогда никакой не было, а что всякой матери, хоть бы и крестьянке, свое дитяtko болезно. Если, говорю, Егор Парменыч станет ее у меня в заделье тянуть и не освобождает ее, так я, говорю, пойду к асправнику: вся его воля, что хочет, то со мною и делает.

— Ничего,— говорит,— душечка, не будет; будь покойна, я твое дело сделаю,— сказала она и ушла.

А я, признаться, взяла и пообождала маненько в усадьбе, в скотной, и слышала там, от горничной девушки, что у них за меня большой разговор был. Она, голубушка, дай ей бог здоровья, так его, слышь, ругала, так ругала, всем выкорила и в глаза наплевала. Прихожу я опосля этого домой и говорю дочке. Она мне, батюшка, опять всупротивку стала говорить. Душенька-то у меня уж наболела и без того; взяла меня на ее такая злость,

что не стерпела я, кормилец, ухватила ее и почала бить, всю избу вытаскала за космы; чем она пуще просит: «Мамонька, мамонька!», а меня пуще досада рвет, ругаю ее по-пёски и все, знаешь, к нечистому посылаю. Ревет моя девка после этого ровно два дни; стало мне ее хошь бы и жаль: сбегала я потихоньку к приходу, купила ей тут у одного мужичка-торговца кумачу на рубаху и принесла; она ничего — взяла и словно повеселела, а в сумерки и говорит мне:

— Отпусти,— говорит,— мамонька, меня на поседки сходить к дяде Фоме.

— Ступай,— говорю,— только не засиживайся долго.

— Нету,— говорит,— ненадолго сбегаяю.

Нарядилась она в наряд хороший, надела теплый полушубочек и ушла. Жду я ее: пропели первые петухи — нейдет, пропели вторые — нет!

«Эка вор-девка: верно, там ночевать осталась»,— думала я и пошла, кормилец, сама за ней.

Подхожу, смотрю — на поседках уж и огонь погашен; едва достучалась: отворяет мне дверь девушка ихняя, дочь хозяйская.

— Что тебе, тетонька? — говорит.

— Да я,— говорю,— за Марфуткой пришла; что это,— я говорю,— за ночевка такая? Зачем это ночевать унимаете?

— Нету,— говорит,— тетонька, она ушла.

— Полно, что за шутки такие: ушла! Где ей,— говорю,— быть! Домой не бывала, а ушла!

— Вот те Христос, тетонька, ушла,— говорит.

«Ну,— думаю,— согрешила грешная!..» — Разбойница этакая,— говорю,— кто у вас сегодня был? Не было ли дворовых ребят?

— Нету,— говорит,— тетонька, никого не бывало: только две девушки да твоя Марфа — только и было.

Разбудила я стариков, потолковали мы с ними, поговорвали, поохали, не знаем, что такое; обежала я все другие избы по деревне — нет нигде, нигде и не бывала. Протосковала я всю ноченьку, а на другой день, делать неча, пошла в усадьбу к управителю, заявила ему.

— Как бы, батюшка Егор Парменыч, хоть бы ее поискать,— говорю.

— Где-ста мне ее тебе искать! Много вас у меня! Ищи сама, как знаешь.

И говорить больше не стал.

Так, кормилец, опосля того пропала да пропала. Все-то ноженьки отбегала, ищучи ее и по селам и по деревням, все леса, почеть, выходила — ни слуху ни духу ни отколе нет; так и положила, что сделала над собой что-нибудь! Теперь вот дело прошлое, в те поры никому не открывалась, а на сердце все держала, что это от побой моих и побранки с ней приключилось. Прошло таким делом времени много; от тоски да от маяты стала и сама еле ноги таскать... Взяла я себе для охоты сироту-девушку: сидим мы с ней вечерком; я на голбчике лежу, а она прядет. Слышу я, кормилец, в сенях что-то стукнуло, словно кольцом кто брякнул.

— Кто это, — говорю, — Палагеюшка, выдь-ка, глянь: ровно стучится кто.

— Это, — говорит, — баулька, овцы!

— Полно, — говорю, — какие овцы! Выдь, погляди: не съедят.

Засветила она лучину, пошла и опять вбежала сейчас в избу.

— Баулька, — говорит, — у нас кто-то в сенях лежит.

— Так ты бы, — говорю, — окликала.

— Нет, баулька, я боюсь.

Слезла с голбца, пошла сама: глянь, моя Марфушка лежит плашмя поперек сеней. Заголосила я, завопила, бросилась к ней, притащила ее в избу, посадила, стала расспрашивать — ничего не бает, только руками показывает, что молвы нет. Я было ей, чтобы поужинала: молочка было налила, яишенку сделала, — только головкой мотает, а самоё так и бьет, как на пруте. Уложила я ее, родимый, на печку, окутала еще сверху и всю ночь над ней просидела. Похудела, голубушка, так, что и не глядел бы! Ну, думаю, воля божия; были бы кости, а мясо будет; хоша, по милости божией, жива осталась!.. На другой день спроведали наши мужики, стали ко мне находить, спрашивают и говорят мне так:

— Ты, — говорят, — Аксинья, девку не балуй, а накажи ее миром, чтобы другим повадки не было.

— Ну-ка, кормилец, какво мне было слушать эти их речи!

— Братцы-мужички, — говорю я им, — против мира я не спорщица и не потатчица моей дочке, кабы она была

здорова, и кабы я доподлинно знала, что она худое что сделала.

Вдруг наезжает сам Егор Парменych. Узнал он мое дело и говорит:

— Пальцем,— говорит,— не смейте девку трогать, она ни в чем не виновата; а насчет молвы тоже не принуждайте: она,— говорит,— и по лицу видно, что языка лишилась.

Я его слушаю, а сама с собою думаю: как, думаю, насчет молвы не принуждать! И начала ее возить к знахарям, по лекаркам, служила над ней молебны, а сама все приступаю к ней:

— Полно,— говорю,— дурочка, попринудь себя, пробай что-нибудь.

От этого ли, кормилец, али от чего другого, вдруг она проговорила: есть попросила! Я всплеснула руками и начала богу молиться; она тоже зарыдала, и, господи! как зарыдала, и начала поговаривать, немного да немного, а потом и все, как прежде бывало. Обождав сутки двой, стала я ее спрашивать:

— Скажи,— я говорю,— Марфушка, что с тобою делалось и где ты была?

— А вот что,— говорит,— мамонька, скажу я тебе правду-истину: меня,— говорит,— леший таскал.

Я так и обомлела: наше место свято, тоже от старины идет слух про это, не в первый раз он это в околотке делает: девок таскивал; одна так никак совсем так и пропала; только то, что на нашей памяти не чуть было этого. И пришла мне, кормилец, на разум опять моя побранка, как я тогда грешным делом, всердцах-то, все *к нему* посылала. Это хоть бы и с другими приключалось тоже от маткиных нехороших слов; а мы, дуры-бабы, будто опасимся? Не то, что взрослых, а и младенцев почасту: «Черт бы тя побрал, леший бы тя взял»; хороших слов говорить не умеем, а эти поговорки все на языке.

— Как это,— говорю,— голубушка, он тебя утащил?

— А так,— говорит,— мамонька; шла я с беседок, вдруг на меня словно вихорь набежал, подхватил как на руки, перекреститься я не успела, он и понес меня, нес... нес — все дичью.

— Что же,— говорю,— девонька, ты там-то делала, где жила, что пила, ела?

— Не спрашивай,— говорит,— мамонька, меня про



это: против этого мне сделан большой запрет. Пила и ела я там хорошо, а если хоша еще одно слово тебе скажу больше того, что я те баяла, так тем же часом должна моя жизнь покончиться.

Не стала я ее, батюшка, больно принуждать: може, думаю, и правда.

— Как же,— говорю я,— ты домой-то попала?

— Тем же,— говорит,— мамонька, вихрем; принесли да бросили в сени,— а тут что было, не помню.

Только то мне, кормилец, и сказала; до сегодня больше ничего от нее добиться не могу, вижу только, что всякий час в тоске: работы али пищи и не спрашивай!

Выслушал я, знаете, старуху.

— Давно ли же,— говорю,— с нею припадки начались делаться?

— Припадки с ней, батюшка, начались делаться с первого же воскресенья. Пошла с нею к обедне, тут ее впервые и ухватило: хлястянулась на пол и начала выкликать.

Надобно сказать, что при всем этом нашем разговоре присутствовал и дурак мой Пушкарев; выслушав старуху, он вдруг вздумал власть свою полицейскую и удаль свою военную перед ней показывать.

— Ну,— говорит,— бабушка, мы дочку твою поличим; у нас отличное от этого есть лекарство: березовая лапша.

Старуха так и заревела.

Я стал ее унимать, а он, болван, продолжает свое.

— Где же,— говорит,— у вас этот леший? Сказывай! Я его за ворот притащу и тысячу палок дам, так скажет, кто такой и какого звания.

— Это, сударь, как сказать,— замечает ему Аксинья,— ну как,— говорит,— не притащишь?

— Притащим, не беспокойся,— отвечает тот,— у нас,— говорит,— ваше благородие,— обращается ко мне,— в полку один солдат тоже стал колдуном прикидываться. Стояли мы тогда по деревням. Он поймает в лесу корову, намажет ей язык мылом, та и ну метаться, как благая: прибежит на двор, язык шероховатый, слюны много, валом-валит пена. А бабы: «Ах, ах! Телонька! Что сделалось с телонькой?..» А он тут и прикатит. «Что, говорит, голубушки, на дворе, что ли, у вас не здорово? Дай-ка я, говорит, попользую». — «Попользуй, корми-

лец, попользуй, поилец». Он сдерет с них рублей пять, промоет язык щелоком и вылечил корову! Вот ведь ихние колдуны какие! И леший здешний какой-нибудь из этаких.

— Не знаю, служивый, как у вас было,— продолжает возражать старуха,— а здесь не то; вы, може, сегодня ночуете, так сам послушаешь, голосит кажинную почесть ночь, индо на двор боязно выйти.

— Да ведь это, тетка,— говорю я,— филин птица.

— Баяли, кормилец, многие это нам бают, а только нет, родимый, не птица; филинов у нас мальчишки лавливали, с полгода один жил, никакого голосу не дал, а уж этот против птицы ли, на весь околоток чуть, как голосит.

— Что станешь делать, не переуверишь их!

— Ну,— говорю,— старуха, много ты говорила дела, да много и вздору намолола; пошли-ка лучше ко мне дочку: я с ней поговорю; авось она мне больше правды скажет. Сможет ли она прийти?

— Сможет, кормилец, для-ча не смочь: пролежалась теперь.

— Пошли,— говорю,— ее ко мне, а сама не приходи: мы с ней побеседуем вдвоем.

Пушкареву тоже велел выйти. Пришла ко мне девка-с; оглядел ее внимательно: приятная из лица, глаза голубые, навывкате, сама белая и, что удивительно, с малолетства в работе, а руки нежные, как у барыни.

— Здравствуй,— говорю,— красавица.

— Здравствуйте,— говорит,— сударь.

— Садись,— говорю,— чем стоять.

— Ничего-с,— говорит,— постою.

— Полно,— говорю,— ведь ты больна: устанешь; садись!

Села она этак поодаль, поглядывает на меня исподлобья.

— Чем это ты,— говорю,— больна? Что такое с тобой бывает?

— А бывает, сударь, привалит у сердца, в голове делается этакой бахмур, в глазах потемнеет, а опосля и сама ничего не помню-с.

— Отчего это с тобой сделалось?

— Изволили, чай, слышать,— отвечает, а сама еще более потупилась.

— Это,— говорю,— что леший-то тебя таскал?

— Да-с,— говорит,— с самой с той поры и начало ухватывать.

— Слушай,— говорю,— Марфушка, ты, я вижу, девушка умная, скажи мне, как, по-твоему, лгать грех али нет?

— Как, сударь, не грех! Вестимо, что грех.

— Так как же,— говорю,— знать ты это знаешь, а сама лжешь, и не в пустяках каких-нибудь, а призываешь на себя нечистую силу. Ты не шути этим: греха этого тебе, может быть, и не отмолить. Все, что ты матери плела на лешего, как он тебя вихрем воровал и как после подкинул,— все это ты выдумала, ничего этого не бывало, а если и сманивал тебя, так какой-нибудь человек, и тебе не след его прикрывать.

— Ничего я, сударь, окромя, что мамоньке говорила, ничего я не знаю больше!— А у самой, знаете, слезы так и текут.

Бился я с ней по крайней мере с полчаса: все думал лаской взять.

— Будь,— говорю,— Марфушка, со мной откровенна; вот тебе клятва моя, я старик, имею сам детей, на ветер слов говорить не стану: скажи мне только правду, я твой стыд девичий поберегу, даже матери твоей не скажу ничего, а посоветую хорошее и дам тебе лекарства.

Ничего не берет, уперлася в одном: «Знать не знаю, ведать ничего не ведаю», так что даже рассердила меня.

— Ну,— говорю,— Марфа, ты, я вижу, не боишься божьего суда, так побойся моего: я твое дело стороной раскрою, тогда уж не пеняй.

Молчит.

Отпустил я ее; досадно немного: солнце уже садилось, день, значит, потерян. Ехать — пожалуй, и дороги не найдешь. Остался я у Устиньи ночевать, напился чаю и только хотел улечься в свой тарантас,— вдруг подходит Пушкарев.

— Ваше благородие, леший,— говорит,— заправду начал кричать; не угодно ли послушать?

Заинтересовало это меня: слышал я об этих леших,— слышал много, а на опыте сам не имел. Вышел я из своего логовища к калитке, и точно-с, на удивление: гул такой, что я бы не поверил, если бы не своими ушами слышал: то ржет, например, как трехгодовалый жеребенок, то вдруг захохочет, как человек, то перекликаться,

аукаться начнет, потом в ладоши хлопает, а по заре, знаете, так во все стороны и раздается.

Храбрец мой Пушкарев стоит только да бормочет про себя: «Эка поганая сторонка!» Да и со мной, воображение, что ли, играет: сам очень хорошо понимаю, что это птица какая-нибудь, а между тем мороз по коже пробегает. Послушал я эту музыку, но так как день-то деньской, знаете, утомился, лег опять и сейчас же заснул богатырским сном. На другой день проснулся часу в девятом, кличу Пушкарева, чтоб велеть лошадей закладывать. Является он ко мне.

— Ваше благородие,— говорит,— у нас неблагополучно.

— Что такое?

— Девка-то опять пропала!

— Как,— говорю,— пропала! Земская,— говорю,— полиция, мы с тобой здесь, а она пропала: ты чего смотрел?

— Я, ваше благородие,— говорит,— всю ночь не спал, до самой почести зари пес этот гагайкал: до сна ли тут! Всю ночь,— говорит,— сидел на сеновале и трубку курил, ничего не слышал.

Иду я на улицу-с; мужиков, баб толпа, толкуют промеж собой и приходят по-прежнему на лешего; Аксинья мечется, как полоумная, по деревне, все ищет, знаете. Сделалось мне на этого лешего не в шутку досадно: это уж значит из-под носу у исправника украсть. Сделал я тут же по всей деревне обыск, разослал по всем дорогам гонцов — ничего нету; еду в Марково: там тоже обыск. Егор Парменыч дома, юлит передо мной.

— Что такое,— говорит,— значит? Что такое случилось?

Я ему ни слова не говорю, перебил все до синя пороха, однако чего искал, не нашел.

«Ну, думаю, за это дело надобно приниматься другим манером».

Был у меня тогда в Михайловской сотне сотский, прерасторопный мужик: лет пятнадцать в службе, знаете, понаторел, и кроме того, если в каком деле порастолкуешь да припугнешь немного, так и не обманет. Приехав в город, вызываю я его к себе.

— Слушай,— говорю,— Калистрат: в Погореловской волости мост теперь строят натурой: ты командируешься присматривать туда за работами,— это дело тебе само

по себе; а другое: там, из Дмитревского, девка пропадает во второй уж раз, и приходят, что будто бы ее леший ворует. Это, братец, пустяки!

— Пустяки-с,— говорит,— сударь, без сомнения, что пустяки.

— Ну, стало быть, ты это понимаешь, и потому, быв там, не зевай и расспрашивай, кого знаешь, что и как. Если слух будет, сейчас же накрой ее и ко мне представь. Сверх того, в этом деле Егор Парменыч что-то плутует, держи его покуда на глазах и узнавай, где он и что делает. Одним словом, или сыщи мне девку, или по крайней мере обтопчи ее след и проведай, как и отчего и с кем она бежала. Сам я тоже буду узнавать, и если что помимо тебя дойдет до меня, значит ты плутуешь; а за плутни сам знаешь, что бывает.

— Понимаем, сударь,— говорит,— не первый год при вас служим; только как донесение прикажете делать?

— Донесение,— говорю,— если что важное откроешь, так сейчас же, а если нет, то как кончится работа, тут и донесешь.

— Слушаю-с,— говорит он и отправился.

Жду неделю, жду другую — ничего нет; между тем выехал в уезд и прямо во второй стан. Определили тогда мне молодого станового пристава: он и сам позашалился и дела позапутал; надобно было ему пару поддать; приезжаю, начинаю свое дело делать, вдруг тот же Пушкарев приходит ко мне с веселым лицом.

— Ваше благородие, дмитревская, говорит, девка, что сбежала, явилась.

— А,— говорю,— доброе дело! Где ты узнал это?

— Матка пришла сюда с ней в стан: к вам просятся!

— Давай их сюда!

Обрадовался, знаете. Входит ко мне Аксинья, покуда одна.

— Здорово, старуха!

— Здравствуйте, кормилец!

— Что, дочку нашла?

— Нашла, родимый!

— Каким манером? Опять леший подкинул?

— Какое, ваше высокоблагородие, леший! Дело совсем другое выходит. На вас только теперь и надежда осталась: не оставьте хоша вы нас, сирот, вашей милостью.

— Идет,— говорю,— только ты много не разглагольствуй, а говори прямо дело.

— Нет, сударь, може, вы мне и не поверите; оспросите ее самое; она сама собой должна заявить; я ее нарочно привела.

— Ладно,— говорю,— позовите девку.

Входит, худая этакая, изнуренная.

— Ну, девица красная, очень рад тебя видеть; сказывай, где ты это пропадала: только смотри, не лги, говори правду.

— Нет, сударь,— говорит,— пошто лгать! Не для ча мне теперь лгать: ни себя ни других не покрою.

— Конечно,— говорю,— рассказывай, кто тебя сманил? И где ты была во второй и в первый раз?

— В первой,— говорит,— раз, сударь, жила я на чердаке в господском доме, в Маркове, а второй проживала у погорельского лесника.

— Как,— говорю,— в господском доме? Как ты туда попала?

Молчит.

— Из дворовых ребят, что ли, тебя кто заташил туда? Потупилась, знаете, этак покраснела.

— Никак нету-тка-с,— говорит.

— Так не сама же ты туда зашла! Зачем и для чего?

— Где, сударь, самой! Не сама.

— Так кто же? Говори, наконец!

Молчит.

— Что ж молчишь? — вмешалась мать.— Сама,— говорит,— пожелала господину исправнику заявить, а теперь не баешь. Бай ему все. Егор, сударь, Парменыч, управитель наш, загубил ее девичий век. Рассказывай, воровка, как дело-то было; что притихла?

— Рассказывай,— говорю,— Марфуша: здесь только мать твоя да я; оба тебе добра желаем. Егор Парменыч, что ли, тебя сманил?

Еще пуще моя девка покраснела и потупилась в самую землю.

— Он-с! — говорит со вздохом.

— Для чего же это, — я говорю, — он тебя сманивал? Пригуляла, что ли, ты с ним?

Опять молчит. Я посмотрел на матку: та стоит пригорюнившись и на мои слова кивнула мне головой и прямо говорит:

— Пригуляла, кормилец, — таить перед тобой нечего, пригуляла, страмовщица этакая! Кабы не мое материнское сердце, изорвала бы ее в куски... Девка пес — больше ничего, губительница своя и моя!.. То мне, кормилец, горько, в кого она, варварка, родилась, у кого брала эти примеры да науки!

Девка в слезы, а старуха и пошла трезвонить. Мать-с, обидно и больно, как дети худо что делают. Я сам отец: по себе сужу; только, откровенно вам сказать, в этот раз стало мне больше дочку жаль. Вижу, что у ней слезы горькие, непритворные.

— Перестань, — говорю, — сбрѣх: старого не воротишь; девке не легче твоего. Не слушай, — говорю, — Марфуша, матери, разговаривай со мной: полюбила, что ли, ты его?

— Да, сударь.

— Очень любила?

— Очень, сударь, большое пристрастие мое к нему было.

— Как же, — говорю, — ты такая хорошенькая — и влюбилась в такую скверную рожу? Деньгами, что ли, он тебя соблазнил?

— Нету-тка, судырь! Дело мое девичье: пошто мне деньги! На деньги бы я николи не пошла, если бы не пристрастка моя к нему.

Я только, знаете, пожал плечами, — вот, думаю, по пословице, понравится сатана лучше ясного сокола, и, главное, мне хотелось узнать, как у них все это шло, да и фактами желал заpastись, чтоб уж Егорку цапнуть ловчее. Стал я ее дальше расспрашивать — только ту-пится.

— Что же ты, — говорит ей мать опять, — коли дело делали, так рассказывай!

— Ничего, — говорит, — мамолька, не стану я говорить: как, — говорит, — мне про мою стыдобушку самой баять? Ничего я не скажу, — а сама, знаете, опять навзрыд зарыдала.

Никогда, сударь мой, во всю мою жизнь, во всю мою полицейскую службу, таких слез не видывал. Имел я дело с ворами, мошенниками настоящими, и многие из них передо мной раскаивались; но этакого, знаете, стыда и душевного раскаяния, как у этой девки, не встречал: вообразить, например, она себе не может свой проступок, и это

по-моему, признак очень хороший. Я вот и по делам замечал: которого этак начнешь расспрашивать, стыдить, а ему ничего, только и говорит: «Моя душа в грехе, моя и в ответе», — тут уж добра не жди, значит, человек потерянный; а эта девушка, вижу, не из таких. Больше ее расспрашивать мне даже стало жаль.

— Ну, — говорю, — Марфушка, коли не можешь, так и не говори, — и велел, знаете, выйти ей в сени — будто освежиться от слез, — а Аксинье мигнул, чтобы приосталась.

— Что, — говорю, — старуха, хоть ты не знаешь ли, что у них было?

— Выпытывала я, кормилец, из нее: баяла она мне много; не знаю, все ли правда!

— Как и когда и каким это манером, — говорю, — он ее соблазнил?

— Вот видишь, — говорит, — он и наперед того, на праздниках там, али бо-што, часто ко мне наезжал, иной раз ночку и две ночует; я вот, хоть убей на месте, ничего в заметку не брала, а он, слышь, по ее речам, и в те поры еще большие ласки ей делал.

— А тут, — говорю, — на барщину потребовали?

— Ну да, родимый, тут барщина эта подошла: свидания у них стали частые. Он ее, слышь, кормилец, все в одиночку на работу посылал, то в саду заставит полоть, либо пшеницу там обшастать, баню истопить, белье вымыть, а сам все к ней заходит, будто надсматривать; хозяйка его тем летом прытко хворала, и он будто такое имел намеренье: «Как, говорит, супружница моя жизнь покончит, так, говорит, Марфушка, я на тебе женюсь; барин мне невестою не постоит: кого хочу, того и беру». Сам знаешь, хитрый человек: хошь кого на словах уговорит да умаслит, а она что еще? Теперь-то разума немного, а в те поры и подавно... Не была бы она у меня, кормилец, такая, кабы не этот человек! Не в кого быть такой, — хоть бы про себя самоё мне сказать: смолода была сердцем любчива, а чтобы насчет худого, нет у нас таких в роду.

— Это так, — говорю, — старуха, про это и толковать нечего, только мне хочется знать, зачем он ее увозил и как он это сделал.

— Увез он ее, кормилец, одно дело то, что я от заделья ее отвела, пошугала тоже маненько: видит, на моих гла-



зах ему делать нечего больше было; а другое: не знаю, може, ее слова справедливы, а може, и нет, она мне баяла, что до самого сбеге ее промеж их была одна сухая любовь... Пучеглазый его Николашка кучер с самой весны живмя жил в нашей деревне: все, знаешь, за охотой ходил; места, вишь, у нас больно хороши для охоты. Через него он ей весточку и дал, чтобы вечером к ним на ободворки вышла. С поседок-то она, кормилец, к ним и прибежала, а они, сударик, ее будто от холода и угорили выпить целый стакан винища,— крепкого винища... Девке непривычной много ли надо: сразу обеспамятела! Что у них тут было, не знаю; волей али неволей, только усадили они ее в сани да в усадьбу и увезли, и сначала он ее, кормилец, поселил в барском кабинете, а тут, со страху, что ли, какого али так, перевел ее на чердак, и стала она словно арестантка какая: что хотел, то и делал: а у ней самой, кормилец, охоты к этому не было: с первых дней она в тоску впала и все ему говорила: «Экое, говорит, Егор Парменыч, ты надо мною дело сделал; отпусти ты меня к мамоньке; не май ты ни ее, ни меня». Он обещал ей кажинный раз и все обманывал; напоследок она ему говорит: «Если ты меня из моей заперти не выпустишь, так я, говорит, либо в окошко прыгну, либо что над собой сделаю». Этих слов он, кормилец, поопасился: «Хорошо, говорит, Марфушка, я тебя к матери привезу; только ты ничего не рассказывай, а притворись лучше немой, а если, паче чаяния, какова пора не мера, станут к тебе шибко приступать или сама собой проговоришь как-нибудь, так скажи, говорит, что тебя леший воровал, вихрем унес, а что там было, ты ничего не помнишь. Кто бы тебя, говорит, ни стал спрашивать, хоша я сам али какой чиновник, не сговаривай: стой в одном, а не то будет хуже: сама пропадешь да и мне не уйти». Дальше, кормилец, что было, сам знаешь. Послушаться она его точно послушалась, только сердцем начала больно тосковать, а с тоски этой, вестимо, и припадки стали приключаться; в церковь божью сходить хочется, а выстоять не может «Много раз, говорит, мамонька, сбиралась тебе всю правду открыть, только больно стыдно было».

— По какому же черту, — спрашиваю я, — она опять с ним убежала?

— Тоже не своей волей: в те поры, как ты к нам на-

ехал и начал разведывать, он той же ночью влез к ней в чуланчик, в слуховое окно, и почал ее пугать: так и так, говорит, Марфушка, за тобой, говорит, наехал исправник, и он тя завтра посадит в кандалы и пошлет в Сибирь на поселенье, а коли хочешь спастись, сбеги опять со мной: я, говорит, спрячу тебя в такое потаенное место, что никто николи тебя не отыщет. От страха да от глупости опять пошла по его стопам. Посадил он ее этим разом к леснику в сторожку. Напала на нее пуще того тоска несветимая, две недели только и знала, что исходила слезами; отпускать он ее никак не отпускал, приставил за нею караул крепкий, и как уж она это спроворила, не знаю, только ночью от них, кормилец, тайком сбежала и блудилась по лесу, не пимши, не емши, двое суток, вышла ан ли к Николе-на-Гриву, верст за тридцать от нашей деревни. Спасибо, что знакомый мужичок довел. Словно полоумная пришла, повалилась мне в ноги и все открыла, что те баяла. Как хошь, кормилец, верь или не верь, а я словечка не прибавлю.

— Верю, — говорю, — и даю тебе честное слово, что я с вашим губителем, Егором Парменовым, распоряджусь отлично: я давно до него добираюсь!

— Нет, кормилец, — отвечает мне старуха, — я не то, что к тебе с жалобой, али там, чтобы ему худо чрез нас было; говорить неча: сама дура-девка виновата, — не оправляю я ее! Ты только тем, родимый, заступись, чтоб он нас прижимать шибко не стал.

Между тем, знаете, является и сотский, которого я командировал, и таким манером я, чтобы и его испытать да и матку с дочкою поверить, их сейчас в особую комнату, а его к себе.

— Что, — говорю, — братец, скажешь хорошенького?

— Дмитревская девка, — говорит, — ваше благородие, нашлась, сама пришла к матери.

— Где же это она была и пропадала? — спрашиваю я, будто сам, знаете, ничего еще не знаю.

— Была-с невдалеке: по лесу шлялась, с управителем прибаловала. Он ей сам и пристанодержательствовал в тот и этот раз.

— Полно, — говорю, — братец, не может быть.

— Верно, ваше благородие: он на эти дела преловкий; это не первая-с.

— Не первая, — говорю, — значит, он ходок?

— Ходок-с. Я по вашему приказу обтоптал все его следы,— отвечает мне сотский и начал, знаете, насчитывать: — и в Маркове — Палагея да Марья, и в Варгунихе — солдатка Фекла, и на мельнице — мельничиха, и так далее.

— Что же, — говорю, — жена-то его: чего смотрит?

— До жены не доводят, а коли где сама что заметит, потачки не даст: строго спросит.

Я только плюнул. Делай он это, каналья, где-нибудь в бойких местах — черт его дери! А тут, знаете, народ нравственный в этом отношении: он эту моду завел, а с его примера, пожалуй, и другие начнут. Однако ж, чтоб на словах сотского не раскусить пустышки, под разными предложениями объехал я все эти показанные места, ласками да шуточками повыспросил, что мне нужно было: оказалось, что все правда, и только что потом я вернулся в стан, вдруг докладывают, что Егор Парменов приехал и желает меня видеть. Милости, говорю, просим. Входит, расшаркивается.

— Здравствуйте, — говорю, — молодой человек! Как ваши дела и обстоятельства?

— Да что, — говорит, — сударь, дела мои плохие: я так и так наслышан, что меня оговаривает беглая дмитревская девка, аки бы я сам ее сманивал и там будто бы прочее другое.

— Да, — говорю, — Егор Парменыч, есть такое дельце.

— Сделайте милость, батюшка, — говорит, — я, — говорит, — приехал просить вашего снисхождения. Позвольте мне против этого иметь свое оправдание: это все делается не что иное, как по злобе против меня; на первый раз точно-с: как эта девка сбежала, я, по молодости ее лет, заступился даже за нее перед вотчиной, но ей и матери сказал так, что если будет в другой раз, так не помилую. Она этому не вняла: сделала еще раз, а теперь, чтобы иметь увертку, чего лучше — свали на меня, да и баста. Если она говорит, что я ее сманивал, — один я этого сделать не мог; не в кармане же мне было ее держать! Пусть она покажет, кто ее, по моему приказу, держал, да тех людей и спросить: что они скажут, тогда и раскроется, кто прав и кто виноват. Про самое старуху всякий вам скажет: маята моя изо всей вотчины, хуже всякого потерянного мужика, — хитрая, злобная, грубая; а дочка тоже-с, яблоко от дерева недалеко падает, с две-

надцати лет пошла, может быть, на все четыре стороны. Коли уж после этого эдаким людям станут веру давать, так лучше не жить на белом свете.

Слушаю я его и едва только себя сдерживаю: значит, у человека совесть потеряна, лжет нагло и хоть бы в одном слове заикнулся, — как по-писанному катает.

— Что же, — говорю, — Егор Парменыч, так уж очень эту девушку ты порочишь? Какая-нибудь Палагея марковская, солдатка Фекла из Варгунихи или там мельничиха не лучше ее.

Он немного сконфузился, но на секунду-с, и опять как ни в чем не бывало.

— Я ее, сударь, — говорит, — не порочу против других: она или другие прочие, все мне равны.

— Полно, — говорю, — Егор Парменов, петли мешать, фигли-мигли выкидывать: я вашей братьи говорюнов через свои руки тысячи пропустил! По слову разберу, что солгал и что правду сказал. Тебе меня не обмануть: я все знаю.

— Я, сударь, — заюлил он, — не ради обмана, а только припадаю к вашим стопам: вотчина начинает против меня строить разные выдумки, заступы я себе ни от кого не вижу, не замарайте меня, маленького человека, навеки пред господином, а за добродетель вашу я благодарность чувствовать могу, хоть бы из денег, что ли, али вещами какими не потягошусь, а еще за благодеяние сочту.

Я усмехнулся, и вздумалось мне, знаете, с ним, мошенником, маленькую шутку сыграть.

— Если, — говорю, — Егор Парменыч, ты стал таким манером говорить, так дело, значит, принимает другой оборот; как бы с этого ты начал, так мы, может быть, давно бы все и покончили.

— Не смел-с, сударь, говорить; откровенно вам доложу, человек я от природы робкий, иной раз, не во гнев вам будь сказано, и подступиться к вам не смеешь: с вами говорить не то, что с кем-нибудь — ума вы необыкновенного, а мы люди самых маленьких понятий.

— Это, — говорю, — что! Это присказки; а ты мне говори сказку, как и что будет от тебя?

— Я бы, сударь, — говорит, — спросил вас самих назначение сделать. Вы чиновник не маленький; назначать

я вам не могу, а должен только удовлетворить с удовольствием, чего сами потребуете.

— Хорошо, братец, я от этого не прочь, изволь, — говорю я, — только вот видишь что: совести моей до сей поры я еще не продавал, следовательно мне на первый раз за пустяки ее уступить не следует — десяти целковых не возьму.

— Как возможно-с — десять целковых! Совесть — вещь драгоценная, — возражает он мне.

— Не то, что, — говорю я, — совсем уж драгоценная, а за твое, например, дело можно взять тычонок сто на ассигнации.

Его, знаете, так и попятило: и смеется, и побледнел, и не знает, как понять мои слова.

— Как, сударь, — говорит, — сто тысяч?

— А что же такое! — говорю я.

— Очень много-с, — говорит, — эдаких денег у меня и в руках не бывало, мне и не сосчитать.

— Ничего, — говорю, — вместе сосчитаем; не обочту, не бойся.

— Оно точно-с, только, сударь, помилуйте: сумма-то уже эта ни с чем несообразна.

— Отчего ж несообразна? У тебя, я думаю, в кармане лежит около того, а чего не достанет, я и в долг поверю.

— И сотой части, сударь, около того нет. Шутить надо мной изволите: я не больше того, как в шутку принимаю ваши слова.

— То-то и есть, любезный, — начал уж я ему говорить серьезно, — хорошо, что ты скоро догадался. Неужели же ты думаешь, что я из-за денег стану с тобой заодно плутовать и мошенничать?

И начал ему потом высчитывать вся и все: все ему его добрые деяния представил, как в зеркале; но... как бы вы думали, милостивый государь... у него достало духу от первого до последнего моего слова во всем запересться: по его понятию, правей человека на свете нет! Хоть бы маленькое раскаяние в том, что дурно делал! Толковал, толковал с ним так, что в горле пересохло, наконец, выслал от себя и с первой же почтою написал барину письмо с подробным изложением всех обстоятельств. Что будет на это письмо, не знаю-с, а жду ответа с большим нетерпением.

Следствие мы производили около двух недель. Перед самым потом отъездом исправник пришел ко мне с торжествующим лицом.

— Что это, Иван Семеныч, вы сегодня что-то очень веселы? — заметил я ему.

— Да-с, веселенок, — отвечал он. — Сегодня я получил письмо от барина Егора Парменова, которое душевно меня порадовало.

— Какого же содержания? — спросил было я.

— Ну, уж этого я теперь вам не скажу, а вы сами увидите, когда поедем назад через Марково, — сказал он и во всю дорогу, несмотря на мои расспросы, ничего мне не объяснил, а, приехав в Марково, велел собрать сход.

Егор Парменов сейчас явился к нам, бледный, худой, так что я его едва узнал.

— Батюшка Иван Семеныч, — отнесся он прямо к исправнику, — позвольте мне с вами два слова наедине сказать.

— Да зачем же наедине? — возразил ему тот. — Если тебе что нужно, так говори и при господине чиновнике. Секретов у меня с тобою не было, да и быть не может.

— Это дела-с собственные мои, домашние, так как я получил от господина моего письмо, с большими к себе и жене моей выговорами, — за что и про что, не знаю; только и сказано, чтоб я сейчас же исполнил какое от вас будет приказание. Разрешите, сударь, бога ради, как и что такое? Я одним мнением измучился пуще бог знает чего.

— Приказание мое я объявлю тебе на сходке, — отвечал исправник.

— Сходка готова; только мне до сходки желалось бы знать ваше распоряжение, — проговорил Егор Парменов.

— А коли готова, так и пойдем, — сказал исправник и пошел.

Я последовал за ним, Егор Парменов тоже. Проходя мимо флигеля, в котором тот жил, исправник обернулся к нему и сказал:

— Потрудись, Егор Парменыч, зайти и за женою: надобно, чтобы и она там была.

— Да она-то там зачем же нужна-с?

— Да так уж, так надобно.

Егор Парменов пожал плечами, пошел во флигель, но скоро вернулся.

— Нельзя ли, батюшка, жены не требовать: женщина она непривычная, на сходках мужицких не бывала. Сделайте-с такую божескую милость освободите ее,— сказал он.

— Нет, любезный, нельзя,— такое уже дело идет, нельзя,— возразил хладнокровно исправник.

Егор Парменов вздохнул, махнул рукою и пошел опять во флигель.

— Иван Семеныч, не жестоко ли это? — заметил я ему.

— Ничего-с! Она вот услышит и распорядится с супругом лучше всех нас.

Мы вошли в сборную избу, где уж была целая толпа мужиков.

— Здравствуйте, братцы, — сказал исправник.

— Здорово, бачка! Здорово, кормилец! — раздалось со всех сторон.

— Как живете-можете?

— Поманеньку, кормилец! Как твое благополучие?

— Тоже помаленьку: живу да хлеб жую.

— И дай те господи много лет жить да здравствовать, — сказали мужики, все в один голос.

— Спасибо, ребята, — отвечал Иван Семеныч и потом, оглядев толпу, прибавил: — а что, Петр Иванов здесь?

— Здесь, судырь, — отвечал из толпы, выступив немного вперед, как лунь седой старик, который, по своей почтенной наружности, был как отлетный соболь между другими мужиками.

— Ну что, старина, каково твое здоровье? Поправляется ли?

— Нешто, судырь; не против прежнего, а все надо бога благодарить. С нынешнего лета начинаю напольную работу порабатывать.

— Это-с, рекомендую вам,— отнесся ко мне исправник, — прежний здешний бурмистр, старик добрый, богомольный, начетник священного писания.

— Благодарствую, что хвалить изволишь, а уж какое наше читанье: в книге видим одно, а делаем другое.

— Больно уж ты тогда барским-то гневом огорчился.

— Что делать-то, судырь, — отвечал старик с груст-

ной улыбкой, — хлибки мы ведь уж оченно... что маненько не по нас, сейчас и в ропст, — к мирскому-то большую привязку имеем.

— Ну, а писать-то можешь еще? Не разучился? — спросил исправник.

— Пишу еще; земским я теперь от управителя поставлен: письма-то много.

— Как земским? — спросил Иван Семеныч. — Я этого и не знал. Это, значит, он тебя уж совсем своим подначальным сделал.

— Не знаю, судырь: его дело и его разуменье; только то, что должность эта мне маненько не по летам. Он вон уж и сам в очки смотрит, а я, пожалуй, годов на тридцать постарше его, — отвечал старик.

— А что, братцы, — начал Иван Семеныч после минутного молчания, обращаясь к мужикам, — как вы думаете и желаете, не лучше ли бы было, если бы вами опять начал управлять Петр Иванов, а Егора Парменова в смену?

При этом объявлении старик остался совершенно спокоен; у мужиков на всех почти лицах отразилось удовольствие, и все они переглянулись между собою.

Рыжий мужик, споривший с Егором Парменовым в тот наш проезд, первый заговорил:

— Это бы, ваше высокородие, лучше не надо быть, — в глаза и за глаза скажем. Егору Парменычу против Петра Иваныча не начальствовать.

— Это ты, братец, говоришь один, — возразил исправник, — а что скажет мир; говорите, братцы, все вдруг, как вы думаете?

— А что, бачка, миром те скажем, за Петра Иваныча мы окромя только бога молили, а от Егора Парменыча временем, пожалуй, жутко бывает! — послышалось разом несколько голосов.

— Один в деле, по рассудку, спросит, а другой просто те сказать обидчик: оборвет да облает — вот-те и порядки все, — добавил рыжий мужик.

На эти слова вошел Егор Парменов, вместе с женою своею, которая точно была премодная, собою недурна; оделась она, вероятно, для внушения к себе вящего уважения, в шелковое платье и даже надела шляпку, а в руках держала зонтик; вошла она прямо и довольно дерзко обратилась к исправнику:



— Что такое вам угодно от меня?

— Сейчас, милостивая государыня,— отвечал тот и, став посередине избы, вынул из бокового кармана письмо.

— Это я, — начал он, — читаю письмо вашего господина: «Милостивый государь Иван Семеныч! Приношу вам мою чувствительную благодарность за уведомление о беспутствах моего управителя — Егора Парменова. Оставить его в настоящей должности я считаю вредным для себя и для имения, и потому покорнейше прошу, по доброте вашей, принять участие и немедленно сделать распоряжение о смене его и о назначении в управляющие более благонадежного, по усмотрению вашему, человека; он же, как обманувший мое доверие, должен поступить зауряд в число дворовых людей».

Егор Парменов, побледневший, как преступник в минуты объявления ему судебного приговора, прислонился только к стене, а жена его зарыдала, — но, впрочем, проговорила:

— Что такое вы писали!.. Мы сами тоже будем господину писать: может быть, будет что-нибудь и другое.

— Пишите, сударыня; и я желаю от души вашему мужу оправдаться, — возразил Иван Семеныч. — Но вместе с тем, чтобы ты меня, Егор Парменыч, впоследствии не обвинил, что я на тебя что-нибудь налгал или выдумал, так вот, братцы-мужички, что я писал к вашему барину, — и затем, вынув из кармана черновое письмо, прочитал его во всеуслышание. В письме этом было написано все, что он мне говорил.

— Солгал ли я, выдумал ли я тут что-нибудь? — заключил он, обращаясь к мужикам.

Управительница взглянула на мужа так, что мне сделалось страшно за него.

— Ничего этого и в помышлениях моих не бывало; я и смолоду этими делами не занимался, а не то что по теперешним моим заботам. Выдумать на человека по злобе можно все! — возразил было он.

Некоторые из мужиков усмехнулись.

— Ну как, Егор Парменыч, не бывало! — сказал опять рыжий мужик, видно, заклятой в душе враг его. — Доказывать-то на тебя не смели, а може, бывало и больше... где лаской, а где-и другим брал...

— Вместо Егора Парменова, — заговорил опять ис-

правник, — я назначаю, по вашему желанию, Петра Иванова. Желаете ли вы?

— Желаем, бачка, все мы того желаем.

— Стало, быть делу так. Ты, Егор Парменов, изволь сдать все счета и отчеты руками, а ты, Петр Иванов, прими аккуратнее; на себя ничего не принимай: сам после отвечать будешь. Прощайте, братцы! Прощай, Егор Парменов! Не пеняй на меня: сама себя раба бьет, коли нечисто жнет, — заключил Иван Семеныч, и мы с ним вышли и тотчас же выехали.

#### IV

Год спустя пришел ко мне из Кокинского уезда мужичок, предобродушный на лицо и немного пьян, поклонился сначала от исправника и начал просить о своем деле, которого, как водится, не сумел растолковать.

— Да ты чей? — спросил я его.

Он сказал: оказалось, что марковского господина.

— Кто у вас — Петр Иванов нынче управителем? — стал я его расспрашивать.

— Нету, родименькой, — отвечает он, — Петр Иваныч — дай ему бог царство небесное — побывшился; теперь не Петр Иваныч — другой.

— Кто же такой?

— Из наших же, бачка, мужичков. Барин ладил было так, что из Питера насрать али там нанять кого, да Иван Семеныч зартачился: вы, говорит, кого хотите там выбиратье, а я, говорит, своего поставлю, — своего и посадил.

— Ну, а прежний, — спросил я, — где управитель, который до Петра Иванова был?

— Прежний-то?

— Да, прежний.

— О... это *леший-то*... как его по имени-то, пес драл, и забыл уж.

— Егор Парменов, — подхватил я.

— Так, так, бачка, Егор Парменов... тут же, при усадьбе, живет.

— Отчего же он *леший-то*?

— Прозванье уж у нас ему, кормилец, такое идет: до девок, до баб молодых был очень охоч. Вот тоже эдак девушку из Дмитрева от матки на увод увел, а опосля,

как отпустил, и велел ей на лешего сговорить. Исправник тогда об этом деле спознал — наехал: ну, так будь же ты, говорит, и сам *леший*; так, говорит, братцы-мужички, и зовите его *лешим*. А мы, дураки, тому и рады: с правителей-то его тем времечком сменили — посмелей стало... *леший* да *леший*... так *лешим* и остался.

— Где же теперь эта дмитревская девка?

— При матке, бачка, при матери живет.

— Замуж не вышла?

— Ну где, родимой, где уж? Хошь и мужички, а обегает этого: парнишку тоже принесла; matka ладила было подкинуть, так Марфутка-то не захотела: сама, говорит, выпою и выкормлю. Такая дикая теперь девка стала, слова с народом не промолвит. Все богомольствует... по богомольям ходит.

— Ну, а жена Егора Парменова где?

— При нем, бачка, живет; тоже по нем и ее *лешачихой* дразнят.

— А ее-то за что же?

— Сердцем-то она уж больно люта, да на руку дерзка; теперь уж воли-то ни над кем нет, так с мужем батальствуют, до того дерутся да лаются, что в избе-то уж места мало: на улицу выбиваются — прямые *лешие!*..

## ПЛОТНИЧЬЯ АРТЕЛЬ

*Рассказ*

### I

Зиму прошлого года я прожил в деревне, как говорится, в четырех стенах, в старом, мрачном доме, никого почти не видя, ничего не слыша, посреди усиленных кабинетных трудов, имея для своего развлечения одни только трехверстные поездки по непромятой дороге, и потому читатель может судить, с каким нетерпением встретил я весну. И — боже мой! Как хороша показалась мне оживающая природа и какую тонкую способность получил я наслаждаться ею, способность, которая — не могу скрыть — была мною утрачена в городской жизни, посреди чиновничьих и другого рода мирских треволнений. Настоящим образом таять начало с апреля, и я уж целый день оставался на воздухе, походя на больного, которому после полугодичного заключения разрешены прогулки, с тою только разницею, что я не боялся ни катара, ни ревматизма, ходил в легком платье, смело промачивал ноги и свободно вдыхал свежий и сыроватый воздух. Протаявший на пригорке луг сделался для меня предметом неистощимого внимаенья; по несколько раз в день я наблюдал, как он больше и больше расширяется, свежей и свежей зеленеет; появившиеся на садовых вербах почки я почти пересчитывал, как будто бы в них было все мое богатство. С каким живым чувством удовольствия поехал я, едва пробираясь, верхом по проваливающейся на каждом шагу дороге, посмотреть на

свою родовую речку, которую летом курица перейдет, но которая теперь, несясь широким разливом, уносила льдины, руша и ломая все, попадающееся ей навстречу: и сухое дерево, поваленное в ее русло осенним ветром, и накат с моста, и даже вершу, очень бы, кажется, старательно прикрепленную старым поваром, ради заманки в нее неопытных щурят. Целую неделю на небе хоть бы облачко; солнце с каждым днем обнаруживает больше и больше свою теплотворную силу и припекает где-нибудь у стены, точно летом. И сколько птиц появилось и как они ожили, откуда прилетели и все поют: токуют на своих сладострастных ассамблеях тетерева, свищет по временам соловей, кукует однообразно и печально кукушка, чирикают воробьи; там откликнется иволга, там прокричит коростель... Господи! Сколько силы, сколько страстности и в то же время сколько гармонии в этих звуках оживающего мира! Но вот снегу больше нет: лошадей, коров и овец, к большому их, сколько можно судить по наружности, удовольствию, сгоняют в поля — наступает рабочая пора; впрочем, весной работы еще ничего — не так торопят: с Христова дня по Петров пост воскресенья называются *гульбицами*; в полях возятся только мужики; а бабы и девки еще ткут красна, и которые из них помоложе и повеселей да посвободней в жизни, так ходят в соседние деревни или в усадьбы на гульбища; их обыкновенно сопровождают мальчишки в ситцевых рубахах и непременно с крашеным яйцом в руке. Гульбища эти по нашим местам нельзя сказать, чтоб были одушевлены: бабы и девки больше стоят, переглядываются друг с другом и, долго-долго собираясь и передумывая, станут, наконец, в хоровод и запоют бессмертную: «Как по морю, как по морю»; причем одна из девок, надев на голову фуражку, представит парня, убившего лебедя, а другая — красную девицу, которая подбирает перья убитого лебедя дружку на подушечку или, разделяясь на два города, ходят друг к другу навстречу и поют — одни: «А мы просо сеяли, сеяли», а другие: «А мы просо вытопчем, вытопчем». Самой живой сценой бывает, когда какой-нибудь мальчишка покатится вдруг колесом и врежется в самый хоровод, причем какая-нибудь баба, посердичее на лицо, не упустит случая, проговоря: «Я те, пес-баловник этакой!», толкнуть его ногой в бок, а тот повалится на землю и

начнет дрегать ногами: девки смеются... Иногда привяжется к хороводу только что воротившийся с базара пьяный мужичонко и туда же лезет целоваться с девками, которые покрасивее; но этакого срамного кто уж поцелует? И он начнет выкидывать другие штуки: возьмет, например, две палки, из которых одну представит будто смычок, а из другой скрипку, и начнет наигрывать языком «Барыню» или нагонит какого-нибудь мальчишку, стащит с него сапог силой, возьмет этот сапог, как балалайку, и, тоже наигрывая языком, пустится плясать и, подняв на улице своими лаптями страшную пыль, провалится, наконец, куда-нибудь; хороводницы после этого еще постоят, помолчат, пропоют иногда: «Калинушка с малинушкой лазоревый цвет»; мальчишки еще подерутся между собой и затем начнут расходиться по домам... Вот вам и игрище все!

Между тем время идет: яровое допахивают. Вечер ясный, теплый. Я сижу на задней галерее дома, обращенной во двор. В зале шумят двое маленьких сыновей: старшему, Павлу, четвертый, а младшему, Николаю, второй год. Они всеми силами стараются перекричать друг друга, вскрикивая: «Пли, пли, пли!» Это они играют в солдаты и воюют с турками; вдруг один заревел. «Поля! Ты опять брата дразнишь?» — кричу я, наперед зная, что старший, буян, обидел младшего, и хочу идти; но слышу, пришла мать: она лучше восстановит мир. Поля пренаивно объявил, что он братца пикой заколол; ему объясняют, что братца стыдно колоть пикой, потому что братец маленький, и в наказание уводят в гостиную, говоря, что его не пустят гулять больше на улицу и что он должен сидеть и смотреть книжку с картинками; а Колю между тем, успокоив леденцом, выносят ко мне на галерею. Он так огорчен, что все еще продолжает всхлипывать; большие голубые глазенки полны слез.

— Что, Коля, тебя обидели? — говорю я, беря его за подбородок.

Он несколько времени смотрит на меня, потом прижимает головку к плечу няньки и, как бы вспомнив тяжко нанесенную ему обиду, горько-горько опять заплачет.

— Полно, батюшка, полно! Вон, посмотри, какая идет кошка, а, а, а, кошка!.. Кис, кис, кис!.. — говорит ему в утешенье нянька, показывая на перебирающуюся по забору кошку.

Ребенок занялся.

— Кис, кис, кис! — шепчет он тихонько.

— Да, батюшка, кис, кис, кис,— повторяет за ним нянька, и оба, очень довольные друг другом, отправляются в залу баюкаться. «Бай, бай, бай!» — начинает напевать старуха. «О, о, о!» — окается ребенок, а я все еще продолжаю сидеть: не хочется в комнаты, отраднo на воздухе, хоть и становится свежо. Однако дедушка Фаддей прошел уж за квасом — значит, девятый час в исходе. Дедушка Фаддей только три раза в день (перед завтраком, обедом и ужином) слезает с печи и ходит за квасом, и — не беспокойтесь, никогда не опоздает; всегда первый нацедит из общественной квасницы в свой бурак; не любит жидкого квасу; ну, а дворян не маленькая, как раз сольют и набурят водой. Чалый мерин, которому дозволено гулять в саду по дряхлости лет и за заслуги, оказанные еще в юности, по случаю секретных поездок верхом верст за шесть, за пять, в самую глухую полночь и во всевозможную погоду,— чалка этот вдруг заржал; это значит, слышит лошадей — такой уж конь табунный, жив-сгорел по своем брате; значит, это с поля едут. Сначала показываются боронщики-мальчишки, вср-хами на лошадях; Васька, сын кучера, обыкновенно впе-реди всех и что есть духу мчится, но, завидев меня, поехал шагом. Этакого сорванца-мальчишки и вообра-зить трудно: его пошлют, например, за грибами, а он поймает в поле чью-нибудь чужую лошадь, взнуздает ее веревкой, да верст в десять конец и даст взад и вперед.

«Однако что ж это оральщики не шабашат?» — ду-маю я сам с собою. Но и оральщики отшабашили, едут! Это можно догадаться по крику задельного мужика, Петра Завирохи; не зная, можно подумать, что он с кем-нибудь бранится, а вовсе нет: он только говорит, и бес-престанно говорит, и все криком кричит; поэтому его За-виrhoй и прозвали. От оральщиков отделился староста, худощавый и с озабоченным лицом мужик, отличаю-щийся от прочих только тем, что в сапогах и с палочкой, но, как и все другие, сильно загорелый и перепачканный в грязи; он входит на красный двор, снимает шапку и подходит к перилам галереи.

— Здравствуй, Семен, надевай шапку. Что скажешь хорошего? — говорю я.

— Овес выкидали,— отвечает Семен неторопливо.

— Ну, и слава богу! Вовремя, значит, управляемся; теперь, стало быть, ячмень и лен только остался,— продолжаю я.

— Лен и ячмень остался теперь,— подтверждает Семен.

Несколько времени мы оба молчим.

— Теперь бы дождичка надо,— замечаю я.

Семен вздыхает.

— Не мешало бы и дождичка,— соглашается он.

Вообще он говорит как-то лениво: видно, устал да и... Я, впрочем, понимаю, что это значит.

— Эй! Кто там? — кричу я.— Скажите ключнице, чтоб дала старосте водки.

Лицо Семена в минуту освещается удовольствием; ключница выносит стакан водки и вместе с тем полломтя густо насоленного хлеба. Она, по разным сношениям, большая приятельница Семену и всех почти детей у него крестила.

Семен берет стакан, крестится и, проговоря:

— С засевам, батюшка, поздравляю! — выпивает сразу и потом морщится.

— Закусите,— говорит ключница, подавая ему хлеба.

Семен отламывает небольшой кусочек, съедает и откашливается.

— Озими, сударь, нынче, слава богу, хороши подымаются,— заговаривает уж он сам.

— Хороши, братец, хороши, видел я; и травы, кажется, тоже будут порядочные.

— Травы важные засели-с,— подтверждает Семен,— весна-то нынче, сударь, что бог даст вперед, вольготна для всего идет; оно, выходит, тепло, да и дождички перепадает.

— Заморозков чтоб не было — это вот скверно для всего,— замечаю я.

Семен усмехается.

— Пожалуй, что того и жди,— подтверждает он.— Покойный ваш папенька тоже говаривал, как этак с весны теплая погода начнет: «Ну, говорит, будет вычет; как подует от Николы любезный, так и ходи недели две в шубах».

(Никола — приход, от нас в северной стороне.)



— Неужели каждый год это бывает?

— Почесть что каждый год, что вот я ни живу; бог знает, отчего это! Кто говорит, что пахать начнут, пласт поднимут, так земля из себя холод даст, а кто и на черемуху приходит: что как черемуха цветет, так от нее сиверко делается... Бог знает, как и сказать.

— А куда завтра народ пошлешь? — спрашиваю я его.

— Завтра на дороги надо выгнать: выбивают. Сотской два раза прибегал, исправник его хлестать хочет, что дороги долго не чинят.

— Ну, на дороги, так на дороги, откладывать нечего в дальний ящик, не отвертись!

— Известно-с,— соглашается Семен,— за нами хоть бы и без вас,— прибавляет он,— хошь кого извольте спросить, никогда супротив прочих ни в чем остановки нет; как другие вышли, так и мы.

— Это хорошо; так и надо. Ступай, однако, отдохай,— заключаю я.

Семен сначала пошел было, но потом приостановился, подумал немного и опять воротился ко мне.

— Насчет плотника вы приказывали...— проговорил он.

— Ну да; что ж?

— Наказывал я: на этой неделе обещался побывать.

— И хорошо; только сделает ли он ригу-то?

— Как бы, кажись, не сделать: по мужикам здесь на всем околотке работает; рига не какая хитрость, не барские хоромы.

Тем разговор мой с Семеном и кончился.

## II

Дня через три я сижу в кабинете, который, как водится в помещичьих домах, прилегает к лакейской; слышу: кто-то вошел. Я окрикнул; вместо ответа в сопровождении Семена вошел мужик небольшого роста, с татарским отчасти окладом лица: глаза угловатые, лицо корявое, на бороде несколько волосков, но мужик хоть и из простых, а, должно быть, франтоват: голова расчесанная, намасленная, в сурьмленной поддевке нараспашку, в пестрядинной рубашке, с шелковым поясом, на котором висел медный гребень, в новых сапогах и с поярковой шляпой в руках. Как вошел, так и начал

молиться, и молился долго, потом вдруг подошел ко мне, и не успел я опомниться, как он схватил и поцеловал у меня руку. Мне это с первого раза не понравилось.

— Что это за глупости? — сказал я с сердцем, отнимая руку.

Он отступил несколько шагов назад.

— Это, ваше высокоблагородие, так следует: когда выходит господин, значит, опосля бога и царя первый, ваше высокопривосходительство,— проговорил он с умиленной физиономией.

— Да кто ты такой? Что ты за человек?

— Пузич, ваше привосходительство.

— Что такое Пузич?

— Фамилья такая у меня, значит, ваше привосходительство, и таперича наслышан я, что работа у вас имеется, ваше привосходительство, что ежесть таперича вам мастера хорошего надобно, чтоб в настоящем виде мог представить, ваше привосходительство...

— Плотник это-с, что этта говорили,— разрешил, наконец, Семен.

— А! Плотник! Я и не догадался. Красно уж очень говоришь ты, братец,— сказал я.

Похвалу эту Пузич принял за чистую монету.

— Нельзя, ваше высокопривосходительство, нам разговору не знать: ежесть таперича дела имеем мы с господами хорошими, значит, компанию им должны сделать завсегда, ваше привосходительство.

— Конечно,— сказал я,— только так ли ты хорошо строишь, как говоришь?

— Работа моя, ваше привосходительство, извольте хоть вашего Семена Яковлича спросить, здесь на знати; я не то, что плут какой-нибудь али мошенник; я одного этого бесчестья совестью не подниму взять на себя, а как перед богом, так и перед вами, должон сказать: колесо мое большое, ваше привосходительство, должон благодарить владычицу нашу, сенновскую божью мать, тем, что могу угодить господам. Таперича хоша бы карандашом рисовка на плане, али, примерно, циркулем, али теперь по ватерпасу прикинуть — все в разуме моем иметь могу, ваше привосходительство.

Семен усмехался и качал головой.

— Как же, братец, ты вот все это в разуме имеешь, а работаешь больше по мужикам? — заметил я.

— Нет, ваше привосходительство, как перед богом, так и перед вами, говорю: за бесчестье себе считаю у мужика работать. Что мужик? Дурак, так сказать, больше ничего! — возразил Пузич.

— Да ведь и ты не княжеского рода. Говори дело-то, а не то что... — вмешался Семен.

— Известно, слово твое настоящее, Семен Яковлич, коли говорить, так говорить надо дело, — отвечал, не сконфузясь, Пузич.

Он начал производить на меня окончательно неприятное впечатление, но вместе с тем я с удовольствием смотрел на несколько ленивую и флегматическую фигуру моего Семена, который слушал все это с тем худо скрытым невниманьем и презреньем, с каким обыкновенно слушает хороший мужик плутоватую болтовню своего брата.

— Брать ли нам его? — спросил я Семена.

Он посмотрел в потолок.

— Возьмите. Здесь ишь какая сторонка — глушь: хоть бы и из их брата, первой, другой, да, пожалуй, и обчелся.

— Без сумления будьте, ваше привосходительство, сделайте такую милость! — подхватил Пузич.

— Что ж ты возьмешь? Как твоя цена будет? — спросил я.

— Цена моя, ваше привосходительство, — начал Пузич, — будет деревенская, не то, что с запросом каким-нибудь али там прочее другое, а как перед богом, так и перед вами, для первого знакомства, удовольствие, значит, хочу сделать: на ваших харчах, выходит, двести рублей серебром.

При этом Семен мой даже попятился назад.

— Что ты, паря, сблаговал, что ли? — сказал он, устремив глаза на Пузича.

— Меньше одной копейки, Семен Яковлич, взять не могу, — отвечал тот.

Я с своей стороны понял, что имею дело с одним из тех мелких плутишек, которые запрашивают рубль на рубль барыша, и хотел разом с ним разделаться.

— Твоя цена двести рублей, а моя — сто, — сказал я, думая, что снес, сколько возможно, много. По лицу Пузича быстро промелькнул какой-то оттенок удовольствия, а Семена опять подернуло.

— Сто — много, помилуйте! Семидесяти рублей с него за глаза будет,— произнес он с укоризною.

Пузич усмехнулся.

— Не то что об семидесяти, а и об ста рублях, Семен Яковлич, разговаривать нечего. Этой цены малой ребенок не возьмет! — сказал он с такой уж физиономией, как будто скорей готов был умереть, чем работать за сто рублей.

— Полно врать, Пузич! Полно! Что язык понапрасну треплешь! — возразил Семен, начинавший выходить из терпенья.

— Може, вы сами язык понапрасну треплете, Семен Яковлич. Здесь идет разговор с господином, а не с мужиком: значит, понимаем, с кем и пред кем говорим,— возразил Пузич.

— Сто рублей, больше не дам: согласен — хорошо, а нет — так можешь убираться,— сказал я и нарочно стал заниматься своим делом.

Пузич не уходил.

— Позвольте, ваше привосходительство,— начал он, прикладывая руку к сердцу,— так как таперича я очень желаю, чтоб знакомство промеж нас было; значит, полтора ста серебром вы извольте положить, и то в убыток — верьте богу.

— Больше ста не дам, убирайся! — решил я.

— Ваше высокородие, позвольте! — продолжал Пузич, еще крепче прижимая руку к сердцу,— кому таперича свое тело не мило, а лопни, значит, мои глаза, ваше привосходительство, ежели кто хоть копейку против меня уваженья сделает.

— Ломается еще туда же, дура-голова! — проговорил Семен.

— Ломаться мы не ломаемся, Семен Яковлич, уж это вы сделайте такое ваше одолжение, а, значит, дело, выходит, неподходящее.

— Неподходящее? — повторил Семен сердито.— Мало тебе, жиду, ста рублей! Двадцать пять серебром и то лишних передано.

Пузич как будто бы не слышал этого замечания и обратился ко мне:

— Накиньте, ваше высокопривосходительство, хоть четвертную еще; ей-богу, безобидно будет.

Я молчал.

— Это что говорить,— продолжал Пузич,— срабо-

тать можно всяко; только я худого слова, значит, заслужить не хочу, а желаю так, чтоб меня и напередки знали... Maybe, ваше привосходительство, изволите знать по Буйскому уезду генерала Семенова: господин, осмелюсь так, по своей глупости, сказать, сторожающий, в настоящем виде, значит... когда у него эта стройка дома была, пятеро подрядчиков, с позволенья доложить вашему привосходительству, бегом сбежали от него; и таперича, когда он стал требовать меня: «Что ж, думаю, буди воля царя небесного! А я готов завсегда служить господам», ваше привосходительство. И как перед богом, так и перед вами потаить не могу, первые две недели все мои ребра палкой пересчитаны были; раз пять, может статья, кровянил меня; но я, по своему чувству, ваше привосходительство, не то что брал в обиду, а еще в удовольствие — значит, нас, дураков, уму-разуму учат; когда таперича мужик над тобой куражится и ломается, а от барина всегда снести могу.

«Экая подлая натурашка!» — подумал я и молчал.

— Таперича при разделке, когда дело это было, — продолжал опять Пузич, — генерал сейчас сделал мне отличное угощенье и выкинул пятьдесят рублей серебром лишних. «На, говорит, тебе, Пузич, за то, что нраву моему, значит, угодил». И эти деньги мне, ваше высокопривосходительство, дороже капитала миллионного: значит, могу служить господам.

Я все молчал. Выждав немного, Пузич снова заговорил:

— А насчет вашей работы, я так полагаю, что мое особенное старание быть должно. Таперича, когда моя работа у вас пойдет, вы извольте лечь на ваш диванчик и поживать — больше того ничего сказать не могу.

Я взглянул на Семена: в лице его изображались досада и презрение.

— Не дам больше ста, — сказал я решительно.

Пузич перенял свою шляпу из одной руки в другую.

— Этой цены, ваше высокородие, никому взять несообразно, — проговорил он и потом, постояв довольно долго, присовокупил, вздохнув: — Прощенья, значит, просим, — и стал молиться, и молился опять долго. — Только то выходит, что за пятнадцать верст сапоги понапрасну топтал, — пробурчал он.

— Эка, паря, что ты сапоги потоптал, так и дать тебе тысячу! — возразил Семен.

Пузич, ничего на это не возразив, повторил еще раз:

— Прощенья просим, ваше высокородие,— и пошел; Семен за ним; но я видел, что Пузич не уйдет и воротится, потому что шел он очень медленно по красному двору и все что-то толковал Семену. Через несколько минут они действительно опять воротились.

— Сто берет,— сказал Семен.

— Хоша три рублика серебром, ваше высокородие, набавьте: по крайности я на артель ведро вина куплю,— присовокупил Пузич с подло просительным выражением в лице.

— На артель, братец, я сам куплю ведро вина, а тебе копейки не прибавлю,— возразил я.

Пузич грустно покачал головой.

— Как нынче и на свете стало жить — не знаем,— начал он,— господа, выходит, пошли скупые, работы дешевые... Задаточку уж, ваше высокородие, извольте мне пожаловать,— прибавил он еще более просящим голосом.

— Сколько ж тебе?

— Двадцать пять рубликов серебром,— отвечал Пузич совершенно уж неестественным тоном.

Видимо, что он принадлежал к разряду тех людей, которые о деньгах покойно и без нервного раздражения не могут даже говорить. Я подал ему двадцать пять рублей; Семену это не понравилось.

— Что в задаток-то хватаешь? Не убежим от твоих денег! — сказал он Пузичу.

— Ах, Семен Яковлич, бог с тобой! Выходит, словно ты наших делов не знаешь,— проговорил тот, засовывая дрожащею рукою бумажку в кожаную кису, висевшую у него на шее.

— Ты сам, паря, свои дела лучше нашего знаешь,— отвечал Семен.— Теперь вот ты у нас работу берешь, а я тебе при барине говорю, чтоб опосля чего не вышло: ты там как знаешь, а чтоб на нашей работе Петруха был беспременно.

Пузич насмешливо улыбнулся.

— Петруха? — повторил он с усмешкою и обратился ко мне.— Когда я, ваше привосходительство, сам на работе, что же значит Петруха? Какое он звание может

иметь, когда сам подрядчик тут, извините вы меня, Семен Яковлич,— отнесся он к Семену.

— Из наших ведь, брат, мужицких извинений не шубу шить, это что! — возразил в свою очередь Семен.— Не на одной нашей работе, а и на всякой Петруху от тебя требуют — знаем тоже.

Пузич еще насмешливее покачал головою.

— Ежели теперича, чтоб барину сделать удовольствие, Семен Яковлич, мы о Петрухе не постоим, за Петруху нам стоять много нечего: артель моя большая.

— Артель твою, Пузич, и мы тоже знаем; я опять при барине говорю: кроме Петрухи, другой прочий може у тебя только с нынешнего Николы топор в руки взял, так уж с того спросить много нечего.

— А Петруха-то кто ж такой? — спросил я Семена.

— Уставщик; по всей артели парень надежный,— отвечал он.

— Кто про это говорит! Мастер отличнейший, в лучшем виде значит. Ежели теперича, ваше привосходительство, с позволения так сказать, по нашим делам он человек, значит, больной, а мы держим его без пролежек, ваше привосходительство, жалование, значит, кладем ему сполна,— проговорил Пузич, но таким голосом, по тону которого ясно было видно, что похвала Петрухе была ему нож острый, и он ее поддерживал только по своим торговым расчетам.

При прощанье Пузич стал просить у меня полтинничка в придачу ему на чай. В полтиннике мне уж известно было отказать — я ему дал, но Семен и против этого протестовал:

— Ну, паря, славная ты выжима! — проговорил он Пузичу, на что тот отвечал только вздохом.

### III

Сделать ригу я задумал не столько по необходимости, сколько для развлечения. Помещики, обреченные на постоянную жизнь в деревне, очень хорошо знают, что стройка в деревне — благодать, самое живое развлечение; точно должность получил, приличную своим способностям: каждое утро сходишь посмотреть, потолкуешь; после обеда опять идешь посмотреть; вечером тоже.

Все это делал, конечно, и я.

Пузич пришел ко мне работать сам четвёрт: с молодым парнем, Матюшкой, толсторожим и глуповатым на лицо, с Сергеичем, стариком очень благообразным, который обратил особенно мое внимание на себя тем, что рубил какими-то маленькими и очень красивыми щепочками и говорил самым мягким тенором, и все всклад. Уставщик Петруха был мужик высокого роста, сухой, с строгим выражением в глазах и с ироническим складом в губах. Он говорил мало, но резко и насмешливо. Сам Пузич оказался на работе совершенная дрянь: он суетился, кричал, бранил, впрочем, одного только Матюшку, который принимал его брань с простодушной и глупой улыбкой.

— Всегда тебя так бранит подрядчик? — спросил я его.

— Завселды... дядюшка ведь он мне, завселды все лается, — отвечал он мне и засмеялся.

Над Сергеичем Пузич только важничал, но перед Петрухой — другое дело: тот его, видимо, уничтожал своею личностью и чувствовал, кажется, особое наслаждение топтать его в грязь по всем распоряжениям в работе. Достаточно было Пузичу выбрать какое-нибудь бревно и положить его на углы, для пригонки, как Петр подходил, осматривал и распоряжался, чтоб бревно это сбросили, а тащили другое.

— Что? Аль неладно? — спрашивал при этом Пузич каким-то робким голосом; но Петр даже не удостоивал его ответом, молча размечал, и Пузич смиренно усаживался и начинал рубить по отметкам работника.

На другой или на третий день, как стали они у меня работать, я подошел и сел на бревне около Сергеича, на долю которого выпало тесать пол, и, следовательно, он работал вдали от прочих.

— Что, дедушка, стар бы ты по чужой стороне ходить, — заговорил я.

— Что делать-то, батюшка, — отвечал старик мягким голосом, — нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет — да! Хоть бы и мое дело, не молодой бы молодец, а на седьмой десяток валит... Пора бы не бревна катать, а лыко драть да на печке лежать — да!

— Отчего это ты все вот всклад говоришь? — заметил я ему.



Сергеич усмехнулся.

— Измолоду, государь мой милостивый,— отвечал он,— такая уж моя речь; где и язык-то набил на то — не помню; с хороводов да песен, видно, дело пошло; ну и тоже, грешным делом, дружничал по свадебкам.

— Дружкой ты был? — сказал я.

Старик самодовольно улыбнулся.

— Я был, може, из дружек дружка, а не то что просто дружка; меня ажно из Ярославля богатые мужички ссыгали дружничать у них на сыновних свадебках, по сту рублей мне за то платили; я был дорогой дружка — да! Ты вот, государь милостивый, в замечанье взял, что я речь всклад говорю; а кабы ты посмотрел еще меня на свадебном деле, так что твой колоколец под дугой али гусли многострунные!

— Как же у вас начинаются, например, эти сговоры? С чего? — спросил я.

— Сговоры, государь мой милостивый,— отвечал Сергеич, кажется, очень довольный моим вопросом,— начинаются, ежели дружка делом правит по порядку, как он сейчас в избу вошел, так с поклоном и говорит: «У вас, хозяин, есть товар, а у нас есть купец; товар ваш покажите, а купца нашего посмотрите...» Тут сейчас с их-ниной, с невестиной стороны, свашка, по-нашему, немытая рубашка, и выводит девку из-за занавески, ставит супротив жениха; они, вестимо, тупятся, а им говорят, чтоб смотрелись да гляделись — да! Теперича невеста, значит, понравилась. Женихов дружка сейчас по имени чувствует хозяина в дому... Иван Иваныч, что ли: «Товар ваш, Иван Иваныч, показался, ум-разум расступился, пожалуйста шубу на стол, станем богу молиться и по рукам биться» — да! Девку опять за занавеску уводят: горе горевать, свой девичий век обвывать, а батька с маткой сядут за стол дочку пропивать, и пьянство тут, государь мой милостивый, у нас, дураков-мужиков, бывает шибкое; все, значит, от жениха идет; только, сердечный, повертывайся, не жалея денежек, приезжай, значит, припасенный.

— А дары когда ж дарятся между женихом и невестой? — перебил я.

— Дары тут же дарятся,— продолжал Сергеич,— как теперича, по молитве это рукобитье совершится, старички, выходит, по другому, по третьему стаканчику вы-

пили, дружка сейчас и ведет жениха за занавеску, поначалу молитву читает: «Господи, помилуй нас» — да! Тут женишок и спрашивает: «Красна девица, дайте знать, как вас звать?» Она — хоша Катерина Степановна; значит — «Катерина Степановна, извольте наши дары принять, да не прогневаться, примите мало, а сочтите за много». Невеста дары приемлет; тут они и целуются, впервые, значит, а другие, може, и больно не впервые, губы-то, може, до мозолей уж трепаны, особливо по нашей гулящей сторонке... Теперича и невеста в оборот жениху говорит: «Господи, помилуй нас. Добрый молодец, как вас звать?» Примерно, Николай Иваныч; выходит — «Николай Иваныч, извольте от меня дары принять, да не прогневаться, примите мало, а сочтите за много!» Отда- ривается, значит — да!

— А как же невеста обвывает свой девичий век? — спросил я.

— Хорошо, сударь, обвывает,— отвечал Сергеич с каким-то умилением,— причитывает все к отцу, матери с такими речами: «Не лес к сырой земле клонится, добрые люди богу молятся. Стречай-ка ты, родимый батюшка, своих дорогих гостей, моих разлучников; сажай-ка за стол под окошечко свата-сватьяшку, дружку-засыльничка ко светцу, ко присветничку; не сдавайся, родимый батюшка, на слова их на ласковые, на поклоны низкие, на стакан пива пьяного, на чару зеленà вина; не отдавай меня, родимый батюшка, из теплых рук в холодные, ко чужому к отцу, к матери» — да! Приговоры хорошие идут. У нас ведь лучше, обряднее, чем у вас, у барь. Я вот тоже с улицы в окошко на господские свадьбы гляживал — что?.. Ничего нет потешного; схватятся только за руки да ходят, а ничего разговоров нет.

— Это на сговорах; а на свадьбах, я думаю, еще больше приговоров бывает,— продолжал я спрашивать, видя, что Сергеич был в душе мастер по свадебному делу, и я убежден, что он некоторые приговоры сам был способен сочинять. Вопрос мой окончательно расшевелил старика; он откашлялся, обдернул бороду и стал уж называть меня, вместо «государь мой милостивый», «друг сердечный».

— В самую свадьбу, друг сердечный,— начал он,— приговоры большие ведутся. Теперича взять так примерно: женихов поезд въезжает в селенье; дружка сей-

час, коли он ловкий, соскочит с саней и бежит к невестинной избе под окошко с таким приговором: «Стоят наши добрые кони во чистом поле, при пути, при дороженьке, под синими небесами, под чистыми под звездами, под черными облаками; нет ли у вас на дворе, сват и сватьяшка, местечка про наших коней?» Из избы им откликаются: «Милости просим; про ваших коней есть у нас много местов». Теперича по его команде поезд въезжает на двор, а он, государь мой милостивый, все впереди, никому вперед себя идти не дает. По сеням идет, молитву творит и себе приговор говорит: «Идет друженька лесенкой кленовою, мостиком калиновым, берется друженька за скобочку полужоную. Растворите, во имя отца и сына и святаго духа, дверечки широкие: сам я, сватушка, двери на петле поведу, а без *аминя* не войду!» Тем, друг сердечный, что в свадебном деле ничего без молитвы начинать нельзя, весь поезд, значит, *аминя* и ждет — да! Как теперича им *аминь* из избы оголосили, дружка опять впереди всех. Первый его приговор, как в избу вошел: «Скок чрез порог, на силу ножки переволок!» Значит, чтоб с шутки начать, да и дело кончать — да! Второй приговор его: «Все люди смотрящие, все люди глядящие! Покажите мне хозяина настоящего в дому». Третий его приговор: «Сватьяшка любезный, кто у вас в доме начал?» — «Начал у нас в доме спас, пресвятая богородица!» — отвечают ему. Четвертый приговор дружки значит: «Богу помолимся, на все четыре стороны поклонимся, сватьяшка любезный, в некоторые годы, в некоторые времена ходили промеж нас старушонки, дела наши свашили, были промеж нас и сговоры! Теперича, значит, дело наше сужено, ряжено: к молодому нашему князю пожалуйста молодую княгиню, к большому барину большого барина, к меньшому барину меньшого, к тысяцкому тысяцкого, а ко мне, дураку-дружке, такого же дурака-дружку». Теперича сейчас невесту и выводит из-за занавески брат родной али там крестный. Дружка опять было первый идет, брату пива подносит, только на тот раз ему говорят — да: «Пришлите себя помоложе, подороже и повежливее!» Значит, надо жениха посылать. Идет тот сначала с пустым пивом, без денег, значит, брат ему и говорит: «Кушайте сами; наша сестричка не дешевая: не по бору ходила, не шишки брала, а золотом шила; у нашей сестрички по тысяче косички, по рублю

волосок» — значит, выкуп надобно делать, денег в пиво класть.

— А дружка что тут делает? — спросил я.

— Дружка промеж тем свое справляет, — отвечал Сергеич. — Тоже, грешным делом, бывало, попересохнет в горле-то, так нарочно и закашляешься: и кашляешь и кашляешь, а тут такой приговор и ведешь: «Сватыюшки любезные, что-то в горле попершило, позакашлялось: нет ли у вас водицы испить, а коли воды нет, мы пьем и пивцо, а пивца нет, выпьем и винца!» Ну, и на другой хорошей свадьбе, где вином-то просто, тут же стакана три в тебя волюют; так и считай теперь: сколько в целый день-то попадет. С другой, бывало, богатенькой свадебки, после друженья, приедешь домой, так целую неделю в баню ходишь — свадебную дурь паром выгонять. Хорошо дружке бывает, нечего сказать, больно хорошо.

— Хорошо-то, хорошо, да ведь и это дело не всякий справит: надобно тоже разум иметь, — заметил я.

— Еще какой разум-то, друг сердечный! Разум большой надо иметь, — отвечал Сергеич. — Вот тоже нынешние дружки, посмотришь, званье только носят... Хоть бы теперь приговор вести надо так, чтоб кажинное слово всяк в толк взял, а не то что на ветер языком проболтать. За пояс бы, кажись, в экие годы свои всех их заткнул, — заключил он и начал тесать.

— А уж нынче разве ты не дружничаешь? — спросил я.

— Нет, государь мой милостивый, давно уж отстал; что-то с рожии-то цветен да румян, а глаза больно плохи. Вот и рубишь теперь все больше по памяти; кажинный год раза три сослепа-то обрубисься, а уж где дружничать: тут надо глаза быстрые, ноги прыткие!

— Ты семейный али одинокий?

— Какое, друг сердечный, одинокий! — возразил Сергеич: — Родом-то, видно, из кустовой ржи. Было в избе всякого колосья — и мужиков и девья: пятерых дочек одних возвел, да чужой человек пенья копать увел, в замужества, значит, роздал — да! Двух было сыновьев возрастил, да и тем что-то мало себе угодил. За грехи наши, видно, бог нас наказывает. Иов праведный был, да и на того бог посылал испытанье; а нам, окаянным, еще мало, что по ребрам попало — да!

— А сыновья где ж у тебя?

— Сыновья, друг сердечный, старший, волей божьею на Низу холеркой помер, а другого больно уж любил да ласкал, в чужи люди не пускал, думал, в старые наши годы будут от него подмоги, а выходит, видно, так, что человек на батькиных с маткой пирогах хуже растет, чем на чужих кулаках — да!

— Где ж он? Спился, что ли?

— Я уж и сказать тебе не знаю как, в кою сторону он дурак; недолго бы, кажись, пил, да много в кабак отвалил. Добросовестным он, государь мой милостивый, при конторе нашей был, и послали его, где греху-то быть, с мирскими деньгами в город; уехать-то уехал в поддевке, а оттель привели на веревке — да! Все денежки, двести с хвостиком, и ухнул там; добрые люди, спасибо, подсобили — да! Он-то благовал, а батька в ответ попал: мирские рублики, батюшка, не простят. На сходке такое положенье сделали, что али бы я деньги за него клал, али бы его, разбойника, на поселенье сдал — да! Не стерпел я этого: детки-то к нам сердцами не падки, а они нам — худы ли, добры — всё сладки. Делать неча, пошел к Пузичу, стал ему в ноги кланяться...

— А разве Пузич у вас деньги в рост отдает?

— Нештó, нештó, сударь одолжает кой-кого на знати,— отвечал старик, вздохнув,— исстаря еще у них в дому это заведение идет: деды его еще этим промышляли.

— Помилуй! Сам Пузич дурак какой-то, болтушка! — заметил я.

Сергеич усмехнулся.

— Да, то-то вот, что-что разумом мелок, да как сердцем-то крепок, так и богатеет нас с тобой, государь милостивый, живет. Гривной одолжит, а рубль сорвать норовит; мало бога знает, неча похвалить, татарский род проклятый, что-что крещеные! Хоша бы и мое дело: тем временем слова не сказал и дал, только в конторе заявил, а теперь и держит словно в кабале; стар не стар, а все в эту пору рубль серебра стою, а он на круг два с полтиной кладет.

— Ну, а прочие как же живут у него? — спросил я.

— А что, государь мой милостивый, прямо тебе скажу: вся артель у нас на одном порядке,— отвечал старик

тихо.— Все в кабале у него состоим. Вон хоть бы этот Матюшка, дурашный, дурашный парень, а все бы в неделю не рублем ассигнациями надо ценить.

— Неужели же он рубль ассигнациями только кладет ему в неделю? — воскликнул я.

— Али больше! — отвечал Сергеич.— Он тоже пригульный: девка по лесу шла да его нашла, бобылка согрешила — землицы, значит, и не было у них, хлебцем-то и бились... Ну, Пузич и делал им это одолжение: давал на пропитание, а теперь и рассчитывает как надо: парень круглый год калачика не уболит съись; лапотов новых не на что купить, а все денег нет — да! Каковы наши богатые-то мужички, а наш-то уж, пожалуй, изо всех хват, черту брат.

— Ну, а этот Петр, уставщик, верно, на особом у Пузича положении нанят, по настоящей ряде?

— А какое, сударь, по настоящей ряде! Тоже в кабале, еще больше нашего. Триста рублей ему должным состоял, от родителя тоже поотделился, а тут, где бы разживаться, в болость впал, словно бы года два хворал, а уж это до кого ни доведись: хозяин лежит, нужду в доме творит.

— Отчего ж Пузич трусит его, кажется?

— Ну да, батюшка, по работе-то нужный ему человек: что бы он без него? Как без рук, сам видишь! А еще и то... после болести, что ли, с ним это сделалось, сердцем-то Петруха неугож, гневен, значит. Теперича, что маленько Пузич сделает не по нем, он сейчас ему и влепит: «Ты, баец, меня в грех не вводи; у меня твоей голове давно место в лесу прискано».

— Неужели же он это вправду говорит? — спросил я. Сергеич засмеялся.

— Нету, сударь, какое, кажись, вправду! — отвечал он.— Мужик богобоязливый, сделает ли экое дело! Сердце только срывает, страшает. Ну, а Пузич тоже плутоват-плутоват, а ведь заячьего разуму человек: на ружье глядит, а от воробья бежит, и боится этого самого, не прекословствует ему много.

Петр стал меня очень интересовать, и я хотел было о нем поподробнее расспросить Сергеича, но в это время подошел Пузич и начал нести какую-то чушь о работе, и я, чтоб отделаться от него, ушел в комнаты.

Когда срубы были срублены, Пузич, к большому моему удовольствию, отправился на другую какую-то работу. В тот же день Семен подошел ко мне.

— Винца-то ребятам обещали; прикажите хоть штофчик им выставить — и будет с них! — проговорил он.

— Хорошо, — сказал я, — что ж ты мне давно не напомнишь? Я было и забыл.

— Пережидал, чтоб собака эта куда-нибудь убежала, а то ведь рыло свое тут же стал бы мочить, — отвечал Семен, подразумевая, конечно, под собакой Пузича.

— Когда ж им дать? — спросил я.

— Да вот хоть ужо вечером, как отшабашат.

— Хорошо... Зайди ты перед тем в горницу за вином, и я выйду к ним, — сказал я.

— Слушаю-с, — отвечал Семен и неторопливо пошел к своему делу.

Вечером я действительно в сопровождении Семена, вооруженного штофом и несколькими ломтями хлеба, вышел к плотникам. Они, вероятно, уж предуведомленные, сидели на бревнах. При моем приходе Сергеич и Матюшка привстали было и сняли шапки.

— Сидите, братцы; винца я вам принес, выпейте, — сказал я, садясь около них тоже на бревно.

Петр, сидевший потупившись, откашлялся.

— Благодарствуй, государь наш милостивый, благодарствуй, — проговорил Сергеич.

Матюшка глупо улыбнулся. Я велел подать первому Петру. Он выпил, откашлялся опять и проговорил:

— Вот кабы этим лекарством почаще во рту полоскать, словно здоровее был бы.

— Будто? — спросил я.

— Право, славно бы так; мужику вино, что мельнице деготь: смазал и ходчей на ходу пошел, — отвечал Петр.

— Вино сердце веселит, вино разум творит, — при-совокупил Сергеич, беря дрожащими руками стакан.

Матюшка, выпив, только стал облизываться, как теленок, которому на морду посыпали соли.

Из принесенного Семеном хлеба Сергеич взял ломоть, аккуратно посолил его и начал жевать небольшим числом оставшихся зубов.

Матюшка захватил два сукроя, почти в два приема

забил их в рот и стал, как говорится, уплетать за обе щеки. Петр не брал.

— Что ты, и не закусываешь? — сказал я ему.

— Нет, не закусываю. Мы ведь не чайники, а водочники: пососал язык — и баста! — отвечал он и опять закашлялся, а потом обратился ко мне:

— Я, барин, батьку еще твоего знал: старик был важный.

— Важный?

— Важный; лучше тебя.

— Чем же лучше? — спросил я.

— Да словно бы умней тебя был, — отвечал без церемонии Петр.

— Почему ж он умней меня был?

— А потому он умней тебя был, что уж он бы, брат, Пузичу за немшоные стены не дал ста серебром — шалишь! Денег, видно, у тебя благих много.

— То-то и есть, что не много, а мало, — сказал я.

— И денег-то мало. Ну, брат, видно, ты взаправду не больно умен, — подхватил Петр.

Выпитый стакан водки очень, кажется, подействовал на его разговорчивость.

Матюшка при этом засмеялся. Сергеич покачал головой.

— Ты по городам ведь больше финтил, — продолжал Петр, — и батькиным денежкам, чай, глаза протер. Как бы старика теперь поднять, он бы задал перцу и тебе и приказчику твоему Семену Яковличу. Что, черномазое рыло, водки-то не подносишь? Али не любо, что против шерсти глажу? — обратился он к Семену.

Тот поднес ему водки и проговорил:

— Эко мелево ты, Петруха! — но совсем не тем тоном, каким он говорил Пузичу.

— То-то мелево. Свернули вы, ребята, с барином домок, нечего сказать. Прежде, бывало, при старике: хлеба нет, куда ехать позаимствоваться? В Раменье... А нынче, посмотришь, кто в Карцове хлеба покупает? Все раменский Семен Яковлич.

— Божья воля; колькой год все неурожаи да червь побивает, — заметил Семен; но Петр как бы не слышал этого и продолжал, обращаясь к Сергеичу:

— Прежде, бывало, в Вонышеве работаешь, еще в воскресенье во втором уповоде мужики почнут сби-



раться. «Куда, ребята?» — спросишь. «На заделье». — «Да что рано?» — «Лучше за-время, а то барин забранится»... А нынче, голова, в понедельник, после завтрака, только еще запрягать начнут. «Что, плуты, поздно едете?» — «Успеем-ста. Семен Яковлич простит».

Семена начинало за живое, наконец, трогать.

— Что, паря, больно уж конфузишь, и еще перед баринном? — проговорил он.

Петр сначала засмеялся, потом закашлялся.

— Что мне тебя, голубчик, конфузить? — начал он, едва отдыхая от кашля. — Не за что! Ты ведь выдался не из плутов, а только из дураков.

Семен махнул рукой. Мне стало уж жаль его.

— Я, напротив, очень доволен Семеном; мне такого смиренного и доброго приказчика и надо, — сказал я.

Петр посмотрел мне в лицо.

— У тебя какой чин-то, большой али нет? — спросил он вдруг.

— Титулярный советник — капитан, значит, — отвечал я.

— Не чиновен же ты, брат! Вон у нас барин, так генерал; а ты, видно, и служить-то не охоч. Барыню-то в замужество хошь богатую ли взял?

— Нет, не богатую, а по сердцу.

— По сердцу, ну да! — возразил Петр. — Пропащее твое дело, как я посмотрю на тебя! А ты бы дослужился до больших чинов, невесту бы взял богатую, в вотчину бы свою приехал в карете осьмериком, усадьбу бы сейчас всю каменную выстроил, дурака бы Сеньку своего в лисью шубу нарядил.

— Это кому как бог даст. Ты вот и сам не богат, — сказал я.

— Что тебе примеры-то с меня брать? А, пожалуй, выходит, что и взаправду в меня пошел: такой же дурашный! — отрезал начисто Петр.

— Больно уж смело, Петр Алексеич, говоришь! — заметил Сергеич, опасавшийся, кажется, чтоб я не обиделся.

— Что смело-то? Али, по-твоему, лиса бесхвостая, лясы да балясы гладкие точить? — отвечал ему Петр и отнесся ко мне, показывая на Сергеича. — Ведь прелюкавый старичишко, кто его знает: еще по сю пору за девками бегаёт, уговорит да умаслит ловчей молодого.

Сергеич слегка покраснел.

— Полно, друг сердечный! — возразил он. — Что тебе на меня воротить, лучше об себе открыть; теперь-то на седьмую версту нос вытянул, а молодым тоже помним: высокий да пригожий, только девкам и угожий.

При этих словах, неизвестно почему, Матюшка вдруг засмеялся. Петр на него посмотрел.

— Ты чему, дурак, смеешься? Али знаешь, как девки любят? — спросил он.

— Нету, дяденька, я этого не знаю, нетути, — отвечал тот простодушно.

— И ладно, что нету; дуракова рода, говорят, нынче разводиться не приказано. Пузичев сынишко последний в племя пущен, — проговорил Петр и потом прибавил, как бы сам с собою: — Было, видно, и наше времечко; бывало, можно так, что молодичицы в Семеновском-лапотном на базаре из-за Петрушки шлыками дирались — подопьют тоже.

— Из-за кости с мозгом, Петр Алексеич, и собаки грызутся... Хорошую ягоду издалече ходят брать, — сказал Сергеич.

— Стало быть, ты смолоду, Петр, волокита был? — спросил я его.

Он усмехнулся.

— Волокитствовал, сударь, — отвечал за него Сергеич, — сторонка наша, государь мой милостивый, не против здешних мест: веселая, гулливая; девки толстые, из себя пригожие, нарядные; Петр Алексеич поначалу в неге жил, молвить так: на пиве родился, на лепешках поднялся — да!

— В Дьякове, голова, была у меня главная притона, слышь, — начал Петр, — день-то деньской, вестимо, на работе, так ночью, братец ты мой, по этой хрюминской пустыне и лупишь. Теперь, голова, днем идешь, так боишься, чтобы на зверя не наскочить, а в те поры ни страху, ни устали!

— Значит, сердцем шел, а не ногами, — заметил Сергеич.

— Какое тут к ляду сердцем! — возразил Петр. — Я на это был крепок, особой привязки у меня никогда не было, а так, баловство, вон как и у Сеньки же.

— Что тебя Сенька-то трогает? Все бы тебе Сеньку задеть! — отозвался Семен.

— Ты молчи лучше, клинья борода, не серди меня, а не то сейчас обличу,— сказал ему Петр.

— Не в чем, брат, меня обличать,— проговорил кротко, но не совсем спокойно Семен.

— Не в чем? А ну-ка, сказывай, как молодым бабам десятины меряешь? Что? Потупился? Сам ведь я своими глазами видел: как, голова, молодой бабе мерять десятину, все колов на двадцать, на тридцать простит, а она и помни это: получка после будет!

Семен не вытерпел и плюнул.

— Тьфу, греховодник! Мели больше! — проговорил он.

— Ты не плюйся, а водку-то поднеси,— сказал Петр.

— Мёлево, мёлево и есть,— говорил Семен, поднося водку.

Петр, выпив, опять надолго закашлялся каким-то глухим, желудочным кашлем.

— Вели подносику-то своему выпить: у него давно слюнки текут,— обратился он ко мне, едва отдыхая от кашля, и замечанием этим сконфузил и меня и Семена.

— Выпей, Семен; что ж ты сам не пьешь? — поспешил я сказать.

— Слушаю-с,— отвечал растерявшийся Семен, налил себе через край стакан и выпил.— Я теперь пойду и отнесу штоф в горницу,— прибавил он.

— Ступай,— сказал я.

Семен ушел. Он, кажется, нарочно поспешил уйти, чтоб избавиться от колких намеков Петра; тот посмотрел ему вслед с насмешкою и обратился ко мне:

— Ты, барин, взаправду не осердись, что я просто с тобой говорю; коли хочешь, так я и отстану.

— Напротив, я очень люблю, когда со мной говорят просто.

— Это ведь уж мы с этим старым девушником, Сергеичем, давно смекнули.

— Смекнули? — спросил я.

— Смекнули,— отвечал Петр.— Ты не смотри, что мы с ним в лаптях ходим, а ведь на три аршина в землю видим. Коли ты не сердишься, что с тобой просто говорят, я, пожалуй, тебя прощу и на ухо тебе скажу: ты не дурашный, а умный — слышь? А все, братец ты мой, управляющему своему, Сеньке, скажи от меня, чтоб он палку-понукалку не на полатах держал, а и на полосу

временем выносил: наш брат, мужик — плут! Как узнает, что в передке плети нет, так мало, что не повезет, да тебя еще оседлает. Я это тебе говорю, сочти хоть так, за вино твое! Скажем по мужике, да надо сказать и по барине.

— За совет твой спасибо,— сказал я,— только сам вот ты отчего все кашляешь?

— Болен я, братец ты мой.

— Чем же?

— Нутром, порченый я,— отвечал Петр, и лицо его мгновенно приняло, вместо насмешливого, какое-то мрачное выражение.

— Кто ж это тебя испортил? — спросил я.

Петр молчал.

— Кто его испортил? — отнесся я к Сергеичу.

— Не знаю, государь милостивый; его дела! — отвечал уклончиво старик.

— Не знает, седая крыса, словно и взаправду не знает,— отозвался Петр.

— Знать-то, друг сердечный, може, и знаем, да только то, что много переговоришь, так тебе, пожалуй, не угодишь,— отвечал осторожный Сергеич, который, кажется, чувствовал к Петру если не страх, то по крайней мере заметное уважение.

— Что не угодить-то? Не на дорогу ходил! — сказал Петр и задумался.

— Что такое с ним случилось? — спросил я Сергеича.

— По дому тоже, государь милостивый, вышло,— отвечал опять не прямо старик.— Мы ведь, батьки-мужики,— дураки, мотунов да шатунов деток, как и я же грешный, жалеем, а коли парень хорош, так давай нам всего: и денег в дом высылай, и хозяйку приведи работающую и богатую, чтоб было батьке где по праздникам гостить да вино пить.

— В моем, голова, деле батька ничего,— возразил Петр,— все от Федоски идет. В самую еще мою свадьбу за красным столом в обиду вошла...

— Что ж так неуютно ей было? — спросил Сергеич.

— Неуютно ей, братец ты мой, показалось, что наливкой не угощали; для дедушки Сидора старухи была, слышь, наливка куплена, так зачем вот ей уваженья не сделали и наливкой тоже не потчевали,— отвечал Петр. (В лице его уж и тени не оставалось веселости.)

Сергеич покачал головой.

— Кто такая эта Федосья? — спросил я.

— Мачеха наша, — отвечал Петр и продолжал: — Стола-то, голова, не досидела, выскочила; батька, слышь, унимае, просит: ничего не властвует — выбежала, знаешь, на двор, сама лошадь заложила и удрала; иди, батька, значит, пешком, коли ей не угодили. Смехоты, голова, да и только втепоры было!

Сергеич опять покачал головой.

— Командирша была, друг сердечный, над стариком; слышали мы это и видывали.

— Командирша такая, голова, была, что синя пороха без ее воли в доме не сдувалось. Бывало, голова, не то, что уж хозяйка моя, приведенная в дом, а девки-сестры придут иной раз из лесу, голодные, не смеют ведь, братец ты мой, без спросу у ней в лукошко сходить да конец пирога отрезать; все батьке в уши, а тот сейчас и оговорит; так из куска-то хлеба, голова, принимать кому это складно?

— Злая баба в дому хуже черта в лесу — да: от того хоть молитвой да крестом отойдешь, а эту и пестом не отобьешь, — проговорил Сергеич и потом, вздохнув, прибавил: — Ваша Федосья Ивановна, друг сердечной Петр Алексеич, у сердца у меня лежит. Серезжка мой, може, из-за нее и погибает. Много народу видело, как она в Галиче с ним в харчевне деньгами руководствовала.

Петр махнул рукой.

— Говорить-то только неохота, — пробунчал он про себя.

— Да, то-то, — продолжал Сергеич, — было ли там у них что — не ведаю, а болтовни про нее тоже много шло. Вот и твое дело: за красным столом в обиду вошло, а може, не с наливки сердце ее надрывалось, а жаль было твоего холоства и свободушки — да!

Петр еще больше нахмурился.

— Пес ее, голова, знает! А пожалуй, на то смахивало, — отвечал он и замолчал; потом, как бы припомнив, продолжал: — Раз, братец ты мой, о казанской это было дело, поехала она праздничать в Суровцово, нарядилась, голова, знаешь, что купчиха твоя другая; жеребенок у нас тогда был, выкормок, конь богатый; коня этого для ней заложили; батька сам не поехал и меня, значит, в кучера присудил.

— А у кого в Суровцове-то гостились? — перебил Сергеич.

— Гости, голова, у нас в Суровцове были хорошие: у Лизаветы Михайловны, коли знавал,— отвечал Петр.

— Знавал, друг сердечный, знавал: гости наипервые,— сказал Сергеич.

— Гости важные,— подтвердил Петр и продолжал: — Все, голова, наша Федосья весело праздничала; беседы тоже повечеру; тут, братец ты мой, дворовые ребята из Зеленцына наехали; она, слышь, с теми шутит, балует, жгутом лупмя их лупит; другой, сердечный, только выгибается, да еще в стыд их вводит, голова: купите, говорит, девушкам пряников; какие вы парни, коли у вас денег на пряники не хватает!

— Какая! Пряников просит! — проговорил Матюшка.

— Бойкая была женщина, смелая! — заметил Сергеич.

— Поехали мы с ней, таким делом, уж на четвертый день поутру,— продолжал Петр, подперши голову обеими руками и заметно увлеченный своими воспоминаниями,— на дорогу, известно, похмелились маненько; только Федоска моя не песни поет, а сидит пригорюнившись. Ладно! Едем мы с ней таким делом, путем-дорогою... вдруг, голова, она схватила меня за руку и почала ее жать, крепко сжала. «Петрушка, говорит, поцалуй меня!» — «Полно, говорю, мамонька, что за цалованье!» — «Ну, Петрушка,— говорит она мне на это,— кабы я была не за твоим батькой, я бы замуж за тебя пошла!» Я, знаешь, голова, и рассмеялся. «Что, пес, говорит, смеешься? А то, дурак, може, не знаешь, что хоша бы родная мать у тебя была, так бы тебя не любила, как я тебя люблю!» — «На том, говорю, мамонька, покорно благодарю». — «Ну, говорит, Петруша, никому, говорит, николи не говорила, а тебе скажу: твой старый батька заедает мой молодой век!» — «Это, мамонька, говорю, старуха надвое сказала, кто у вас чей век заедает!» — «Да, говорит, ладно, рассказывай! Нынче, говорит, батька тебя женить собирается; ты, говорит, не женись, лучше в солдаты ступай, а не женись!» — «Что же, говорю, мамонька, я такой за обсевок в поле?» — «Так, говорит, против тебя здесь девки нет, да и я твоей хозяйки любить не стану». — «За что же,

говорю, твоя нелюбовь будет?» — «А за то, говорит, что не люблю баб, у которых мужья молодые и хорошие».

— Ты, однако, женился? — перебил я Петра.

— На; али испугаться и не жениться? — возразил он.

— По любви или нет?

— Почем я знаю, по любви али так. Нашел у нас, мужиков, любви! Какая на роду написана была, на той, значит, и женился! — отвечал уж с некоторым неудовольствием Петр.

Сергеич подмигнул мне.

— Не рассказывает, сударь, а дело так шло, что на улице взглянулись, на поседках посиделись, а домой разошлись — стали жалость друг к дружке иметь.

— Что за особливая жалость, голова, а известно, девку брал зазнаемо: высмотренную, — отвечал Петр еще с бльшей досадой.

Русский мужик не любит признаваться в нежных чувствах.

— А мачеха действительно не любила жены твоей? — спросил я его.

— Нет, не любила, — отвечал он мне коротко и обратился более к Сергеичу. — Тут тоже, голова, как и судить: хоть бы бабе моей супротив девок первые годы житье было не в пример лучше, только то, братец ты мой, что все она мне ее подводила! Вот тоже этак, в отлучке, когда на работе: «Рубашек, говорит, тебе не послала, поклону не приказывала», и кажинный, голова, раз, как с работы воротиться, кажинный раз так делает, что я Катюшку либо прибраню, либо и зуботычину дам. Та, братец ты мой, терпела, терпела да и стала говорить: «За что ты, говорит, меня тиранишь? Это, говорит, оттого, что у тебя полюбовница есть». — «Какая, говорю, полюбовница?» — «Бочариха», говорит. Ну и тоже греха не утаишь: в парнях с Бочарихой гулял, только то, что года два почесть ее и в глаза уж не видал. — «Кто это тебе, говорю, сказывал?» Сначала, голова, не открывала, а тут говорит: matka сказывала, слышь!

— Так, так, сомущали, значит, — подтвердил Сергеич.

— Еще как, голова, сомущали-то, — продолжал Петр. — Вышла мне такая оказия, братец, в Кострому идти работать — ладно. Только перед самым моим этим

отходом Федоска такую штуку подвела, слышь: сложила, уж будто бы Катюшка с извозчиком Гришкой — знавал, може? — Что будто бы, братец ты мой, Катюшка бегала без меня к матке на праздник; весь народ по улице гулял, а они с Гришкой ушли в лес по черницу. Дело-то, знаешь, на отходе было, выпивши; я на Катюшку и взъелся, а она стала сглупа-то браниться: пошто пью. Я и прибил ее, и шибко прибил. Что же, голова, опосля узнал? Катюшка, слышь, и на праздник к матке не ходила. Стало мне ее, голова, хошь бы и жалко. Как пришел втепоры в Кострому, сейчас купил ей ситцу на сарафан, два плата, босовики и послал с ходоком. И ты, братец ты мой! И пошла у них из-за этого пановшина: девки позавидовали, обозлились на Катюшку, матка тоже пуще всех, и к батьке с жалобой. «Вот, говорит, он какой: ни мне, ни девкам твоим по наперсточку не присылывал, а все в женин сундук валит». Батька, известно, осерчал, говорит Катюшке: «Поди принеси наряды, что муж прислал». Ну, та, голова, молода еще была, глупа, нарядиться тоже охота, взяла будто пошла за нарядами, да к матке и убежала, там их и спрятала, а сама домой нейдет: боится. Батька, однако, отгеть ее ссягнул и бить прибирается: давай, да и только, наряды! И отняли таким манером: матка взяла себе босовики и сарафан, а девки по плату разделили.

— Как же батька мог взять твои подарки у жены? — спросил я Петра.

Он посмотрел на меня, как бы удивясь моему вопросу.

— Заведенье у нас, государь мой милостивый, по крестьянству такое, — отвечал за него Сергеич. — Ежели теперича мужичок хозяйке что посылает, так и дому всему должен послать. Коли, примерно, бабе сарафан, так матке шаль, а сестрам по плату, али сережки. Это уж нельзя: непорядок, значит, будет, коли теперича промышленник в доме стал только супружницу обряжать да наряжать; а другим бы, хоть бы девкам али матке, где взять? За косулей да за коровами ходючи, немного нарядишься. Хоть бы и Петр Алексеич по сердцам это сделал.

— Вестимо, что по сердцам, — отозвался Петр. — Втепоры, как воротился, Катюшка тоже все мне это говорит; я так, братец ты мой, и положил: плюнуть, отсту-



питься; только то вижу, голова, что бабенке, ни за што, ни про што житья нет: на работе мором морят, а по-ихнему все спит, делает все не так, да неладно — дура да затрапезница, больше и клички нет. Наложили, братец ты мой, тем временем у нас в вотчине бревен по полсотне с тягла — ладно. Батька, известно, присудил, чтоб это справил я; а чтоб, примерно, не медлить делом, сваливши бревно, сучья обрубить и подсобить его навалить на колеса — шла бы в лес Катька моя. Бабенка той порой была, голова, на сносе. Я батьке и говорю: «Как, я говорю, батька, тяжелой бабе с бревнами возиться? Ну как, я говорю, надорвется, да какой грех выйдет?» — «Что-ста, говорит, али мне из-за вас околевать в лесу?» — «Я, говорю, батька, сам собой этого дела не обещаю; а что теперича для спорыньи, пожалуйста, пошли хоть старшую сестру со мной, а хозяйку мою побереги; я, говорю, заслужу вам за это». Батька ничего, голова, пробунчал только маненько, а Федоска и слезает с голбца. «Наши девки, говорит, про вас не работницы, вы-ста, говорит, с своей толсторожей хозяйкой только даром хлеб едите!» — «Как, я говорю, матка, мы даром хлеб едим? За что, про что ты нас этим попрекаешь? Я со всего дома подушную оплатил, за себя оброк предоставил; теперь, говорю, за батьку и задельничаю; а хоша бы и хозяйка моя за тебя же круглый год на заделье бегала; как же, я говорю, так: мы у вас даром хлеб едим?» Заругалась, заплевалась, голова, и все на Катьку больше: «Ты, говорит, мужа сомущаешь, а он того не знает, что ты и то и се, с тем и другим», — выходит, Катька гуляет! Ну та, братец ты мой, на всю избу этак срамит, заплакала. «За что, говорит, мамонька, ты против хозяина так меня губишь?» Я тоже, братец, не стерпел. «Что ж, я говорю, Федосья, — и выругал ее — согрешил грешный, — долго ли, выходит, мы должны от тебя обиды принимать? Вы, я говорю, у хозяйки моей, словно разбойники какие, все наряды обобрали, морите бабу на работе, куска ей не уболите съесть, как надо, да еще поносишь этакими словами, а по правде, може быть, не Катька моя, а ты сама такая!» И ты, братец ты мой! И батька поднялся, будто за наряды, что о нарядах помянул, и драться, голова, лезет. Я, повинным делом, руки-то маненько ему и попридержал; еще пуше старик обозлился, сгреб, голова, меня за шивороток и прямо к бурмистру

в сборную стащил. Так и так, сын буянствует. Тот мне сейчас плюхи две дал и приказывает, чтоб я батьке в ноги поклон. Я в ноги поклониться — поклонился, да бурмистру и говорю: «Батьке, говорю, Иван Васильич, я всегда покорствую; а что теперича мы все пропадаем из-за мачехи; хозяйка моя на работе измаяна, словом обругана. Может, вы теперь мне доверья не сделаете, так извольте, говорю, наших девок, сестер моих, спросить: пускай они перед образом скажут, что они от нее понесли да потерпели...» Ну, так ведь тоже нашего Ивана Васильича помнишь, чай: немного было правды...

— Правда его была, кто больше чаем поит да денег носит, — заметил Сергеич.

Петр кивнул в знак согласия головой и продолжал:

— Закричал на меня, голова: «Цыц! Молви еще слово против батьки — выхлещу» — и вон выгнал... Ладно рассудил... Что мы, голова, опосля того с хозяйкой притерпели — и боже ты мой! Батька не глядит, не смотрит; в большой избе, видишь, тесно от нас стало, поселили в коровью, без полу, без лавок, вместе с телятами. Коли мы теперь с бабой что-нибудь на работе позамешкаемся, сейчас, голова, без нас, совьют, соберут и отобедают; коли щей там останется, так Федоска в лоханку выльет, чтоб только нам не доставалось, — до чего эхидствовала!.. — Проговоря это, Петр вздохнул, а потом, помолчав, продолжал: — Кабы не это дело, пошто бы мне с батькой делиться, на грехи эти идти? Старика оборвал и себя надорвал!

— Как, друг сердечный, не надорвать! — возразил Сергеич. — Недаром поговорка идет: «Враг захотел — братья в раздел!» Хотели, значит, миллионы нажить, а стали по миру ходить... Помню я суды-то ваши с родителем перед барином, как еще смелости вашей хватило идти до него по экому делу?

Петр отвечал на это только вздохом.

— Что ж, разве у вас барин строгий? — сказал я.

— Нет, государь милостивый, — отвечал Сергеич, — строгости особой нет, а известно, что... дело барское, до делов наших, крестьянских, доподлинно не доходил; не все ведь такие господа, как твой покойной папенька был: с тем, бывало, говоришь, словно со своим братом — все до последней нитки по крестьянству знал; ну, а наш барин в усадьбу тоже наезжает временно, а мужики

наши — глупой ведь, батюшка, народец, и полезут к нему со всякими нуждами, правыми и неправыми, так тоже в какой час попадут; в иной все смирно да ласково выслушает, а в другой, пожалуй, еле и ноги уплетут — да!

— Горяч уж больно, кричать такой здоровый! — заметил Петр. — До барина бы, кажись, тем делом я прямо и не пошел, прах все возьми: где тут с ним разговаривать! Да он с молодой барыней тем летом приехал... меня заставили тут с другим парнем в саду забор новый делать. Она, голова, по саду гуляет, к нам подходит, разговаривает. «Есть ли, говорит, у тебя жена?» — спрашивает меня, слышь. «Есть, говорю, барыня». — «Любишь ли ты, говорит, ее?» — «За что, говорю, не любить! Не чужая, а своя, только, говорю, барыня, хоть бы ты за нас заступилась, а то нам с хозяйкой от стариков в дому житья нет; теперь, говорю, у бабенки моей малый грудной ребенок, грудью покормить почесть что и некогда: все на работе, а молока не дают; одна толконная соска, и та еще коли не коли в рот попадет». — «Ах, говорит, как же это, маленькому нет молочка! Папаша! Папаша!» — кричит, голова, барина, мужа, батюшкой обзывает, слышь!

— Обзывала, обзывала, и я слышал, — подтвердил Сергеич.

— Мужа батюшкой кличет! — отозвался Матюшка и засмеялся.

— Барин, голова, подходит, — продолжал Петр. «Ах, говорит, душечка, папашечка; вон у этого мужичка маленький ребенок: у них нет молочка; вели ему сейчас дать от меня корову, пожалуйста».

— У ней у самой, друг сердечный, маленький барчик был: ну, так она, значит, по себе и прикидывала, жалела, — заметил Сергеич.

— Не знаю, к чему уж она прикидывала, — отвечал Петр и снова продолжал: — Барин, голова, крикнул, знаешь, на меня по-своему. «Как, говорит, у тебя коровы нет? Пропил, каналья!» — «Никак нет-с, говорю; дом у нас заправной. Из-за мачехи мы пропадаем; в раздел бы нам, говорю, охота, а то батька в раздел не пускает и при доме не держит, как надо». Он маненько и смяк. «Хорошо, говорит, приходите ко мне завтра с отцом: я вас разберу». Я, голова, пришел домой, говорю

батяке: «К барину, говорю, батяка, нас с тобой завтра требует». «Пошто? — говорит; слышь, испугался старик.— Жаловался, что ли, ты, разбойник, на меня?» — «Нет, говорю, батяка, что жаловаться! В отдел только просился: у тебя семья своя, у меня своя, что нам на грехе жить!» Батяка и заплакал, слышь; ну, старый уж человек был, известно! «Бог с тобой, говорит, Петруша, поил-кормил я тебя, а ты, говорит, теперь, я старый да хворый, хошь меня покинуть». Мне стало жаль его, голова. «Что, говорю, тятенька, кидать мне тебя, кабы не твоя Федосья Ивановна». — «Полно, говорит, Петрушка, поживи со мной, все будет хорошо». Так мы и порешили, голова, на том. Только наутро, братец ты мой, старик уж другое порет. «Мне-ста, говорит, тебя, супротивника, не надо; ступай от нас вон; пойдём к барину». — «Пойдем», говорю. Пошли. Приходим. Барин, должно, голова, стороной слышал что-нибудь: на меня этак посмотрел — ничего, а на батяку взмахнул глазами. «Говорите!» — говорит. Стали мы говорить; плели, плели, братец ты мой, всех и куриц-то припутали, я-то еще говорю словно бы как и дело, а батяка и понес, голова, на меня: и пьяница-то я, и вор, и мошенник. Я ему и говорю: «Не грех ли, говорю, батяка, тебе это говорить?» Барин тоже слушал, слушал нас, да как крикнет на батяку: «Ах ты, говорит, старый хрен, с седой бородой, взял молодую жену да детей всех на нее и променял! Сейчас, говорит, старая лисица, плут, отделить парня, а с твоей супружницей я еще переведаюсь. Я ей дам кутить да мутить в семье!» И пошел, голова!.. Тут лакей подвернулся — на того; барыня пришла: «Что ты, говорит, душечка, сердисься и себя не бережешь!» — и на ту затопал. Мы с батякой уж ничему и не рады, драло из горницы, и до избы еще, голова, не дошли, смотрим: два дворовые парня нашу Федосью Ивановну ведут под ручки...

Сергеич засмеялся.

— Ступай, значит, Варвара, на расправу: так ее, бестию, и надо,— проговорил он.

— Воротилась, голова, домой и прямо на печку,— продолжал Петр,— ничего уж и не говорит, только проохивает. Смех и горе, братец ты мой!

Сергеич продолжал улыбаться.

— А что, я словно забыл, миром вас делили али так разошлись по себе? — спросил он.

— Коли, братец ты мой, мужики по себе разойдутся! — отвечал Петр. — Когда еще это бывало? Последнего лыка каждому жалко; а мы с батюшкой разве лучше других? Прикидывали, прикидывали — все ни ему, ни мне не ладно, и пошли на мир... Ну, а мировщину нашу тоже знаешь: весь разум и совет идет из дяконовского кабака. Батюшка, известно, съездил туда по приказу мачехи, ведерко-другое в сених, в сборной, выставил, а мне, голова, не то что ведро вина, а луковицы купить было не на что.

— Так, так; по тебе, значит, и мало говорили? — заметил Сергеич.

— А так по мне говорили: худ ли, хорош ли я, а все в доме, коли не половинник, так третевик был; а на миру присудили: хлеба мне — ржи только на ежу, и то до спасова дня, слышь; а ярового и совсем ничего, худо тем годом родилось; из скотины — телушку недойную, бычка-годовика да овцу паршивую; на житье отвели почесть без углов баню — разживайся, как хошь, словно после пожара вышел; из одежды-то, голова, что ни есть, и того как следует не отдали: сибирочка тоже синяя была у меня и кушак при ней астраханский, на свои, голова, денежки до копейки и заводил все перед свадьбой, и про ту старик, по мачехину наущенью, закрестился, забожился, что от него шло — так и огтягал.

Сергеич качал головою.

— Бревен, братец ты мой, было у меня на пустоши нарублено триста с полсотней, — продолжал Петр, — стал этих я бревен у батюшки просить на обзаведенье, по крайности сухие — и того старик не дал; руби, значит, сызнава и из сырого леса. Строить тоже принялся: прихватить хошь бы какого плотничиска не на што; так с одной хозяйкой и выстроил. Срамоты-то одной, голова, ни за што бы не взял; я сижу на одном угле, а баба на другом: потяпывает, как умеет; а уж как свою-то спину нагнул да надломил, так... — Тут Петр остановился и махнул рукой.

— Покойный родитель твой, — начал Сергеич, — был благоприятель мой, сам знаешь, а не скажу по нем: много против тебя греха на душу принял.

— Нет, братец, не то, — возразил Петр, — дело теперь прошлое, батюку мне грех помянуть много лихом:

не со зла старик делал, а такое, видно, наваждение на него было.

— Эх, друг сердечный,— возразил, в свою очередь, Сергеич,— да разве на нем одном эти примеры? Старому мужику молодую бабу в дом привести — семью извести.

Я видел, что Сергеич и Петр так разговорились, что их не надобно уж было спрашивать, а достаточно было предоставить им говорить самим, и они многое рассказали бы; но мне хотелось направить разговор на предмет, по преимуществу меня интересовавший, и потому я спросил:

— Тебя мачеха твоя, вероятно, и испортила?

Петр вместо ответа кивнул мне головой.

— Каким же образом она тебя испортила?

Петр посмотрел на меня с насмешкой и отвечал с некоторым неудовольствием:

— Да я почему знаю! Какой ты, барин, право!

— Что ж такое?

— Да как же! Скажи ему, как портят? Я не колдун какой.

— Почему ж ты так думаешь, что тебя испортили?

— Перестань-ка; разговаривать что-то с тобой неохота: больно уж ты любопытен! — отвечал Петр с досадою.

Предыдущий разговор заметно возбудил в нем желчное расположение.

— Не собою, государь милостивый, узнал,— вмешался хитрый Сергеич, видевший, что мне любопытно знать, а Петр не хочет отвечать и начинает сердиться,— самому где экое дело узнать! — продолжал он.— Тоже хворал, хворал, значит, и выискался хороший человек — да! — Сказал, как и отчего.

— Кто же это такой хороший человек? — спросил я.

— Колдун у нас, батюшка, был в деревне Печурах,— отвечал Сергеич,— так и прозывался «печурский старище».

— Плутон, голова, в народе обзывался, а мне все сказал,— перебил Петр.

— Плут ли там, али нет, кто про то знает? — возразил Сергеич.— А что старик был мудрый, это что говорить! Что ведь народу к нему ездило всякого: и простого, и купечества, и господ — другой тоже с болестью,

другой с порчей этой, иной погадать, где пропащее взять, али поворожиться, чтобы с женкой подружиться. И такое, государь, заведение у него было,— продолжал он, обращаясь ко мне,— жил он тоже бобыльком, своим домком, в избушке, далече от селенья, почесть что на поле; и все калитка назаперти. Теперича, другое-иное время, народ видит, что он под окошечком сидит, лапотки поковыривает али так около печки кряхтит, стряпает тоже кое-что про себя; а как кто, сударь, подъехал, он калитку отпер и в голбец сейчас спрятался; ты, примерно, в избу идешь, а он оттоль из голбца и лезет: седой, старый, бородища нечесаная; волосищи на голове, как овин, нос красный, голосище сиплый. Я тоже старшую сношку посылал к нему: овцы у нас запропали; так в избу-то войти вошла, а как увидела его, взвизгнула и бежать — испугалась, значит. И кто бы теперь к нему ни пришел, сейчас и ставь штоф вина, а то и разговаривать не станет: лом был такой пить, что на удивление только.

— Штоф купить не разоренье,— возразил Петр,— я тем временем в Галиче рублей полтора ста пролечил: брал-брал у Пузича денег, да и полно! Дошел до того, голова, ни хлеба в доме, ни одежды ни на себе, ни на хозяйке; на работу силы никакой не стало; голодный еще кое-как маешься, а как поел — смерть да и только; у сердца схватит, с души тянет; бывало, иной раз на работе али в поле, повалишься на луг да и катаешься час — два, как лошадь в чемере. Не смог, братец ты мой, до Печур-то дойти, хозяйке велел уж телегу заложить, повалился, словно пласт; до чего бы дошел, и бог ведает. Приехали втепоры к нему; хозяйка подала ему полштофчика, вылил, голова, в ковшик, выпил сразу и тут же ворожить стал. «Поди,— говорит хозяйке,— почерпни в этот ковшик в сенях из кадки воды; вино, говорит, не споласкивай, а так и черпай, как я пил». Принесла та, братец ты мой; он подал мне: «Гляди, говорит, от кого твоя болесть идет»; так, голова, мачеху мне в воде и показал.

— Как же ты в ковше ее видел? — спросил я.

— Въявь, словно в зеркале,— отвечал Петр.

— Полно, Петр; ты это думал, так тебе так и показалось,— сказал я.

— Ну да, показалось. Вы, баря, все не верите; больно уж умны! Не пьяному показалось: у меня втепоры не

то что вина, куска во рту не бывало. Смотрю, голова, и вижу. «Видишь ли?» — говорит он мне. «Вижу, говорю, дедушка». — «Ну, брат, ладно, говорит, что на меня наскочил. Твой лихой человек себя на сорока травах заговорил, никто бы тебе, окромя меня, не открыл бы его».

— Осиллil, значит, — заметил Сергеич.

— Осиллil, голова. «Я, говорит, знаю пятьдесят три травы; теперь, говорит, клади на стол сколько денег привез, а тут и скажу, что надо». Хозяйка, голова, положила четвертак — удовольствовался.

— Капиталы не жадный был копить; вино чтоб было только пить, а денег сколько-нибудь дай — доволен, — заметил Сергеич.

— Какое, голова, жадный! Взял хоша бы тут четвертак и все сделал. «Теперь, говорит, ступай ты домой, слышь? Пять зорь умывайся росой, на шестую зорю ступай к третьим от здешнего селенья воротцам, и иди ты все вправо, по перегороде; тут ты увидишь, что все колья, что подпирают, нескобленные; один только кол скобленный; ты этот кол переруби, обкопай его кругом, и найдешь ты тут ладонку, и на этой ладонке наговор против тебя и сделан».

— Он, вероятно, сам этот кол и воткнул, — сказал я. Петр рассердился.

— Да, да, рассудил, как размазал! — возразил он. — Вот он тоже этакого хватика-баринка, как ты, — тот тоже все смеялся да не верил, так он так ему отшутил, что хозяйка опосля любить и не стала, да и в люди еще пошла.

— Было, было это дело, — подтвердил Сергеич, — а теперича, — продолжал он, обращаясь ко мне, — коли свадьбы облизь его были, все уж забеспеременно звали его да угощали, а то навек жениха не человеком делает...

— Да что, голова, — перебил Петр, — пять лет ведь, братец ты мой, я ходил и кол этот видел, только ничего не помекал на него. Всю перегороду опосля хозяйка обежала: все колья на подбор нескобленные — один только он оскобленный. Для ча?.. Для какой надобности?..

— Так уж, видно, надо им было, — возразил Сергеич.

— А окромя кола, — продолжал Петр, — все до последней малости нашел по его сказанью, как по-писанному. «Как, говорит, ты эту ладонку сыщешь, в ней, го-



ворит, бумажка зашита — слышь? Бумажку эту вынь и дай кому хошь грамотному прочесть, и как, говорит, тебе ее прочитают, ты ее часу при себе не оставляй, а пусти на ветер от себя». А про ладонку, братец ты мой, сказал: «Перелезь, говорит, ты через огород и закопай ее на каком хошь месте и воткни новый кол, оскоблённый, и упри его в перегороде; пять зорь опосля того опять умывайся росой, а на шестую ступай к перегороде: коли кол твой не перерублен и ладонка тут — значит, весь заговор их пропал; а коли твое дело попорчено — значит, и с той стороны сила большая». Все сделал, голова, по-его; однако на шестую зорю пришел: кол мой перерублен, и вся земля кругом взрыта, словно медведь с убойной во-зился.

— Осердились, значит! — проговорил Сергеич.

— То-то, видно, не по нраву пришлось, что дело их узнано,— отвечал Петр; потом, помолчав, продолжал: — Удивительнее всего, голова, эта бумажка; написано в ней было всего только четыре слова: *напади тоска на душу раба Петра*. Как мне ее, братец, один человек прочитал, я встал под ветром и пустил ее от себя — так, голова, с версту летела, из глаз-на-ли пропала, а на землю не падает.

Проговорив это, Петр задумался. Некоторое время разговор между нами прекратился.

— Я все, друг сердечный, дивуюсь,— начал Сергеич глубокомысленно,— от кого это ваша Федосья науки эти произошла? По нашим местам, окромя этого старичищи, не от кого заняться.

— Э, голова, нет! Не то! — возразил Петр.— Я уж это дело опосля узнал: у них в роду это есть.

— В роду? Вот те что! — воскликнул Сергеич.

— Да, в роду,— продолжал Петр.— Може, не помнишь ли ты, от Парфенья старушонка к нам в селенье переехала, нашей Федоске сродственница? Ну, у нас в избе, братец ты мой, и поселилась, на голбце у нас и околела — втепоры никому невдомек, а она была колдунья сильная...

— Вот те что!.. — повторил еще раз Сергеич.

— Батька, ты думаешь, спроста женился? — продолжал Петр.— Как бы, голова, не так! Сам посуди: старiku был шестой десяток, пять лет вдовствовал, девки на

возрасте, я тоже в подростках немалых — пошто́ было жениться?

— Еще как, друг сердечный, пошто-то! — заметил Сергеич.

— Вдруг, голова, пожила у нас Федоска лето в работницах, словно сблаговал старик, говорит: «Я еще в поре, мне без бабы не жить!» Так возьми ровню; мало ли у нас в вотчине вдов пожилых! А то, голова, взял из чужой вотчины девку двадцати лет, втепоры скрыл, а опосля узналось; двести пятьдесят выкупу за нее дал — от каких, паря, денег?..

Сказав это, Петр опять впал в раздумье.

— Что ж, тебе лучше стало после, как ты был у старищи? — спросил я его.

— Лучше не лучше, по крайности жив остался, — отвечал он.

— Ты, однако, Петр Алексеич, долго про нее не сказывал да не оказывал! — сказал Сергеич.

— Я ее совсем не оказывал, так и скрыл: батьку все жалел, — отозвался Петр, не изменяя своего задумчивого положения.

— Да, — продолжал Сергеич, — отдаст эта бабенка ответ богу: много извела она народу; какое только ей будет на том свету наказанье?

— А разве она и кроме еще Петра портила? — спросил я.

— Ай, сударь, как не портила! — отвечал Сергеич. — Теперича первая вот хозяйка его стала хворать да на нее выкликать. Была у нас девушка, Варюшка Никитина, гуляющая этакая девчонка — ту, по ревности к дьяконскому цаловальнику, испортила.

— А брата-то родного извела! — сказал Петр. — И за что ведь, голова, сам мне сказывал: в Галиче они тоже были; она и говорит: «Сведи меня в трактир, попой чайком!» Тому, голова, было что-то некогда. «Нету, говорит, опосля!» Она обозлилась. «Ну, ладно же, говорит, помни это!» И тут же, голова, и испортила: как приехал домой, так и ухватило. Маялся, маялся с месяц, делать нечего, пошел к ней, стал ей кланяться: «Матушка-сестрица, помилуй!» — «А, говорит, братец любезный, ты втепоры двугривенного пожалел, а теперь бы и сто рублей заплатил, да поздно!»

— Слышал и про это дело, — подтвердил Сергеич, —

слава богу,—присовокупил он,— что на поселенье-то ее сослали, а то бы она еще не то бы натворила.

Петр на это ничего не отвечал и только вздохнул.

— Каким образом и за что именно сослали ее? — спросил я.

— Сослали ее, государь милостивый,— отвечал Сергеич,— вотчина того пожелала: первое, что похвалиться стала она на барина, что барина изведет, пошто тогда ее поучили маненько... Тебя ведь, Петр Алексеич, не было втепоры, без тебя все эти дела-то произошли,— прибавил он, обращаясь к Петру.

— Без меня!.. Воротился тогда с заработки, прошел мимо родительского дому: словно выморочный — и ставни заколочены; батька помер, девок во двор взяли, а ее сослали! — отвечал Петр с какой-то тоской и досадой.

— Так, так! — продолжал Сергеич.— На каких-нибудь неделях все это и сделалось. Я тут тоже согрешил, грешный, маненько, доказчиком был, за Сerezку-то больно злоба была моя на нее, и теперича, слышавши эти ее слова про барина, слышавши, что, окромя того, селенье страшает выжечь, я, прошлым делом, до бурмистра ходил: «Это, говорю, Иван Васильич, как ты хошь, а я тебе заявлю, это нехорошо; ты и сам не прав будешь, коли что случится — да!» С этих моих слов и пошло все. Бурмистр тоже поопасился: становому заявил. Тот сейчас наехал и обыск у ней в доме сделал: так одних трав, сударь, у ней четыре короба нашли, а что камушков разных — этаких мы и не видывали; земли тоже всякой: видно, все из-под следов человеческих. Стали ее опрашивать, какне это травы? «Не знаю». Чья земля? — «Не знаю»... Пошто она у тебя? — «Не знаю». Только и ответу было. Хошь бы в слове проговорилась. Двои сутки с ней становой бился, напоследок говорит бурмистру: «Что, говорит, с ней, бестией, делом вести! Как на нее докажешь! Пиши барину; он лучше распорядится». Так тот и описал. Барин и приказывает сослать ее на поселенье, коли мир приговорит. Тут она и сробела, и чего уж не делала, боже ты мой! И вином-то поила и денег сулила — ништо не взяло: присудили!

— В остроге-то, как она сидела,— начал Петр, — я тоже проходил мимо Галича, зашел к ней, калачик принес... заплакала, братец ты мой. «Не была бы, говорит, я в этом месте, кабы не один человек; не пошла бы я,

говорит, за этим больно худым, кабы не хотела его приворожить, в сорока квасах ему пить давала — и был бы он мой, да печурский старичище моему делу помешал». Только и сказала: «Теперь, говорит, меня на поселенье ссылают; только ты, Петр, этому не радуйся: тебе самому не будет счастья ни в чем. Кажинный час в сердце твоём будет тоска и печаль». И все ведь, голова, правду сказала: что, что живешь на свете! Ничего не веселит, словно темной ночью ходишь. Ни жена, ни дети, ни работа — ничто не мило, и сам себе словно ворог какой! Вот только и есть, как этой омеги проклятой стакана три огородишь, так словно от сердца что поотляжет.

Проговорив это, Петр вздохнул и потом вдруг поднял голову.

— Будет! Баста! — сказал он. — Пора ужинать. Барину, я вижу, любо наше каляканье слушать, а нам все петухов будить придется. Матюшка, дурак! Поддай шапку, вон лежит на бревнах!

Матюшка подал ему.

— Спасибо, — продолжал Петр, — я тебя за это в первый раз, как хлестать станут, за ноги подержу, и уж крепко, не бойся, не вывернешься.

— Да за што меня хлестать станут? — спросил Матюшка.

— И по-моему, братец, не за што: душа ты кроткая, голова крепкая, — проговорил Петр и постучал Матюшку в голову. — Вона, словно в пустом овине! Ничего, Матюха, не печалься! Проживешь ты век, словно кашу съешь. Марш, ребята! — заключил он, вставая.

— За угощенье твое благодарим, государь милостивый, — сказал Сергеич, кланяясь.

— Да ты ниже кланяйся, старый хрен! Всю жизнь спину гнул, а не изловчился на этом! — подхватил Петр, нагибая старику голову.

Сергеич засмеялся, Матюшка тоже захохотал.

— Прощай, барин, — продолжал Петр, надевая шапку. — Правда ли, дворовые твои хвастают, что ты книги печатные про мужиков сочиняешь? — прибавил он приостановясь.

— Сочиняю, — отвечал я.

— Ой ли? — воскликнул Петр. — В грамоте я не умею, а почитал бы. Коли так, братец, так сочини и про меня книгу, а о дедушке Сергеиче напиши так: «Шестьде-

сят, мол, восьмой год, слышь! Ни одного зуба во рту, а за девками бегают».

— Полно, балагур, полно! Пойдем лучше ужинать, коли собрался! — сказал Сергеич, слегка толкнув Петра в спину.

— Пойдемте! — отвечал тот и обнял одною рукой Матюшку.

Веселость Петра, впрочем, вспыхнула на минуту: он опять потупил голову. Все они пошли неторопливо, и я еще долго смотрел им вслед, глядя на нетвердую и заплетающуюся походку Сергеича, на беспечную, но здоровую поступь кривоногого Матюшки, наконец, на задумчивую и сутуловатую фигуру Петра.

## V

Успеньев день — у нас в приходе праздник. Это можно уж догадаться по тому, что кучер мой, Давыд, между нами сказать, сильный бахвал и большой охотник до парадных выездов, еще в семь часов утра, едва успел я встать, пришел в горницу.

— Что тебе? — спрашиваю я.

— Извольте ехать молиться к обедне или нет-с? Коли поедете, так лошадей надо припасти.

Собственно говоря, лошадей совершенно нечего припасать, а стоит только вывести из конюшни и заложить, и Давыд, я знаю, пришел спрашивать, чтоб скорее успокоить свое ожидание насчет того, удастся ли ему проехать и пофорсить.

— Поеду, — говорю я.

У Давыда от удовольствия кровь бросается в лицо.

— Жеребцов ведь припасти? — спрашивает он.

— Нет, братец, разгонных бы, — говорю я.

— На разгонных нельзя, вся ваша воля: разгонные лошади совсем смучены; а что эти одры, стоят только да овес едят! Хошь мало-мальски промнутя, — возражает Давыд с вытянувшимся лицом, и я убежден, что одна мысль: ехать на разгонных к празднику, была для него мученьем.

— Ну хорошо, на жеребцах поедем, — говорю я, — только уговор лучше денег: в сарае не изволь их муштровать и хлестать, а то они у тебя выскакивают, как бешен-

ные, и, подъезжая к приходу, не скакать благим матом, а то, пожалуй, или себе голову сломишь или задавишь кого-нибудь.

— Не извольте беспокоиться. Господи, боже мой! Не первый год ездю,— говорит Давыд и потом, постояв немного, присовокупляет: — Кафтан синий надо надеть-с?

— Конечно,— говорю я.

— Кушак тоже шелковый? — прибавляет он.

— Конечно, конечно,— подтверждаю я, не понимая еще, к чему он ведет этот разговор: синий кафтан и шелковый кушак находятся совершенно в его распоряжении.

— Вы этта изволили говорить, перчатки зеленые купить мне в Чухломе.

— Ну, да! Что ж?

— Не для чего покупать-с... у Семена Яковлича еще после папеньки вашего лежат кучерские перчатки; не дает только без вашего приказанья, а перчатки важные еще! — разрешает, наконец, Давыд, к чему он клонил разговор.

— Хорошо; скажи, чтоб дал,— говорю я.

И Давыд, очень довольный, отправляется. Надобно сказать, что он очень хороший кучер и вообще малый трезвого поведения и доброго нрава, но имеет одну слабость: прихвастнуть, и прихвастнуть не о себе, а все как бы в мою пользу. Вдруг, например, расскажет где-нибудь на станции, на которой нас обоих с ним очень хорошо знают, что я граф, генерал и что у меня тысяча душ, или ошибет какого-нибудь соседа-мужика, что у нас двадцать жеребцов на стойле стоят. Когда я бываю с ним иногда в городе и даю ему полтинник на чай, он этот полтинник никогда не издержит, но, воротившись домой, выбросит его на стол перед своей семьей и скажет: «На-те-ста: только и осталось от пяти серебром баринова подареньица». Кроме этих внешних достоинств, он любил меня украшать и внутренними, нравственными качествами; так, например, припишет мне храбрость неизменною в рассказе такого рода, что раз будто бы мы ехали с ним ночью и встретили медведя, и он, испугавшись, сказал: «Барин, я пушу лошадей», а я ему на это сказал: «Подержи немного, жалко медвежьей шкуры», и убил медведя из пистолета, тогда как я в жизнь свою воробья не застреливал.

После Давыда начинает являться прочая дворня про-

ситься на праздник — обычай, который заведен был еще прадедами и который я поддерживаю, имея случай при этом делать неистощимое число наблюдений. Первая является Александра скотница, очень плутоватая и бойкая женщина.

— Батюшка Алексей Феофилактыч, позвольте на праздник-то сходить,— говорит она.

— Хорошо, ступай; только как коровы без тебя останутся? Смотри!

— О коровах, батюшка, я баушку Алену просила: баушка походит. Как можно о скотинке не думать! Я о ней кажинный час жалею. И сегодня не пошла бы, да у тетки моей праздник, а у меня и родни-то на свете только тетка родная и есть,— говорит она скороговоркой.

— Ступай,— говорю я, хоть и предчувствую, что она меня обманывает.

Только что Александра ушла, мимо окон по двору идет Андрюшка ткач, с женой, очень смазливый малый, год назад женившийся на молоденькой и очень хорошенькой из крестьян бабенке, значит, еще *молодые* и оба, в отношении меня, несмелые; они стоят некоторое время на дворе и перекоряются, кому идти проситься: наконец, подходит к окну молодая и кланяется.

— Здравствуй, милушка,— говорю я.

Она вся вспыхивает.

— На праздник, что ли, хочешь идти? — спрашиваю я.

— Нешто, сударь,— говорит она.

— Ну, ступай.

— И хозяина уж пусти! — прибавляет она.

— Ступайте.

Она хочет идти.

— Да, постой,— говорю я,— у тебя грудной ребенок: как ты его оставишь?

— Пошто оставлять: с собой возьму.

— Помилуй, ты измучишь и сама себя и ребенка.

— Ой, ничего,— отвечает она,— мало ли с ребятами ходят, не одна я — ничего!

— Ступайте.

Она кланяется и опять краснеет и, подходя к мужу, говорит: «Пустил!» Тот тоже издали мне кланяется, и уходят оба. Комнатный человек мой Константин, спутник с десятилетнего возраста моей жизни, имеющий

обыкновение обращаться со мной строго, готовится мне бриться и одеваться с мрачным выражением в лице. Ему тоже хочется на праздник, и он думает, что не попадет, но я намерен доставить ему это удовольствие.

— Константин, ты велишь оседлать себе лошадь и поедешь со мной.

— Слушаю-с,— отвечает он голосом, необычно суровым.— Старуха Алена пришла: просится тоже помолиться,— прибавляет он, умилившись сердцем от собственного удовольствия.

— Как же мне делать? Уж я скотницу отпустил,— воскликнул я.— Позовите старуху.

Старуха входит.

— Я ведь, старуха, скотницу Александру отпустил: она мне наврала, что ты берешься посмотреть за ко-ровами.

— Ну, батюшка, вся ваша воля,— отвечает старуха покорным, но укоризненным тоном,— круглый год из-за этой Александры Алексеvны лба не перекрестишь. Она пошла пиво пить, а тебе и помолиться нельзя.

— Эй! Кто там? — кричу я.— Скажите Александре, чтоб она не уходила; а ты, старуха, ступай.

— Где уж, батюшка! Не воротишь ее: совсем нарядная приходила к тебе проситься; прямо из горницы и побежала; верст на пять теперь уж ушла.

Мне стало жаль старухи.

— На тебе двугривенный, что ты остаешься; а в следующее воскресенье я тебя на лошади отправлю богу помолиться,— говорю я.

— Ой, батюшка! Что это? Пошто? И так довольны вашей милостью,— говорит она; впрочем, берет двугривенный и этим отчасти успокаивается.

Я продолжаю смотреть в окно: старик повар прошел, в белой манишке моего подаренья; молодая горничная, еще накануне завившая свои виски в мелкие косички, а теперь расчесавшая их, прибежала, как сумасшедшая, к матке в избу. Ключница прошла в погреб, в меринос-овом платье и в шелковом, повязанном маленькой головкой, платочке. Это штат барыни, и они у нее, вероятно, отпросились. Я вижу даже, что у конского двора отчаян-ный Васька запрягает им в телегу лошадь и сам, никого не допуская, натягивает супонь. Таким образом, сби-рается почти вся дворня, за исключением разве дедушки



Фадея: и тот остается потому, что с печки слезть не может. Впрочем, он только еще нынешний год не пошел, а прошлый ходил, но, не дойдя еще до прихода, свалился в канаву и пролежал тут почти целый день. Даже Семен, несмотря на свою флегматичность и бесстрастность характера, остался очень доволен, когда я ему предложил, чтоб и он тоже ехал. Никогда еще не замечал я в нем такой расторопности: не прошло пяти минут, как он уже сидел верхом на чалке, в синем кафтане и какой-то высокой бобровой шапке, бог знает от кого и каким образом доставшейся ему. Однако пора и мне собираться; я оделся и вышел. Давид, несмотря на мои просьбы и наставления, распорядился по-своему: лошади, весьма добронравные и хорошо приезженные, вылетели из сарая, как бешеные, так что он, повалившись совершенно назад, едва остановил их у крыльца. Я убежден, что они жесточайшим образом нахлестаны; кроме того, коренную он по обыкновению взнуздal бечевкой, чтоб круче шею держала, а бедным пристяжным притянул головы совершенно к земле, так что у них глаза и ноздри налились кровью. Напрасно я восставал против этой его системы закладыванья: на все мои замечания он отвечал: «Господа так ездят, красивее этак!..» В настоящем случае я ничего уж и не говорил и только просил его, ради бога, не гнать лошадей, а ехать легкой рысью; он сначала как будто бы и послушался; но в нашем же поле, увидев, что идут из Утробина две молоденькие крестьянки, не мог удержаться и, вскрикнув: «Эх, вы, миленькие!» — понесся что есть духу.

— Неужели ты, Давид, думаешь, что нас молодцами за это сочтут? Напротив, дураками! — принимался я было ему втолковывать, но все напрасно. Подъезжая к приходу, он весь как-то уж изломался: шапку свернул набекрень, сам тоже перегнулся, вожжи натянул, как струны, а между тем пошевеливает ими, чтоб горячить лошадей. День был светлый; от прихода неся говор народа, и раздавался благовест вовся; по дороге шло пропасть народу, и все мне кланялись.

— Матка, чей барин-то? — говорит одна старуха другой.

— Филата Гаврилыча, матка, сын, али не узнала? — отвечает ей та.

— Ну, вот, какой хороший да пригожий! — говорит первая старуха.

На худой лошаденке, которые обыкновенно называются вертохвостками, гарцует некто Фомка Козырев, лакей и управляющий одной немолодой вдовы-помещицы. Уж три года, как Фомка стал являться на всех праздниках в плисовых штанах, в плисовой поддевке, с серебряными часами; путем поклониться ни с кем не хочет, простого вина не пьет, а все давай ему наливки. Жареных пышек на иной ярмарке на рубль серебра съест в день, а орехи без перемежки в кармане насыпаны. За это и по другим, еще более уважительным причинам, его и прозвали *полубарином*. Завидев меня и замечая, что я начинаю его обгонять, он также, в свою очередь, начинает горячить лошадь, а сам представляет, что совладеть с ней не сможет. Лошаденка завертела хвостом и пошла боком забирать все дальше и дальше в сторону.

Чем ближе к селу, тем больше обгоняешь народу. Какие у всех довольные лица, а между тем как мало надобно, чтоб доставить этим людям это удовольствие. Придет иной верст за десять пешком к приходу, помолится, а тут и отправится в деревню, где празднуют. Хорошо еще, у кого есть родные: тот прямо идет гоститься, то есть выпить, пообедать и поболтать; а у кого нет, так взойдет в избу несмело и проговорит каким-то странным голосом: «С праздником, хозяева честные, поздравляем». Хозяин, который уж действительно ничего не жалеет, но которого в то же время одолевают гости, проговорив: «Сейчас, голубчик, сейчас», поспешит ему дать рюмку водки, пирога и пива; гость это все выпьет, съест и отправится в другую избу, и таким образом к вечеру наберется порядочно.

К величайшему неудовольствию Давыда, я не допустил его произвести эффект, проезжая по улице села, а велел ехать задом и пошел сам пешком. У церковных ворот пересек мне дорогу маленький семинарист, в длиннополом нанковом зеленом сюртуке.

— Здравствуйте, папенька крестный,— проговорил он. Когда я его крестил,— совершенно не помню.

— Здравствуйте, милый! Ты чей?

— Отца дьякона, папенька крестный,— отвечал он.

— А! Отца дьякона! Это хорошо... Что, обедня идет или нет?

— Начинается, папенька крестный,— отвечает он и, как человек привычный, пошел впереди, расталкивая для меня народ.

В церкви, у левого клироса, стоят две барышни, небогатые прихожанки. Я убежден, что до моего появления они молились усердно, но как увидели меня, так и начали модничать. Мне всегда несколько грустно видеть их у прихода. Зачем они не ходят в просто причесанных волосах, а как-нибудь всегда их взобьют? Зачем они носят эти собственного рукоделья шляпы из полниной шелковой материи с полниными лентами? Зачем так безбожно крахмалят свои кисейные платья и, наконец, зачем, по преимуществу старшая, произносят все в нос? Я подозреваю, что, говоря таким образом, она воображает, что говорит по-французски.

После обедни я хотел было пройтись по ярмарке, но меня остановила проживающая в селе немолодая тоже девица из духовного звания, по имени Арина Семеновна, девица большая краснобайка и очень неглупая.

— Позвольте, батюшка Алексей Феофилактыч,— начала она,— просить вас осчастливить меня вашим посещением. Я еще пользовалась милостями вашего папеньки, маменьки; по доброте своей и великодушию, они никогда не брезговали посещать мою сиротскую хижину. Слух тоже, батюшка, и про вас идет, что вы в папеньку — негордые.

— С большим удовольствием, сударыня; но меня звал отец Николай; чтоб мне туда не опоздать,— сказал я.

— Отец Николай, батюшка, долго еще изволят пребыть в церкви, так как теперича простой народ молебны будет служить, а вы по крайности тем временем чайку или кофейку у меня откушаете. Богато-небогато, сударь, живу, а все на прием таких дорогих гостей имею.

— Очень хорошо, сударыня, извольте.

— Не знаю, как и благодарить за ваши милости,— сказала мне с поклоном Арина Семеновна и отнеслась к идущим за мной двум барышням: — Нимфодора Михайловна, Минодора Михайловна, позвольте и вас просить к себе на чашку чаю: я у вас частая гостья, гощу-гощу и стыда не знаю, а вас в своем доме давно не имела счастья видеть.

— О нет, вы этого не можете сказать: мы у вас тоже частые гости! — произнесла совершенно в нос старшая сестра, Нимфодора.

— Кабы еще чаще, еще бы я была больше очастливлена, — сказала Арина Семеновна.

Все мы таким образом пошли к ней. Я видел, что барышням очень хочется заговорить со мной, но я, признаюсь, побаивался этого.

— Как здоровье вашей супруги? — сказала наконец младшая, Минодора, говорившая меньше в нос, но зато, судя по выражению лица, должно быть, более желчная, чем старшая.

Впрочем, обе они, как уже немолодые девицы, были немного злы и на меня, как я слышал, питали большую претензию за то, что я не знакомился с ними. Предчувствуя, что вопрос этот был сделан с ядовитой целью, я поспешил отвечать:

— Слава богу, здорова, и мы с ней всё собираемся к вам.

Что-то вроде улыбки пробежало по губам обеих барышень.

— И скоро исполните ваше обещание? — сказала старшая, Нимфодора, еще более в нос.

— На той неделе непременно, непременно, — опять поспешил я отвечать.

— Очень приятно, конечно, будет нам видеть вас у себя, хоть, может быть, вам будет у нас и скучно, — ядовито заметила младшая, Минодора; но потом, как бы желая смягчить это замечание, прибавила: — Мы хоть не имели еще удовольствия видеть вашу супругу, но уж очень много слышали о них лестного.

— А я, матушка, счастливее вас: имела честь видеть супругу Алексея Феофилактыча и вот при них скажу, не показалась она мне: старая, беззубая, нехорошая...

— О нет, вы шутите! — произнесла старшая, Нимфодора, в нос.

Арина Семеновна лукаво засмеялась.

— Неужели, матушка, вправду говорю? — отвечала она. — Красавица, писаной красоты дама. Вот вы, барышни, больно у нас хорошие, а она, пожалуй, лучше вас.

В такого рода разговорах мы шли, и я заметил, что если младшая, Минодора, язвила смертных боль-

ше словом, то старшая уничтожала их презрительным и гордым видом, особенно кланявшихся нам мужиков и баб.

Когда мы пришли к Арине Семеновне, она, конечно, захлопотала о приготовлении угощения нам. У нее, впрочем, были уж в гостях две попадьи и дьяконица, которые нам церемонно поклонились. Барышни, чтоб не уронить своего достоинства, сели на диван, а я, признаться, чтоб избежать разговора с ними, нарочно поместился у окна: но вдруг, к ужасу моему, старшая, Нимфодора, встала и села около меня.

— Что вы теперь сочиняете? — сказала она с улыбкою и слегка наклоняя голову.

Вопрос этот обыкновенно и при других обстоятельствах и от других людей всегда меня конфузит.

— Нет, я теперь ничего не сочиняю, — отвечал я, потупившись.

— В деревенском уединении, я думаю, так приятно сочинять, — продолжала пытаться меня Нимфодора, устремив прямо мне в лицо пристальный взгляд.

— Да; но я занимаюсь больше хозяйством, — отвечал я, чтоб что-нибудь сказать ей.

— О, так вы и хозяин хороший! Как приятно это слышать! — воскликнула Нимфодора.

Почему это ей приятно слышать — не понимаю.

— Я недавно читала, не помню чье, сочиненье, «Вечный Жид» называется: как прелестно и бесподобно написано! — продолжала моя мучительница.

«Что ж это такое?» — думал я, не зная, что с собой делать и куда глядеть.

— Нынче, так это грустно, — снова продолжала Нимфодора, не спуская с меня пристального взгляда, — мы не имеем где книг доставать. Когда здесь жил, в деревне, Рафаил Михайлыч, с которым мы были очень хорошо знакомы и почти каждый день видались и всегда у них брали книги. Тут я у них читала и ваше сочинение, «Тюфяк» называется — как смешно написано.

Я начинал приходить в совершенное ожесточение. Чтоб спасти себя хоть как-нибудь от дальнейших разговоров с Нимфодорой, я высунул голову в окно и стал будто бы с большим вниманием глядеть на толпящийся тут и там народ. Из толпы, окружающей кабак, вышел

Пузич с Козыревым; оба они успели, видно, порядочно выпить. Я еще прежде слышал, что Пузич подрядился у Фомкиной госпожи строить новый флигель, и у них, вероятно, были поэтсму слитки. Пузич, увидев меня, остановился и поклонился, а Козырев, нахмуренный и мрачный, немного пошатываясь и засунув руки в карманы плисовых шаровар, прошел было сначала мимо, но потом тоже остановился и, продолжая смотреть на все исподлобья, стал поджидать товарища.

— Ваше высокоблагородие, позвольте с вами компанию иметь,— проговорил Пузич пьяным голосом.

— Нет, братец, в другое уж время,— сказал я, показывая ему рукой, чтоб он отправлялся, куда шел.

— Барин!.. Писемский!.. Господин! Позвольте с вами компанию иметь! — прокричал Пузич на всю уж улицу, так что Арина Семеновна, как хозяйка, обеспокоилась этим и подошла к окну.

— Нехорошо, нехорошо, Пузич,— сказала она,— мужик вы хороший, богатый, а беспокоите господ. Ступайте, ступайте!

— Арина Семеновна, позвольте компанию иметь! — воскликнул опять Пузич.— Ежели теперича барину, господину Писемскому, деньги теперича нужны — сейчас! Позови только Пузича: «Пузич, дай мне, братец, денег, тысячу целковых» — значит, сейчас, ваше высокопривосходительство. Что мне деньги! Денег у меня много. Мне барин, господин Писемский, его привосходительство, значит, отдал теперича все деньги сполна, и я благодарю, должен благодарить. Теперича господин Писемский мне скажет: «Поддай мне, Пузич, деньги назад!» — «Изволь, бери...» Позвольте, ваше привосходительство, компанию мне с вами иметь?..

В это время вышел из-за угла Матюшка, что-то с несвойственным ему печальным лицом, и робко подошел к Пузичу.

— Дядюшка, дай два рублика-та,— пробормотал он.

Физиономия Пузича в минуту изменилась: из глупо подлой она сделалась строгой.

— Какие твои два рубли? — сказал он, обернувшись к Матюшке лицом и уставив руки в бока.

— Мамонька наказывала серп купить, жать нечем,— проговорил тот.

— Какие твои деньги у меня? За какие услуги? Го-

вори! Ежели теперича ты пришел у меня денег просить, как ты смеешь передо мной и господином в шапке стоять? Тебе было сказано, на носу зарублено, чтоб ты не смел перед господами в шапке стоять,—проговорил Пузич и сшиб с Матюшки шапку.

Тот только посмотрел на него.

— Что дерешься? И на тебе шапка не притаченная,—проговорил он, поднимая шапку.

— Молчать! Поговори еще у меня! — продолжал Пузич.— Когда, значит, подрядчик с тобой разговаривает, какой разговор ты можешь иметь!

— Пузич, идемте,—проговорил октавой Козырев, которому уж, видно, наскучило ждать.

— Идем, идем, Флегонт Матвейч,—отвечал Пузич,— дураков, значит, надо учить, ваше привосходительство, коли они неумны,—отнесся он ко мне и, очень довольный, что удалось ему перед всем народом покуражиться над Матюшкой, пошел с Козыревым опять, кажется, в кабак.

Бедняга Матюшка издали последовал за ним.

— Что? Тебя не рассчитывает подрядчик? — спросил я его.

— То-то-тка, все вот жилит да дерется еще,—отвечал он, уходя.

Не прошло четверти часа после этой сцены, мы сидели еще с барышнями у Арины Семеновны в ожидании отца Николая, который присылал из церкви с покорнейшею просьбою подождать его, приказывая, что, как он освободится, так сам зайдет просить достопочтенных гостей. Чтоб отклонить для Нимфодоры всякую возможность вступить со мною в разговор о литературе, я продолжал упорно смотреть в окно. «Однако отец Николай что-то долго нейдет, думал я, неужели он все еще молебны служит?» Около церкви никого уж не видать, а между тем в противоположной стороне, к кабаку, масса народа делается все гуще и гуще. Наконец, я увидел ясно, что туда идут и бегут.

— Кажется, пожар! — сказал я, вставая.

— Ах, боже мой! — воскликнула Нимфодора и даже Минодора с довольно, по-видимому, твердыми нервами.

В это время вошел отец Николай, бледный и запыхавшийся.

— Батюшка! Что такое случилось? Откуда вы? — спросил я.

— Что, сударь! Случилось несчастье: убийство в кабаке! Сейчас ходил напутствовать дарами, да уж поздно — злодеи этакие!

— Скажите! — произнесли опять Нимфодора и Минодора в один голос.

— Кто такие? Кто кого убил? — спросил я.

— Плотники... стали пьяные в кабаке с хозяином разделываться... слово за слово, да и драка... один молодец и уходил подрядчика насмерть, — отвечал отец Николай, садясь и утирая катившийся с лица его крупными каплями пот.

— Не Пузича ли это? — сказал я.

— Его, его, Пузича, коли знаете. Плутоватый был мужичонко.

— Кто ж его убил? Он сейчас здесь был.

— Да я уж и не знаю. Петром, кажется, зовут парня, высокий этакой, худой.

— Батюшка! Нельзя ли еще как-нибудь помочь убитому? — воскликнул я.

— Вряд ли! — отвечал отец Николай, сомнительно покачивая головой.

Но я, схватив попавшийся мне на глаза перочинный ножик, чтоб пустить Пузичу кровь, пошел как мог проворно к кабаку. Место происшествия, как водится, окружала густая толпа; я едва мог пробраться к небольшой площадке перед кабаком, на которой, посредине, лежал вверх лицом убитый Пузич, с почерневшим, как утопленник, лицом, с следами пены и крови на губах. У поддевки его правый рукав был оторван, рубаха вся изорвана в клочки; правая рука иссечена циркульником, но кровь уж не пошла. В стороне стоял весь избитый Матюшка и плакал, утирая слезы кулаком связанных рук. Сидевшему на лавочке Петру, тоже с обезображенным лицом и в изорванном кафтане, сотский вязал ноги.

— Злодей, что ты наделал? — сказал я ему.

Он взмахнул на меня глазами, потом посмотрел на церковь.

— Давно уж, видно, мне дорога туда сказана! — проговорил он и прибавил сотскому: — Что больно крепко вяжешь? Не убегу.



В толпе между тем несколько баб ревело, или, лучше сказать, голосило:

— Батюшка, кормилец мой! — завывала одна.

— Что ты надсажаешься? Али родня? — говорил ей мужской голос.

— Ну, батюшка, как не надсажаться! Все человеческая душа, словно пробка выскочила! — отвечала женщина.

— Пускай поревет; у баб слезы не купленные, — заметил другой мужской голос.

— О, о, о, ой! — стонала еще другая баба. — Куда теперь его головушка поспела?

— Удивительная вещь, удивительная вещь! — толковал клинобородый мужик с умным лицом и, должно быть, из торговцев.

— Как у них это случилось? — отнесся я к нему.

— Пьяные, сударь, — отвечал он, — Пузич с утра с Фомкой пьет; пьяные-с! Поначалу они принялись вдвоем в кабаке этого толсторожего парня бить; не знаю, про што его и связали: он ничем не причинен!.. Цаловальник видит, что дело плохо: бьют человека не на живот, а на-смерть, караул закричал. Мы в кабак-то и вбежали, и Петруха-то вошел. «За что, говорит, парня бьете?» — и стал отымать, вырвал у них его, да и на улицу: они за ним, да и на него. Пузич за волосы его сгреб, а Фомка под ногу подшибает, и Петруха — на моих глазах это было — раза два их отпихивал, так Фомка и поотстал, а Пузич все лезет: сила-то не берет, так кусаться стал, впился в плечо зубами, да и замер. Мы было с сотским начали разнимать их — где тут! За ноги хотели было их растащить, так Пузич как съездил меня сапогом по голове, так шабаш — на-ли шабалка затрещала. Сотский стал уж кричать: «Воды! Водой разливайте!» Я было побежал зачерпнуть — прихожу: все уж порешено. Петруха, говорят, оборанивался, оборанивался, и как ухватит его запоперек, на аршин приподнял, да и хрясь о землю — только проохнул. А Козырев испугался, вскочил на своего живодерного коня и лупмя почал его лупить плетью, чтоб ускакать. Ребята тут смеются ему: «Возьми, говорят, кол; ишь плетью-то не пробирает, бока больно толсты!» Такой дурак: угнал — словно не найдут.

Я вышел из толпы; мне попался старик Сергеич, поворно шедший туда своей заплетающейся походкой.

— Дедушка! Слышал ли, что ваш Петр начудил? — сказал я ему.

— Ой, государь милостивый! Слышал, слышал! За то его, батюшка, бог наказал, что родителя мало почитал. Тогда бы стерпел — теперь бы слюбилось, — отвечал старик и прошел.

Потом меня нагнали барышни, перебивавшиеся от Арины Семеновны к отцу Николаю. По просьбе их я рассказал им все подробности.

— Гм!.. — глубокомысленно произнесла младшая, Мимодора.

— Что за народ эти мужики! — сказала в нос старшая, Нимфодора.

# ФАНФАРОН

*Еще рассказ исправника*

## I

Губернией управлял князь \*\*\*. Четверг был моим докладным днем. В один из них, на половине моего доклада, дежурный чиновник возвестил:

— Помещик Шамаев!

— Просите,— сказал князь.

Я по обыкновению отошел за ширмы; названная фамилия напомнила мне моего кокинского исправника, который тоже прозывался Шамаев. «Уж не сын ли его?» — подумал я.

Вошел высокий мужчина, довольно полный, но еще статный, средних лет; в осанке его и походке видна была какая-то спокойная уверенность в собственном достоинстве; одет он был, как одевается ныне большая часть богатых помещиков, щеголевато и с шиком, поклонился развязно и проговорил первую представительную фразу на французском языке. Князь просил его садиться и начал с того, с чего бы начал и я.

— Не родственник ли вы кокинского исправника Шамаева?

— Я его родной племянник, ваше сиятельство,— отвечал тот.

— В таком случае,— продолжал князь, всегда очень любезный и находчивый в приеме незнакомых посетителей,— позвольте мне начать с того, что вашего почтенного родственника мы любим, уважаем, дорожим его службой и боимся только одного, чтоб он нас не оставил.

Шамаев поклонился.

— Мне, ваше сиятельство,— отвечал он,— остается

только благодарить за лестное мнение, которое вы имеете о моем дяде и который, впрочем, действительно заслуживает этого, потому что опытен, честен и деятелен.

— Именно,— подтвердил князь.

На этом месте разговор, кажется, мог бы и приостановиться; но Шамаев сумел перевести его тотчас на другой предмет.

— Как хорош вид из квартиры вашего сиятельства; здесь этим немногие дома могут похвастаться,— сказал он, взглянув в окно.

— Да,— отвечал князь,— особенно теперь: ярмарка; площадь так оживлена.

— Мне кажется, ваше сиятельство, эта ярмарка скорее может навести грусть, чем доставить удовольствие,— заметил Шамаев.

— Почему ж вы так думаете?

— Она так малолюдна, бедна.

— Что ж делать?.. Все-таки она удовлетворяет местным потребностям.

— Для удовлетворения местных потребностей достаточно нескольких лавок и двух базарных дней в неделю; назначение ярмарок должно быть более важно: они должны оживлять край, потому что дают сподручную возможность местным обывателям сбывать свои произведения и пускать в движение свои капиталы, наконец обмен торговых проектов, соглашение на новые предприятия... но ничего подобного здесь нет.

— Здешняя губерния,— возразил князь,— ни по своему положению, ни по своей производительности не может иметь такого важного торгового значения, чтобы вызвать ярмарку в подобных размерах.

— Напротив, ваше сиятельство,— возразил, в свою очередь, Шамаев,— здешняя губерния могла бы иметь огромное торговое значение. Край здешний я знаю очень хорошо, и он в этом отношении представляет чрезвычайно любопытный факт для наблюдения. Одна его половина, которую я называю береговою, по преимуществу должна бы быть хлебопашною: поля открытые, земля удобная, средство сбыта—Волга; а выходит не так: в них развито, конечно, в слабой степени, фабричное производство, тогда как в дальних уездах, где лесные дачи идут на неизмеримое пространство, строят только гусанки, нагружают их дровами, гонят бог знает в ка-

кую даль, сбывают все это за ничтожную цену, а часто и в убыток приходится вся эта операция; дома же, на месте, сажени дров не сожгут, потому что нет почти ни одной фабрики, ни одного завода.

По этим словам Шамаева я заключил, что он должен быть капиталист-помещик, который затевает какое-нибудь значительное торговое предприятие и поэтому приехал объяснить с управляющим губернией. Князь был тоже, кажется, моего мнения, потому что сейчас же поспешил Шамаеву предложить сигару, который, в свою очередь, закурив ее, тоже не замедлил угадать ценность ее происхождения.

— Причина этому, ваше сиятельство,— мы, владельцы, потому что мы все-таки еще любим жить по старине: в нас совершенно нет ни коммерческого духа, ни предприимчивости. Все мы очень похожи на одного жида, которого я знал в Варшаве, который нажил огромное состояние и под старость лет с ума сошел: не знал ни счету деньгам, ни употребления, а только сидел в своей кладовой и дрожал, чтобы его не обокрали... Так и мы сидим у своих дач, очень богатых, надобно сказать, и у своих шкапулок, у кого они есть, и боимся рискнуть двадцатью пятью рублями серебром или срубить при порубке лишнее бревно; ну как, думаешь, лес-то и не вырастет больше?

— В этом случае кому-нибудь одному надобно показать пример,— сказал князь.

— И я так полагал, ваше сиятельство, и даже взялся быть этим примером, и был жертвой. Сначала я думал делать на акциях, как делается это в других местах; однако у меня их на сто целковых не раскупили. Я и на это не посмотрел; имея каких-нибудь двести душ, устраивал два самых удобных, по местным средствам, завода: сначала шло очень хорошо, а потом, при первых же двух-трех неудачах, не имея запасных капиталов, не выдержал — и со страшным убытком должен был бросить, тем более что постигло меня ничем не заменяемое несчастье: лишился жены, заниматься сам ничем не мог.

Говоря последние слова, Шамаев поднял глаза к небу, вздохнул, потупился и несколько времени молчал.

— Я, ваше сиятельство,— начал он потом, вставая и не совсем твердым голосом,— хоть до сегодняшнего мо-

его представления и не имел чести быть вам знаком, но, наслышавшись о вашем добром и благородном сердце, решаюсь прямо и смело обратиться к вашему милостивому покровительству.

— Что такое? — спросил князь.

— Так как теперь, ваше сиятельство, я не имею никакого особенного занятия, а малютки сироты (при этом Шамаев опять вздохнул)... сироты мои, малютки,— продолжал он,— требуют уже воспитания и невольно вынуждают меня жить в городе с ними, и так как слышал я, что ваканция старшего чиновника особых поручений при особе вашего сиятельства свободна, потому желал бы занять эту должность и с своей стороны смею уверить, что оправдаю своей службой доверие вашего сиятельства.

Князь, как большая часть мягких и добрых людей, был почти неспособен отказывать просьбам, особенно так прямо и смело высказанным, как высказал свою Шамаев, но в то же время он был настолько опытен и осторожен в службе, чтобы не поддаться же сразу человеку, совершенно не зная, кто он и что он такое.

— С большим удовольствием,— отвечал он, подумав,— но я это место уже предполагал заместить другим, и если только он не будет желать, то...

Шамаев поклонился.

— Стало быть, ваше сиятельство, я могу иметь некоторую надежду?

— Очень, очень,— отвечал князь, раскланиваясь.

Шамаев еще раз, и довольно низко, поклонился и вышел.

Князь позвал меня.

— Что это за господин, не знаете ли вы? — спросил он.

Я отвечал, что не знаю.

— Но, вероятно, его кто-нибудь знает здесь в городе, кого бы я мог спросить?

Я отвечал, что всего лучше спросить его дядю, исправника, который, конечно, его хорошо знает и скажет правду.

— Прекрасно,— сказал князь,— вы едете в Кокин, попросите Ивана Семеныча моим именем сообщить вам об его племяннике все подробности, какие вы найдете нужными, и все это передайте мне, а там увидим.

Через неделю я поехал в Кокин.

Ивана Семеновича не было в городе. Я написал ему записочку; он приехал.

— Я к вам, Иван Семеныч, с поручением,— начал я.

— Слушаю-с,— отвечал он.

— Во-первых, перед моим отъездом сюда к князю являлся ваш родственник — штаб-ротмистр Шамаев.

— Слушаю-с,— повторил Иван Семенович.

— Во-вторых,— продолжал я,— он просится на место старшего чиновника особых поручений.

Иван Семенович почесал затылок.

— В-третьих, князь поручил мне расспросить вас о нем как можно подробнее; вы, конечно, хорошо его знаете.

Иван Семенович потер лоб.

— Как не знать! Очень уж хорошо знаю; только как вам рассказывать: правду ли говорить или нет?

— Разумеется, правду; а то хуже, князь узнает стороной; этим вы и себя скомпрометируете, да и меня поведете.

— Конечно,— отвечал Иван Семенович и начал ходить взад и вперед по комнате.— Ах ты, боже ты мой! Боже ты мой милостивый! — говорил он как бы сам с собой.— Немало я с этим молодцом повозился: и сердил-то он меня, и жаль-то мне его, потому что, как ни говорите, сын родного брата: этого уж из сердца не вырвешь — кровь говорит.

Несколько времени мы молчали.

— Ну-с, почтеннейший Иван Семеныч, я жду,— сказал я наконец.

— Да что, сударь! Не знаю, с чего вам и начать,— отвечал Иван Семенович.— Прежде всего,— продолжал он,— я хочу вам сказать об его отце, моем старшем брате, который был прекраснейший человек; учился, знаете, отлично в Морском корпусе; в отставку вышел капитаном второго ранга; словом, умница был мужчина. Каждое слово его имело вес; хозяин был такой, что этакого другого в жизнь мою я уж больше и не встречал; все эти пынешние модные господа агрономы гроша перед ним не стоят. От каких-нибудь ста душ усадьба у него отделана была, как игрушечка: что за домик, что за фли-

геля для прислуги, какие дворы скотные, небольшие теплички, оранжерея, красный двор мощный, обсаженный подстриженными липками,— решительно картинка, садись да рисуй! Скотоводство держал большое-с, и поэтому земля была удобрена, пропахана, как пух; все это, знаете, при собственном глазе; рожь иные годы сам-пятнадцать приходила, а это по нашим местам не у всех бывает; выезд у него, знаете, был хоть и деревенский, но щегольской; люди одеты всегда чисто, опрятно; раз пять в год он непременно ночью обежит по всем избам и осматривает, чтобы никто из людей не валялся на полушубках или на голом полу и чтобы у всех были войлочные туфляки,— вот до каких тонкостей доходил в хозяйстве! Редкостный, можно сказать, был помещик; это я говорю не потому, что он мне родной брат, а это скажет вам всякий, кто только знал его. Женился он по страсти, взял дочку бывшего губернского предводителя; состояния за ней большого не было; впрочем, брат за состоянием и не гнался: какое дали, и за то спасибо. Года в два он так поправил мужиков, что любо-дорого, и часто мне покойник, ходя этак со мной по усадьбе, говаривал:

— Вот, брат Иван, — говорит, — видишь, как я себя устроил. Кажется, все недурно, и как рассчитываю, по теперешним моим средствам, так хоть семь человек детей будет, всех смогу поднять и воспитать не хуже себя.

Однако, видно, человек предполагает, а бог располагает; супруга его вышла... не знаю, как вам и сказать об этой женщине: осудить ее,— чтобы не взять греха на душу, да и похвалить, пожалуй, не за что. Была бы она дама и неглупая, а уж добрая, так очень добрая; но здравого смысла у ней как-то мало было; о хозяйстве и не спрашивай: не понимала ли она, или не хотела ничем заняться, только даже обедать приказать не в состоянии была; деревенскую жизнь терпеть не могла; а рядиться, по гостям ездить, по городам бы жить или этак года бы, например, через два съездить в Москву, в Петербург, и прожить там тысяч десять — к этому в начальные годы замужества была невероятная страсть; только этим и бредила; ну, а брат, как человек расчетливый, понимал так, что в одном отношении он привык уже к сельской жизни; а другое и то, что как там ни толкуй, а в городе



все втрое или вчетверо выйдет против деревни; кроме того, усадьбу оставить, так и доход с имения будет не тот.

— В город, душа моя,— говорил он ей,— переехать не хитро; но ты вспомни, что состояние наше не шереметьевское: как этак начнешь помахивать туда да сюда, так и концы с концами не сведешь, придется занимать, а я в жизнь мою,— говорит,— ни у кого копейкой не одолжался.

Словом, не ехал-с из деревни. Так слезы, обмороки, болезни — притворные или нет, уж не знаю.

— Вы,— говорит,— заедаете мой век, я не так воспитана, я,— говорит,— человеческого лица здесь не вижу...

И так далее. Большие, слышу, стали выходить между ними из-за этого семейные неприятности; так что я, чтобы как-нибудь да посладить, начал брату, издали, конечно, советовать, чтобы он хоть должность, что ли, какую-нибудь себе прискал, и, как полагаю, даже успел бы его убедить в этом, однако на пятый уж почти год их супружества она родила сына, этого самого, которого вы видели и которого в честь деда с материнской стороны наименовали Дмитрием. Ну, думаю, слава богу, не порассеются ли хоть этим? И действительно: точно переродилась женщина; в восторге, что сделалась матерью, сама захотела кормить младенца; все ночи не спит с ним; что чуть-чуть ребенок побольше разревется, в город скачи за доктором. Я тогда еще не служил, жил в деревне, и мы часто видались. Ну, сначала, я вижу, брату приятно было смотреть на эту ее материнскую нежность; а тут, как ребенок начал подрастать, так, пожалуй, нам с ним стало и не нравиться. Едва успела от груди отнять, как стала его пичкать конфектами; к чему мальчишка ни потянется, всего давай; тарашится на огонь, на свечку — никто не смей останавливать; он обожжет лапёнку, заревет, а она сама пуще его в слезы; сцарапает, например, папенькину чашку — худа ли, хороша ли, все-таки рублей пять стоит, но он ее о пол, ничего — очень мило. С няньками тоже возня, беспрестанно меняет; та не умела занять ребенка, другая сердито на него смотрит, третья собой нехороша. Мальчишка едва папу с мамой выговаривает, давай гувернантку; ну, а это еще нынче легко: есть и няньки, и гувернантки недорогие; а в то время трудно

было и найти; а уж коли нашел, так давай большую цену. Брат, однако, ее и в этом потешил, нанял, ни много ни мало, за восемьсот рублей француженку — рябая этакая девка, из себя нехорошая, но умная и, главное, хитрая; сразу смекнула, в чем дело, и давай вместе с маменькой баловать Митеньку; ну и бесподобно, значит; «не гувернантка, а друг дома», рассказывается всем; другу дома, стало быть, надобно платить вместо восьмисот тысячу. Между тем мальчишка подрастает, собой делается прехорошенький и довольно острый на словах, но шалун и резвый, как вы только можете себе представить. Восьмой год пошел, а за книгу лучше и не сажай, по-французски болтает бойко, а русскую грамоту читает, как через пень колоду валит, пишет каракулями, об арифметике и помину не было: вряд ли и считать-то умел, но зато лакомиться, франтить — мастер! Целое утро будет сидеть и не пошевелится, только завей ему волосы. Брат было пробовал сначала говорить, да где тут? Она прямо ему сказала: «Если ты будешь, говорит, кричать на Митеньку, так я не перенесу этого и безвременно лягу в могилу». И не лгала в этом случае: я сам был свидетелем подобной сцены. Подавали водку, только этот мальчуган, всего еще ему было не более четырех лет, подбежал, в минуту налил с краями ровно рюмку да залпом всю и выпил. Брат, это увидевши, взял его, так, больше для шутки, за ухо: «Вот тебе, говорит, вот тебе, рано еще начинаешь», и так, знаете, легонько потянул его. Боже ты мой, как он рывкнет, и побежал к матери.

— Что такое? Что такое?

Он ревет да кричит:

— Ой, папаша, ой, папаша меня прибил.

Унимают, конфект обещают, ничего не берет и, должно быть, от слез да от водки-то побледнел этак, и дыханье у него захватило: и прошло, конечно, сейчас же, но надобно было видеть, какая с маменькою сделалась истерика: глаза остолбенели, рыдает, плачет, нас обоих бранит; видим, что она сама не вольна над своими чувствами. Из этой кроткой, можно сказать, женщины точно тигрицей какой сделалась; и это, сударь, каждый раз повторялось, как только что коснется до Митеньки.

Тут Иван Семенович приостановился немного.

— Слабоват, видно, характером был ваш брат или уж очень любил свою супругу, — заметил я ему.

— Любил он, конечно, ее любил,— отвечал он,— но не слепо; в других случаях, как я вам и докладывал, не все делал по ней, и что до характера его касается, так совершенно напротив — в этом отношении он был настоящий семьянин: твердый, настойчивый, любил порядок, смолоду привык, чтобы все делалось по нем, а тут ничего не мог сделать... Эх, милостивый государь,— продолжал Иван Семенович, покачав головою,— я могу вам при этом повторить слова того же покойного моего брата: «Супружество,— говаривал он,— есть корабль, который, чтоб провести благополучно между всеми подводными камнями, лоцману нужна не только опытность, но и счастье». Не знаю, конечно, успел ли бы он впоследствии повести по-своему, потому что бог веку долгого не дал.

— Помер он?

— Да-с, действовали ли на него эти душевные неприятности, которые он скрывал больше на сердце, так что из посторонних никто и не знал ничего, или уж время пришло — удар хватил; сидел за столом, упал, ни слова не сказал и умер. Этот проклятый паралич какая-то у нас общая помещичья болезнь; от ленивой жизни, что ли, она происходит? Едят-то много, а другой еще и выпивает; а мочиону нет, кровь-то и накапливается.

— Что же, как вдова осталась? — перебил я, желая перейти к главному сюжету рассказа.

— Очень была огорчена,— продолжал Иван Семенович.— «Один, говорит, Митенька только привязывает меня к земле; а если бы его не было, так и жить бы без моего друга не хотела».

Меня покойник назначил попечителем до совершеннолетия малолетка. Выждал я первое время; но потом слышу, что француженка от Мити отходит, поссорилась с маменькой. В чем это, думаю, у них вышло? Впрочем, та, отошедши, заезжает ко мне. Спрашиваю ее:

— Что такое у вас?

— Помилуйте,— говорит,— Иван Семеныч, я в стольких домах жила, мне везде детей поручали в полное распоряжение, и нигде еще я не употребляла во зло этой доверенности; но, вы сами знаете, какой же я была гувернанткой в доме Настасьи Дмитриевны? Я скорее была рабой ее Митеньки, и видит бог, что сил моих больше не-

доставало. Этот мальчик до того уж простер свою дерзость ко мне, что на днях нарочно облил все мое новенькое платье деревянным маслом, и я просила Настасью Дмитриевну позволить мне только поставить его в угол, она и этого не хотела сделать и мне же насажала самых обидных колкостей.

Я только покачал головой. Что прикажете делать с подобной маменькой? Еду к ней, и первое ее слово:

— Замечаете ли вы, братец, как Митенька у меня растет? Не правда ли, какой красавчик?

И говорит это, знаете, при самом мальчике, который тут стоит и которому, как заметно по лицу, очень приятны эти слова, носенок так вверх и дерет.

— Вижу,— говорю,— сестрица, и радуюсь, но ведь это что же? Рост бог дает всем, а теперь, по-моему, главное надобно подумать о воспитании его. Гувернантка от вас отошла, учителя тоже никакого нет, не пора ли его пристроить в казенное заведение?

— Ах, нет,— говорит,— братец, я теперь и думать об этом не смею: вы не поверите, как он слаб здоровьем; прежде я должна его здоровье еще поправить.

Я усмехнулся: малый, как кровь с молоком, здоровее меня.

— Я,— говорю,— сестрица, не вижу, чтобы он был особенно слаб или нездоров; это пустяки, тебе так мерещится, и не знаю, известно ли тебе, что покойный брат его записал в Морской корпус, куда он, вероятно скоро и будет принят, а потому я советовал бы отправить его в Петербург, хоть куда приготовить немного.

Вся побледнела от этих слов.

— Нет,— говорит,— братец, я решительно не хочу отдать его в корпус: при его комплекции... там такая строгость!

— Да что же такое,— говорю,— моя милая, комплекция и строгость! Там воспитываются дети понежней и получше наших с тобою.

— Ни за что на свете: должен будет поступить в военную службу, куда-нибудь зашлют, пошлют в сражение, убьют; у меня при одном воображении об этом делается лихорадка.

— Эти еще сражения,— говорю,— сударыня, далеко впереди, а теперь надобно хлопотать, чтоб он не остался безграмотным недорослем.

— Братец,— перебила она,— позволь мне тебя просить предоставить мне самой думать о воспитании моего сына. Худа ли, хороша ли, но я мать, и ты, как мужчина, не можешь понять материнских чувств. Я решилась во всю мою жизнь не расставаться с ним; в этом мое единственное блаженство. Теперь я наняла для него гувернера.

Меня это уж взорвало, знаете.

— Желая,— говорю,— тебе, сударыня, наслаждаться этим блаженством. С твоими гувернерами смотри только не выянчай себе на шею болвана.

— Равным образом, братец, болванами могут быть и ваши дети,— говорит она мне наоборот, чтобы уколоть меня.

Уезжаю я. Гувернер, говорят, приехал, француз какой-то. У нас в городе пробыл двое суток и все это время в нашем дрянном трактиришке, с двумя выгнанными приказными, пил и играл на бильярде; и те его на прощанье отдули киями, потому что он проигрался, напил, наел, а расплатиться нечем. Славный, вижу, малый, но так как невестушка на меня изволит сердиться: ни сама не ездит, ни пишет, ни людям не велит заходить, стало быть, я ничего не мог сделать. Однако через год или меньше после этого времени вдруг она приезжает ко мне и с Митенькой, которому, заметьте, уже лет четырнадцать стукнуло. Очень рад, конечно.

— Я,— говорит,— братец, Митеньку в гимназию везу.

— Доброе,— говорю,— дело: нынче в гимназиях очень хорошо учат. А что же, прибавляю, гувернер твой?

— Ах,— говорит,— братец, не говорите мне про этого человека. Это чудовище какое-то! Как я за ним вначале ни ухаживала — лелеяла его, можно сказать; он ничего этого не оценил. Вообрази, мой дружок, он Митю, который именно как младенец еще невинен, начал по ночам возить с собой на мужицкие поседки. Я как узнала, так и обмерла; и как, надобно сказать, ребенок кроток и благороден: он никак мне про своего учителя не хотел открыть этого.

Я рассмеялся.

— Славный,— говорю,— наставник.

— Ужасный,— говорит,— братец, человек! Но это

еще не все; ты посмейся, он даже мне вздумал делать куры.

— Вот видишь ли,— говорю,— сестрица: ты тогда на меня сердилась, а, значит, я говорил правду. Хорошие гувернеры дороги, да к тебе в деревню и не поедут; а шарлатаны эти добру не научат.

— Вижу,— говорит,— голубчик мой, все теперь вижу и потому решилась отдать Митю в гимназию, пускай тут учится; найдем квартиру, и сама с ним буду жить.

— Зачем же сама-то жить! Это уж, говорю, по-моему, и лишнее бы.

— Отчего же,— говорит,— дружок мой, лишнее? Чей же, говорит, надзор может быть лучше, как не самой матери?

— Это так,— говорю,— только не твой, моя милая сестрица; я знаю наперед: Митенька, например, заленится в класс идти; а ты, вместо того чтобы принудить его, еще сама его оставишь, будешь ко всем учителям ездить да кланяться; а он на это станет надеяться, а потому учиться-то не будет и станет шалить.

— Что это, братец, ты всегда был для меня каким-то злым пророком; бог с тобой! Я этого переменить не могу, так уж решилась!

— Ваше дело,— говорю,— как знаете, так и делайте.

Отправились. Живут там. Мой старший сын Петруша, ровесник Дмитрию-то, тоже тогда в гимназии учился. Спрашиваю его, когда этак на каникулы приезжает:

— Каково племянничек подвизается?

— Да что,— говорит,— папенька, все в третьем еще только классе: два года не перешел.

— Что же,— говорю,— способностей, что ли, у него нет, или ленится?

— Нет, какое,— говорит,— способностей нет, ничего не занимается, потому что некогда: все по маскарадам да по балам маменька возит, танцует как большой; одна шуба, говорит, у него, папенька, лучшая во всей гимназии — хорьковая, с бобровым воротником, у директора этакой нет, на вицмундире сукно меньше как в двадцать рублей не носит, а штатского-то платья сколько! Все в сюртуках да во фраках щеголяет. Лошадь у него отличная, чухонские сани с полостью, и, когда в гимназию едет, всегда сам правит.

«Вот тебе и собственный надзор маменькин,— думаю,— хорош!» — Ну, однако, с течением времени Петруша мой кончает своим порядком курс и поступает в Демидовское, и пишет мне, между прочим, что Дмитрий Никитич тоже не хочет учиться в гимназии и поступает в Демидовское из четвертого класса; самолюбие, знаете, разыгралось! Не хочется от сверстников отстать; только дурно, что прямо не принимают, надо наперед приготовиться. Нанимает ему маменька самого лучшего профессора за тысячу рублей. Ради этих расходов большая часть имения закладывается. Год проходит, тысяча заплачена; но наступает экзамен, и малый наш хоть бы в одном предмете выдержал. Демидовское, значит, не годится; переезжают в Москву, в университет поступать; ждем, не будет ли там толку, но и там не понравилось. Получаю я от нее преотчаянное письмо: пишет, что Митенька учиться больше не желает, потому что ходил в университет вольным слушателем и что все уж узнал, чему там учат, а что теперь намерен поступить в военную службу, в гусары. «Представьте, братец, мое ужасное положение,— прибавляет она,— чего всегда прежде опасалась, то должно исполниться; только и надежды на бога да на вас. Не напишете ли вы Митеньке письмо, не отсоветуете ли вы ему идти в военную службу, а поступить в депутатское собрание?»

Подумал я, порассудил, потолковал с женою. «Что же, думаем, отсоветовать, для чего и для какой цели!» — и ответил ей таким образом, что по желанию твоему, милая сестрица, я не пишу Дмитрию, ибо это совершенно бесполезно. Он от самого своего рождения никого и ни в чем еще не послушался; а за намерение его идти в военную службу надобно благодарить бога, потому что там его по крайней мере повымуштруют и порастрясут ему матушкины ватрушки; но полагал бы только с своей стороны лучшим — поступить ему в пехоту, так как в кавалерии служба дорога; записывать же его в депутатское собрание — значит продолжать баловство и давать ему возможность бить баклуши. Думал, что за это письмо она по обыкновению рассердится; однако нет. Нежданно-негаданно прикатила сама из Москвы, заезжает ко мне и говорит, что, возложивши упование на господ бога, она решила отпустить Митю в службу и потому едет с ним в Малороссию, где и думает пожить. а «так как, говорит,

именно остается без всякого надзора, то умоляю тебя, друг мой, принять его в свое распоряжение». Я только развел руками.

— Безрассудная,— говорю,— ты женщина, сестрица! Зачем же ты сама-то едешь за такую даль в твои лета? И как ты будешь жить с сыном-юнкером, и где, по деревням, что ли, с ним, или в казармах? Знаешь ли ты, какого рода эта жизнь?

Заткнула уши и слушать не хочет. Просидела, как на иголках, один вечер и куда-то скрылась, больше уж и не видал; а сказывали, что целым обозом уехала куда-то за Москву. Именье, однакож, принял и потом, видевши большие во всем запущения, только, знаете, хотел было немного поустроить, не тут-то было: через месяц какой-нибудь получаю от них письмо, умоляют, чтобы прислал тысячу рублей серебром. Что угодно, пишут, могу из именья продать, только, бога ради, не остановить, потому что без этого Митеньку в полк не принимают. Делать нечего; взял и продал лучшую отхожую их пустошь, выслал им тысячу рублей. Думаю, по крайней мере теперь поугомонятся. Ничего не бывало; как начали, сударь мой, почти чрез каждую почту жарить меня: «Бесценный братец, многоуважаемый дядюшка, вышлите денег, соберите оброки или займите где-нибудь». Только в том и письма состоят. Выслал еще раза два; терпение, наконец, лопнуло, написал им предерзкое письмо. «Вероятно, вы,— пишу им,— не умеете считать, что ожидаете оброков, когда они получены мною уже за целый год вперед; а если вы, мои милые, думаете, что в вашей усадьбе или в какой-нибудь из деревень ваших открыты золотые рудники, так вы ошибаетесь. Нет у меня про вас больше денег». Осердились. Получаю на это ответ от одного уж племянника, очень вежливый, но холодный. Извиняется, что беспокоили меня управлением имения, и потому его нынче поручают своему старосте. Ну, думаю, мне же лучше: кума с возу, куму легче. Прошло таким делом года четыре — ни слуху ни духу от моей родненьки; только один раз прогуливаюсь я по нашему базару, вдруг, вижу, идет мне навстречу их ключница, Марья Алексеевна, в своей по обыкновению заячьей китайской шубке, маленькой косынкой повязанная; любимая, знаете, из всех людей покойным братом женщина и в самом деле такая преданная всему их семейству, скопидомка боль-



шая в хозяйстве, неглупая и очень не прочь поговорить и посудить о господах, с кем знает, что можно.

— Марья Алексеевна,— говорю,— мое вам почтенье.

Она подошла ко мне и, как водится, поцеловала меня в плечо.

— Зачем и про что изволили пожаловать к нам в город?

— Запасов, сударь,— говорит,— кой-каких приехала закупить: чаю, кофею, сахару для дому.

— Да что, сама, что ли, вздумала чайничать да кофейничать?

— Никак нет, сударь, для госпожи,— говорит.

— Как для госпожи? Барыня разве здесь?

— Как же, сударь,— говорит,— месяца полтора, как прибыли.

— Хорошо,— говорю,— а мне и весточки не дадите.

— Не можем, сударь, этого ничего знать,— говорит,— воля господская.

— Надолго ли же,— говорю,— приехала сестра?

— Да надо полагать, что на житье изволили прибыть.

— Что же за причина этому и как она с своим Митенькой решилась расстаться?

Марья Алексеевна только покачала головой.

— На это,— говорит,— было большое желание Дмитрия Никитича, так как они поступили уже в офицерский чин, стали маменьку просить, чтоб, чем жить там при них и проживаться, лучше ехать в деревню и скопить что-нибудь для них, но барыня и после этих слов еще, по своей привязанности, долго не решались; а потом уж, видевши, что от них стало большое настояние, сделать не по-ихнему не хотели, поехали-с. Не с теперешних, батюшка Иван Семеныч, пор,— прибавляет она,— всякое слово Дмитрия Никитича закон для Настасьи Дмитриевны было, сами изволите знать.

— Как не знать,— говорю,— только в этот раз, пожалуй, она и хорошо сделала, что послушалась. Там, я думаю, в этой кочевой жизни немало намаялись.

— Не без того, сударь; много было слухов и до вас, может, доходили. Когда густо, а когда и пусто. Полковые господа — молодые! При деньгах, так запотроев много, а нет, так денек-другой в кухне и огня не разводят: готовить нечего; сами куда-нибудь в гости уедут, а старушка

дома сидит и терпит; но, как я, по моему глупому разуму, думаю, так оне и этим бы не потяготились, тем, что теперь, как все это на наших глазах, так оне в разлуке с ним больше убиваются. Если которая почта от Дмитрия Никитича писем нет, так мы, ей-богу, не знаем, что и делать: так плачут, так плачут, что, господи, откуда у них только эти слезы берутся. Расстраивают свое здоровье, ни на что не похоже.

Жалко мне стало мою невестушку, слушая эти рассказы.

— Нехорошо,— говорю,— очень нехорошо... Да что она на меня все сердится, что ли?

— Ах, нет, сударь,— говорит,— как изволите вы знать ее ангельскую доброту, на кого оне могут сердиться? Скорее, осмелюсь вам доложить, оне полагают, что вы на них гневаетесь.

— Ну, так вот что,— говорю,— Марья Алексеевна, когда ты приедешь домой, кланяйся ей от меня и скажи, что я завтра приеду.

— Ах, батюшка Иван Семеныч, сделайте такую божескую милость; уж я и не знаю, как оне вам рады будут. Утешьте вы их, порассейте хоть немного; ну что с нами одними — какие разговоры? Все одна да одна, голубушка моя, не глядела бы на нее.

Поехал я на другой день. Еще когда подъезжал к усадьбе, у меня замерло сердце; представьте себе, после такого устройства, какое было при брате, вижу я, что флигеля развалились, сад заглох, аллея эта срублена, сломана, а с дома тес даже ободран, которым был обшит; внутри не лучше: в зале штукатурка обвалилась, пол качается; сама хозяйка поместилась в одной маленькой комнате, потому что во всех прочих холод страшный. Мне обрадовалась, бросилась на шею, прослезилась.

— Так-то,— говорю,— сестрица, вот и вы возвратились; я приехал проведать вас.

— Благодарю, дружок мой, благодарю, благодетель мой, что вы меня вспомнили, или нет, погодите... не хочу с вами ни говорить, ни слушать вас, а наперед покажу вам письмо Митеньки, которое вчера только получила.

И так, знаете, проворно соскочила с дивана к комоду, отпирает, у самой руки дрожат, подала, наконец.

— Каково, братец, красноречие, слог-то какой! Умница он у меня.

— Очень,— говорю,— хорошо.

А чего очень хорошо, ничего особенного нет, обыкновенное письмо молодого человека: описывает разные пустилки, почерк больше этакой ученический.

— По письму еще вы, братец, не можете судить,— продолжала она,— а если бы вы его самого видели! Этакой восхитительной наружности мужчину вообразить трудно; что за ловкость, что за обращение! Принят в самых лучших домах; любим всеми, уважаем. Дмитрия нет, танцы не составляются, потому что барышни с другими кавалерами танцевать не хотят. Он приехал, все ожило: старичков в карты усадит; молодежь у него сейчас затанцует. И я вот несколько потом раз замечала: все, что есть в обществе солидного, умного, все это за Дмитрием ходит по следам и ловит его каждое слово.

Слушаю ее и внутренне усмехаюсь.

— Это,— говорю,— сестрица, хорошо; только как служба-то у него — исправно ли идет?

— Ах, братец,— говорит,— про службу вы уж мне лучше и не говорите. Я боюсь одного, что он на этой службе все здоровье растеряет. Что ж, говорит, конечно, ценят, очень ценят. Генерал приезжает ко мне перед самым отъездом сюда. «Настасья Дмитриевна, говорит, чем мы вас можем благодарить, что сын ваш служит у нас в дивизии! Это примерный офицер; как только у меня выбудет старший адъютант, я сейчас его беру к себе, и это будет во всей армии первый адъютант».

— Слава богу, если так все хорошо идет,— говорю.

А сам почти наверное знаю, что на деле совершенно не то, и, признаюсь, невольно задумался, до чего может доводить слепая материнская любовь. Во всем другом, например, женщина всегда была довольно правдивая, а тут явно лжет, выдумывает, чтоб как-нибудь своего Митеньку пораскрасить. Обедать сели мы втроем: попадая у нее была еще тут в гостях. Гляжу: мне положена ложка серебряная, а у них у обеих деревянные. «Что такое, думаю, неужели трех серебряных ложек не достало?» Спросить было совестно, промолчал. Однако после обеда, вышедши прогуляться, вижу, что Марья идет из погреба.

— Что это, мать моя,— говорю ей,— у вас деревянные ложки уж стали к столу подавать?

— Что, сударь Иван Семеныч,— говорит,— нам делать, был было у нас при Никите Семеныче домик, как полная чаша, а теперь вот барынина ложечка, что вы изволили кушать, да две чайных, больше и не спрашивайте, только и есть серебра.

— Куда ж оно девалось? У брата было пропасть серебра.

— Пуда три было, если не больше; все туда в полк увезено. И кто говорит, что в употреблении, а другие сказывают, что продано или там заложено.

— Славно! — говорю.— И усадьбу-то довели хорошо, нечего сказать. Каналья этот староста, кабы воля моя была, я бы с ним разделался.

— Нет,— говорит,— Иван Семеныч, там как вам угодно, вся воля ваша есть, а только на старосту изволите приходиться напрасно, на все были приказы от самого Дмитрия Никитича, только и пишут: ничего не жалею, да денег мне вышли. Ранжереи проданы по их письму, мельница тоже-с, с дому тес — и тот, по их приказанию, сложен и продан.

Взорвало меня, знаете.

— Так что,— говорю,— твоя старая-то дура, барыня, сидит да думает и позволяет этому оболтусу все зорить и губить? Доживет, что на старости лет есть будет нечего: с голоду помрет.

— Сами, сударь, видим,— говорит,— что не умно делают, даром, что госпожа. Вот хоть бы и по нашей братье посудить, что уж мы, темные люди; у меня у самой детки есть; жалостливо, кто говорит, да все уж не на эту статью: иной раз потешишь, а другой раз и остановишь, как видишь, что неладно. А у нашей Настасьи Дмитриевны этого не жди: делайся все по команде Дмитрия Никитича, а будто спасибо да почтенье большое?

— А что же? — говорю.

— Небольшое, сударь; больше бы им надобно маменьку свою жалеть. Сударушка приехала сюда в этакой мороз в одном старом салопишке, на ножках ботиночек не было, а валеные сапоги, как у мужичка; платье, что видите на ней, только и есть, к себе уж и не зовите лучше в гости: не в чем приехать. Не дорогого бы стоило искупить все эти вещи, да, видно, и на то не хватило: на дело так нет у нас, а на пустяки тысячи кидают.

— Грустно,— говорю,— Марья, грустно мне слушать это.

— Ах, сударь Иван Семеныч, разве легко нам это рассказывать. Посмотрели бы вы, как вся дворня, от мала до большого, все мужички горькими обливаются слезами, вспоминая старого барина, хотя, конечно, грех сказать и про Дмитрия Никитича, чтобы они этикие были строгие или уж чрез меру взыскательные.

— Что же,— говорю,— прост, что ли, он или, между нами сказать, глуп?

— Какое, сударь, глупы; подите-ка, какой говорун; на словах города берут, а на деле, пожалуй, и ваше слово — слаб рассудком. Покойник ваш братец, извольте, я думаю, помнить, не любил много говорить, да много делал; а они совсем другое дело; а до денег, осмелюсь вам доложить, такой охотник, что, кажется, у них только и помыслов, что как бы ни быть, да денег добыть. Теперь собираются жениться, и сказывают, что часто этак хвастают: «Женюсь, говорит, непременно на красавице и на богачке».

— Как же,— говорю,— много про него припасено!

И не стал больше расспрашивать: хорошего, видно, не услышишь. Ночевавши ночь, собираюсь домой, только вижу, что моя Настасья Дмитриевна как-то переминается и, наконец, говорит:

— Братец,— говорит,— не можете ли вы мне одолжить займы полтора ста рублей? Мне теперь крайняя нужда; а я,— говорит,— как только соберу оброки, сейчас вам выплачу.

— Слушай,— говорю,— сестра, ты знаешь, у меня денег у самого немного, но так как я вижу, что ты действительно в крайности, то я тебе дам полтора ста рублей с одним условием, чтобы ты из них гроша не посылала Дмитрию, а издержала все на себя. Посмотри, до чего ты себя довела и на что похоже ты живешь: у тебя, как говорится, ни ложки ни плошки нет; в доме того и гляди, что убьет тебя штукатурка; сама ты в рубище ходишь.

Зарыдала.

— Изволь,— говорю,— взять у меня денег и непременно устрой себя и около себя.

— Непременно,— говорит,— дружок мой, устрой. Мне самой тяжело становится так жить.

Дал ей полтора ста целковых и, поехавши домой, раз-

думался. «Не утерпит, думаю, она, поделится с Митенькой».

С этими мыслями и завернул к почтмейстеру.

— Сделайте,— говорю,— милость, если будет моя невестка посылать к сыну денег, уведоьте меня.

И я не ошибся в своем предположении. В первую же почту тот дает мне знать, что отправлено сто сорок серебром. Для себя только десять целковых оставила. Так это меня взорвало. Сейчас же поехал к ней. Она — знает уж кошка, чье мясо съела: как увидела меня, так и побледнела.

— Братец, голубчик мой,— говорит,— я перед тобой виновата, но что же делать? Он в такой теперь нужде, что невозможно его не поддержать. Я здесь перебыю как-нибудь, много ли мне надо?

— Слушай,— говорю,— Настасья Дмитриевна; я оборвал себя и отдал тебе свои последние деньги на твою нужду. Ты меня обманула, и с этих пор ты о гривеннике займы не заикайся мне; живи, как хочешь; у меня про твоего ветрогона Дмитрия Никитича банк не открыт: бездонную кадку не нальешь!

На этом месте Иван Семенович опять приостановился.

— Фу, устал даже,— проговорил он и потом, помолчав некоторое время, снова продолжал:

— Года чрез полтора, знаете, этак приехал я из округа, устал; порастрясло, конечно; вдруг докладывают, что какой-то офицер ко мне приехал. Я было сначала велел извиниться и сказать, что не так здоров и потому принять не могу, однако он с моим посланным обратно мне приказывает, что он мне родственник и весьма желает меня видеть. Делать нечего, принимаю. Входит молодой офицерик, стройный, высокий, собой хорошенький, мундир с иголочки, сапоги лакированные, в лайковых перчатках, надушен, напомажен.

— Вы,— говорит,— дядюшка, вероятно не узнали меня?

— Да,— говорю,— извините меня; припоминаю немного, но боюсь ошибиться.

— Я,— говорит,— такой-то Дмитрий Шамаев.

— Ах, боже мой, Митенька! — невольно, знаете, вскрикнул и потом, поодумавшись, говорю: — Извините,— говорю,— милый племянничек, что так вас по-прежнему назвал.

— Помилуйте, дядюшка,— говорит,— напротив, мне это очень приятно; это показывает, что вы не утратили еще ко мне вашего родственного расположения, которым я всегда так дорожил и ценил.

— Очень,— говорю,— вам благодарен, что вы так меня понимаете. Надолго ли,— говорю,— приехали побывать в наши места?

— На двадцать восемь дней,— говорит,— дядюшка.

— Что же так мало? Матушка, я думаю, глаза проглядела, вас ожидая, а теперь в этокое короткое время и наглядеться на вас не успеет.

— Что ж делать,— говорит,— дядюшка, долго ли, коротко ли, все расстаться придется. Повидаюсь с ней, поустрою хоть несколько имение.

— Да-с,— говорю,— милый Дмитрий Никитич, и это не мешает: именье ваше будет скоро никуда негодно, так вы его разорили.

Он вздохнул, знаете, пожал плечами и говорит:

— Что ж, дядюшка,— говорит,— делать! Теперь я сам сознаю мои ошибки, но кто же в молодости не имел их? От маменьки в этом отношении я не имел никаких наставлений, напротив, еще оне ободряли все мои глупости; но, поживши и испытавши на опыте, иначе начинаю смотреть на вещи.

Тут входит моя жена.

— Ну-те-ка,— говорю,— молодой человек, узнаете ли, кто это такая дама?

— Как же,— говорит,— не узнать добрую, милую тетюшку, которая всегда мне такие красивые конфеты дарила!

Жена его тоже сейчас узнала, приветствовала, и стали они перекидываться между собою словами: супруга моя например, удивляется, как он ее узнал, потому что она, вот видите, очень постарела, а он наоборот: дает такой тон, что, если ему и трудно было узнать ее, так это потому, собственно, что она похорошела... Говорят они таким манером, а я между тем присматриваюсь к моему племяннику и думаю сам с собою: «Что же уж очень я напал на него и представлял его себе совсем пустым человеком. Малый хоть куда: говорит умненько, складненько». Далее, потом-с, после обеда сошлись в моем кабинете. Я сел в кресло вздремнуть немного, вдруг сквозь сон так слышу, что гость мой ходит по комна-

те и что-то с жаром говорит, открываю я глаза, прислушиваюсь: рассказывает он, что будто бы там, где они стоят, живут все богатые помещики, и живут отлично, и что будто бы там жениться на богатой невесте так же легко, как выпить стакан воды. Эти слова его, знаете, и напомнили мне, что говорила о нем Марья.

— Не знаю,— говорю,— милый мой Дмитрий Никитич, как нынче, а прежде я там тоже бывал, живут так же, как и мы грешные: есть богатые, есть и бедные; и богатые невесты, слышно, выходят больше или за богатых, или за чиновных, а на вашу братью — небогатых субалтер-офицеров — не очень что-то смотрят.

— Ну, нет-с; нынче там не так-с,— возражает он мне.— Нынче, если вы понравились девушке, то она, будь у ней хоть миллион, полюбя вас, выйдет за вас замуж.

— Может быть-с,— говорю,— только вот прежде надобно понравиться чем-нибудь.

Он прошелся этак по комнате, усмехнулся.

— Уважаю вас, дядюшка,— говорит,— как почтенного дядю, спорить с вами я не смею, тем более что про себя лично в этом случае мне рассказывать довольно щекотливо, и замечу одно, что тамошние женщины все прекрасно образованны, очень богаты и потому избалованны. Встречая молодого человека, если он им нравится, они знать не хотят, богаты ли вы, бедны, чиновны или нет.

— Ну, вот видите,— говорю я,— вы рассказываете нам точно про какую-нибудь новооткрытую Америку; все там не по-нашему делается.

— Вам, я вижу, дядюшка, это кажется смешно и неправдоподобно, но я могу доказать примерами: в прошлом году у нас женился майор и взял сто тысяч чистогану — это уж факт!

— Так майор же,— говорю,— а не прапорщик.

— Позвольте-с,— перебивает он меня,— если вам угодно успех этот отнести к чину майора, так вот вам другие два примера: пред самым моим отъездом один наш прапорщик, и один даже юнкер, оба бедняки, женились и получили в приданое: первый небольшое состояние с десятью тысячами серебром годового дохода, а второй хватил полмиллиона. Конечно, они оба хорошего очень рода, молодцы, щегольски говорят по-французски, но и только; кроме этого, в них ничего особенного нет: пра-



порщик даже очень недалек; а умели понравиться девушкам.

— Дай бог, конечно,— говорю,— этакое счастья всякому, но только вот видите ли, Дмитрий Никитич, что я в жизнь мою наблюдал: вас, охотников жениться на богатых невестах, смело можно считать тысячами, а богатых невест десятками, так на всех, пожалуй, и недостанет.

— Зачем же на всех? На счастливых выпадает! Но... если удастся некоторым, то почему не искать и каждому? Возьмите вы молодого человека в моем положении и скажите мне откровенно, чем другим я могу поправить мою карьеру; а поправить ее мне очень нужно: я очень небогат, но и по моему воспитанию, и по тому кругу, в котором я жил, по всему этому я привык жить порядочно.

— Какая вам,— говорю,— еще надобна карьера? Служите усерднее, вы красивы из себя, молоды, здоровы, человек, как понимаете себя, образованный, выслужитесь: карьера сама собою придет со временем.

— А денежные средства? — возражает он мне.

— Что же,— возражаю я ему в свою очередь,— денежные средства? По-моему, ваши денежные средства вовсе недурны: жалованья вы получаете около трехсот рублей серебром, именье... хоть вы и расстроили его, но постройте немного, и одной оброчной суммы будете получать около шестисот серебром; из этих денег я бы на вашем месте триста рублей оставил матери: вам грех и стыдно допускать жить ее в такой нужде, как жила она эти два года. Извините, я говорю прямо.

— Все это, дяденька, я очень хорошо сам знаю, но в таком случае,— говорит,— я не могу служить.

— Отчего же не можете? У вас будет шестьсот рублей годового дохода: на эти деньги очень, кажется, можно жить молодому офицеру.

Он вдруг засмеялся.

— Шестьсот рублей,— говорит,— для кавалерийского офицера! Нет,— говорит,— дядюшка, видно, вы совершенно не знаете службы.

— А когда,— говорю,— мало вам в кавалерии, переходите в пехоту, служба везде все равна.

— Если бы и так,— отвечает он мне на это,— так и в таком случае мне нечем будет жить.

— Да что же такое? — вспыхнул уж, знаете, я.— Все

вам мало да мало, а спросили бы вы: как служил ваш отец и я? Жалованья мы получали вдвое меньше вашего, из дома ни копейки, кроме разве матушка тихонько от отца пришлет белья, а мы, однако, прослужили: я двенадцать лет, а брат пятнадцать.

— Если так рассуждать, так вы, конечно,— говорит,— дядюшка, правы, но вы забыли, что нынче не те уж времена и не такое мы с детства получаем воспитание. Кто говорит! Если б я вырос в деревне, ничему бы не учился...

(Он-то, изволите видеть, многому учился, думаю я; однако ж слушаю.)

— Роскоши бы,— продолжает,— не видал, в обществе не был принят, это другое дело, я бы стоял там где-нибудь в деревне, ел бы кашу да говядину с картофелем, пил бы водку — и прекрасно! Но это для меня уж невозможно. Там у нас неделя не проходит без бала.

— Эх,— говорю,— Дмитрий Никитич, танцуя, целый век не проживешь.

— Кто ж,— говорит,— дядюшка, с этим спорит? Неужели вы думаете, что я в этих балах вижу цель моей жизни? Вовсе нет! Я хочу только жить между людьми, равными мне, и в обществе, хоть сколько-нибудь образованном; но предположим, что я поступлю буквально по вашему совету, то есть ничего не буду предпринимать и смиренно удовольствуюсь доходами с имения; в таком случае, как я и прежде вам объяснил, службу я должен оставить и, следовательно, поселиться в деревне, в нашей прекрасной Бычихе; но что ж потом я стану делать? В чем и какого рода могут быть у меня развлечения? Ездить по деревням на беседы да в села на базары!

— Кто вас,— говорю,— заставляет ездить по беседам? Занятия можно найти: хозяйничайте; а если захотите развлечься, зимой поезжайте в губернский город; у нас здесь веселятся больше по городам.

— Благодарю вас, дядюшка, покорно на ваших городских удовольствиях,— говорит он и кланяется мне в пояс.— Бывал я прежде,— продолжает,— был и теперь проездом в вашем губернском собрании. Что это такое, помилуйте, только что не горят сальные свечи да не подают квасу: скука, натянутость во всем, как на купеческой вечеринке, и что всего милее: я, например, в маскараде ангажирую одну девушку, она мне вдруг прямо

говорит: «Pardon, monsieur<sup>1</sup>, я с незнакомыми не танцую». Я отвернулся и не стал больше говорить. Это черт знает что такое! Она видела, что я в мундире. Как, тетушка, скажете вы, оправдываете поступок этой девицы или нет? — обращается он к жене моей; а та, знаете, чтоб немного побесить его:

— Что ж? — говорит. — Она, верно, не хотела с вами танцевать.

Он только на это приосанился и ничего не сказал.

— Ну как, — говорю, — не хотела; она просто глупо поступила.

— Не глупо, — говорит, — дядюшка, а это дичь какая-то. Но там, боже ты мой, что это за женщины! Знакомы вы или не знакомы: она сейчас вас оприветствует, пойдет с вами одна под руку в сад, в поле; сама вызовет вас на интересный разговор — и все это свободно, умно, ловко! Вы, дядюшка, улыбаетесь; вам, как человеку пожилых лет, может быть, смешны мои слова, но я говорю справедливо.

— Нет-с, — говорю, — я не тому, а очень уж вы хвалите тамошние места; видно, там зазнобушка есть, так и кажется все в ином свете.

— Ну, дядюшка, — говорит, — что это за слово: зазнобушка, очень уж оно неблагозвучно, — и потом, подумавши, прибавляет: — Действительно, — говорит, — я имею там виды на одну девушку.

— Что ж, и жениться думаете?

— Конечно-с, тем более что это такая партия, о которой я не смел бы подумать, если бы не случай.

— Дай бог, — говорю, — Дмитрий Никитич, только смотри, есть поговорочка, которую твой покойный отец часто говаривал: «Девушки хороши, красные пригожи; ах, откуда же берутся злые жены?»

— Эта поговорка, — говорит, — дядюшка, никоим образом не может отнестись ко мне!

— Не хвастай, — говорю, — понравится сатана лучше ясного сокола; в тех местах женщины на это преловкие, часто вашу братью, молоденьких офицеров, надувают; а если ты думаешь жениться, так выбери-ка лучше здесь, на родине, невесту; в здешней палестине мы о каждой девушке знаем — и семейство ее, и род-то весь, и состояние, и характер, пожалуй.

<sup>1</sup> Извините, сударь, (франц.)

— Очень вам благодарен,— говорит,— дядюшка, за ваш совет и вполне уверен, что вами руководствует мне желание добра, но вы меня совсем не поняли. Обмануться я не могу, потому что я женюсь с расчетом. Нынче уж,— говорит,— дядюшка, над любовью смеются, а всем надобно злата, злата и злата. Точно так и я. У меня все предусмотрено: кроме ее прекрасного воспитания, ума, доброты ангельской, кроме, наконец, обыкновенного приданого, у ней миллионное наследство — в деле. Много ли у вас таких невест?

— В делах-то, пожалуй,— смеюсь я ему,— и у наших лежат миллионы, да дела-то — вещь темная..

— А вот какая,— говорит,— дядюшка, темная вещь, это мне говорил один тамошний стряпчий-законник, который на этих делах зубы приел. Он говорил, что на охотника за это дело сейчас можно дать двести тысяч.

— Хорошо,— говорю,— значит, дело. Только когда и скоро ли оно кончится?

— В этом-то,— говорит,— и фортель весь заключается: старик засиделся в деревне, обленился; ему страшно подумать тронуться в Петербург, и дело таким образом стоит, не двигается, но если оно попадет в руки человека с энергией, так ему будет недурно. Вот видите,— говорит,— дядюшка, как у меня далеко все рассчитано.. Стало быть, я не слепой обожатель!

— Вижу,— говорю,— что у вас в голове все рассчитано, а на деле-то, мне кажется, так вас либо надувают, либо дурачат.

— Время-с,— говорит,— все это покажет.

— Конечно,— говорю,— время покажет..

И уж мне, знаете, стал надоедать этот спор.

— Кончим,— говорю,— мой милый Дмитрий Никитич, наши прения, которые ни к чему не поведут. Мне тебя не убедить, да и ты меня тоже не переуверишь; останемся каждый при своем.

Так мы с ним и поспорили; вижу, что мои замечания ему не очень понутру: нахмурился, ушел и с полчаса ходил молча по залу. Вечером, однако, приехала одна дама с дочерьми, он сейчас с ними познакомился и стал любезничать с барышнями, сел потом за фортепьяно, очень недурно им сыграл, спел, словом, опять развеселился. После ужина, впрочем, стал прощаться, чтоб ехать домой. Я останавливаю его ночевать.

— Нет уж,— говорит,— дядюшка, отпустите меня; я приехал на такое короткое время, надо с матушкой побыть.

— А в таком случае,— говорю,— не смею останавливать, поезжайте.

— У меня, впрочем,— говорит,— дядюшка, до вас просьба есть.

Согрешил! Думаю, верно, хочет денег просить.

— Какая же это просьба?— говорю не совсем уж таким приятным голосом.

— Я,— говорит,— дядюшка, желаю остальную свободную часть имения заложить, и как это зависит от здешних судов, так нельзя ли вам похлопотать, чтоб мне скорее это сделали?

— Это,— говорю,— Дмитрий Никитич, ты таким-то манером думаешь устраивать именья?

— Невозможно,— говорит,— дядюшка, при таком случае, как женитьба, о которой я вам говорил; не могу же я быть совершенно без денег.

— Послушай,— говорю,— Дмитрий Никитич, исполни ты хоть один раз в жизни мою просьбу и поверь, что сам за то после будешь благодарить: не закладывай ты именья, а лучше перевернись как-нибудь. Залог для хозяев, которые на занятые деньги покупают именья, благодетелен; но заложить и деньги прожить — это хомут, в котором, рано ли, поздно ли, ты затянешься. О тебе я не говорю: ты мужчина, проживешь как-нибудь; но я боюсь за мать твою, ты оставишь ее без куска хлеба.

— Помилуйте, дядюшка, неужели,— говорит,— я не понимаю священной обязанности сына!

— Верю,— говорю,— друг мой, что понимаешь, но скажу тебе откровенно, потому что желаю тебе добра и вижу в тебе сына моего родного брата, что ты еще молод, мотоват и ветрен.

— Очень грустно, дядюшка, слышать, что вы меня так понимаете,— возражает он мне.

— Ну, мой милый,— говорю,— хоть сердись на меня, хоть нет; а я говорю, что думаю, и не буду тебе содействовать в залоге именья: делай помимо меня, а я умываю руки.

На эти слова мои он расшаркался и уехал. Впрочем, я, рассчитав, знаете, что скоро ему к отъезду, и как бы вроде того, чтоб заплатить визит, еду к ним. Подъезжаю

и вижу, что дорожная повозка у крыльца уж стоит: укладываются; спрашиваю:

— Где барыня?

— В спальне у себя, не так здорова.

— А молодой барин?

— У них сидят-с.

Вхожу. Она сидит на постели, а он у окошка. Я чуть не вскрикнул: представьте себе, в какие-нибудь эти полтора года, которые я ее не видал, из этакой полной и крепкой еще женщины вижу худую, сморщенную, беззубую старушонку.

— Ах ты, боже мой, думаю, и все это сделалось от разлуки с Митенькой.

— Мать ты моя,— говорю,— сестрица, что это с тобой сделалось? Тебя узнать нельзя.

— Все больна,— говорит,— братец, это время была. Митенька-то мой, братец!

— Знаю,— говорю,— сестрица, мы с ним знакомы. Молодец у тебя сын; мы с женой не налюбовались им, как он был у нас,— говорю ей, чтобы потешить ее.

— Слава богу,— говорит,— батюшка!

А сама взглянула на образ и перекрестилась. Так что-то даже жалко сделалось ее в эту минуту.

— Едет уж,— говорит,— братец, а я здесь остаюсь,— проговорила, знаете, этаким плачевным голосом, да и в слезы.

— Что же,— говорю,— сестрица, делать! Сын не дочь, не может сидеть все при вас.

— Вы,— говорю,— маменька (вмешивается Дмитрий), вашими слезами меня, наконец, в отчаяние приводите. Если вам угодно, я исполню ваше желание, останусь здесь: брошу службу, брошу мою выгодную партию; но уж в таком случае не пеняйте на меня. Я должен погибнуть совершенно, потому что или сопьюсь, или что-нибудь еще хуже из меня выйдет.

— Я, Митенька, друг мой, ничего, ей-богу, ничего. Я так только поплачу; нельзя же,— говорит,— не поплакать!

— Поплакать,— говорю,— сестрица, можно, да ты плачешь-то не по-людски. Родительская любовь, моя милая, должна состоять в том, чтобы мы желали видеть детей наших умными, хорошими людьми, полезными слугами отечества, а не в том, чтобы они торчали пред нами.

Между тем, как я таким манером рассуждаю, он вдруг встал. Она как увидела это, так и помертвела; а плакать, однако, не смеет и шепчет мне:

— Батюшка братец, мне бы благословить его хотелось.

— Ну что ж,— говорю,— это хорошо. Маменька ваша,— говорю,— Дмитрий Никитич, желает вас благословить.

Он мне вдруг мигает и тоже шепчет:

— Нельзя ли,— говорит,— дядюшка, чтоб не было этого благословения, а то опять слезы и истерики. Ей-богу, я измучился, сил моих уж нет.

— Ну, что делать,— говорю,— братец, нельзя старуху этим не потешить.

Дал ей образ, встал он перед ней на колена, слезы вижу и у него на глазах; благословила его, знаете, но как только образ-то принял у нее, зарыдала, застонала; он ту же секунду драла... в повозку, да и марш; остался я, делать нечего, при старухе.

— Помилуй,— говорю,— сестрица, что ты такое делаешь!

— Батюшка братец,— говорит,— не могу я без него, моего друга, жить.

Да как заладила это: «Не могу я без него жить», плачет день, плачет другой... Я было ее к себе, в город, лекаря пригласил, тот с неделю посмотрел и говорит: «Если ее оставить в этом положении, так она с ума сойдет». Как после этого прикажешь с ней быть?

— Что же вы,— говорю,— сестрица, так уж убиваетесь? Поезжайте, когда так, за ним.

— Не смею, батюшка братец. Ну, как ему это будет неприятно?

— Что это,— говорю,— за вздор — неприятно! Что это тебе пришло в голову,— поезжай!

А сам между тем к нему, молодцу, написал особое письмецо. Пишу, что «мать ваша, Дмитрий Никитич, не может жить без вас и едет к вам, но она имеет, к удивлению моему, страшное опасение, что вам это будет неприятно, чего, конечно, надеюсь, не встретит, ибо вы сами хорошо должны знать, как много вы еще должны заплатить ей за всю ее горячую к вам любовь...» и так далее, знаете, написал умненькое этакое письмецо с заковычками небольшими: хотелось ему объяснить, что он обя-

зан к матери быть благодарен и почитителен. Старуха моя, как только я утвердил ее в этой мысли, точно ожила: сама укладывается, собирается, мне только что не в ноги кланяется. Уехала, наконец, и вскоре потом пишет: благодарит за участие и объясняет, что Митенька обрадовался ей без души и что еще большая для нее радость та, что общее их желание исполняется: он женится на красавице и богачке. Я сначала и поверил, а потом люди их стали болтать, что, когда она туда прибыла, так он ей нанял особую маленькую квартиру, и что ни к невесте, ни к ее родне даже и не представлял, и что будто бы даже старуха и на свадьбу не была приглашена, и что уж после сама молодая, узнавши, что у ней есть свекровь, поехала и познакомилась, и что тесть и теща ему за это очень пеняли. Как это ни скверно с его стороны, однако, отвергать не могу: мать-де стара да бедна, не так, может быть, образована, как нынешние дамы, так и стыдно! Фанфарон, и большой фанфарон, как вы это увидите и из последующей его жизни. Этаких господ, надобно сказать, не один он на свете. Чего бы, кажется, должно совеститься — деньги, например, брать в долг да не платить, им ничего. А что, по-нашему, вздор: в старой бы шинельке, если ему пришлось пройти по улице, так со стыда сгорит, прятаться за углы станет, чтобы только его не увидел кто-нибудь... Сколько прошло потом времени после женитьбы моего Дмитрия Никитича, теперь уж хорошенько не помню. Только прогремела, наконец, у нас по уезду такая молва, что бычихинский барин вышел в отставку и изволил с маменькой и с молодой супругой прибыть в свое поместье и очень-де шибко принимаются за хозяйство. Я, знаете, на правах дяди ожидаю хоть бы и визита себе — не едут; мне немножко это и обидно. Думаю: видно, в самом деле племянник разбогател, когда и знать не хочет. Однако получаю с нарочно посланным от него письмо, в котором приносит тысячу извинений, что до сих пор сам не был и жены не представил; причина тому та, что, приехавши в усадьбу, не нашел ни одной годной для выезда лошади. «Препятствие это, милый племянник, — отвечаю я ему, — весьма легко устранить». И с этим же, знаете, посланным посылаю за ними карету шестериком, чтобы и они спокойно доехали, да и себя чтобы тоже не уронить! «На-мо, говорю, знай наших!» Приезжают-с. Он уж



в штатском платье, щеголь этакой, раздобрел немного, усы, бакенбарды, осанка этакая, как и вы, может быть, заметили, графская — залюбованье, по наружности, мужчина. Она очень еще молоденькая, довольно высокая, стройная, собой хорошенькая, только худа что-то очень и вообще какая-то воздушная: дунешь, кажется, так она упадет, не то что вот наши барышни — коренастые, краснощекие. Немочкой она мне показалась на первый раз. Одета, конечно, по последней моде, так что у моей супруги глаза даже разгорелись; всю ночь после мне толковала, какое на ней все это дорогое и со вкусом. Рекомендует он ее нам.

— Прошу,— говорит,— дядюшка и тетушка, почтить мою жену таким же родственным расположением, которым и я всегда пользовался от вас.

Она тоже просит полюбить.

Мы говорим, что это наша обязанность.

— Не скучаете ли вы,— говорю,— сударыня, в деревне, в наших местах?

— Нет-с,— говорит,— с мужем и детьми зачем же скучать?

— А дети ваши велики? — спрашивает жена моя.

— Старшему,— говорит,— два года, а младшему шесть месяцев.

— Сами кормите?

— Нет,— говорит,— первого я сама кормила, но потом была больна, и второго доктор мне запретил; так это мне грустно!

— Вот,— говорит (вмешался уж это племянник),— тетушка и дяденька, побраните для первого знакомства вашу племянницу,— хандрит часто: что немного не по себе, а она уж бог знает что воображает, никак и ничем себя не хочет порассеять.

Я посмотрел, знаете, на нее: цвет лица, кажется бы, бледный, а между тем румянец, как два врезанные розовые листа, играет. «Ну, пожалуй, думаю, судя по этому, есть от чего и похандрить»; однако не выказал этого, а, напротив, еще говорю:

— Нехорошо,— говорю,— молодой даме о болезни думать.

— Нет,— говорит,— дядюшка, я не думаю, а, ей-богу, говорю, иногда себя очень плохо чувствую.

И так далее беседуем. Но так как они, хоть и не пер-

вый год женаты, а для нас все еще будто молодые, и потому я затеял для них обедец, кое-кого из знакомых позвал. Съехались те. Вижу, мой Дмитрий Никитич себя держит свысока. Что-то насчет стола заговорили, и он тотчас же нам начал рассказывать: какой нынче должен быть порядочный, как он выразился, стол, перечислил названия кушаньям — всё иностранные, так что мы, его слушающие, этаких и не слыхивали, и все это, знаете, очень подробно — точно сам повар! Потом об экипажах коснулся разговор. Он стал доказывать, что если уж покупать экипажи, так никак не менее восьмисот рублей серебром, потому что такой экипаж будет гораздо выгоднее дешевого, прослуживши десять — пятнадцать лет без починки, и вслед за этим начал смеяться над некоторыми нашими помещиками, которые собирают экипажцы дома, хозяйственно.

— Кто,— говорю я ему на это,— Дмитрий Никитич, не знает, что коляска в восемьсот рублей серебром лучше, чем дома собранная в двести рублей ассигнациями; да ведь всякой по одежке протягивает ножки; надобно наперед, чтобы восемьсот-то рублей в кармане были.

— О дядюшка, что это за вздор! Велики деньги восемьсот рублей!

Словом, я вижу, что он немного корчит из себя барица; к супруге своей в то же время очень внимателен, беспрестанно, знаете, обращается к ней на французском языке. Она ему также отвечает по-французски. Я-то не понимаю, а только жена мне после сказывала, что она это, как называется, произносит совершенно как француженка. Далее потом вышли как-то и мы, и гости все наши в залу. Он, увидевши тут фортепьяно, вдруг говорит моей жене:

— Так как я знаю, тетушка, что вы любительница музыки, так не угодно ли вам заставить жену мою сыграть что-нибудь; она,— говорит,— концерты давала.

Супруга моя, конечно, начала просить. Она было сначала отнекивалась, говорит, что давно не играла; однако упросили. Села и сыграла штучки две хорошо, очень хорошо и бойко, и с чувством; потом романс сыграла, а он спел. Я и понял, что он хочет пыль в глаза пустить образованием, знаете, своей супруги; ну, и это еще ничего — извинительно. При расставанье я говорю, что я и жена на следующей неделе постараемся им заплатить визит.

— Нет,— говорит,— дядюшка, не извольте вы беспо-

коить ни себя, ни тетушку, потому что у меня теперь хаос; все ломается и переделывается. Я буду вас просить, когда все это приведется в порядок, и тогда надеюсь, что в состоянии буду принять вас прилично.

— Как хочешь,— говорю,— нам все равно, но что же такое ты переделываешь: дом, что ли?

— Все,— говорит,— дядюшка: всю усадьбу поднимаю с подошвы.

— Ну, доброе дело; только не спешил бы, а исподволь бы все устраивал; это будет и дешевле и прочнее.

— Нет,— говорит,— дядюшка, я не такого характера: я люблю, чтобы у меня все кипело.

И в самом деле, видно, у него закипело. Люди беспрестанно ездят в город, то материалов закупить, то мастеровых нанять. К нам заходят тоже, спрашиваю их:

— Барин,— я говорю,— видно, при деньгах?

— При деньгах-с,— отвечают мне.

Слава богу, думаю; радуюсь. Наконец, он и сам является и, только что поздоровался, сейчас же подводит меня к окну.

— Не угодно ли,— говорит,— дядюшка, взглянуть на новокупок моих.

Гляжу. Стоит новомодная коляска и щегольских четверных вороных лошадей.

— Недурны кони? — спрашивает.

— Да,— говорю,— у кого же ты это купил?

— У Архипова-с,— говорит.

Я невольно, знаете, пожал плечами. У Архипова точно, надобно сказать, отличный конский завод, но дело в том, что у него, как я знаю, меньше трехсот серебром лошади нет.

— Что же,— говорю,— Дмитрий Никитич, ты платил за них?

— Вздор,— говорит,— дядюшка, просто шаль,— полторы тысячи целковых за четверку.

— Деньги хорошие,— говорю,— и полторы тысячи целковых не очень дешево.

— Помилуйте, дядюшка,— возражает он мне,— да вы рассудите: лошади все кровные, одна другой вершком ни выше, ни ниже, масть в масть; а как съезжены, вы посмотрели бы! Мне вчера только привели их, сегодня я заложил и поехал. Поверьте мне, говорит, дядюшка, я кавалерист и в лошадях знаток; стоит мне только эту чет-

верку в Москву свести, я за нее меньше четырех тысяч серебром не возьму.

— Можно взять и меньше,— говорю я на это, и тут же к слову спрашиваю: — А что это, Дмитрий Никитич, говорю, какой у тебя кучер? Я что-то его не знаю. Из жениного имения, что ли?

— Нет,— говорит,— это нанятой, чудный малый; одна посадка, посмотрите, чего стоит... толстяк-то какой!

— Что же ты,— говорю,— ему платишь?

— Десять целковых в месяц.

— Да,— говорю,— десять же, однако, целковых!.. Цена петербургская; а кажется, для деревни это лишнее. У покойного отца твоего хороший был кучер и к лошадям очень привязанный.

— Ну, что это, дядюшка, за кучер? Ему на косульницах ездить, а не на кровных лошадях. Он к этим львам и подойти не посмеет, да и дурак какой-то! Я ему велел возить солому да воду в хлев.

Не хотел его тут оспаривать, потому что он уж не молоденький офицер, а женатый, муж, семьянин.

— А я,— говорит,— дядюшка, к вам с требованием обещанного визита; мне уж теперь не стыдно принять вас в свой домишко.

— Будем,— говорю,— когда прикажешь, тогда и будем.

— Я бы,— говорит,— в будущую пятницу вас просил; оно немножко и кстати, потому что что-то такое вроде именин моей жены.

— Очень,— говорю,— кстати. Если бы я знал, я бы и без зову приехал.

— Тетушка тоже,— говорит,— будет?

— Будет,— говорю.

— Стало быть, это статья решенная,— продолжает он,— но мне бы еще хотелось пригласить кой-кого из городских, и потому прощайте.

— Для чего же тебе это хочется? — спрашиваю я.

— Так,— говорит,— дядюшка,— нельзя же: могут случиться делишки по судам; лучше, как позакормишь; из соседей некоторые приедут, так уж вместе.

— Что же это такое: обед, что ли, будет у тебя?

— Нет, так, позывочка; нельзя же не сблизиться. Между нами сказать: нынешним предводителем, кажется,

не очень довольны; чрез год баллотировка, мало ли что может случиться.

— Это значит, ты в предводители думаешь?

— Да не то, чтобы я думал, а если дворянству угодно будет предложить мне эту честь, не буду сметь отказать.

Я взял да, знаете, ему и поклонился низенько.

— В таком случае,— говорю,— не оставьте, батюшка Дмитрий Никитич, вашей предводительской милостью вашего бедного родственника-исправника.

Смеется.

— Только,— говорит,— дядюшка, пожалуйста, чтоб это осталось между нами. Тут ничего еще определенного нет, и я так говорю с вами, как с родственником.

— Смею ли,— говорю,— я, маленький человечек, что-нибудь говорить, когда вы не приказываете.

— О,— говорит,— дядюшка, вечно подденете меня и шпильку мне поставите; лучше,— говорит,— не забудьте пятницы.

— Слушаю-с,— говорю,— ваше высокородие, слушаю-с.

Пришла потом пятница. Отправляемся мы с супругой, а за нами, смотрим, почти полгорода, все почти чиновники, худые и хорошие. Приезжаем мы этой гурьбой. Дом, вижу я, отделан так, что узнать нельзя против прежнего: все это выбелено, вычищено, рамы в три стекла, стол уж накрыт огромнейшим глаголем, и на нем, знаете, вазы серебряные с шампанским, хрустальные вазы с фруктами; лакеи в белых галстуках, белых жилетах и белых перчатках, короче сказать, так парадно, хоть бы и от тысячи душ. Хозяин тоже по форме — во фраке, встречает нас в зале и ведет в гостиную. Мы, как водится, поздравляем племянницу с днем ее ангела; а она, бедненькая, едва сидит, так бледна и худа, что ужас.

— Что это,— говорю,— милая племяненка, вы все, кажется, хвораете; хоть бы для именин своих эту дурную вашу привычку оставили.

Усмехнулась.

— Бог бы с ними, дядюшка, с моими именинами, не очень я им рада,— говорит мне это негромко.

Значит, это празднество ей не очень по душе, но, переговорив с нею, делаю, разумеется, поклон прочим гостям. Глядь, это все наши уездные богатые помещики, уездов с

трех, кажется, собраны, и когда он это успел объехать их и познакомиться с ними, не понимаю, и так как, знаете, от нашего брата, земского исправника, до этих больших бар большой скачок, так я и удалился в наугольную, где нахожу мою старушку сестрицу. Сидит она, знаете, в блондовом чепце, в шелковом платье, пречопорная и, как видно, очень довольная. Здравуюсь я с ней, она вдруг отвечает мне:

— Здравствуй, мой родной, здравствуй! — И каким-то этаким, знаете, обязательным тоном.

Мне это, признаться, показалось несколько и досадно. Видевши, что тут кой-кто сидит из гостей, захотелось мне ей и понапомнить кое-что.

— Как я рад,— говорю,— сестрица, что я в вашей Бычихе нахожу не развалины, а все устроивается и приводится в новый вид, начинает походить на прежнюю Бычиху, как была она при покойном брате.

Она поняла мои слова и сейчас же гораздо спустила важности.

— Да, мой дружок, слава богу, слава богу,— говорит.

— Да,— продолжаю я,— должна благодарить бога, тем более, какая у тебя прекрасная невестка! Не ошибся Дмитрий Никитич в выборе: и сама по себе, да и состояние, кажется — одно другому отвечает.

— Слава богу, слава богу,— повторяет она.— Я день и ночь,— говорит,— молю творца за милости ко мне. Хотя, конечно, Митя был такой жених, что ему много предстояло партий блистательных и богатых, но эта дороже всех, потому что по сердцу.

— Бог с ними, с богатыми и блистательными, какие бы еще вышли, лучше нам не надобно,— говорю я.

Пока мы таким манером со старухой беседовали, кушать просят. Садимся. Обед, по нашим местам, оказывается превосходный, только птичьего молока нет. Уха из мерных стерлядей, этот модный потом ростбиф; даже трудно понять, где он достал этакой говядины: в наших местах решительно нельзя такой найти, вероятно, послал нарочного в Ярославль. Вина, которых я хоть и не пью, но вижу, что с золотыми да с серебряными головками, значит не нашенские; шампанским просто обливает; мужчины, кажется, по бутылке на брата выпили. После обеда, конечно, картежи. Он из вежливости составил трем своим знатым гостям партию в преферанс, по двугривен-

ному фишка, и в две пульки проиграл около ста целковых. Наконец, кончилось торжество, часов в девять разъехалась вся эта братия. Меня с женой не пускают, оставили ночевать, но я, видевши, что хозяин утомился:

— Не церемонься,— говорю,— Дмитрий Никитич, ступай отдохни.

— Да,— говорит,— дядюшка, пойдемте в кабинет; я оденусь во что-нибудь попросторнее.

— Хорошо.

Пошли мы. Он, как только вошел, сбросил с себя фрак и кинулся на диван.

— Ах,— говорит,— дядюшка, как я измучился сегодня: с пяти часов утра я не присел; до сих пор куска во рту не бывало, а теперь уж и есть ничего не могу.

— Вижу,— говорю,— мой милый, вижу; впрочем, что же, своя охота.

— Нельзя,— говорит,— дядюшка; нынче в свете обед играет важную роль: обедом составляются связи, а связи после денег самая важная вещь в жизни; обедами наживаются капиталы, потому что приобретается кредит. Обед! Обед! Это такая глубокомысленная вещь, над которой стоит подумать. Однако скажите-ка лучше мне: порядочно все было у меня?

— Чего же,— говорю,— лучше?

— А повар,— говорит,— дядюшка: как вы находите, недурен?

— Очень хорош,— говорю,— брал, что ли, у кого?

— Фи, дядюшка, повара брать! Это, по-моему, все равно, что надеть чужой фрак; это значит всенародно признаться, что, господа, я ем, как едят порядочные люди, только при гостях; как же это возможно? Я не могу себе представить жизни без хорошего повара. Насчет этого есть очень умная фраза: «Скажи мне, как ты ешь; а я тебе скажу, кто ты».

— Что ж, он у тебя, верно, нанятой? — спрашиваю я.

— Нанятой.

— А вот этот камердинер твой, что входил сюда, тоже, кажется, нанятой?

— Нанятой тоже. Вас, я вижу, дядюшка, несколько удивляет, что у меня все нанятые люди; но что же мне делать? Никого своих нет! Говорили, что эта ключница Марья Алексеевна у нас *очень хорошая*: а на днях я заставил ее подварить наливку, и она приготовила величай-

шую дрянн, тогда как я могу пить только такие наливки, которые густы, как ликер. Бог знает, что за прислуга была у отца; один другого хуже: глупые, неопрятные, ленивые; ну, а я, признаюсь, не могу этого сносить, это нож острый для меня.

— Прихотничаешь,— говорю,— Дмитрий Никитич. Впрочем, если средства есть, так отчего же и не потешить себя и не сделать, как нравится?

Он молчит. А мне все, знаете, хочется выпытать из него, форсит ли он только, или в самом деле богат, но прямо сказать как-то неловко, и потому я решил щупать его с боков. Немного помолчав, опять навожу на этот предмет.

— Ты,— я говорю,— тогда, Дмитрий Никитич, как еще офицером в отпуск приезжал, так говорил, что имение твоей теперешней супруги в деле; выиграно оно или нет еще?

— Нет,— говорит,— дядюшка, тянется еще.

— Что ж,— говорю,— хлопотать надобно. Смотри, не пропусти сроков.

— Успею еще, не уйдет оно от меня. Теперь мне, главное, хочется устроить себя здесь поосновательнее.

— В чем же,— говорю,— именно будет состоять твое устройство?

— Да как вам сказать,— говорит,— прожектов у меня в голове много, потому что хоть и вы мне говорили и многие другие, что покойный мой отец был хороший хозяин, но, виноват, не вижу этого решительно ни в чем. Если у него и было хозяйство, то маленькое, ничтожное, женское, как говорится.

— Какое же это мужское-то хозяйство? — спрашиваю я.

— А вот-с, например,— начинает он,— усадьба Бычиха с полевыми, лесными, сенокосными дачами и угодьями, на пространстве необозримом — в один день не обойдешь; но какой же, позвольте вас спросить, доход от нее? Никакого, кроме расхода; намолотится хлеба, наготовится соломы, накосится сена, и все это, по-видимому, в громадных размерах, но посмотришь к концу года, все это уничтожится дворней, которая ничего не делает, лошадьми, на которых невозможно выехать, и коровами, от которых пятнадцати пуд в год масла не получается. Как хотите, дядюшка, подобный хозяйственный расчет смешон.



— Что же делать,— говорю,— мой любезный Дмитрий Никитич? Скотина держится потому, что хлеб не станет родиться. В здешней полосе землю не удобрить, так и семян не сберешь, а дворовые люди в прислуге.

— Не сорок же человек, дядюшка, как, например, в моей дворне, из которых у меня ни одного нет в прислуге.

— Это уж,— говорю,— твое распоряжение, а они очень могли бы быть в прислуге; ну, а прочие в этом числе, конечно, старый да малый, тут, я думаю, старые слуги и служанки твоего отца или их дети, куда их девать? Или потом мужик какой-нибудь бессемейный от старости или за хворостью обеднеет, его берут в дворню; вот ведь как дворни большие составляются: почти по необходимости.

— Стало быть, дядюшка, это богадельня?

— Как хочешь,— говорю,— называй, только не тягаться дворней. Это, по-моему, грех; не разбогатеешь этим.

— Однако,— говорит,— дядюшка, при двухстах душах богадельня на сорок человек велика. Впрочем, я о полевом хозяйстве упомянул только для примера, чтобы показать вам, как оно при отце было безрасчетно; я на него и вниманья не буду обращать, не стоит труда; пусть оно идет, как шло, лишь бы денег от меня не требовало; но у меня другое в виду, здесь золотое дно — фабричное производство; вот здесь в чем капитальная сила имения заключается.

— У отца твоего,— говорю,— был кирпичный завод, была и мельница, ты же все это уничтожил.

— Ну что, дядюшка, об этом вздор говорить: кирпичный завод, на котором пять тысяч кирпичу выделывалось, и мельница, приносящая в год сто рублей и сто раз в год ломавшаяся; тут может быть устроено что-нибудь по-серьезнее.

— Что же такое,— говорю,— по-серьезнее?

— Сию секунду-с объясню,— отвечает он мне с этаким одушевлением, так что даже встал с дивана и начал ходить по комнате.— Известно ли,— говорит,— вам, почтеннейший дядюшка, что у меня две тысячи десятин лесу? Это ведь капитал, согласны с этим? Но какие же проценты получаю с этого капитала, не угодно ли вам знать? Ни больше, ни меньше, как со старых моих сапогов.

— Что же делать! — говорю.— Сплавов здесь нет.

— О боже мой, сплавы! Мне и не нужно сплавы. Ко мне на дом все приедут и купят; извольте заметить, что

у меня две тысячи десятин. В здешней полосе лес растет до своей нормальной величины двадцать пять лет; следовательно, если я разобью свою дачу на двадцать пять просек, то каждый год могу, бесконечное число лет, вырубать восемьдесят десятин лесу и свободно сжечь его для какого угодно вам фабричного дела.

— Это,— говорю,— так; но на фабричное дело, любезный Дмитрий Никитич, надобно прежде положить капитал.

— Будут-с капиталы! Всякому купцу, который думает завести фабрику около Москвы, где он должен будет платить по четыре рубля серебром за сажень дров, конечно, выгоднее будет устроить фабрику у меня в именье, где я поставлю ему за рубль серебра сажень, или, лучше сказать, я не дам этого никому, я сам устрою завод — стеклянный, хрустальный, бумажный, какой вздумается, и наперед знаю, что буду получать огромные барыши.

— Ну, барыши,— говорю,— еще впереди, ягнят по осени считают; а прежде всего смотри, понимаешь ли ты хоть сколько-нибудь сам эти дела?

— Это вздор; за пятьсот — шестьсот целковых в год вы можете нанять превосходного фабриканта, химика, машиниста, какого только вам надо! Вот бы что, дядюшка, отцу моему следовало давно затеять, так именье бы стоило чего-нибудь.

Слушаю я его, и такого-то, знаете, тумана напустил он мне в глаза этим разговором! Говорит, пожалуй, ладно и неладно. Ехавши домой, переговариваю я об этом с моей супругой.

— Из нашего Дмитрия Никитича, — говорю я, — вышел какой-то прожектер.

— Да,— отвечает она мне,— только все его эти прожектеры, кажется, Елене Петровне (то есть его супруге) очень неприятны, потому что, когда в гостиной он тоже об этом рассказывал, так она ему при всех сказала: «Дай бог, говорит, чтобы все это было так выгодно, как ты, Митенька, рассчитываешь», а он, сконфузившись, не нашелся на это ничего сказать, а только подошел и поцеловал ее в голову.

— Не знаю, — говорю, — подождем, что будет дальше.

— Дальше, однакож, предприятия его шире и шире распространяются. Завод устраивается хрустальный под

присмотром англичанина, который нарочно из Москвы нанят; в суде он у меня, знаете, билет заявлял, тут я его и видел. Одет чисто, богатый, должно быть; и уж не дешево, конечно, взял. Но завод еще не все; слышу я о многом и другом; слышу, что Дмитрий Никитич почтовую станцию снял; мосты тогда строились по большому тракту, два или три моста, довольно капитальные, те взял на подряд; подбился ко всем этим, знаете, тузам, которые у него кушали, и выпросил у них залогов; у двух купцов наших вывернул как-то свидетельства на дома. Ко мне было, знаете, адресовался с той же просьбой, однако я говорю, что человек я мнительный, торговых дел не понимаю, да и имения свободного нет. Отошел, знаете, отвертелся кое-как. На зиму он вздумал в город к нам переехать. Сказывает мне об этом.

— Милости, — говорю, — просим, мы рады; компания нам будет.

— Помещение, — говорит, — дядюшка, только меня затрудняет.

— Что же, — говорю, — помещение... Найми старого судьи дом — светленький, чистенький и теплый очень.

— Фу, дядюшка, что ж вы говорите! Где ж я помещусь с моей семьей в этих конурках? Нет уж, — говорит, — я хочу свой выстроить, или, лучше сказать, решил-ся купить эти погорелые стены на площади... Место тут прекрасное; отделаю их, как мне надо.

— Не советовал бы, — говорю, — тебе, Дмитрий Никитич, ни строить, ни покупать здесь дому, потому что здесь в домах, как сам перестал жить, так капитал и мертвый.

— Что же такое? Когда будет не нужен, тогда продам.

— Нет, — говорю, — не продашь, не скоро ты найдешь здесь покупателя.

— В таком случае будет ходить у меня в залогах, а в наем отдам под какой-нибудь трактир или харчевню, по контракту, лет на десять, вот вам и проценты с капитала.

И только что переговорил таким манером со мной, смотрю, стены уж куплены, и постройка пошла, а месяца в четыре и дом готов. Я иногда, гуляя, заходил посмотреть, как строится, и вижу, что черт знает что такое. Все это черновое основание никуда негодно: стены пого-

релье, значит, растрескались, но их не только что не переклали, даже железом не связали, а все только замазали. Но зато, как начисто пошла работа, Дмитрий Никитич ничего не жалеет и сам с утра до ночи присматривает. Прелесть, как отделали по наружности. Посмотреть — маленький дворец; потом, конечно, надобно мебелировать дом: деревенская мебель, очень хорошая и тоже новая, не годится, выписывается особенная из Петербурга. Как, знаете, этакому баричу, как господин Шамаев, таскать мебель из деревни в город и из города в деревню — скучно очень! Впрочем, это еще и так и сяк походило на что-нибудь; но чем он меня поразил, так это: умер тут у нас соборный протопоп, очень богатый, ученый и одинокий. Всю движимость он назначил, чтоб продать, а деньги в церковь. В числе этой движимости была довольно большая библиотека и этот, как по-ученому называется, минералогический кабинет. В уездном суде составилась аукцион. Захожу я туда полюбопытствовать, кто что купил, однако аукцион уж кончился; но я заглянул в опись и вижу, что библиотека и минералогический кабинет остались за штаб-ротмистром Шамаевым. Господи помилуй, думаю: зачем это ему? И потом, встретившись с ним:

— Батюшка, — говорю, — Дмитрий Никитич, давно ли вы изволили в ученые записаться, что библиотеками и кабинетами заводитесь?

— Да, дядюшка, — говорит, — купил, купил.

— Для какой же это, — я говорю, — надобности? Из камней ты, вероятно, и назвать ни одного не умеешь, а играть ими, как игрушками, стар для этого; в библиотеке тоже, по-моему, не нуждаешься. Сколько я тебя здесь ни знаю, ты, кроме газет, вряд ли какую-нибудь книгу и развертывал.

— Что ж вы меня, дядюшка, — говорит, — таким профаном считаете? Небольшая хорошенькая библиотека в доме очень не лишнее, а камень эти в красивых шкапчиках поставлю я в моем кабинете, тоже очень будет мило, а главное, дешево: за все про все какие-нибудь триста целковых.

Я только махнул рукой, вижу, не перерезонишь его; на все у него свои расчеты. Вскоре после этого начинается его переезд в город, и вы, может быть, не поверите, а ей-богу, ни один губернатор, не то что уж из бедненьких,

а из богатых, таким парадом не приезжал. Тракт им проехать шел, надобно сказать, мимо моего дома, и я целое утро сидел и любовался. История начинается, представьте вы себе, с того, что два кучера под уздцы ведут его четверню вороных в пополах, гривы заплетены, хвосты тоже; кучера — все это, вероятно, по его приказанию — в плисовых поддевках, в сломленных каких-то шапочках; далее экипажи городские везут под чехлами, потом кухня следует, и тоже с умыслом, конечно, посуда вся эта открыта и разложена в плетеных корзинах. Смотрю, что такое очень уж во внутренности у ней блестит? И после мне уж объяснили это, что-де у Дмитрия Никитича посуда не луженая, как у нас грешных, а серебряная внутри. За этим следует-с вроде польской брики с поварами, с горничными, мальчишками; затем тарантас с девичьим штатом и, наконец, сам Дмитрий Никитич с своей семейкой в дормезе шестерном на разгонных, как он называл, вятских лошадаках. Переехавши таким образом, он задал нам сначала парадное новоселье; а потом и пошли обедец за обедцем, вечерок за вечерком. И что ведь досадно, знаете: все это делалось, по моему наблюдению, не от доброты: гостеприимства и радушья в нем совершенно не было; в деревне соседей, которые победнее, не принимал даже; из маленьких чиновников тоже — придут к нему, рюмки водки не подаст, не посадит; а зато уж кто немного повыше, ничего не пожалует. Кто бы из губернии ни приехал, этак повидней или к губернатору поближе, сейчас обеды с шампанским и труфлями. Прислали раз из Петербурга по одному делу чиновника очень не из важных, а этакое, состоящего при департаменте. Я, по обязанности моей, явился к нему, выхожу и вижу, что Дмитрий Никитич мой подъехал.

— Ты, — я говорю, — мой милый, зачем?

— К старому знакомому, дядюшка, — отвечал он мне. И вижу, что лжет. Потом заезжает ко мне.

— Приезжайте, — говорит, — сегодня на вечерок.

— Что такое у тебя сегодня? — спрашиваю.

— Ничего особенного; третьего дня позвал кой-кого... в карты поиграем, — отвечал он.

И опять вижу, что лжет и делает этот вечер для чиновника.

— Супруга твоя, — говорю, — Дмитрий Никитич, последнее время ходит, а у тебя всё эти вечера.

— Нет, — говорит, — дядюшка, не совсем еще последнее время.

Поехал я: вместо «в карты поиграем» оказывается бал с музыкой. Племянницы нет в гостиной, сидит одна только старуха.

— А молодая хозяйка, — спрашиваю, — где?

— У себя, — говорит, — дружок мой, в комнате, прихворнула что-то.

— Мудрено ли, — говорю, — в ее положении прихворнуть?

И вышел трубку себе спросить. У него, знаете, на вечерах заведено было по-модному — сигары и папиросы курить, а трубки убирались в задние комнаты; только вижу я, что горничные что-то суются, а больше всех Марья Алексеевна. Спрашиваю ее:

— Что вы там бегаєте?

— Чего, сударь, — отвечает она, — молодой барыне время пришло.

• Вот тебе и сюрприз!

Возвращаюсь я в гостиную и нахожу, что сынок с матушкой преспокойно совещаются, кого с кем в карты посадить.

— Дмитрий Никитич, — говорю, — не стыдно ли тебе: в то время, как ты должен стоять пред образом и молиться, у тебя эти пиры да банкеты проклятые!

— Что же делать, — говорит, — дядюшка, никак этого не ожидал. Впрочем, что же? Дом у меня большой, акушерка приехала.

— Ничего, — говорит, — дружок мой Митенька, не беспокойся, — успокаивает его маменька, — только надо, чтобы никто из посторонних не знал, а бог милостив, Леночка всегда легко это переносит.

Так мне, знаете, оба они показались противны, что я не в состоянии был даже вечера досидеть, уехал. Между тем на Дмитрия Никитича что-то стали с некоторых пор взысканьца поступать по судам, частью еще старые — полковые, а частью и здешние. Завод, по слухам, идет шибко и в большом объеме, только, извольте видеть, от англичанина, а наш молодец всего в восьмой части; лес губится, как только возможно: вместо одной, по предположению, просеки в год валяют по пяти, мужиков с этой заготовкой и подвозкой дров от хлебопашества отвели, платят им за это чистыми деньгами, они эти деньги про-

пивают. Выстроенные мосты тоже не принимают: по свидетельству оказалось, что вместо железных болтов вбиты деревянные; мастеровых по разным постройкам больно плохо разделяют: кому пять, кому десять рублей не дается. Купец у нас тут есть, всякой всячиной из съестных припасов торгует, приятель мне немножко, приходит раз ко мне.

— Я, — говорит, — Иван Семеныч, к тебе с жалобой.

— Что такое? — говорю.

— Да вот видишь, — говорит, — твой племянничек задолжал у меня в лавке на тысячу рублей да и не платится; посылал было это к нему парня со счетом, так дал только двадцать пять рублей, а мало-то разругал да велел еще прогнать. Это ведь, говорит, нехорошо!

— Какое, — говорю, — хорошо!

— То-то, — говорит, — поговори ты ему, а не то я и в полицию на него пойду.

Говорю я об этом Дмитрию Никитичу.

— О дядюшка, это такая скотина, — отвечает он мне, — что представить трудно. Я очень сожалею, что у него кредитовался, потому что у него все дрянь — гнилое и тухлое. Я теперь все буду из Ярославля выписывать.

— Это, — говорю, — как ты хочешь, делай; да старое-то надобно отдать.

— Подождет; у меня денег теперь нет. Отдам, когда будут.

По этому разговору у него, значит, нет денег. Но тем временем, извольте заметить, губернатор к нам на ревизию собирается. Как ему такой случай пропустить? И тут же, не выходя из моей комнаты, вдруг мне говорит:

— Я, — говорит, — дядюшка, ехал к вам не за этими пустяками, а за делом посерьезнее. Где вы, говорит, губернатора думаете принять?

— Квартира, — говорю, — у головы отведена, приготовлена.

— Ах, — говорит, — дядюшка, как же это возможно? В этакое грязь принять начальника губернии... Это неприлично, невежливо. Я хочу его просить остановиться у меня. Человек он мне знакомый, очень милый, и вам, — говорит, — дядюшка, будет не лишнее; все-таки у родного племянника остановится.

— Если, — я говорю, — для меня, так не хлопочи.

— Ничего, — говорит, — дядюшка, не мешает; только вот досадно, что я теперь совершенно без денег: эти торговые обороты обобрали меня на время совершенно. Не можете ли вы одолжить, на месяц или на два, пятьсот, шестьсот целковых?

— Нет, — говорю, — Дмитрий Никитич; хоть зарежь, теперь у меня в доме только десять рублей серебром, а если ты занимаешь для приема губернатора, так не советую; без тебя дело сделается; никого не удивишь.

Он мне ничего на это не сказал и только понадулся за отказ в деньгах. Ну, я думаю, что отложит свое намерение на этот раз, однако нет-с. Встречаю я губернатора обыкновенно на границе; спросил он меня, о чем следует, и говорит потом:

— А что, — говорит, — Дмитрий Никитич Шамаев в городе или нет?

— В городе, — говорю, — ваше превосходительство.

— Везите меня, пожалуйста, прямо к нему. Он меня просил остановиться у него, и я не хочу ему отказать в этом; он так обязателен, — говорит он мне и потом обращается к своему чиновнику, который с ним ехал: — Вообразите, говорит, у жены собачка, которую и вы знаете, померла нынче зимой; Дмитрий Никитич как-то был в это время у нас и вдруг, не знаю уж, где мог достать, презентует нам превосходнейшую левретку и, что мне очень совестно, чрезвычайно дорогую; знатоки ценят ее во сто целковых.

Прослушал все это я и везу, куда мне было приказано; но вышло так, что Дмитрий Никитич встречает нас, вместе с городничим, еще на черте города, повторяет свой зов, губернатор благодарит и приглашает его с собой в коляску; поехали по городу. Мы, чиновники, руки по швам, прильпе язык к гортани моей; а Дмитрий Никитич наш сидит с губернатором рядом да поговаривает, и вижу, что ему это чрезвычайно лестно. Тут, конечно, обед-с. На другой вечер бал, человек сорок было, но из чиновников, заметьте, только предводитель и я-с, больше никого не позвал, а все набрал помещиков побогаче, приятелей, знаете, своих, как он их называл... Очень мне интересно знать, откуда он денег добыл. Начинаю узнавать стороной, и по справкам оказывается, что умолил, укланял свою супругу отдать ему приданные брильянты для погашения какого-то экстренного дела, которые вме-



сто того заложил, да на эти деньги и справил пир. А между тем на той же, кажется, почте получается из губернского правления указ об описи имения штаб-ротмистра Шамаева за неплатеж опекунскому совету. Я поехал сообщить ему эту новость; только дома, говорят, нет — в Петербург-де уехал.

— Как, — говорю, — в Петербург уехал — и не пропившись? А барыни где?

— Старая, — говорят, — барыня не так здорова, тоскует о Дмитрии Никитиче.

Ну, бог с ней, думаю, пускай ее тоскует; мне уж наскучило ее в этом горе утешать, и прошел к Алене Петровне.

— Что это, — говорю, — Дмитрий Никитич укатил в Петербург? Ради чего собрался так скоро?

— По делу, — говорит, — дяденька, уехал.

— Дела, кажется, все у него здесь; разве, — говорю, — по вашему наследственному иску, о котором он прежде говаривал?

— Да, — говорит, — по этому.

— Какого же рода, — говорю, — это наследство? Скажите мне, пожалуйста.

Она этак усмехнулась.

— Право, — говорит, — дяденька, я и не знаю хорошенько. Слышала, что нам какое-то идет довольно большое наследство; папенька сначала хлопотал о нем, а потом бросил. Дмитрий Никитич, когда на мне женился, стал папеньке говорить, чтобы он продал ему эту тяжбу; папенька и говорит: «Продавать я тебе не хочу, а хлопочи. Выиграешь, так все твое будет».

— И Дмитрий Никитич надеется выиграть?

— Непременно; он очень в этих случаях легковерен.

— Чересчур уж, — говорю, — легковерен. В его лета и при его семействе это, пожалуй, и непростительно. Я давно, — говорю, — милая племяненка, хотел поговорить с вами и спросить вас: скажите мне откровенно, богаты вы или нет?

— Тоже, — говорит, — дяденька, не знаю. Если как Дмитрий Никитич уверяет, так богаты, а если...

И не dokonчила, знает.

— Послушайте, — говорю, — Елена Петровна, я с вами буду говорить еще откровеннее: когда Дмитрий на вас женился, обстоятельства его были очень расстроены; откуда он потом взял денег?

— Ах, дяденька,— говорит,— как откуда! Он за мной в приданое получил тридцать тысяч серебром.

— И на эти деньги он, конечно, и помахивал и, конечно, уж их поубавил!

— Поубавил? (Смеется.) Вряд ли не все издержал!

— Зачем же,— я говорю,— вы свои деньги, имея уже детей, давали так транжирить?

— Ах, дяденька, да что же я понимала? Вышла за него семнадцать лет, была влюблена в него до безумия, каждое слово его считала законом для себя. Вы лучше скажите: как он папеньку уговорил? У нас три сестры выданы, и он ни одному еще зятю не отделил приданных денег, а Дмитрию Никитичу до копейки все отдал. Он его как-то убедил, что едет в Москву покупать подмосковную с хрустальным заводом, показывал ему какие-то письма; вместе все они рассчитывали, как это будет выгодно. С этим мы в Москву и ехали.

— Отчего же,— говорю,— не купили? За чем дело стало?

— Да мы никакой подмосковной и не видали,— отвечает она.— Дмитрий Никитич, приехав, нанял огромную квартиру, познакомил меня с очень многими, стал давать вечера, заставлял меня беспрестанно ездить в театр, в собрания, а папеньке написал, что все куплено, и старик до сих пор воображает, что у нас семьдесят душ под Москвой и завод. Теперь, как я начну писать к папеньке, так он и умоляет, чтоб я не проговорилась как-нибудь,— такой смешной!

— Не смешной он,— говорю,— сударыня, а досадный, губит себя и свое семейство. Блажь какая-то у него все еще в голове.

— Именно,— говорит,— дяденька; о себе я не забочусь; что бы там доктор ни говорил, а я очень хорошо знаю, что мне недолго жить.

— К чему же,— говорю,— моя милая Елена Петровна, такие мрачные мысли иметь? В ваши лета о смерти и думать еще не следует.

— Нет,— говорит,— дяденька, у меня есть верное предчувствие...

И сама заплакала. Потом вдруг, помолчав немного, берет меня за руку; слезы градом.

— Дяденька,— говорит,— если я умру, не оставьте моих сирот и будьте им второй отец! Папенька далеко.

Митя прекрасный, умный и благородный человек. Но он мало о детях будет думать.

— Полноте,— говорю,— сударыня, что это за глупые фантазии!

Ну, и знаете, утешаю ее, как умею, однако она весь вечер почти проплакала и после этого разговора еще более с нами сблизилась, почти каждый день видалися: то она у нас, либо мы у нее. От Дмитрия Никитича — проходит месяц, проходит другой, проходит третий — ни строчки; в доме, заметьте, не оставил ни копейки. Она мне говорит об этом.

— Что мне,— говорит,— дяденька, делать?

— Делать,— говорю,— то, что возьмите у меня пятьдесят целковых.

Дал ей; а дальше не знаем, как и жить будем, хотя продавать экипажи; однако вдруг, совершенно неожиданно, присылают сказать, что Дмитрий Никитич приехал и желает меня видеть. Еду. Нахожу его в семье своей между супругой, детьми и матушкой, с очень довольным лицом, в щегольском этаким халате — китайской, что ли, материи? Бархатом весь отделанный, точно как вот, знаете, на модных картинках видал. Обнялись мы с ним, поцеловались. Ну, сначала то и се: «Когда выехал? Когда приехал?» Маменьке, конечно, при сем удобном случае нельзя не похвалить сына.

— Уж именно,— говорит,— Митенька жизни не щадит для своего семейства. После всех петербургских хлопот скакал день и ночь, чтобы поскорее с нами увидеться.

«Что и говорить, думаю, про твоего Митеньку!» А сам, знаете, осматриваю комнату и вижу, что наставлены ящики, чемоданы, пред детьми целый стол игрушек — дорогие, должно быть: колясочки этакие, куклы на пружинах; играют они, но, так как старшему-то было года четыре с небольшим, успели одному гусару уж и голову отвернуть.

— Это,— я говорю,— видно, подарочки детям, Дмитрий Никитич?

— Да,— говорит,— нельзя не потешить. Впрочем,— говорит,— позвольте...

Встал, знаете, и подал мне какой-то ящик.

— Не угодно ли,— говорит,— взглянуть?

Открываю, вижу бритвенный прибор: двенадцать

английских бритв, серебряная мыльница, бритвенница, ящик черного дерева, серебром кругом выложен.

— Как вам, дядюшка, это нравится?

— Хорош,— говорю.

— Очень,— говорит,— хорош, из английского магазина. А так как, к удовольствию моему, он вам приглянулся, а потому не угодно ли принять его в подарок?

— Что это,— говорю,— Дмитрий Никитич, как не совестно тебе? Да ты,— говорю,— и меня-то конфузишь. Это вещь сторублевая; а мне тебя таким подарком отдарить, пожалуй, и сил не хватит.

— Ну,— говорит,— дядюшка, этого нельзя сказать: я вам столько обязан, что мне долго еще не отдариться. Вот вы, говорит, и в теперешнее отсутствие мое обязали мою жену. Поверьте, говорит, все это чувствую и умею ценить.

Убедил меня таким манером: принял я.

— Когда уж о подарках речь зашла,— продолжал он,— так,— говорит, обращаясь к супруге своей,— похвастайся и ты, друг мой, и покажи, какие тебе привез.

Она взглянула на меня и потупилась, однако велела горничной подать. Приносят: первое — шляпка; я таких, ей-богу, и не видывал ни прежде, ни после: точно воздушная, а цветы, совершенно как живые, так бы и понюхал; тут бурнус, очень какой-то нарядный; кусков пять или шесть материй разных на платье. Осматриваю я все это.

— Хорошо,— говорю,— очень хорошо.

— А вот,— говорит,— кой-что и для дома, дядюшка: вот,— говорит,— очень любопытные вещи.

И сам своими руками раскрывает один из ящичков. Я сначала и не понял, что такое: какие-то тарелочки, вазочки, умывальник.

— Это,— говорит,— дядюшка, нынче изобрели; из бумаги все делают. А вот, говорит, тоже новое изобретение.

И опять открыл другой уж ящик.

— Это,— говорит,— тисненая жесьть, а потом бронзирванная, для драпировки великолепная, не отличишь от золота, и если бы вы знали, как все это дешево — просто даром.

— Неимоверно дешево,— поддакивает ему маменька и потом продолжает: — А что же ты,— говорит,— Митенька, подарок мне не хочешь показать!

— Покажите,— говорит,— маменька.

Старуха сама, знаете, пошла и с торжеством приносит бархатную мантилью и шелковый капот, совсем сшитый. Я все, конечно, хвалю.

— Да, дяденька, вы вот все хвалите, а жене все не нравится,— замечает он.

— Почему же ты думаешь,— говорит та,— что не нравится? Я говорю только, что лишнее; у меня и без того много платьев.

— Мало ли, много ли, а все-таки вы должны меня поцеловать,— возражает он и берет ее, знаете, за руку и целует.

— Это все хорошо,— говорю,— Дмитрий Никитич; только ты вот пошопок-то накупил, а в опекунский совет, чай, не наведалься. Именье твое,— говорю,— описано, и все уж бумаги отосланы.

— Наведывался,— говорит,— дядюшка, только заплатить не успел. Небольшая сумма — восемьсот девять рублей серебром, с первою же почтой вышлю отсюда.

— То-то,— говорю,— не забудь как-нибудь.

А между тем этим своим приездом он опять защекотал мое любопытство. Смертельно хочется узнать, в каких он обстоятельствах.

— Ты, Дмитрий Никитич, процесс-то, видно, выиграл? — говорю я ему, оставшись с ним вдвоем.

— И нет и да, дядюшка; двинул по крайней мере и сдал одному господину хлопотать,— отвечает он мне и как-то замаял этот разговор.

Но на эти же почти самые слова входит человек и просит у него на что-то денег. Он вынимает бумажник, развертывает. Смотрю; полнехонек набит.

— Ого, сколько у тебя государственных-то! — невольно, знаете, воскликнул я.

— Да,— говорит,— деньжонки есть.

И с этими словами начинает выкидывать ассигнации, серии, банковые билеты; тысяч на десять серебром выкинул.

— Откуда,— говорю,— любезный, столько приобрел?

— По разным сделкам,— отвечает,— получил. У нас всегда,— говорит,— будут деньги, потому что мы знаем, где они водятся, да и дома их не держим долго взаперти, не так, как вот наш почтенный дядюшка (это значит я), который, говорят, накопил кубышку и закопал ее в землю; а мы сейчас всё в ход пускаем: вот эти тоже

не засидятся долго дома, только теперь надобно обдумать, как бы с ними поумней и повыгодней распорядиться.

— Да,— говорю,— надобно уж рассчитать как-нибудь получше. От обедов да от вечеров, ты хоть и рассчитываешь на них, а вряд ли получишь какие-нибудь барыши, кроме убытка?

— Нет уж,— говорит,— дядюшка, баста, будет, выучили. Никто из этих господ куска хлеба теперь не увидит. Я их поил, кормил; они видели, как я живу; а когда меня встретила нужда, так они мне в тридцати целковых имели духу отказать.

— Это уж,— говорю,— в свете так ведется; скажи-ка лучше мне, что ты в самом деле думаешь делать на эти деньги?

— Именье,— говорит,— хочу приискать и купить; завод уничтожу, англичанина этого прогоню, потому что он только ладит, как бы себе карман набить, и стану,— говорит,— хлебопашеством заниматься. Хлеб пахать — этот доход всегда верней.

— А я бы,— говорю,— Дмитрий Никитич, советовал тебе не то: именье ты покупай, это хорошо, но только оброчное; усадьба у тебя есть прекрасная, чего тебе еще больше заводить хлебопашества...

И говорю ему, знаете, таким манером, потому что с хлебопашеством, думаю, он начнет опять какие-нибудь выдумки, которые так только выдумками и останутся у него, а толку ничего не выйдет.

— Я думаю,— говорит,— так и сделаю.

— А если,— говорю,— ты это думаешь, так я, пожалуй, тебе и именье приищу, у меня есть подобное на примете.

— Хорошо,— говорит,— дядюшка, очень вам благодарен буду.

Так мы с ним на этом и положились. Однако случилось у меня тут очень много дел; кроме того, губернатор в другой уезд командировал разбойников ловить, так что я месяца три дома и не бывал. Возвращаюсь потом и вдруг слышу, что Дмитрий Никитич мой уж с покупочкой. И какого же рода эта покупочка вышла-с? Несколько лет назад появился у нас один господин в уезде, по фамилии Курка, выходец, должно быть, какой-нибудь, нерусский, маленький, сутулый, облик лица какой-то сви-

ной, глаза узенькие — все вниз смотрят, волосы черные, густые, стриженные, точно ермолка на голове, но умная и претонкая штука, оборотами тоже различными занимается, как и наш Дмитрий Никитич, только гораздо выгодней для себя. Купил он тут за бесценюк пятнадцать душ с большими, впрочем, угодыми, к которым еще присоединил, и развел тут скотный двор — животин триста начал держать, чтобы делать сыры, сырный завод устроил. Но, как дальновидный плут, в половине этак, знаете, лета, сообразивши, что ни сена, ни хлеба в тот год не родится, пригласил Дмитрия Никитича к себе в гости, показал ему во всем блеске свое хозяйство, да и предложил купить. Тот сейчас же изъявил готовность и за семь тысяч приобрел. Я с первого раза, конечно, понял всю эту проделку, но говорить уж не стал — не можешь. Затем наступает, сударь мой, у нас в губернии голод. Хлеб поднялся до двух с полтиной пуд, сено пятиалтынный и двугривенный, соломы ржаной и яровой десять — двенадцать рублей овин, да еще и не найдешь. У Дмитрия Никитича в новом именье с первого октября ни хлеба, ни корму; значиг, надобно на всё денежки; а денежки Дмитрию Никитичу на другое нужны. Приехал тогда в город один богатый московский барин, охотник до скачек лошадиных, устроил у нас бег; Дмитрию Никитичу, конечно, нельзя утерпеть. Сейчас же завел двух рысаков, гоняется, держит с тем пари и, конечно, всегда проигрывает, потому что у того лошади с московского бега — наезженные. Обедцы и вечера, хоть и закаивался, продолжают идти прежним порядком. Ну, и пока мы таким манером приятно с ним зиму проводим, новокупленным нашим коровкам не так было, видно, весело: всю зиму, по новому изобретению, кормили их чем-то вроде пареных щепок, а под ноги стлали вместо соломы, тоже по новой выдумке, — ельнику. Как пришла весна-матка, ни одна из трехсот животин и со двора не идет, едва столкнули; а чуть как с зимнего-то голоду отавы хватили, сначала одна ножки вздернула, потом другая, и сильнейший падеж, так что я не успел даже вызвать ветеринара, в неделю — ни одной животины. А вслед же за этим хлоп известие, что именье в опекуновском совете продано; он и не думал посылать недоимки, о которых я ему говорил, забыл. Вот он какой печный и коммерческий человек. Еду я к нему, он в отчаянии.

— Дядюшка,— говорит,— я разорился... я погубил все семейство... все пойдут теперь по миру!

Кричит этак на весь дом, хватается за волосы, кидается на диван, бегаёт по комнате.

Бедная Елена Петровна сидит с ним, плачет; старуха тоже в отчаянии, потому что Митенька встревожен, так боится, чтоб не заболел.

Стал было я его уговаривать.

— Полно,— говорю,— Дмитрий Никитич, бесноваться. Пожалей ты хоть сколько-нибудь свою супругу и мать.

Ничего не слушает, а тут еще... надобно же, впрочем, такое стечение неприятных обстоятельств... приносят вдруг письмо к Елене Петровне от отца, в котором он ее почти бранит. Во-первых, узнал, что подмосковной его обманывали, а главное, за процесс, который, оказывается, что Дмитрий Никитич по полной от тестя доверенности хлопотать, продать и заложить, не будь глуп, возьми да и продай одному адвокату за десять тысяч все право. Эти-то самые денежки из Петербурга и привез. «Я,— пишет старик,— доверил ему хлопотать для себя, а не продавать родового достояния в чужие руки». И заключает тем, что пишет дочери: «Если ты, говорит, навечно не хочешь лишиться моего родительского благословения, так брось своего мужа и приезжай с детьми ко мне; иначе он вас всех погубит». Что делать в этом случае бедной женщине? Мужа, какой бы он ни был, все-таки она любит и любит истинно, а с другой стороны отец, который, видно, старик с гонором. К несчастью, все это время она была опять беременна, и так все это ее поразило, что в ту же ночь разрешилась неблагополучно мертвым младенцем. Ну, а этаким случай и здоровые женщины не все переносят, а ей много ли надо: месяца два потомилась и богу душу отдала. Это новое несчастье срезало его, как говорится, окончательно, и он совершенно упал духом. С полгода никуда не ездил и к себе никого, кроме меня, не принимал. А дела между тем пошли все хуже и хуже: денег ни копейки, модные экипажи и щегольские четверки сплыли за полцены в разные руки; дом в городе отовладели кредиторы, и таким образом дошло до того, что принужден был переехать в свое имение на пятнадцать душ с почти слепой от слез матерью и с троими малютками, где и живет теперь. Распустил кой-кого из людей на оброки да отдал свои уголья в корто-



мы, только и доходу в том-с. И такая теперь бедность, что я как-то по весне заезжал к нему в эту его маленькую усадьбу, так и не глядел бы; но больше всего насадили мое сердце эти трое несчастных сироток: бегают без всякого присмотра по улице с ребятишками, оборванные, неумытые. До сих пор никак не могу от него добиться, чтобы он выхлопотал им метрическое свидетельство и прочие документы, чтобы как-нибудь их в казенные-то заведения можно было похлопотать. В настоящем положении дать ему место — истинное благодеяние. Расскажите князю все, что я вам говорил, и попросите, чтобы он явил эту милость. Хоть по крайней мере для семейства,— заключил Иван Семенович.

— Очень хорошо,— сказал я,— но вот в чем, Иван Семеныч, маленькое затруднение: как мне говорить об его бедности, когда он являлся к князю одетым по последней моде?

Иван Семенович усмехнулся.

— Знаю-с,— отвечал он,— в прошлом месяце последнее именишко заложил и сделал себе гардероб. Такой уж у нас с ним характер: хоть в желудке и шелк, а на себе всегда будет шелк.

### III

Возвратившись, я пересказал князю все, что слышал, и передал просьбу Ивана Семеновича. Шамаеву дано было место. Но не больше как через год у меня опять случился доклад, и опять дежурный чиновник возвестил: «Старший чиновник особых поручений Шамаев».

— Подождать,— сказал князь, нахмурившись, и потом, обращаясь ко мне, прибавил,— ваш общий с Иваном Семенычем протеже славный чиновник вышел.

— Что такое? — спросил я.

— Ужас, что такое,— отвечал князь.— Он исполнял у меня поручения не больше полугода, и самые пустые, но первый же его шаг состоял в том, что он всем уездным присутственным местам начал предписывать, и когда я ему заметил это, он мне пренаивно объяснил, в оправдание свое, что, быв представителем моим в уезде, он считал себя вправе это делать. Потом, наконец, как хотите, собирает там чиновников, говорит им торжественные речи. Ко мне обыкновенно пишет, по всем де-

лам, коротенькие, дружественные записочки, безграмотные, бестолковые, и я хоть не формалист, но в то же время, помилуйте, эти бумаги останутся при делах, и преемник мой, увидевши их, будет иметь полное право сказать: «Что за чудак был губернатор, который с своим чиновником особых поручений вел дружескую переписку по делам?» И в заключение всего послал помимо меня в Петербург нелепейший проект об изменении полиции, который, конечно, не давши ему никакого хода, возвратили ко мне; однако не менее того все-таки видели, какого гуся я держу около себя.

Проговоря эти слова, князь задумался. Видно, что он был очень сердит на Шамаева и собирался с духом его распечь.

— Господин Шамаев! — проговорил он, наконец, подойдя к дверям.

Шамаев вошел и первый начал:

— Я, ваше сиятельство, явился донести вам, что все возложенные на меня поручения мною кончены.

— Знаю-с, — отвечал князь, — знаю даже, что вы вашу служебную деятельность распространили за пределы прямых ваших обязанностей. Вот ваш проект! — продолжал он, подавая Шамаеву толстую тетрадь. — Во-первых, вы не должны были его посылать помимо меня; а во-вторых, чтобы писать о чем-нибудь проекты, надобно знать хорошо самое дело и руководствоваться здравым смыслом, а в вашем ни того, ни другого нет.

Шамаев покраснел.

— Из слов вашего сиятельства и из последних предписаний я вижу, что не успел угодить вам моей службой; впрочем, сколько имел усердия и по способностям моим... — начал было он.

— По вашим способностям, — перебил князь, — я нахожу, что служба чиновника особых поручений слишком тесна и ограничена.

Шамаев еще больше вспыхнул.

— Завтрашний день я буду иметь честь представить вашему сиятельству прошение об отставке, — сказал он.

— Сделайте одолжение, — отвечал князь.

Шамаев слегка поклонился и гордо вышел.

В тот же день вечером был концерт приехавших из Москвы цыган. Я поехал, Шамаева нахожу там же. После концерта затеяли ужин с цыганами, на расходы

которого составила подпись; Шамаев был одним из первых подписавшихся. А потом, как водится, начался кутеж; он, очень грустный, задумчивый и, по-видимому, не разделявший большого удовольствия, однако на моих глазах раскупорил бутылки три шампанского, и когда после ужина Аксюша, предмет всеобщего увлечения, закативши под самый лоб свои черные глаза и с замирающим от страсти голосом пропела: «Душа ль моя, душенька, душа ль, мил сердечный друг» и когда при этом один господин, достаточно выпивший, до того исполнился восторга, что выхватил из кармана целую пачку ассигнаций и бросил ей в колена, и когда она, не ограничившись этим, пошла с тарелочкой собирать посильную дань и с прочих, Шамаев, не задумавшись, бросил ей двадцать рублей серебром.

«Фанфарон! Фанфарон!» — повторил я мысленно, глядя на него, слова Ивана Семеновича.

По известиям, дошедшим до меня в последнее время, Шамаев выбран директором одной из так блистательно идущих акционерных компаний, и выбран собственно для спасения дела. Надо полагать, что поправит и спасет его.

# СТАРАЯ БАРЫНЯ

Рассказ

В селе В.....е была последняя станция, на которую приехал я в родные пределы свои на почтовых, и потому велел себя везти на постоянный двор. Его держала знакомая старуха, по прозванию Грачиха и вор-баба, как обыкновенно прибавляли знающие ее — и бари и мужики: небольшого роста, с лицом багровым, как из красной меди, толстая, но еще проворная, услужливая, говорунья без умолку, особенно когда навеселе, а навеселе почти целый день с утра до полуночи. Подъехал я ночью, переязб, как водится, до костей. Ощупью вошел по знакомой лесенке и отворил калитку в сени. В полумраке мерцала тоненькая салыная свечка в железном подсвечнике, воткнутом в столб, да из длинной трубы самовара вырывалось пламя от зажженной лучины; смутно видневшаяся лошадиная морда старательно грызла перилы, отделяющие сени от двора. Из отворенных дверей избы валил пар клубами.

— Хозяйка, старый хрен, господа приехали! — крикнул я.

— Ай, батюшки! Господа и есть, — услышался голос старухи, а затем она и сама появилась.

— В горницу пожалуйте, сударики, сюда, сюда, господа честные! — говорила она.

Я вошел. Сильно нагретым и удушливым воздухом так и обдало меня.

— Старая, у тебя угарно! — сказал я.

— Нет, сударик, нету, с утра еще топлено, — отвечала старуха, а сама, впрочем, засунула жирную руку в отдушину и вытаскивала оттуда выюшки.

Я между тем раздевался.

— Батюшки! — воскликнула старуха, всплеснув ру-

ками.— На-ка, барин-то знакомый, а я, старая дура, и не признала, на-ка! Откуда изволишь ехать?

— Из Питера.

— Ну, вот откуда. Не узнала я, не узнала, раздобрел больно, какой дюжий стал. Иван Петрович, сударь, недавно проезжали.

— Какой Иван Петрович? — спросил я.

— Иван Петрович Сорокин, чтой-то, словно не знаешь, благоприятели, чай?

Никакого Ивана Петровича Сорокина и во сне не видывал, но, догадываясь, что старуха хочет что-нибудь рассказать про Ивана Петровича, притворился.

— А что же? — спросил.

Старуха только махнула рукой.

— Ой, не говори уж лучше, такая у них этта паповщина была с барыней-то, что хоть до нехорошего... Мирила, мирила их, да и полно!

— Повздорили! — заметил я.

— Шибко,— отвечала старуха,— в грошовом калаче дело вышло, барин-то скупенек; сам вон кузовья покупает, чтоб хошь копейку какую выторговать; ну и принес с базара грошовый калач, да и потчует барыню, а той не нравится, из того и пошло: «Ты, говорит, мне все делаешь напротив», а та стала корить: «Ты, говорит, душенька, меня только мякиной и кормишь», ну и почали, согрешила я, грешная, с ними.

— И что же? — спросил я.

— Ничего, побранились,— отвечала старуха; и потом, вдруг переменяв насмешливое выражение на грустное, произнесла печальным голосом: — Тетенька-то твоя, ба-тюшка, Марья Николавна, померла.

— Какая тетенька Марья Николавна? — спросил я.

— Ой, да Ометкина-то, чтой-то в Питере-то всех пере-забыл.

— Ну, баушка, провралась, такой тетки у меня не бывало,— проговорил я.

— Нà, аль взаправду это не тебе тетка-то? Так, так, так!.. Николаю Егорычу Бекасову, вот ведь чья она тетка-то,— вывернулась старуха.— Похороны, сударь, были богатеющие, совершали, как должно, не жалеючи денег. Что было этого духовенства, что этой нищей братии!..— продолжала она, поджимая руки и приготовляясь, кажется, к длинному рассказу. Но в это время из

соседней комнаты послышался треск и закричал сиплый голос:

— Пусти меня, кто меня смеет вязать. Ванька... хозяин мой... подлец, дай водки! Пусти меня...— и снова треск.

— Успокойте себя, Владимир Васильич, просим вас покорнейше, сусните хоть немножко, право слово, вам легче будет! — отвечал фистулой другой голос.

— Легче? Легости мне не надо. Я, значит, гуляю, а ты подлец — вот весь мой разговор с тобой, и кончено! — произнес сиплый голос и потом запел:

Гусар, на саблю опираясь,  
В глубокой горести стоял!

— Кто там такой? — спросил я.

— Охотник, батюшка... мужички в рекруты везут сдавать за себя... охотник загулял, — отвечала хозяйка.

— Что же трещит там такое?

— Ну, да хмелен уж очень, так посвязали его... опасаются тоже, чтобы чего не случилось, сюда-то уж приехал до зелена змея пьяный, да и здесь еще полштофа выпил, ну так и опасаются, посвязали.

— В таком случае, тетка, пусти меня в избу, здесь угарно, да и пьяный, — сказал я, вставая.

— Батюшка, да в избе-то тараканы, морозила, морозила, не переводятся окаянные, да и только.

— Нет, ничего, я не боюсь тараканов.

— Ну, как изволишь, — отвечала старуха и стала провожать меня, бормоча:

— Опасаются тоже, пятьсот рублей уж прогулял, пожалуй, еще облопается — и пропали денежки.

Изба, куда я вошел, была большая и обрядная, стены струганые, печь белая, перегородка от нее дощаная, лавки и поллицы чисто вымытые. В переднем углу под образами стоял стол, за которым сидел старик с бритой бородой, с двумя седыми клочками волос на висках, с умным выражением в лице и, как видно, слепой. Одет он был в синий, старинного покроя, суконный сюртук, из-под которого виднелась манишка с брыжами и кашемировый полосатый жилет, тоже, должно быть, очень старинный. Весь этот ветхий костюм его был чист и бережен наперекор, кажется, самому времени. Рядом с ним

помещалась тоже очень опрятная и благообразная старушка, в худеньком старом капоре и в ситцевом вагном капоте. На первый взгляд я подумал, что это бедные дворяне. При входе моем старушка сейчас встала, сказала что-то старику, тот приподнялся, и оба поклонились мне.

— Садитесь, пожалуйста, место будет,— сказал я.

— Ничего, сударь,— отвечала старушка каким-то жеманным голосом, отодвигая свои скудные пожитки в мешочке.

— Сидите, пожалуйста,— повторил я.

Старик прислушался к моим словам и, ощупав с осторожностью слепца лавку, сел, а потом, опершись на свою клюку, уставил на меня свои мутные глаза; старушка не садилась и продолжала стоять в довольно почтительной позе. Я догадался, что это не дворяне.

— Куда едете, любезные? — спросил я.

— В губернский город, милостивый государь,— отвечал старик печальным голосом.

— Дедушки, батюшка, охотника этого; провожают его... дедушки,— подхватила хозяйка, ставившая на стол самовар.

— Деды этого молодца? — сказал я.

— Деды,— отвечал, глубоко вздохнув, старик и потупил свою седую голову.

— А званья какого?

— Мещане, ваше высокородие.

— Из рода мещане?

— Никак нет-с, наперед того были господские люди.

— Не в эком бы месте внуку Якова Иваныча надо быть,— вмешалась хозяйка,— вот при нем, при старичке, говорю,— продолжала она,— в свою пору был большой человек, куражливый. Приедет, бывало, на квартиру, так знай, хозяйка, что делать, не подавай вчерашнего кушанья или самовар нечищенный.

Старик горько улыбнулся.

— Не думали и мы, сударыня, что наше родное детище будет таким,— проговорила старушка своим жеманным и несколько плаксивым тоном.

— Что говорить, мать моя, что говорить! — подхватила хозяйка, тоже плачевным тоном.

— Остался после дочери моей родной,— продолжала

старушка,—словно ненаглядный брильянт для нас; думали, утехой да радостью будет в нашем одиночестве да старости; обучали как дворянского сына; отпустили в Москву по торговой части к людям, кажется, хорошим.

— Что говорить, что говорить, мать моя,—подхватила еще раз хозяйка.

— Что ж он, загулял там? — спросил я.

— Бог знает, сударь, как сказать, хозяева ли обижали или сам себя не поберег,—отвечала старушка.

Старик горько улыбнулся и перебил жену:

— Он еще с детства себя не берег, оттого, что в баловстве родился и вырос; другие промышленники по этому же делу, еще в мальчиках живши, в дома присылают, а наш все из дому пишет да требует: посылали, посылали, наконец, сами в разоренье пришли. А тут слышим, что по таким делам пошел, что, пожалуй, и в острог попадет. Стали писать и звать, так только через два года явился: пришел наг и бос. Обули, одели, думая, что в наших глазах исправление будет, а вместо того с первой же недели потащил все из дому в кабак...

С каждым словом в голосе старика слышалось более и более строгости, а на глазах старушки навернулись слезы.

— Чьих же вы господ были? — спросил я, чтобы прекратить этот, видимо, тяжелый для них разговор.

— Господ мы были: госпожи гоф-интенданши Пасмуровой,—отвечал слепец внушительно.

— Гоф-интендантши Пасмуровой,—повторил я, припоминая, что мне еще матушка рассказывала что-то такое о гоф-интендантше Пасмуровой как о большой, по-тогдашнему, барыне.

— Ваша госпожа была здесь довольно знатное и известное лицо?—сказал я.

При этом вопросе лицо старика окончательно просветлело.

— Госпожа наша,—начал он, не торопясь и с ударением,—была, может, наипервая особа в России: только званье имела, что женщина была; а что супротив их ни один мужчина говорить не мог. Как ими сказано, так и быть должно. Умнейшего ума были дама.

— Хорошо, говорят, жила, открыто? — спросил я.

— По-царски или как бы фельдмаршалше какой по-



добает. Своей братьи помещиков круглый год неразъездная была. В доме сорок комнат, и то по годовым праздникам тесно бывало. Словно саранчи налетит с мамками, с детками, с няньками, всем прием был,— заключил старик каким-то чехвальным тоном. Я понял, что передо мной один из тех старых слуг прежних барь, которые росли и старелись, с одной стороны, в модном, по-тогдашнему, тоне, а с другой — под палкой...

— Ты, верно, управителем был? — спросил я.

— Я был, сударь,— отвечал старик, зажимая глаза и как бы сбираясь с мыслями,— был, по-нашему, по-старинному сказать, главный дворецкий: одно дело — вся лакейская прислуга, а их было человек двадцать с музыкантами, все под моей командой были, а паче того, сервировка к столу: покойная госпожа наша не любила, чтобы попросту это было, каждый день парад! А другое: зрение они слабое имели, и по той причине письма под диктовку их писал, по делам тоже в присутственных местах хождение имел, так как я грамоте хорошо обучен и хоть законов доподлинно не знаю, а все с чиновниками мог разговаривать, умел, как и что сказать; до пятидесяти лет, сударь, моей жизни, кроме шелковых чулков и тонкого английского сукна фрака, другого платья не носил. Дай бог царство небесное, пользовался милостями госпожи моей!

— Нынче уж таких господ нет,— сказал я.

— Никак нет-с, да и быть, сударь, не может. Не имею чести знать, кто вы такие, а по слепоте моей и лица вашего не вижу; таких господ уже нет! — отвечал старик, как бы удерживаясь говорить со мною откровенно.

— Я здешний помещик, и мне бы очень хотелось порасспросить тебя о старых господах.

Старик вздохнул.

— Девяносто седьмой год, сударь, живу на свете и большую вижу во всем перемену: старые господа, так надо сказать, против нынешних орлы перед воробьями! — проговорил он, значительно мотнув головою.

— Отчего же это? — спросил я.

Старик в раздумье развел руками.

— Первое дело,— начал он,— что все состоянием-то как-то порасстроились, да и духу уж такого не имеют; у нынешних господ как-то уж совсем поведенье другое, а прежде жили просто; всего было много: хлеба, скота, вин-

ная седка тоже своя, одних наливок — так бочками заготовлялось, медов этих, браг сладких! Веселились да гуляли или теперь, бывало, этих шутов и шутих свезут всех вместе у кого-нибудь на празднике, да и напустят друг на дружку, те и дерутся, забавляют господ, а нынче дворянство как-то и компании друг с другом мало ведут, всё больше в книгах забаву имеют.

На этом месте старик приостановился, но потом вдруг начал с одушевлением:

— Да и много ли нынче господ по усадьбам проживают? Разве какой старый да хворый, а то все, почесть, на службе состоят, а уж из таких-то больших персон, так и нет никого; хошь бы теперь взять: госпожа наша гоф-интенданша, — продолжал он почти с умилением, — какой она гонор по губернии имела: по-старинному наместника, а по-нынешнему губернатора, нового назначают, он еще в Петербурге, а она уж там своим знакомым министрам и сенаторам пишет, что так как едет к нам новый губернатор, вы скажите ему, чтобы он меня знал, и я его знать буду, а как теперь дали ей за известие, что приехал, сейчас изволит кликать меня. Я являюсь, делаю мой реверанс. «Слушай, говорит, Яков Иванов! — в нос всегда изволили немного выговаривать. — Слушай! Приехал новый губернатор, возьми ты лучшую тройку, поезжай ты в Кострому, ступай ты к такому-то золотых дел мастеру, возьми по моей записке серебряную лохань, отыщи ты, где хочешь, самолучших мерных стерлядей, а еще приятнее того — живого осетра, явись ты от моего имени к губернатору, объяви об себе, что так и так, госпожа твоя гоф-интенданша, по слабости своего здоровья, сама приехать не может, но заочно делает ему поздравление с приездом и, как обывательница здешняя, кланяется ему вместо хлеба-соли рыбой в лохане». Тот принимает, мне сейчас отличное угощение делают, госпоже нашей изволят они писать письмо.

— Дружелюбие, значит, и началось, — заметил я в тон старику.

— Именно, что дружелюбие, слово ваше справедливое! — подхватил он. — По той причине, что как теперь его превосходительство начальник губернии изволят на ревизию поехать, так и к нам в гости, и наезды бывали богатеющие: нынешние вот губернаторы, как видали и слышали, с форсом тоже ездят, приема и уважения себе

большого требуют, страх хоша бы маленьким чиновникам от них великий бывает, но, зная все это по старине, нынешние против того ничего не значат.

— А прежде что ж? — спросил я.

Яков Иванов пригнул на некоторое время голову на сторону и начал:

— Прежде, сударь, бывало, губернатор по губернии ехал, аки владыко земной: что одних чиновников этих при особе его состояло, что этого дворянства по дороге пристанет. Один был, не смею имени его наименовать, так с супругой еще всегда изволили по губернии ездить, а те, с позволения сказать, по женской своей слабости, к собачкам пристрастие имели. Про собачек этих особый экипаж шел, а для охранения их нарочный исправник ехал, да как-то по нечаянности одну собачку и потерял, так ее превосходительство губернаторша, невзирая на свой великий сан, по щеке его ударила при всей публике да из службы еще за то выгнали, времена какие были-с.

— Хорошие были времена, простые! — заметил я.

— Просто было-с, — заключил Яков Иванов, потом, подумав, продолжал: — Бывало, сударь, вся эта компания наедет к нам, сутки трои, четыре, неделю гостят, и теперь какую бы губернатор в доме вещь ни похвалил: часы ли, картину ли, мису ли серебряную, я уж заранее такой приказ имею, что как вечер, так и несу к ним в опочивальню, докладываю, что госпоже нашей очень приятно, что такая-то вещь им понравилась, и просят принять ее.

— Неужели же старуха все это из чехвальства делала? — спросил я.

— Чехвальство чехвальством, — отвечал Яков Иванов, — конечно, и самолюбие они большое имели, но паче того и выгоды свои из того извлекали: примерно так доложить, по губернскому правлению именье теперь в продажу идет, и госпожа наша хоть бы по дружественному расположению начальников губернии, на какое только оком своим взглянут, то и будет наше. Коли хоша я, поверенный госпожи Пасмуровой, пришел на торги в присутствие, никто уж из покупателей не сунется: всяк знает, что начальник губернии того не желает. Поблагодаришь кого и чем следует, а за именье что дали, то и ладно. Белогривское именье нам, сударь, так попало по сто двадцати рублей в те времена, а я приехал принимать

вотчину да по двести рублей с мужиков старой недоимки собрал, и извольте считать: во что оно нам пришло!

Яков Иванов потупился и вздохнул.

— Старик! Ведь это грех, ведь это то же воровство,— воскликнул я.

— Грех, сударь; в нищенстве и слепоте моей все теперь вижу и чувствую. В заповеди господней сказано: не пожелай дома ближнего твоего, ни села его, ни раба его, а старушка наша имела к тому зависть, хотя и то надобно сказать, все люди, все человеки не без слабости.

На последние слова он сделал более сильное ударение.

— Выгодчики были с барыней-то своей, еще какие! — вмешалась вдруг возившаяся около печки Грачиха.— Про именье рассказываешь — нет, ты лучше расскажи, как вы дворянина за свою вотчину в рекруты отдали,— продолжала она, выходя из-за перегородки и вставая под полати, причем взялась одной рукой за брус, а другою уперлась в жирный бок свой.

Яков Иванов немного нахмурился.

— Как дворянина? — спросил я.

— А и сдали,— отвечала Грачиха,— не любила, сударь, их госпожа генеральша мужиков своих под красную шапку отдавать, все ей были нужны да надобны, так дворянин на ту пору небогатенькой прилучился: дурашной этакой с роду, маленького, что ли, изурочили, головища большая, плоская была, а разума очень мало имел: ни счету, ни дней, ничего не знал. Ну, а дворянством своим занимался тоже, разумел это. Вот соколики эти и подъехали к нему и стали его уговаривать: «Ты, говорят, барин, а живешь по работникам у мужиков, лучше бы в службу шел. Теперь, говорит, ты грамоте не поучен, и тебя по дворянскому роду не примут, а ступай за нашу вотчину, а после и объявишь об себе, тебя как дворянина и поведут». Тот сдуру-то, родных тоже никого не было, чтобы разговорить да посоветовать, а они его винищем поили да пряниками кормили, сдуру и согласился. Привели баринка в присутствие, объявили за простого мужика, крикнули: «Лоб!», надели лямку и ступай, значит, марш заодно с рекрутами. Города через три али четыре тот и заявляет своему начальнику: «Я, говорит, дворянин». — «Какой, говорят, ты дворянин...» — попугал его маленько, а он все свое: дворянин да и только; и пошел к начальству выше,

объявляет то же. Те смотрят по бумагам — видят — мужик, отрапортовали его уж как надо. Сердечный баривок наш видят, что, как о дворянстве объявит,— хлещут, взял да и отступился, отрубил за их вотчину тридцать пять годков. Докуменщики какие были. Может, за эти выдумки родной кровью своей теперь и платится,— заключила Грачиха вполголоса, указав глазами на Якова Иванова, который, в свою очередь, весь ее рассказ слушал, потупив голову и ни слова не возражая. Я постарался опять переменить разговор и спросил старика:

— Кому ж именье госпожи вашей досталось? Я видел, усадьба какая-то разоренная, запущенная, дом развалился?..

— В опеке, сударь, наше именье состоит,— отвечал он, видимо довольный этим переходом.— Ну и опекуны тоже люди чужие: либо заняться ничем не хотят, либо себе в карман ташаг, не то, что уж до хозяйства что касается, а оброшников и тех в порядке не держат: пьяницы да мотуны живуг без страха, а которые дома побогатее были, к тем прижимы частые: то сына, говорят, в рекруты отдадим, то самого во двор возьмем.

— И откупайся, значит, мужичок. Прежде-то уж вы больно много денег нажили,— подхватила Грачиха.

Яков Иванов не обратил никакого внимания на ее слова и продолжал:

— Против чиновников тоже вотчина никакой заступы не имеет. Прежде, бывало, при покойной госпоже дворовые наши ребята уж точно что народ был буйный... храмового праздника не проходило, чтобы буйства не сделали, целые базары разбивали, и тут начальство, понимаючи, чьи и какой госпожи эти люди, больше словом, что упроят, то и есть, а нынче небольшой бы, кажется, человек наш становой пристав, командует, наказует у нас по деревням, все из интересу этого поганого, к которому, кажется, такое пристрастие имеет, что тот самый день считает в жизни своей потерянным, в который выгоды не имел по службе. Я как-то раз, встретивши его в городе, говорю: «За что и за какие вины, говорю, сударь, вы так уж очень вотчину покойной госпожи моей обижаете?» — «Ах, говорит, старец почтенный, где нынче нам, земской полиции, стало поначальствовать, как не в опекунских

имениях; времена пошли строгие: задела брать нельзя, а что без дела сорвешь, то и поживешь», смеется-с!

— Того и стоите; на крапиву надобен и мороз, а то бы она долго жглась,— проговорила, подмигнув глазом, Грачиха.

— На каком же основании именье ваше в опеке, за долги, что ли? — спросил я.

— Малолетних, сударь, теперь наше имение. За малолетними, за правнуками госпожи нашей числится оно,— отвечал Яков Иванов.

— А сыновья и внучата где же?

— Сын их единородный,— начал старик с грустною, но внушительною важностью,— единая их утеха и радость в жизни, паче всего тем, что, бывши еще в молодых и цветущих летах, а уже в больших чинах состояли, и службу свою продолжали больше в иностранных землях, где, надо полагать, лишившись тем временем супруги своей, потеряли первоначально свой рассудок, а тут и жизнь свою кончили, оставивши на руках нашей старушки свою дочь, а их внуку, но и той господь бог, по воле своей, не дал долгого веку.

С каждым словом старика я видел, что лицо Грачихи больше и больше принимало насмешливое выражение.

— Эх, полно, полно, Яков Иваныч, не ты бы говорил, не я бы слушала! — воскликнула она, махнув рукою.

У слепца как будто бы уши поднялись при этом восклицании.

— Что ж вам так слова мои не по нраву пришли? — проговорил он.

— А то не по нраву, что не люблю, коли говорят неправду,— отвечала Грачиха,— не от бога ваши молодые господа померли, про сынка, пускай уж, не знаем, в Питере дело было, хоть тоже слышали, что из-за денег все вышло: он думал так, что маменька богата, не пожалеет для него, взял да казенным денежкам глаза и протер, а выкупу за него не сделали. За неволю с ума слятишь, можно, не своей смертью и помер, а принял что-нибудь,— слышали тоже и знаем!

— Вот вы что знаете, чего и мы не знаем,— возразил Яков Иванов.

— Шалишь, дедушка, знаешь и ты, только не сказываешь. А что про вашу барышню, так уж это, батюшка, извини, на наших глазах было, как старая ваша барыня

во гроб ее гнала, подсылы делала да с мужем ссорила и разводила, пошто вот вышла не за такого, за какого я хотела, а чем барин был худ? Из себя красивый, в речах складный, как быть служащий.

Яков Иванов насильно улыбнулся.

— По вашему, сударыня, женскому рассудку, может быть, и так,— произнес он с полупрезрительной миной,— а что как мы понимаем, так этот господин был нашей барышне не пара.

— Знаем, сударь Яков Иваныч,— перебила Грачиха,— понимаем, батюшка, что вы со старой госпожой вашей мнением своим никого себе равного не находили. Фу ты, ну ты, на, смотри! Руки в боки, глаза в потолки себя носили, а как по-другому тоже посудить, так все ваше чванство в богатстве было, а деньги, любезный, дело нажитое и прожитое: ты вот был больно богат, а стал беден, дочку за купца выдавал было, а внук под красну шапку поспел.

При этом намеке все молчавшая до того старушка, жена Якова Иванова, вспыхнула и проговорила:

— И вам, сударыня, не сказано, как век проживете: теперь вот при состоянии, а может, тоже не лучше нас дойдете.

— Да что мне знать-то? Знать мне, матушка Алена Игнатьевна, нечего: коли по миру идти — пойду, мне ничего. Э! Не такая моя голова, завивай горе веревочкой: лапотницей была, лапотницей и стала! А уж кто, любезная, из салопов и бархатов надел поневу, так уж нет, извини: тому тошно, ах, как тошно! — отрезала Грачиха и ушла из избы, хлопнув дверью.

Алена Игнатьевна еще более покраснела; старый дворецкий продолжал насильно улыбаться. Мне сделалось его жаль; понятно, что плутовка Грачиха в прежние времена не стала бы и не посмела так с ним разговаривать. Несколько времени мы молчали, но тут я вспомнил тоже рассказы матушки о том, что у старухи Пасмуровой было какое-то романическое приключение, что внучка ее влюбилась в молодого человека и бежала с ним ночью. Интересуясь узнать подробности, я начал издалека:

— Что эта дура Грачиха врет, что барыня ваша заела внучкин век! — сказал я будто к слову.

— На ветер лаять все можно,— отвечал Яков Иванов,— а коли человек в рассудке, так он никогда сказать того не может, чтоб госпожа наша внучки своей не лю-

била всем сердцем, только конечно, что по своей привязанности к ним ожидали, что какой-нибудь принц или граф будет им супругом, и сколь много у нашей барышни ни было женихов по губернии, всем генеральша одно отвечала: «Ищите себе другой невесты, а Оленька моя вам не пара, если быть ей в замужестве, так быть за придворным». И было бы так: невеста наша была не заурядная, хоть бы насчет состояния, полторы тысячи душ впереди, сама ученая по-французски, по-немецки, из себя красавица.

— Красоты, кажется, была такой,— вмешалась Алена Игнатьевна,— что редко на картинках таких красавиц изображают. Приехала тогда из ученья из Питербурга к бабенке: молоденькая, розовая, румяная, платья тогда, по-старинному сказать, носили без юбок, перетянутся, волосы уберут, причешут, братец мне родной — парикмахер — был нарочно для того выписан из Питербурга, загляденье для нас, рабынь, было: словно солнце выйдет поутру из своих комнат.

— За кого же она вышла? — спросил я

Яков Иванов при этом вопросе только покачал головой.

— Соседка тут была около нас, бедная дворянка,— отвечал он,— так за сына ее изволила выйти, молодого офицера, всего еще в прапорщичьем чине, и так как крестником нашей старой госпоже приходился, приехал тогда в отпуск, является: «Маменька да маменька крестная, не оставьте вашими милостями, позвольте бывать у вас». Ну и генеральша наша принимала, разумея так, что еще мальчик. «Поди, Феденька, подай моську, позови Якова, вели давать чай...» Почесть что держала на посылках, а он вообразил себе другое. Барышне нашей, по молодости ее лет, также приглянулся, девица была еще неопытная, хотя в богатстве родилась и выросла, а людей тоже мало видала.

— Как же у них все это шло, хотелось бы мне знать? — сказал я.

— Вначале я и не знаю хорошенько, без меня это было, в Питербурге тогда целый год по делам госпожи хлопотал,— отвечал Яков Иванов,— вон она вам лучше расскажет, на ее глазах все это происходило,— прибавил он, указав головой на жену.

— Как же это, Алена Игнатьевна, а? — обратился я к старушке.



Она потупила жеманно голову и начала:

— Дело, сударь, происходило: ездил да ездил к нам молодой барин Федор Гаврилыч, и сердце сердцу весть подает — не то, что в барском роде, а и в нашем холопском. Барышня наша, так доложить, на фортепьянах была большая музыканша, а Федор Гаврилыч на флейте играли, ну и стали тешить себя, играли вместе, старушка даже часто сама приказывала: «Подите, дети, побренчите что-нибудь», или когда вечером музыкантам прикажут играть, а их заставит танцевать разные мазурки и леко-сезы, а не то в карты займутся, либо книжку промеж собой чигают. Сад был тоже у нас большой, аллеи темные, в другую солнце круглый день не заглянет, бабенка после обеда лягут почивать, а они по аллеям этим пойдут гулять с глазу на глаз, очень было заметно даже для нас, для прислуги,— все, почесть, видели и знали.

— Если бы я тем временем дома был, дело бы не пошло так далеко; я на первых бы порах доложил госпоже,— перебил Яков Иванов.

— Докладывать госпоже, Яков Иваныч, как бы еще изволили они принять; сами знаете, не любили, чтоб их учили, а больше того и барышню за их ангельскую доброту и кротость жалели,— возразила вполголоса Алена Игнатьевна и снова потупила свои мягкие и добрые глаза.

— Каким же образом открылось? — спросил я.

— Через маменьку Федора Гаврилыча, Аграфену Григорьевну,— продолжала Алена Игнатьевна,— люди их тоже после рассказывали, так как стала она говорить сыну: «Приехал ты через кои веки к матери на побывку, а все свое время проводишь у Катерины Евграфовны», а он ей на это говорит: «Маменька, говорит, я должен вам сказать, что мне очень нравится Ольга Николавна, а также и я им». Аграфена Григорьевна очень тому обрадовалась.

— Еще бы,— заметил с насмешкою Яков Иванов,— по пословице: залетели вороны в большие хоромы! Только бы прежде надо было подумать, что такое они значут и что значит наша барышня.

— Свое детище, Яков Иваныч, до кого ни доведись, всякому дорого и мило,— скромно и с почтением возразила Алена Игнатьевна и потом снова обратилась ко мне.— Думавши, может быть, так, что госпожа наша Фе-

дора Гаврилыча изволят ласкать и принимать, они и понадеялись.

Старый дворецкий, как бы не утерпевший с досады, опять перебил жену:

— Деревня, деревня и есть: барыня эта, Аграфена Григорьевна, только что из дворянского рода шла, а женщина была самого деревенского, бабьего рассудку.

— Что ж они, сватались? — спросил я.

— Как же-с,— отвечал Яков Иванов, и лицо его окончательно приняло какое-то озлобленное выражение.— В самый, кажется, летний Николин день приехала к нам эта Аграфена Григорьевна, и что-то уж очень нарядная. Генеральша наша и смеется ей: «Что это, мать моя, как расфрантилась?» Она поцеловала у ней ручку и говорит: «Как же, говорит, ваше превосходительство, мне в этакой дом ехать не нарядной». Севши после этих слов, по приглашению нашей госпожи, в кресла, заводит разговор о сыне своем. «Очень, говорит, Катерина Евграфовна, вами благодарна, что вы моего Феденьку изволите так принимать». — «Отчего,— говорит на это госпожа наша,— мне его не принимать: чем у тебя там по глупым вашим поседкам по избам бегать, пускай лучше у меня бывает, по крайней мере насчет обращения чем-нибудь заняться может, а он мальчик неглупый и, кажется, добрый». Похвалила, знаете, больше из жалости, а это еще больше придало гонору этой госпоже Аграфене Григорьевне. «Да, говорит, матушка Катерина Евграфовна, должна я, грешница, благодарить бога: хотя в супружестве большого счастья не имела (потому что, с позволения доложить, покойный муж ее, занимаясь сам хмелем, через два дни в третий бил ее за ее глупость). Весь свой век изжила в горестях и недостатках (простее того сказать, на постных щах круглый год), но зато, говорит, за все это в сыне моем имею теперь утешение. Службу свою, по желанию моему, он оставляет и будет жить при мне, и теперь бы такое с ним наше намерение, чтобы он женился». Госпожа наша только плечами пожала и, так как просто и строго с такими маленькими и необразованными дворянами изволила обращаться, прямо ей и говорит: «Что ты, глупая фефёла, вздумала? Малый без году неделя из яйца вылутился, а она уж из службы его взяла и женить хочет. Да разве нищих разводить и без вас мало! И кто теперь, какая дура за него пойдет?» Ну, и кабы эта безрас-

судная барыня Аграфена Григорьевна имела хоть сколько-нибудь разуму, ей бы и замолчать, а она стала продолжать разговор и уж прямо: «Матушка, говорит, Катерина Евграфовна, дело уж сделано, и теперь бы для нас было большое счастье, если бы Феденька мой удостоился получить руку вашей Ольги Николавны». Старушка наша, по своему великодушию, и тут стерпела и только оставила на нее свои очки, покачала головой и тихо сказала: «Ах ты, говорит, дурища, дурища набитая; понимаешь ли ты, что ты говоришь? Твоему отродью жениться на моей Оленьке? Да как вы осмелились такие мысли иметь?» Но глупому человеку, видно, хоть кол на голове теши, ему все равно. Аграфена Григорьевна и этого ничего не поняла и все продолжает свое: «Матушка, говорит, Катерина Евграфовна, как нам этаких мыслей не иметь, когда ваша Ольга Николавна дали уж Феденьке слово, а если, говорит, насчет состояния, так он не нищий, у него после моей смерти будет двадцать душ». Удивить и пленить чем госпожу нашу думала! Я тогда чай подавал и только обмер, видевши, что у старушки нашей и пенка уж на губах выступила. «Господи, что только будет», — думаю; но они и тут себя сдержали, стукнули своей клюкой и только крикнули: «Вон из моего дома!» Сваха, как сидела, так и вскочила, накинула себе на голову свою шаль и почесть что без салопу уехала; мы, лакеи, уж и не провожали, и этого почету даже не отдали.

Проговоря это, старик утомился и замолчал, и только по выражению его лица можно было догадаться о волновавшей его глубокой досаде на то, что все шло и делалось не так, как рассчитывала и желала госпожа его и он.

— Вот, я думаю, гроза-то разразилась над бедной вашей барышней? — сказал я, обращаясь более к Алене Игнатьевне.

— Не без того, сударь, — отвечала она, взглянув на мужа и как бы желая угадать, нравятся ли ему ее слова. — Сами мы не слышали, — продолжала Алена Игнатьевна вполголоса, — а болтали тоже после, что Ольга Николавна прямо бабеньке сказали, что ни за кого, кроме Федора Гаврилыча, не пойдут замуж, и что будто бы, не знаю, правда или нет, старушка, так очень рассердившись, ударила их по щеке.

Последние слова Алена Игнатьевна произнесла уж почти шепотом и потом снова начала прежним голосом:

— Пришедши после того в гостиную, смотрим: Катерина Евграфовна ушла в свою моленную, а барышня лежит середь полу, без всяких чувств. Словно мертвую отнесли мы их в мезонин, а от Катерины Евграфовны слышим такой приказ, чтобы и ходить за ними никто не смел, но, видевши их в таком положении, я осталась при них, стала им головку уксусом примачивать. Поопамятовались, узнали меня. «Где я, говорит, Аленушка, и что со мной было?» Я им докладываю. «Ах, говорит, Аленушка, зачем я, несчастная, ожила опять на белой свет», а сами всплеснули ручками да так и залились слезами. Я стою у них в ножках у кровати, и что ведь, мы, сударь, рабы — дуры, какие наши разговоры могут быть... сказки мои Ольга Николавна любили слушать. «Не прикажете ли, говорю, сударыня, сказочку вам рассказать?» Они сначала рассмехнулись и только головкой помотали, а потом опять заплакали. Чем их утешать да уговаривать, и сама не знаю! Взяла да Федора Гаврилыча и похвалила, что умен и хорош он очень, так не поверите, сударь, словно барышня моя ожила, дыханье даже перевести хорошенько не могут. «Нравится, говорит, он тебе, Аленушка?» — «Нравится, говорю, сударыня, и вся наша прислуга их любит и хвалит». — «Вот видишь, говорит, вы — служанки, а хвалите его, а бабушка так нет... видно, она, говорит, не хочет моего счастья, а хочет уложить меня в могилу, — бог с ней». — «Полноте, говорю, сударыня, как это может быть: бабенька вас любит и так только, может быть, на первых порах изволили разгневаться, а после сердце их отойдет. Коли, говорю, Федор Гаврилыч вам мил, что ж ей тому препятствовать». — «Ах, нет, говорит, Аленушка, он бедный и незнатный, а бабушка моя гордая».

— Что же старая ваша барыня? — спросил я.

— Старушка с виду ничего не показывали: скрытны чрезвычайно были-с! — отвечала Алена Игнатьевна. — Барышня пролежали в постели целый день, на другой день тоже: пищи никакой не принимают, что ни на есть чашка чаю, так и той в день не выкушают, сами из себя худеют, бледнеют, а бабенька хоть бы спросили, точно их совсем и на свете не бывало; по тому только и приметно, что сердце ихнее болело, что еще, кажется, больше прежнего строги стали к нам, прислуге. Старая девица за ними ходила, любимица ихняя; бывало, всех нас девушек кличкой кликали, а ту всегда по имени и отчеству называ-

ли, и на ту изволили за что-то разгневаться и сослали со своих глаз в скотную; приказчику тоже, что-то неладно на докладе доложил, того из своих рук изволили клюкой поучить. Мы уж, горничные девушки, не знаем, как и ступить, того и ждем, что над кем-нибудь гнев свой сорвут.

— Все бы это ничего, ничего бы дальше этого не пошло, если бы не эта мерзкая девчонка, фрелина нашей барышни: от ней весь сыр-бор потом и загорелся,— перебил резким тоном Яков Иванов.

В старческом дрожащем его голосе так и слышалась накипевшая желчь.

— Что ж тут горничная сделала? — спросил я.

— Передатчицей стала,— отвечал Яков Иванов прежним тоном,— записки стала переносить туда и оттуда к барышне — ветренная, безнравственная была девчонка, и теперь, сударь, сердце кровью обливается, как подумаешь, что барышня наша была перед тем, истинно сказать, почтительной и послушной внукой, как следует истинной христианке, а тут что из нее вдруг стало: сама к бабенке не является, а пишет письмо, что либо бегут с своим нареченным женихом, либо руки на себя наложат. Каково было старушке читать эти строки! Конечно, что они и тут своего геройского духа не потеряли. При мне это было, стукнули своей табакеркой золотой по столу: «Так не бывать же, говорят, ни тому, ни другому», а надобно спросить, что чувствовала их душа, зная, что они делали, и видя, чем им за это платят. Ваше высокоблагородие сами, может быть, имеете детей и можете понять, сколь легка для их родительского сердца неблагодарность за все об них попечения? Может быть, до сей поры кости нашей госпожи и благодетельницы содрогаются в могиле от этого!

Старик произнес последние слова эти с какою-то драматическою торжественностью и снова поникнул головою, но губы его шевелились, и, как мне казалось, он шептал молитву за упокой души его благодетельницы. Я между тем смотрел внимательно на Алену Игнатьевну. Лицо у ней горело, и она сидела, потупив свои добрые глаза. Я видел, что нравственное участие ее было на стороне барышни Ольги Николавны, и она не смела только возражать мужу, но, кажется, думала иначе, как он думает. А между тем, вспомнилось мне, у этих стариков на плечах их собственный внук, пропившийся и продавший в сол-

даты, но они об нем как будто бы и забыли, как забывают на минуту старую и давно терзающую болезнь. При этой мысли мне сделалось как-то совестно спрашивать их о господах, и беседа наша, вероятно бы, прекратилась, но спасибо Грачихе; как и когда она вернулась в избу, я не видал, только вдруг опять явилась из-за перегородки и с лицом, еще более покрасневшим.

— Под караулом барышню держали, словно арестантку какую,— начала она с какой-то цинической усмешкой,— три старухи были приставлены в надсмотрщицы, чтобы, коли одна спит али дремлет, так чтоб другая стерегла, на молодых уж не надеялись, горничную девушку ее на поселенье присудили было сослать.— При последних словах Грачиха кивком головы указала на Якова Иванова.— Да та тоже не глупа девка, хвост им показала, через двадцать лет уж после в скитах нашли. Немало страму было на весь околоток, и сколь, кажется, ни скрытно делали, а тоже все знали и все молодую барышню и Федора Гаврилыча жалели.

— Все жалели,— подтвердила шепотом Алена Игнатьевна, вздохнув и подняв глаза кверху.

— Как, мать, не жалеть-то! — подхватила Грачиха.— Хоть бы наш барин Михайло Максимыч любил Федора Гаврилыча; как в город ехать, все уж вместе, и у покойного тятеньки кажинный раз приставали. Я еще молодая-молодохонька была, а тоже помню: покойный Михайло Максимыч все ведь со мной заигрывал, ну и тот раз, как треснет меня по спине, да и говорит: «Катюшка, говорит, научи нас, как нам из Богородского барышню украсть?» — «А я, говорю, почем знаю». — «Али, говорит, дура, тебя никогда не воровывали, а ты все своей волей ходишь?» — «Все, говорю, своей волей хожу»; так оба и покатались со смеху. Врунья я смолоду была, а, пожалуй, и теперь такая.

— И теперь такая,— подтвердил я,— впрочем, ты про себя не рассказывай, а говори, как барышню украли, если знаешь.

— Знаю, все знаю, не такой человек Грачиха, чтоб она чего не знала,— отвечала толстуха, ударив себя рукой по жирной груди.

— Украли! — продолжала она, встряхнув головой и приподняв брови.— Хитрое было дело эким господам украсть. Старик правду говорил, что прежние баре были

соколы. Как бы теперь этак они на фатеру приехали, не стали бы стариковские сказки слушать, а прямо, нет ли где беседы, молодых бабенок да девушек оглядывать. Барину нашему еще бы не украсть, важное дело... Как сказал он: «Друг Феденька! Надейся на меня, я тебе жену украду и первого сына у тебя окрещу!» Как сказал, так и сделал.

— Сделал?

— Сделал. Семь крестов носил он за свое молодечество, в полку дали! Тройка лошадей у него была отличная, курьеркой так и звалась... «Моя, говорит, курьерка из воды сухого, из огня непаленого вынесет» — и вынашивала! Кучеренко, Мишутка был тогда, на семь верст свистал, слышно было; подъехали к Богородскому ночным временем, а метелица, вьюга поднялась, так и вьет и вьет, как в котле кипит. Мишутка сам после рассказывал: свистит раз, другой, нет толку — ветром относит. Свечка, глядят, горит еще в мезонине, а уговор такой с барышней был, что как свечка погаснет, значит, она на крыльцо вышла. Барин наш как шаркнет его по шиворотку. «Свисти, говорит, каналья, по-настоящему, по-разбойничьи!» Мишутка как верескнет, только грачи в роще с гнезд поднялись и закаркали. Глядь, свечка потухла. Федор Гаврилыч сейчас из пошевней вон, сумегом через сад на красный двор и в сени. Глядит, барышня выскочила в одном капотчике. «Ах, говорит, душечка, Оленька, как это вы без теплого платья!» Сейчас долой с своих плеч свою медвежью шубу, завернул в нее свою миленькую с ручками и с ножками, поднял, как малого ребенка на руки — и в пошевни. «Пошел!» — говорят. Мишутка тронул было сразу, кореннаяхватила, трах обе заертки пополам. «Батюшка, барин, говорит, заертки выдали!» Барин наш только вскочил на ноги, выхватил у него вожжи да как крикнет: «Курьерка, грабят!» — и какковы только эти лошади были: услышав его голос, две выносные три версты целиком по сумету несли, а там уж, смотрят, народ из усадьбы высыпал верхами и с кольями, не тут-то было: баре наши в первой приход в церковь и повенчанье сделали: здравствуйте, значит, честь имеем вас поздравить.

— Славно, старуха, рассказала! — воскликнул я.

— Э! — воскликнула, в свою очередь, Грачиха. — Ты разбери-ка еще эту старуху, меня все баре любят, ей-богу.

— Постой, погоди,— перебил я,— священник, значит, был уже подговорен?

— Не знаю, чего не знаю, так не скажу, не знаю,— отвечала Грачиха.

— Какое, сударь, подговорен,— начал Яков Иванов, как бы погруженный, по-видимому, в свои размышления, но, кажется, не пропустивший ни слова из нашего разговора.— Зная нашу госпожу,— продолжал он,— кто бы из духовенства решился на это,— просто силой взяли. Барин ихний, Михайло Максимыч, буян и самодур был известный.

— Буян не буян, а вашей барыне, сколь ни обидчица она была, не уступал, извините нас на том. Тягаться тоже с ним за Полянские луга вздумала, много взяла! Шалишь-мамонишь, на грех наводишь! Ничего, говорит, ваша взяла, только смотрите, чтобы после рыло не было в крови...

— Кому-нибудь одному уж, сударыня, речь вести, либо вам, либо мне,— возразил с чувством собственного достоинства старик.

— Перестань, Грачиха,— прикрикнул я,— рассказывай, Яков Иваныч.

— Что, сударь, рассказывать,— продолжал он,— не венчанье, а грех только был. Село Вознесенское, может быть, и вы изволите знать, так там это происходило; вбежал этот барин Михайло Максимыч к священнику. Отец Александр тогда был, Крестовоздвиженской прозывался, священник из простых, непоучный, а жизни хорошей и смирной. «Молебен, батюшка, говорит, желаю отслужить, выезжаю сейчас в Питербург, так сделайте милость, пожалуйста в божий храм». Священник, никакого подозрения не имевши, идет и видит, что церковь отперта, у клироса стоит какая-то дама, платком сглуха закутанная, и Федор Гаврилыч. Как только они вошли, Федор Гаврилыч двери церковные на замок и ключ кладет себе в карман, а Михайло Максимыч вынимает из кармана пистолет и прямо говорит: «Ну, говорит, отец Александр, что вы желаете: сто рублей денег получить али вот этого? Вы, говорит, должны сейчас обвенчать Федора Гаврилыча на Ольге Николавне, а без того мы вас из церкви живого не выпустим». Что тут священнику прикажете перед эким страхом делать? Стал первоначально усовещивать — ничего во внимание не берут, только пуще еще грозят.



Тут старый слуга приостановился, покачал несколько раз головой, вздохнул и снова продолжал:

— Отец Александр на другой же день приезжал после того к нашей госпоже и чуть не в ноги ей поклонился. «Матушка, говорит, Катерина Евграфовна, не погубите, вот что со мной случилось, и сколь ни прискорбно вашему сердцу, я, как пастырь церкви, прошу милости новобращенным: бог соединил, человек не разлучает, молодые завтрашний день желают быть у вас». Генеральша наша на это ему только и сказала: «Вас, говорит, отец Александр, я не виню, но как поступить мне с моей внукой, я уж это сама знаю».

— Что ж, молодые приезжали? — спросил я.

Яков Иванов усмехнулся.

— Как же-с, — отвечал он, — приезжали, прямо явиться не смели, около саду все колесили, человека наперед себя прислали с письмом от Ольги Николавны, но только ошиблись немного в расчете. Старушка даже и не прочитала его, а приказала через меня сказать, что как Ольга Николавна их забыли, так и они им той же монетой платят, хотя, конечно, сердце их родительское никогда не забывало. Это, может быть, знает один только бог, темные ночи да я, их доверенный слуга. Ольге Николавне за то, что они свою бабушку за всю их любовь разогорчили и, можно сказать, убили, не дал тоже бог счастья в их семейной жизни.

— Неправда, неправда, грех на душу, старичок, берешь, коли так говоришь! — воскликнула вдруг Грачиха. — Молодые господа начали жить, как голубь с голубкой, кабы не бедность да не нужда!

— А очень бедно они жили? — перебил я.

— Еще бы не бедно! На какие капиталы было жить? — отвечала с озлобленным смехом Грачиха. — Старушка, мать Федора Гаврилыча, вестимо, все им отдала, сама уж в своей усадьбишке почесть что с людишками в избе жила, спала и ела. Именье небогатое было, всего-навсего три оброшника, да и те по миру ходили. Больше все наш барин вспомоществования делал и квартиру им в городе нанимал, отоплял ее, запасу домашнего, что было, посылал зачастую. Ольгу Николавну он больно уж любил и после часто говаривал: «Я бы, говорит, сам женился на Ольге Николавне, да уж только бабушка ее мне противна,

и она полюбила другого». Барин наш простой ведь был и к нам, мужикам, милостивый — только гулящий.

— Жизнь уж самая бедная молодых господ была,— вмешалась Алена Игнатьевна.— Голубушка наша, Ольга Николавна, рукодельем своим даже стали промышлять, кружева изволили плести и в пальцах вышивали и продавали это другим господам; детей тоже изволили двойников родить на первый год, сами обоих и кормили; как еще сил их хватило, на удивленье наше!

— За чем пошла, то и нашла! — заметил Яков Иванов.

— Мало ли, любезный, кто за чем ходит, да не все то находят! — возразила ему Грачиха, разводя руками.— Федор Гаврилыч попервоначально ни за чем дурным не ходил, и все его старание было, чтобы хоть какую-нибудь службу дали, да уж только заранее инструменты были все подведены. Барин наш все ведь нам рассказывал. Думал было также он, чтобы исправником Федора Гаврилыча сделать, ну и дворянство обещать обещали, а как пришло дело к балтировке, и не выбрали: генеральши ихней испугались, чтоб в противность ей не сделать! Покойный Михайло Максимыч пытал на себе волосы рвать и прямо дворянству сказал: «После того вы хуже мужиков, коли этой, согрешила, грешная, старой ведьмы испугались». Каменного сердца человек госпожа ваша была, хоть ты и хвалишь ее больно; губила ни за что ни про что молодых барь, а вы, прислуга, в угоду ей, тоже против их эхидствовали,— заключила Грачиха и опять ушла из избы.

— И пить-то уж не мы ли его заставили, коли уж вы все на нас сворачиваете? — проговорил ей вслед Яков Иванов с обычным своим покачиванием головы.

— А он попить начал? — спросил я.

— До безобразия: вместо того чтобы в бедности и недостатках поддержать себя, он первоначально в карты ударился, а тут знакомство свел с самыми маленькими чиновниками: пьянство да дебоширство пошло, а может, и другое прочее, и генеральша наша, действительно, слышавши все это самое, призывает меня, и прежде, бывало, с ближайшими родственниками никогда не изволила говорить об Ольге Николавне, имени даже их в доме произносить запрещено было, тут вдруг прямо мне говорят: «Яков Иванов! Наслышана я, что внучка моя очень несчастлива в семейной жизни, и я желаю, чтобы она была разведена со своим мужем». — «Слушаю, говорю, ваше

превосходительство, но только каким манером вы полагаете это сделать?» — «Это уж не твое дело, ты должен исполнять, что тебе будет приказано». Я кланяюсь. «Поезжай, говорит, сейчас в город и проси ко мне приехать сегодня же городничего». Я еду, и так как господин этот городничий почтень что нашей госпожой был определен, и угождал ей во всем. Сейчас приезжает, и какой промеж их разговор был — я не знаю, потому что не был к тому допущен.

— А тут и дело пошло? — сказал я.

Яков Иванов несколько позамялся, впрочем продолжал:

— Дело пошло такого рода, что так как Федор Гаврилыч стал любить уж очень компании, был он на одном мужском вечере, кажется, у казначея, разгулялись, в слободе тут девушки разные жили и песни пели хорошо, а тем временем капуста была, капусту девушки и молодые женщины рубят и песни поют. Вся компания туда и отправилась, и что уж там было — неизвестно, только Федор Гаврилыч очень был пьян, другие господа разъехались, а он остался у хозяйки, у которой была молодая дочь. Городничий в то время, получа донесение, что в такой поздний час в таком-то доме происходит шум, приходит туда с дозором и находит, что Федор Гаврилыч спят на диване, и дочка хозяйская лежит с ним, обнявшись, и так как от генеральши нашей поступило по этому предмету прошение, то и составлен был в городническом правлении протокол — дело с того и началось.

В продолжение всего этого рассказа я глаз не спускал с старика, и хоть он ни в слове не проговорился, но по оттенкам в тонких чертах лица его очень легко было догадаться, что все это дело обдумывал и устроивал он, вместе с городничим. Предугадывая, что и на дальнейшие мои расспросы он станет хитрить и лавировать в ответах, я начал более вызывать на разговор Алену Игнатьевну.

— Что же Ольга Николавна? — спросил я, прямо обращаясь к ней.

Алена Игнатьевна по обыкновению потупилась, Яков Иванов улыбнулся и сказал жене:

— Рассказывайте!

— Ольга Николавна, — начала Алена Игнатьевна, глядя на концы своих еще красивых пальцев, — ничего не знали и не понимали, видели только, что Федор Гаврилыч

попивают, дома не ночевали, сидят под окном и плачут. На ту пору, словно на грех, приходит мать протопопица, женщина добрая, смиренная и к господам нашим привязанная. Видевши Ольгу Николавну в слезах, по неосторожности своей и говорит: «Матушка, говорит, Ольга Николавна, что такое у вас с супругом вышло?» — «Что, говорит, такое у меня с супругом вышло? У меня никогда с мужем выйти ничего не может». Скрывали тоже и стыдились, что бы там сердце их ни чувствовало, а протопопица эта и говорит: «Матушка, болтают, аки бы от вас подано на супруга в полицию прошение, и супруг ваш найден в таком-то доме и с такой-то женщиной...» Голубушка Ольга Николавна, как услышала это, побледнела, как мертвая, выслала эту протопопицу от себя, ударили себя в грудь. «Когда, говорит, так, так знать я его не хочу. Сейчас, говорит, еду с детьми к бабеньке, кинусь ей в ноги, она меня простит, а с ним, с развратником, жить не желаю». Наняли ей кой-какого извозчика, и в простых санишках, в одном холодном на вате салопчике, — меховой уж был в закладе, — на деточках тоже ничего теплого не было, так завернули их в овчинные полушубочки, да и те едва выкланяла у квартирной хозяйки, — да так и приезжает к нам в усадьбу, входит прямо в лакейскую. Старушка, как услышала их голос, сейчас встала с кресел и скорым этак шагом пошли им навстречу, и такое, сударь, было промеж их это свидание и раскаяние, что, может быть, только заклятые враги будут так встречаться на страшном суде божием. Ольга Николавна ничего уж и говорить не могла, пала только к бабеньке на грудь, а старушка прижала их одной рукою к сердцу, а другой внучат ловят, мы все, горничная прислуга, как стояли тут, так ревом и заревели. «Бабенька, — говорит Ольга Николавна, — простите ли вы меня?» — «Ничего, говорит, друг мой, ни против тебя, ни против детей твоих я не имею, во всех вас течет моя кровь, только об злодее этом слышать не могу». — «Бабушка, говорит, я сама об нем слышать не могу».

Последние слова жены старик сопровождал одобрительным киваньем головы; на его мутных зрачках и покрасневших веках показались даже слезы.

— И надо, сударь, было видеть, — почти воскликнул он дребезжащим голосом, — радость нашей генеральши: только в золото не одела своих правнуков. Призывают

тут меня сейчас к себе и заставляют писать в Питербург, чтобы самая лучшая мадам француженка была выслана; за Ольгой Николавной, как самая усердная рабыня, стали ходить. Узнав, что они ночи не изволят почивать, в свою спальню их перевела, и, как только Ольга Николавна вздохнут или простонут, на босу ножку старушка вставали с своей постели и только спрашивали: «Что такое, Оленька, дружок мой, что такое с тобой?» Но ничем этим, видно, перед Ольгой Николавной не могли они заслужить, никто им, видно, не был милей Федора Гаврилыча.

— Что ж она делала? — спросил я.

— А делала то, что через неделю же стала говорить и поступать все вопреки бабушке! — отвечал порывисто Яков Иванов. — Что бы те ни предприняли и ни сделали, все им было неприятно; что есть подарки, так и за те не то чтобы как следует поблагодарили, а в руки даже взять не хотели хорошенько и все кидком да швырком.

— Не от грубости хоть бы это делали Ольга Николавна, — скромно возразила Алена Игнатьевна.

— Отчего ж? — спросил я.

Алена Игнатьевна опять уставила глаза на свои пальцы и отвечала:

— Тосковать уж очень стали об Федоре Гаврилыче. Сколь, может быть, он ни виноват был против их, но они, кажется, больше жизни своей его любили, ну и Федор Гаврилыч тоже раз десять, может, приходили пешком к нашей усадьбе, чтоб только свиданье с супругой своей иметь. Целые дни, сидячи в поле, проплакивали, так как приказание от старушки было, чтоб их на красной двор даже не допускать, не то что уж в комнаты. Ольга Николавна, все это слышавши и зная тоже, в какой они бедности проживают, призовут, бывало, тайком мужичков, которые побогаче: «Милые мои, говорит, дайте мне хоть сколько-нибудь денег, я вам после отдам». Ну и мужички кто синенькую, кто рубль серебром, четвертачок, полтинничек дадут им по своему состоянию: они сейчас их пошлют Федору Гаврилычу, но те тоже не принимали этих денег. «Если, говорит, мое сокровище Оленьку у меня отняли, мне ничего не надо. Я буду ходить по миру и под окном собирать милостыню».

Яков Иванов, при последних словах, взглянул на

жену своими слепыми глазами сердито и прямо обратился ко мне:

— Про деньги генеральша наша ничего бы не сказала, напротив, я самолично возил Федору Гаврилычу двадцать пять тысяч в своем кармане, чтоб только он али бы в Сибирь, или хоть в иностранные земли уехал, но он и того не почувствовал. Нашей госпожи было одно желание: чтоб только он не был мужем нашей барышни, так как он недостоин того.

При последних словах Грачиха как из-под земли выросла и появилась.

— Да кто может мужа-то с женой судить али разлучать? — начала она своим резким тоном. — Что вы это говорите, греховодники? Где бог-то у вас был втепоры? Барин наш, как тогда из Питера приехал и услышал, и только руками всплеснул. «Как!» — говорит, и сейчас же за Федором Гаврилычем лошадей в город. «Федя! Дурак! Как у тебя жену отняли?» Тот, сердечный, только всплакал, смиренный ведь барин был, а от делов-то ихних словно и разуму лишился.

Яков Иванов вздохнул.

— Доброму и хорошему наставлял и научал его ваш барин. Дай ему бог царство небесное, век его поминаем, — проговорил он.

— Да научил же, на вот вам! Из-под носу было опять украли Ольгу Николавну, — подхватила Грачиха.

— Разбойники еще и не такие дела делают, и людей режут, — возразил Яков Иванов.

— Что такое разбойники? — спросил я.

Старик с грустною улыбкою покачал головой.

— И рассказывать, сударь, — начал он, — так вы, может быть, не поверите, судя по нынешнему, что делалось в прежние времена. Нельзя и старину за все похвалить: безурядицы много было: разбойник тогда по губернии стал ходить по имени Иван Фаддеич, и разбойник сильнейший; может быть, более трехсот человек шайка его была, словно в неприятельских землях разъезды делал и грабил по Волге и другим судоходным рекам. На больших дорогах тоже: почесть что проезду не стало, и не то чтоб одиночников из простого народа обирал, а ладил, нельзя ли экипаж шестериком, восьмериком, даже самые почты остановить, или к помещикам, которые побогаче, наедет с шайкой в усадьбу и сейчас денег требует, если

господин не дает или запирается, просто делали муки адские: зажгут веники и горячими этими прутьями парят. По всем деревням, где бы ни захотел, прием ему был, как в своей вотчине. Начальство тоже, бог его знает, подкуплено ли было, али боялось, только года три воинская команда не могла его изловить и арест ему сделать. Страх был на всех великий, и таким делом сидят господа наши — генеральша с Ольгою Николавною и своими внучатами — вечером, в своей малой гостиной, горят перед ними две восковые свечи, а прочие комнаты почесть что не освещены, окромя нашей официантской и девичьих комнат. Вдруг слышим свист, гагайканье в поле. Что такое? И первоначально думали, что пьяные мужики с базару едут. Однако глядим, в окна зарево, выбежали на крыльцо: овины наши горят. Все мы, лакеи, бросились, конечно, туда, усадебный народ тоже бежит. Господа, слышавши шум, изволят спрашивать: «Что такое? Что случилось?» На эти их слова ружейный выстрел, раз, два, рамы в ихней самой гостиной затрещали, зазвенели, вламываются в окна двое мужчин, в поддевках, с бородой и с усами. Старушка наша, по своему геройству, встают. «Кто вы такие?» — говорит. Один из этих мужчин отвечает ей: «Я Иван Фаддеич, и вы, госпожа генеральша, пожалуйста вашу внуку, которую вы у мужа отняли». Ну, и старушка, поослабнувши, конечно, опустились в кресло и только вскрикнула: «Люди, где вы?» А Ольга Николавна, прижавшись тем временем с детьми за бабенкины плечи, видят, что у одного из мужчин борода и усы спали, — глядь, это Федор Гаврилыч. Как вскрикнула: «Ах!», да так и пала замертво. Невзирая на это, Федор Гаврилыч хватают их на свои руки, а другой мужчина, — вернулись было две горничные девицы и лакей, — как резнет их всех наотмашь кулаком, так те головами назад в двери и улетели, и после оба опять в окошко, и след простыл. Я уж и сам не знаю, как очутился в комнатах, слышу только, что Ольгу Николавну украли. Генеральша без памяти, дети плачут, и только уж на другой день, когда старушка изволили прийти несколько в себя, получаю я от них такое приказание, чтоб ехать сейчас в уездный город, на квартиру Федора Гаврилыча, и если Ольга Николавна там, то вручить ей письмо, в противном же случае подать в подлежащий земский суд законное объявление обо всем случившемся. Я приезжаю, выходит ко мне

Федор Гаврилыч. «Поздно, говорит, Яков Иваныч, опоздали вы с вашей барыней, Оленька моя лежит на столе, а вместе с ней и я лягу». — «Ну, говорю, Федор Гаврилыч, вы себе сами все это предуготовили — сами и отвечайте за то богу».

— Отчего же она так вдруг уж и умерла? — перебил я старика.

— В тягости они изволили быть, ну, и с этаких страхов и ужасов выкинули... и не перенесли уж потом того...

— Неужели же он в самом деле с разбойником с Иваном Фаддеичем приезжал? — спросил я.

Грачиха на это всплеснула руками.

— Нету, батюшка, нету; что он, старая лиса, говорит! — воскликнула она. — Ну, просто тебе сказать, наш барин шутку хотел сшутить. Он сам этим разбойником Иваном Фаддеичем и наряжен был; кто знал, что экой грех будет. Чем бы старухе со страху окостенеть, а тут на-ка, молодая барыня лишилась от того жизни. Барин наш тогда, после похорон, приехал и словно с ума спятил: три недели пил мертвую, из пистолета себя все хотел застрелить. Трое лакеев так и ходили по следам его, чтоб чего не сделал над собой, только и утешение было, что на могилу к Ольге Николавне ездить. Приедет туда да головой себя об памятник и начнет колотить. А что уж на Федора Гаврилыча приходит, так это извини, не он будет отвечать богу, а вы, вы, вы... вот вам что — да! Вместо того чтобы вам с вашей старой барыней делать поминовение за упокой праведной души Ольги Николавны, вы по начальству пошли и стали доказывать, аки бы Федор Гаврилыч с настоящим разбойником Иваном Фаддеичем приезжал, деньги все обрал и внучку украл. Барин наш пытал заявлять всем начальникам, что это не разбойник какой, а он приезжал: «Ну, когда я виноват, говорит, так и спрашивай с меня!..» — так и веры, паря, никто не хотел иметь. Что уж тут говорить: сам Иван Фаддеич, разбойник бы, кажись, так и тот, перед кобылой стоявши, говорил: «Православные, говорит, христиане, может быть, мне живому из-под кнута не встать, в семидесяти душах человеческих убитых я покаянье сделал, а что, говорит, у генеральши в Богородском не бывал и барина Федора Гаврилыча не знаю».

— Этого, сударыня, мы не знаем и знать того не могли, — возразил Яков Иванов, — не мы его судили, а закон.



— Сами вы, любезный, законы-то хорошо знали да подводили... На-ка, какой закон нашел! Присудили хоть бы Федора Гаврилыча ни за что ни про что, за одно только смирение его, присудили на поселенье,— экие, паря, законы нашли.

— Того и стоил, туда ему и дорога была,— произнес Яков Иванов, как бы сам с собой.

— Бог знает, кому туда дорога-то шла,— возразила Грачиха,— не тот, может, только туда попал. Старой вашей барыне на наших глазах еще в сей жизни плата божья была. Не в мою меру будь сказано, как померла, так язык на два аршина вытянулся, три раза в гробу повертывалась, не скроешь этого дела-то, похорон совершать, почесть, не могли по-должному, словно колдунью какую предавали земле, страх и ужас был на всех.

При этих словах Грачихи избеная дверь с шумом растворилась, стоявший на полочке около задней стены штоф повалился и зазвенел, дремавший на голбце кот фыркнул, махнул одним прыжком через всю избу и спрятался под лавку. Мы все невольно вздрогнули, Яков Иванов побледнел. В полумраке в дверях показалась фигура с растрепанными волосами, с истощенным лицом, в пальто сверху, а под ним в красной рубашке, в плисовых штанах и в козловых с высокими голенищами сапогах. За ним выступала другая физиономия, с рыжеватой, клинообразной бородой и с плутоватыми, уплывшими внутрь глазами, и одетая в аккуратную подпоясанную бекешку.

— Ой, чтоб вас, псы, испугали! — воскликнула Грачиха.

— Кто мне смеет водки не давать? — осипло проговорила растрепанная фигура.

Я догадался, что это был охотник с хозяином.

— Пошел, пошел в свое место, господа здесь,— проговорила Грачиха.

Охотник обвел избу своими воспаленными глазами и остановил их на мне; потом, приложив руку к фуражке, проговорил:

— Честь имею явиться: гусарского Ермаланского полка рядовой! Здравствуйте, дедушка и бабушка! — прибавил он и потом опустился на лавку около старушки, схватил ее за руку и поцеловал; при этом у него навернулись слезы.

— Дедушка у меня умная голова — министр! Дедуш-

ка мой министр! — говорил, хватая себя за голову и с какой-то озлобленной улыбкой, гуляка. — Вы дурак, хозяин мой, подай торбан, — продолжал он и, тотчас же обратившись ко мне, присовокупил: — Позвольте мне поиграть на торбане.

Клинообразный мужик стоял в недоумении.

— Пошел! Марш! — крикнул охотник.

Хозяин ушел.

— Дедушка мой, министр, изволил приказанье от-  
дать, чтоб быть ему по торговой части: «Галстуки, плат-  
ки, помада самолучшие; пожалуйста сюда, господин, сде-  
лайте милость, пожалуйста сюда!» — говорил охотник,  
встав и представляя, как купцы зазывают в лавку, — плу-  
товать, народ, значит, обманывать, — не хочу! Володька  
Топорков пьяница, но плутом вот таким не бывал, — вос-  
кликнул он, указывая одною рукою на дедушку, а дру-  
гой на возвращающегося хозяина, который смиренно по-  
дал ему торбан. — Мы у Мясницких ворот в трактире жи-  
ли, — продолжал он, — там наверху, в собачьей конуре,  
ничего — играть можем, а уж плутовать не станем, — ша-  
лишь! А сыграть — сыграем, — заключил он и действи-  
тельно взял несколько ловких аккордов, а потом, пожимая  
плечами, запел осиплым голосом:

Куманек, побывай у меня,  
Разголубчик, побывай у меня!  
Что ж такое, побывать у тебя,  
У тебя, кума, ворота скрипучи,  
Скрипучи, пучи, пучи, пучи, пучи.

— Ну, паря, хороша песня, эку выучил! У нас пьяный  
мужик лучше того споет, — отозвалась Грачиха.

— Погоди, постой, слушай — произнес мрачно То-  
порков и потом опять, сделав несколько аккордов, запел:

Из Москвы я прибыл в Питер,  
Все по собственным делам;  
Шел по Невскому проспекту  
Сам с перчаткой рассуждал,  
Что за чудная столица,  
Расприкрасный Питембург.

— Хорошо? — спросил Топорков, остановясь.

— Нет, и это нехорошо, на балалайке хорошо игра-  
ешь, а поешь нескладно! — отвечала Грачиха.

— Постой, садись около меня, — проговорил гуляка  
и, взяв Грачиху за руку, посадил рядом с собой. — Слу-  
шай, — произнес он и начал заунывным тоном:

Туманы седые плывут  
К облакам,  
Пастушки младые спешат  
К пастушкам.

Но эта песня уж, кажется, и самому Топоркову не понравилась; по крайней мере он встал, подал с пренебрежением торбан хозяину и, обратившись ко мне, сказал:

— Позвольте на театре разыграть?

И потом, не дожидаясь ответа, снова встал в позу трагиков и начал:

Спи, стая псов!

Спи сном непробудным до страшного суда,  
Тогда воскресни и прямо в ад, изменники,  
И бог на русскую державу ополчился!  
Он попустил холопей нечестивых  
Торжествовать над русскою землей.

Говоря последние слова, Топорков опять указал на деда своего и на хозяина.

— Эх его благует, словно леший,— заметила Грачиха, покачав только головой.

Топорков посмотрел на нее мрачно, опустил на скамейку около бабушки и положил к ней голову на плечо, потом, как бы вспомнив что-то, ударил себя по лбу и проговорил, как бы больше сам с собой:

— Где мои деньги? Кто мне смеет водки не давать?

— Батюшка, Володюшка, тебе вредно,— говорила старуха, приглаживая растрепанные волосы внука.— Деньги твои у меня, да я тебе не даю, тебе на службе пригодятся.

— Бабушка! Не у тебя деньги! — воскликнул Топорков.— Я знаю, у кого деньги, ну, бог с ним! Меня продали, бог с ним. Иосифа братья тоже продали, бог с ним. Не надо мне денег! — заключил гуляка и потом, ударив себя в грудь, запел:

Русской грудью и душою  
Служит богу и царям,  
Кроток в мире, но средь бою  
Страшен, пагубен врагам.

Оглушенный этим пением и монологами, я, впрочем, не переставал глядеть на слепца. Ни мои расспросы, ни колкие намеки Грачихи, ничто не могло так поколебать его спокойствия, как безобразие внука. С каждой мину-

той он начинал более и более дрожать и потом вдруг встал, засунул дрожащую руку за пазуху, вытащил оттуда бумажник и, бросив его на стол, проговорил своим ровным тоном:

— Нате, возьмите ваши деньги!.. Алена Игнатьевна, уведите меня отсюда куда-нибудь, уведите,— проговорил он умоляющим голосом.

— Будто? — произнес с насмешкою внук.

Старик ничего ему не ответил и, не ощутив даже палкою, перешагнув через скамью и быстро пошел по избе. Алена Игнатьевна последовала за мужем.

— Покойной ночи, королева! — проговорил им вслед Топорков.

Грачиха с своей неизменной правдой начала тотчас же бранить его.

— Пошто, пес, дедушек обижаешь и печалишь? Балда, балда и есть, не даст тебе бог счастья и в службе, коли стариков не почитаешь, пьяный дурак!

Топорков слушал ее, понутив голову.

— Деньги вы возьмете или мне прибрать прикажете? — спросил клинобородый хозяин.

— Сам приберу,— проговорил Топорков и спрятал бумажник в карман.— Иосифа братья продали, а я эти деньги бабушке отдам. Хозяин-дурак, пойдем, куда сказано.

— Пойдемте-с,— проговорил смиренно мужик, и они ушли. Я тоже ушел в свою комнату. Из-за дощаной перегородки в соседнем номере слышались, вместо крикливых возгласов гуляки, истовые слова молившегося старика: «Боже, милостив буди мне грешному! Боже, очисти грехи мои и помилуй!»

И затем все смолкнуло, и только по временам долетал до меня голос бранящейся или просто разговаривающей Грачихи с подъехавшими мужиками-обозниками. Через четверть часа заложили моих лошадей, и Грачиха содрала с меня денег сколько только могла, и когда я ей заметил:

— Старая, много берешь.

— Полно-ка, полно, много берешь, ишь во каких енотах ходишь, а я вон целый век в полушубчишке бегаю. Много с него взяла,— отвечала она и, впрочем, усадила меня с почтением в сани, а когда я поехал, она только что не перекрестила меня вслед.

# СТАРЧЕСКИЙ ГРЕХ

*Совершенно романтическое приключение*

## I

Если вам когда-нибудь случалось взбираться по крутой и постоянно чем-то воняющей лестнице здания присутственных мест в городе П—е и там, на самом верху, повернув направо, проникать сквозь неуклюжую и с вечно надломленным замком дверь в целое отделение низеньких и сильно грязноватых комнат, помещавших в себе местный Приказ общественного призрения, то вам, конечно, бросался в глаза сидевший у окна, перед дубовой конторкой, чиновник, лет уже далеко за сорок, с крупными чертами лица, с всклокоченными волосами и бакенбардами, широкоплечий, с жилистыми руками и с более еще неуклюжими ногами. Это был бухгалтер Приказа Иосаф Иосафыч Ферапонтов. На нем, как и на прочей канцелярии, был такой же истасканный вицмундир, такие же уродливые, с сильно выдавшимся большим пальцем, сапоги, такие же засаленные брюки, с следами чернил и табаку на коленях, и только в довольно мрачном выражении лица его как-то не было видно того желчного раздражения от беспрестанно волнуемой мелкой мысли, которое, надобно сказать, было присуще почти всей остальной приказной братии. Видимо, что бухгалтер думал и размышлял о более возвышенных и благородных предметах, чем его подчиненные. Несмотря на это, кажется бы, преимущество с его стороны, он собственно за свою наружность и был не совсем любим начальством. Все новые губернаторы, вступая в должность и посещая в первый раз Приказ, получали об нем самое невыгодное мнение, может быть, потому, что в то

время, как все прочие чиновники встречали их с подобострастно-веселым видом, один только Иосаф стоял у своей конторки, как медведь, на которого шли с рога-тиной.

— У вас бухгалтер, должно быть, скотина,— замечал обыкновенно губернатор члену Приказа.

— Для службы-то, ваше превосходительство, очень уж полезен,— отвечал тот на это тоном глубокого сожаления,— у нас тоже дело денежное: вот, бывало, и предметник вашего превосходительства, как за каменной стеной, за ним спокойно почивать изволили.

— Гм!.. — произносил глубокомысленно губернатор, и только этим бухгалтер спасался на своем месте. Каждый день, с восьми часов утра до двух часов пополудни, Ферапонтов сидел за своей конторкой, то просматривая с большим вниманием лежавшую перед ним толстую книгу, то прочитывая какие-то бумаги, то, наконец, устремляя печальный взгляд на довольно продолжительное время в окно, из которого виднелась колокольня, несколько домовых крыш и клочок неба. О чем бухгалтер думал в это время,— сказать трудно; но по всему заметно было, что мысль его была шире того небольшого пространства, в котором являлся ему божий мир сквозь канцелярское окно, шире и глубже даже тех мыслей, которые заключались в цифрах лежавшей перед ним книги.

Часов с одиннадцати обыкновенно в Приказ начинала собираться публика, и первые являлись купцы с вкладами. Случалось так, что какой-нибудь из них, забежав наскоро в Приказ, тяжело дыша и с беспокойными глазами, прямо обращался к бухгалтеру:

— Член здесь-тко-с али нет?

— У губернатора,— отвечал Ферапонтов.

— Эхма-тка! — говорил купец, прищелкнув языком и почесав в затылке.— Деньжонки бы внести надо... задержат, пожалуй!.. А делов-то... делов...

— Давайте,— говорил ему на это лаконически Иосаф, и купец, нимало не задумываясь, вытаскивал из кармана иногда тысяч пять, шесть, десять серебром и отдавал их ему на руки, твердо уверенный, что завтра же получит на них билет.

Все помещики, имения которых были заложены в Приказе, тоже знали Иосафа и тоже прямо обращались к не-

му. Более смиренные из них даже чувствовали к нему некоторый страх.

— Асаф Асафыч? А Асаф Асафыч? — говорили они, подходя не без робости к его конторке (бухгалтер не любил на первый зов откликаться). — А что имение мое назначено в продажу? — заключал проситель уже жалобным голосом.

Ферапонтов взглядывал на него. Имени он почти ни у кого не спрашивал и каждого узнавал по лицу.

— Сахаровых? — произносил он, развертывая толстую книгу.

— Сахаровых, — отвечал робко помещик.

— Семнадцатого апреля назначено в продажу, — отвечал Ферапонтов.

Помещик окончательно терялся.

— Да как же это, ей-богу, вот те и раз! — произносил он почти со слезами на глазах.

Бухгалтер иногда, после нескольких минут молчания, снова развертывал книгу и, просмотрев ее внимательно, произносил:

— Перезаложите. Перезаложить можно.

— Можно? — спрашивал помещик с расцветающим лицом.

— Можно. А вы и не знали того? — говорил Иосаф Иосафыч: в голосе его слышалась легкая насмешка.

Помещик от радости почти вприпрыжку уходил из Приказа.

— Пред сенным ковчегом скакаше играя!.. — произносил ему вслед столоначальник первого стола, большой шутник и зубоскал. При этом молодые писцы самым искренним образом фыркали себе под нос, а которые постарше, улыбались и качали головами. Один только Иосаф в подобных случаях хоть бы бровью поводит. Он вообще с канцелярией никогда не вступал ни в какого рода посторонние разговоры и был строг: в особенности почти что гонению с его стороны подвергались молодые, недоучившиеся дворяне, поступившие на службу так только, чтобы вилять от нее хвостом. В конце почти каждого месяца он вдруг входил в присутственную комнату и начинал мрачно смотреть в окно.

— Что вы тут: на что глядите? — спрашивал его неременный член.

— Так, ни на что-с,— отвечал Иосаф и потом, после короткого молчания, прибавлял: — Петрова бы вот надо совсем из службы выгнать.

— А что такое? — спрашивал неперемный член с некоторым испугом. Петров был, как известно, личным протеже начальника губернии.

— А то, что уж ружье завел,— отвечал Ферапонтов.

— Скажите, пожалуйста! — произносил неперемный член горестно-удивленным тоном и звонил.

— Позвать Петрова! — говорил он, и Петров, очень еще молодой человек, с вольнодумно отпущенными усиками и с какою-то необыкновенно длинною шеей, в тоненьком, легоньком галстуке и в прионелевых ботинках вместо сапог, являлся.

— Вы уж ружье завели? — спрашивал его неперемный член.

Петров вспыхивал до самых ушей.

— Я, помилуйте, Михайло Петрович, взял только у товарища на подержание... Помилуйте-с! — отвечал он прерывисто нетвердым голосом.

— На подержание вы взяли!.. — возражал ему бухгалтер. — Целый день продуваете да замок отвинчиваете... Что-нибудь одно: либо за утичьими хвостами бегать, либо служить.

— Я служить стараюсь! — говорил Петров, обращаясь более к неперемному члену.

— Кабы старались, так бы не то и было,— возражал ему снова бухгалтер. — Мать-то, этта, приезжала и почесть что в ногах валялась и плакала: последнюю после отца шубенку в три листика проиграли!.. Еще дворянии! Точно зараза какая... только других портите и развращаете.

— Что ж, маменька, конечно что, вольна все говорить,— отвечал Петров, опуская невиннейшим образом глаза в землю.

— Все на вас говорят! — произносил с досадою Иосаф и уходил из присутствия.

За такого рода суровость, а главное, я думаю, и за образ своей жизни, он и прозван был от своих подчиненных «отче Иосафий».

Но в самом ли деле этот человек был таков?.. Нет, и тысячи раз нет!!!



Как ни давно это было, но мы еще очень хорошо помним сквернейший сентябрьский день, сырой, холодный; помним длинную залу, тоже сырую и холодную, с распростертыми над нами по потолку ее всевозможными богами и богинями Олимпа, залу почти без всяких следов жилья человеческого. Посредине ее стоял огромный стол, покрытый красным сукном. По двум стенам шли сплошь шкафы с книгами и с стоявшими наверху их греческими мудрецами. Тщетно старался я прочитать заглавия некоторых книг и ничего не понял. Какая-то экзегетика, герменевтика и тому подобное... бог знает что такое. По третьей стене, под портретом государя, нарисованного в короне и порфире, стояли мы, человек тридцать мальчиков, в новеньких вицмундирчиках и с глубокой тоской на сердце от грядущей нам будущности. По четвертой стене, у окон, размещались на креслах наши родители. Маменька Сокальского, например, очень полная и нарядная дама, чрезвычайно важничала: развалившись в креслах, она с таким видом играла своей лорнеткой, которым явно хотела показать, что она делает величайшую честь этому месту, в которое, по чувству материнской любви, решила прийти и просидеть полчаса. Папенька Арнаутова, кривой помещик, сдавал сына на выучку, кажется, точно с таким же чувством, с каким он засыпал и рожь на мельнице. «Было бы-де всыпано, а там и баста: само смеет как надо!» Вице-губернаторских детей, двух братьев, привел худошавый француз-губернер и, видимо, не желая, чтобы они смешались с плебеями, поставил их вдали от нашей группы, а сам присел на окне и с каким-то особенным эффектом вывернул голени у ног. Я с большим любопытством смотрел на его узенькие, нежнопепельного цвета брюки, и невольно, сравнив их с сильно вытянутыми на коленях штанами учителя математики, а также и с толстыми, сосископодобными ногами учителя немецкого языка, я тут же убедился, что одна только французская нация достойна носить узенькие панталоны, тогда как прочему человечеству решительно следует ходить в шароварах. Детей жандармского полковника, тоже двух братьев, привел солдат-жандарм и почему-то очутился тут же в зале между родителями. Он преспокойно стоял в простенке и стеснялся отчасти только тем, что нос его, более привыкший

находиться на улице и в холодных сенях, чем в теплых апартаментах, очень уж разнежился, так что он беспрестанно принужден был подтирать его своей белой рукавицей. Вблизи от него и даже очень дружелюбно обращаясь к нему с разного рода семейными разговорами, сидел секретарь гражданской палаты, тоже приведший сынишку, с отгнившими почти от золотухи ушами.

— Ты, верно, дядькой при детях? — говорил он.

— Никак нет, ваше благородие, я на кухне, при поварях; поварам подсобляю, — отвечал жандарм.

— Так, так... а что полковница-то родила али еще нет?

— Никак нет, ваше благородие, ждетя еще пока... что бог даст.

— Так, так! — заключал секретарь и начинал играть серебряной табакеркой, внушавшей сильное подозрение, что это был дар за измену Фемиде. Между всеми этими лицами, надобно сказать, более всех поразил мое детское внимание мизерный чиновничшко в поношенном вицмундиришке, в худеньких штанах и в дырявых сапогах. Он беспрестанно ежился, шевелился, как будто бы его сейчас только круто посолили и посыпали сверху перцем. Он то садился на самый краешек стула, то вскакивал и подбегал к секретарю, кланялся перед ним, что-то такое рассказывал ему, и тот на все это отвечал ему с обязательным полупрезрением. Не ограничиваясь секретарем, чиновничшко относился даже к madame Сокальской, но та уж ему ничего не отвечала. От родителей чиновник перебежал к нашей группе и, обдав нас сильным запахом водки, прямо обращался к довольно шершавому малому лет шестнадцати, одетому тоже в вицмундирчик; но боже мой! В какой вицмундирчик: сшитый не только что из толстого, но даже разноцветного сукна, так что туловище у него приходилось темносинее, а рукава голубые. Чиновничшко с самым строгим видом что-то такое, должно быть, внушал ему. Мальчик, в свою очередь, тоже строго смотрел на него и сохранял упорное молчание. Вошли директор (черноволосый мужчина, с необыкновенно густыми и длинно отросшими бровями), и за ним, как гиена, выступал сутуловатый и как бы вся и все высматривающий инспектор. Мы все невольно сделали движение вытянуть руки по швам. Родители привстали. Жан-

дарм проворно отнял от носу белую рукавицу. Чиновничшко поклонился ученому начальству самым униженно-подлым образом. Директор начал читать список поступивших в гимназию:

— Павел Аксанов?

— Я! — пискнул белокуренький мальчик.

— Гавриил Беляев?

— Я! — отвечал еще тоньше уже черноволосый мальчик.

— Михаил Гавренко?

— Я! — отвечал тоже тонко и тоже брюнетик.

Словом, постоянно почти слышались нежные дисканты, но вдруг директор, несколько замявшись в языке, произнес:

— Иосаф Ферапонтов?

— Я! — отвечал на это почти мужской уже бас, так что мы все невольно оглянулись.

Это откликнулся мальчик с разными рукавами. Директор тоже, кажется, был озадачен.

— Господин Ферапонтов? — повторил он.

— Я-с, — отвечал мальчик тем же возмужалым голосом.

— Подойдите сюда.

Ферапонтов подошел.

В это время, несколько сбоку, к директору приблизился и чиновничшко.

На лице почтенного педагога вдруг изобразился ужас. Пожимая плечами и все более и более закидывая голову назад, он произнес:

— Что такое? Что такое? Где мы? Не в эфиопских ли степях? Какие у вас рукава? Гимназист вы или арлекин?

Все лицо мальчика загорелось стыдом. Видимо, что это была самая больная для него струна. Вместо него стал отвечать чиновничшко.

— Ну, батюшка, что ж? Виноват, не имею состояния. Не погубите, благодетель: не имею чем одеть лучше, — проговорил он — и ни много ни мало бух директору в ноги.

Я видел, что мальчик при этом вздрогнул. Директор тоже возмущился подобным самоунижением.

— Встаньте, я не бог ваш и не царь! — произнес он

недовольным голосом и потом, обращаясь к мальчику, прибавил: — Который вам год?

— Шестнадцатый, — отвечал тот.

Директор несколько времени смотрел ему прямо в лицо самым оскорбительным образом.

— Гм!.. Шестнадцатый год и всего только в первом классе! — произнес он насмешливо. — Зачем уж было в таком случае поступать к нам и своей шерстью портить целое стадо?

— Говорено было, благодетель, ему это, так ведь упрямец! — подхватил вместо сына чиновничшко, чуть не до земли кланяясь директору, — лучше бы в службу шел да помогал бы чем-нибудь отцу, а я что? Не имею состояния, — виноват!

— Ступайте на свое место! — обратился директор к мальчику.

Тот пошел. Как ни старался он смигнуть слезы, но они против воли текли по его щекам!

Когда нас распустили и мы стали в прихожей надевать наши шинельки, мне очень хотелось посмотреть, что наденет на себя Ферапонтов, но он пошел так, в одном только вицмундирчике. «Так вот отчего, — подумал я, — от него так пахнет сыростью. Он и в гимназию, видно, пришел насквозь пробитый дождем». Чиновничшко, накинув на себя какое-то вретиче вместо шинели, поплелся тоже за ним и начал опять ему что-то толковать и внушать. Мальчик пошел, потупя голову.

Очень скоро после того между всеми нами узналось, что гадкий чиновничшко был некогда служивший в консистории архивариус, исключенный из службы за пьянство и дебоширство, а *разношерстный* Ферапонтов (прозвище, которое мальчик получил на самых первых порах) был родной сын его. Жили они в слободе, версты за четыре от гимназии, в маленьком, развалившемся домике, и мальчик, говорят, даже стряпал у отца за кухарку. Каждое утро он являлся в класс, облитый потом, хотя по-прежнему ходил в одном только вицмундирчике. Нанковая чуйка, с собачьим воротником, появилась на его плечах только в начале ноября. Он приходил обыкновенно с обедом, и мне всегда очень хотелось узнать, что такое он приносил с собою, старательно завернутое в сахарную бумагу. Мы все, например, очень хорошо знали, что детям жандармского полковника, с тем же жан-

дармом, присылали всегда из родительского дома и котлет и жареной курицы, вкусный запах которых, пробиваясь из оловянной миски, сильно раздражал наши голодные ноздри; но что ел Иосаф и где совершал этот акт, никому было не известно!

Однажды мы сидели в классе математики. Учитель ее, жестокосердый меланхолик, сидел погруженный в глубокую задумчивость. Собственно учением он нас не обременял, но наблюдал более всего тишину и спокойствие в классе. Мы все сидели как мухи, прихваченные морозом. Вдруг белобрысый Аксанов, оказавшийся ужасно гадким мальчишкой, встал.

— Никита Григорьич,— начал он пищать своим тоненьким голосом,— позвольте мне пересесть. С Ферапонтовым сидеть нельзя-с: он луку наелся.

Учитель мрачно и вопросительно взглянул на него.

— Луком дышит на меня-с, сидеть около него невозможно-с,— объяснил Аксанов.

Учитель, наконец, понял его.

— Ферапонтов, подите сюда,— проговорил он.

Ферапонтов, весь вспыхнув, подошел.

— Дохните на меня.

Ферапонтовдохнул.

— Фай! — произнес учитель, проворно отворотив нос.— И не стыдно вам это?.. Не стыдно благородному мальчику делать такие гадости?

Ферапонтов молчал.

— Подите на колени.

Ферапонтов, не поднимая глаз, пошел и встал, а учитель снова погрузился в свою задумчивость.

С ударом звонка Ферапонтов встал и сел было на свое место, но Аксанов опять к нему привязался:

— Луковник, луковник! — дразнил он его, вертясь перед ним.

— Отстань! — повторял ему несколько раз Иосаф, с тем терпеливым выражением, с каким обыкновенно большие собаки гоняют маленьких шавок.

Но Аксанов не унимался.

— Луковник, луковник!.. Разноперый луковник!.. — говорил он и дернул Ферапонтова за его голубой рукав.

Движения этого было достаточно. Я видел, как лицо Иосафа мгновенно вспыхнуло, и в ту же минуту раздался страшнейший удар пощечины, какой когда-либо

я слыхивал, и мне кажется, что в этом беспощадном ударе у Иосафа выразилась не столько злоба к врагу, сколько ненависть и отвращение к гадкому человечешку. Аксанов перелетел через скамейку. Из рта и из носу его брызнула кровь. Заревев во все горло, он бросился жаловаться к инспектору, от которого и снизошло приказание: стать Ферапонтову на колени на целую неделю. Иосаф снес это наказание, ни разу не попытавшись ни оправдаться, ни попросить прощения. А между тем учиться он начал решительно лучше всех нас: запинаясь, заикаясь и конфузясь, он обыкновенно начинал отвечать свои уроки и всегда их знал, так что к концу года за прилежание, а главное, я думаю, за возмужалый возраст, он и сделан был у нас в классе *старшим*. Как теперь помню я его неуклюже-добродушную фигуру, когда он становился у кафедры наблюдать за нашим поведением, повторяя изредка: «Пожалуйста, перестаньте, право, придут!» В черновую книгу он никогда никого не записывал, и только когда какой-нибудь шалун начинал очень уж беситься, он подходил к нему, самолично хватывал его за волосы, стягивал их так, что у того кровью наливались глаза, и молча сажал на свое место, потом снова становился у кафедры и погружался в ему только известные мысли.

С третьего класса нас вдруг начали учить маршировать и кричать в один голос: «Ура!» и «Здравие желаем!» Инспектору (особе, кажется бы, по происхождению своему из духовного звания) чрезвычайно это понравилось. Он мало того, что лично присутствовал на наших ученьях, но и сам пожелал упражняться в сих экзерсциях и нарочно пришел для этого в одну из перемен между классами.

— Погодите, дети,— сказал он, сделав нам лукавую мину,— я взойду к вам, аки бы генерал, и вы приветствуйте меня единогогласным ура!

Распорядясь таким образом, он ушел.

— Не вставать! Не откликаться ему! — раздалось со всех сторон.

Иосаф почесал только голову.

Между тем два сторожа торжественно отворили дверь, и инспектор в полном мундире, при шпаге, с треугольной шляпой и с глупо улыбающимся лицом вошел.

— Здравствуйте, дети! — произнес он добродушнейшим голосом.

Никто ни слова.

Инспектор позеленел.

— Говорят вам, здравствуйте, скоты этакие, — повторил он.

Новое молчание.

— А! Заговор! — мог только выговорить он и ушел.

«В третьем классе бунт, заговор!» — разносилось страшным гулом по всей гимназии. «Завтра будет разборка», — слышалось затем, и действительно: на другой день нас позвали в залу с олимпийскими богами. Проходя переднюю, мы заметили всех трех сторожей в новых вицмундирах и с сильно нафабранными усами. Между ними виднелась и зловещая скамейка, а в углу лежало такое количество розог, что их достало бы запороть насмерть целую роту. Сердца наши невольно екнули. Когда мы вошли в залу, директор, инспектор и весь сонм учителей был уже в сборе. Суровое выражение лиц их не предвещало ничего хорошего. Нас построили в три шеренги.

— Поступок ваш, — начал директор, насупливая свои густые брови и самым зловещим тоном, — выше всякой меры, всякого описания!.. Это не простая шалость, которую можно простить и наказать. Тут стачка!.. Заговор!.. Это действие против правительства... шаг против царя. Вы все пойдете под красную шапку. Не рассчитывайте на то, что вы дворяне и малолетки. Мы всех вас упечем в кантонисты!

Произнося последние слова, он приостановился и несколько времени наблюдал эффект, который произвел этой речью. Что это за действие против правительства и почему это шаг против царя, мы решительно ничего не поняли, но сочли за нужное тоже иметь, с своей стороны, лица мрачные.

— И только святая обязанность, — продолжал директор, — которую мы, присягая крестом и евангелием, приняли на себя (при этих словах он указал на образ)... обязанность! — повторил он с ударением. — Исправлять вашу нравственность, а не губить вас, заставляет нас предполагать, что большая часть из вас были вовлечены в это преступление неумышленно, а потому хотим только наказать зачинщиков. Извольте выдавать их.

Прошло несколько минут, но ответа на этот вызов не последовало.

— Господин Ферапонтов, выдьте на середину! — проговорил директор, как бы на что-то решившись.

Ферапонтов вышел.

— Вы, как старший класса, должны отвечать первый.

Иосаф сначала посмотрел ему в лицо, потом отвел глаза в угол на печку, потупил их и ни слова не отвечал.

— Я вас спрашиваю: кто зачинщики? — повторил директор.

— Я не знаю-с, — проговорил, наконец, Ферапонтов.

— А! Не знаете! Розог! — произнес директор, сколько только мог спокойным голосом.

Иосаф слегка побледнел; но молчал.

— Розог! — повторил директор уже более грозным голосом.

Учитель чистописания и рисования поспешил исполнить его приказание. Вошли сторожа с скамейкой и с лозами.

— Я вас спрашиваю в последний раз: кто зачинщики? Извольте или отвечать, или раздеваться.

Ферапонтов не делал ни того, ни другого.

— Раздеваться! — крикнул, наконец, директор, стукнув по столу.

— Нет-с, я не дамся сечь, — произнес вдруг Иосаф.

Мы все невольно вздрогнули. Директор откинулся на задок кресла. Инспектор сделал только жест удивления руками, а законоучитель возвел очи свои горе и вздохнул.

— Раздеть его! — произнес директор уже шипящим голосом.

Два сторожа подошли к Ферапонтову

— Что ж, ваше благородие, разболокайтесь! — проговорил один из них и взял было его за борт сюртука. Но Иосаф в ту же минуту ударил его наотмах по морде, а другого толкнул в грудь, так что тот едва устоял на ногах, а сам, перескочив через скамейку, убежал. Двое остальных сторожей погнались за ним. Мы слышали их тяжелые и быстрые шаги по коридору.

Весь ученый комитет поднялся на ноги. Директор и инспектор несколько времени стояли друг против друга и ни слова не могли выговорить, до того их сердца преисполнились гнева и удивления. Учителя, которые были



поумней, незаметно усмехались. Прошло по крайней мере четверть часа тяжелого и мрачного ожидания. Наконец, двое запыхавшихся сторожей возвратились и донесли, что Ферапонтов сначала перескочил через один забор, потом через другой, через третий и скрылся в переулке.

— А! Хорошо! — проговорил директор, снова совладев собой. — Хорошо! — повторил он, и затем началась разборка; стали сечь через четвертого пятого: Ахтуров указал на Вистулова и Пеклиса; Вистулов сказал, что зачинщиками были Кантырев и Жилсов; Жилсов оговорил Пеклиса; словом, все сподличали, и всех пересекли. Обильное количество розог было spolна употреблено в дело. Мы все разошлись по домам, кто прихрамывая, кто всхлипывая, и все с глубоко ожесточенными сердцами, а когда на другой день нас снова потянули в залу, мы дали друг другу смертельную клятву поступить так же, как и молодец Ферапонтов. Но нас ожидало совершенно иное зрелище. Директор, инспектор и учителя сидели по-прежнему на своих местах. По-прежнему в зале была скамейка и розги, а несколько в стороне три сторожа держали связанного по рукам и ногам Ферапонтова. Отец его, еще в более изорванном вицмундиришке, был тут же и беспрестанно кланялся директору.

— Я, батюшка-благодетель, только и прошу о том: накажите его, подлеца, хорошенько!.. Хорошенько его!..

— Вы будете видеть, как этот господин будет примерно наказан, — объяснил нам коротко директор и сделал знак рукой сторожам.

Иосафу на этот раз не было никакой возможности сопротивляться. С ним мгновенно распорядились. Оказалось, что на нем белья даже порядочного не было: полинялая ситцевая реденькая рубашонка висела на нем хлопьями, и больше ничего. Наказание последовало действительно примерное. До сих пор я не могу забыть этого возмущающего душу зрелища. Бедного мальчугана привязали крепчайшими веревками за руки, за голову, за ноги к скамейке. Двое огромных сторожей начали его наказывать. Директор с включенными волосами и с расвирепевшим лицом встал на ноги.

— Говорят вам, назовите зачинщиков и просите прощения! — говорил он по временам задыхающимся от бешенства голосом, но, не получая ответа, махал рукой, и сторожа продолжали свое дело.

Отец Иосафа тоже повторял за ним: «Хорошенько его, хорошенько!» Иногда он подбегал к солдатам и, выхватив у них розги, сам начинал сечь сына жесточайшим образом. Все это продолжалось около получаса. Ручьи крови текли по полу. Иосаф от боли изгрыз целый угол скамейки, но не сказал ни одного слова и не произнес ни одного стога.

— Бросьте этого скота,— проговорил, наконец, директор.

Ферапонтов-старик бросился ему в ноги, умоляя его: «Батюшко, не погубите, отец мой, благодетель, не погубите навеки!» И когда директор пошел из залы, он пополз за ним на коленях.

Иосафа тоже на той же скамье куда-то унесли и нас распустили.

Три недели потом он не являлся. Мы слышали, что он больной лежит в пансионской больнице, и когда пришел, то был бледен и заметно похудел. О том, что с ним случилось, он почти ни с кем не проговорил ни слова, хоть и был решительно героем денька. Не говоря уж об нас, маленьких, начавших смотреть на него с каким-то благоговением, даже шестиклассники и семиклассники приходили и спрашивали: «Который у вас Ферапонтов?», и мы им показывали. Я дал себе решительное слово во что бы то ни стало сблизиться и подружиться с ним. Но как было это сделать? Единственным приятелем и другом Иосафа был и оставался тоже заречный житель, пятиклассный гимназист Мучеников. Малый этот, весьма тупой на учение, отличался тем, что постоянно ходил в широчайших шальварах, стригся в кружок и накалывал себе сзади шею булавкой для того, чтобы она распухла и казалась более толстою, и все это с единственною целью быть похожим на казака, а не на гимназиста. Каждую перемену между классами они сходились и все время ходили по коридору, разговаривая между собою задушевнейшим образом. Я несколько раз пытался подслушать их беседу. Они толковали то о том, где лучшие места для грибов, то продавали или покупали что-то такое один у другого, и при этом всегда платили друг другу самыми мелкими монетами: денежками, полушками. Оказалось потом, что оба они были птицеловы.

— На конопляное семя лучше всего идет птица! — говорил Мучеников.

— Ну нет! Уж это сколько раз испытано было: овсяная крупа скусней для них всего! — возражал ему басом Иосаф.

— Чижу! — возражал, в свою очередь, Мучеников.

— Не чижу, а вообще всякой птице,— говорил настойчиво Иосаф.— У меня, слава богу!.. Я запасаюсь теперь этим добром! — прибавлял он с удовольствием и вытаскивал из кармана целую пригоршню овсяной крупы, которую они с Мучениковым сейчас же разделяли и тут же ее съедали.

Однажды Иосаф как-то особенно таинственно был вызван своим приятелем из класса. Я потихоньку тоже вышел за ними. Сначала они походили по коридору, поговорили между собой о чем-то шепотом и прошли в физический кабинет. Там Мучеников сначала вытащил из своих широчайших штанов какой-то ящичек с дырочками, осторожно открыл его, и из него выпрыгнула мышь на ниточке, потом вынул он оттуда что-то завернутое в бумажку — развернул — оказалось, что это был варганчик, на котором он и начал потихоньку наигрывать, а мышка встала на задние лапки и принялась как бы плясать. Ферапонтов смотрел на все это с пожирающим вниманием. Меня несколько удивило, что такие большие гимназисты и чем занимаются? Сам я, хотя и был гораздо моложе их, давно уже отстал от всяких детских игр и даже презирал ими...

Так дело шло до пятого класса. К этому времени у Иосафа сильно уже пророс подбородок бороною: середину он обыкновенно пробривал, оставляя на щеках довольно густые бакенбарды, единственные между всеми гимназистами. Раз мне случилось, наконец, идти с ним по одной дороге.

— Ферапонтов! Зайдите ко мне,— сказал я почти умоляющим голосом.

— Что? Нет-с! Зачем? — отвечал он.

— Мы покурим, потолкуем.

— Я не курю-с.

— Ничего, вы попробуйте! Пожалуйста, зайдите.

— Пожалуй-с,— проговорил, наконец, Иосаф каким-то нерешительным тоном и зашел, но как-то чрезвычайно робко.

Встретившей нас нашей дворовой женщине Авдотье

он поклонился самым почтительным образом, и когда мы вошли в мою комнату, он, кажется, не решался сесть.

— Садитесь, пожалуйста, Ферапонтов,— сказал я и начал старательно выдувать и закуривать для него трубку.

Иосаф два раза курнул и возвратил ее мне.

— Нет-с, горько, я не умею! — сказал он.

— Да вы вот как! — объяснил я ему и, ради поучения его, отчаянно затянулся.

— Я не умею-с,— повторил Иосаф.

Он, видимо, более всего в эту минуту был занят тем, чтобы спрятать под кресло свои дырявые и сильно загрязненные сапоги.

— Послушайте,— сказал я, небрежно развалившись на диване,— что вы дома делаете, когда из класса приходите?

— Да что? Уроки учу; ну и по дому тоже кое-что делаешь.

— А читать вы любите? — спросил я, никак не предполагая, что Иосаф даже не поймет моего вопроса.

— Что читать-с? — спросил он меня самым невиннейшим тоном.

— Повести, романы, вот как этот,— сказал я, показывая на лежавший в то время у меня на столе «Фрегат «Надежда», который я только что накануне проглотил с неистовою жадностью.

— Нет-с, я не читывал,— отвечал Ферапонтов.

В это время Авдотья подала нам чай. Иосаф вдруг стал отказываться.

— Отчего же вы не пьете? Пейте! — сказал я.

Ферапонтов, конфузясь, взял чашку, проворно выпил ее и, покрыв, возвратил, неловко раскланиваясь перед Авдотьей.

— Кушайте еще,— сказала та, улыбаясь.

Иосаф окончательно растерялся.

— Пейте, Ферапонтов. Налей! — проговорил я.

Иосаф и эту чашку так же поспешно выпил и, закрыв, возвратил, снова расшаркавшись перед Авдотьей.

— Знаете что, Ферапонтов,— сказал я, решившись ни за что не выпускать из рук нового приятеля,— давайте заниматься вместе по-латыни. Вы вот этак заходите ко мне после класса, и мы станем переводить.

— Хорошо-с, пожалуй,— отвечал, подумавши, Иосаф и взялся за фуражку.

Я предложил ему покурить. Он сделал это, кажется, более для моего удовольствия и ушел.

— Что это у вас какой барин-то был? — сказала мне Авдотья после ухода его.

— Что же? — спросил я.

— Да и на барчика-то совсем не похож, словно лакейшка какой,— решила она.

— Напротив, это славный малый! — возразил я и не счел за нужное объяснять ей более.

Дня через два мы принялись с Ферапонтовым за латынь. Оказалось, что в этом деле он гораздо дальше меня ушел. Знания входили туго в его голову, но, раз уже попавши туда, никогда оттуда не выскакивали: все знакомые ему слова он помнил точнейшим образом, во всех их значениях; таблицы склонений, спряжений, все исключения были у него как на ладони.

Меня, впрочем, в Иосафе интересовал совсем другой предмет, о чем я и решился непременно поговорить с ним.

— А что, Ферапонтов, были вы когда-нибудь влюблены? — спросил я, воспользовавшись одним праздничным послеобедом, когда он пришел ко мне и по обыкновению сидел молча и задумавшись. Сам я был в это время ужасно влюблен в одну свою кузину и даже отрезал себе клочок волос, чтобы похвастаться им перед Ферапонтовым и сказать, что это подарила мне она.

— Были вы влюблены? — повторил я, видя, что Иосаф покраснел и молчал.

— Нет-с, я не знаю этого... не занимаюсь этим,— отвечал он каким-то недовольным тоном и потом сейчас же поспешил прибавить: — Давайте лучше заниматься-с.

Мы принялись. Иосаф начал с невозмутимым вниманием скандовать стихи, потом разбивал их на предложения, отыскивал подлежащее, сказуемое. Перевод он писал аккуратнейшим почерком, раза два принимался для этого чинить перо, прописывал сполна каждое слово и ставил все грамматические знаки.

«Что это,— думал я, глядя на него,— какой умный малый и не понимает, что такое любовь!»

— Вы, Ферапонтов, конечно, в университет поступите? — спросил я его вслух.

— Нет, где же-с! Я состояния не имею.

— Да вам только доехать до Москвы, а там вас сейчас же примут на казну.

— Нет-с, невозможно это... Я несмелый такой! Где мне! — отвечал он и вздохнул.

Вскоре после этого времени с ним случилась по гимназии новая беда. Приятель его Мучеников, и с виду, как мы знаем, довольно суровый, имел при этом решительно какие-то кровожадные наклонности. Не проходило почти ни одной на площади казни, на которой бы он не присутствовал, и обыкновенно стоял, молодцевато подбоченившись рукой, и с каким-то особенным удовольствием прислушивался, как стонал преступник. Во всех кулачных боях между фабричными он непременно участвовал и нередко возвращался оттуда с сильно помятыми боками, но всегда очень довольный. Любимой его прогулкой было ходить на городскую скотобойню и наблюдать там, как убивали скотину. Говорят даже, он иногда сам выпрашивал у мясников топор и собственными руками убивал крупнейших быков.

Не имея, вероятно, долгое время подобных развлечений, он придумал новую штуку: был в гимназии некто маленький и ужасно паршивый гимназистик Красноперов, который, чтобы как-нибудь отбиться от учения, вдруг вздумал притвориться немым: его и упрашивали и лечили; но он показывал только знаки руками, делал гримасы, как бы усиливаясь говорить, но не произносил ни одного звука. Мучеников все это намотал себе на ус и раз, когда они по обыкновению проходили по бульвару с Иосафом домой, впереди их шел именно этот самый гимназистик, очень печальная фигурка, в дырявой шинельке и с сумкой через плечо; но ничто это не тронуло Мученикова.

— Попытаем его! — сказал он вдруг Иосафу, сделав знак глазами.

— Ну нет, что! — отозвался было тот сначала.

— Право, попробуем... — проговорил Мучеников.

Иосаф отвечал на это одной уже только улыбкой, и Мучеников, понагнав Красноперова, стал его приманивать.

— Поди-ка сюда, поди: я тебе пряничка дам! — говорил он, и когда тот, не совсем доверчиво, подошел, он схватил его за шивороток, повернул у себя на колене и,

велел Иосафу нарвать тут же растущей крапивы, насовал ее бедному немому за пазуху, под рубашонку, в штанишки, в сапоги, а потом начал его щекотать. Тот закорчился, зашевелился, крапива принялась его жечь во всевозможных местах. Сначала он визжал только на целый бульвар, наконец не вытерпел, заговорил и забранился.

— А! Так ты, бестия, не немой... говоришь! — проговорил Мучеников и затем, дав своей жертве еще несколько шлепков в зад, отпустил.

Несчастный мальчик, забыв всякую немоту, прибежал к отцу и все рассказал. Тот поехал к директору. Мученикова сейчас же исключили из гимназии, а Иосаф спасся только тем, что был первым учеником. Его, однако, сменили из старших и записали на черную доску.

— Зачем вы это сделали? — спросил я его однажды. Ферাপонтов покраснел.

— Так, черт знает зачем! — отвечал он и потом, помолчав, прибавил, щупая у себя голову: — У меня, впрочем, кажется, есть шишка жестокости. Я, пожалуй, способен убить и себя и кого другого.

Взглянув на его несколько сутуловатую и широкоплечую фигуру, я невольно подумал, что вряд ли он говорит это фразу.

В дальнейшем моем сближении с Ферапонтовым он оставался тем же и, бывая у меня довольно уже часто, по-прежнему или коротко или ничего не отвечал на все мои расспросы, которыми я пробовал его со всех сторон, и только однажды, когда как-то случайно речь зашла о рыбной ловле, он вдруг разговорился.

— Ночь теперь если тихая... — начал он с заметным удовольствием, — вода не колыхнется, как зеркало... Смела на носу лодки горит... огромным таким кажется пламенем... Воду всю освещает до самого дна: как на тарелке все рассмотреть можно, каждый камышек... и рыба теперь попадется... спит... щука всегда против воды... ударишь ее острой... встрепенется... кровь из нее брызнет в воду — розовая такая...

— Вам бы, Ферапонтов, на vacation куда-нибудь в деревню ехать, — перебил я его, решившись тоже напридумать и наказать ему, как и я ловлю рыбу.

— Что деревня! Мы теперь с Мучениковым все равно — почесть что всю vacation дома не живем... Раз так

на Афоньковской горе целую неделю с ним жили,— прибавил он с улыбкой.

— Что ж вы делали там?

— Ничего не делали... известно... по ягоды ходим, молока себе потом купим, съедим их с ним. Виды там отличные; верст на шестьдесят кругом видно. Город здешний, как на ладони, да окромя того сел двадцать еще видно.

— А как вы птиц ловите? — спросил я.

— Птицы что!.. Тоже охоту на это надо иметь,— отвечал Иосаф уклончиво.

Я как-то перед тем имел неосторожность посмеяться над его птицеловством, и он постоянно по этому предмету отмалчивался.

Другой раз, это было, впрочем, в седьмом уже классе, Иосаф пришел ко мне, чего с ним прежде никогда не бывало, часу в одиннадцатом ночи. На лице его была написана тревога. С первых же почти слов он спросил меня робким голосом:

— А что, можно у вас ночевать?

— Сделайте одолжение. Но что такое с вами, Ферапонтов? Вы какой-то расстроенный.

Иосаф сначала ничего было мне не отвечал, но я повторил свой вопрос.

— Да так!.. С отцом неудовольствие вышло... пришел пьяный... рассердился на меня да взял мои гусли и разбил топором... на мелкие куски изрубил... а у меня только и забавы по зимам было.

— И что ж вы? Играли на них?

— Играл немного!..

— Кто ж вас учил?

— Кое-что сам дошел, а другое отец дьякон от Преображения поучил... Есть же, господи, такие на свете счастливые люди,— продолжал он с горькой улыбкой,— вон Пеклису отец и скрипку новую купил и учителя нанимает, а мой благоверный родитель только и выскивает, нельзя ли как-нибудь разобидеть... Лучше бы меня избил, как хотел, чем это сделал. Никакого терпенья недостает... бог с ним.

На глазах Иосафа навернулись слезы. Прежде он никогда на отца не жаловался и вообще ничего не говорил о нем. Я стал его утешать, говоря, что ему лучше на чем-нибудь другом выучиться, что нынче на гусях никто уже не играет.



— Что ж мне делать, коли у меня ничего другого нет. И то спасибо, после покойного дедушки достались... Берег их как зеницу ока, а теперь что из них стало?.. Одни щепки!

Всю ночь потом, как я прислушивался, Иосаф не спал и на другой день куда-то очень рано ушел: вряд ли не приискывать мастера, который бы взялся у него починить гусли.

«Вот чудак-то!» — подумал я, очень еще смутно в то время понимая, что мой высокорослый друг, так уже сильно поросший бородою, был совершенный еще ребенок и в то же время чистейший идеалист.

### III

Спустя полгода после выпуска Ферапонтов, как я слышал, поступил в Демидовский лицей. Он пришел для этого в Ярославль пешком, и здесь его, на самых первых порах, выбрали в певчие — петь самую низкую октаву. Это очень заняло Иосафа. Боже мой, с каким нетерпением он обыкновенно поджидал подпраздничной всеобщей! Встанет, бывало, на клирос, несколько в глубь его. Церковь между тем начинает наполняться народом. Впереди становятся дамы, хоть и разодетые и раздушенные, но старающиеся придать своим лицам кроткое и постное выражение. За ними следуют купцы с сильно намасленными головами и сзади их лакеи в ливреях или солдаты в своих сермягах. Выходит из алтаря дьякон со свечой и священник с кадилом. Оба они в дорадоровых ризах. Обоняние Иосафа начинает приятно щекотать запах ладана; с каким-то самоуслаждением он тянет свою ноту и в то же время прислушивается к двум мягким и складным тенорам.

Наступившая потом страстная неделя принесла ему еще бóльшие наслаждения. Почти с восторгом он ходил на эти маленькие вечерни. Весеннее солнце, светившее с западной стороны в огромные и уже выставленные окна, обливало всю церковь ярким янтарным блеском, так что синеватые и едва колеблющиеся огоньки зажженных перед иконостасом свечей едва мерцали в нем. Говельщики стояли по большей части с потупленными головами: одни из них слегка и едва заметно крестились, а другие, на-

против, делали огромные крестные знамена и потом вдруг, ни с того ни с сего начинали до поту лица кланяться в землю. Иосаф вместе с хором пел столь любезные ему песни Дамаскина. «Блюди убо, душе моя, да не сном отяготишия», или «Чертог твой вижду, спасе мой, украшенный» держал он крепко на своей октаве, ни разу не срываясь. Но вот в пятницу вынесли плащаницу. Хор запел: «Не рыдай мене, мати, зряще во гробе». Иосаф, несколько прячась в воротник своей шинели, тоже басил, стараясь смигнуть наворачнувшиеся на глазах слезы. Он чувствовал, что из груди его выходят хотя и низкие, но одушевленные звуки.

Помнил он также и Троицын день. Народу в церкви было яблоку упасть негде: всё больше женщины, и все, кажется, такие хорошенькие, все в белых или светло-голубых и розовых платьях и все с букетами в руках благоухающей сирени — прекрасно!

За этими почти единственными, поэтическими для бедного студента, минутами следовала бурсацкая жизнь в казенных номерах, без семьи, без всякого развлечения, кроме вечного долбления профессорских лекций, мрака и смерти преисполненных, так что Иосаф почти несомненно полагал, что все эти мелкие примеры из истории Греции и Рима, весь этот строгий разум математики, все эти толки в риториках об изящном — сами по себе, а жизнь с колотками в детстве от пьяных папенок, с бестолковой школой в юности и, наконец, с этой вечной бедностью, обрывающей малейший расцвет ваших юношеских надежд, — тоже сама по себе и что между этим нет, да и быть никогда не может, ничего общего.

В этом нравственном полуусыплении не суждено было, однако, Иосафу заглухнуть навсегда: на втором, кажется, курсе он как-то вечером вышел прогуляться и на одной из главных улиц встретил целую ватагу студентов. Впереди всех шел некто своекоштный студент Охоботов, присланный в училище на выучку от Войска Донского и остававшийся в оном лет уже около пяти, так что начальство его, наконец, спросило бумагой училищное начальство: как и что Охоботов и скоро ли, наконец, выучится? Его призвали в совет и спрашивали: что отвечать на это?

— Да пишите, что начинаю подавать надежды, — отвечал он очень спокойно.

Все рассмеялись, но так и написали. Охоботов же по-прежнему продолжал почитать и заниматься, чем ему хотелось, а главное — пребывать в известном студенческом трактире «Бычок», где он с другими своими товарищами, тоже постоянно тут пребывавшими, играл на бильярде, спорил, рассуждал и вообще слыл между ними за очень умного и душевного малого.

В настоящем случае он шел что-то очень мрачный, скоро шагая и нахлобучив фуражку. Поравнявшись с Феррапонтовым, он остановил его.

— Пушкин ранен на дуэли и умер, — сказал он каким-то глухим голосом.

Иосаф молча посмотрел на него: он не без удивления заметил, что глаза у Охоботова были как бы воспалены от слез.

— Сейчас идем к Вознесенью служить панихиду по нем. Идем с нами! — проговорил Охоботов.

Иосаф механически повернул и все еще хорошенько не мог понять, что это значит. На улицах между тем царствовала совершенная тишина. Неторопливо и в каком-то молчании прошли все до самой церкви. Перед домом священника Охоботов взялся вызвать его и действительно через несколько минут вышел со священником, который только мотал от удивления головой.

— Ну уж вы, господа студенты, народец! — говорил он, отпирая огромным ключом огромную церковную дверь.

Вошли. Всех обдало мраком и сыростью. Засветили несколько свечек. Иосафу и другому еще студенту, второму басу после него, поручили исполнять обязанность дьячков. Священник надел черные ризы и начал литию. После возгласу его: «Упокой, господи, душу усопшего раба Александра», Феррапонтов и товарищ его громко, так что потряслись церковные своды, запели: «Вечная память, вечная память!» Прочие студенты тоже им подтягивали, и все почти навзрыд плакали.

— Ну, панихидка — не лицемерная... не фальшивая! — говорил священник, кончив службу и пожимаая руку то у того, то у другого из студентов.

Выйдя из церкви, Охоботов распорядился, чтобы все шли в известный уж нам «Бычок». Иосаф тоже последовал туда. В заведении этом была даже отведена особая

для студентов комната, в которую немногие уже из посторонней публики рисковали входить.

— Господи! — проговорил Охоботов, садясь на свое обычное место на диван и грустно склоняя голову.— Вчера еще только я читал с Машей его «Онегина»... точно он напроорочил себе смерть в своем Ленском... Где теперь «и жажда знания и труда... и вы, заветные мечтанья, вы, призрак жизни неземной, вы, сны поэзии святой» — все кончено! Кусок мяса и глины остался только, и больше ничего!

— Это ужасно! — воскликнул молоденький студент, тоже садясь и ероша волосы.

— Да, скверннссимо,— подтвердил второй бас.

Иосаф на все происходившее смотрел выпуча глаза.

— Не скверннссимо, а подлссимо! — воскликнул вдруг Охоботов.— Вот он! — прибавил он, ударив кулаком по лежавшему на столе номеру «Северной пчелы».— Этот паук, скорпион, жаливший всю жизнь его, жив еще, когда он умер, и между нами нет ни одного честного Занда, который бы пошел и придавил эту гадину.

— Это черт знает что такое! — опять повторил молоденький студент, застучав руками и ногами.

— Да расстреляйте ж, коли то... портрет его, собачьего сына, як робят то в Хранции с дурнями, який убог,— проговорил вдруг смиреннейший студент-хохол, все время до того молчавший.

Все посмотрели на него с недоумением.

— Он же тут висит! — объяснил он, показывая на одну из стен, на которой действительно между несколькими портретами писателей висел и портрет известного антагониста Пушкина.

Мысль эта всем очень понравилась.

— Отлично, бесподобно,— раздалось со всех сторон.

Охоботов, хоть и не совсем довольный этой полумерой, тоже согласился.

Молоденький студент взялся домой сбегать за ружьем. Пришли было половые и сам хозяин трактира и стали упрашивать господ: сделать милость, не буянить. Но им объявили, что за портрет им заплатят, а самих прогнали только что не в шею. Ружье было принесено. Оказалось, что это был огромный старинный карабин; последовал вопрос — кому стрелять?

Всем хотелось.

— Феррапонтову,— распорядился Охоботов.

— Пожалуй-с! — отвечал тот с заметным удовольствием и, взяв ружье, неторопливо прицелился и выстрелил.

На месте лица очутилась пуля.

— Ура Феррапонтову! Bravo! — прокричала почти в один голос вся ватага. Иосаф продул ружье и поставил его к сторонке. Попадись, кажется, в эту минуту ему и сам оригинал, он и с тем бы точно так же спокойно распорядился. Домой он пришел в сильном раздумье: как человек умный, он хорошо понимал, что подобного энтузиазма и такой неподдельной горести нельзя было внушить даром; но почему и за что все это? К стыду своему, Иосаф должен был признаться самому себе, что он ни одного почти стихотворения и не читывал, кроме тех, которые задавались ему в гимназии по риторике Кошанского. Он на другой же день потихоньку сходил к библиотекарю и выпросил у него все, какие были, сочинения Пушкина и принялся: читал он день... два, и, странное дело, как будто бы целый мир новых ощущений открылся в его душе, и больше всего ему понравились эти благородные и в высшей степени поэтичные отношения поэта к женщине. Искусившись таким образом, Иосаф решительно уже стал не в состоянии зубрить лекции и беспрестанно канючил то у того, то у другого из своих товарищей дать ему что-нибудь почитать: будь то роман, или рукописная в стихах поэма, или книжка какого-нибудь разрозненного журнала. Долго и потом Иосаф вспоминал это время, как счастливейшее в своей жизни. Почти в лихорадке от нетерпения, он запасался обыкновенно от сторожа на целую ночь свечкой и, улегшись на своей койке, принимался читать. Сколько прелестных местностей воссоздалось в его воображении; перед ним проходили как бы живые, совершенно новые и незнакомые ему лица, но понятные по общечеловечности страстей людских. И только через полгода такого как бы запоя читательского он отвлечен был несколько в другую сторону. К ним прислан был новый профессор, молодой, энергичский. Он на первой же лекции горячо заговорил о равенстве людей, о Христе, ходившем по песчаным степям, среди нищей братии и блудниц; кроме того, стал приглашать к себе на дом студентов, читал с ними, толковал им разные свои душевные убеждения. Главным и почти

единственным оппонентом ему в этих беседах явился Охоботов, который, по свойству своей упрямой казацкой природы идти всем и во всем напротив, вдруг вздумал отстаивать то положение, что «все на свете благо и истинно, что существует». Профессор страшно громил против этого. Топая ногами и стуча кулаками, он кричал, что подло и низко всякое ярмо, которое наденут на вас и которое беспрестанно трет вам шею, считать благом и истиною.

Желудки казенных студентов, кажется, первые изъявили на эту мысль свое полное согласие и подстрекнули своих владельцев объявить, наконец, протестацию эконому, начавшему их кормить только что не осиновыми дровами, поджаренными на воде. Ферापонтов сначала было не принимал никакого участия в этом; но в решительную минуту, когда за одним из обедов начался заранее условленный шум и когда эконом начал было кричать: «Не будет вам другой говядины. Едите и такую... Вот она, тут, на столе стоит... Что вы с ней сделаете?»

— А вот что! — вскричал вдруг Иосаф и, схватив со стола блюдо, швырнул его в окно, так что оно пролетело возле самого виска эконома, и затем по тому же направлению последовали ломти хлеба, солонки, тарелки и даже ножи. Эконом едва спасся бегством. Начальство было чрезвычайно сконфужено этим делом и потому ограничилось только тем, что студентов пожурило, эконома сместило, но зато на молодого профессора была послана такого рода бумажка и так одобно приправленная, что ему сейчас же предложили выйти в отставку; но как бы то ни было толчок уж был дан: в голове Иосафа, как, вероятно, и у многих других его товарищей, перевернулось многое. Он уже ясно стал понимать, что свойство жизни вовсе не таково, чтобы она непременно должна быть гадка, а что, напротив, тут очень многое зависит от заведенного порядка. Кончивши курс таким образом, он очутился как бы на каком-то нравственном распутье: в нем было множество возбуждено прекрасных инстинктов, но и только! Протестант почти против всего, но во имя какого знамени, и сам того хорошенько не знал. Вольнодумец в отношении религии на словах, он в то же время перед каждым экзаменом бегал к местной чудотворной иконе в собор и молился там усерднейшим образом. Ненавидя до глубины души всякий начальствующий автори-

тет, я не знаю, вряд ли бы и сам удержался, если бы только случай выпал, обнаружить грубейший произвол. Знал он, пожалуй, и многое, но все как-то отрывочно, случайно и непригодно ни для какого практического дела, а между тем угрожающее ему впереди житейское положение было почти отчаянное. Он едва-едва успел уговорить одного лодочника свезти его в родной город, с прокормом за последние находившиеся у него в кармане три целковых, и то потому только так дешево, что он взялся вместе с тремя другими мужиками грести вместо бурлаков на судне, а в случае надобности, при противном ветре, тянуть даже бечевую. Когда причалили к пристани и Иосаф вступил на родную землю, трое мужиков с хозяином лодки весело пошли в харчевню: пить и пообедать, а он и этого сделать не мог: у него не было ни копейки. Взойдя со своей скудной сумочкой и понуренной головою на городскую гору, он даже всплакал. К кому было обратиться? Где приклонить голову? Отец его, давно уже пропивший свой последний домишко, умер нищим на церковной паперти; из знакомых своих Иосаф только и припомнил одного зарецкого дьякона, который некогда так великодушно поучил его играть на гусях. Он поплелся к нему, робко постучался в запертую калитку, и терзаемый глубочайшим стыдом, только что не Христа ради, попросился у него ночевать.

— Сделайте милость, войдите,— отвечал отец дьякон.

Впрочем, тут же сейчас ему посоветовал на другой день идти к начальнику губернии и объяснить ему все.

— Славный человек, славный и к духовенству прерасположительный; отличнейший генерал,— говорил он.

Иосаф только вздохнул. Он еще в училище насмотрелся и насышался, каковы эти отличнейшие генералы. Впрочем, на той же неделе, как только его физиономия, загрубелая и загорелая во время речного пути, приняла несколько более благообразный вид, он пошел к губернатору. Часа три по крайней мере ожидал он в приемной. Наконец, генерал вышел. Он очень любезно пожал руку инженерному поручику, так уже прекрасно успевшему обеспечить себя на дорожной дистанции, сказал даже довольно благосклонно «хорошо, хорошо» на какой-то молебный вопль исправнику, только что перед тем преданному за мздоимство суду. Но, заметив Ферапонтова, он вдруг насупился, не удостоил даже обратить к нему всего

своего лица, а повернул только несколько правое ухо. Губернатор какое-то органическое отвращение чувствовал к студенческим мундирам.

Иосаф изложил ему свою просьбу.

Генерал попятился назад.

— Какое же я могу вам место дать? Какое? Какое? — повторял он все более и более строгим голосом.

— Я, ваше превосходительство, почти куска хлеба не имею! — вздумал было Иосаф тронуть его сердце.

— А я виноват в том? Я виноват? Я? — повторял губернатор, как бы чувствуя какое-то особенное наслаждение делать подобные вопросы.

Иосаф молчал.

— Я, ваше превосходительство, медаль получил! — проговорил он, наконец, и сам хорошенько не зная зачем.

Лицо генерала мгновенно приняло несколько более благоприятное выражение. Он вообще высоко ценил в людях всякого рода награды от начальства.

— Медаль? — спросил он.

— Да-с, — отвечал Иосаф.

— Покажите мне ее.

— Ее нет со мной-с, — отвечал Иосаф, несколько удивленный подобным желанием.

— Подите и принесите мне ее сейчас же! — решил губернатор и ушел.

«Черт знает что такое!» — подумал неволью Иосаф и, сходяв за медалью, снова возвратился в приемную.

Там уже никого не было. Его допустили в кабинет к губернатору. Он подал ему медаль. Начальник губернии несколько времени весьма внимательно рассматривал ее, взвешивал ее на руке и даже зачем-то понюхал.

— Подайте просьбу в Приказ, там есть вакансия писца, и вас зачислят... Надеюсь, что вы не обманете моего доверия, — проговорил он и сделал Иосафу знак головою, чтобы он удалился.

«Что ж это он мне за особенное доверие оказывает?» — рассуждал Иосаф, идя домой, и, когда на другой день он пришел в Приказ, десятки любопытных глаз сейчас же устремились на него.

Мороз неволью пробежал по всему телу Феропонтова. Человека три — четыре из стареньких чиновников показались ему как две капли похожими на его покойного отца.



Между тем приехал непременный член, очень добродушный старик, но перед тем только пришибленный параличом. Он что-то такое больше промышал, чем сказал бухгалтеру, тоже старику, рябому, толстому и, должно быть, крутейшему человеку. Тот ткнул Иосафу пальцем на пустой стул, проговорив: «Садитесь вот тут». Иосаф смиренно сел. Сначала сочинил он просьбу о своем определении, потом переписал поданную ему тем же бухгалтером бумагу, потом еще и еще, так что к концу присутствия почти совершенно примкнул к канцелярской машине.

#### IV

Не знаю, известно ли читателю, что по разного рода канцеляриям, начиная от неблагообразных камор земских судов до паркетных апартаментов министерств, в этих плешивых, завитых и гладко стриженных головах, так прилежно наклоненных над черными и красными столами, зачахло и погребено романтизму и всякого рода иных возвышенных стремлений никак не менее, чем и в воинственных строях, так ярко блистающих на Марсовом поле. Как и что происходит там с этими нежными растениями нашей души, я не знаю, но канцелярский воздух, положительно можно сказать, неблагоприятен для них. Из сотни товарищей Иосафа, некогда благородных и умных малых, садившихся до и после его на подобный ему стул, очень немногие прошли благополучно этот житейский искус: скольких из них мы видали от беспрерывно раздражаемой печени и от надсаженной груди пустою, бесполезной работой умирающими в своих скудных квартирах или даже, по бедности, в городских больницах. Другие являли из себя еще более печальный пример: ради утехи душевной, они, прямо же из присутствия, обыкновенно проходили в какое-нибудь в кредит верящее трактирное заведение, а оттуда уже ночью по заборам, а иногда и на четвереньках переправлялись домой или попадали в часть. Так дело шло до окончательного выгона из службы, за которым следовали: кабак, нищета и смерть где-нибудь на тротуаре или пропажа без вести! Наконец, третьи, и вряд ли не большая из них часть, благоразумно подлели: в какой-нибудь год отращивали себе брюшко, женились на дочерях каких-нибудь совсем

уже отпетых экзекуторов и надсмотрщиков гражданских палат, и сами потом делались такими же скрозьземельными, как говорит народ, плутами. Иные из них уезжали даже в Петербург дослуживать там до довольно видных мест; но печать позорного опошления все-таки горела на их челе.

Иосафу был сужден несколько иной, более оригинальный, выход. Чтобы лучше познакомиться с его душевным состоянием, я считаю здесь нелишним привести два, три отрывка из его записок, которые он вел для себя, как бы вроде дневника. Вот что писал он вскоре после вступления своего на службу:

«Едва вышед из стен училища, я сразу должен был окунуться в житейскую болотину. К чему послужило нам наше образование? Не похоже ли это на то, как если бы в какой-нибудь для грубого солдатского сукна устроенной фабрике завели розовый питомник. Вот розы поспели, их срезали и свалили в один угол с грубыми суконными свитками; завянут они там, и не истребить им своим благоуханием запаху сермяги. Я пребываю в отчаянии, в каком и вы, мои друзья и товарищи, вероятно, все теперь находитесь».

Но как бы то ни было Иосаф, затая все на душе, кинулся на труд: с каким-то тупым, нечеловеческим терпением он стал целые дни писать доклады, переписывать исходящие, подшивать и нумеровать дела и даже, говорят, чтобы держать все в порядке, мел иногда в неприсутственное время комнаты. Долгое время старик бухгалтер как будто бы ничего этого не замечал; наконец, умилился сердцем и однажды на вопрос неперменного члена: «Что, каков новобранец-то?» — отвечал: «Воротит как лошадь, малый отличнейший».

С течением времени он стал даже как будто бы заигрывать с Иосафом на словах.

— Жарконько сегодня, отче Иосафий,— говорил он, дав ему первый это прозвище, но решительно в виде ласки и с тем, чтобы определить им солидный характер своего любимца.

— Да, жарко,— отвечал Иосаф, стаскивая с полки огромную связку дел.

Бухгалтер смотрел ему в спину с какой-то нежной улыбкой, и как ни мгновенна она была на суровом лице его, но в ней одной в мире начало было созреть благо-

состояние Иосафа. Дело началось с того, что старик после летнего Николина дня, храмового в их приходе праздника, как-то попрошibble и очень уж сильно перепил с своим другом и товарищем, архиерейским певчим, так что заболел после того на целые полгода. Исполнение его должности, по личному его настоянию, было поручено Иосафу и потом, когда старый служака чувствовал окончательное приближение смерти, то нарочно позвал к себе своего начальника, неперменного члена, и с клятвой наказывал ему не делать никого бухгалтером, кроме Ферапонтова. Желание это было исполнено. Такое быстрое повышение сильно было расшевелило Иосафа на первых порах. Он сшил себе все с иголочки новое платье и начал даже подумывать о женитьбе. Здесь мне придется объяснить довольно щекотливое обстоятельство касательно того, что герой мой, несмотря на свое могучее тело и слишком тридцатилетний возраст, находился в самых скромных и отдаленных отношениях ко всему женскому полу. Как и отчего это произошло: обстоятельства жизни, или некоторая идеальность мирозерцания и прирожденные чувства целомудрия и стыдливости были тому причиной, но только, не говоря уже о гимназии, но и в училище, живя в сотовариществе таких повес, как студенты, Иосаф никогда не участвовал в их разных любовных похождениях и даже избегал разговора с ними об этом; а потом, состоя уже столько времени на службе, он только раз во все это время, пришедши домой несколько подгулявши, вдруг толкнул свою кухарку, очень еще не старую крестьянскую бабу, на диван. Та посмотрела на него с удивлением.

— О, полноте-ка, полноте! Туда же! — проговорила она, и Иосаф до того сконфузился, что сейчас же надел шляпу и ушел из дому и до глубокой ночи не возвращался.

Предаваясь мысли о браке, он, между прочим, так рассуждал об этом предмете:

«И сегодня видел еще свадьбу...— писал он в одном месте своего дневника.— Счастливицы! Но для меня нет и никогда не будет возможно это счастье. Девушка, какую я представляю себе в моих мыслях, за меня не пойдет. Невесты же, приличные для меня, из нашего подлого приказного звания, противны душе моей: они не домовиты и не трудолюбивы, потому что считают себя барыш-

нями, и сколько ни стараются наряжаться, но и этого к лицу сделать не умеют, будучи глубоко необразованны. Много раз я прислушивался к их разговору и убедился, что они ни о чем с мужчинами не могут говорить, кроме неблагопристойностей, ибо имеют уже развращенное воображение. О мать-природа! Ты мне единая утеха и услада!»

Так проходили дни за днями: каждое утро Иосаф ходил на службу, приходил затем домой, обедал, спал немного, потом опять на службу и опять домой. Все поползновения повыше уровня обыденной жизни в нем как бы придавились под этим вечно движущимся канцелярским жерновом, и из него уже начал мало-помалу выковыриваться старый холостяк-чиновник: хладносердый (по крайней мере по наружности) ко всему божьему миру, он ни с кем почти не был знаком и ни к кому никогда не ходил; целые вечера, целые дни он просиживал в своей неприглядной серенькой квартирке один-одинехонек, все о чем-то думая и как будто бы чего-то ожидая. Самым живым и почти единственным его развлечением было то, что отправится иногда летним временем поудить рыбу, оттуда пройдет куда-нибудь далеко-далеко в поле, полежит там на мураве, пройдетя по сенокосным лугам, нарвет цветов, полюбуется ими или заберется в рожь и с наслаждением повдыхает в себя запах поспевающего хлеба; но с наступлением осени и то прекращалось. В бесконечно длинные зимние вечера напрасно Иосаф изобретал раза по два в неделю ходить в баню и пробыл там часа по три, напрасно принимался иногда пить чай чашек по пятнадцати,— время проходило медленно. Наскучавшись таким образом почти до сумасшествия, он, наконец, не вытерпивал и на другой день, придав своему лицу вместо сурового несколько просительское выражение, спускался из Приказа вниз, в губернское правление, к экзекутору.

— А что, члены прочитали «Отечественные записки»? — спрашивал он.

— Свободны кой-какие,— отвечал тот.

— Снабдите меня, коли можно,— говорил Иосаф, как-то странно улыбаясь.

— Можно, можно,— отвечал экзекутор и вытаскивал ему из шкафа две, три книги.

Иосаф на этот раз шел из присутствия домой не-

сколько проворнее. Пообедав наскоро, он сейчас же принимался за чтение, и если тут что-нибудь приходилось ему по душе, сильно углублялся в это занятие и потом вдруг иногда вставал, начинал взволнованными шагами ходить по комнате, ерошил себе волосы, размахивал руками и даже что-то такое декламировал и затем садился за свои гусли и начинал наигрывать и подпевать самым жалобным басом известную чувствительную песню: «Среди долины ровныя». На том месте, где говорится, что высокий дуб растет:

Один, один, бедняжка, на гладкой высоте,  
Ни сосенки, ни елочки, ни травки близ него,—

у Иосафа по щекам текли уже слезы; но тем все и кончалось. На другой день он просыпался по-прежнему суровый и с окаменело-неподвижным лицом шел в Приказ.

## V

Был прелестнейший июньский день. Город, с своими ярко освещенными желтыми, белыми и серенькими домами, с своими блистающими серебряными и золотыми главами церквей, представлял собою решительно какой-то праздничный вид. Воздух напоен был запахом цветущих в это время лип; по временам чирикали какие-то птички, и раздавался резкий звук проезжающих по мостовой дрожek. В одних только присутственных местах было как-то еще душней и грязней. Иосаф сидел по обыкновению перед своей конторкой и посматривал на видневшийся в окно клочок неба. В Приказ вошел чрезвычайно франтоватый молодой мужчина, перетянутый, как оса, с английским пробором на голове, с усиками, с эспаньолкой, в шитой кружевной рубашке, в черном фраке, с маленькою красною кокардою в петличке и в светлейших лаковых сапогах. Он несколько по-военному сначала отнесся к одному из писцов и потом подошел к Иосафу.

— Я, кажется, имею удовольствие видеть господина Ферапонтова? — проговорил он.

— Да-с,— отвечал тот своим обычным медвежьим тоном.

— Позвольте и мне с своей стороны иметь честь представиться: ковенский помещик Бжестовский!..— произнес новоприбывший, расшаркиваясь и протягивая Иосафу свою чрезвычайно красивую руку, на мизинце которой нельзя было не заметить маленького и, должно быть, женского сердоликового перстенька.

Иосаф на это полупривстал ему и, подав неуклюже и не совсем охотно тоже свою руку, снова сейчас же сел.

— У вас есть дело... сестры моей... Фамилия ее по мужу Костырева,— продолжал Бжестовский.

Иосаф стал было припоминать.

— Имение ее назначено в продажу,— помог тот ему.

Иосаф почесал в голове.

— Да, назначено-с,— отвечал он неторопливо.

— Позвольте мне объясниться с вами в нескольких словах по этому делу,— произнес Бжестовский, и в голосе его уже заметно послышался заискивающий тон.

Иосаф молчаливым наклоном головы изъявил согласие.

— Эта женщина решительно несчастная!..— продолжал проситель, пожимая плечами.— Можете себе вообразить: прелестная собой, из прекрасного образованного семейства, она выходит замуж за этого господина Костырева, и с сожалением еще надобно сказать, улана русской службы... пьяницу... мота... влеча.

Бухгалтер слушал, не совсем, кажется, хорошо понимая, зачем все это ему говорят.

— Потом-с,— снова продолжал Бжестовский,— приезжают они сюда. Начинает он пить — день... неделю... месяц... год. Наконец, умирает,— и вдруг она узнает, что доставшееся ей после именице, и именице действительно очень хорошее, которое она, можно сказать, кровью своей купила, идет с молотка до последней нитки в продажу. Должно ли, спрашиваю я вас, правительство хоть сколько-нибудь вникнуть в ее ужасное положение?.. Должно или нет?

Иосаф несколько затруднялся отвечать на подобный вопрос.

— Что же тут правительству за дело? — проговорил было он.

— Как что? — перебил его, уже вспыхнув в лице, Бжестовский.— Законы, кажется, пишутся для благосостояния граждан, а не для стеснения их.

Иосаф в ответ на это уставил глаза в книгу. Бжестовский поспешил переменить тон.

— Я и сестра моя,— начал он,— так много наслышаны о доброте вашей и о благородстве вашей души, что решились прямо обратиться к вам и просить вашего совета.

— Что же я тут?.. Надо или деньги внести, или продадут.

— Очень многое, Иосаф Иосафыч, очень многое,— произнес Бжестовский, прижимая руку к сердцу,— в имении есть мельница... лес... несколько отхожих сенокосных пустошей, которые могли бы быть проданы в частные руки.

Ферапонтов задумался.

— И что же, это отдельные статьи от имения? — спросил он.

— Совершенно, кажется, отдельные,— отвечал Бжестовский,— и потому я только о том и прошу вас, чтоб посетить нас. Я наперед уверен, что когда вы рассмотрите наше дело, то увидите, что мы правы и чисты, как солнце.

Иосаф продолжал думать: он хаживал иногда к помещикам для совета по их делам и даже любил это как бы все-таки несколько адвокатское занятие.

— Сделайте милость,— повторял между тем Бжестовский,— и уж, конечно, мы благодарить будем, как это делается между порядочными и благородными людьми.

Иосаф посмотрел ему в лицо.

— Хорошо-с, пожалуй! Ужо вечером зайду,— проговорил он неторопливо.

Бжестовский рассыпался перед ним в выражениях полной благодарности.

— Мы живем на набережной, в доме Дурындиных,— заключил он и, еще раз раскланявшись перед Иосафом, молодцевато вышел из Приказа.

## VI

Большой каменный дом Дурындиных был купеческий. Как большая часть из них, он, и сам-то неизвестно для чего выстроенный, имел сверх того еще в своем бельэтаже (тоже богу ведомо для каких употреблений)

несколько гостиных — полинялых, запыленных, с тяжело-ватою красного дерева мебелью, имел огромное зало с паркетным, во многих местах треснувшим полом, с лепным и частью уже обвалившимся карнизом, с мраморными столами на золотых ножках, с зеркалами в старинных бронзовых рамах, тянущимися почти во всю длину простенков. Введенный именно в эту залу казачком-лакеем, Иосаф несколько сконфузился, тем более, когда послышался шелест женского платья и из гостиной вышла молодая и очень стройная дама.

— Брат сейчас будет... извините, пожалуйста! — проговорила она, прямо подходя к нему и подавая ему руку.

Иосаф окончательно растерялся: в первый еще раз в жизни он почувствовал в своей жесткой руке женскую ручку и такую, кажется, хорошенькую! Подшаркнувши ногой, как только можно неловко, он проговорил:

— Помилуйте-с, ничего!

— Пойдемте, однако, в боскетную,— сказала Костырева и пошла.

Иосаф последовал за нею. Комната, в которую они пошли, действительно была с самого потолка до полу расписана яркою зеленью, посреди которой летело несколько птиц и гуляло несколько зверей. Хозяйка села у маленького стола на угловом, очень уютном диванчике и пригласила сделать то же самое и Иосафа, и даже очень невдалеке от нее. Исполнив это, Ферапонтов, наконец, осмелился поднять глаза и увидел перед собой решительно какую-то ангелоподобную блондинку: белокурые волосы ее, несколько зачесанные назад, спускались из-за ушей двумя толстыми локонами на правильнейшим образом очерченную шейку. Нежный цвет лица... полуприподнятые мечтательно кверху голубые глаза... эти, наконец, ямочки на щеках... этот носик и розовые, толстоватые, как бы манящие вас на поцелуй губки,— все это имело какое-то чрезвычайно милое и осмысленное выражение. Одета она была в кисейную блузу, довольно низко застегнутую на груди и перехваченную на стройном стане поясом. Широкие, разрезные рукава почти обнажали как бы выточенные из слоновой кости ее длинные руки; а из-под опустившейся бесконечными складками юбки заметно обрисовывалось круглое коленочко, и какое, должно быть, коленочко! Так что Иосаф и сам не понимал, что такое с ним происходило.



— Брат говорил вам о моем деле? — начала хозяйка.

— Да-с,— отвечал Иосаф,— две тысячи семьсот рублей на именье недоимки,— прибавил он.

— Как много! Но скажите: там у меня есть мельница и огромная лесная дача. Я сейчас бы готова была с удовольствием продать их и заплатила бы этим.

— Они у вас значатся в описи?

— Не знаю. Я ничего не понимаю в этих делах.

— Но ведь опись у вас есть? — спросил Иосаф заметно уже участвующим тоном.

— Право, и того не знаю. Есть какие-то бумаги,— отвечала Костырева и торопливо, с беспокойством вынула из своего рабочего столика несколько исписанных листов.

Иосаф чуть было не задрожал, когда она, подавая ему их, слегка прикоснулась своим пальчиком до его руки.

Это была в самом деле опись именью. Ферапонтов начал внимательно просматривать ее.

— Мельница на реке Шексне? — спросил он.

— Да,— отвечала Костырева.

— Лесная дача называется «Матренкины Доли»? —

— Да,— повторила Костырева.

— Они значатся в описи-с,— проговорил Иосаф грустным голосом.

— Что ж, нам не разрешат продажи? — спросила Костырева с таким испугом на лице, как будто бы сейчас же решила ее участь.

Иосаф чувствовал только, что от жалости у него вся кровь бросилась в голову.

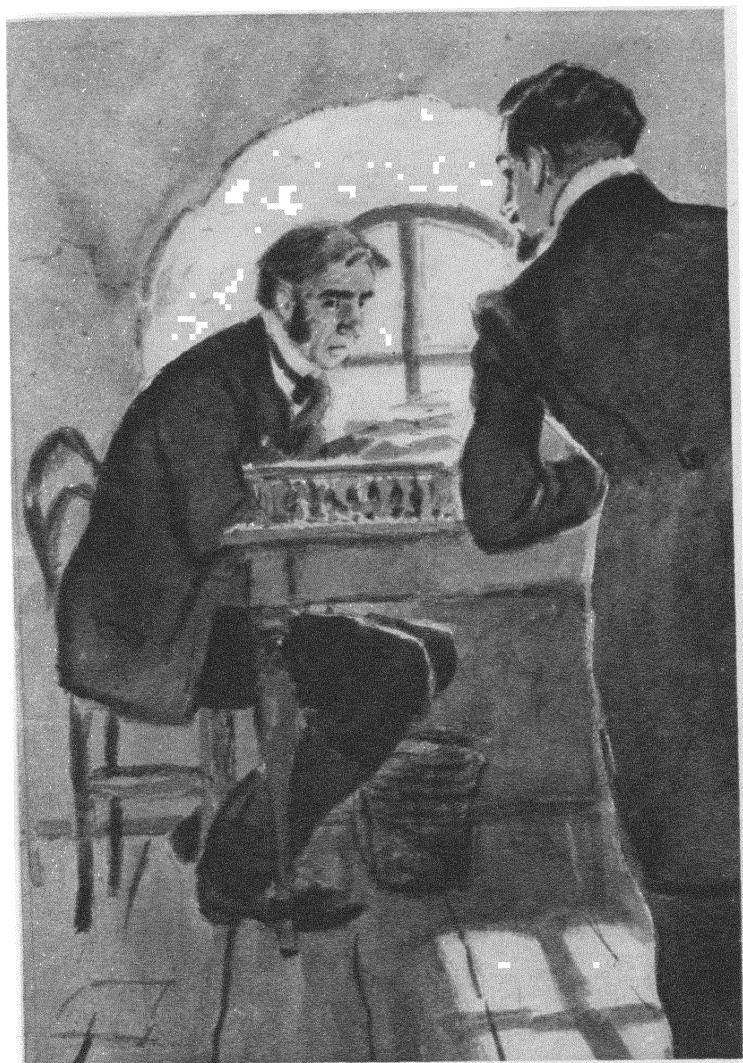
— Вряд ли-с! — произнес он и постарался насильно улыбнуться, чтобы хоть этим смягчить свой ответ.

Прекрасные глаза хозяйки наполнились слезами.

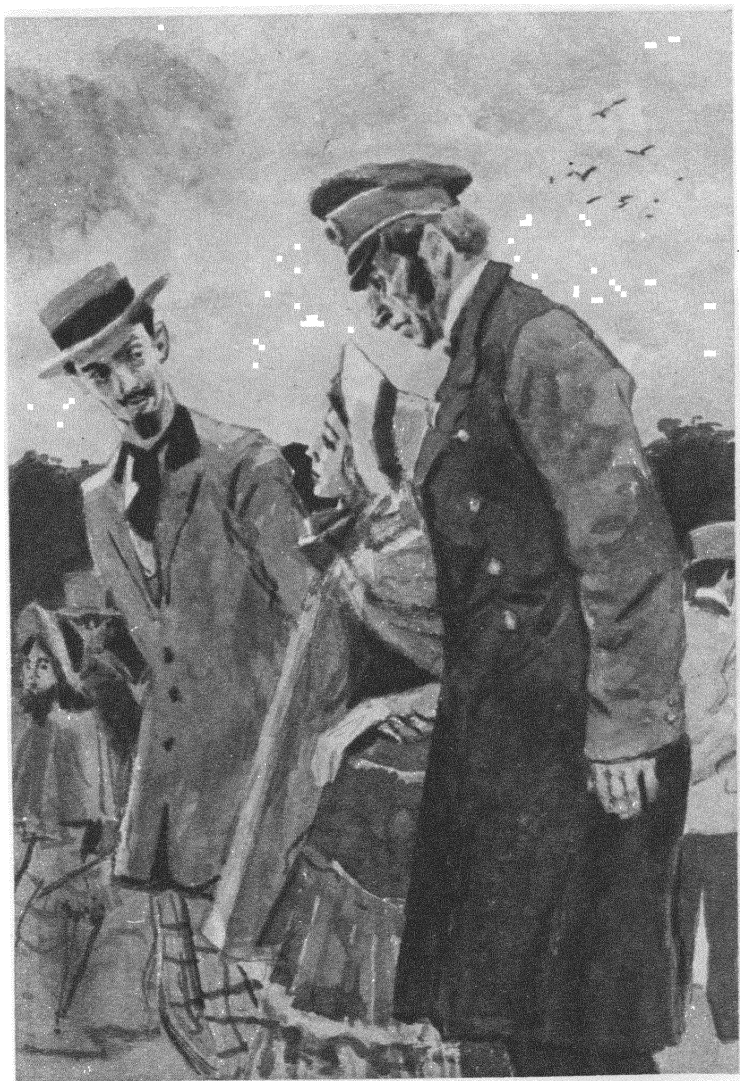
— Как же мне, несчастной, быть? — произнесла она и, окончательно заплакав, закрыла лицо руками.

У Иосафа сердце готово было разорваться на части. Он тупо и как-то бессмысленно смотрел на нее, но в зале раздались мужские шаги. Костырева торопливо вынула из своего кармана тонкий, с вышитыми концами, батиственный платок и поспешно обтерла им свои глазки. Иосаф при этом почувствовал прелестный запах каких-то духов.

— Это брат приехал, он не любит, когда я плачу,—



«СТАРЧЕСКИЙ ГРЕХ».



«СТАРЧЕСКИЙ ГРЕХ».

проговорила она; и в боскетную в самом деле вошел Бжестовский, который показался на этот раз Иосафу как-то еще франтоватей и красивее.

— Добрый день,— проговорил он, дружески подавая Иосафу руку, и потом протянул ее сестре.

Та ударила по ней своей ручкой. Бжестовский поцеловал ее у ней, и при этом она с такою нежностью прижала к его лбу свои губки, что у Иосафа поджилки задрожали. «Что, если б этот поцелуй достался ему»,— безумно подумал он.

Бжестовский между тем небрежно расселся в креслах и вытянул свои, в тех же щегольских, лаковых сапогах ноги.

— Что, пане добродзею<sup>1</sup>, будьте такой добрый, скажите, придумали ли вы что-нибудь?

Иосаф несколько приподнял свою наклоненную голову.

— Покупщика вы на мельницу и на лес верного имеете? — спросил он.

— Очень верного... сосед наш по имению... прекраснейший человек... отличный семьянин...— отвечал Бжестовский.

Иосаф начал соображать.

— Извольте-с,— начал он, разведя руками,— я изготовлю вам прошение в таком роде, что вот вы представляете деньги по оценке, значащейся в описи этим предметам, просите разрешить продажу их, а вместе с тем приостановить и самый аукцион.

— Так... так...— повторял за ним Бжестовский,— но вы говорите: деньги представляя... Для нас это решительно невозможно, потому что, откровенно сказать, мы теперь совершенно без копейки.

— Да что тут? Деньги пустые: всего каких-нибудь по оценке за мельницу пятьсот рублей да за пустошь двести... Такие найти можно-с... я прищу вам...— говорил Иосаф, сам, кажется, не помнивший, что делает, и имевший в этом случае в виду свой маленький капитал, нажитой и сбереженный им в пятнадцать лет на случай тяжелой болезни или выгона из службы.

Бжестовский встал перед ним с удивлением на ноги.

— Я слов даже не нахожу выразить вам мою благодарность,— проговорил он.

<sup>1</sup> пане добродзею,— милостивец, благодетель (польск.)

Иосаф тоже поднялся и неуклюже раскланивался.

— О благородный человек! — произнесла Костырева, протягивая ему руку, и, когда он подал ей свою лапу, она крепко, крепко сжала ее.

У Иосафа начинало уж зеленеть в глазах. В это время вошел лакей-казачок, в белых нитяных перчатках, и доложил, что чай готов.

— Пойдемте! — сказала хозяйка и, проходя мимо Иосафа, легонько задела его за коленку своим платьем. В зале, на круглом среднем столе, стоял светло вычищенный самовар и прочий чайный прибор, тоже чрезвычайно чистый. Костырева принялась хозяйничать: сначала она залила чай в серебряный чайник, накрыла его белой салфеточкой и сверх того еще положила на него свою чудную ручку. Иосаф и Бжестовский уселись на другом конце стола. Герою моему никогда еще не случалось видеть, чтобы в присутствии его молодая, прекрасная собой женщина разливала чай, и — боже мой! — как понравилась ему вся эта картина.

— Не хотите ли вы сливок или рому? — проговорила хозяйка и сама, проворно встав, подошла к Иосафу и, немного наклонившись, стала подливать ему из маленького графинчика в стакан.

При этом грудь ее была почти перед самым лицом его; он видел, как она слегка колыхалась, и даже чувствовал, что его опахивала какая-то обаятельная теплота. Что с ним было в эти минуты, и сказать того невозможно.

После чаю Бжестовский предложил сестре:

→ Не лучше ли, душа моя, нам идти посидеть на балконе?

— Хорошо, — отвечала она и очень милым движением пригласила и Иосафа, проговоря: — Угодно вам?

Тот пошел. Сначала его провели через длинную гостиную, в которой он успел только заметить люстру в чехле да огромную изразцовую печь, на которой вылеплена была Церера, с серпом и с каким-то необыкновенно толстым и вниз опустившимся животом. Следующая комната, вероятно, служила уборной хозяйки, потому что на столике стояло в серебряной рамке кокетливое женское зеркало, с опущенными на него кисейными занавесками; а на другой стороне, что невольно бро-

силось Иосафу в глаза, он увидел за ситцевой перегородкой зачем-то двуспальную кровать и даже с двумя изголовьями. Об этом он, впрочем, сейчас же забыл, как вышли на балкон. Вечерний воздух начинал уже свежить. Не спавшая еще с воды река подходила почти к самому дому, так что балкон как будто бы висел над нею. Неустанно и торопливо катила она свои сероватые и небольшие волны. Против самого почти города теперь проходил целый караван барок, которые, с надувшимися парусами, как гигантские белогрудые лебеди, тихо двигались одна за другой. Вдали виделся, как бы на островку, монастырь. Освещенный сзади солнцем, он, со своей толстой стеной, с видневшимися из-за нее деревьями, с своими церквями и колокольнями, весь отражался несколько изломанными линиями в рябоватой зыби.

— Какой прекрасный вид! — решил Иосаф уже прямо отнестись к Костыревой.

— Да, чудный: я не налюбуюсь им, — отвечала она и вслед за тем устремила рассеянный взгляд на реку, но потом вдруг побледнела, проворно встала и едва успела опереться на косяк.

Иосаф тоже вскочил.

— Что с вами-с? — проговорил он с не меньшим ее испугом.

— Ничего... Я засмотрелась вниз на воду, и у меня закружилась голова, — отвечала она, все еще бледная, но уже с милой улыбкой.

— В таком случае лучше уйти отсюда, — сказал Бжестовский.

— Да, — согласилась Костырева.

Все возвратились в залу.

«Боже мой, какое это нежное и деликатное создание!» — думал про себя Иосаф и, чтобы скрыть волновавшие его ощущения, заговорил опять о деле.

— Теперь надо просьбу написать-с, — сказал он.

— Будьте такой добрый, — подхватил Бжестовский и, проворно сходя, принес чернильницу и бумагу.

Иосаф написал прошение прямо набело.

— Подписать вам надобно-с, — отнесся он уже с улыбкой к Костыревой.

— Ах, сейчас, — отвечала она и осторожно взяла в свою белянкую ручку загрязненное перо.

Иосаф стал у ней за плечами. Он видел при этом ее чудную сзади шейку, ее толстую косу, едва уложенную в три кольца, и, наконец, часть ее груди, гораздо более уже открывшейся, чем это было, когда она наклонялась перед ним за чаем.

— К сему прошению...— диктовал он смущенным голосом,— имя ваше-с и отчество?

— Эмилия Никтополионовна.

— Эмилия Никтополионовна Костырева руку приложила-с,— додиктовал Иосаф.

Эмилия написала все это тоненьким, мелким и не совсем грамотным почерком.

— Merci, monsieur Ферापонтов, merci,— повторила она несколько раз и, взяв его за обе руки, долго-долго пожимала их.

Иосаф не выдержал и поцеловал у ней ручку, и при этом — о счастье! — он почувствовал, что и она его чмокнула своими божественными губками в его заметно уже начинавшую образовываться плешь. Растерявшись донельзя, он сейчас же начал раскланиваться. Бжестовский пошел провожать его до передней и сам даже подал ему шинель. Эмилия, когда Иосаф вышел на двор, нарочно подошла к отворенному окну.

— До свидания, monsieur Ферापонтов,— говорила она, приветливо кивая ему головою, и Иосаф несколько раз снимал свою шляпу, поводил ее в воздухе, но сказать ничего не нашелся и скрылся за калитку.

## VII

Проснувшись на другой день поутру, Иосаф с какой-то суетливостью собрал все свои деньжонки, положил их в прошение Костыревой и, придя в Приказ, до приезда еще присутствующих, сам незаконно пометил его, сдал сейчас же в стол, сам написал по нем доклад, в котором, прямо определяя — продажу Костыревой разрешить и аукцион на ее имение приостановить, подсунул было это вместе с прочими докладами члену для подписи, а сам, заметно взволнованный, все время оставался в присутствии и не уходил отсюда. Старик, начальник Приказа, лет уже семнадцать тому назад, как мы знаем, пришибенный параличом, был не совсем тверд в

языке и памяти, но на этот раз, однако, как-то вдруг прозрел.

— Асаф Асафич, это что такое? — спросил он, оставаясь именно на интересном для Иосафа докладе.

Ферапонтов побледнел.

— Прошенье Костыревой... деньги она представляет... просит там остановить торги,— проговорил он нетвердым голосом.

— Как же это так? — спросил его опять непременный член, уставляя на него свои бессмысленные глаза.

— Да так... надо остановить... тут вот прямая статья насчет этого подведена...

— Все же, брат, надо прежде доложить губернатору.

— Зачем же губернатору-то докладывать? Всякими пустяками беспокоить его,— возразил Иосаф, и у него уже сильно дрожали губы.

— Какие пустяки... хуже, как сам наскочит... тогда и не спасешься от него.

— Спасаться-то тут не от чего. Не первый год, кажется, служат с вами... Никогда еще ни под что вас не подводил.

— Что ж ты на меня-то сердисься!..— возразил ему добродушно старик.— Я с своей стороны готов бы хоть сейчас, как бы не этакой башибузук сидел у нас наверху. Этта вон при мне за пустую бумажонку на правителя канцелярии взбесился: затопал... залопал... пена у рта... Тигр, а не человек.

— Да хоть бы он растигр был. Это дело правое... я и сам не восьмиголовый какой... Нечего тут сомневаться-то, подписывайте! — проговорил было Иосаф, привыкший почти безусловно командовать своим начальником.

Но старик на этот раз, однако, уперся.

— Нет, брат, как хочешь: доложить я доложу, а сам собой не могу,— проговорил он.

Иосаф только сплюнул от досады и вышел было из присутствия; но вскоре опять воротился.

— Пожалуйста, Михайло Петрович, подпишите, сделайте для меня хоть раз это одолжение. Я еще никогда не просил вас ни о чем,— произнес он каким-то жалобно умоляющим голосом.

— Только не это, брат, не это! — сказал старик окончательно решительным тоном.



Не совсем уже ясно понимая сам дела и видя такое настояние от бухгалтера, он прямо заподозрил, что тот, верно, хватил тут какой-нибудь значительный куш и хочет теперь его подвести.

— Вот отсохни мой язык, коли так!..— воскликнул вдруг Иосаф, крестясь и показывая на образ.— Слова теперь не скажу вам ни по какому делу... Подписывайте сами, как знаете.

— Ну что ж? Бог с тобой,— говорил старик растерявшись. Иосаф, сердито хлопнув дверями, опять вышел и конец присутствия досидел, как на иголках. Возвратясь домой, он тоже, кажется, решительно не знал, что с собою делать: то ложился на диван, то в каком-то волнении вставал и начинал глядеть на свой маленький дворик. Там на протянутой от погреба до забора веревке висели и сушились его зимняя шинель, шуба, валеные сапоги и даже его осьмиклассный мундир и треугольная шляпа. Несколько дальше в тени, около бани, двое маленьких петушков старательнейшим образом производили между собою драку: по крайней мере по получасу стояли они, лукаво не шевелясь и нахохлившись друг перед другом, потом вдруг наскакивали друг на дружку, рассказывались и снова уставляли головенки одна против другой; но ничто это не заняло, как бывало прежде, Иосафа. Часов в семь он кликнул свою кухарку и велел себе дать умываться. При этом он до такой степени тер себе шею, за ушами и фыркал, что даже всю бабу забрызгал.

— Чтой-то больно уж сегодня размылись,— говорила она и принесла было по обыкновению ему старые штаны.

— Давай новые, все давай новое,— проговорил Иосаф и, поставивши ногу на стол, сам принялся себе чистить сапоги.

Надев потом фрак, он по крайней мере с полчаса причесывал бакенбарды, вытащил из них до десятка седых волос, и затем, надев несколько набекрень свою шляпу, вышел и прямым путем направил стопы свои к дому Дурындиных. Там его встретили совершенно как родного: Эмилия показалась Иосафу еще прелестнее; она одета была в черное шелковое платье. Талия ее до того была тонка, что, казалось, он мог бы обхватить ее своими двумя огромными пальцами; на ножках ее были

надеты толстые на высоких каблуках ботинки, которыми она, ходя, кокетливо постукивала. Бжестовский был тоже по обыкновению разодет, но только несколько по-домашнему: он был в башмаках, в широких шальварах, завязанных шелковым шнурком, без жилета, но в отличнейшем белье и, наконец, в коротеньком сереньком сюртучке, кругом выложенном красным шнурком. Иосаф даже и не предполагал никогда, что мужчина может быть так одет. Чтобы не встревожить Эмилию, он объяснил ей только то, что просьбу он подал и деньги представил.

— Но боже мой! Мне по крайней мере надо вам дать расписку в них,— проговорила Эмилия сконфуженным голосом.

— Зачем же-с? Когда станете платить в Приказ, деньги ваши через мои же руки пойдут, тогда я и вычту свои,— отвечал Иосаф.

Бжестовский при этом посмотрел на него пристально и ничего не сказал, а Эмилия еще более сконфузилась. За чаем она по-прежнему угощала Иосафа самым радужным образом, и при этом он сам своими глазами видел, что она как-то таинственно взглядывала на него и полулукаво улыбалась ему. На лице Бжестовского тоже была написана какая-то странная усмешка.

Когда стемнело, человек подал лампу с абажуром. Эмилия уселась перед ней с работой. Прекрасные ручки ее, усиленно освещенные светом огня, проворно и ловко вырезывали на батисте дырочки и обшивали их тончайшей бумагой. Иосаф и эту картину видел еще первый раз в жизни.

— Скажите, вы давно служите в Приказе? — спросил его Бжестовский.

— Давно-с! Был тоже когда-то студентом... учился кой-чему,— проговорил Иосаф и, не dokonчив, потупил голову.

— Вы были студентом? — произнесла с участием хозяйка.— Как я люблю студентов: когда мы жили в Киеве, их так много ходило к нам в дом.

Иосаф на это только вздохнул, как паровая машина: о, если бы хоть частичка этой любви выпала и на его долю!

— А что вы, женатый или холостой? — спросила Эмилия и, ей-богу, кажется, говоря это, покраснела.

— Нет-с, я старый холостяк,— отвечал он.

— Почему же старый? — сказала Эмилия и устремила на него взгляд.— Может быть, вы много жили? — прибавила она.

При этом уж Иосаф весь вспыхнул.

— Напротив-с,— отвечал он.

С лица Бжестовского по-прежнему не сходила какая-то насмешливая улыбка.

— И вы даже в виду не имеете никакой партии? — вмешался он в разговор, как бы вторя сестре.

— Нет-с, какая партия,— отвечал Иосаф как бы несколько даже обиженным тоном.

— Отчего же? — простодушно спросила Эмилия.

— Судьбы, вероятно, нет-с.

— Ну — нет! Вы, кажется, такой добрый, что можете составить счастье каждой женщины... — проговорила Эмилия.

Иосаф чувствовал, что у него пот холодными каплями выступал на лбу. Бжестовский между тем встал и, как бы желая походить, прошел в дальние комнаты.

Иосаф остался с глазу на глаз с Эмилией.

— И вы никогда не были влюблены? — спросила она, низко-низко наклоняясь над работой.

Вопрос этот окончательно дорезал Иосафа.

— Может быть-с, не был, а теперь есть...— проборотал он и от волнения зашевелил ногами под столом.

— Теперь? — повторила многозначительно Эмилия.

Бжестовский в это время возвратился. Иосаф, как-то глупо улыбаясь, стал глядеть на него. Однако, заметив, что Бжестовский позевнул, Эмилия тоже, по известной симпатии, закрыв ручкой рот, сделала очень миленькую гримасу, он не счел себя вправе долее беспокоить их и стал прощаться. При этом он опять осмелился поцеловать у Эмилии ручку и опять почувствовал, что она чмокнула его в темя. Бжестовский опять проводил его самым любезным образом до дверей.

Проходя домой по освещенным луною улицам, Иосаф весь погрузился в мысли о прекрасной вдове: он сам уж теперь очень хорошо понимал, что был страстно, безумно влюблен. Все, что было в его натуре поэтического, все эти задержанные и разбитые в юности мечты и надежды, вся способность идти на самоотвержение,— все

это как бы сосредоточилось на этом божественном, по его мнению, существе, служить которому рабски, беспротестно, он считал для себя наименее приятным долгом и какой-то своей святой обязанностью.

## VIII

Скрыпя перьями и шелестя, как мыши, бумагами, писала канцелярия Приказа доклады, исходящие. Наружная дверь беспрестанно отворялась. Сначала было ввалился в нее мужик в овчинном полушубке, которому, впрочем, следовало идти к агенту общества «Кавказ», а он, по расспросам, попал в Приказ. Писцы, конечно, сейчас же со смехом прогнали его.

После его вошла старушка мещанка, принесшая тоже положить в Приказ, себе на погребение, десять целковеньких и по крайней мере с полчаса пристававшая к Иосафу, отдадут ли ей эти деньги назад.

— Отдадут, отдадут,— отвечал он.

— Не обидьте уж, государь мой, меня,— говорила она и положила было ему четвертачок на конторку.

— Поди, старый черт, что ты! — крикнул он и бросил ей деньги назад.

— Виновата, коли так, кормилец мой... — проговорила старуха и, подобрав деньги, убралась.

Двери, наконец, снова отворились, и вошел неременный член с озабоченным лицом и с портфелем под мышкой. Вся канцелярия вытянулась на ноги, Иосаф тоже поднялся, чего он прежде никогда не делал. Член прошел в присутствие. Феррапонтов тоже последовал за ним.

— Что, как-с? — спросил он, глядя на начальника.

— А на-те вот, посмотрите... полюбуйтесь,— отвечал тот и вынул из портфеля журналы Приказа, разорванные на несколько клочков.— Ей-богу, служить с ним невозможно! — продолжал старик, только что не плача.— Прямо говорит: «Мошенники вы, взяточники!.. Кто, говорит, какой мерзавец писал доклад?» — «Помилуйте, говорю, писал сам бухгалтер».— «На гауптвахту, говорит, его; уморю его там». На гауптвахту велел вам идти на три дня. Ступайте.

В продолжение этого рассказа Иосаф все более и более бледнел.

— Спасибо вам, благодарю — подо что подвели да наказали,— проговорил он.

— Что же я тут виноват?.. Чем?

— Чем?.. Да! — проговорил Иосаф, почти что передразнивая начальника.— Для вас, кажется, все было сделано, а вы в каком-нибудь пустом делишке не хотели удовольствия сделать. Благодарю вас!

— Что ж ты уж очень разблагодарствовался! — крикнул, наконец, старик, приняв несколько начальнический тон.— Тебе сказано приказанье: ступай на три дня на гауптвахту,— больше и разговаривать нечего!

— Это-то я знаю, что вы сумеете сделать, знаю это!.. — произнес почти с бешенством Иосаф и ушел; но, выйдя на улицу и несколько успокоившись на свежем воздухе, он даже рассмеялся своему положению: он сам должен был идти и сказать, чтобы его наказали. Подойдя к гауптвахте, он решительно не находил, что ему делать.

Однако его вывел из затруднения стоявший на плацу молоденький гарнизонный офицерик, с какой-то необыкновенно глупой, круглой рожей и с совершенно прямыми, огромными ушами, но тоже в каске, в шарфе и с значком на груди.

— Что вам надо? — спросил он его строго.

— Меня на гауптвахту прислали, чтобы посадили,— отвечал Иосаф.

— А! Ступайте! Вероятно, за взяточки... хапнули этак немного,— говорил юный дуралей, провожая своего арестанта в офицерскую комнату, которая, как водится, имела железную решетку в окне; стены ее, когда-то давно уже, должно быть, покрашенные желтой краской, были по всевозможным местам исписаны карандашом, залеплены и перепачканы раздавленными клопами. Деревянная кровать, с голыми и ничем не покрытыми досками, тоже, по-видимому, была обильным местелищем разнообразных насекомых. Из полупритворенных дверей в темном углу следующей комнаты виднелось несколько мрачных солдатских физиономий. Чувствуемый оттуда запах махорки и какими-то прокислыми щами делали почти невыносимым жизнь в этом месте. Иосаф сел и задумался. Всего грустней ему было то, что он три дня не

увидит своего божества; но в это время вдруг на плацформе послышался нежный женский голос. Иосаф задрожал, и вслед же за тем в комнату вошла Эмилия, в белом платье, в белой шляпке и белом бурнусе, совершенно как бы фея, прилетевшая посетить его в темнице.

Иосаф мог встретить ее только каким-то не совсем искренним смехом.

— Боже мой, что такое с вами? — говорила Эмилия с беспокойством.

— Так, ничего-с! — отвечал Иосаф, продолжая смеяться.

— Как ничего! Брат сейчас был в Приказе, там говорят, что вас посадили за мое дело! — возразила Эмилия и с заметным чувством брезгливости присела на кровать.

— Ничего-с, так себе, потешиться захотели... — отвечал Иосаф. — Все ведь мы-с, чиновники, таковы!.. Не то, чтобы сделать что-нибудь для кого, а нельзя ли каждого стеснить и сдать... точно войско какое, пришли в завоеванное государство и полонили всех.

— О нет, вы не такой! — говорила Эмилия, смотря на него почти с нежностью.

— Я вас прошу и умоляю, — продолжал Иосаф, прижимая руку к сердцу, — только об одном: не беспокоиться о вашем деле. Я для вас жизнь готов пожертвовать.

— Да, вы чудный человек, — подхватила Эмилия и задумалась.

Иосаф молча глядел на нее: сколько бы ему хотелось и надо было сказать ей, но ничего, однако, не осмеливался. Эмилия, наконец, встала.

— Как здесь нехорошо... грязно... — проговорила она и вздумала было прочесть одну из надписей на стенке, но в ту же минуту сконфузилась и отвернулась. — Прощайте, мой друг! Я буду еще у вас, — сказала она.

Иосаф по обыкновению поспешил поцеловать у нее ручку, и при этом она уже чмокнула его не в темя, не в щеку даже, но Иосаф так успел пригнать, что прямо в губы.

— О, какой вы хитрый, вы умеете воровать поцелуи! — проговорила она, вся вспыхнув, и проворно убежала.

Иосаф в восторге упал на диван и закрыл себе лицо руками.

Дня через два после того Ферапонтов шел по одному из самых глухих переулков. Почти уже на выезде из города он остановился перед старым, полуразвалившимся деревянным домом, с заколоченными наполовину окнами и с затворенною калиткою. Иосаф торкнулся было в нее; но оказалось, что она была заперта. Зная, вероятно, хорошо обычай хозяина, он обошел дом кругом и, перескочив, на задней его стороне, через невысокий забор, очутился в огромнейшем огороде, наглухо заросшем капустою, картофелем и морковью. Пройдя его, он вышел на двор, на котором то тут, то там виднелись почти с отвалившимися углами надворные строения. У колодца, перед колодой, неопрятная баба мыла себе судомойкой ноги.

— Клим Захарыч Фарфоровский дома? — спросил ее Иосаф.

— Дома, — отвечала баба.

Он пошел было на парадное крыльцо.

— Не туда, с заднего ступайте! — научила его баба.

Иосаф взошел по развалившейся лесенке на заднее крыльцо и попал прямо в темную переднюю. Чтобы дать о себе знать, он прокашлянул, но ответа не последовало. Он еще раз кашлянул, снова то же; а между тем у него чем-то уже сильно ело глаза, так что слезы даже показались.

«Что за черт такой», — подумал про себя Иосаф и что есть силы начал стучать ногами.

— Кто там? — слышался, наконец, из соседней комнаты разбитый голос, и вслед за тем дверь из нее отворилась, и в нее выглянул белокурый, мозглявый старичок, с поднятыми вверх тараканьими усами, в худеньком, стареньком беличьем халате.

— Ферапонтов из Приказа! — объяснил ему Иосаф.

— А! Ну войдите, войдите, — сказал старичок и впустил его.

Первое, что бросилось Ферапонтову в глаза, — это стоявшие на столике маленькие, как бы аптекарские вески, а в углу, на комод, помещался весь домашний скарб хозяина: грязный самоваришко, две — три полинялые чашки, около полдюжины обгрызанных и треснувших

тарелок. По другой стене стоял диван с глубоко просиженным к одному краю местом.

— Да! Так вот как! — сказал старичок, садясь именно на это просиженное место и утирая кулаком свои слезливые и как бы воспаленные глаза.

— Вот как-с, да! — отвечал ему в тон Иосаф и тоже сел и утер слезы.

— Это вы от луку плачете? У меня тут лук в наугольной сушится, — сказал ему хозяин, как-то кисло усмехаясь.

— Зачем же тут? Разве нет другого места? — спросил было Ферапонтов.

— А где же? В каком месте? — возразил Фарфоровский и уже злобно оскалился.

Как ни много Иосаф слышал об этом чуде, однако почти с удивлением смотрел на его сморщенное и изнуренное лицо, на его костлявые и в то же время красные, с совершенно обкусанными ногтями, руки. Собственно по чину Фарфоровский был даже статский советник и некогда переселился в губернию из Петербурга, но всюду являлся каким-то несчастным: оборванный, перепачканный. Не столько, кажется, скупец, сколько человек мнительный, он давно уже купил себе этот старый домишко и с тех пор поправки свои в нем ограничил только тем, что поставил по крайней мере до шести подпорок в своей обитаемой комнате, и то единственно из опасения, чтобы в ней не обвалился потолок и не придавил его. В жаркий майский день Иосаф нашел его, как мы видели, в меховом тулупчике, и сверх того он еще беспрестанно боялся, что его отравят, и для этого каждое скудное блюдо, которое подавала ему его единственная прислужница-кухарка, он заставлял ее самоё прежде пробовать. Покупая какую-нибудь ничтожную вещь, он десять раз придумывал, давал за нее цену, отпирался потом; иногда, купив совсем, снова возвращался в лавку и умолял, чтобы ее взяли назад, говоря, что он ошибся. Дрожа каждую минуту, чтобы его не обокрали, он всю дрянь держал у себя в доме, даже дрова хранил в зале. Лук сушился в наугольной по той же причине. В отношении денег он более всего, кажется, предпочитал государственные кредитные установления, как самые уже верные хранилища, а потому в Приказ обыкновенно бегал по нескольку раз в неделю, внося то сто, то двести рублей, и даже иногда



не брезговал сохранный книжкой, кладя под нее по целковому, по полтиннику.

— Вот вы всё жаловались, что в Приказе проценты малы,— начал Иосаф.

— Али велики? — спросил Фарфоровский и опять злобно оскалился.

— Ну, так вст отдайте в частные руки. Я вам смак-лерю это... пятнадцать процентов получать будете.

Глаза у старика разгорелись.

— А залог какой? — спросил он торопливо.

— Да залогу тут совсем никакого нет,— отвечал Иосаф.

— Как же без залогу-то? — спросил Фарфоровский, как бы мгновенно исполнившись глубочайшего удивления.

— А вот как,— отвечал Феррапонтов и объяснил было ему все дело Костыревой; но старик в ответ на это только усмехнулся.

— Сам ты, милый человек,— начал он уже наставительным тоном,— служишь при деньгах, а того не знаешь... Ну-ка, дай-ка мне из твоего Приказа-то хоть тыщонки две без залогу-то. Дай-ко!

— То место казенное.

— А, казенное? То, вот видишь, казна,— зашипел Фарфоровский.— Казну сберегать надо; она у нас бедная... Только частного человека грабить можно.

— Кто ж вас грабит? — спросил Иосаф.

— Все вы! Вон эта полиция... у ней у самой сто лет перед домом мостовая не мощена; а меня заставляет: мости, где хошь бери, да мости!

— Вам-то пуще негде взять.

— Много у меня; ты считал в моем кармане-то.

— Известно, что считал. Умрете, все ведь останется,— сказал Иосаф, уже вставая.

— Умрешь и ты! Что ты меня этим пугаешь! Молодой ты человек, пришел к старику и огорчаешь его. Для чего! — вскинулся на него хозяин.

— С вами, видно, не сговоришь,— проговорил Иосаф и пошел.

— Да нечего: стыдно! Стыдно! — стыдил его хозяин.

Выйдя от Фарфоровского и опять пройдя двором и огородами и перескочив через забор, Иосаф прямо же пошел еще к другому человечку — сыну покойного и богатейшего купца Саввы Родионова. Сам старик очень

незадолго перед смертью своею, служа в Приказе заседателем, ужасно полюбил Иосафа за его басистый голос и знание церковной службы. Каждое воскресенье он звал его к себе в гости, поил, кормил на убой и потом, расчувствовавшись, усиленнейшим образом упрашивал его прочесть ему, одним тоном, не переводя духу, того дня апостола, и когда Ферапонтов исполнял это, он, очень довольный, выворотив с важностью брюхо, махая руками и почти со слезами на глазах, говорил: «Асафушка! Мой дом — твой дом! Сам умру — сыну накажу это!..» Но, увы! Иосафу и в голову не приходило, что сын этот вовсе не походил на своего папеньку, мужика простого и размашистого. По своей расчетливости, юный Родионов был аспид, чудовище, могущее только породиться в купеческом, на деньгах сколоченном сословии: всего еще каких-нибудь двадцати пяти лет от роду, весьма благообразный из себя, всегда очень прилично одетый и даже довольно недурно воспитанный, он при этом как бы не имел ни одной из страстей человеческих. У него, например, был прекрасный экипаж и отличные лошади, но он и того не любил. Жил он в целом бельэтаже своего огромного дома с мраморными косяками, с новомодными обоями, с коврами, с бронзой, с дорогою мебелью; но на всем этом, где только возможно, были надеты чехлы, постланы подстилки, которые никогда не снимались, точно так же, как никогда ни одного человека не бывало у него в гостях. Аккуратнейший в своей жизни, как часовая машина, он каждый день объезжал свои лавки, фабрики. В субботу обыкновенно разделявал всех мастеровых сам, и если какому-нибудь мужику приходилось с него 99½ копейки, то он именно ему 99½ и отдавал, имея для этого нарочно намененные денежки и полушки. В отношении значительных лиц в городе Родионов был чрезвычайно искателен; но это продолжалось только до первого приглашения к какому-нибудь пожертвованию. Напрасно тут его ласкали, стращали, он откланивался, отшучивался, но не подавался ни на одну копейку. Даже ни одной приближенной женщины он не имел у себя, и когда, по этому случаю, некоторые зубоскалы-помещики смеялись ему, говоря: «Что это, Николай Саввич, хоть бы ты на какую-нибудь черноглазую Машеньку размахнулся от твоих миллионов», — «Зачем же-с это? Женюсь, так своя будет», — отвечал он обыкновенно. Кто бы с ним ни

говорил, особенно из людей маленьких и почему-либо от него зависящих, всякий чувствовал какую-то смертельную тоску, как будто бы перед ним стоял автомат, которого ничем нельзя было тронуть, ничего втолковать и который только и повторял свое, один раз им навсегда сказанное.

В светлой, с дубовой мебелью, передней его Иосаф нашел старого еще знакомого своего, любимого приказчика покойного Саввы Лукича, совсем уж поседевшего и плешивого.

— Здравствуйте, батюшка Иосаф Иосафыч,— сказал тот, тоже признав его.

— А что, хозяин дома? — спросил Ферапонтов.

В ответ на это старик вынул из кармана круглые, старинные часы и, посмотрев на них, произнес:

— Теперь еще нет, а через двадцать минут будут дома!

— Да верно ли это?

— Верно... Это уж у нас верно! — отвечал старик.

В голосе его в одно и то же время слышалась грусть и насмешка.

Через двадцать минут Родионов действительно приехал.

— А, здравствуйте! Сюда пожалуйте,— сказал он, увидев Иосафа и проходя скорым, деловым шагом.

Далее, впрочем, залы он не повел его, а, остановившись у дверей в гостиную, небрежно облокотился на нее.

— Что скажете? — спросил он.

— Я к вам, Николай Саввич, с просьбой,— начал Иосаф, переминаясь с ноги на ногу.

— Слушаем-с! — произнес Родионов.

Ферапонтов рассказал ему откровенно и подробно положение Костыревой.

— Так-с, понимаем,— проговорил Родионов, все как-то гордей и бездушнее начиная смотреть.

— А между тем из имения...— продолжал Иосаф убедительнейшим бы, кажется, по его мнению, тоном,— есть там покупщики — купить лес и мельницу, так что вся недоимка сейчас бы могла быть покрыта.

— Так, так-с!.. — повторял Родионов и как бы от нетерпения принялся качать ногою.

— Не можете ли вы,— договорил, наконец, Иосаф,— одолжить ей на какие-нибудь полгода две с половиной

тысчонки, а что это верно, так третью тысячу я за нее свою вношу.

— Денег-то у меня таких нет-с,— отвечал наглейшим образом Родионов.

Иосаф даже попятился назад и усмехнулся.

— Как нет... помилуйте. В одном Приказе у вас лежит во сто раз больше того...

— Что-что лежит? Те деньги на другое нужны... Что тебе надо? — крикнул вдруг Родионов, переменяв тон и обращаясь к оборванному мужику, который вошел было в переднюю и робко пробирался по подстилке.

— Я, Миколай Саввич, пропорцию свою, выходит, теперь выставил,— заговорил мужик, прижимая к сердцу свою скоробленную руку.

— Ну, и прекрасно.

— Управляющий ваш тоже теперь говорит: ступай, говорит, к Миколаю Саввичу.

— Зачем же к Николаю-то Саввичу?

— Так как тоже, выходит, время теперь спешное: хоша бы тоже запашка теперь идет... хлеба мы покупаем.

— А вам что сказано при заподрядках? — спросил Родионов, устремляя на мужика свой леденящий душу взгляд.— Что сказано?

— Мы тоже, ваше степенство, хошь бы и наперед того, завсегда, выходит, ваши покорные рабы,— ломил между тем мужик свое.

— Да ты мне за деньги-то всегда покорен. Что ты меня тем ублажаешь. Нечего тут разговаривать... пошел вон!

— Так как тоже на знакомстве выходит; вон хошь бы и Калошинский барин; хорошо, говорит, везите, говорит, я, говорит, покупаю.

— Ну, коли покупает, так и ступай к нему. Убирайся.

Мужик, однако, постоял еще немного, почесал у себя затылок и потом неторопливо поворотил и пошел назад.

— У богатых, указывают, денег много,— снова обратился Родионов к Иосафу,— да ведь у богатого-то человека и дыр много; все их надобно заткнуть. Тебе что еще?.. — крикнул он опять на высокого уже малого, стриженного, в усах, и с ног до головы перепачканного в кирпиче, который как бы из-под земли вырос в передней.— Кто ты такой?

— Солдат... печник, ваше благородие,— отвечал тот, молодцевато вытягиваясь.

— Что же тебе?

— Сложил печку-с; совсем готова.

— Ну и ладно. Деньги ведь к командиру пойдут.

— Точно так-с, ваше благородие.

— Ну, и ступай, значит.

— На водочку бы, ваше благородие,— проговорил солдат просительным уже тоном.

— А не хочешь ли на прянички?.. Ты бы лучше на прянички попросил,— проговорил Родионов.

Солдат сконфузился.

— Обнакновение уж, ваше благородие, такое,— пробормотал он.

— Никаких и ничьих обыкновений я знать не хочу, а у меня свое; значит, налево кругом и машир на гаус.

Солдат действительно повернулся налево кругом и вышел.

Во все это время Иосафа точно с головы до ног обливали холодной водой, и только было он хотел еще раз попробовать повторить свою просьбу, как из гостиной вышел худощавый и очень, должно быть, изнуренный молодой человек.

— Что? Вы написали расчет? — спросил его Родионов, перенося на него свой леденящий взгляд.

— Написал-с,— отвечал тот почтительно.

— До свиданья,— обратился Родионов к Иосафу и сейчас же ушел к себе.

## Х

Несколько минут Ферапонтов оставался, как бы ошеломленный, на своем месте: на Родионова он возлагал последнюю свою надежду. Однако вдруг, с совершенно почти несвойственным ему чутьем, он вспомнил еще об одном отставном майоре Одинцове, таком на вид, кажется, добром, проживавшем в Порховском уезде, в усадьбе Чурилине, который, бывая иногда в Приказе, все расспрашивал писцов, кому бы ему отдать в верные руки деньги на проценты. Не откладывая времени, Ферапонтов решил сейчас же ехать к нему. Утомленный, измучен-

ный, он сбегал наскоро домой, почти ничего не пообедал и сейчас же отправился искать извозчика. Не обращая внимания на то, что с него сходил в тот день по крайней мере уже девятый пот, что его немилосердно жгло и палило солнце в бока, в затылок, он быстро шагал по распаленному почти тротуару около постоянных дворов, из которых в растворенные ворота его сильно обдавало запахом дегтя, кожи и навоза. Заходя то в тот, то в другой, он, наконец, нашел парня, который знал усадьбу Чурилино, но самого парня еще надобно было отыскать: он пил где-то в харчевне чай с земляками, так что только в вечерни выехала к услугам Иосафа, там, откуда-то с задов, телега, запряженная парю буланых лошадей. Сидевший на облучке извозчик, с продолговатым лицом и с длинным кривым носом, оказался таким огромным мужчиной, что скорей пригоден был ворочать жернова, чем управлять своими кроткими животными. Выехав из города, они сейчас же своротили на проселок. Иосаф, в чиновничьем пальто, с включенными и запыленными бакенбардами и в фуражке с кокардой, полулежал на своей кожаной подушке и смотрел вдаль... Как ни горько было у него на душе, но свежий загородный воздух проник в его грудь, и сердце невольно забилося радостью. Почти пятнадцать лет он не выезжал из города, а между тем открывающиеся виды все становились живописнее и живописнее.

Вот они спускаются по ровному скату, расходившемуся во все стороны. На нем, живописно оживляя всю окрестность, гуляло по крайней мере до ста коров. Дорога шла, направляясь к кирпичному, красного цвета, строению, с белевшим перед ним прудом. Путникам нашим пришлось проезжать почти по самому краю его, так что они даже напугали плававших тут в осоке гусей, которые, при их приближении, шумно и быстро отплыли в сторону. Поднявшись от пруда в гору, они увидели маленькую кузницу и закоптелого, в кожаном колпаке, кузнеца, возившегося у станка с лошадью. При виде их он им поклонился и молча погрозил извозчику, как человеку, вероятно, ему знакомому, молотом. Тот тоже погрозил ему кнутом. Далее потом пошли уже настоящие сельские хлебные поля. В деревне, по вытянутой в прямую линию улице, бежали мальчишки отворить им ворота.

— Славно, ребята, славно! — говорил им извозчик, быстро проезжая.

Мальчишки бежали за ними вперегонку отворить и другие воротцы.

— Ай-да, ребята! Назад поеду, беспременно по трепке каждому привезу! — отблагодарил он их на прощанье, и в то же время, кажется, ему ужасно хотелось заговорить с своим седоком.

— Это вон гавриловского барина усадьба-то, — сказал он, показывая на видневшиеся далеко-далеко строения. — Вся, братец ты мой, каменная, — прибавил он.

— Что же, он богат, видно? — спросил Иосаф.

— И, господи, сколько деньжищев; а холостой... не хочет жениться-то!..

И затем они проехали около каких-то, должно быть, заводов и, как-то пробравшись задами, мимо гумен, хмельников, вдруг наткнулись опять на деревню, но уже с отворенными воротцами. У крайней избы, на прилавке, стоял прехорошенький мальчик и ревмя ревел.

— Не плачь, не плачь, воротимся, — сказал ему ямщик.

— Да я не об вас, а об мамоньке, — отвечал ребенок.

— Эко, брат, а я думал, что об нас, — говорил зубоскал.

На половине улицы они очутились ровно перед тремя дорогами.

— О, черт! Тут, пожалуй, заплутаешь, надо поспросить, — сказал извозчик и, ловко соскочив с передка, подошел к одной избе и начал колотить в подоконник кнутовищем.

— Эй, баушка, где ты тут засохла, — выглянь-ка! — произнес он, и в окно в самом деле выглянула старуха.

— Как тут ехать в Чурилово: направо, налево или прямо в зубы?

— Ой, чтой-то, господь с тобой, зачем в зубы?.. Поезжай налево, — отвечала старуха.

— А как расстоянье-то ты обозначишь? Далеко ли еще?

— Да верст пять...

— Это ладно! Кабы не так спешно было, так в гости бы к тебе заехали. Прощай! Поворотов не будет?

— Ну, какие повороты! — заключила старуха, смотря

на него с заметным удовольствием, когда он опять молодцевато вскочил на передок и поехал.

В перелеске потом они встретили идущего по опушке мужика с топором. Извозчик не утерпел и с ним заговорил:

— Что, дядя, далеко ли до Чурилова?

— Верст семь будет,— отвечал тот сердито, уходя за кусты.

— Спасибо, что мало накинул, экой добрый,— говорил балагур...— Речка-то какая славная,— прибавил он, подъезжая к мосту.— Вот напиться бы: вода какая чистая...

— Ну, напейся,— сказал ему Иосаф, и извозчик, кинув вожжи, прямо с телеги соскочил через перила на берег и, наклонившись, напился из пригоршней.

— Солонины этой проклятой на постоялом дворе налопаешься, ужась как пьется! — сказал он и с полнейшим удовольствием, подобрав вожжи, погнал лошадей во все лопатки.

— Вон оно самое Чурилово и есть! — сказал он, мотнув головой на открывшуюся совершенно голую усадьбу, торчавшую на гладком месте, без деревца и ручейка и даже, кажется, без огорода.

Иосаф между тем начинал чувствовать всю щекотливость своего положения: ехать в первый раз в дом и прямо просить денег, черт знает что такое! Но зато извозчик не унывал: как будто бы везя какого-нибудь генерала, он бойко подлетел к воротам на красный, огороженный простым огородом двор и сразу остановил лошадей. Окончательно растерявшийся Иосаф начал вылезать из телеги, и странная, совершенно неожиданная сцена представилась его глазам: на задней галерее господского дома, тоже какого-то обглоданного, сидела пожилая, толстая и с сердитым лицом дама и вязала чулок; а на рундучке крыльца стоял сам майор Одинцов, в отставном военном сюртуке, в широких шальварах и в спальных сапогах. Он выщелкивал языком «Камаринскую» и в то же время представлял рукой, что как будто играет на балалайке, между тем как молодой дворовый малый, с истощенным и печальным лицом, в башмаках на босу ногу, отчаянно выплясывал перед ним на песке. По временам майор взмахивал рукой, и малый, приостановясь в ухарской позе и вскинув руками, шевелясь всем телом,



как делают это цыгане, начинал гагайкать: Ха, ха, ха, ха! Ха, ха, ха, ха! Майор при этом тоже прихлопывал в ладоши и прикрикивал: Ха, ха, ха, ха! Ха, ха, ха, ха!

— Иван Дмитрич, прекратите, наконец, это! К нам кто-то приехал,— сказала ему вполголоса дама.

— А, извините! — проговорил майор, увидев подходящего Иосафа и сходя к нему с крыльца.

— Извините!

Иосаф, в свою очередь, тоже извинился и назвал свою фамилию.

— Вы меня, может быть, не узнали? — прибавил он.

— Напротив, душевно рад... Каково пляшет? — прибавил майор, указывая на стоявшего уже в вытяжку малого.

Иосаф не мог при этом не заметить, что лицо хозяина сильно пылало, а из рта несло как из винной бочки.

— Однако позвольте же вам представить: супруга моя, Настасья Ардальоновна! — сказал, расшаркиваясь, майор и показывая на даму.— Прошу покорнейше в комнаты. Ты тоже иди! — прибавил он парню.

Все вошли в залу: Ферापонтов впереди, а хозяин сзади его и все продолжая расшаркиваться. Хозяйка явилась через другие двери и сейчас же села и приняла как бы наблюдательный пост. В комнате этой, несмотря на ходивший всюду сквозной ветер, почему-то сильно пахнуло кошками.

— Позвольте мне перед вами потанцевать? — проговорил вдруг майор, усадив гостя.

— Сделайте одолжение,— отвечал Иосаф.

— Мазурку вам угодно? — продолжал хозяин.

— Что вам угодно,— отвечал Иосаф.

— Иван Дмитрич, надобно бы, кажется, это оставить,— произнесла хозяйка, но майор только махнул ей рукою.

— Митька! — крикнул он.

В залу вошел тот же малый.

— Мазурочный вальс! Играй и учись у меня!

Парень подошел к стоявшему в углу полинялому ящику, похлестнул что-то тут около него и, воткнув в дыру висевший на стене ключ, начал им вертеть. Оказалось, что это был небольшой органчик: «Трым-трым! Трым-трым!» — заиграл он мазурку Хлопицкого, и майор,

как бы ведя под руку даму, нежно делая ей глазками, пошел, пристукивая ногами, откалывать танец.

— Но, может быть, вам скучно это? Угодно вальс? — сказал он, сделав несколько туров и обращаясь к Иосафу.

— Иван Дмитрич, прекратите это, — молила его жена.

— Мне все равно-с, — отвечал Иосаф.

— Вальс! — скомандовал майор малому, и тот, опять что-то похимостивши у ящика, заиграл вальс.

Майор, держа несколько голову набок, начал вертеться в три па.

— Ух! Нынче уставать стал: не могу много, — сказал он, останавливаясь перед Иосафом. — Позвольте же, однако, предложить вам рюмку водки. Малый, водки!

— Нет, уж этого по крайней мере не будет! — сказала хозяйка, как-то решительно вставая.

— Чего-с? — произнес майор, и всю правую щеку у него подернуло.

— А того, что этого нельзя, — проговорила она и вышла.

— Ты, харя, пошел, подавай! — повторил майор малому.

Тот нехотя вышел.

— Как ваше здоровье? — обратился майор опять к Иосафу.

— Слава богу-с, — отвечал тот.

— Очень рад с вами познакомиться, — прибавил майор, протягивая ему руку. — Митька!

Митька снова показался.

— Водки! Убью!

— Барыня заперла и не изволит-с давать.

— Цыц! Убью! Поди встань передо мной на колени.

Малый, совсем уж бледный, подошел и встал.

— Кто такой я?.. Говори!.. Я села Чурилова Семен майор Одинцов... Водки — живо!

— Да помилуйте, сударь, разве я-с?.. Барыня.

— Убью! Вот тебе! — крикнул майор и ударил бедняка в ухо, так что тот повалился.

— Полноте, что вы делаете? — вскричал, наконец, Иосаф, вскакивая и подходя к майору.

— Кто ты такой? — проговорил тот, обращая уже к нему свое ожесточенное лицо.

— Я Ферапонтов, а вы не шумите.

— Как ты смел ко мне приехать! Кто ты такой? По-

шел вон! Убью! — кричал майор и кинулся было к Иосафу драться, но тот, и сам весь день раздражаемый, вышел из себя.

— Прежде чем ты убьешь меня, я тебя самого задушу, — сказал он и, схватив хозяина за шиворот, оттолкнул от себя.

— Караул! Режут! — завопил майор, падая со всего размаха между стульями головой.

— Ну да, покричи еще! — говорил Иосаф и, оборотясь к малому, прибавил: — Поди, брат, пожалуйста, скажи, чтобы мои лошади ехали за мною.

Тот побежал.

— Пошел вон! Убью! — кричал между тем майор.

Иосаф, выйдя на крыльцо, всплеснул только руками.

— Что это такое, господи ты боже мой! Зачем я приезжал к этому скоту? — произнес он и пошел один по дороге.

Невдолге, впрочем, его нагнал и извозчик, и едва Иосаф уселся в телегу, как он сейчас же начал болтать.

— Попали же мы, паря, на гости... Седьмое ведро, братец ты мой, на этой неделе уж оторачивает.

— Что ж он запоем, что ли, пьет? — спросил Иосаф.

— Должно быть, есть маненько... парит черта-то в брюхе... С утра до вечера на каменку-то поддает. Я теперь поехал, так словно ополченный какой ходит по двору, только то и орет: «Убью, перережу всех!» Людишки уж все разбежались, а барыня так ажно в сусек, в рожь, зарылась. Вот бы кого хлестать-то!

— Уж именно, — подтвердил Ферапонтов.

— Куда же ехать, однако? — заключил извозчик, повертывая к нему свое добродушное и вместе с тем насмешливое лицо.

Иосаф, подумав некоторое время, проговорил:

— Поедем к гавриловскому барину; авось тот не таков.

— Известно, тот барин крупичастый, а ведь это что?.. Орженовики! — объяснил извозчик и погнался рысцой своих лошадок, бежавших вряд ли уж не шестидесятую версту не кормя. Солнце между тем садилось, слегка золотя ярко-розовым цветом края кучковатых облаков, скопившихся на горизонте. По влажным сенокосным лугам начал подниматься беловатый густой туман росы, и кричали то тут, то там коростеля. Версты через четыре пока-

залось, наконец, и Гаврилково. Точно феодальный замок, возвышалось оно своим огромным домом с идущими от него вправо и влево крыльями флигелей. Прямо от него начинал спускаться под гору старинный густо разросшийся сад, а под ним шумно и бойко протекала лучшая во всем околотке река. Проехав по мосту и взобравшись в гору по дорожке, обсаженной липами, Иосаф не осмелился подъехать прямо к дому, а велел своему извозчику сходить в который-нибудь флигель и сказать людям, что запоздал проезжий губернский чиновник из Приказа, Феррапонтов, и просит, что не примут ли его ночевать.

Извозчик сбегал.

— В дом, к барину велели вас звать,— повестил он Иосафа с удовольствием.

Тот пошел.

На нижних ступенях далеко выдающегося крыльца стоял уже и дожидался его ливрейный лакей. Он провел Иосафа по широкой лестнице, устланной ковром и уставленной цветами, и, сняв потом с него, без малейшей гримасы, старое, запыленное пальтишко, проговорил тихо:

— В гостиную пожалуйте!

Иосаф робко прошел по темной зале с двумя просветами и в гостиной, слабо освещенной столовой лампой, он увидел на стенах огромные, масляной краски, картины в золотых рамках, на которых чернели надписи: Мурильо, Корреджио. Висевшая над дверьми во внутренние комнаты толстая ковровая портьера, наконец, заколыхалась, и из-за нее показался хозяин, высокий мужчина, с задумчивыми, но приятными чертами лица, несколько уже плешивый и с проседью; одет он был в черное, наглухо застегнутое пальто и, по начинавшей уже тогда вкрадываться между помещиками моде, носил бороду.

— Я вас немножко знаю,— сказал он любезно, подавая Иосафу руку.

Тот тоже объявил, что имел счастье видеть его иногда в Приказе.

— Прошу вас,— сказал Гаврилов, показывая гостю на одну сторону дивана и садясь сам на другой его конец.— Вы, вероятно, были у кого-нибудь из родных или знакомых ваших в нашем уезде? — спросил он его мягким и ровным голосом.

— Нет-с, я ездю-с по одному адвокатному делу, в ко-

тором и к вам бы имел покорнейшую просьбу,— начал прямо Иосаф, вставая перед Гавриловым на ноги.

— Ваш покорнейший слуга,— отвечал тот, потупляя свои умные глаза.

— Дело-с это принадлежит госпоже Костыревой... Может быть, даже вы изволите ее знать.

— Костыревой?..— повторил Гаврилов.— Костырева я знал.

— Это ее покойный муж. Он оставил ей теперь очень запутанное имение, из которого она желала бы продать лес и мельницу, и вот именно по этому предмету поручила мне обратиться к вам.

— Ко мне? — спросил Гаврилов, как бы несколько удивленный.

— Да-с, продать она готова весьма дешево, и с ее стороны единственное условие, чтобы деньги доставить ей теперь же, а купчую получить после, когда имение будет очищено по Приказу.

— Но что же меня удостоверит, что имение будет очищено? — сказал Гаврилов уже с улыбкой.

— Вы сами можете, если вам угодно, внести прямо от своего имени деньги в Приказ.

— Да,— произнес Гаврилов размышляющим тоном,— но в таком случае, что меня обеспечит, что эти мельница и лес будут именно мне проданы?

— Насчет этого-с вы изволите с продавицей заключить домашнее условие.

— Да,— повторил Гаврилов еще более протяжно и задумчиво,— но об этом надо подумать,— прибавил он и, попрося снова Иосафа садиться, сейчас же переменял разговор. Он стал расспрашивать его о капиталах Приказа, его оборотах, не высказывая с своей стороны ни одной мысли, но зато с самым вежливым вниманием прислушиваясь ко всем ответам Ферапонтова. За ужином, который последовал часов в одиннадцать, были поданы на серебряных блюдах разварная рыба и жареная дичь, так прекрасно приготовленные, что Иосаф даже никогда ничего подобного и не едал. Кроме того, Гаврилов несколько раз из своих рук подливал ему в стакан весьма высокой цены медаку, так что герой мой даже начал конфузиться от такого рода внимания. Когда вышли из-за стола, он осмелился еще раз повторить свою просьбу и спросить, когда он может получить ответ.

— Я вам завтра же скажу,— отвечал Гаврилов и чрезвычайно радушно приказал одному из своих лакеев проводить гостя в приготовленную для него комнату.

Как ни мило и ни уютно было прибрано в этой спальне, как ни покойна была приготовленная постель с чистым, как снег, бельем, однако Иосаф всю ночь проворочался, задавая себе вопрос: даст ли Гаврилов денег, или нет? Поутру, узнав от лакея, что барин еще не выходил, он, чтобы как-нибудь сократить время, вышел в сад и, выбрав случайно одну дорожку, прямо пришел к оранжерее. Боже мой! Сколько увидал он тут цветов и за стеклами и на вольном воздухе, в стройном порядке рассаженных по куртинам. Половине из них Иосаф даже и названия не знал, но все-таки, безмерно восхитившись душой, начал рассматривать то тот, то другой, нюхать их, заглядывать вовнутрь их махровых чашечек. В самой оранжерее, при виде гигантской зелени, растущей то широкими лопастями, то ланцетовидными длинными листьями, у Иосафа окончательно разбежались глаза, и в то время, как он так искренно предавался столь невинному занятию, почти забыв о своем деле, сам хозяин думал и помнил о нем, ходя по своему огромному кабинету.

Глядя на умное и выразительное лицо Гаврилова, на его до сих пор еще величественный стан, конечно, каждый бы почувствовал к нему невольное сердечное влечение; а между тем как странно и безвестно прошла вся жизнь этого человека: еще в чине поручика гвардии, глубоко оскорбившись за то, что обойден был ротой, он вышел в отставку и поселился в Бакалайском уезде, и с тех пор про него постоянно шла такого рода молва, что он был примерный сын в отношении своей старушки-матери, женщины очень богатой, некогда бывшей статс-дамы, а потом безвестно проживавшей в своем Гаврилкове, и больше ничего об нем нельзя было сказать.

Даже небогатые соседи и соседки, допускаемые иногда статс-дамою до своей особы, безмерно удивлялись, видя, что такой умный молодой человек, в полном развитии сил и здоровья, целые дни сидит у старушки, в ее натопленной спальне, обитой по всем четырем стенам коврами, с лампадками, с иконами, и сохраняет к ней такое обращение, какого они от своих сынков во всю жизнь и не видывали. Раза четыре по крайней мере в год Гаврилов ездил с матерью на богомолье, не позволяя при этом

случае никому ни посадить, ни высадить ее из экипажа. Узнав ее желание, чтобы хозяйство шло несколько построжее, он объехал все деревни, выбил там самую старую недоимку, сменил и пересек нескольких старост, докладывая ей о каждой мелочи и испрашивая на все ее разрешения.

О женитьбе, так как сама старушка никогда не намекала на это, он не смел, кажется, и подумать и даже обыкновенную легкую помещичью любовь не позволил себе завести у себя дома, а устроил это в уездном городке, верст за тридцать от Гаврилкова, с величайшею тайнственностью и платя огромные деньги, чтобы только как-нибудь это не огласилось и, чего боже сохрани, не дошло до татапа!

Тридцатого марта сорок восьмого года старуха, наконец, умерла. Удар этот, казалось бы, должен был сильно нравственно потрясти Гаврилова. Однако нет! С глубоко огорченным выражением в лице, он всеми приготовлениями к парадным похоронам распорядился сам; своими собственными руками положил мертвую в гроб, в продолжение всей церемонии ни одной двери, которую следовало, не забыв притворить, и тотчас же, возвратясь после похорон домой, заперся в спальне покойницы, отворил и пересмотрел все ее хитро и крепко запертые комоды и шифоньеры. Сколько он там нашел, неизвестно, но только в продолжение довольно значительного времени во всей его благородной фигуре было видно выражение какого-то самодовольства, как бы от сознания новой, до сих пор еще не испытанной им силы, а затем страсть к корысти заметно уже стала отражаться во всех его действиях. Точно так же, как прежде *повиноваться матери*, теперь *делать деньги* сделалось как бы девизом его жизни. Ни с кем почти из соседей не поддерживая тесного знакомства и только слегка еще оставляя заведенную старухой в домашней жизни роскошь, он то и дело что хозяйничал: распространял усилением барщины хлебопашество, скупал с аукциона небольшие сиротские имения, вступал в сподручные к его деревням подряды, и все это он совершал как-то необыкновенно тихо, спокойно и даже несколько задумчиво, как будто бы он вовсе ничего и не делал, а все это само ему плыло в руки.

Стяжав от всего почти дворянства имя прекраснейшего человека, Гаврилов в самом деле, судя по наружности,

не подпадал никакого рода укору не только в каком-нибудь черном, но даже хоть сколько-нибудь двусмысленно-честном поступке, а между тем, если хотите, вся жизнь его была преступление: «Раб ленивый», ни разу не добыв своим плечиком копейки, он постоянно жил в богатстве, мало того: скопил и довел свое состояние до миллиона, никогда ничем не жертвуя и не рискуя; какой-нибудь плантатор южных штатов по крайней мере борется с природою, а иногда с дикими племенами и зверями, наконец, улучшает самое дело, а тут ровно ничего! Ни дела, ни борьбы, ни улучшения, а сиди себе спокойно и копи, бог знает зачем и для чего! И как всегда в этом случае бывает: чем больше подрастал золотой телец Гаврилова, тем сам он к нему становился пристрастней и пристрастней: даже в настоящем случае (смешно сказать) он серьезно размышлял о грошовом предложении Иосафа, из которого, по его расчетам, можно бы было извлечь выгоду, и только все еще несколько остававшийся в нем аристократический взгляд на вещи помешал ему в том.

«Какая-то Костырева, которой мужа он знал за гадкого пьяницу; наконец, этот неуклюжий шершавый ходатай, и связаться с этими господами... Нет, черт с ним!» — решил он мысленно и проворно позвонил.

— Попроси ко мне этого господина чиновника, — сказал он вошедшему лакею.

Через несколько времени Иосаф явился бледный и с замирающим сердцем.

— Я не могу идти на предлагаемое вами дело, — начал Гаврилов.

Иосафа покорило.

— Отчего же-с?.. Помилуйте, — проговорил он до смешного жалобным голосом.

— Оттого, что это совершенно выходит из заведенного мною порядка, — сказал Гаврилов таким покойным и решительным тоном, что Иосаф окончательно замер, очень хорошо понимая, что с пьяным майором, с жидомором Фарфоровским, даже с аспидом Родионовым, можно было еще говорить и добиться от них чего-нибудь, но с Гавриловым нет.

Забыв всякую деликатность, Иосаф сейчас же начал раскланиваться.

— Зачем же? Вы позавтракайте у меня, — проговорил Гаврилов опять уже приветливым голосом.



Иосаф болтнул ему что-то такое в извинение и стал раскланиваться.

— Очень жаль,— говорил Гаврилов, неторопливо вставая и провожая его до половины гостиной.

Добравшись до своего экипажа, Ферапонтов, как тяжелый хлебный куль, опустился на него и сказал глухим голосом своему вознице: «Пошел!» Тот обернулся и посмотрел на него.

— Да что вы, с делами, что ли, с какими ездите по господам этим? — спросил он.

— Езжу денег заимать и нигде не могу найти,— отвечал неторопливо Иосаф.

— И здешний не дал?

— Нет.

— Поди ж ты! — произнес извозчик, и покачал головой.— К старухе, братец ты мой, разве к одной тут, небогатой дворяночке, заехать,— прибавил он подумав.— Старейшая старуха, с усами седыми, как у солдата; именья-то всего две девки.

— А деньги есть?

— Есть! Прежде даывала, одолжала кой-кого, по знакомству. Тогда покойному батьке — скотской падеж был, две лошади у него пали — слова, братец ты мой, не сказала, ссудила ему тогда сто пятьдесят рублей серебром,— мужику какому-нибудь простому.

— Вези к ней,— сказал Иосаф.

— Ладно,— отвечал извозчик и с заметным удовольствием сейчас же поворотил на другую дорогу, по которой, проехав с версту, они стали спускаться с высочайшей горы в так называемые реки. Пространство это было верст на тридцать кругом раскинувшиеся гладкие поемные луга, испещренные то тут, то там пробегавшими по ним небольшими речками. Со всех сторон их окружали горы, на вершинах которых чернели деревни, а по склонам расстились, словно бархатные ковры, поля, то зеленеющие хлебом, то какого-то бурого цвета и только что, видно, перед тем вспаханные. Выбравшись из этой ложбины, путники наши поехали по страшной уже бестолочи: то вдруг шли ни с того ни с сего огромнейшие поля, тогда как и жилья нигде никакого не было видно, то начинался перелесок, со въезда довольно редкий, но постепенно густевший, густевший; вместо мелкого березняка появлялись огромные осины и сосны, наконец, представлялась совер-

шенная уж глушь; но потом и это сразу же начинало редеть, и открывалось опять поле. Утомленный бессонницей нескольких ночей, Иосаф задремал и затем, совсем уж повалившись на свою кожаную подушку, захрапел. Его разбудил уж извозчик, говоря: «Барин, а барин!» Он открыл глаза и привстал. Они ехали по узенькому прогону к какому-то, должно быть, селу. На крылечке новенького деревянного и несколько на дворянский лад выстроенного домика стояла здоровая девка, с лентой в косе, с стеклянными сережками и в босовиках с оторочкой.

— Здорова, красноногая гусыня! — сказал извозчик, подъезжая к ней и останавливая лошадей.

— На-ка кто? Михайло! Откуда нелегкая несет?

— С барином ежжу.

— Еще, пес, словно выше вырос,— продолжала девка.

— Да к тебе-то уж очень больно рвался, так и повытянуло, знать, маненько. Дома барыня-то?

— Дома!

— Вылезайте,— сказал извозчик Иосафу, но тот медлил.

— Ты сходи прежде сам и объясни ей прямо мое дело, а то мне вдруг неловко,— произнес он нерешительным голосом.

— Пожалуй-с! — отвечал извозчик и, откашлянувшись, пошел на крыльцо.

— О, черт, толстая какая! — сказал он и ударил девку по плечу.

— Ой, да больно! Чтой-то, леший! — сказала та, взглянув на него ласково.

Из комнаты потом слышались усиленные восклицания извозчика: «С барином ежжу-с»; затем следовал какой-то гул, потом снова голос извозчика и опять восклицание: «С барином — право-с».

Девка между тем, поджав руки на груди, глядела на Иосафа.

— Нови, что ли, вы собирать приехали? — спросила она. Тот вспыхнул.

— Нет,— отвечал он, отворачиваясь и стараясь избегнуть ее взоров.

— Пожалуйте-с! — крикнул ему извозчик из сеней.

Иосаф не совсем смело пошел.

В первой же со входа комнате он увидел старуху, в самом деле с усами и бородой, стриженую, в капотишке и

без всяких следов женских грудей. Она сидела на диванчике, облокотившись одной рукой на столик и совершенно по-мужски закинув ногу на ногу.

Ферапонтов раскланялся ей.

— Здравствуйте! — проговорила она почти басом.

Иосаф, утирая с лица платком пыль, сел на дальний стул.

— Что вы, из самой губернии, что ли?

— Из губернского города-с.

— Пошто же вы от Гаврилова-то едете?

— Я езжу по делу, о котором вам, может быть, говорил мой извозчик...

— Не знаю... болтал он что-то такое тут... Я и не разобрала хорошенько... Какие у меня деньги!

— Мы бы вам были самые верные плательщики, — сказал Иосаф, сделав при этом по обыкновению умильное лицо.

— Никаких у меня денег нет, что он врет? Марфутка!

В горницу вошла та же девка, но что-то уж очень раскрасневшаяся, как будто бы она сейчас только с кем-нибудь сильно играла.

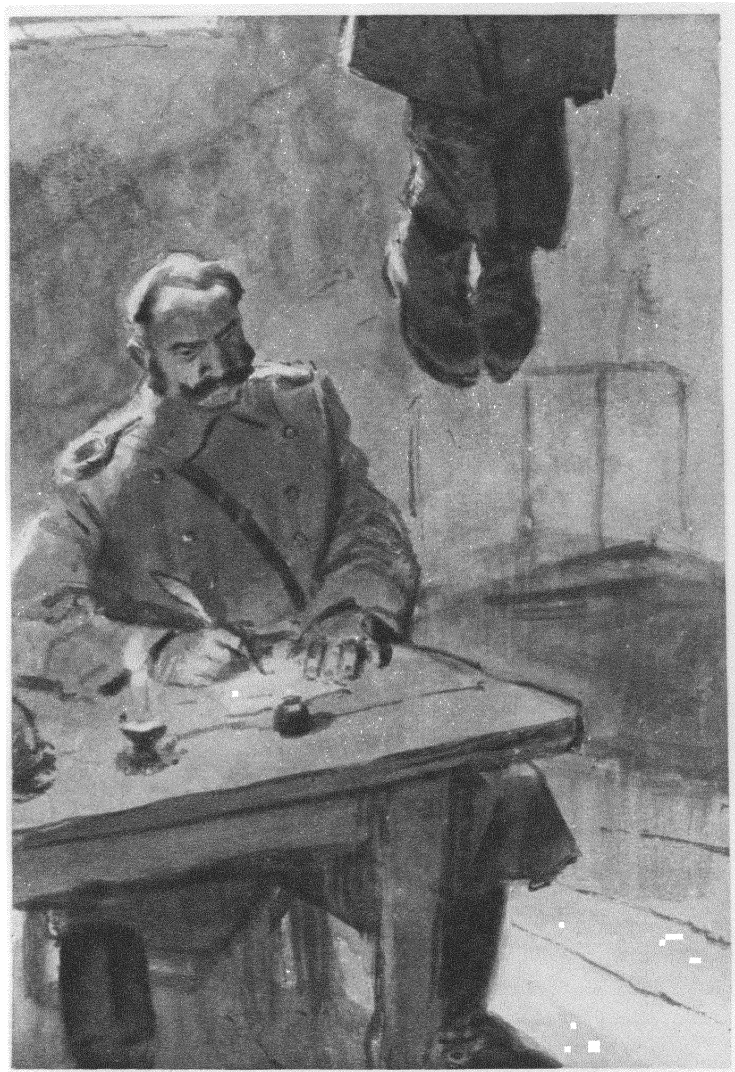
— Готово ли там у тебя?

— Готово, барыня, — отвечала она.

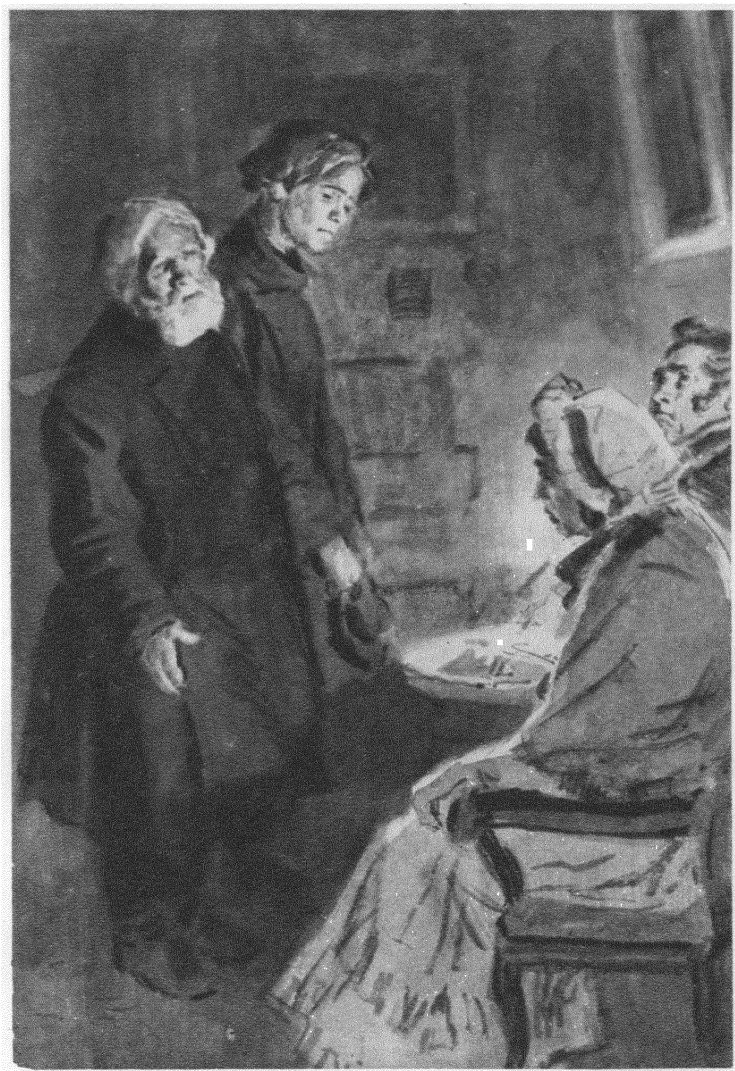
— Ну, вы посидите тут; а я в баню схожу! — сказала старуха, обращаясь к Иосафу.

И затем, слегка простонав, приподнялась и ушла.

Ферапонтов вслед ей только вздохнул и от нечего делать пересел к растворенному окну. В другое окно из избы, выстроенной в одной связи с барской половиной, выглядывала улыбающаяся и довольная рожа его извозчика. Таким образом прошло около двух часов. В это время Иосаф видел, что Марфутка, еще более раскрасневшаяся, с намоченной головой и с подтыканным подолом, то и дело что прибегала из бани на пруд за холодной водой, каждый раз как-то подозрительно переглядываясь с извозчиком. Наконец, старуху, наглухо закутанную и с опущенной, как бы в бесчувственности, головой, две ее прислужницы — Марфа, совсем уже пылавшая, и другая, несколько постарше и посолидней ее на вид, — втащили в комнату под руки и прямо опустили на диванчик. От нее так и несло распаренным телом и бобковой мазью. Несколько минут она не подымала головы и не открывала глаз, так что Иосаф подумал, не умерла ли уж она.



«СТАРЧЕСКИЙ ГРЕХ».



«БАТЬКА».

— Не дурно ли им? — спросил он.

— Нету-тка-с! — отвечала Марфа. — Семь веников ихлестала об нее, за неволю очекуреешь! — прибавила она шепотом и вышла.

— Палагея! — произнесла, наконец, старуха.

— Я здесь, матушка, — отвечала другая девка, почти-тельно приближаясь к барыне.

— Заварила ли травки?

— Заварила, матушка-барыня, заварила.

— Подавай. Чаю у меня нет, а я богородицыну травку пью, — объявила старуха Иосафу.

Палагея между тем возвратилась и принесла в пригоршнях, прихватив передником, муравлений с рыльцем горшочек, аккуратно разостлала потом перед барыней на столе толстую салфетку и вынула из шкафчика чайную чашку и очень немного медовых сотов на блюдечке.

— Налей! — приказала ей та.

Палагея налила в чашку какой-то буроватой жидкости.

Старуха, беря по крошечке сотов и сося их, начала за-пивать своим напитком и после каждого почти глотка по-вторяла:

— Ой, хорошо! Так и жжет в брюшке-то. Может, и вы хотите? — отнеслась она к Иосафу; но тот отказался. — Ну, так вы поели бы чего-нибудь, — продолжала старуха и взглянула на свою прислужницу. — В печке у тебя брюква-то?

— В печке, матушка, с утра не вынимала.

— Принеси.

Палагея опять вышла и на этот раз уж приворотила целую корчагу с пареной брюквой, до такой степени про-вопившей, что душина от нее перебил даже запах бобковой мази. Она своей грязной рукой выворотила Иосафу на тарелку огромнейшую брюкву, подала потом ему хлеба и соли; но как он ни был голоден, однако попробовал и не мог более продолжать.

— Что вы не едите? С маслом оно вкусней. Подай ма-сло-то.

Девка подала; но Иосаф и с маслом не мог; зато сама старуха взяла никак не менее его кусище и почти с неж-ностью принялась его есть... По возрасту своему она до-жила уже, видно, до того полудетского состояния, когда все сладковатое начинает нравиться.

— Вы ступайте спать на сеновал. У меня там хорошо,— сказала она Иосафу и потом сейчас же вскрикнула: — Марфутка!

Та явилась и была уже совершенно расфранченная: с причесанной головой, в чистой рубашке и в новом сарафане.

— Проводи вот их! — приказала барыня.

Иосаф видел, что со старухой о деньгах нечего было и разговаривать: он печально поклонился ей и пошел. Марфутка провела его через сени, и, когда он несколько затруднился прямо без лесенки влезть на помост, она слегка подсадила его. В полутемноте Иосаф рассмотрел посланную ему на сене постель. Он снял с себя только фрак и лег; под ним захрустело и сейчас же к одному боку скатилось пересохлое сено; над головой его что-то такое шумело и шелестело; он с большим трудом успел, наконец, догадаться, что это были развешанные сухие веники по всевозможным перекладинам. К утру его начал пробирать сильный холод; во всех членах он уже чувствовал какую-то сжимающую, неприятную ломоту и совершенно бесполезно старался поукутываться маленьким, худеньким одеялишком, не закрывавшим его почти до половины ног.

«Ах ты, старая чертовка, куда уложила», — думал он, и в это время вдруг раздались шаги то туда, то сюда, и слышался гул сиповатого голоса хозяйки. Наконец, он явственно услышал, что она кричала: «Господин чиновник! Господин чиновник! Пожалуйте сюда!» Иосаф проворно накинул на себя свой фрачишко и спустился с помоста в сени. Здесь он увидел, что в растворенных наотмашь дверях стояла, растопырив руки, расвирепелая старуха. Она была в одной рубашке и босиком. Перед ней, как-то смиренно поджав живот и опустив глазки в землю, но точно такая же нарядная, как и вчера, предстояла Марфа. Несколько поодаль, и тоже, должно быть, чем-то очень сконфуженный, стоял извозчик его Михайло.

— Господин чиновник! Я вот вам свидетельствую, что этот мерзавец... с этой моей подлой тварью... помилуйте, что это такое? — объяснила Иосафу старуха, показывая на извозчика и на девку.

— Да чтой-то, сударыня, какие вы, барыня, право! — говорил Михайло, отворачивая глаза в сторону. — Только

себя, право, беспокоите...— прибавил он и подлетел было к ее ручке.

— Прочь, развратитель!! — крикнула на него старуха.— Можете себе представить,— обратилась она опять к Иосафу,— всю ночь слышу топ-топ по чердаку то туда, то сюда... Что такое?.. Иду... глядь, соколена эта и катит отсюда и подолец обдергивает. Гляжу далее: и разбойник этот, и платочком еще рожу свою закрывает, как будто его подлой бороды и не увидят.

— Да я, право, сударыня...— заговорил было опять Михайло.

— Молчи и сейчас же бери своих одров и долой с моего двора. Я не могу терпеть в моем доме таких развратников. А тебя, мерзавка, завтра же в земский суд, завтра! — продолжала старуха, грозя девке пальцем.— Помилуйте,— отнеслась она снова к Иосафу,— каждый год, как весна, так и в тягости, а к Успенкам уж и жать не может: «Я, барыня, тяжела, не могу». Отчего ж Палагея не делает того? Всегда раба верная, раба покорная, раба честная.

— Матушка, это тоже божья власть! — ответила, наконец, и Марфа.— Палагея также не лучше нас, грешных; но так как сухой человек, так, видно, не пристаёт к ней этого.

— Молчи! — крикнула на нее старуха.— А ты убирайся: нечего тебе тут и стоять, вытянувши свою подлую харю!

Извозчик пошел.

— Позвольте уж и мне в таком случае проститься,— проговорил Иосаф.

— Как вам угодно! Ваша воля! Я вам не поперетчица,— проговорила старуха и торжественно ушла в комнату.

Девка тоже, не поднимая глаз, убралась в кухню.

Иосаф отыскал свою фуражку и пальтишко. Выйдя на крылечко, он нашел, что Михайло стоял уже тут на своей паре и только на этот раз далеко был не так разговорчив, как прежде. Иосаф, несмотря на свою скромность, даже посмеялся ему:

— Что, брат, попался?

— Да поди ж ты ее, старую ведьму, какова она! — отвечал Михайло как-то неопределенно и во всю остальную дорогу не произнес ни одного слова.



Всего еще только благовестили к поздним обедам, когда они подъехали к городу. Иосаф велел себя прямо везти к Приказу.

— Пришел наш черт-то, явился откуда-то,— перешепнулись между собой молодые писцы, когда он проходил, не отвечая почти никому на поклоны, через канцелярию в присутствии.

Член уж был там и собирался ехать к губернатору.

— Что это вы не ходили? — спросил он.

— Болен был-с,— отвечал Иосаф.

— Ну, примите без меня, если что спешное будет,— проговорил старик, уходя.

— Хорошо-с,— отвечал Иосаф и остался в присутствии.

Он подошел по обыкновению к своему любимому окну и стал грустно смотреть в него.

— Здравствуйте, батюшка Иосаф Иосафыч,— раздался почти над самым ухом его какой-то необыкновенно вежливый голос.

Бухгалтер обернулся — это был бурмистр графа Араксина, всего еще мужик лет тридцати пяти, стройный, красавец из себя, в длиннополом тончайшего сукна сюртуке, в сапогах с раструбами, с пуховой фуражкой и даже с зонтом в руке, чтобы не очень загореть на солнце.

— Взнос за вотчину! — проговорил он, проворно вытаскивая из кармана своих плисовых штанов огромную пачку ассигнаций и кладя на стол.—Квитанцию, Иосаф Иосафыч, нельзя ли, сделать божескую милость, к имению выслать,— прибавил он.

— К имению?

— Да-с, так как я тоже теперь еду в саратовские вотчины. Его сиятельство, господин граф, так и писать изволили: деньги, говорит, ты внеси, а квитанция чтобы, говорит, здесь была, по здешним, значит, прихода-расходным книгам зачислена.

— Где ж тут нам пересылать? Завалается еще как-нибудь! — проговорил Иосаф, механически считая деньги.

— Да ведь это, сударь, что ж такое? Все единственно... Ежели мы теперь деньги внесли, все одно покойны, хошь бы они, сколь ни есть, тут пролежали.

В печальном лице Иосафа вдруг как бы на мгновение промелькнул луч радости.

— Ты когда сюда вернешься? — проговорил он каким-то странным голосом.

— Да ближе рождества, пожалуй, что не обернешь; не воротись ранее.

— Тогда сам и получишь квитанцию.

При этих словах у Иосафа заметно уже дрожал голос.

— Слушаюсь, — отвечал покорно бурмистр.

— Тогда и получишь, — повторил Иосаф.

— Слушаю-с. Сделайте милость, батюшка, уж не оставьте.

— Будь покоен, — говорил Ферапонтов, потупляя глаза.

— Желаю всякого благополучия, — сказал бурмистр, раскланиваясь.

— И тебе того же, любезный, желаю, — отвечал Иосаф и подал даже бурмистру руку.

Тот, очень довольный этим, еще раз раскланялся и вышел.

Выражение лица Ферапонтова в ту же минуту изменилось: по нем пошли какие-то багровые пятна. Он скорыми шагами заходил по комнате, грыз у себя ногти, потирал грудь и потом вдруг схватил и разорвал поданное вместе с деньгами бурмистром объявление на мелкие кусочки, засунул их в рот и, еще прожевывая их, сел к столу и написал какую-то другую бумагу, вложил в нее бурмистровы деньги и, положив все это на стол, отошел опять к окну.

Спустя недолго воротился и непременный член. Кряхтя и охая, он уселся на свое место.

— Взнос тут есть, — проговорил Иосаф, не оборачиваясь и продолжая смотреть в окно.

Старик, надев очки, стал неторопливо просматривать бумагу.

— А, ну вот, — Костырева внесла, — проговорил он, наконец.

Иосафа подернуло.

— Михайло Петрович, позвольте мне опять домой уйти, я опять себя чувствую нехорошо, — произнес он.

— Ступайте, ступайте, в самом деле вы какой-то пересовращенный, — сказал начальник, глядя на него с участием.

Иосаф, по-прежнему ни на кого не глядя, прошел канцелярию. Спустившись с лестницы и постояв несколько времени в раздумье, он пошел не домой, а отправился к дому Дурындиных. Там у ворот на лавочке он увидел сидящего лакея-казачка.

— Дома господа? — спросил он.

— Никак нет-с, — отвечал тот.

Иосаф побледнел.

— Где же они?

— Гулять ушли-с на бульвар.

У Иосафа отлегло от сердца.

— Ну, так и я туда пойду, — проговорил он уже с улыбкой и, вынув из кармана рубль серебром, дал его лакею.

Тот даже удивился.

— Они там-с наверное, — подтвердил он.

Иосаф проворно зашагал к бульвару. На средней главной аллее он еще издали узнал идущего впереди под ручку с сестрою Бжестовского, который был на этот раз в пестром пиджаке, с тоненькой, из китового уса, тросточкой и в соломенной шляпе. На Эмилии была та же белая шляпа, тот же белый кашемировый бурнус, но только надетый на голубое барежевое платье, которое, низко спускаясь сзади, волочилось по песку. Какой-то королевой с царственным шлейфом показалась она Иосафу. На половине дорожки он их нагнал.

— Ах, Асаф Асафыч! — воскликнула Эмилия и заметно сконфузилась. — Скажите, где вы это пропадали?

— Я ездил-с и сейчас только вернулся, — отвечал Иосаф и тут только, встретясь с такими нарядными людьми, заметил, что он был небрит, весь перемаран, в пуху и в грязи, и сильно того устыдился. — Извините, я в чем был в дороге, в том и являюсь! — проговорил он.

— О, боже мой, только бы видеть вас! — сказала Эмилия и, оставив руку брата, пошла рядом с Иосафом. — Но где ж вы именно были? — спросила она.

— Я ездил-с по вашему делу. Оно кончено теперь... Я сегодня и деньги уже внес.

— Нет, не может быть? — воскликнула Эмилия растерянным голосом, и щечки ее слегка задрожали и покрылись румянцем, на глазах навернулись слезы.

— Внес-с, — отвечал Иосаф, тоже едва сдерживая волнение.

— Брат! Асаф Асафыч говорит,— продолжала Эмилия, относясь к Бжестовскому,— что он наше дело кончил и внес за нас.

— Не может быть! — воскликнул тот, очень, кажется, в свою очередь, тоже удивленный.— Но где же вы денег взяли?

— Я занял тут у одного господина! — отвечал с улыбкой Иосаф.— Теперь только надо поскорее продать вам лес и мельницу.

— Ну да, непременно, как можно скорее! — проговорила с нервным нетерпением Эмилия.

— Я готов хоть завтра же ехать,— отвечал, пожимая плечами, Бжестовский.

— Да уж, пожалуйста; а то мне, пожалуй, худо будет,— проговорил Иосаф и опять улыбнулся.

— Боже мой! Я опомниться еще хорошенько не могу,— говорила Эмилия, беря себя за голову.— Асаф Асафыч, дайте мне вашу руку,— прибавила она.

Иосаф подал.

— Но, может быть, вы не любите с дамами ходить под руку,— сказала она, пройдя несколько шагов.

— Напротив-с,— это для меня такое блаженство,— отвечал Иосаф.

Эмилия крепко оперлась на его руку. Герой мой в одно и то же время блаженствовал и сгорал стыдом. Между тем погода совершенно переменилась; в воздухе сделалось так тихо, что ни один листок на деревьях не шевелился; на небе со всех сторон надвигались черные, как вороново крыло, тучи, и начинало уж вдали погремливать.

— Боже мой, мой бедный бурнус! — воскликнула Эмилия, показывая на упавшие на него две-три дождевые капли.

— Прикажите, я позову извозчика! — предложил Иосаф.

— Да, пожалуйста, бурнус и шляпка еще ничего; но я в прюнелевых ботинках: промочу ноги и непременно заболею.

— Сейчас-с! — отвечал Иосаф и бегом побежал к воротам бульвара, из которых была видна извозчицья биржа.

— Извозчик! Извозчик! — закричал он благим матом.

Их подъехало несколько. Иосаф выбрал самые покойные пролетки и, посадив на них Эмилию, другое место хотел было уступить Бжестовскому.

— Садитесь, Асаф Асафыч; брат дойдет и пешком,— сказала Эмилия.

— Я дойду,— отвечал Бжестовский, кивая головой и по-прежнему не переставая улыбаться той странной улыбкой, которая почти не сходила с его лица, когда он видел Иосафа.

Тот сел около своей дамы несколько боком. Извозчик, желая довести господ домой до дождя, погнал во все лопатки. Мостовая, как водится, была мерзейшая. Пролетка кидалась из стороны в сторону. Эмилия беспрестанно прижималась к Иосафу почти всей грудью, брала без всякой осторожности его за руку и опиралась на нее. Положение Феррапонтова начинало становиться невыносимым: у него то бросалась кровь в голову, то прилиwała вся к сердцу. Когда подъехали к дому, он едва сообразил, что ему следует попроворней встать и подать его даме руку.

— Пойдемте, Асаф Асафыч; брат не скоро еще подойдет,— сказала она и побежала на лестницу.

Не зная, как понимать эти слова, Иосаф последовал за нею. Эмилия сняла шляпку и бурнус и сделалась еще милее. На дворе в это время ударил проливной дождь, и становилось темнее и темнее: в комнатах стало походить как бы на сумерки.

Гость и хозяйка начали ходить по зале.

— Я посылала к вам по крайней мере раз пять человека,— говорила Эмилия,— но сказали, что вы уехали, а куда — неизвестно. Это было немножко жестоко с вашей стороны.

— Я не предполагал так долго проездить,— оправдывался Иосаф.

В эту минуту ударил сильнейший гром, так что задрожали все окна.

— Я начинаю, однако, уж бояться, пойдемте в наугольную, там темнее, и я сторы спущу,— сказала Эмилия и пошла в наугольную, где, в самом деле, спустила сторы и села на угольный диванчик.

Таким образом они очутились почти в полутемноте. Иосаф, сев рядом с хозяйкой, сначала решительно не находил, что сказать.

— Вы позволите мне посещать вас, когда братец уедет? — спросил он, наконец.

— О да! Разумеется! — отвечала Эмилия.

На несколько минут они опять замолчали.

— Это такое для меня счастье,— заговорил снова Иосаф.

— Я это знаю,— проговорила протяжно Эмилия.

— Вы знаете? — повторил, в свою очередь, Иосаф и сам уже, не помня как, протянул свою руку, как потом в его руке очутилась рука Эмилии. Он схватил и начал ее целовать; мало того, другой рукой он обнял ее за талию и слегка потянул к себе.

— О, вы опять хотите украсть поцелуй,— произнесла она.

— Да-с,— отвечал Иосаф и начал ее целовать раз.. два.

— Тсс, постойте: брат приехал! — сказала вдруг Эмилия и, проворно встав, вышла.

Бжестовский действительно входил в залу. Иосаф едва осмелился выйти к нему.

— А я сейчас от дождя зашел к вам в Приказ,— отнесся к нему Бжестовский,— там действительно по нашему делу все уж кончено.

— Все уж? — спросила Эмилия, не поднимая глаз и как бы затем только, чтоб что-нибудь сказать.

— Я вам-с говорил,— произнес Иосаф.

Бжестовский между тем что-то переминался.

— Нам бы вас, Иосаф Иосафыч,— начал он,— следовало сегодня попросить откусать у нас, выпить бы за ваше здоровье; но, к ужасной досаде, мы сами сегодня дали слово обедать у одних скучнейших наших знакомых.

Эмилия посмотрела на брата.

— Помилуйте, не беспокойтесь,— отвечал Иосаф.

— Надеюсь, однако, что завтра или послезавтра мы поправим это.

Иосаф раскланялся.

— Что ж, Эмилия, подите, одевайтесь же! — прибавил Бжестовский сестре.

Та опять посмотрела на него.

— До свиданья, мой добрый друг,— сказала она, протягивая Иосафу руку, которую тот, чтоб не открыть перед братом тайны, не осмелился на этот раз поцеловать и только как-то таинственно взглянул на Эмилию и поспешил уйти: его безумному счастью не было пределов!

На другой день часов еще с семи он начал хлопотать по Приказу, чтобы все бумаги по делу Костыревой были исполнены, и когда они, при его собственных глазах, от-

правлены уже были на почту, ему вдруг подали маленькую записочку. Почувствовав от нее запах духов, Иосаф побледнел. Слишком памятным для него почерком в ней было написано:

«Мой добрый друг! Мы решили с братом, что и я с ним еду в деревню по моему делу. Каждую минуту буду молить об вас бога за все, что вы сделали для меня; мы скоро будем видаться часто.

Ваша Эмилия».

Иосаф схватился за дверной косяк, чтобы не упасть. Неровными шагами он вошел потом в присутствие и опять объявил старику члену, что он болен и не может сидеть.

— Какой вы — а? На себя совсем не похожи стали! — говорил тот, всматриваясь в него.

— Мне очень нехорошо-с! — отвечал Иосаф и ушел.

— Удрал и сегодня! — сказал зубоскал столоначальник 1-го стола, показывая на него глазами.

— С похмелья, должно быть, ломает! — объяснил столоначальник 2-го стола, человек, как видно, положительный.

— Они и этта-с не больны были, а ездили в уезд в гости, — донес было ему сидевший в его столе Петров.

— А ты почему знаешь, узнаватель! — огрел его столоначальник.

— И мутит же только, господи, с этого винаща кажинного человека! — подхватил со вздохом столоначальник 1-го стола.

Иосаф между тем сидел уже в своей маленькой квартире. Он по крайней мере в сотый раз перечитывал полученную им записочку и потом вдруг зарыдал, как ребенок: тысячу смертей он легче бы вынес, чем эту разлуку с Эмилией!

## XII

Я только что возвратился с одного кляузного следствия и спал крепким сном. Вдруг меня разбудили. «Пожалуйста, говорят, к губернатору». — «Что еще такое?» — подумал я почти с бешенством, но делать было нечего: встал. В передней меня действительно дожидался жан-дарм.

— Разве губернатор еще не спит? — спросил я его.

— Никак нет, ваше благородие.

— Что же он делает?

— Гневаться изволят.

Я почесал только в голове и, велев закладывать лошадь, дал себе решительное слово окончательно объясниться с этим господином, потому что не проходило почти недели, чтобы мы с ним не сталкивались самым неприятным образом.

Когда я выехал, на улицах был совершенный мрак и тишина. Жандарм ехал за мной крупной рысью. В доме губернатора я застал огонь в одном только кабинете его. Он ходил по нем взад и вперед в расстегнутом сюртуке и без эполет. Засохшая на губах беленькая пена ясно свидетельствовала о состоянии его духа.

— Любезнейший! Ступайте сейчас и посадите в острог бухгалтера Приказа Ферапонтова! — сказал он мне довольно еще ласковым голосом.

Я посмотрел на него.

— По какому-нибудь делу, ваше превосходительство?

— Он там деньги украл из Приказа. В канцелярии вы получите предписание.

— И в нем будет сказано, чтоб я посадил его в острог?

— Да-с! — отвечал губернатор, и беленькая пенка на губах его опять смокла. — Вы будете производить дело вместе с полицмейстером. Миротворить не извольте.

Далее разговаривать, я знал, что было нечего, а потому поклонился и вышел.

В канцелярии я в самом деле нашел полицмейстера, косоного, рябого подполковника. В полной форме, с перетянутой шарфом талией и держа в обеих руках каску, стоял он и серьезнейшим образом смотрел, как писец записывал ему предписание в исходящую.

— Что это такое за дело? — спросил я его.

— Деньги в Приказе пропали; бухгалтер цапнул.

— Но с какой же стати? Он, сколько я его знаю, честный человек.

— Понадобились, видно, — отвечал полицмейстер, засовывая предписание за борт мундира. — Поедемте, однако, — прибавил он.

Я пошел. Мне всегда этот человек был противен, но в настоящую минуту просто показался страшен. Он по-



садил меня к себе на пролетку, и пожарная пара понесла нас марш-марш.

Сзади за нами по-прежнему скакал жандарм.

— Барынька тут одна была. Он с ней снюхался и высыпал за нее в Приказ деньги графа Араксина! — объяснил мне коротко полицмейстер.

— Где ж она теперь?

— Да она-то ладила было прямо из деревни в Питер махнуть. На постоялом дворе уж я ее перехватил. Сидит теперь там под караулом.

Перед маленьким деревянным домом полицмейстер велел остановиться. Отворив наотмашь калитку, он прошел по двору и на деревянном прирубном крыльчике начал стучать кулаком в затворенную дверь. Ее отворила нам впотьмах баба-кухарка.

— Дома барин? — спросил полицмейстер.

Она что-то такое мыкнула нам в ответ. Полицмейстер, так же нецеремонно отворивши и следующую дверь, вошел в темное зальцо.

— Вставайте, от губернатора к вам приехали! — сказал он громко.

В соседней комнате что-то зашевелилось... шаркнулась спичка и загорелась синевато-бледным пламенем: Иосаф, босой, с растрепанными волосами и накинув наскоро халатишко, вставал... Дрожащими руками он засветил свечку и вытянулся перед нами во весь свой громадный рост. Я почти не узнал его, до того он в последнее время постарел, похудел и пожелтел.

Надобно сказать, что и до настоящей ужасной минуты мне было как-то совестно против него. Служа с ним уже несколько лет в одном городе, я видался с ним чрезвычайно редко, и хоть каждый раз приглашал его посетить меня, но он отмалчивался и не заходил. Теперь же я решительно не знал, куда мне глядеть. Иосаф тоже стоял с потупленными глазами.

— Там барыня одна показала, что вы внесли за нее в Приказ деньги графа Араксина, — начал полицмейстер прямо.

— Где же она теперь-с? — спросил Иосаф вместо всякого ответа.

— Она здесь... теперь только вам надо дать объяснение, что вы действительно внесли за нее. Она этот долг принимает на себя.

— Как же это она принимает? — спросил опять Иосаф.

— Так уж, принимает, пишите скорее! Вот тут и чернильница есть,— проговорил полицмейстер и, оторвавши от предписания белый поллист, положил его перед Иосафом. Тот с испугом и удивлением смотрел на него. Как мне ни хотелось мигнуть ему, чтобы он ничего не писал, но — уввы! — я был следователем, и, кроме того, косою глаз полицмейстера не спускался с меня.

— Пишите скорее! Губернатор дожидается,— сказал полицмейстер спокойнейшим голосом.

Иосаф взялся за перо. Полицмейстер продиктовал ему в формальном тоне, что он, Ферапонтов, действительно деньги графа Араксина внес за Костыреву. Иосаф написал все это нетвердым почерком. Простодушню его в эту минуту пределов не было.

— Ну, вот только и всего,— проговорил полицмейстер, засовывая бумагу в карман.— Теперь одевайтесь!

— Куда же-с? — спросил Иосаф.

— Куда уж повезут,— отвечал полицмейстер.

Иосаф начал искать свое платье; на глазах его видны были слезы. Я не в состоянии был долее переносить этой сцены и вышел; но полицмейстер остался с Ферапонтовым и через несколько минут вывел его в шинели и теплой нахлобученной фуражке. Выходя из комнаты, он захватил с собою свечку и, затворив двери, вынул из кармана сургуч, печать и клочок бумаги и припечатал ее одним концом к косяку, а другим к двери.

— Вот так пока будет; осмотр завтра сделаем. Горлов! — крикнул он.

К крыльчику подъехал жандарм.

— Спешься и отведи вот их в острог! — проговорил полицмейстер, указав головой на Иосафа.

Что-то вроде глухого стона вырвалось из груди того.

Солдат слез с лошади.

— Привяжи его поводом за руку и отведи.

Солдат стал исполнять его приказание. Иосаф молча повиновался, глядя то на меня, то на полицмейстера.

— Позвольте мне по крайней мере лучше отвести господина Ферапонтова! — сказал я.

— Нет-с, так от губернатора приказано,— отвечал полицмейстер.— Отправляйся! — крикнул он на жандарма, и не успел я опомниться, как тот пошел.

Иосаф и лошадь последовали за ним.

— Зачем же это так приказано? — спросил было я; но полицмейстер не удостоил даже ответом меня и, сев на свои пролетки, уехал.

Я невольно оглянулся вдаль: там смутно мелькали фигуры Ферапонтова, жандарма и лошади. «Господи! Хоть бы он убежал», — подумал я и с помутившейся почти головой от того, что видел и что предстояло еще видеть, уехал домой.

### XIII

По делу Ферапонтова, под председательством полицмейстера была составлена целая комиссия: я, стряпчий и жандармский офицер.

Часов в десять утра мы съехались в холодную и грязную полицейскую залу и уселись за длинным столом, покрытым черным сукном и с зеркалом на одном своем конце. Занявши свое председательское место, полицмейстер стал просматривать дело. Выражение лица его было еще ужаснее, чем вчера.

Стряпчий, молодой еще человек, беспрестанно покашливал каким-то желудочным кашлем и при этом каждый раз закрывал рот рукою, желая, кажется, этим скрыть весьма заметно чувствуемый от него запах перегорелой водки. Жандармский офицер модничал. Я взглянул на некоторые бумаги — это были показания, отобранные полицмейстером в продолжение ночи от разных чиновников Приказа, которые единогласно писали, что Ферапонтов действительно в тот самый день, как принял деньги от бурмистра, внес и за Костыреву. Дело таким образом бедного подсудимого было почти вполовину уже кончено.

Через полчаса тяжелого и неприятного молчания рука в жандармской рукавице отворила одну из дверей, и в нее вошел Иосаф, совсем уже склоненный и с опавшим, до худобы труп, лицом.

Полицмейстер не обратил на него никакого внимания. Иосаф прямо подошел к столу.

— Все, что я-с вчера писал, неправда! — проговорил он заметно насильственным голосом.

— Будто? — спросил полицмейстер, не поднимая ни головы, ни глаз.

— Я денег за госпожу Костыреву не вносил,— продолжал Иосаф.

— Зачем же вы вчера это говорили?

— Я испугался-с.

— Кого же вы это испугались? Мы вас не пугали.

— Я сам испугался.

— Нехорошо быть таким трусливым! — проговорил полицмейстер и позевнул.— Куда ж вы, если так, бурмистровы-то деньги девали? — прибавил он.

— Я их потерял-с.

— Да, потеряли. Это другое дело! — произнес полицмейстер, как бы доверяя словам Иосафа.— Отойдите, однако, немножко в сторону! — заключил он и сам встал. Иосаф отошел и, не могши, кажется, твердо стоять на ногах, облокотился одним плечом об стену.

Полицмейстер подошел между тем к другим дверям.

— Пожалуйте! — сказал он, растворяя их.

В залу тихо вышла Костырева, в черном платье, в черной шляпке и под вуалью. По одному стану ее можно уже было догадаться, что это была прелестная женщина. Жандармский офицер поспешил пододвинуть ей стул, на который она, поблагодарив его легким кивком головы, тихо опустилась. Я взглянул на Иосафа; он стоял, низко потупив голову.

— Примите у них шляпку,— сказал полицмейстер жандармскому офицеру.

— Madame, permettez<sup>1</sup>,— сказал тот Костыревой.

Она, как это даже видно было из-под вуали, взглянула на него своими прекрасными глазами, потом развязала неторопливо ленту у шляпки и сняла ее. Скорее ребенка можно было подозревать в каком-нибудь уголовном преступлении, чем это ангельское личико!

— Какого вы звания и происхождения? — спросил полицмейстер, кладя перед собой заготовленные уже заранее вопросы пункты.

— Я из Ковно,— отвечала Костырева.

— Я вас спрашиваю,—какого вы звания по отцу и матери? — повторил полицмейстер.

Эмилия заметно сконфузилась.

— Я, право, и не знаю; мать моя занималась торговлей.

— То есть она содержала трактирное заведение?

---

<sup>1</sup> Позвольте, сударыня, (франц.).

— Я не знаю этого хорошенько; я была так еще молодая.

— Как вы не знаете, когда вы сами за конторкой стояли?

Костырева только посмотрела на него: на глазах ее заискрились слезы.

— Я не стояла ни за какой конторкой,— проговорила она.

— Не стояли?— повторил полицмейстер.

— К чему вы делаете подобные расспросы, которые к делу совершенно лишние? — вмешался я.

Полицмейстер удостоил только на минуту кинуть на меня свой косой взгляд.

— Вы думаете? — произнес он своим обычным подлым тоном и потом сейчас же свистнул.

В залу, гремя шпорами и саблей, проворно предстал другой уж, а не вчерашний жандарм.

— Позови сюда малого того! — сказал полицмейстер.

— Слушаю, ваше высокородие,— крикнул жандарм и крикнул так, что даже Иосаф вздрогнул и взглянул на него.

Через минуту был введен казачок — лакей Костыревой.

— Вот бывшая твоя барыня, когда была девицей, стояла ли в трактире за прилавком? — обратился к нему полицмейстер.

У Костыревой загорелось лицо сначала с нижней части щек, потом пошло выше и выше и, наконец, до самого лба.

Малый тоже несколько позамялся.

— Так как тоже тем временем проживали мы с господином моим в номерах их, оне занимались этим,— отвечал он с запинкой.

— Как же вы говорите, что нет? — кротко спросил полицмейстер Костыреву.

— Господин полковник! Вы ставите меня на одну доску с моими лакеями,— проговорила она и закрыла глаза рукою.

— Зачем же вы отпустили его на волю? Вы думаете, что он из благодарности и скроет все. Ничего ведь не утаил: все рассказал! Пошел ты на свое место! — прибавил он малому.

Тот сконфуженным шагом вышел из залы.

Я нечаянно взглянул в это время на Иосафа. Он стоял, уже не понутив голову, а подняв ее и вперив пристальный и какой-то полудикий взгляд на Костыреву. Она же, в свою очередь, всего более, кажется, и опасалась, чтобы как-нибудь не взглянуть на него

— А скажите, что за история у вас была по случаю вашего замужества за господина Костырева? — продолжал полицмейстер.

У Эмили задрожали губки, щечки, брови и даже зрачки у глаз. Несколько минут она не могла ничего отпечатать.

— Господин полковник! Вы, кажется, хотите только оскорблять меня, и потому позвольте мне не отвечать вам.

Полицейстер пожал только плечами.

— Хуже же ведь будет, если я опять стану расспрашивать при вас вашего лакея. Наконец, я уж и знаю все, и скажу вам, что вы и ваша матушка подавали на господина Костырева просьбу, что он соблазнил вас и что вы находитесь в известном неприятном для девушки положении. Его призвали в тамошнюю, как там называется, полицию, что ли? Понапугали его; он дал вам расписку, а потом и исполнил ее. Так ли?

Костырева с вытянутыми судорожно руками, опустив головку и только по временам поднимая, как бы для вздоха, грудь, скорее похожа была на статую, чем на живую женщину.

— Так ведь? — повторил полицмейстер.

— Я говорила вам и повторю еще раз, что не хочу и не буду отвечать вам.

— Еще только один маленький вопрос, — подхватил полицмейстер. — В каких отношениях вы проживали здесь с господином Бжестовским?

— Он был мой жених, — отвечала Костырева.

На этом месте я нарочно взглянул на Иосафа. Он по-прежнему стоял, не спуская с Костыревой совершенно как бы бессмысленных глаз.

— Отчего же вы выдавали его за брата? — продолжал полицмейстер.

— Я не хотела этого ранее говорить, так как жила с ним в одном доме и могла пройти худая молва.

— Да, конечно! Худая молва для женщины хуже всего! — произнес полицмейстер. — Вы обвенчались, од-

нако, с господином Бжестовским тотчас, как имение ваше было выкуплено.

— Да!

— Это, господин Ферапонтов, вы устроили их свадьбу, внося за них в Приказ! Настоящим их посаженным папенькой были, а то без этого господин Бжестовский, вероятно, и до сих пор оставался бы вашим братом! — говорил полицмейстер, обращаясь то к Иосафу, то к Костыревой.

— Я внесла свои деньги, — проговорила та тихо.

— Как свои-с? — отозвался вдруг Ферапонтов. — Как свои-с? — повторил он.

Полицмейстер не ошибся в расчете, расспрашивая при нем Эмилию о разных ее деяниях. Бедный, простодушный герой мой рассердился на нее, как ребенок, и, видимо, уже не хотел скрывать ее.

— У меня есть свои семьсот рублей. Я заплачу их бурмистру, остальные пусть он с них спрашивает! — прибавил он, обращаясь к полицмейстеру.

— Никаких я ваших денег не знаю и не видала, — проговорила Костырева.

— Не видали вы? — проговорил Иосаф, покачав головой. — Что же, разве я сумасшедший был, чтоб сделать это... Во сне не снилось, что вы не заплатите, а тут вдруг уехали... Я ни одной ночи после того не спал... писал... писал. Спрашивал, что же вы со мной делаете, так хоть бы слово написали.

— Что ж мне было отвечать на ваши странные письма? — проговорила Эмилия.

— Чем же странные!.. Ах, вы обманщица после того, коли так... В усадьбу потом как приехал, так и в ворота не пустили... потихоньку уж как-нибудь хотел пройти... тогда и не понял, а теперь, узнавши вас, все вижу: собаками было затравили — двух бульдогов выпустили, а за что все это...

На этом месте Иосафа прервал вошедший квартальный.

— Госпожу Бжестовскую к губернатору, ваше высококородие, требуют, чтобы их не спрашивали здесь, а к ним чтобы-с... — отрапортовал он полицмейстеру.

У того несколько раз подернуло лицо, и он быстро взглянул своим косым глазом на Эмилию. Она сидела, закусив губки, чтобы как-нибудь только удержаться от рыданий.

— Угодно ехать? — спросил ее полицмейстер, заметно уже более вежливым тоном.

Она, ни слова не ответив ему, взяла шляпку из рук жандармского офицера, опять поспешившего ей подать ее, торопливо пошла в прежние двери, из полурастворившейся половинки которой виднелась молодцеватая фигура Бжестовского. Он поспешил подать жене салоп, и оба они скрылись. Квартальный тоже последовал за ними.

Полицмейстер, видимо, остался сконфужен, как дикий зверь, у которого убегала из рук добыча.

— Вы подтверждаете ваше показание? — спросил он у Иосафа.

— Все-с, от слова до слова! — отвечал тот с лихорадочным блеском в глазах.

— Можете, значит, идти, — сказал полицмейстер и свистнул.

Опять явился жандарм.

— Отведи господина Ферапонтова, откуда привел.

— Слушаю, ваше высокоблагородие! — крикнул и на этот раз солдат.

Иосаф, ни на кого не взглянув, пошел.

— На сегодня довольно, — объявил нам полицмейстер и, собрав бумаги, взялся за каску.

Мы тоже взяли шляпы и разъехались.

#### XIV

На другой день я, зная, что с губернатором на словах и говорить было нечего, решил написать к нему рапорт... Все еще, видно, я молод тогда был и не совсем хорошо ведал тех людей, среди которых жил и действовал, и только уже теперь, отдалившись от них на целый почти десяток лет, я вижу их перед собою как бы живыми, во всем их страшном и безобразном значении... Я писал, что дело Ферапонтова нельзя производить таким казенным, полицейским образом, что он не вор и, видимо, что тут замешана или сильная страсть с его стороны, или вопиющий обман со стороны лиц, с ним участвующих. То и другое вызывает на милосердие к нему. Что можно, наконец, написать к графу Араксину, который, если только он хотя сколько-нибудь великодушный человек, не станет, вероятно, искать своих денег. Тут, однако, меня пре-



рвали и сказали, что ко мне жандарм пришел. Я велел его позвать к себе. Это был опять уже не вчерашний, а какой-то третьего сорта солдат, и совсем уж, кажется, дурак.

— Бумагу, ваше благородие, подписывать подьте в острог! — приказал он мне.

— Какую бумагу?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Да кто тебя послал сюда?

— Из острога, ваше благородие, господин полицмейстер послал.

— Что же, сам он там?

— Тамо-тко, ваше благородие. Сейчас пригнал туда.

— Верно, там что-нибудь случилось?

— Не могу знать, ваше благородие.

Я только махнул рукой и поспешил поехать. Тяжелое предчувствие сдавило мне сердце.

Приехавши в острог, я прямо через караульную прошел в дворянское отделение. Там перед одной из камор, у отворенных дверей, стояла целая толпа арестантов и с любопытством глазела туда. Пробравшись через них, я первое что увидел — это на самой почти середине довольно темноватой комнаты, на толстом крюке, висевшего Иосафа, с почернелым и несколько опущенным вниз лицом, с открытым ртом, с стиснутыми зубами, с судорожно скорченными руками и с искривленными как бы тоже в судорогах ногами. Повесился он на трех-четырех покрывках простыни, из которых он свил веревку.

На столе перед свечкой сидел в шинели и с своей ужасной физиономией полицмейстер и писал.

— Удавился! — сказал он мне совершенно спокойным тоном, показывая глазами на труп.

— Это вы его довели, — сказал я.

— Будто! — произнес обычную свою фразу полицмейстер. — Он сам пишет другое, — прибавил он и подал мне составленный им протокол, в котором, между прочим, я увидел белый лист бумаги, на которой четкой рукой Иосафа было написано: «Кладу сам на себя руки, не столько ради страха суда гражданского, сколько ради обманутой моей любви. Передайте ей о том».

— Снять покойника и стащить его в сторожку! Там потрошить-то будут! — распорядился полицмейстер.

Вошли служители с лестницей, из которых один при-

держал ее на себе, а другой влез на нее и без всякой осторожности перерезал ножом полотняную веревку. Труп с шумом грохнулся на землю. Солдат, державший лестницу, едва выскочил из-под него. Я поспешил уйти. Полицмейстер тоже вскоре появился за мной.

— Дело наше, значит, кончено, — сказал он.

— А как же Бжестовские? — спросил я.

У полицмейстера совсем уж скопировались глаза.

— Они еще вчера уехали. Сам губернатор отпустил их! — отвечал он.

— Как отпустил?

— Так. Часа четыре она была у него на допросе. Видно, во всем оправдалась! — отвечал полицмейстер, улыбаясь перекошенным ртом.

Приехавши домой, я действительно нашел губернаторское предписание, которым мне давалось знать, что дело Ферапонтова, за смертью самого преступника, кончено, а потому я могу обратиться к другим занятиям.

Мне, признаться, сделалось не на шутку страшно даже за самого себя... Жить в таком обществе, где Ферапонтовы являются преступниками, Бжестовские людьми правыми и судьи вроде полицмейстера, чтобы жить в этом обществе, как хотите, надобно иметь большой запас храбрости!

# БАТЬКА

Рассказ

## I

Я как теперь вижу перед собой нашу голубую деревенскую гостиную. На среднем столе горят две свечи. На одном конце его сидит матушка, всегда немного чопорная, в накрахмаленном чепце и воротничках и с чулком в руке. Отвортясь от нее, сидит на другом конце покойный отец. Он, видимо, в дурном расположении духа и беспрестанно закидывает в сторону, на печку, свои серые навывкате глаза. Я... мне всего лет двенадцать... забрался в углу на мягкое кресло и сижу погруженный в неведомые самому для меня мысли. Прямо против меня отворенная дверь в залу. Оттуда только и слышится, что ровное пощелкивание маятника стенных часов, и навевает на вас чем-то грустным и печальным. Вдруг раздался тихий скрип половиц. Не знаю, отчего у меня как-то болезненно замерло сердце. Это входил своей осторожной походкой наш самый богатый из всей вотчины фомкинский мужик Михайло Евплов, старик самой почтенной наружности, всегда ходивший несколько брюхом вперед, с низко-низко опущенной пазухой, совсем уж седой, с густо нависшими бровями и с постоянно почти опущенными в землю глазами, всегда с расчесанной головой и бородой, всегда в чистом решменском кафтане и не в очень грязных сапогах. Даже руки у него были какие-то белые, нежные, покрытые только небольшими веснушками, точно он никогда никакой черной работы и не работал. Будучи верст на тридцать единственным мясным торговцем, Михайло Евплов вряд ли в околотке был не известнее, чем мой покойный отец, так что тот иногда в шутку говаривал своим знакомым:

«Честь имею рекомендоваться, я Михайла Евплова барин».

В нашем небогатом деревенском хозяйстве, сколько я теперь могу припомнить, Михайло был решительно благодетельным гением: случалась ли надобность отдать в работники пьянчужку-недоимщика, Михайло Евплов брал его к себе и уж выжимал из него коку с соком, приходила ли нужда в деньгах, прямо брали их взаймы у Михайла Евплова, нужно ли было отправить рекрутство, подать ревизские сказки, Михайло Евплов ехал, хлопотал, исполнял все это аккуратнейшим образом, не получая себе за то никакого возмездия, а, напротив того, платя чуть ли еще не в полтора раза более против других оброка. На этот раз вслед за ним, вошел сын его Тимка, совсем рабочий малый, лет двадцати двух, подслеповатый, нескладный, словно из какого-нибудь сучковатого дерева сделанный, и с год перед тем только что женившийся. Батяка, говорят, лет еще с десяти начал заставлять его бить скотину и теперь постоянно мормя-морил на работе. Войдя в комнату, Тимка прямо, не поднимая ни головы, ни глаз, как-то механически поклонился матушке в ноги. Та потупилась и повела только рукою, желая тем показать, чтобы он этого не делал. Тимофей перешел и поклонился отцу в ноги. Тот отвернулся от него и окончательно закинул глаза на потолок.

— Что, поучили? — спросил он несколько дрожащим голосом.

Тимофей ничего не отвечал, а молча отошел и встал несколько поодаль от батяки.

— Поучили, кажется, хорошо... Не знаю только, поймет ли то,— проговорил Михайло Евплов грустным тоном.

— Это за то тебе,— продолжал покойный батюшка (голос его не переставал дрожать),— за то, что не смей поднимать руки на отца. Не прав он, бог с него спросит, а не ты...

Михайло Евплов вздохнул на всю комнату.

— Мало они что-то это разумеют, в каждом пустяке только и ладят, что нельзя ли как отцу горло перестать...— сказал он и еще грустнее склонил голову на сторону.

— Ну, Михайло Евплов! — вмешалась в разговор уж матушка.— Трудно тоже, как и тебя посудить? Старший

сын у тебя охотой в солдаты пошел, второй спился да головой вершил, наконец, и с третьим то же выходит?

На последних словах она развела в недоумении руками.

Лицо Михайла Евплова сделалось окончательно умиленным.

— Аї, матушка, Авдотья Алексеевна! — воскликнул он почти плачущим голосом.— На все тоже божья власть есть: кто в детях находит утешение, а кто и печали... Вы сами имеете дитя: как знать, худ ли, хорош ли он супротив вас будет.

Матушка вспыхнула.

— Ну, мое дитя ты привел тут напрасно... совершенно напрасно! — сказала она и сердито понюхала табаку.

Михайло Евплов тоже сконфузился, видя, что, не думая и не желая того, он проврался.

— Это точно что-с...— проговорил он и переступил с ноги на ногу.

— Ежели ты опять то же будешь делать, опять тебе то же будет!..— обратился покойный отец снова к парню, гораздо уже добрее, но все еще, видно, желая втолковать ему, что он виноват.

Парень пораспустился.

— Мне бы, бачка Филат Гаврилыч, в раздел охота идти-с! — произнес он каким-то необыкновенно наивным голосом.

Все мускулы в лице отца подернуло. Я видел, что он страшно вспылал.

— Не позволят вам того! — больше прошипел он, чем проговорил, между тем как щеки и губы его дрожали.— Казенным крестьянам велят делиться? Велят? — спрашивал он, обращая на парня страшный взгляд.

Михайло Евплов грустно усмехнулся.

— Да прикажите, пускай попробуют... Мякины-то отродясь не едали, а тут, может, и отведают... Теперь какой-нибудь овнишко в двадцать снопов с своей благоверной измолотят, лопать-то придут, в чашку валят, сколько только чрево стерпит.

— Что ж ты их куском уж хлеба попрекаешь? — вмешалась в разговор опять матушка.

Михайло Евплов сейчас же переменял тон.

— Не попрекаю я, сударыня, нет-с! — отвечал он

кратко.— Ни в чем им от меня запрету нет: ни в пище, ни в одежде, ни в гуляньях. Пусть скажут, в чем им, хоть сколько ни на есть, от меня возбранено.

— Ну да! В чем вам от него возбранено? — повторил за ним и отец.

Тимофей жалобно и стыдливо посмотрел на него.

— Не могу я, батка, про то сказывать-с! — отвечал он и как-то странно засеменил руками.

— Отчего не сказывать? Говори! — сказал отец настойчиво.

Михайло Евплов как будто бы слегка вспыхнул.

— Выдумать да наболтать, пожалуй, всяких пустяков можно... — произнес он.

Тимофей молчал.

Матушка на этом месте встала и вышла. Отцу тоже, видно, была не совсем легка эта сцена.

— Ну, ступайте! — сказал он, закидывая, по обыкновению, глаза в сторону.

Михайло Евплов, однако, не трогался. Он, кажется, переживал, чтобы первый пошел сын. По лицу Тимки мне показалось, что он хотел что-то сказать, но не смел ли, или не хотел этого сделать, только круто повернулся и пошел.

— Вы уж, батюшка, сделайте милость, прикажите, чтоб и супружница его слушалась и не фыркала... — сказал Михайло Евплов.

— Чтоб и супружница слушалась, слышь! — повторил отец, грозя Тимке пальцем.

Но тот ничего не отвечал, и я слышал, что он сердито хлопнул в лакейской дверях.

Михайло Евплов постоял еще несколько времени, покачал в раздумье головой и проговорил:

— Такой этот нынче молодой народ стал, что срам только один с ним.

Но, видя, что отец ничего ему не отвечает, он тоже повернулся и пошел, — но залу стал проходить медленно, неторопливо и все точно к чему-то прислушиваясь.

## II

Прошло времени недели с две. Мы ужинали. Отец (он все это время был заметно в дурном расположении духа и теперь кидающий то туда, то сюда свой беспокой-

ный взгляд) вдруг побледнел и, проворно вставая, проговорил:

— Фомкино горит!

Мы взглянули по направлению его глаз: все наши окна были залиты заревом.

— Батюшка, может быть, это овин! — хотела было успокоить его матушка.

— Вся деревня, сударыня, в огне!.. Выдумала!.. Лошадь мне! — кричал старик, проворно сбрасывая с себя халат.

Матушка сама стала ему подавать одеваться: горничная прислуга вся уж разбежалась по избам, чтобы поразузнать и поохать насчет пожару. В залу вошел наш приказчик Кирьян, со своей обычной, не совсем умной и озабоченной рожей и теперь совсем опешивший от страху.

— В Фомкине несчастье-с! — проговорил он.

— Людей туда!.. Лошадь мне! — говорил батюшка, застегивая дрожащими руками свой полевой чепан.

Мне тоже захотелось съездить на пожар.

— Папаша, возьми меня! — запросился я.

— Перестань, пащенок! — прикрикнул было на меня старик.

Но я не отставал:

— Папаша, возьми!

— Ах ты!.. Ну, поезжай!

Он вообще любил несколько геройские с моей стороны выходки; но матушка напротив.

— Алексей, что ты хочешь со мной делать?.. Пощади ты меня хоть сколько-нибудь! — сказала она в одно и то же время строгим и умоляющим голосом.

Но я уже почти не слышал ее: выбежав на улицу и видя, что поваренок Гришка вел оседланную лошадь, я отнял ее у него и сейчас же на нее взгромоздился. Со стороны от Фомкина слышался наносимый ветром беспорядочный звон набатного колокола. Через несколько минут привели и отцу беговые дрожки. Точно молоденький мальчик, он проворно, хоть и тяжело, опустился на них. Человек шесть дворовых людей было около нас верхами. На крыльце появилась матушка.

— Возьмите неопалимую купину, что вы, на кого надеетесь? — сказала она.

Кирьян подъехал к ней и, приняв у нее образ, положил его, перекрестясь, за пазуху. Пока мы съезжали со двора, матушка не переставала нас крестить вслед. Проехать нам надобно было версты две — три лесом. Ночь была осенняя, темная. Несмотря на колеи и рытвины, отец погнал свою лошадь что есть духу. Мы скакали за ним. По всем направлениям от нас раздавался топот наших лошадей и слышались шлепки летевшей из-под копыт их грязи. Рядом же с нами и нисколько не отставая, бежал вприпрыжку спешенный мною с лошади Гришка-поваренок и бежал, надобно сказать, сохраняя ужасно гордый вид, который был дан ему как бы от природы, вследствие покривленного в детстве позвоночного столба.

— Ату, ату его! — травил его кучер Петр, доставая в спину ветвиной.

— Это он на дымок бежит... поварская душонка: услышал, что гарью-то пахнет,— заметил ткач Семен.

По другую сторону дороги шел более солидный разговор.

— В сеннике у Евплова загорелось и пошло, братец ты мой, вить, боже ты мой! — говорил Кирьян.

— Ишь ты, поди, где греху-то быть! — отвечал ему на это басом и со вздохом другой голос.

Набат становился все слышнее и слышнее. Сколько ни печальное ожидало нас впереди зрелище, но при этом быстром скаканье на лошади, в глухую ночь, в лесу, при этом хлопанье воротец, которые кучер Петр на всем маху, не слезая с лошади, отворял и так же быстро отпускал их, мое детское сердце исполнилось какой-то злобной радостью: мне так и хотелось битв, опасностей и побед. При въезде в открытое поле первое, что представилось нам,— это стоявшая несколько поодаль от селения, на совершенно темном фоне, белая церковь, освещенная пожаром до малейших архитектурных подробностей и с блистающими красноватым светом главами и крестами. Пламя выходило почти из половины деревни и, склоняемое ветром, уже зализывало огромными языками близстоящие к нему строения. Вверху над всем этим клубился сероватый дым, в котором летали чего-то огненные куски и кружились какие-то белые птицы. В самом селении перед пламенем мелькали черные фигуры мужиков и баб. Отовсюду слышался шум и гам, сливавшийся со звоном колокола. Сидевшие около вынесенных на средину улицы пожитков



старухи и ребятишки выли и ревели. Выгнанная из хлевов скотина: коровы и лошади,— все столпились в кучку и, заметно под влиянием какого-то непонятого для них страха, прижались к церковной ограде,— одни только дурь-овцы, тоже скучившиеся в одно стадо и кинувшиеся было сначала прямо на огонь, но шугнутые оттуда двумя — тремя взвизгнувшими бабенками, неслись теперь далеко-далеко в поле. Перед сгоревшим почти уже вполонину домом Михайла Евплова была целая толпа людей, и они не унимали пожара, а на что-то такое друг через дружку заглядывали, и несколько голосов говорило: «Полно!.. Перестань!.. Старый!» Посреди всего этого раздавалось: «Пустите!.. Пустите!»

Мы быстро подъехали: это Михайло Евплов рвался из рук двух наших мужиков. Спокойной наружности в нем и следа не оставалось: он был в одной разорванной рубахе, босиком, с обезумевшими глазами и с опаленными, выключенными волосами.

— Что такое? — спросил отец.

— В огонь рвется, сгореть хочет,— отвечал один из мужиков.— О дьявол, какой здоровый! — прибавил он, гробаздая снова старика за ворот, который тот было у него вырвал.

— Оттащите его подальше, в лес,— приказал отец.

— Батюшка, пусти!.. Пусти!..— кричал Михайло Евплов.

Но мужики его потащили. Сделав еще раз тщетное усилие вырваться у них, он завопил, как дикий зверь, и вцепился зубами в собственную руку — кровь фонтаном брызнула из-под его рта и усов. Мужики отвели ему эту руку назад за спину и продолжали его тащить.

— Батюшки! У Матрены Лукояновны уж загорелось! — раздался пронзительный женский голос.

Все бросились туда.

Покойный отец тоже проворно соскочил с дрожек и потом — уж я не знаю, как это и случилось при его полноте,— вдруг очутился на крыше этой самой избы.

— Снимайте кафтаны, мочите их и давайте сюда! — командовал он оттуда.

Первый бросился ему помогать самый бедный из всей деревни мужик Спиридон, по фамилии Кутузов. Собственная изба его давно уже сгорела, и он, кажется, из нее и

вынести ничего не успел, по, несмотря на то, несколько не потерявшись, начал он усерднейшим образом подавать воду, понукать и ругать других мужиков и особенно баб, что-нибудь не по его или непроворно делавших.

Кирьян между тем достал из-за пазухи неопалимую купину и, взяв ее на руки, как обыкновенно носят иконы, стал с нею обходить еще не загоревшуюся часть селения. Вдруг пламя из косога направления приняло прямое, покалебалось несколько минут и снова склонилось, но уже в поле, в сторону, прстивоположную от деревни.

— Господи! Полямя-то на лес пошло!.. Царица небесная! — заголосили бабы.

Мужики только молча перекрестились. Отец, молодец-вато и скрестивши руки, стоял на крыше. Я же и Кутузов, бог уж знает для чего, ухвативши — он с одного конца багром, а я с другого кочергой, — ташили горящее бревно. Оно, наконец, рухнуло и жестоко ударило одну бабу по боку, так что она кувыркнулась и не преминула нам объяснить: «Ой, дьяволы, лешие экие!» Бревно порядком задело и меня, так что я едва выцарапал из-под него ноги. Правая штанина у меня загорелась, и, только уж плюя на нее и обжегши все себе руки, я успел ее затушить. Все это видевший с крыши отец побледнел.

— Ступай, глупой мальчишка, домой! — закричал он, заскрежетав зубами.

Я было вздумал отпрашиваться.

— Мать беспокоится, а он тут... Петр, отвези его домой! — говорил старик, выходя из себя и грозя мне кулаками.

— Поедемте, судырь! Что тут барчику делать! — посоветовал мне и Петр.

Я, делать нечего, взмогился на своего коня и отправился. Петр последовал за мной. Я всегда любил бывать с этим человеком за его веселый и разговорчивый характер.

— Что, Михайло Евплов плачет еще? — спросил я его.

— Поуняли маненько, поукачали... раза три в огонь-то врывался: все хотелось кубышку-то с деньгами выцарапать.

— А много денег у него было?

— Много, черт его дери, накопил... тысяч десять, говорят, было...

— А сын его Тимка — тоже плачет?

— Да, тут тоже присутствует,— отвечал Петр,— только слез-то не больно что-то видеть у него,— прибавил он как бы в некотором размышлении.

Я дал шпоры лошади и поскакал марш-марш.

— Тише, тише, барин! Право, маменьке скажу! — говорил Петр.

Но я знал, что он не скажет.

Матушка нас встретила только что не на крыльце.

— И не стыдно тебе, не грех так меня мучить? — сказала она.

Я поспешил поцеловать у ней руку и стал ей представлять почти в лицах, как огонь горел, как Михайло Евплов плакал.

— Ну, не говори... будет! — произнесла она, махая мне рукой и сама готовая почти разрыдаться.

Видневшееся из наших окон пламя все становилось меньше и меньше. Через час после того приехал и отец. Загрязненный, залитый почти с ног до головы водой и чем-то, должно быть, еще более раздраженный, он шумно вошел в залу. Вслед за ним поваренок Гришка, вспотевший, как мокрая мышь, и с закоптелым лицом Кирьян ввели под руки Михайла Евплова. Он был в чьем-то чужом полушубчишке, весь дрожал; рука и лицо его были в крови.

— Посадите его тут! — сказал отец.

— Его надобно напоить чаем или мятой: он весь продрог! — сказала матушка.

Несчастный старик замотал головой.

— Нет, матушка: водочки дай! Дай водочки! — проговорил он.

Матушка поспешно пошла и сама принесла ему целый стакан.

Михайло Евплов выпил его дрожащими губами из ее рук. Она после того хотела было подать ему кусок пирога, но он молча отвел его руками.

— Сведите его в людскую, да чтобы он не сделал там чего-нибудь над собой — я с тебя спрошу,— сказал отец Кирьяну.

Тот с Гришкой хотел было поднять Михайла, но он не дался им и повалился отцу в ноги.

— Батюшки, благодетели мои! Не оставьте меня, несчастного! — стонал он.

— О старый дурак! Сказано, что не оставят — бога

только гневит,— вспылит отец, между тем как у него у самого текли по щекам слезы.

— И ее, злодейку, накажите, и ее! — бормотал Михайло Евплов, ползая по полу и хватая отца за ноги.

— И ее накажут! Отведите его! — говорил тот, едва сдерживая себя.

Гришка и Кирьян подняли, наконец, бедного старика и увели.

Меня вскоре после этого послали спать, но я долго еще слышал из своей маленькой комнаты, что отец и мать разговаривали.

— Поджог! — говорил тот своим отрывистым тоном.

— Господи помилуй! — восклицала на это матушка.

— Невестушка... сынок... — повторял несколько раз отец.

— Боже ты мой, царица небесная! — говорила матушка.

### III

Проснувшись на другой день поутру, я услышал по всему дому какое-то шушуканье и торопливую хлопотню. Гришка-поваренок, между прочею своею службою обязанный меня одевать, пришел, по обыкновению, с сапогами в руках и с глупо форсистой рожей остановился у косяка.

— Что там такое шумят? — спросил я его.

— Папенька ваш в город уехали-с, — отвечал он, почему-то еще гордее поднимая голову.

Я всегда был очень доволен, когда отец куда-нибудь уезжал: его суровость, его желчное и постоянно раздраженное состояние духа, готовое каждую минуту вспыхнуть, пугали меня, а потому и на этот раз, исполнившись мгновенно овладевшим мною восторгом, я начал перевертываться на постели на спину, на грудь и задрыгал ногами, приговаривая:

— Зачем он уехал, зачем?

— Не знаю-с! — отвечал Гришка и, наскучив, вероятно, стоять передо мной, сдернул с меня одеяло и урезонивал меня:

— Перестаньте баловать-то!.. Надевайте сапожки-то!.. Мне стряпать пора.

— Я сегодня приду к тебе в кухню, приду... приду... — напевал я.

— Я сегодня не в кухне стряпаю, а у бабушки Афимья,— отвечал Гришка и самолюбиво закинул свое рыло в сторону.

— А вот врешь, врешь,— перебил я его, думая, что он хочет только от меня отделаться.

— Право-с!— повторил Гришка.— В кухню-то Тимофея с хозяйкой под караул посадили,— прибавил он уже мрачным голосом.

— За что?

— Папешка приказали-с...

Последнее слово Гришка протянул.

— А Михайло Евплов где?

— В людской лежит... стонет таково на всю избу.

У меня вдруг пропала вся моя веселость; я молча оделся, молча и тихо вышел. В девичьей сидела наша старука-ключница Афимья и старательно-старательно пряла. Это было всегда признаком, что она до бесконечности злилась.

— Афимья! За что Тимофея с женой под караул посадили? — спросил я ее таинственно.

— Не знаю, судары! — отвечала она явно укоризненным тоном.

— Ну вот! Не может быть, скажи!

— Не знаю, батюшка... папенькина воля! — повторила она и вздохнула.

Семья Михайла Евплова приходилась ей сродни.

Я отправился на улицу. День был ясный, светлый; осеннее солнце грело точно середь лета; вновь подросшая на красном дворе после недавнего дождя трава свежо зеленела; в воздухе быстро и весело летали ласточки; более десятка сытых и лоснящихся на солнце лошадей гуляли на ободворке. Тимка с женой не выходили у меня из головы. Я решил подсмотреть, что они делают, и потихоньку вошел в кухонные сени, но там на дверях я увидел огромный замок; оставалось одно средство — заглянуть с улицы в окно, но я почему-то совестился это сделать и придумал такого рода хитрость, что взмогнулся на близстоящие около кухни дроги, с которых все было видно, что происходило во внутренности избы: Тимка сидел у стола и смотрел в землю — в лице его, кроме обычной мрачности, ничего не выражалось. На другой лавке лежало что-то наглухо закутанное кафтаном. Я догадался, что это была жена его Марья. Мне сделалось страшно и почему-то показалось, что она умерла и что это был уже только труп

ее. Я по крайней мере раз пять влезал на дроги, и в последний раз, наконец, скрылся и Тимка, и только по видневшимся его лаптям я понял, что и он тоже лег, но только вглубь, в куть избы. Между тем Марья не меняла своего положения, и это окончательно меня убедило, что она умерла. В страхе и не зная, с кем бы им поделиться, я несколько времени ходил по двору, людей, как всегда это бывало в летнее время, не было почти никого дома, все были на работе, и только из Афимьиной избы слышно было, что Гришка отчаянно рубил котлеты или начинку в пирог, выбивая ножами складно трепака. Я подошел к окну, которое было полурастворено и из которого валил дым и жар.

— Григорий, а Григорий?—повторил я несколько раз.

Ву — Чего вам-с? — отозвался он, наконец, гордо высывая свою морду в окно.

— Там в кухне Марья лежит: не умерла ли уж она?

— Да с чего ей умереть?

— А что же она все лежит?

И — Спит, чай,— отвечал он мне и самолюбивейшим образом повернулся и отошел от окна.

Я простоял на своем месте несколько времени, как опешенный, и за обедом решил наконец свое беспокойство сообщить матери.

— Маменька, Тимофея с женой под караул посадили: ну, как они там умрут? — сказал я.

Мать сначала посмотрела мне в лицо и потом, проговоря: «Какие ты глупости говоришь», — сама вздохнула.

Тотчас же после стола я опять отправился на дроги, и — не могу описать вам моего восторга — Марья больше уж не лежала, а сидела; красивое лицо ее было не столько печально, сколько измято, платок на голове несколько сбит, и рубашка на груди расстегнута.

«А что, Михайло Евплов жив ли?» — подумал я и прямо с дрог пошел в людскую. Изба эта, так как в ней пеклись людские хлебы и варилось для дворовых варево, была самая жарко натопленная и постоянно почти пустая; в этот раз я в ней только и нашел, что десятка три мух, ползавших по столу и подъедавших оставшиеся тут крохи хлеба и квасные пятна. Я заглянул за перегородку. Там в зыбке лежал один-одинехонек полугодовалый сынишко стряпухи с поднятой почти до самого горла рубашонкой. Только что перед тем, вероятно, распеленатый,

он с величайшим, кажется, наслаждением смотрел себе на кулачки и сгибал и разгибал свои ножонки. По веселому личику его тоже ползла муха, и он от этого только слегка поморщивался. Я согнал ему эту муху; он еще больше улыбнулся. По стоявшей на голбце кваснице я сообразил, что больной, должно быть, лежит на печке. Встав на нижнюю ступеньку, я потихоньку заглянул туда, но по темноте ничего не мог рассмотреть, и только оттуда сильно пахло квашней. Я поспешил слезть и уйти. Целый день я ходил как шальной, не зная, за что бы приняться и что бы начать делать. К вечеру моя детская фантазия еще более разыгралась, и, когда меня уложили в постельку и оставили одного в комнате, мне стало и жаль арестантов и в то же время я боялся их. «Они целый день ничего не ели, и теперь они лежат и им тошно!» — думал я, а потом мне вдруг представлялось, что Тимка непременно выломает окно, вылезет, возьмет топор и зарубит меня и маменьку. Страх этот во мне дошел до того, что я прислушивался к каждому, довольно отдаленному от меня хлопанию дверьми в девичьей, к малейшему шуму в лакейской, наконец, когда явно услышал, что в зале кто-то ходит, я не утерпел, вскочил и выглянул туда.

— Кто это? — произнес я почти обмирающим от ужаса голосом.

— Я это, батюшка, — отвечал мне голос.

Оказалось, что это Афимья пришла в зал молиться.

Я несколько поуспокоился и опять улегся...

#### IV

Часу во втором ночи тот же Гришка меня разбудил.

— Ступайте в темненькую комнату ночевать-с, — сказал он.

— Что... зачем? — спросил я спросонья и в испуге.

— Исправника тут положат — приехал.

Не поняв хорошенько, в чем дело, я, однако, встал и босиком, в одной рубашонке, завернувшись в одеяльце, прошел по довольно холодному коридору и, укладываясь на новое свое место, разгулялся; в гостиной я слышал, что отец с исправником ужинали. Отец что-то такое вполголоса и, по обыкновению своему, отрывисто рассказывал ему, на что исправник громко хохотал, вслед за тем кашлял, харкал. Остававшееся праздным мое воображение

начало представлять себе исправника огромным мужчиной с огромным животом. Но это оказалось не совсем так: когда я на другой день вышел к чаю, то увидел, что с отцом раскланивался небольшого роста мужчина, с сутуловатым бычачьим шиворотком, широкий в плечах и с широкою львиною грудью.

— Итак, я иду,— говорил он.

— Сделайте одолжение,— отвечал отец рассеянно.

Матушка, разливавшая чай, держала глаза потупленными.

Исправник пошел. Я перебежал в девичью, чтобы оттуда из окна наблюдать за ним. На крыльце его встретил с бляхой на груди и падогом в руке сотский и снял шапку. Исправник сделал усилие приподнять несколько свою сутуловатую голову. Сидевшие на колоде наши мужики-погорельцы при виде его тоже встали и сняли шапки. Исправник сделал еще более усилия приподнять свою голову. Сотский в некотором отдалении и не надевая шапки следовал за ним. Они прошли в кухню. Вскоре после того в кухонные сени вышел Тимофей и сотский, и оба флегматически остановились в дверях на улицу — один у одного косяка, а другой — у другого, и оба ни слова не говорили между собою. Мужиков пять из погорельцев, один за другим, слезли с колоды и разлеглись по траве: пригретые солнцем, они вскоре тут заснули. Тимофея наконец увели в кухню, и вместо него сотский вывел Марью. Она уселась на рундучке и пригорюнилась. Сотский с убийственным равнодушием глядел ей в спину. Я перешел в залу. Там отец ходил взад и вперед, закидывая глаза вправо и влево, разводил руками и что-то такое нашептывал. Мать затворилась в своей комнате и, должно быть, молилась. Ключница Афимья, с явными уже слезами, текшими по ее морщинистому лицу, готовила закуску.

Не зная, куда от тоски и скуки деваться в доме, я вышел на улицу. Марьи уже не было на крыльце, и стоял один только сотский, куря из коротенькой, но в медной оправе трубочки и сплевывая по временам сквозь зубы тонкой струей слюну. Я осмелился подойти и заговорить с ним.

— Что там делают? — спросил я его, указывая на кухню.

— Допрашивают-с,— отвечал он мне, осматривая меня с ног до головы.



— Что же допрашивают?

— По делу-с, по поджогу... вы сынок, что ли, здешнего-то барина?

— Сын.

— Похожи маненько на папеньку-то,— заключил сотский и своей зачерствелой рукой погладил меня по голове.

В это время Гришка, в совсем уж дурацкой, с высочайшими воротничками манишке и в сюртуке, далеко сшитом не на его рост, форсисто пронес в кухню закуску с графином водки и с двумя бутылками наливки.

— Вы в горницу взойдите и завтракать ступайте в людскую,— сказал он, проворно проходя и кивая сотскому головой.

Тот стыдливо пошел в девичью, и когда возвратился оттуда, то самодовольно обтирал рукавом усы: видимо, что он получил приличную порцию. Проходя в людскую мимо спящих мужиков и заметно повеселев, он ткнул одного из них своим падожком и проговорил:

— Что ты тут, черт, дрыхнешь?

Мужик приподнял немного голову, взмахнул на него глаза и опять улегся.

Невдолге после того Гришка вынес из кухни закуску обратно, с выпитым почти до дна графином и с обедками пирога и колбасы. Две бутылки наливки остались еще там. Затем сцены на дворе значительно оживились: сначала в сени выбежал длинноносый чиновник, вероятно, писарь исправника, и, видя, что никого тут нет, и проговоря: «Никогда его, шельмы, нет на месте!..» — крикнул погорельцам: «Эй, вы, пошлите сюда сотского и приказчика!»

Из лежавших на траве мужиков хоть бы один пошевелился, и только тот же деятельный Спиридон Кутузов, все время сидевший на колоде и что-то такое с жаром толковавший другому мужику, при этом возгласе вскочил и побежал в людскую. Оттуда выскочили и проворно пробежали в кухню наш Кирьян с своей озабоченной рожей и сотский, только что начинавший было багроветь от получаемого им за щами удовольствия. Кирьян, впрочем, вскоре снова показался и начал еще более беспокоящими и отупевшими глазами оглядываться. Заметив возвращавшегося на свое место Кутузова, он подкликнул его и что-то такое сказал ему.

— Да где? — спросил тот скороговоркой.

— Да хоть в саду! — отвечал ему Кирьян тоже скороговоркой.

Кутузов побежал.

Кирьян остался на месте и заметно поджидал его. Спиридон, наконец, возвратился с пучком прутьев в руках.

— О черт, мало! — воскликнул Кирьян, сердито вырывая у него прутья.

— Я еще сбегаяю! — подхватил с готовностью Спиридон и опять побежал.

Кирьян стал прутья развязывать на пучки.

— Неровных каких, дьявол, наломал, — говорил он, обшмыгивая и обдергивая их.

Спиридон недолге принес еще большой пучок, и потом они, что-то такое переговорив между собою, скрылись в кухонных сенях, войдя в которые, дверь с улицы притворили.

Я осмелился приблизиться на некоторое расстояние к кухне. Оттуда слышались голос и харканье исправника. Наконец на крыльце показался прежний длинноносый чиновник.

— Пошлите нашего кучера!.. — крикнул он.

Продолжавший сидеть на колоде мужик, кажется, и не понял его.

— Кучера пошли! — повторил ему письмоводитель.

Мужик нехотя встал и пошел на сеновал, с которого вскоре и сошел действительно кучер, с заспанной рожей и с набившимся в включенные волосы сеном, в поношенной казинетовой поддевке без рукавов, в вытертых плисовых штанах и только в новых, сильно смазанных дегтем сапогах. Неторопливой и спокойной походкой, как человек, привыкший к тому, к чему его звали, прошел он в кухню; я догадался, наконец, в чем дело. Ужас овладел мною окончательно: я убежал в свою комнату, упал на постель, закрыл глаза и зажал себе уши!!!

Обедать у нас подали, чего прежде никогда не бывало, часам к четырем, и, когда я вышел в залу, там все уже сидели за столом и исправник, присмакивая и даже как-то присвистывая, жадно ел щи. Матушка, сама разливавшая горячее, грустно и молча указала мне на место подле себя. Письмоводитель исправнический тоже сидел за столом, уткнувши свой длинный нос в тарелку, и точно

смотрел в нее не глазами, а этим органом. Отец был в прежнем раздраженном состоянии.

— Этакое злодеи, варвары!..— говорил он, трясая руками и головой.

Исправник хохотнул слегка.

— Красного петушка это по-ихнему называется пустить... Четвертое дело у меня этакое вот на этом году,— говорил он, едва прожевывая огромные кусищи говядины и хлеба, которые засовывал себе в рот.

— Пятое-с,— поправил его письмоводитель.

— И все бабенки эти?.. Бабенки?..— спросил отец, продолжая трястись от бешенства.

— Бабенки, да! — отвечал исправник.

Письмоводитель слегка кашлянул себе в руку.

— Одна, по ревности, весь свадебный поезд было выжгла, тремя колами дверь приперла... мужики топорами уж простенок выломали и повыскакали,— проговорил он.

— Самих бы разбойников эдаких на огонь!.. Самих бы! — говорил отец, и глаза его, ни на чем уже не останавливаясь, продолжали бегать из стороны в сторону.

Исправник захохотал полным смехом.

— На огонь?.. В подозренье только оставили! — воскликнул он, устремляя на отца насмешливый взгляд.— У нас вор и разбойник запирайся только — всегда прав будет! — прибавил он и глотнул, как устрицу, огромную галушку.

— Уездный суд еще на нас представление делал,— заметил по-прежнему скромно, но с ядовитой улыбкой письмоводитель,— зачем мы поезжан под присягой спрашивали: они, говорит, лица, к делу прикосновенные.

Отец несколько раз повернулся на стуле.

— По Кузьмищеву лучше было! — подхватил исправник и в видах, вероятно, вящего внушения взял уж его за борт сюртука.— Есть там Николая Гаврилыча Кабанцова мужичонки — плут и мошенник народишко... приступили они к нему,— дай он им лесу. Тот говорит: погодите, у вас избы еще не пристоялись... они взяли спокойнейшим манером, вынесли все свои пожитки в поле, выстроили там себе шалашики, а деревню и запалили, как огнище.

Отец от волнения и гнева ничего не в состоянии был и говорить, а только глядел во все глаза.

— Приезжаю я на место,— продолжал исправник,— ну и, разумеется, сейчас же все и сознались... Николай

Гаврилыч прискакал ко мне, как сумасшедший. «Батюшка,— говорит,— пощади; ведь я лишуюсь пятидесяти душ, все на каторгу идут». Так и покрыли разбойников — показали, что деревня от власти божией сгорела.

— Что же, и наша женщина созналась? — спросила матушка, каждую минуту трепетавшая за отца и желавшая на что-нибудь только да переменить разговор.

— Как же-с, совершенно во всем как есть,— отвечал ей исправник с заметной любезностью.

— И муж с ней участвовал?

— Совершенно-с! И труту ей приготовил, и лучины нащепал, и стражем стоял, чтобы кто не подсмотрел их деяний.

— Но что же за причина? — спросила матушка.

— Причина!..— произнес отец и начал растирать себе грудь рукою.

Исправник пожал плечами.

— Спросим уж об этом... порасспросим,— отвечал он.

— Сам старик, говорят, тут виноват,— пробурчал больше себе под нос письмоводитель.

Отца точно кто кольнул.

— Как старик? — сказал он, кидая на приказного свирепый взгляд; но в это время встали из-за стола.

Исправник расшаркался перед матушкой, поцеловал у нее руку и отправился спать. Письмоводитель тоже пошел уснуть, но только на сеновал, где спал и кучер ихний.

Я вышел на крыльцо и уселся на нем. Ко мне подошла наша дворовая собака Лапка. Я обнял ее. «Лапушка, друг мой, что такое у нас делается?» — говорил я, целуя ее в морду. Она в ответ на это лизнула мне щеку, потом вдруг, завилыв хвостом, побежала от меня к садовой калитке, из которой выходил ее прокормитель и воспитатель по части хождения за утками, тетеревами и белками, наш старый садовник Илья Мосеич, в своем заскорблом от старости сюртуке и в сапогах, изорванных по всевозможным местам и шлепавших теперь от мокроты. Лицо Мосеич имел несколько французское — с заостренным птичьим носом, с довольно тонкими очертаниями и с небольшими клочками висевших по щекам бакенбард. Он только что сейчас возвратился с рыбной ловли, ради которой, не докладывая даже господам, на собственные свои деньги нанимал у займовских мужиков тони по четвертаку за штуку, имея в этом случае в виду, что прорвало пятьковскую

мельницу,— и действительно: в три раза было вытащено четыре пуда шук, которые он уже своими руками выпотрошил и посолил на погребке, а в Филиппов пост и объявит матушке, что у него рыбы есть и чтобы она не беспокоилась. Теперь он шел за грибами, и тоже больше для господского продовольствия. Я стал просить его взять меня с собой. Илья Мосеич насмешливо посмотрел на меня.

— Что в лесу хорошего взять?.. Пеня, коренья надо перелезать, нагибаться... Господа любят только грибки кушать за столом,— проговорил он с ядовитой улыбкою.

Я, однако, продолжал проситься и почти насильно пошел за ним. Лапка тоже побежала за нами.

Илья Мосеич мог быть назван бесценным человеком для отца и матери: кроме уж поставления рыбы и дичи к столу, он овладевал для них и другими благами природы. Наш огромный сад, который давал до пяти тысяч огурцов, до ста арбузов, до ста дынь, ягод разных на несколько пудов варенья, был решительно его трудами создан и поддерживаем. Мало того, он получал еще за него гоненье, особенно когда весной поупросит или понастрашает и заставит дворовых женщин полоть несколько гряд.

— Ты, старая кочерга, все в свое заведение у меня народ отводишь! — закричит, бывало, на него отец.

Илья Мосеич обыкновенно в этом случае и не оправдывался, а махнет только рукой и уйдет там у себя за какой-нибудь куст или засядет в грядку.

В торжественные дни, когда Илья Мосеич призывался быть лакеем и когда вместо заскорбленной хламиды надевал свой более новый вердепомовый сюртук, сшитый еще по той моде, когда наши входили в Париж, он с особенною важностию, как будто бы это была его собственность, подавал, во-первых, ерофеич, настаиваемый травами его произрастения, потом квас, который всегда заваривал он, а не поваренок, и, наконец, соленье и особенно зелень. Весьма часто, уставляя закуску, он вдруг, сколько бы тут ни было гостей, указывая на редиску, замечал с внушительною миной: «Двадцать пятого апреля снята!»

При таком, по-видимому, страстном усердии к господам Илья Мосеич в то же время не любил их и несколько уж не уважал, считая себя безусловно умнее их, даже образованнее, так как они хоть и грамоте поучены, но читают в книгах все пустяки, а он читал все книги умные, как, например: *о лечении домашних животных купо-*

*росом, об уходе за пчелами, о разведении свекловицы.* Вступая в разговор с каким-нибудь баринном или священником, он никогда почти не говорил прямо, а по большей части рассказывал при этом случае какой-нибудь анекдот или давно случившееся происшествие, из которого уже и выводил, что было ему нужно. Своего брата он тоже больше презирал и не чужд был посудить о нем, и тоже больше все притчей.

— Фомкино у нас выгорело,—говорил я, едва поспевая за ним идти.

— Д-да, Фомкино выгорело, Бычиха горела, Климово... Солдатово... и много и долго еще будут гореть русские деревеньки,—произнес Илья Мосеич каким-то пророческим тоном.

После того мы все поле прошли с ним молча.

— Прежде народ лучше был... умнее... мудрецов много было!..—заговорил он, снова обращая ко мне свое вопросительное лицо.

— Какие же? — сказал я.

— Да вот был царь Соломон,—отвечал он, как бы открывая мне новую Америку,—раз приходят к нему две женщины, две бабы дуры! (Мосеич, не совсем счастливый в семейной жизни и более преданный любви к природе, постоянно отзывался о женщинах с не совсем выгодной для них стороны). Одна из них, по нечаянности, ребенка своего ночью и заспала, а как дело пришло к утру,—мать и чужая про живого ребенка говорят: «Это мой ребенок». Царь Соломон берет сейчас свой меч: «Хорошо,—говорит,—коли так, я разрублю вам его надвое...» Мать-то настоящая сейчас и откликнулась. «Ай нет, нет! — говорит.—Это ее ребенок.»—«Нет,—говорит ей царь Соломон,—он твой: ты его жизнь пощадила...» Ей сейчас отдает младенца, а другую велел посадить в острог и на поселенье... Ну, так ведь тоже не все господа цари Соломоны! — заключил вдруг старик и внушительно качнул мне головой.

Попавшийся на пути нам сосняк переменял течение его мыслей.

— Забежать тут надо, отварушечек для папеньки к ужину набрать! — проговорил он и скрылся от меня.

Я пошел по окраине леса. Мосеич пропал надолго: он забрался, вероятно, в самую глушь; каждая благушка, каждая спорхнувшая птичка обыкновенно занимали его

внимание. Я начал, наконец, аукаться и выкликать его и только уж через полчаса сошелся с ним на небольшой открытой поляне. У него была почти полна корзинка грибов, а я всего нашел три или четыре гриба.

— Только-то? Мало же,— сказал он, кидая их с пренебрежением в свое лукошко,— кабы вы не барчик были, а дворовой мальчишка, вас бы за это наказали... и больно... да еще сказали бы, что вы где-нибудь в поле, под кустом, припрятали для батьки и матки.

Я слушал его, далеко еще не понимая, сколь ядовито он для меня говорил.

— Господа говорят,— продолжал Мосеич более уже серьезным тоном (он вообще любил со мной поговорить и нисколько уж не церемонился),— говорят, что мы другого рода — Хамова, а они — от Авеля. Это так, положим! Но ведь иногда и комар лишает жизни льва — все приставать к нему будет, над ухом звенеть, а убить-то тот его не может!.. Мал очень... увертывается... лев терпел-терпел и, наконец, сам себя от гнева загрыз; и это не то, что выдумка какая, а настоящее было.

— Это басня,— возразил было я.

— Нет, настоящее! — повторил настойчиво Мосеич.— В Абаховском приходе теперь жил помещик по фамилии Хитрецов, еще маненько и сродственник вашему дедушке. Как вог в сказках сказывается о могучем Змее-Горыныче или вепре диком, так и он, пожалуй, был, а после того попался же из-за нашего брата...

На последних словах у Ильи заметно появилась в лице какая-то насмешливая радость; я же, с своей стороны, окончательно переставал понимать, что такое и к чему он все это говорит.

— Или теперича, господи ты боже мой! — продолжал он, пожимая уж плечами и пришедши, видимо, в экстаз своего мышления.— Иностранцы вон к нам разные, венгерцы ходят с духами и лекарствами. «Русска,— говорит,— человек глуп, не может ничего делать».— «Как,— говорю,— постой, брат мусью»,— и сейчас нарвал самых простых цветиков и поднес ему к носу. «На-ка, говорю, сделай мне такие духи; а как ты-то носишь, так и я сделаю; да не хочу, потому что и землю и хлеб имею, а ты к нам с голоду пришел: мы к вам не ходим, как незачем».

Мосенч, при всем своем несколько мизантропическом взгляде на вещи, был постоянно большой патриот.

Мне между тем хотелось уж чаю. Я сказал ему о том.

— Пойдемте! — отвечал он мне несколько насмешливо. — Баре-то, подумаешь, — начал он после короткого молчания, — поутру чай пьют, кофей, обедают... потом опять чай, ужинают; а мы-то, грешные, едим когда попало и что ни попало.

Дорога, ведущая обратно в усадьбу, открылась перед нами, извиваясь лентой по зеленевшему озимому полю. Лапка, тоже откуда-то появившаяся и только что, вероятно, перед тем придавившая какого-нибудь зазевавшегося зайчонка, была с окровавленным рылом и весело начала прыгать около Мосенча, подскакивать к его руке, лизать ее.

— Вон она, тварь бесчувственная! — сказал он, показывая мне ласково на нее. — А если теперь ладно к птице подошла, прибей ее, поколоти тут, другой раз она все дело испортит: и вертеться станет, и бояться, тревожиться... Человек же и подавно: без вины его наказать — не на хорошее, а больше на худое направит — другой с отчаянности бог знает что накуролесит, как и Машка наша теперь!

— А Марью разве наказывали? — спросил я, обрадованный, что разговор, наконец, склонился на понятный для меня предмет.

— Н-ну! — произнес Илья Мосенч протяжно. — Рано еще вам все знать, молоденьки вы! — прибавил он полушутливо и полунаставнически.

С небольшого пригорка, на который мы вскоре вошли, нам кинулось в глаза довольно уже низко стоявшее солнце. Кверху оно бросало, точно стрелы, золотые лучи, а внизу освещало сзади деревья нашей березовой рощи, которые в весьма заметной перспективе, отделяясь одно от другого, трепетали в воздухе своими зелеными листочками.

Илья Мосенч несколько времени стоял в умилении перед этой картиной.

— Батюшка — наше солнышко! — заговорил он, качая головой. — Всем оно одинаково светит: и большому дереву и малому, и худой траве и хорошей, — а господа так нет, ой, как нет! Только и любят и уважают, что богатых своих подчиненных: они у них умные, и честные, и добрые, а спросил бы, что такое значит богатый мужик. Наипервая бестия изо всех; потому что где мужику взять: он и барину подай, и в казну, и в мир. А руки-то всего две—



значит, когда хочешь богатеть,— плутуй! И если теперь наш брат разбогател, разве доброе и хорошее он творить станет,— жди того, как же, пить да жрать, да... В священном писании именно про мужиков, должно быть, сказано, что легче борову свиному пройти в игольные уши, чем богатому в царство небесное, потому что он, аки сатана, со всеми смертными грехами путами слутан.

Сказав это, Илья вдруг остановился. Мы были почти у самого тына нашего сада.

— Вы ступайте дорогой, а я вот туда посеekretней проберусь, а то папенька, пожалуй, увидит. «В эдакое,— скажет,— время, бестия, за грибами ходишь».

Проговоря это, он юркнул в нарочно и, вероятно, издавна уже сделанную лазейку, глухо-глухо заросшую всякого рода зеленью, а потом стал пробираться по самой темной аллее, нагибаясь и прячась за деревья.

«Что это папенька, зачем бранит Илью,— он такой славный»,— подумал я, обходя сад кругом.

В воротах усадьбы я увидел, что со двора съезжал исправник в легоньком тарантасе, на тройке с расписной дугой, с колокольцами и бубенцами, с ухарски развязанными на троках пристяжными, которые своими обозленными мордами только что не хватали земли. Я оробел и поклонился ему.

— Прощайте, душенька! — проговорил он, делая мне рукой.

Сидевший рядом с ним письмоводитель тоже слегка приподнял фуражку и поклонился, но только не глядя на меня. Вслед за тарантасом ехал на крестьянской лошади и в навозной телеге Спиридон Кутузов, еле-еле примостившийся на кое-как сделанной в передке беседочке, на которой, заняв гораздо большее пространство, помещался также и сотский, оборотясь лицом к задку. В самой телеге сидели, и вряд ли не привязанные к ней, Марья, покрытая, как повитая невеста, с головы до ног в какую-то крашенину, и Тимофей, тоже с потупленной вниз головой и в нахлобученной почти на самые глаза шапке. В усадьбе было совершенно пусто, и только перед растворенной уж кухней Гришка огромным топором рубил дрова, закусив язык на правую сторону и каждый раз прикряхтывая, видимо, желая тем показать, что он мастер и молодец на это дело. Я прошел через заднее крыльцо в дом и застал там страшную сцену: отец, с пеной у рта, ходил по комнате.

— Меня обмануть? Меня?.. Меня? — кричал он, закидывая голову назад и как бы вопрошая самый воздух.

Матушка, сидевшая тут же в гостиной и при всех его вспышках всегда старавшаяся сохранить присутствие духа, на этот раз едва владела собой.

— Я удивляюсь, как ты этого не знал... я давно это знала,— проговорила было она.

— А, ты знала! Ты знала! — вскричал отец, подбегая уж к ней.— Отчего ж ты мне не сказала? Отчего? — прибавил он, отступая от нее на несколько шагов и выпрямляясь, точно готовый сейчас же произнести ей смертный приговор.— А, ты госпожа, помещица здешняя! Ты все можешь знать и все располагать; а я нищий... голыш, приведенный сюда так... Христа ради? Врете! Я господин всем вам: и тебе и твоей челяди!

Матушка пожала плечами, и на глазах ее навернулись слезы: это оскорбление было самое горькое и обидное для нее.

— Из чего ты беснуешься, я понять не могу,— сказала она.

— Ты не понимаешь — да! Не понимаешь, что я, может, и двух его первых сношенок погубил... и этих несчастных наказывал; всегда держал его руку... на эшафот их теперь возвел... Какими молитвами отмолить мне у бога эти мои прегрешения?.. Какими?..

— Но ведь ты сам говоришь, что не знал этого.

— Что же, я и теперь не знаю!.. Я сам, своими глазами, видел ее показания... он ей проходу не давал — все адресовался, а что она «нет», так бил ее и сына. Мне и идти теперь благодарить его: благодарю, батюшка Михайло Евплыч, покорно, что вы развратили всю вашу семью и мне случай в том поспособствовать вам дали.

— Его и без тебя уж бог покарал, потом накажут и по закону, по суду! — заметила кротко матушка.

— А, да! По закону, по суду,— вот что! — воскликнул старик с ожесточенным смехом.— А ты слышала, что исправник говорил? Слышала? Есть у тебя уши? Так нет же! Врете, я его накажу! Я!.. Кирьяна мне!.. Кирьяна...

Последние слова он едва уже выговаривал.

Припадок гнева в этот раз так был силен в нем, что даже матушка встала и ушла от него.

— Пошлите к баринну Кирьяна,— сказала она, прохо-

дя девицью и сколько только могла спокойно, горничным девушкам.

Те побежали.

Я, все время тихонько сидевший в зале, плача и обмирая от страха, решительно не знал, что мне с собой делать.

— Кирьяна... Кирьяна! — продолжал между тем шептать отец, скрежеща зубами и сжимая кулаки.

Через несколько минут Кирьян, позеленевший от страха, стоял перед ним.

Отец так и впился в него глазами.

— Возьми сейчас, — заговорил он прерывающимся голосом, — этого Евплова... стащи его за волосы с печи... кинь его в телегу и вези за исправником... скажи, чтоб его на поселенье взял... Не надобно мне его... Писать я теперь не могу, после все напишу... после...

Кирьян хотел было поскорей убраться.

— Но если же ты его не довезешь, если не отдашь там, я тебя самого убью и растерзаю, — закричал уж на него безумный старик и побежал было за ним.

— Помилуйте-с! Сейчас все исполню, — отвечал тот, едва успевая затворить перед ним за собой дверь, и потом действительно никто уж и не видал, как он собирался, захватил с собой Михайла и уехал.

Отец между тем возвратился в гостиную и, тяжело дыша, опустился на диван. Несчастные припадки гнева всегда кончались для него ужасно: его обыкновенно оставляли одного в комнате, притворяли в ней дверь и подавали ему только холодной воды. Все это повторилось и теперь. Мать пересела к дверям гостиной, чтоб прислушиваться, что там будет происходить. Я поместился около ее колен и стал целовать ее руки.

— Для тебя только, друг мой, и желаю я жить на свете, — проговорила она, поцеловав меня в голову и отерев катившиеся по ее щекам слезы.

Я разрыдался окончательно, так что она едва утешила и успокоила меня.

К вечеру по дому распространился новый ужас: исправник не принял Михайла Евплова, говоря, что он стар идти на поселенье.

— Батюшки! Отцы мои! Что теперь будет? — проговорила даже старуха Афимья, более всех привычная к гневу барина и всегда с каким-то стоическим спокойствием его переносившая.

Кирьян, привезя Михайла Евплова назад, не распрягая лошади, убежал в лес, говоря, что он и не придет, пока барин гневаться будет. Сказать отцу о решении исправника осмелилась, разумеется, одна только матушка, но я видел, чего ей это стоило: вся взволнованная и беспрестанно обращая взор на образ, она несколько раз подходила к гостинным дверям и, наконец, уже вошла. Я бросился за ней и приложил глаз к замочной скважине. Что она там сказала, я не слышал, но только отец вдруг поднялся.

— Хорошо, я сам его упрятаю,— сказал он по наружности спокойным, но в самом деле еще более раздраженным голосом,— велите коляску мне заложить, а мерзавца этого, скажите, чтобы везли за мной в полуверсте.

Матушка беспрекословно исполнила его приказание. Часов в двенадцать ночи он уехал. Два дня, пока его не было, она была на себя не похожа, беспрестанно тревожилась и все чего-то ожидала. Наконец отец возвратился и был совсем уж больной. Его прямо привели в его комнату. Он тосковал и стонал на весь дом.

— Что, папаша чем болен? — спросил я мать.

— Обыкновенно, как и всегда, мучится и терзается... сам наказал, а теперь и жалеет всех...— отвечала она.

С детской души моей, как перестали на нее действовать неприятные впечатления, сейчас же все и слетело: на другой день я уже спокойнейшим манером пахал сохою собственной работы на Гришке грядку в саду, и, что всего удивительнее, этот малый, лет почти восемнадцати, с величайшим наслаждением играл со мной в эту игру, непременно требуя, чтоб я его взнуздal, и чем глубже я упирал соху в землю, тем старательнее и рьянее он вез ее. К нам подошел Мосенч с лейкою в руке.

— Землю пахать — самое приятное для бога занятие,— сказал он.

— Приятное? — переспросил я, очень довольный, что он хвалит мою выдумку.

— Да!.. И если бы вот даже этот дурак Евплов не мытарничал, а кормился бы больше, как следует мужичку, землицей, не был бы там, куда угораздился.

— А куда его, дядюшка, барин увез? Далече ль? — спросил уж Гришка.

— Далече, в место хорошее,— сказал Илья и скрылся за одной из куртин.

Начинало темнеть, когда я в нынешнем году подъезжал к Фомкину. Рядом со мной в коляске сидел приказчик мой Семен, ужасно конфузясь, ежась, отодвигаясь от меня и боясь, кажется, прикоснуться одной точкой своего кафтана ко мне. Измученные извозчицы лошади легонькой рысцой тащили нас в гору.

Я оглядывал окрестность; все было очень знакомо: при въезде в село покачнувшаяся на сторону и точно от сотворения мира тут стоявшая толчея, а подалее небольшая площадь, на которой собирался по праздникам народ; в стороне от нее дом священника, несколько побольше и покрасивей других, на погосте деревянные кресты и единственный каменный памятник на могиле моего деда и, наконец, сама белая церковь. С какой-то болью врывались мне в сердце воспоминания: мы... мне лет восемнадцать... у прихода... день такой, кажется, восхитительный; толпа народа кипит перед храмовыми воротами. Она тоже в церкви... это можно догадаться по уродливому экипажу и по тройке вятских лошадок, стоявших у дома отца диакона. Я иду в церковь. Сердце мое так и рванулось от правого клироса, около которого я стал, к левому; накуренный ладан кажется мне величайшим благовонием, иконостас великолепным, а она, в белом платье и белой шляпке, превыше всех красот земных. Но между тем что было во всем этом: и в ней и в самом народе?.. Ничего, кроме моей молодости!.. Хоть бы один день, один час того счастья, с которым изживались прежде целые недели, месяцы, и за это возьмите все, что впереди, где только и мелькают, как фурии, ниспосланные вас терзать, недуги тела, труды и скорби наболевшей души вашей и целое море житейских нужд и забот.

— А что,— обратился я к Семену,— будет у нас в Фомкине по пяти десятин на душу?

— Будет, кажись! После одного снохача теперь земли-с пустой стоит тягол на пять.

— Какого это снохача? — спросил я, смутно припоминая все, что сейчас рассказал.

— Крестьянин ваш бывший,— отвечал Семен,— папенька ваш тогда разгневался на него и продал его. Всего за десять рублей ассигнациями и уступил-с.

— За десять?

— Да-с,— отвечал Семен и потом с обычной своей скромностью слегка польстил мне: — Ведь не так, как вы-с: покойник, бывало, рассердится, так точно рассудку лишался, а после все у них отойдет это.

— Отойдет?

— Все-с! И чем уж они тут человека ублажить не желают: тогда за Михайла Евплова-то сноху и сына при мне-с... мальчиком я ездил с ним... давали исправнику тысячу рублей, чтобы их освободить от поселения. Ну, да тот тоже не взялся. «Я губернатору уж,— говорит,— описал о том».

— А Михайло Евплов кому был продан? — любопытствовал я.

— Да так тут, в Зеленцине, был дворянинишко самый бедный; почесть, что ни самому, ни прислуге есть было нечего: Михайла Евплова стал уж в пастухи отдавать... в семьдесят-то лет за телятами бегать... Папенька ваш жалел тогда старика. «Откуплю,— говорит,— его назад: хоть пятисот рублей на то не пожалею» — ну, да тот помер тоже невдолге.

— А за что отец так рассердился на него? — спросил я. Семен несколько смешался.

— Глупости разные у себя в семействе заводил-с...— отвечал он с расстановкой.— Младшая-то сношенка попалась женщина честная, не захотела того.

— А здесь это в заведении? — заметил я.

— Есть-с! — отвечал Семен таинственно.

— Да как же они это делают?

— Да кто ж им может в том воспрепятствовать! — возразил он мне с некоторым даже одушевлением.— *Батько, родитель* — одно слово, и который особливо теперь побогатей, так в дому-то словно медведь корежит: и на работу посылает, сколько ему надо, и бьет, особливо этих женщин и малолетних, чем ни попало... Ужасные злодеи и тираны-с!

Мы въехали в усадьбу. Несколько человек дворовых, и все больше старики, встретили меня. Совсем сгорбленный и почти уже слепой Кирьян высадил, однако, меня из коляски под руку. Две женщины, тоже старухи, проговорили: «Ну, вот, батюшка, дождались мы и вас!» Я прошел в дом и, увидя отворенный балкон, не утерпел и вышел на него посмотреть на сад — он точно весь почернел и совершенно заглох по всем некогда прозрачным и зеленым ал-

ляем. На куртинах и на лугах росла такая дичь-трава, что и взглянуть было неприятно. Все это некогда обряжавший и приводивший в порядок Илья Мосеич давно уже умер и, вероятно, сам составлял какую-нибудь часть той природы, которую так любил. Сойдя с балкона, я прошелся по гостиной, где сердился отец, заглянул в спальню, где скучала и молилась мать, и, наконец, в свою темненькую комнату.

Чтобы оторваться от этих хоть и дорогих, но все-таки тяжелых воспоминаний, я велел себе постелю приготовить в зале, как самой пустой комнате и более похожей на сарай, чем на жилое место; но заснул только утром, чувствуя, что руки и ноги у меня холодеют, а на лбу выступила холодная испарина. «О, если бы забыть прошедшее и не понимать будущего!» — мерещилось мне в тревожном сне.

## ПРИМЕЧАНИЯ

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ХОЗАРОВ  
И МАРИ СТУПИЦЫНА

### Брак по страсти

Повесть впервые напечатана в «Москвитянине» за 1851 год, №№ 4—7 (февраль, март, апрель), с посвящением Юрию Никитичу Бартеневу, родственнику писателя со стороны матери.

Писемский начал работать над этим произведением, по всей вероятности, еще во время первого раменского уединения — в 1847—1848 годах. В письме от 16 ноября 1850 года он сообщал А. Д. Галахову, через которого вел переговоры о своем сотрудничестве в журнале «Отечественные записки»: «...написано у меня много, но ничего не приведено в окончательный вид, а это для меня самый продолжительный и самый скучный труд. Теперь у меня готовится два рассказа: 1-й) «Брак по страсти»...<sup>1</sup>. 1 декабря он писал тому же Галахову: «В половине или в конце нынешнего месяца я могу выслать 1-ю часть моего романа «Брак по страсти»; а в половине января — 2-ю и последнюю». Но здесь же Писемский высказал сомнения насчет того, пропустит ли цензура предполагаемый финал «Брак по страсти»: «...роман по своему ходу должен, непременно должен кончиться тем, что женившиеся по страсти должны непременно разъехаться... возможно ли это и пропустит ли цензура?»<sup>2</sup>.

Переговоры с «Отечественными записками» затянулись, и Писемский передал «Брак по страсти» в «Москвитянин». В журнальном тексте первоначально задуманный финал повести был изменен. Сергей Петрович и Мари уже не разъезжаются, как это предполагалось раньше. Дело ограничилось лишь угрозой Хозарова нанять

<sup>1</sup> Письма, стр. 30.

<sup>2</sup> Письма, стр. 30—31.



себе отдельную квартиру. В первой публикации повесть заканчивалась следующим эпилогом: «Прошло много лет. Время, все приводящее в порядок, время рассеяло небольшие недоразумения между действующими лицами моего романа, и мало-помалу все пошло по пословице: тишь да гладь и божья благодать. Мамилова с Хозаровыми помирились и на дальнейшее время представляли уже два примерно дружественные семейства. Варвара Александровна окончательно забыла мертвеца, изменила свое мнение в отношении старых и богатых мужей, поняла значение денег, перестала вдаваться в анализ супружеских отношений и, оставя в услуду себе рассуждения об изящных искусствах, слыла за очень умную женщину. Старик муж ее тоже перестал исключительно предаваться меркантильным выгодам и очень любил слушать, когда барыня его запустится в отвлеченные рассуждения с каким-нибудь умным человеком и иногда даже срежет того. Сергей Петрович, благодаря передаче ему страшным богачом одного торгового дела, значительно поправил свои обстоятельства и потому утратил дурную склонность занимать деньги и получил возможность удовлетворять своему прекрасному вкусу. Мари тоже значительно развилась, из невинного, простодушного существа она преобразилась в свежую, веселую и довольно бойкую даму; перестала играть в рыжего кота и в ладошки, разлюбила страшные сказки и сделалась гораздо осторожнее в отношении молодых людей. Пашет и Анет, наконец, вышли замуж, и обе были, право, счастливы: Пашет, по силе характера, руководствовала своим несколько ветреным мужем, и Анет своего обожала и на правах страсти тоже им руководствовала. Катерине Архиповне недолго, впрочем, было назначено наслаждаться устроившеюся судьбою ее идола и других дочерей: она умерла. Больше всех об ней плакал Антон Федотыч и, клюкнувши в день похорон жены, многим рассказал по секрету, что старуха оставила ему 50 душ и тысяч десятков тайком накопленных денег. Она действительно оставила ему 20 душ, обязавши не продавать и не закладывать оных, а передать их по смерти детям».

Когда Писемский узнал, что повесть не встретила в цензуре почти никаких препятствий, он написал М. П. Погодину, что этого эпилога «вовсе не следовало бы печатать, если не требовала цензура, я написал его на случай необходимости»<sup>1</sup>. При подготовке «Повестей и рассказов» Писемский удалил этот эпилог из текста. «Насчет поправок моих сочинений,— писал он Погодину 28 марта 1852 года,— то они будут небольшие, у «Брака по страсти» надобно выключить... заключение и окончить письмом Мамиловой, а остальное я могу сделать в корректуре, которую прошу ко мне вы-

<sup>1</sup> Письма, стр. 527.

слать»<sup>1</sup>. В этом издании в текст повести не было внесено сколько-нибудь существенных изменений. Писемский ограничился лишь исправлением опечаток и заменой нескольких слов и оборотов. Более тщательной правке текст был подвергнут при подготовке его для издания Ф. Стелловского. Но и в этом случае немногочисленные исправления носили преимущественно стилистический характер.

Стр. 14. *Тальма* Франсуа Жозеф (1763—1826) — знаменитый французский актер.

Стр. 37. *Кенкетки* — род канделябра.

Стр. 43. *Шу* — пышные банты.

Стр. 73. *Мочалов* Павел Степанович (1800—1848) — великий русский актер-трагик.

Стр. 80. *Солитер* — крупный бриллиант.

Стр. 91. *В старину живали деды...* — начальные слова песни М. Н. Загоскина (1789—1852) из либретто оперы А. Верстовского «Аскольдова могила».

*Мы живем среди полей...* — начальные слова песни М. Н. Загоскина из либретто оперы А. Верстовского «Пан Твардовский».

Стр. 123. *Дюма* Александр, отец (1803—1870) — французский писатель, автор многочисленных романов развлекательно-приключенческого характера.

*Сю* Эжен (1804—1857) — французский писатель.

Стр. 135. «*Библиотека для чтения*» — ежемесячный литературный журнал, издавался с 1834 по 1865 год.

## КОМИК

Впервые рассказ появился в «Москвитянине» за 1851 год, № 21 (ноябрь).

К работе над этим произведением Писемский приступил, вероятно, не раньше осени 1850 года, то есть в то время, когда уже обозначился успех «Тюфяка». Первое упоминание об этом рассказе встречается в письме к А. Н. Островскому от 26 декабря 1850 года: «Есть у меня в начатке рассказ «Комик», но я его ранее половины или конца февраля не могу окончить»<sup>2</sup>. В феврале 1851 года «Комик» был включен в число тех произведений, которые Писемский обязался по договору с Погодиным «доставить... в продолжение 1851 года» для «Москвитянина»<sup>3</sup>. 10 апреля Писемский уже сообщал Погодину: «Комик» вчерне... готов, стоит только переписать и немного исправить»<sup>4</sup>. Наконец 25 мая рассказ был отправлен шурину Писемского А. А. Майкову для передачи Погодину. В издании Ф. Стелловского «Комик» датирован 18 апреля 1851 года.

<sup>1</sup> Письма, стр. 538.

<sup>2</sup> Письма, стр. 31.

<sup>3</sup> Письма, стр. 592.

<sup>4</sup> Письма, стр. 525.

Писемский, видимо, опасался, что эпилог «Комика» вызовет цензурные затруднения, и поэтому готов был заранее примириться с необходимостью его удаления из текста. Однако опасения Писемского не оправдались, и рассказ прошел цензуру без особенных осложнений.

Без какой-либо существенной правки «Комик» был перепечатан в третьей части изданных Погодиным «Повестей и рассказов» Писемского. Некоторые изменения в текст рассказа были внесены при подготовке его для издания Ф. Стелловского. Наиболее заметные из них следующие: во второй главе после слов «...трезвый тоскую, а пьяный глупости творю» (стр. 151) в тексте «Москвитянина» следовало: «...а было для меня и иное время!.. Был театр... подмости... декорации; я сам все это уставлял... Как теперь помню: начали играть; ну, тогда думали, что всех убьет Сергеев — не вывезло ему, канальство. Я боялся, крепко боялся... тут был строгий судья, великий судья: Михайло Семеныч... Кончился первый акт, вдруг он на сцену, у меня так и замерло сердце—и что же? Гений-то этот подошел ко мне, пожал мне руку: благодарю вас, говорит, вы растолковали мне роль, которую я прежде не понимал. А?.. Он не понимал! Черт бы драл эти дьявольские воспоминания; придет вот старуха да разревется, что ты думал не об ней... Нечего тут: думай-ко о своей старухе. Она одна тебя на свете любит; что театр?— Глупости».

Там же после слов «... а привык, удивительно привык!» (стр. 152) в тексте «Москвитянина» было: «Весь этот монолог, конечно, Рымов передумал, но не говорил его и только в некоторых местах восклицал и разводил руками».

В тексте издания Ф. Стелловского были изменены также заключительные строки эпилога. После слов «...и он еще более начал нуждаться в средствах» (стр. 212) в «Москвитянине» было: «Комик мой сошел с ума и помешался на довольно странном пункте: он все рисовал подаренную ему вазу и писал комедии в стихах, в которых действующими лицами были виконты и маркизы. Откупщик поместил его на свой счет в сумасшедший дом, а Анну Сидоровну взял к себе в ключницы, которая очень похудела и была как растерянная».

В одной из своих автобиографий Писемский отметил, что в «Комике» «...выведено положение истинного, но сбившегося художника в нашем провинциальном обществе»<sup>1</sup>. В этом произведении недвусмысленно осуждена та мелкотравчатая, развлекательная дра-

---

<sup>1</sup> А. Ф. Писемский. Избранные произведения. М.-Л., 1932, стр. 23.

магургия, которая в конце 40-х — начале 50-х годов стала занимать все большее место в репертуаре театров. Герой Писемского выступает как убежденный сторонник гоголевско-щепкинского театра. Именно поэтому закоренелый противник гоголевского направления в литературе А. В. Дружинин резко осудил рассказ, говоря, что Писемский пожелал во что бы то ни стало изложить перед читателями несколько воззрений на драматическое искусство, на высокий комизм, отчего вся повесть приняла какой-то дидактический колорит, а ее герой, пьяный актер Рымов, напоминает критика, лет десять занимавшегося библиографией.

Образ Рымова-артиста в известной мере автобиографичен: вспоминая о своем успехе в роли Подколесина, Писемский признавался: «Успех этот описан мною отчасти в рассказе моем «Комик»<sup>1</sup>.

Стр. 144. *Оседлаю коня...*— первая строка «Песни старика» А. В. Кольцова.

Стр. 145. *Маленькие синенькие книжки.*— Речь идет об издании сочинений Шекспира в переводах Н. Кетчера.

Стр. 154. *Умереть!.. Уснуть!..*— слова из монолога Гамлета в трагедии Шекспира «Гамлет».

Стр. 164. *Дульцинея*— имя воображаемой возлюбленной Дон-Кихота, героя одноименного романа великого испанского писателя Сервантеса (1547—1616).

*Пале-Рояль* — дворец в Париже.

Стр. 165. *Катенин Павел Александрович* (1792—1853) — поэт, драматург и критик, был также известен как один из лучших декламаторов своего времени.

Стр. 168. *Живокини* Василий Игнатьевич (1808—1874) — выдающийся русский актер-комик.

Стр. 169. *Шаховской* Александр Александрович (1777—1846) — драматург и режиссер.

Стр. 176. *...метода самого Ланкастера.*— Имеется в виду система взаимного обучения, введенная английским педагогом Дж. Ланкастером (1778—1838), по которой сильные ученики в качестве помощников преподавателя обучали более слабых.

Стр. 190. *«Калиф Багдадский»* — опера французского композитора Франсуа Адриена Буальдые (1775—1834).

*...увертюру из «Русалки»* — оперы С. И. Давыдова (1777—1825) и Ф. Кауера (1751—1831).

Стр. 200. *Уши хоть дерут...*— искаженные строки из басни И. А. Крылова «Музыканты»:

Они немножечко дерут,  
Зато уж в рот хмельного не берут...

<sup>1</sup> А. Ф. Писемский. Избранные произведения. М.-Л., 1932, стр. 26.

Стр. 205. *Асандри* — итальянская певица, гастролировавшая в России в середине 40-х годов.

Стр. 210. *Михайло Семеныч* — М. С. Щепкин (1788—1863), великий русский актер.

## ОЧЕРКИ ИЗ КРЕСТЬЯНСКОГО БЫТА

3 ноября 1856 г. вышла в свет книга Писемского «Очерки из крестьянского быта», объединившая три рассказа: «Питерщик», «Леший» и «Плотничья артель». Появление этого сборника обострило борьбу в русской критике вокруг произведений Писемского на крестьянские темы. Передовые писатели и критики высоко ценили народные рассказы Писемского и ставили их в один ряд с «Записками охотника» Тургенева. «Подобные рассказы особенно удаются автору, и после мастерских очерков гг. Даля, Тургенева и Григоровича народные очерки г. Писемского, конечно, лучшие в русской литературе»<sup>1</sup>.

Либеральная критика объявила автора «Очерков из крестьянского быта» представителем чистого искусства. Наиболее полно эта тенденция проявилась в рецензии С. С. Дудышкина («Отечественные записки», 1856, № 12) и в обширной статье А. В. Дружинина («Библиотека для чтения», 1857, № 1). Дружинин назвал Писемского «новейшим представителем школы чистого и независимого творчества», который своими произведениями «наносит смертный удар старой повествовательной рутине, явно увлекавшей русское искусство к узкой, дидактической, и во что бы ни стало, мизантропической деятельности»<sup>2</sup>.

Против реакционного истолкования произведений Писемского либеральной критикой выступил Чернышевский («Очерки из крестьянского быта» А. Ф. Писемского», «Современник», 1857, № 4). Возражая против утверждения, что будто бы рассказы Писемского из народного быта производят примирительное, отрадное впечатление, Чернышевский писал: «Кажется, должно быть ясно для всякого, что дело вовсе не таково; что никто из русских беллетристов не изображал простонародного быта красками более темными, нежели г. Писемский; что если о ком-нибудь, то именно о нем надобно сказать, что из-под пера его выходят «мрачные картины преднамеренно зачерненной действительности», что в нем мы имеем самого энергического деятеля «узкой мизантропической тенденции»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений, т. IX, М., 1950, стр. 314.

<sup>2</sup> А. В. Дружинин. Собрание сочинений, т. VII, СПб, 1865, стр. 263—264.

<sup>3</sup> Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. IV, М., 1948, стр. 569.

Писемский не согласился с оценкой своих произведений Анненковым, Дудышкиным и Дружининым. По поводу статьи Анненкова он писал: «На его разбор моего «Питерщика» я бы мог его зарезать, потому что он совершенно не понял того, что писал я»<sup>1</sup>. Писемский внимательно отнесся к отзыву Чернышевского и, подготавливая свои сочинения для издания Стелловского, выбросил отдельные выражения, которые могли произвести «примиряющее» впечатление. Так, например, из текста «Питерщика» он устранил сентиментальные слова Клементия о доброте помещика: «И вот, сударь, какая доброта нашего господина: он вместе со мной прослезился и, забывши то самое, как я себя вел, не поминаючи того, что я за целый год ни подушной, ни оброку не выслал, только мне и сказал...»

### ПИТЕРЩИК

Впервые рассказ опубликован в журнале «Москвитянин», 1852, № 23 (декабрь). Закончен он был 30 сентября 1852 года.

Стр. 213. *Произношение женщины...*— Акающий говор Чухломского уезда резко выделяется среди окающих говоров Костромской губернии и всего северо-восточного диалекта великорусского языка.

Стр. 216. *Белендрясы* — резные деревянные украшения на деревенских домах.

Стр. 223. *Непыратый* — незначительный, плохой.

*Могута* — сила.

Стр. 226. *Шабалка* — голова.

*Править заделье* — работать на барщине.

*От Макарья.*— Речь идет об уездном городе Макарьево, Костромской губернии.

Стр. 229. *Тотьма* — уездный город Вологодской губернии, расположенный на берегу реки Сухопы.

Стр. 232. «*Аскольдова могила*» — популярная в свое время опера А. Н. Верстовского (1799—1862) на сюжет одноименной повести М. Н. Загоскина. Впервые поставлена в 1835 году.

Стр. 238. *Хлюст* — соединение всех карт одной масти.

### ЛЕШИИ

#### *Рассказ исправника*

Впервые рассказ напечатан в журнале «Современник» (1853, № 11). Закончен рассказ был 22 августа 1853 года. В дальнейшем текст подвергался авторской правке. Подготавливая издание «Очерков из крестьянского быта», Писемский удалил из произведения длинноты, неоправданные литературные реминисценции. Во второй

<sup>1</sup> Письма, стр. 71.

главе в журнальном тексте было такое рассуждение исправника: «Я только, знаете, пожал плечами, впрочем, тут же вспомнил сочинение Пушкина... вероятно, и вы знаете... «Полтава» — прекрасное сочинение: там тоже молодая девушка влюбилась в старика Мазепу. Когда я еще читал это, так думал: «Правда ли это, не фантазия ли одна, и бывает ли на белом свете?» — А тут и сам на практике вижу. Овладело мной большое любопытство...» В тексте «Очерков из крестьянского быта» эти слова заменены другими, более скупыми, более соответствующими обстоятельствам и характеру рассказчика: «Я только, знаете, пожал плечами,—вот, думаю, по пословице, поправится сатана лучше ясного сокола...»

В текст издания Стелловского Писемский внес исправления, под-сказываемые рецензией Чернышевского. В первой главе было такое высказывание исправника: «В суде у меня хорошо-с. На всякое дело, доложу вам, надобно знать сноровку... Я завел такую манеру: недели две, например, езжу по уезду, сам работаю, станových пону-каю, а тут и в город, да и в суд; дня в три, в четыре обревизую все. Хорошо, так и спасибо, а нет, так и распеканье: товарищам замечу, а приказную братью эту запру в суде, да и не выпускаю до тех пор, пока не приведут всего в порядок. И поняли, что оттягивать нечего: рано ли, поздно ли, сделать придется. Главное, объясню вам, чтобы сам начальник не зевал, а подчиненных заставить делать можно-с!» Чернышевский отозвался не без иронии о деятельности кокинского исправника в земском суде, и Писемский заменил это место другим, противоположным по смыслу рассуждением.

В конце третьей главы автор высказывал сострадание разжалованному Егору Парменову: «Два совершенно противоположные чув-ствования овладели мною: я и рад был унижению, которым наказан был Егор Парменов и вместе с тем, как человека, жаль его было. Иван Семеныч был тоже мрачен. Я откровенно высказал ему свои мысли.

— Я сам то же чувствую-с,— отвечал он,— да что прикажете делать! На крапиву надобен мороз; промиротворь одному худому человеку, так он сотне хороших людей сделает зло». Чернышевский назвал подобное сострадание преступным, вредным для нравов общества. Писемский из текста издания Стелловского всю эту сцену устранил.

Стр. 247. *Князь Дмитрий Владимирович* — Голицын (1771—1844), бывший московским военным генерал-губернатором с 1820 по 1844 год.

Стр. 248. *Гог-магог*.— Правильнее Гог и Магог, имена двух мифических народов, встречающиеся в библии и коране. В тексте — в значении «важная персона».

Стр. 252. *Лесовик* *раменной* — густой, дремучий лес.

Стр. 255. *Херувимская* — церковная песнь.

Стр. 258. *Печный* — заботливый.

Стр. 259. *Озадки* — дурные последствия, неприятности.

...прислан был по пересылке — по этапу, под стражей.

Стр. 272. *Стан* — административно-полицейское подразделение уезда; село, являвшееся местопребыванием станowego пристава.

Стр. 285. *Побывшился* — умер.

### ПЛОТНИЧЬЯ АРТЕЛЬ

Рассказ впервые опубликован в журнале «Отечественные записки» (1855, № 9), с подзаголовком «Деревенские записки». Закончен он был 15 июля 1855 года.

Отзываясь с похвалой о народных рассказах Писемского, Некрасов особо отметил язык «Плотничьей артели»: «...народный язык в этом рассказе удивительно верен»<sup>1</sup>.

В этом произведении автор сумел правдиво очертить типичные крестьянские характеры (плотник Петр, старик Сергеич) и дать колоритный образ кулака-миroeда Пузича. Горький вспоминал: «Из всех книжных мужиков мне наиболее понравился Петр «Плотничьей артели»; захотелось прочитать этот рассказ моим друзьям, и я принес книгу на ярмарку»<sup>2</sup>. Прослушав «Плотничью артель», молодой рабочий Фома после долгого молчания сказал: «Петр правильно убил подрядчика-то».

Подготавливая текст «Плотничьей артели» для издания Стелловского, Писемский, добываясь художественной законченности, заново отредактировал отдельные выражения. В «Отечественных записках» шутка Петра о старике Сергеиче звучала так: «...Ни одного зуба во рту, а по закоулкам ходит». В издании Стелловского вместо последних слов более резкое выражение: «...за девками бегает». В журнальном тексте лошади вылетели из сарая, «как обозленные черти», в издании Стелловского — «как бешеные».

Автор произвел также некоторые сокращения, одно из которых приводим.

В последней главе после слов «Я начинал приходить в совершенное ожесточение» (стр. 336) было: «Тебе смешно,— думал я,— что написано в «Тюфяке», а разве ты не смешнее в эти минуты всего, что когда-либо я писал? Отчего же ты этого смешного не чувствуешь в себе и не молчишь, как сердито молчит сестра твоя?» Вся эта тирада в издании Стелловского отсутствует.

<sup>1</sup> Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений, т. IX, М., 1950, стр. 314.

<sup>2</sup> М. Горький. Собрание сочинений, т. XIII, М., 1951, стр. 469.



Стр. 289. «*Барыня*» — популярная песня, печатавшаяся в песенниках с 1799 года. Музыка композитора И. А. Козловского (1757—1831).

*Павел* — П. А. Писемский (1850—1910), старший сын писателя.

*Николай* — Н. А. Писемский (1852—1874), младший сын писателя.

Стр. 293. *Сенновская божья мать* — икона богородицы в церкви на Сенной площади Петербурга.

Стр. 336. «*Вечный жид*» — роман французского писателя Эжена Сю, в переводе на русский язык вышедший в 1844—1845 годах.

*Рафаил Михайлыч* — Зотов (1795—1871), писатель и драматург, театральный деятель, автор широко известных в свое время романов «Леонид или черты из жизни Наполеона I» и «Таинственный монах».

Стр. 337. *Слитки* (литки) — пирушка, завершающая какую-либо сделку.

## ФАНФАРОН

### *Еще рассказ исправника*

Впервые рассказ напечатан в «Современнике» (1854, № 8). В журнальной публикации рассказ имел следующий подзаголовок: «Один из наших снобсов. Рассказ исправника», — причем первая часть подзаголовка была пояснена в специальном примечании: «Меткость сатиры и поучительная сила очерков Теккерей: «Снобсы» дали автору мысль написать настоящую статью. Под общим названием «Наши снобсы» он предполагает привести несколько биографических очерков. Предчувствую обвинения в смелости и сам сознаюсь в своей немощи идти вслед великому юмористу, но все-таки решаюсь».

Ошибочное написание заглавия книги Теккерей («Снобсы» вместо «Снобы») Писемский, не знавший английского языка, заимствовал из русского перевода «Книги снобов», опубликованного в «Современнике» за 1852 год (ноябрь—декабрь). Это свидетельствует о том, что замысел рассказа возник не раньше конца 1852 — начала 1853 года.

12 марта 1854 года Писемский извещал Н. А. Некрасова: «...написал еще рассказ исправника: «Матушкин сынок...»<sup>1</sup>. Месяцем позднее он отправил этот рассказ издателю «Современника». «Посылаю к вам, — сообщал он Некрасову, — по письму вашему, «Матушкина сынка», переименованного мною в «Фанфарона». К нему прилагаю на всякий случай два окончания: одно, пришитое к тетради, где герою

<sup>1</sup> Письма, стр. 64.

дается место чиновника особых поручений, и я желал бы, чтобы оно было напечатано, но если, паче чаяния, встретятся затруднения со стороны цензора, так как тут касается несколько службы, то делать нечего, тисните другое, [что, впрочем, мне чрезвычайно бы не желалось], что для меня почти все равно. Как вам понравится «Фанфарон», уведоьте меня. Я его написал и никому не читал еще... Примечание к «Фанфарону» на первой странице — не покажется ли вам очень резким? Впрочем, я этого не нахожу с своей стороны и желал, чтобы оно напечаталось»<sup>1</sup>. Через цензуру удалось провести именно то окончание, на котором настаивал сам Писемский.

Замысел «Наших снобсов» не был осуществлен. Кроме «Фанфарона», ни одного рассказа из намеченного цикла не было написано. В связи с этим в издании Ф. Стелловского первая часть подзаголовка, «Один из наших снобсов», была снята, а вторая часть несколько изменена: вместо «Рассказ исправника» «Еще рассказ исправника», так как опубликованный раньше рассказ «Леший» также имел подзаголовок «Рассказ исправника».

При подготовке издания Ф. Стелловского в текст «Фанфарона» было внесено несколько изменений, главным образом стилистического характера. После слов «...бросил ей двадцать рублей серебром» (стр. 398) в тексте «Современника» было: «Я посмотрел на него и подумал: это делает семьянин, у которого на руках трое, без всякого присмотра, и, может быть, полуголодных в эту минуту детей, слепая мать, семьянин, которому только что отказали в месте, почти единственной его надежде для существования, и делает не по особенному удовольствию, а потому только, чтобы не отстать от других». Журнальный текст заканчивался так: «Фанфарон! Фанфарон!» — повторил я мысленно слова Ивана Семеныча». Следующая фраза, со слов «По известиям, дошедшим до меня в последнее время...» до «...спасет его» (стр. 398), появилась только в издании Ф. Стелловского.

«Фанфарон» был в свое время одним из наиболее популярных произведений Писемского. Этот успех в известной мере обусловливался злободневностью темы рассказа. «О том, что мой «Фанфарон» уже напечатан,— сообщал Писемский Некрасову 7 октября 1854 года,— я... узнал недавно, потому что с июльской книжки не получаю «Современника» и что такое это значит — понять не могу: не высылают ли его ко мне совсем или заслан он кому-нибудь другому — не ведаю. Очень рад, что этот очерк понравился в Петербурге, и вместе с этим могу вам сообщить не ради авторского самолюбия, а ради правды, что в нашей провинциальной читающей публике он... получил, кажется, исключительный перед всеми другими моими сочинениями, успех — его прочитали даже все положительные люди, давно

<sup>1</sup> Письма, стр. 66

не читающие никаких повестей, потому что в «Фанфароне» тронута самая живая, самая интересная для них струна в жизни: безрасчетливость и неблагоприятное хозяйство»<sup>1</sup>.

Стр. 224. ...*делать куры* — ухаживать (от французского *faire la cour*).

Стр. 354. ...*поступает в Демидовское* — училище правоведения в Ярославле.

Стр. 384. *Дормез* — карета, приспособленная для лежания.

Стр. 395. *Кортомы* — аренда.

## СТАРАЯ БАРЫНЯ

Впервые рассказ появился в журнале «Библиотека для чтения» (1857, № 2). Был закончен 1 января 1857 года. В дальнейшем текст произведения значительной доработке не подвергался.

Чернышевский считал рассказ превосходным. «Старая барыня» принадлежит к лучшим произведениям талантливого автора, а по художественной отделке эта повесть, бесспорно, выше всего, что доселе издано г. Писемским»<sup>2</sup>.

Стр. 401. *Гусар, на саблю опираясь* — первый стих «Разлуки» К. Н. Батюшкова (1787—1855), ставшей популярным романсом.

Стр. 403. *Гоф-интендантша* — жена придворного чиновника, заведовавшего дворцами и садами. С 1797 года Гофинтендантская контора была подчинена обер-гофмаршалу.

Стр. 429. *Торбан* — украинский музыкальный инструмент, имеющий около трех десятков струн

Стр. 430. *Туманы седые плывут* — третья строфа приписываемого А. С. Пушкину стихотворения «Вишня».

## СТАРЧЕСКИЙ ГРЕХ

### *Совершенно романтическое приключение*

Впервые рассказ появился в «Библиотеке для чтения» за 1861 год, № 1 (январь) с датой: «1860, ноября 23. Петербург».

Немногочисленные поправки и изменения, внесенные в текст «Старческого греха» при подготовке его для издания Ф. Стелловского, носили преимущественно стилистический характер.

Стр. 436. *Экзегетика, герменевтика* — здесь богословские дисциплины, в которых рассматривались правила и приемы толкования текстов священного писания.

Стр. 442. *Кантонисты* — в XIX веке дети, отданные на воспитание в военные казармы или военные поселения и обязанные служить в армии солдатами.

<sup>1</sup> Письма, стр. 78—79.

<sup>2</sup> Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. IV. М., 1948, стр. 722.

Стр. 447. «Фрегат «Надежда» — повесть А. Бестужева-Марлинского (1797—1837).

Стр. 455. ... *этот паук, скорпион...* — имеется в виду издатель реакционной газеты «Северная пчела» Ф. В. Булгарин, преследовавший Пушкина в газетных статьях и писавший на него доносы в тайную полицию.

*Занд Карл* — немецкий студент, убивший в 1819 году реакционного писателя и политического деятеля А. Коцебу, за что был казнен 20 мая 1820 года.

Стр. 464. *Среди долины ровных...* — первая строка песни на слова А. Ф. Мерзлякова (1778—1830).

Стр. 493. *Мурильо* Бартоломе Эстебан (1618—1682) — выдающийся испанский художник.

*Корреджио* — Корреджо, настоящее имя — Антонио Аллегри (около 1489 или 1494—1534) — крупнейший итальянский художник.

## БАТЬКА

Впервые рассказ напечатан в журнале «Русское слово» за 1862 год (кн. 1, январь) с датой: «27 октября 1861 г. С.-Петербург».

Рассказ был перепечатан в четвертом томе издания Стелловского с небольшими поправками. Отметим лишь одно существенное исправление: в конце третьей главы после слов «Я несколько поуспокоился и опять улегся...» (стр. 534) в тексте «Русского слова» была фраза, не вошедшая в текст издания Стелловского: «Зарождающийся ипохондрик, видно, и тогда уже во мне начинал наклеиваться».

Рассказ был опубликован в самый разгар скандала, вызванного фельетонами Никиты Безрылова, и поэтому не был отмечен критикой тех лет.

Стр. 523. *Ревизские сказки* — списки, составлявшиеся во время переписи (ревизии) лиц, подлежащих обложению подушной податью; в данном случае — списки крепостных мужского пола.

Стр. 540. *Вердепомовый* — светло-зеленый (буквально — цвета зеленого яблока).

...*когда наши входили в Париж...* — После разгрома наполеоновских армий в России русские войска продолжали преследовать войска Наполеона. В 1814 году русская армия вступила в Париж.

---

В настоящем издании произведения второго тома печатаются по тексту: «Сочинения А. Ф. Писемского», издание Ф. Стелловского, СПб, 1861 г., с исправлениями по предшествующим изданиям, частично — по посмертным «Полным собраниям сочинений» и рукописям.

## СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына (Брак по страсти) . . . . .	3
Комик . . . . .	139
Очерки из крестьянского быта	
Питерщик . . . . .	213
Леший. <i>Рассказ исправника</i> . . . . .	244
Плотничья артель . . . . .	287
Фанфарон. <i>Еще рассказ исправника</i> . . . . .	342
Старая барыня . . . . .	399
Старческий грех. <i>Совершенно романтическое приключение</i> . . . . .	432
Батяка . . . . .	522
Примечания . . . . .	551

А Ф. ПИСЕМСКИЙ

Собрание сочинений  
в 9 томах Том. 2.

Иллюстрации художника  
П Пинкисевича.

Оформление художника  
Г. И. Фишера.

Технический редактор  
А. Ефимова.

---

Подп. к печати 2/II—1959 г. Тираж 236 000 экз. Изд. № 246. Зак. 2801.  
Форм бум. 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печ. л. 28,9+4 вкл. (0,41 п. л.). Бум. л. 8,8.  
Уч. изд. л. 32,15.

---

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.  
Москва, улица «Правды», 24.

